



ТОМАС МАНН + ПИСЬМА



ТОМАС
МАНН
—
ПИСЬМА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



THOMAS MANN



BRIEFE

ТОМАС МАНН



ПИСЬМА

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ

С. К. АПТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА, 1975

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский,
А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Б. Ф. Егоров, Д. С. Лихачев (председатель),
А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),
Ф. А. Петровский, Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов (зам. председателя),
М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов, С. Л. Утченко*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Б. Л. СУЧКОВ

Перевод с немецкого

С. К. АПТА



ТОМАС МАШН
Фото 1937 г.

ПИСЬМА

(1901—1955)

1

ГЕНРИХУ МАННУ

Мюнхен, 13.II.1901

Дорогой Генрих,

книгу об искусстве ты, наверно, получил; Голичер¹ посылает ее тебе с приветом и с пожеланиями успеха в работе над «Герцогиней»².

К сожалению, все еще не могу ничего сообщить тебе о французских книгах — поскольку в книжной лавке Ригера мне покамест нельзя показываться. Дело в том, что я тогда заказал там для себя наобум и неведомо на чей счет немецкое издание Вазари³, а потом узнал от Граутофа⁴, что это многотомное произведение, стоящее добрых сто марок и вдобавок ужасно скучное. После этого я, конечно, у Ригера больше не появлялся. Надеюсь, ты узнаешь, что тебе нужно, каким-нибудь другим путем, а мне придется, если это понадобится, проглядеть Вазари в городской библиотеке.

Хорошо ли тебе живется? Мне очень по-разному. Когда придет весна, позади будет зима, неслыханно тревожная внутренне. Депрессии действительно скверного свойства с совершенно серьезными планами самоубийства сменялись неописуемым, чистым и неожиданным душевным счастьем, переживаниями, которых нельзя рассказать и намек на которые походил бы, конечно, на хвастовство. Одно они мне, впрочем, показали, эти очень нелитературные, очень простые и живые переживания, — что есть во мне все-таки еще что-то честное, теплое и доброе, а не только «ирония», что еще не все во мне высушено, искажено и изъедено проклятой литературой. Ах, литература — это смерть! Никогда не пойму, как можно быть в ее власти, не ненавидя ее изо всех сил! Последнее и лучшее, чему она способна меня научить, — это смотреть на смерть как на возможность прийти к противоположности литературы, к жизни. Меня ужас берет, как представляю себе тот день — а ведь он недалек — когда снова буду заперт с нею наедине, и я боюсь, что эта эгоистическая опустошенность и неестественность тут-то и расцветет пышным цветом... Довольно! Во все эти чередования зноя и холода, живейшей восторженности и смертной тоски вторглось недавно

письмо С. Фишера⁵, где он сообщил мне, что сначала, к весне, собирается выпустить второй томик моих новелл, а к октябрю «Будденброков» — без сокращений, вероятно, тремя томами. Я сфотографируюсь — правая рука в кармане френчской жилетки, а левая покоится на трех томах; затем можно, собственно, спокойно отправиться в яму... Нет, в самом деле хорошо, что книга все-таки увидит свет. Очень уж много в ней демонстративно-личного, так что, собственно, лишь через нее я обрету свое лицо, особенно для уважаемых собратьев по перу. Кстати сказать, об условиях Фишера я еще ничего не знаю, а они, наверно, сведутся к осторожным оговоркам насчет гонорара... Что касается тома новелл, то книжечка получится тощенькая, она только слегка освежит мое имя на время и даст немного карманных денег. Содержание будет такое: 1) «Дорога на кладбище» (по этому рассказу озаглавлен весь сборник), 2) «Луизхен», 3) «Платяной шкаф», 4) «Отомстила», 5) Бурлеск, над которым я сейчас работаю и который будет называться, вероятно, «Тристан». (Именно! Бурлеск под названием «Тристан»!) И, может быть, еще 6) Давно задуманная новелла под некрасивым, но завлекательным названием «Литература»⁶ (*Ille lacrimae!*)*.

До сегодняшнего дня я еще не отказался от мысли поехать во Флоренцию 15 марта. Это зависит от того, справлюсь ли я к тому времени со всем, что мне нужно сделать, ибо самые необходимые деньги я, конечно, смогу добыть, особенно имея в руках ясное заверение Фишера, что он «вовсе не намерен бросать» меня. Ты, разумеется, еще будешь оповещен. Дай-ка и ты о себе знать.

С сердечным приветом

Твой Т.

2

ГЕНРИХУ МАННУ

Мюнхен, 7.III.1901

Дорогой Генрих,

я, конечно, сразу же ответил бы на твое письмо, но дней 8 назад вся моя почта стала застревать в верхней части почтового ящика, и поэтому, глядя через решетку, я ничего в нем не обнаруживал. А сегодня я случайно открываю ящик, и оттуда вываливается целый ворох писем, в том числе важных, и среди них твое.

Нет, можешь быть совершенно спокоен и смело ехать в Италию; покамест я «глупостей» не стану делать. В «Будденброках» есть одно хорошее место: при известии, что разорившийся помещик-дворянин застрелился, Томас Будденброк со смесью задумчивости, насмешки, зависти и презрения говорит про себя: «Да, да, такой рыцарь!» Это очень характерно, не только для Томаса Будденброка, и должно тебя покамест вполне успокоить. И о тифе тоже я сейчас думать не думаю¹. Все это метафизика, музыка

* Те слезы! (лат.).

и эротика полового созревания. Граутоф тоже был уже в большом страхе; но дело это совсем не острое, и корни оно пускает весьма медленно, да и практических причин для этого сейчас почти нет. Конечно, за будущее поручиться не могу, и выдержу ли я, с навязчивой идеей «волшебного царства ночи»² в душе, повторение военной службы³, — это вопрос, который тревожит меня самого. Но до тех пор утечет еще много воды, а покамест мы еще побудем здесь вместе... От более подробной исповеди я себя избавляю, потому что писание и копание в себе только все углубляют и преувеличивают. А это вещи, которых преувеличивать нельзя. Речь идет не о любовном приключении, во всяком случае не о любовном приключении в обычном смысле, а о дружбе⁴, о — диво дивное! — понятой, не безответной, вознагражденной дружбе, которая — признаюсь без кривлянья — принимает в иные часы, особенно в часы подавленности и одиночества, слишком уж страдальческий характер; Граутоф утверждает даже, что я просто-напросто влюблен, как старшеклассник, но эти слова выражают его взгляд на вещи. Моя нервная конституция и философский склад ума невероятно усложнили эту материю; она имеет сотню сторон, и простейших, и авантюрнейших в духовном смысле. Но главное — это глубоко радостное удивление перед взаимностью, которой не ждал уже в этой жизни. Довольно об этом. Устно я, может быть, поведаю когда-нибудь больше.

Только что получил и твою открытку. Насчет Генуи — хорошая мысль. Если я окажусь во Флоренции раньше, чем ты отправишься на юг, может быть, ты ненадолго приедешь туда?

По поводу книги сказок я напишу.

Сердечный привет!

Твой Т.

3

ХИЛЬДЕ ДИСТЕЛЬ

Мюнхен, 14.III.1902,
Унгерштрассе, 241

Дорогая, глубокоуважаемая фрейлен Хильда!

Позвольте и мне скромно присоединиться к необозримой веренице поздравителей. Как это меня осенило? Ах, ведь под влиянием Ваших братьев¹ (которые теперь почти и мои) я уже стал наполовину дрезденцем, знаю вас всех с внешней и с внутренней стороны, всегда в курсе всех важных событий, вас касающихся, и считаю своим правом и долгом участвовать в них. И раньше или позже я безусловно приеду в Дрезден, хотя бы для того, чтобы пережить наконец постановку «Тристана» в Вашей придворной опере. Еще лучше было бы, правда, если бы Вы, со своей стороны, опять навестили нас здесь, в Мюнхене, — серьезно, Вы должны это сделать! Уверяю Вас, мы бы прекрасно поладили, тем более что со времени нашей последней встречи я как человек несколько выправился: например, на людях я уже не всегда бываю меланхоличен, — помните мое тогдашнее

признание? И в этом тоже, несомненно, сказывается влияние Ваших братьев, главным образом Пауля. Я сделал его немного литературнее, а он меня — немного человечнее. То и другое было необходимо!

Итак, еще раз — сердечно поздравляю с 16 марта! И не откажите в любезности принять от меня по этому поводу прилагаемый экземпляр моего романа². Не то чтобы Вы должны были его читать. Боже упаси! Первый том скучный, а второй нездоровый. Но я не знаю, как иначе к Вам подольститься, а у меня есть к Вам (ну, вот) одна большая просьба, та самая, к которой я Вас однажды уже подготавливал в какой-то приветственной открытке. Короче и начистоту, мадам, — как говаривал король Филипп!³

Недавно газеты писали об одной мрачной истории⁴, разыгравшейся в Дрездене между неким молодым музыкантом из придворного оркестра и некоей светской дамой. Речь шла о многолетней несчастной любви со стороны женщины, и однажды вечером, после театра, в вагоне трамвая, дело кончилось роковым образом. Вы уже поняли, что я имею в виду, тем более что Вы знали обоих лично и принимали тогда живое участие в этом деле. На меня оно, по причинам отчасти технического, отчасти психологического свойства, произвело необычайно сильное впечатление, и вполне возможно, что я воспользуюсь им как сюжетно-фактическим костяком для одной на редкость меланхолической любовной истории. («Сюжет» ведь бесконечно безразличен, но какой-то все-таки нужен, правда?)

Одним словом: не окажете ли Вы мне услугу, довольно точно, довольно подробно и обстоятельно изложив мне как-нибудь на досуге всю эту историю от самого ее начала и до окончательной, огнестрельной развязки?! Замечу, что главное для меня — детали. Они так увлекательны! Какова была «ее», какова «его» предыстория? Какова была «ее» внешность? Кто был «ее» муж и при каких обстоятельствах она за него вышла? Каковы были взаимоотношения супругов и отношение мужа к «нему»? Каков был характер дамы вообще? Были ли у нее дети? Не длилась ли ее несчастная страсть десять лет? Случалось ли за эти 10 лет что-либо особенное? Разлучались ли они время от времени или всегда были в Дрездене вместе? Как вел «он» себя с «ней» и наоборот? Как смотрел он на подарки, которые, наверно, умышленно или неумышленно, от нее получал? Какого рода было их общение? Музыкальное? Светское? Что привело в конце к катастрофе? Роман или помолвка с его стороны? Как, в точности, происходило случившееся в трамвае и предшествовали ли этому какие-либо примечательные обстоятельства? И так далее... Все это я мог бы, конечно, и сам прекрасно придумать, и возможно, что, располагая действительностью, я *вопреки* ей придумаю это *иначе*. Я рассчитываю только на стимулирующее действие фактов и на применимость некоторых живых деталей. Если я в самом деле сделаю что-либо из этой истории, то ее, может быть, потом и узнать нельзя будет...

Мне любопытно, хватит ли Вашего альтруизма настолько, чтобы выполнить мою просьбу. Я знаю, что требую многого и очень смело посягаю на Ваше время, заполненное, конечно, сплошь занятиями прекрасными и возвышенными. Но мы, артисты, все одного поля ягоды: когда дело касается

«произведения», мы становимся ренессансно бесцеремонны. Итак, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! И еще раз: *детали!*

... У нас позади очень богатая переживаниями зима, вернее, мы еще в ней. Не раз впечатления так же быстро вытесняли друг друга, как в эти дни, когда позавчера в «Баварском подворье» играл скрипач Бурмейстер⁵ (феноменально, просто жуть брала), когда сегодня в «Одеоне» состоится академический концерт, где гвоздь программы «Заратустра» и дирижирует Цумпе⁶, а завтра в «Доме художников» даст один из своих вагнеровских фортепианных вечеров Фишер⁷: среди прочего весь второй акт «Тристана»! Это, пожалуй, чересчур; но ничего не хочется упускать.

А теперь позвольте проститься, милая фрейлен Хильда, — я и так слишком долго задерживал Вас. Не обедайтесь пирожными в свой день рождения, мне это знакомо, последствия бывают очень неприятные, и дружески вспоминайте

Искренно преданного Вам
Томаса Манна

4

САМУЭЛЮ ЛЮБЛИНСКОМУ

Мюнхен, 23 мая 1904.
Конрадштрассе, 11

Глубокоуважаемый сударь,

искренне благодарю Вас за Ваши книги, которые Вы мне прислали, и за любезную дарственную надпись!

Простительным образом я заглянул сперва на страницы, где речь идет обо мне¹, и прочел их, скажу Вам, с радостью и почти испуганно. Ваши замечания о моем отношении к Томасу Будденброку, о «выдержке», «терпении» и «сопротивляемости» — самое лучшее, *самое существенное* из всего, что говорилось об этом скромном предмете. Такое критическое проникновение невозможно без органической симпатии! И не меньше благодарен я Вам за то, что Вы защищаете меня от все повторяющегося упрека в «холодности и ремесленничестве». Я прекрасно знаю, что своей аполитичной и радикальной честностью сделал все, чтобы смутить людей. После разговора об искусстве в «Тонио Крёгере» я уже не могу требовать, чтобы меня понимал Карл Буссе². Что такое ирония, это знают в Германии пять-шесть человек, не больше; и что она — свидетельство не просто «холодного сердца», а некоей духовной строгости, дисциплины, «выдержки», артистического достоинства (и кое-чего другого), это дуракам и в голову не приходит. Что же касается «ремесленничества», то у нас ведь каждый, кто умел нажимать на педаль и владеть своими средствами, вызывал подозрение у добрых людей и плохих музыкантов. Меня очень удивляет, что Рихарда Вагнера не объявляют у нас холодным штукарем, потому что он смерть от любви помещает в конце акта...

Я уже полистал дальше Вашу щедрую книгу и с восторгом прочел Ваши рассуждения о Вагнере и Шопенгауэре. Теперь я рад, что мне предстоит прочесть все в контексте.

Еще раз, глубокоуважаемый сударь, горячо благодарю Вас.

Преданный Вам

Томас Манн

5

КАТЕ ПРИНГСГЕЙМ

[Начало июня 1904 г.]

... и так восхитительно лукаво блестят вдобавок Ваши глаза ... что это потеря времени, почти преступная потеря времени — все эти маленькие забавы, которые заполняют вечер, тогда как нам — Вам и мне — надо бы поговорить о куда более важном: Вы, конечно, знаете, Вы, конечно, видите по моему лицу, как часто я об этом думаю и как тяжело мне думать об этом снова и снова! Если бы мы больше бывали одни! Или если бы я умел лучше пользоваться теми короткими минутами, которые мне иногда бывают подарены! Я уже говорил Вам, с каким восторгом прочел я то, что Вы написали о «сближении», — и какой в то же время болью это меня наполнило. Я ведь знаю, знаю ужасающе хорошо, как виноват я в «какой-то неловкости или чем-то вроде этого» (до чего же трогательно это «что-то вроде!»), которую Вы передо мной так часто испытываете, знаю, как из-за «недостатка простодушия», непосредственности, бездумности, из-за всей нервности, искусственности, нелегкости своего нрава я не даю никому, даже самому доброжелательному человеку, сблизиться со мной или вообще хоть как-то со мною поладить; и это меня особенно огорчает, когда — а такое случается при всем при том невероятно часто — я чувствую в отношении людей ко мне тот теплый интерес, который называют симпатией...

... Это моя вина; и отсюда постоянная моя потребность прокомментировать, объяснить, оправдать себя перед Вами. Возможно, что потребность эта совершенно излишняя. Ведь Вы же умны, ведь Вы же пронизательны благодаря своей доброте и некоторому ко мне расположению. Вы знаете, что как личность, как человек я не мог развиваться подобно другим молодым людям, что талант порой ведет себя как вампир — высасывает кровь, поглощает; Вы знаете, какой холодной, обедненной, чисто исполнительской, чисто репрезентативной жизнью я жил много лет; знаете, что много лет, и лет *важных*, я ни во что не ставил себя как человека и хотел, чтобы меня принимали во внимание только как художника... И Вы понимаете, что такая жизнь не может быть легкой, веселой, что даже при большом сочувствии внешнего мира она не может породить спокойной и смелой самоуверенности. Исцелить меня от артистической участи может только одно — счастье; только *Вы*, моя умная, милая, добрая, моя любимая маленькая королева!.. Чего я у Вас прошу, на что уповаю, чего от Вас жду —

это доверия, это безоговорочной готовности быть на моей стороне даже наперекор миру, *даже наперекор мне самому*, это что-то похожее на веру, короче — это *любовь*... Это просьба и это желание... Будьте моим подтверждением, моим оправданием, моим завершением, моей избавительницей, моей — женой! И пусть Вас никогда не сбивает с толку эта «неловкость или что-то вроде того!» Высмейте меня и самое себя, если я вызываю у Вас такое чувство, и будьте на моей стороне!

6

КАТЕ ПРИНГСГЕЙМ

[Конец августа 1904]

... Потому что моя работа очень меня тревожит. Это, конечно, в порядке вещей и вообще-то неплохой знак. У меня никогда еще не «било ключом», и если бы это случилось, то вызвало бы у меня недоверие. Только у дам и у дилетантов бьет ключом, у нетребовательных и несведущих, которые не живут под гнетом таланта. Ведь талант — вещь совсем не легкая, это не просто мастерство. В корне своем это — *потребность*, это критическое представление об идеале, это — неудовлетворенность, которая только через муку рождает и совершенствует свое мастерство. И для самых великих и для самых взыскательных талант их — это страшнейший бич. Однажды, я был тогда много моложе, я читал письма Флобера и попал на одну неприметную фразу, на которой задержался надолго. Он написал ее одному своему приятелю, кажется, во времена «Саламбо»: «*Mon livre me fait beaucoup de douleurs!*» *Beaucoup de douleurs!* * Уже тогда я понял это; и с тех пор я ничего не делал, не повторяя сто раз эту фразу себе в утешение...

7

ПАУЛЮ ЭРЕНБЕРГУ

Мюнхен, 11.XI.1905.
Франц-Иозефштрассе, 2

Дорогой!

Имею честь представиться тебе отцом и папой. Приятной наружности девочка нашла путь в мир пространства, времени и причинности. Пусть бы она не раскаялась в этом!

Твой Томас Манн

* «Моя книга доставляет мне много страданий!» Много страданий! (франц.).

8

КУРТУ МАРТЕНСУ

Мюнхен, 28.III.1906,
Франц-Йозефштрассе, 2

Дорогой Мартенс!

Большое тебе спасибо за то, что ты любезно прислал мне свою статью¹. Прекрасный двойной портрет, делающий честь твоему критическому мастерству! Есть в нем, конечно, неточности, преувеличения, недоразумения, поспешные выводы, но в конце концов сказать надо что-то определенное, и потом — какое значение имеет «сходство»? Ты все интересно увидел, интересно сказал, а это главное.

И все же мне хочется указать тебе лично на несколько пунктов, по поводу которых я качал головой.

Не следует приписывать мне «ледяное человеконенавистничество» и «не любовь ко всякой плоти и крови», «заменяемую» якобы художественным фанатизмом. «Тонио Крёгер», да и «Фьоренца» полны иронии по отношению к искусству, а в «Тонио Крёгера» вписано признание в такой любви к жизни, которая своей ясностью и непосредственностью доходит до нехудожественности. Разве этому признанию нельзя поверить? Разве это только риторика? Не следует называть «Будденброков» «разлагающей» книгой. «Критическая», «насмешливая» — пожалуй. Но ни в коем случае не «разлагающая». Для этого она слишком позитивно-художественна, слишком покладисто-пластична, слишком светла в основе. Разве нужно петь дифирамбы, чтобы слыть жизнеутверждающим автором? Любая хорошая книга, написанная против жизни, — это все-таки обошление жизнью... Мне почти жаль приводить тебя в замешательство, но дело обстоит не так просто, как ты его изображаешь. Благодарен за замечание, что «Будденброки» — это не «почвенническое искусство», но не нужно называть мой роман книгой по сути своей не немецкой. Сколько в этой книге Вагнера, Шопенгауэра, даже Фрица Рейтера²! Спроси себя просто, в какой национальной атмосфере, кроме немецкой, могла она быть написана, и тебе придется признать: ни в какой. А потом подумай, вправе ли ты утверждать, что я чувствую себя среди моего народа безродным.

Не следует говорить, что я «хотел бы приравнять творческую фантазию к бульварно-беллетристической выдумке». Я утверждаю, что способность выдумывать персонажей и интриги не является критерием писательского дарования. Любой лирик, не умеющий ничего, кроме как непосредственно излить свою душу, — есть доказательство моей правоты. А ведь я лирик (по существу). Я утверждаю, что тот, у кого за душой нет ничего, кроме «выдумки», не так уж далек от бульварной беллетристики. Я утверждаю, что величайшие писатели никогда в жизни ничего не выдумывали, а только наполняли своей душой и преобразовывали уже известное. Я утверждаю, что творчество Толстого по меньшей мере столь же строго автобиографично, как и мое крошечное. «Фантазия»? Ты согласишься, что у меня есть некоторая живость и наглядность деталей, некоторая острота глаза и энергия воображения? А что же все это, как не фантазия? (Не го-

ворю уж о фантазии в языке и стиле.) «Творческая фантазия»? Но ведь написал же я! Страшно мало пока что, четыре среднего качества книжки, но они-то есть. Чего вам, собственно, нужно?

Ты очень пренебрежительно говоришь о статье «Бильзе и я»³. Почему? Странная вещь! Прочитав эту статью, всегда считают нужным что-то подтвердить или оспорить. Только что же? Подтвердить или оспорить можно какое-либо утверждение. Но ведь я — почти-ка лучше! — ничего, собственно, не утверждал. Я не говорю: писатель имеет право писать портреты людей. Такое право недоказуемо. Что выдающиеся писатели во все времена на него притязали — факт установленный. Я хочу этот факт оправдать. Я хочу указать на ошибочность отождествления действительности с ее художественным изображением. Я хочу, чтобы произведение искусства рассматривалось как нечто абсолютное, не подлежащее дискуссии с житейской точки зрения. Я устанавливаю некое недоразумение и стараюсь исследовать его корни, ослабить по возможности вредное его действие. Вот и все. Разве это недостойно, бесполезно, похоже на манию величия? Разве я не действую в интересах искусства? Я рассчитывал на простую благодарность, а слышу только крики: «Да, да!» или «Нет, нет!» Странно устроен мир.

«Даже из простого сопротивления физическому недомоганию Т. М. хочется вывести достойное славы геройство». Ты говоришь это очень удивленным тоном, с подтекстом: «Что за вздор!» Ты явно думаешь, что каждого, кто улыбается, когда у него болит живот, я готов наделить бессмертием. Так понимают человека в баре «Одеон». Удивительно ли, что я предпочитаю сидеть дома?.. То, что я хочу сказать, коротко и более или менее точно выражено в словах моего Лоренцо⁴: «Нельзя возвеличиться, не положив на то многих усилий... Препятствия — лучший союзник воли...» (в словах Лоренцо, владыки радости, которого я писал не без доли сочувствия и перед лицом которого ты заявляешь, что «всякое проявление радости жизни я принципиально клеймлю как нечто низменное»). Поэтому таких людей, как Геракл или Зигфрид, я считаю популярными фигурами, но не героями. Героизм, на мой взгляд, — это «вопреки», это преодоленная слабость, для него нужна *нежность*. Слабый и маленький клингеровский⁵ Бетховен, который взшел на великий престол богов и, рвано пытаясь сосредоточиться, сжал кулаки, — вот это герой. Исторически физическое страдание кажется мне почти обязательным спутником величия, и психологически я это понимаю. Не думаю, что Цезарь стал бы Цезарем без своей хилости и без своей падучей, а если бы и стал им, то без них он не был бы в моих глазах таким героем. В конце концов, разве не полна героизма стойкая представительность измученного Томаса Будденброка? Неужели ты к этому глух?

«Т. М., которому по самой его природе суждено быть аскетом» — это не неверно, но это крайность. (Повторяю: ты должен был сказать что-то определенное.) Я аскет, поскольку моя совесть требует от меня работы как противоположности наслаждения и «счастья» — тем хуже для меня, потому что я не очень работоспособен. Вряд ли, следовательно,

меня можно назвать аскетом в каком-либо другом смысле слова, кроме такого: «Стремлюсь ли я к счастью? Я стремлюсь к своему труду!» Я не доверяю наслаждению, я не доверяю счастью, я считаю их непродуктивными. Я думаю, что сегодня нельзя быть слугой двух господ — наслаждения и искусства, что для этого мы недостаточно сильны и совершенны. Я не думаю, что сегодня можно быть бонвиваном и в то же время художником. Надо выбрать одно из двух, и моя совесть выбирает работу. Если это «квакерство», то «Фьоренца» проповедует квакерский образ жизни — поскольку он означает работу. Но не вообще. Право же, тебе следовало бы знать, что я слишком скептичен или, если взять более гордое слово, слишком свободен, чтобы в своих книгах что-либо проповедовать, — а квакерство и подавно! «Фьоренца» — это мечта о величии и о душевном могуществе. «О душах речь, о государстве речь» — вот и все. Дается изображение героической борьбы между чувством и духом, и это изображение совершенно беспристрастно. Что Фьоре смотрит на художников свысока, еще не означает тенденции. Вот если бы на Лоренцо свысока смотрел я, тогда моя книга приобрела бы тенденцию. Я смотрел на него как на героя. Я соблюдал почти чрезмерную справедливость. Приор иной раз оказывается в очень невыгодном положении. И разве ты не почувствовал, что в Лоренцо я вложил по меньшей мере столько же собственных черт, сколько в приоря, что он по меньшей мере такая же субъективная и лирическая фигура? Между прочим, добрые слова, которые нашлись у тебя для языка «Фьоренцы», были мне искренне приятны. В «Цейтгейсте» недавно говорилось иное. Там была всякая всячина насчет «натужного новомодного языка, какой нынче в ходу у несовершеннолетних снобов», и насчет «грубых нарушений правил грамматики». В таком духе была выдержана вся статья, а написал ее Рихард Шаукаль⁶. Разумеется, у него были причины для этой критики, или, как выразился бы ты, он «счел необходимым»...

И еще вот что! Ты говоришь, что когда-нибудь, если я чего-то достигну, я буду вызывать больше холодного уважения, чем сердечной любви. Дорогой друг, это неправда. Конечно, если ты скажешь это людям еще раз-другой, они поверят тебе. Если ты еще раз-другой изобразишь меня писателем озлобленным, холодным, язвительным и безродным, то, пожалуй, с любовью и прочим дело будет обстоять так, как ты предсказываешь. До сих пор все было иначе. Неверно, что «Будденброки» и «Тонио Крёгер» навязаны публике критическими разборами и приняты холодно. Эти мои самовыражения *любимы*, поверь мне, и притом в такой степени, что мне впору тревожиться. «Неужели я так мягок, так сладок, так посредствен, — не раз спрашивал я себя, — что меня так любят?» Ну и пусть. Не греша ни фривольностью, ни причудливостью, ни педантизмом, ни чопорностью, я не вижу причины, по которой в будущем, если мне суждена хоть какая-то долговечность, немцы должны отказать мне в любви. Что может не понравиться им в личном моем поведении? Я был тихим, вежливым человеком, который собственным трудом добился известного благосостояния, женился, производил

на свет детей, ходил на премьеры и был настолько хорошим немцем, что за границей больше месяца не выдерживал. Неужели непременно нужно еще играть в кегли и пить?

Вот, пожалуй, и все мои несогласия. Я почти уверен, что и у моего брата нашлись бы подобные замечания, — у этого Генриха Манна, которого ты изображаешь отгородившимся от всех эгоистом и который теперь самым экспансивным образом сражается в газетах за профессора Мурри⁷. Но пусть каждый печется о своих делах.

Ты не будешь, разумеется. так уж неправ, если сочтешь этот ответ неблагоприятным или даже смешным. Но я думаю: почему бы мне немного не поправить самого умного и самого осведомленного своего критика, если он в чем-то, на мой взгляд, ошибается или что-то искажает.

Прости мне этот манускрипт!

Твой Томас Манн

9

ПАУЛЮ ЭРЕНБЕРГУ

*Бад Тельц, 12 августа 1910,
Дача Томаса Манна*

Милый мой Пауль,

Большое тебе спасибо за твои участливые строки! Да, бедная Карла¹. Едва ли возможно вполне удовлетворительно объяснить ее смерть; во всяком случае, в двух словах этого сделать нельзя. Ты знаешь, наверно, что она была обручена с одним молодым мюльгаузенским фабрикантом, и притом к полному обоюдному счастью. Однако тут выявились внутренние конфликты, из-за которых она — субъективно — не могла больше жить. Она решила, что ее надежды рухнули, сочла, что ее шансы на жизнь исчерпаны. И тогда она приняла цианистый калий, который у нее давно уже был. Раздобыла она его, видимо, лишь из какого-то эксцентрично-эстетического пристрастия — так же, как девочкой, помнишь, она держала череп у себя в комодке. А уж потом она слишком долго играла с мыслью о яде, привыкла к мысли, что примет его по первому поводу. Лиане Приккен она как-то выразила свое удовольствие от того, что яду у нее хватает на целый полк. И проглотила дозу, которой хватило бы на роту, так что умерла очень быстро и, судя по всему, без мук. Что причинит она всем нам, как потрясет она этим безумным прекращением собственной жизни жизнь каждого из нас, об этом бедное дитя явно не задумывалось. Можешь представить себе горе нашей мамы. Произошло это в Поллинге² — у нее. Она сейчас здесь у нас и постепенно приходит в себя. Мне очень хотелось бы рассказать тебе подробности устно, вообще повидаться с тобой. Может быть, ты навестишь нас как-нибудь со своей женой? Мама передает тебе сердечный привет и благодарит вас за ваш прекрасный венок. И горячий привет вам от моей жены и от меня.

Всегда твой

Томас Манн

10

ЮЛИУСУ БАБУ

Бад Тэльц, 31.VIII.1910 г.
Дача Томаса Манна

Многоуважаемый господин Баб,

я был искренне рад Вашей открытке из Любека и еще больше — прекрасной маленькой статье в «Рундшау»¹, к которой она меня подготовила. Многим в этой статье я был потрясен так, как только можешь быть потрясен, когда из чужих уст слышишь вдруг то, что долго составляло часть немой подоплеки всех твоих мыслей и дел. Я не мог не вспомнить своего Лоренцо: «Так приятно слушать самого себя, это совсем не требует усилий». Что жизнь Томаса Будденброка и есть, как Вы намекаете, современная героическая жизнь, понял до сих пор только один критик — маленький, некрасивый Люблинский. И, признаться, только в благодарность за это я недавно схлестнулся из-за него с сумасшедшим болваном Лессингом². Самое прекрасное место в Вашей статье — это слова о «социально воспитанной напряженности духа». Пластика — хорошая вещь. Но есть что-то великолепное в критическом слове, не правда ли? Мне хотелось бы, чтобы Вы когда-нибудь написали обо всем моем творчестве, о моем «напряженном» героическом типе, разными индивидуализациями которого и являются Томас Б.³, Лоренцо де Медичи, Савонарола⁴, Клаус Генрих⁵ и тот, кого я держу на поводу сейчас (авантюрист!)⁶.

Очень благодарю Вас.

Преданный Вам

Томас Манн

11

ГЕНРИХУ МАННУ

Мюнхен, 27.IV.1912.
Мауэркирхенштр[ассе], 13

Дорогой Генрих,

прости, что я лишь сегодня отвечаю на твое письмо. Мне не удалось сделать это сразу. К текущей послеполуденной писанине теперь прибавились регулярные отчеты Кате.

Сердечно поздравляю с завершением драмы!¹ Многого бы я отдал, если бы мог сообщить то же самое о своей новелле², но никак не найду конца. Может быть, только перемена атмосферы, в середине мая, мне тут поможет. Я сейчас очень выдохся.

Военная служба. Мои воспоминания о ней довольно призрачны и туманны, это, собственно, нечто невесомое, атмосферное — как материал их толком не передашь, но я смогу непосредственно перенести их в тюремный эпизод «Авантюриста». Главное воспоминание — это чувство безнадежной оторванности от цивилизованного мира, ужасного внешнего

гнета и, в связи с этим, необыкновенно острого наслаждения свободой внутренней — например, когда я в казарме, за чисткой винтовок (чему я так и не научился) насвистывал из «Тристана». Но конечно, твой верноподданный³ так этого не воспримет. Даже если он чувствует ко всему этому бюргерское нерасположение, он должен сразу же и внутренне полностью подчиниться духу этого замкнутого мирка, судя по наблюдениям над моими товарищами-одногодичниками⁴. Хочет ли он освободиться? Тогда заставь его вести себя, как я, и заранее искать связей с гражданским миром, с помощью которых он может освободиться. Я использовал тогдашнего маминного врача — надворного советника Мая, болвана и карьериста, дружившего с моим старшим штабс-лекарем. Со старшим штабс-лекарем в полку иметь дело почти не приходится; зависишь от его подчиненного, штабс-лекаря, который проводит осмотр, посылает в «медпункт» (больничная комната при казарме для легких случаев) или в лазарет, велит «служить» и т. д. Этот штабс-лекарь был со мной крайне груб. «Кто вы такой, чего вы хотите» — вот его тон. При осмотрах, к которым я его покорнейше вынуждал, он разговаривал нагло и заявил, например, что должен закурить сигару, потому что иначе упадет в обморок (от отвращения). Результат был: «Служите. Всё. Шагом марш». Но Май поговорил со старшим штабс-лекарем, и тот вызвал меня с занятий по строевой подготовке в свой кабинет на осмотр. Ничего особенного он, по-видимому, не нашел, но сказал, чтобы я «пока» продолжал служить, а там дело уладится. «При такой ступне...» Через несколько дней санитар медпункта снял с моей ступни отпечаток листком копирки. Меня лечили в лазарете от «воспалительного плоскостопия», а оттиск показал, что о плоскостопии не могло быть и речи. Но вот в медпункт, где я ждал и где находился также штабс-лекарь, вошел с оттиском в руке старший штабс-лекарь. Сцена была превосходная, она очень хороша для твоего романа. Старший штабс-лекарь входит в фуражке, напустив на себя важность, подходит вплотную к штабс-лекарю и с мрачной, строгой миной глядит на его фуражку. Штабс-лекарь, привыкший к весьма коллегиальному обращению с ним, смущенно снимает фуражку и вытягивает руки по швам. Затем старший штабс-лекарь показывает ему оттиск, говорит ему что-то и приказывает увидеть нечто такое, чего на оттиске нет. Штабс-лекарь косится то на своего начальника, то на меня, то на оттиск и соглашается, щелкая каблуками. С этой минуты он стал со мной очень вежлив и обращался со мной, как с барином. Он знал теперь, что у меня есть связи наверху. Только из-за служебных формальностей миновало еще несколько недель, а потом я был «на воле». Забавнейшая коррупция. Вообще-то считается, что если уж ты там оказался, то вырваться чрезвычайно трудно.

А вот, в противовес этому, пример бессмысленной строгости, который в самом начале произвел на меня большое впечатление. В других ротах большим медпункта (то есть не лазарета) разрешалось после первых двух недель (которые сплошь проводишь в казарме) лежать дома. Наш капитан этого не терпел. Один одногодичник заболевает вечером, и на следующее

утро у него температура 40, так что он совершенно не в силах идти в казарму. Он болеет дома и по выздоровлении приносит справку от своего врача. В «наказание» его заставили очень долго, чуть ли не несколько месяцев, жить в казарме, что очень тяжело для одногодичников; спать в помещении для рядовых etc. С ума сойти. Но капитан в таких случаях принимал весьма гордый вид. «Моя рота, — говорил он, — должна быть ротой солдат». И рота эта, действительно, называлась «богатырская одиннадцатая». Тоже кое-что для тебя... В «помещении для рядовых» было у меня и такое наблюдение: одного и в самом деле признали негодным, потому что он во всеуслышание заявил высшей призывной комиссии, что он гомосексуалист. Не сумеешь ли ты это влести?

Больше при всем желании ничего написать не могу. В середине мая поеду в Давос.

С сердечным приветом Т.

12

ФИЛИППУ ВИТКОПУ

Мюнхен, 4.X.17.
Пошингерштр[ассе], 7

Дорогой господин профессор,

большое спасибо за юбилейные гинденбургские номера¹. Они послужили чтением во время болезни, ибо уже 8 дней, как я слег. Похожее на дизентерию заболевание кишечника снова знакомит меня с образом жизни больного, не лишенным, право же, прелести и всегда напоминающим мне тонкое замечание Ш. Л. Филиппа²: *les maladies sont les voyages des pauvres**. Я часто привожу эти слова. Не обязательно принадлежать к беднякам, чтобы восхищаться ими.

Было несколько отвратительных дней, но сейчас у меня нет жара, и яправляюсь. Я много читаю, перечитываю от корки до корки «Войну и мир» — по сути новую для меня книгу, потому что я читал ее только один раз в незрелом возрасте. Какое могучее произведение! Таких больше уже не пишут. И как я люблю все русское! Как веселит меня его противоположность всему французскому и его презрение к нему, презрение, с которым встречаешься в русской литературе на каждом шагу! Насколько ближе друг другу русская и немецкая человечность! Мое многолетнее искреннее желание — согласие и союз с Россией.

Политическое положение принимает прямо-таки юмористический характер. Центральные державы витийствуют о «роде человеческом» и Вечном Мире, а Антанта ругает их за банальную трескотню — все в мире шиворот-навыворот. Во всяком случае, демократия теперь у нас официально, что делает ее, вероятно, литературно невыносимой.

Зимой мне предстоит большая поездка — я буду выступать в 10 городах, распределяющихся между самыми разными провинциями Германии.

* Болезни — это путешествия бедных (франц.).

Дай бог, чтобы моя толстая кишка не помешала мне закончить до этого книгу. Я так рад, что буду *повествовать*. Кстати, в октябрьском номере «Нейе рундшау» помещена моя статья о «Палестрине» Пфитцнера³. Она тоже взята из «Размышлений»

Недавно я познакомился с Адальбертом Штифтером⁴, которого, представьте себе, мне вообще не случалось читать. Это была находка — я всей душой почувствовал себя в родной стихии. За эти годы я приучился чувствовать себя, несмотря на весь интернациональный налет, поздним отпрыском немецко-буржуазного повествовательного искусства.

Ваш Томас Манн

13

ГЕНРИХУ МАННУ

Мюнхен, 3 янв. 18

Дорогой Генрих,

твое письмо застает меня в такую минуту, когда мне физически невозможно ответить на него по-настоящему. Я должен отправиться в двухнедельную поездку, которую проклинаю и характер которой совсем не соответствует моему настроению, но которую я, как-никак, взвалил на себя. А кроме того, я не знаю, имеет ли смысл втискивать свою двухлетнюю духовную муку в письмо, которое поневоле получится бы куда длинней твоего. Верю тебе на слово, что ты не испытываешь ненависти ко мне. После избавительного взрыва статьи о Золя¹ и вообще при том, как все для тебя сложилось сейчас, у тебя нет на это причин. Да и слова о ненависти к брату² были скорее символом более общих расхождений с психологией руссоиста.

Если тебе было тяжело со мной, то мне, конечно, было куда тяжелее с тобой, это вытекало из природы вещей, и я тоже добросовестно делал, что мог. По меньшей мере две из твоих книг я и поныне хвалю всем и каждому как шедевры. Сколько раз ты, по «праву страсти», безжалостно издевался над моими простейшими и сильнейшими чувствами, прежде чем я возразил на это одной фразой, — об этом ты забываешь или умалчиваешь. Фраза эта была, конечно, не целиком личным выпадом, как и любая твоя фраза. Братское мироощущение придает личную окраску всему. Но вещи, какие ты в своей статье о Золя позволил своим нервам и преподнес моим, — нет, такого я никогда себе не позволял и не преподносил никому. Что после поистине французских колкостей, передержек, оскорблений этой блестящей поделки, уже вторая фраза которой была бесчеловечным эксцессом³, ты счел возможным, хотя это «казалось безнадежным», «искать сближения», доказывает всю беспечность того, кто «щедр сердцем вширь». Кстати сказать, тогда моя жена подробно и по-человечески бережно написала твоей и получила в ответ лишь дерзости.

Что мое поведение во время войны было «экстремистским», это неправда. Экстремистским, и притом до ужаса, было твое поведение. Но не

затем я два года страдал и боролся, отставил самые дорогие свои замыслы, обрек себя как художника на безмолвие, не затем я исследовал себя, сравнивал и утверждал, чтобы в ответ на письмо, которое — понятным образом — дышит торжеством, видит меня во главе «кучки отчаявшихся» и в поисках последних доводов, а кончается утверждением, что я не должен думать о тебе как о враге, — чтобы в ответ на это письмо, каждая строчка которого продиктована только чувством нравственной защищенности и уверенности в собственной правоте, броситься, рыдая, тебе на грудь. То, что позади у меня, было трудом каторжника, прикованного к галере⁴; однако этому труду я обязан сознанием, что сегодня я, пожалуй, не так беспомощен перед твоими фанатическими словосплетениями, как во времена, когда ты мог терзать меня ими вволю.

Ты и те, что с тобой, называете меня паразитом. Пускай! Правда, моя правда состоит в том, что я не паразит. Большой бюргерский художник, Адальберт Штифтер, сказал в одном письме: «Мои книги — это не только поэтические произведения: как нравственные откровения, как свидетельства серьезно и строго хранимого человеческого достоинства они обладают ценностью более долговечной, чем поэтическая». Я имею право повторять это вслед за ним, и тысячи людей, которым я помогал жить, — хотя и не декламировал *Contrât social**, приложив одну руку к сердцу, а другую воздев горé, — видят его, это право.

Ты — нет. Ты не в состоянии видеть право и этический уклад моей жизни, потому что ты мой брат. Почему никто, ни Гауптман, ни Демель⁵, воспевавший даже немецких коней, ни превентивно-воинственный Гарден⁶ (которому ты теперь наносишь почтительные визиты) не отнес на свой счет нападок из очерка о Золя? Почему этот очерк был всей своей бурной полемикой нацелен на меня? Братское мироощущение вынудило тебя к этому. Тому же Демелю, который после моей статьи в «Нейе Рундшау» прислал мне из окопов благодарное поздравление, ты можешь на правах близкого друга, которого приглашают на генеральные репетиции⁷, выказывать горячую симпатию, и он может отвечать тебе тем же; ибо вы хоть и очень разные натуры, но натуры не братские, и потому вы можете с ним житься... Пусть же завершится трагедия нашего братства.

Боль? Ничего. Постепенно твердеешь и тупеешь. Ведь после того, как Карла покончила самоубийством, а ты на всю жизнь порвал с Лулой⁸, разлука на целый земной срок — уже никакое не новшество в нашем кругу. Меня эта жизнь не привлекала. У меня отвращение к ней. Надо как-то доживать до конца.

Прощай

Т.

* Общественный договор (франц.).

14

ИОЗЕФУ ПОНТЕНУ

*Мюнхен, 29.III.19,
Пошингерштр[ассе], 1*

Глубокоуважаемый господин Понтен,

трудно сказать, почему я так долго не мог собраться прочесть Вашу новеллу¹, а значит, и написать Вам. Мешало то одно, то другое; для собственной моей работы приходилось много читать; а потом политика, газеты, время, которое то и дело потрясает и отвлекает! Все откладываешь и откладываешь, а там, глядишь, тебе уже представляется обязанностью и работой то, что первоначально казалось чистым наслаждением, каковым, впрочем, по природе своей, снова становится, стоит только за это взяться. Когда пришло новое Ваше письмо, я как раз начал читать, и, бог свидетель, вскоре я уже кончил, достаточно было двух-трех присестов, нескольких часов: это же не работа, а сплошное удовольствие — вбирать в себя такую историю, она очень существенно дополнила мое представление о Вас как о художнике и вызвала у меня еще большее любопытство ко всему дальнейшему! Какой гротеск, сколько в нем красоты! Такие картины, как ночная пляска монахов-заклинателей в клобуках вокруг согрешивших влюбленных там, наверху, среди этой патологической ночи, не забываются. И Ваша интонация, Ваша манера повествования нравится мне необычайно. В ней есть что-то консервативное, хотя и очарования современности она ни в коей мере не лишена. Короче говоря, я снова порадовался, что на Вас «напал».

Что касается меня, то после «Размышлений» я на первых порах целиком погрузился в сферу интимно-идиллическую и написал две небольших вещи² этого рода, которые после волокиты с корректурами выйдут у Фишера, вероятно, к осени или к зиме отдельной книжечкой. [...]

О политике лучше не начинать. Я разделяю Ваши чувства и, пожалуй, не желал бы, чтобы эта тошнотворно-«добродетельная» демократия поумнела после венгерских событий³, взволновавших меня до глубины души. Пускай бы они все обострили до крайности. У нас тоже можно со дня на день ждать слияния национального возмущения и большевизма. В «коммунизме», как я его понимаю, есть много хорошего и человеческого. Его конечная цель — вообще уничтожить государство, которое всегда будет государством силы, очеловечить и оздоровить мир его деполитизацией. Кто может быть по существу против этого? Только чур меня тоже и еще раз чур меня от «пролетарской культуры»⁴.

Преданный Вам

Томас Манн

15

КУРТУ МАРТЕНСУ

Мюнхен, 26 июня 1919.
Пошингерштр[ассе], 1

Дорогой Мартенс,

ты, конечно, согласишься мне, что мне трудно тебе отказать, тем более что твоя просьба почетна для меня. Но сейчас я действительно, при всем желании, не могу ее выполнить. Ничего еще не устоялось, мир еще даже не подписан, а когда и будет подписан, это ничего не завершит, все еще можно будет ждать авантюристических вещей изнутри и извне, и время, когда завтра устаревают те, что говорилось сегодня, никоим образом не прошло. После окончания «Размышлений» я, собственно, откестился от публицистики (я страшно уставал и устал от нее) и твердо решил строго сосредоточиться впредь на художественных планах, которые еще хотел бы выполнить. Ведь мне 44 года, и я хотел бы к 50 закончить оба романа¹, начатых до великого перерыва, чтобы подвести под крышу свое Собрание Сочинений. А если в промежутке я лично опять взял бы слово по политически-моральным вопросам, то, по-моему, это должен быть обстоятельный, добросовестный отчет о том, как представляются вещи автору «Размышлений» теперь. Мало того, что голова у меня сейчас занята другим (я целиком поглощен попыткой снова погрузиться в роман о «волшебной горе»), момент для этого совсем неподходящий. Что мне сейчас сказать? «Ребята, мужайтесь, все не так уж худо»? Этого я сказать не могу, ибо мне кажется, что хуже и тошнотворнее быть не может. Словом, не сердись на меня, я во всех смыслах не в том состоянии, чтобы утешать и ободрять, да и не чувствую себя тем человеком, которому в этот час подобало бы высказаться, и, безусловно, самое лучшее для меня — тихо корпеть над своим.

Всем сердцем твой

Томас Манн

16

ГУСТАВУ БЛЮМЕ

Мюнхен, 5 июля 1919.
Пошингерштр[ассе], 1

Милостивый государь,

на такие письма, как Ваше, нужно немедленно, без всякой задержки, с благодарностью отвечать, я это знаю, и мне совестно, что я отвечаю Вам этим убогим выражением благодарности с многодневным опозданием, в течение которого у Вас было время усомниться в том, что Вы поступили правильно и не истратили своего доверия на какого-то шалопая. Но иначе никак не получалось, я замученный человек. Я не жалею, было бы плохо, если бы было не так. Но мир совсем уж не дает иному покоя и, допекая тебя тысячами своих забот, знать не желает, что ты, говоря словами

Брукнера¹, «сделал композицию целью жизни, а это тоже большая нагрузка для нервов».

Только не подумайте, что я причисляю к «миру» Вас и Ваше письмо. Нет, это письмо относится прямо ко мне, оно непосредственно и глубоко меня затрагивает; я с волнением его перечитывал и от души благодарен Вам за то, что Вы решились его написать мне. Я не могу отблагодарить Вас хотя бы примерно тем же, но все-таки я хочу Вам сказать, что физиогномическое наше родство произвело на меня очень странное и таинственное впечатление. Снова обнаруживается, что «профессия», даже если она как будто и самым решительным образом заслуживает этого названия, есть нечто более или менее случайное. Среди моих внутренних возможностей издавна была врачебная деятельность, так же, как среди Ваших — судя по Вашему письму — писательская.

Кое-что из сказанного Вами о нашей национальной судьбе обладает силой, какой я, пожалуй, не встречал ни в печатных, ни в частных высказываниях об этих вещах, — не диво при том почти сумасшедшем легкомыслии, с которым относятся у нас к историческим явлениям. Что Каносса² по сравнению со сценой, когда германский кайзер предстанет перед трибуналом Антанты! Может быть, до этого дело не дойдет, — но самой возможности такой сцены достаточно, чтобы сделать ее событием для нас, даже если она не станет действительностью. «Все наше национальное бытие оказалось отягощенным виной и ложным» — вот против чего и протестовали заблаговременно мои «Размышления», когда другие еще думать не думали, что это событие возможно. Великая немецкая идея от Лютера (самое позднее от Лютера) до Бисмарка и Ницше опровергнута и обесцечена — это факт, который многие из нас приветствуют, который будет установлен многими, хорошо продуманными пунктами условий мира и который я хотел предотвратить в своей борьбе против литератора от цивилизации³. Что торжествовать будет мой противник, к этому вел ход вещей, я знал это заранее и выразил это. Надо настроиться на созерцательный, даже на фаталистически-веселый лад, читать Шпенглера и понять, что победа Англии—Америки закрепляет и завершает ход цивилизации, рационализации, утилизации Запада, являющихся уделом всякой стареющей культуры. Все чаще представляется мне эта война (поскольку она не была социальной революцией с самого начала; это другая сторона дела) гигантским донкихотством, последним могучим ударом германского средневековья, которое удивительно хорошо держалось, прежде чем с треском рухнуть. Теперь наступит англосаксонское мировое господство, то естьвершенная цивилизация. Почему бы и нет? При ней житье будет вполне комфортабельное. Немецкому духу не нужно даже умирать — напротив, есть ведь некоторые признаки, что под давлением беспримерного позора он хочет о себе вспомнить и остаться живым. Оporочивание великой немецкой идеи будет происходить в комфортабельных условиях, она, может быть, станет даже весьма интересна. Но играть она будет, вероятно, главным образом романтическую роль — роль тоски старой, умной, цивилизованной культуры по своей молодости, которая была немецкой.

Когда говоришь об этих вещах, никак нельзя сказать всего, да и фрагментарно скажешь лишь самую малость. Но примерно так видятся они мне в данный момент.

Повторяю свою благодарность за Ваше письмо, которым буду дорожить, и шлю Вам привет. Преданный Вам

Томас Манн

17

ЭРИКЕ МАНН

Глюксбург, 26 июля 1919

Дорогая Эри!

Премного благодарен тебе за твое бойкое письмецо. Оно доставило мне большое удовольствие. Надеюсь, ваша поездка в Штарнберг прошла прекрасно и никто не свалился в яму, ведь при этом, того и гляди, порвешь штанишки, что со мной случилось однажды. Но прежде был еще день рождения Милейн¹, о котором я, конечно, еще узнаю кое-что от мальчишек. Очень уж увлекательно ты описываешь подготовку к нему. Но ты пишешь, что, «к сожалению», придет тетя Лула, и, прочитав это, я оторопел. Такая элегантная дама, еще элегантнее даже, чем твой Пилейн², а ты говоришь «к сожалению»?.. Игру в восемь рук на Арцисси³ я бы тоже с удовольствием послушал... Будь вы все здесь, вы бы плясали и ликовали по поводу огромного количества прекрасной еды! Вчера вечером опять была замечательная твердая северно-немецкая яичница и жареная картошка, которая блестела от масла. А затем еще холодная закуска лучшего сорта! Это как в раю небесном. А до этого я был в саду господина Шельберга и пасся у кустов и деревьев сколько душе угодно. Красная, черная и желтая смородина, вишни и малина, крупная, как клубника. Но на этом кончаю, а то у тебя слюнки потекут. Мони⁴ я напишу отдельно и особо.

Смотри, будь маме хорошей помощницей!

Твой П.

18

СТЕФАНУ ЦВЕЙГУ

*Мюнхен, 28.VII.20,
Пошингерштр[ассе], 1*

Глубокоуважаемый господин Стефан Цвейг,

спасибо от души за Ваш прекрасный, драгоценный подарок, за эту книгу¹, которой я давно с радостью ждал и которую, благодарно гордясь выраженной мне в надписи симпатией, держу наконец в руках. Что автор этих блистательнейших произведений искусства критики оказывает честь моей жизни и моим писаниям, не может меня не радовать. Такие, как я, определяют ценность анализа и критики степенью их продуктивности, то есть

их вдохновляющим, возбуждающим, тонизирующим воздействием. Признаюсь, критика оказывает на меня такое воздействие чуть ли не сильнее, а иногда и сильнее, чем продукция первичная. Читая Вашу книгу о мастерах, я ощущаю его очень сильно. Ваш «Достоевский» бесспорно самое смелое и компетентное из всего, что со времен Мережковского «прикладывалось» к этому великому сыну XIX века (века, которым сегодня порою нагло пренебрегают). Толстой, вы понимаете, ближе моему эпическому идеалу (Вы говорите о «великой тайне» этого идеала и об этой традиции на стр. 173). Толстой, ясновидец жизни, стоит в том гомеровском ряду предков, на который моя тщедушная новизна оглядывается благоговейно, но с известной — простите за слово — фамильярностью. В Достоевском я всегда видел только совершенно экстраординарное, дикое, чудовищное и ужасающее явление, стоящее вне всякой эпической традиции, — что, впрочем, не мешало мне считать его, в сопоставлении с Толстым, несравненно более глубоким и искушенным моралистом. «Искушенность в христианстве» — это выражение осталось у меня от времен моих занятий Савонаролой². Ницше, который ею обладал и сознательно разделял ее с Паскалем, любил ее в Достоевском. Это совсем иной мир, чем пластично-эпический; Толстой, в чьем морализировании есть чувственность, мало в этом смыслил. Господи, каким он не был великим грешником, сколь сокрушенно ни заставлял он себя в это поверить. А Достоевский им был. Я наверно всегда буду скорее называть его великим грешником, чем великим художником. Но чем-то совсем великим, чем-то потрясающе и страшно великим он во всяком случае был, и за то, что Ваше эссе заставило меня снова — и с такой силой, как то редко бывало, — ощутить это величие, я благодарю Вас с искренним восхищением.

Преданный Вам
Томас Манн

19

КАРЛУ МАРИИ ВЕБЕРУ

Мюнхен, 4.VII.20.
Пошингерштр[ассе], 7

Глубокоуважаемый господин Вебер,

Какое взволнованное и волнующее письмо, какой прекрасный поэтический подарок получил я от Вас благодаря любезному посредничеству В. Зейделя¹ — и то, и другое было для меня радостью, и я благодарю Вас за все от души.

Я много раз читал Ваши стихи и находил множество поводов для симпатии, даже для восхищения. Это, конечно, не случайность, что и как художник Вы выигрываете больше всего там, где Ваше чувство достигает высшей степени свободы и непринужденности — например, в «Пловцах», где многое отмечено гуманизмом молодого поколения, и в «Сладострастии речи», стихотворении несомненно прекрасном. Я говорю это, хотя я на-

писал «Смерть в Венеции», которой Вы посвятили в своем письме такие приветливые слова, защищающие ее от доводов и упреков, хорошо, вероятно, известных и Вам самому. Хотел бы я, чтобы Вы участвовали в разговоре, который мы недавно допоздна вели об этих вещах с Вилли Зейделем и еще одним товарищем по искусству, Куртом Мартенсом; ибо мне было бы очень неприятно, если бы у Вас — и у других — осталось впечатление, будто я отрицаю или, поскольку она мне доступна, — а она, смею сказать, доступна мне чуть ли не безоговорочно, — отвергаю некую разновидность чувства, которую, наоборот, чту, потому что она почти обязательно — во всяком случае, более обязательно, чем «нормальная», — обладает *духовностью*.

Художественную причину, по которой такое впечатление может сложиться, Вы распознали умно и ясно. Она заключена в разнице между дионисийским духом индивидуалистически-безответственных лирических излияний и аполлоновским объективно стесненного, нравственно и социально ответственного повествования. Я добивался равновесия чувственности и нравственности, находя его идеально полным в «Избирательном сродстве»², которое во время работы над «См. в В.» прочел, если память мне не изменяет, пять раз. Но что новелла моя по сути гимническая, больше того, что происхождение ее гимническое, это от Вас не могло ускользнуть. Болезненный процесс объективизации, который должен был произойти в силу моей природы, изображен во введении к вообще-то неудавшейся «Песни о ребенке»³.

Помнишь? Волненье хмельное, нежданное новое чувство
Вдруг овладело тобою, пасть тебя ниц заставляя, —
И, потрясенный, лежал ты, лицом уткнувшись в ладони;
Полнилась гимном душа и вылиться в песню рвалась,
Слезы застлали твой взор... Но, увы, ничего не свершилось,
Труд начался кропотливый, усердные поиски формы,
И *вдохновенная песнь* свелась к *поучительной притче* *.

Но художественный повод к недоразумению — лишь один среди прочих, важнее даже чисто духовные: например, *натуралистическая*, столь чуждая вам, молодым, установка моего поколения, вынудившая меня увидеть в данном «случае» и патологию и заменить этот мотив (климактерий) символическим (Тадзио как Гермес Психопомп⁴). Добавилось и нечто еще более духовное, потому что более личное: совсем не «греческий», а протестантско-пуританский («бюргерский») склад не только переживающего героя, но и мой собственный; другими словами — наше глубоко недоверчивое, глубоко пессимистическое отношение к самой этой страсти и к страсти вообще. Ганс Блюер⁵, чьи писания меня очень занимают — в его «Роли эротики» заключена идея безусловно значительная и сугубо германская, — определил однажды эрос как «утверждение человека независимо от его ценности». По поводу этого определения, охватывающего всю иро-

* Перевод стихов А. Исаевой.

нию эроса, моралист — а статья на точку зрения моралиста можно, конечно, опять-таки лишь иронически — должен сказать: «Хорошенькое утверждение, если оно «не зависит от ценности». Благодарю покорно!»... Но если говорить более серьезно, то, собственно, предметом моего рассказа была страсть как смятение и унижение, в том, что я первоначально хотел рассказать не было вообще ничего гомоэротического, это была — гротескно поданная — история старца Гёте и той девочки в Мариенбаде⁶, на которой он, при согласии ее мамы, карьеристки и сводницы, и к ужасу собственной семьи, хотел жениться partout*, чего, однако, эта малютка совсем не хотела... мучительная, трогательная и великая история, которую я еще, может быть, когда-нибудь напишу. А тогда привошло одно лирически-личное дорожное переживание, надоумившее меня заострить ситуацию мотивом «запрещенной» любви...

Письму пришлось полежать. Я не хотел кончить его, не сказав Вам еще кое-чего о своем отношении к этому направлению чувств вообще. Вы не станете требовать от меня, чтобы я поставил его абсолютно выше более пространного. Поставить его абсолютно ниже могла бы только одна причина — «неестественность», а эту причину уже Гёте убедительно отвергал. Закон полярности имеет силу явно не всегда, мужская статья не обязательно тянется к женской, опыт опровергает утверждение, что лишь при «эффеминации» она чувствует влечение к своему полу. Опыт, правда, и учит, что причиной тут может быть, и часто бывает, вырождение, двуснастность, промежуточность статьи, короче, нечто отталкивающее патологическое. Это медицинская сфера, она заслуживает внимания разве что в аспекте гуманности, но не в духовном и культурном аспекте. С другой стороны, не может быть и речи о том, будто, скажем, Микеланджело, Фридрих Великий, Винкельман⁷, Платен⁸, Георге⁹ были не мужественными или женственными мужчинами. Тут полярность просто не срабатывает, и налицо мужественность такого рода или даже такой степени, что и в эротических делах для нее имеет интерес и значение лишь сфера мужского. Меня несколько не удивляет, что закон природы (полярность) дает перебои в той области, которая, несмотря на ее чувственность, имеет очень мало отношения к природе и куда большее к духу. Что зрелая мужественность ласково тяготеет к красивой и нежной, а та, в свою очередь, тянется к ней, в этом я не нахожу ничего неестественного, вижу большой воспитательный смысл и высокую гуманность. Кстати сказать, в культурном отношении однополая любовь явно так же нейтральна, как и другая; в обеих все решает индивидуальный случай, обе родят низость и пошлость, и обе способны на нечто высокое. Спору нет, Людвиг II Баварский¹⁰ типичен, но типичность его инстинктов, по-моему, щедро уравновешена высокой строгостью и достоинством такой фигуры, как Ст. Георге.

Что касается лично меня, то мой интерес в какой-то мере делится между двумя блюеровскими принципами общества, принципом семьи и принципом мужских союзов. Я по инстинкту и убеждению сын семьи и отец семейства.

* Во что бы то ни стало (франц.).

Я люблю своих детей, особенно горячо — девочку, которая очень похожа на мою жену, какой-нибудь француз назвал бы это обожествлением, — вот Вам «бюргер». Но если речь идет об эротике, о небюргерской, духовно-чувственной аванюре, то дело представляется немного иначе. Проблема эротики, даже красоты, на мой взгляд, заключена в напряженности отношений жизни и духа. Я намекнул на это в одном месте, где ничего подобного нельзя было ожидать. «Отношения жизни и духа, — сказал я в «Размышлениях», — это крайне деликатные, трудные, волнующие, болезненные, заряженные иронией и эротикой отношения...» А дальше я говорю о «лукавой» страсти, которая и составляет, может быть, философское и поэтическое отношение духа к жизни. «Причем страсть исходит и от духа, и от жизни. Жизнь тоже желает духа. Два мира, взаимоотношения которых эротичны, без явственной полярности полов, без того, чтобы один мир представлял мужское начало, а другой — женское — вот что такое жизнь и дух. Поэтому у них не бывает слияния, а бывает лишь короткая опьяняющая иллюзия слияния и согласия, и между ними царит вечное напряжение без разрешения... Проблема красоты заключена в том, что дух воспринимает как «красоту» жизнь, а жизнь — дух... Дух, который любит, не фанатичен, он талантлив, он политичен, он домогается, и его домогательство — это эротическая ирония...»

Скажите мне, можно ли «выдать» себя лучше. Моя идея эротики, мое переживание ее выражено здесь полностью. Но в конечном счете все сказанное здесь — не что иное, как перевод на язык критической прозы прекраснейшего на свете любовного стихотворения¹¹, заключительная строфа которого начинается строчкой: «Кто глубины постиг, жизнью любит»*.

Это поразительное стихотворение содержит в себе все оправдание рассматриваемого направления чувства и все его объяснение, которое совпадает с моим. Георге, правда, сказал, что в «См[ерти] в В[енеции]» высшее низведено в сферу распада, — и он прав; натуралистическую школу я прошел не безнаказанно. Но отречение, хула? Нет.

Что К. Гиллер¹² любит этот рассказ, я рад слышать, ибо уважаю Гиллера; его интеллектуалистская острота лишена наглости, он не злобен, его нападки на меня оставались в границах пристойного. В мировоззренческом отношении особый эротический склад явно так же индифферентен, как и в культурно-эстетическом, — «получиться тут» может самое разное. Гуманный активизм, извлекаемый Гиллером из корней своей сексуальности, мне чужд, часто противен. В нем куда меньше кастовости, чем в омерзительном «комитете» доктора Гиршфельда,¹³ но что-то от нее в нем все-таки есть. Выводы Блюера мне куда симпатичнее, да и гораздо интереснее. Не говоря уж о фигуре Георге и высоком вождизме. Враждебность ко мне Гиллера — это враждебность Просвещения к романтике. «Консерватизм как эротическая ирония духа» — формула, конечно, дерзко романтическая.

* Перевод В. Микушевича.

Писал я наскоро, отрывочно и беспорядочно. Не обессудьте. Чтобы по настоящему справиться с этой темой, я должен был бы написать статью, которую и правда пора бы уж написать.

С самым дружеским приветом

Преданный Вам
Томас Манн

20

ВОЛЬФГАНГУ БОРНУ

Мюнхен, 18 марта 1921

Дорогой господин Борн,

с удовольствием рассматриваю Ваши графические фантазии к моему рассказу «Смерть в Венеции». Это всегда лестное и трогательное событие для писателя — увидеть, как произведение его духа принято, воссоздано, почтено, прославлено искусством, чувственно более непосредственным, изобразительным искусством или театром. Но в данном случае мне кажется даже, что наглядность стала одновременно и скорее одухотворением предмета или, если угодно, сильно подчеркнула и выпятила его духовные элементы, — это, без сомнения, самое благоприятное, что может быть сказано об иллюстрированном произведении или о театральной постановке. Было бы, право, неблагодарностью, если бы я вздумал жаловаться на ту меру участия, которую нашел и все еще находит мой рассказ у немецкой публики. И тем не менее меня не раз коробило от привкуса сенсации, сказывавшегося в этом участии и связанного с патологическим характером материала. Не отрицаю, что патология обладает и всегда обладала для меня большой духовной притягательностью. Но мне всегда было неприятно, когда в суждениях о моем творчестве слишком уж сильно за это цеплялись, слишком уж односторонне с этой точки зрения смотрели на вещи: не далее как вчера я прочел, например, что мои «Будденброки» — это, собственно, история мочекишечного диатеза в четырех поколениях — вот так. Ведь именно потому, что притягательность для меня явлений болезненных была духовного свойства, я инстинктивно стремился к их одухотворению, прекрасно зная, что только скверный натурализм делает культ из патологии ради нее самой и что она может войти в художественное изображение только как средство для духовных, поэтических, символических целей. Ваши рисунки отрадны для меня прежде всего тем, что они совершенно высвобождают новеллу из патологической перспективы, очищают ее от патологической сенсационности материала и оставляют только поэзию. Это происходит уже благодаря остроумному выбору ситуаций или внутренних моментов, — не каждому «иллюстратору», например, пришло бы в голову сделать предметом особого листа образ прелестного мученика¹, появляющийся в рассказе как вроде бы мимолетная ассоциация. Происходит это, однако, и благодаря отвлеченной и символической манере самих рисунков, благодаря какой-то их атмосфере, которую я смею одобрить и признать

верной, хотя вообще-то предоставляю специалистам критически оценивать художественную ценность таких работ.

Еще два слова о последнем рисунке, озаглавленном «Смерть», который кажется мне странным и чуть ли не таинственным из-за некоего сходства. В замысел моего рассказа вторглось, в начале лета 1911 года, известие о смерти Густава Малера², с которым мне незадолго до того довелось познакомиться в Мюнхене и чья изнуряюще яркая индивидуальность произвела на меня сильнейшее впечатление. Находясь в те дни, когда он умирал, на острове Бриони, я следил за печатавшимися в «Винер Прессе» велеречивыми бюллетенями об его последних часах, и когда потом эти потрясения смешались с впечатлениями и идеями, из которых рождалась моя новелла, я не только дал своему охваченному вакханалией распада герою имя этого великого музыканта, но и наделил его при описании его внешности чертами Малера в полной уверенности, что при такой зыбкой и скрытой связи вещей об узнавании со стороны читающей публики не может быть и речи. И в Вашем, иллюстратора, случае тоже не было речи об этом. Ведь и Малера Вы не знали, и относительно той тайно-личной связи я ничего Вам не говорил. Тем не менее — и это-то при первом взгляде почти испугало меня — голова Ашенбаха на Вашем рисунке — несомненно малеровского типа. Это ведь поразительно. Разве не считают (так считает Гёте), что язык совершенно неспособен выразить нечто индивидуально-специфическое и что поэтому невозможно быть понятым, если у слушателя нет такого же зрительного восприятия? Слушатель, считают, должен обращать внимание больше на внутреннее состояние говорящего, чем на его слова. Но коль скоро Вы, художник, так точно схватили индивидуальные черты на основании моего слова, значит, язык обладает той силой «внутреннего состояния», той силой внушения, которая делает возможной передачу зрительного восприятия, не только при непосредственном общении человека с человеком, но и как художественное средство литературы. Это кажется мне настолько интересным, что совсем умолчать об этом я в данном случае не смог. Счастливого пути Вашему труду и спасибо за высокую заботу о моем!

Преданный Вам

Томас Манн

21

В «РУПРЕХТСПРЕССЕ»

Мюнхен, 25.III.21

Милостивый государь!

о «Песни о ребенке» я могу Вам сказать немного. К этой маленькой затее я пришел через прозаическую идиллию «Хозяин и собака», в язык которой местами уже проникло что-то от духа гекзаметра, даже от его ритма. В стихотворной идиллии мое честолюбие версификатора пошло немалого дальше. Мне важнее было наметить гекзаметр и дать почувствовать его дух, который был духом темы, чем писать правильные стихи, не-

малое количество которых, впрочем, можно найти в этой поэме — они принимались с радостью, если возникали совсем легко и случайно. В рецензиях много говорилось о том, что стих спотыкается, а по-моему, это только кажется так. Если читать мои строчки не как гекзаметр, а свободно, они читаются хорошо, как подтвердили мне люди, чуткие к языку. Вообще-то по этому поводу я часто вспоминаю, как Гёте, попросив старика Фосса¹ подчеркнуть ему в «Германе и Доротее» плохие гекзаметры, получил ответ, что, к сожалению, приходится подчеркивать все сплошь.

«Герман и Доротея» — самая искренняя, самая простодушная, самая благородная, наивная и нравственная из поэм Гёте, как назвал ее Фридрих Шлегель², добавив похвальный, наверно, эпитет «отечественная», — вот тот высокий образец, который маячил передо мной, когда я импровизировал свою поэму; общее у нее с Гёте — это фон великой пертурбации, войны и народной бури, и даже в «либеральном» — снова пользуясь выражением Шлегеля — взгляде на эти события она тоже подражала ему. Обе идиллии — и о ребенке, и о животном и пейзаже — первые шаги в искусстве после долгой абстракции «Размышлений аполитичного»; это плоды глубокой потребности в уединении, мире, веселье, любви, искренней человечности, которая не имела бы ничего общего с «человечностью» и «любовью» тогдашней литературной моды — потребности в чем-то прочном, неприкосновенном, неисторическом, священном, и поскольку мне надо было погрузиться в эту стихию, я относился к идиллии и духу гекзаметра действительно серьезно. Тем не менее вряд ли кто-либо найдет, что *вера* в сегодняшнюю возможность идиллии стоит в этих идиллиях на твердой почве, и если уж о «Германе и Доротее» Шлегель сказал, что даже в самых как будто близких к Гомеру и самых как будто наивных местах поэмы чувствуются «сознание» и «самоограничение» совсем негомеровские, — то в моем очень позднем случае эта осознанность принимает характер прямо-таки насмешки, что особенно очевидно, например, в гекзаметрическом полустихии «перекинь водорода» или в таких оборотах, как «юнец полномочный». Короче говоря, отсутствие настоящей наивности проявляется в склонности к пародированию, — и, стало быть, из этого маленького поэтического происшествия можно хотя бы вывести закон или определение, что любовь к такому духу искусства, в возможность которого уже не веришь, родит пародию.

Преданный Вам
Томас Манн

22

ГЕНРИХУ МАННУ

Мюнхен, 31.1.22

Дорогой Генрих,

прими с этими цветами мой сердечный привет и самые лучшие пожелания, — мне нельзя было послать их раньше.

Позади у нас трудные дни, но теперь мы перевалили через горы и пойдем лучше, — вместе, если у тебя на душе так же, как у меня.

Т.

23

ИДЕ БОЙ-ЭД

Мюнхен, 5. XII. 22

Дорогая, милостивая государыня,

спасибо за Ваше письмо, заботливая тревога которого вызывает у меня уважение! Но все-таки я не могу не думать, что если бы статью¹ не опередили недобросовестные сообщения газет, Вы тоже прочли бы ее другими глазами. Тенденциозное бюро Вольфа² сообщило, будто я так-таки и заявил, что республика рождена не позором и поражением, а подъемом и честью, точка... Этим выражалось одобрение революции. Чтó я сказал, Вы видели. Я отнес начало республики не к 1918, а к 1914 году. Тогда, сказал я, в час чести и беззаветной готовности броситься в бой, возникла она в сердцах молодежи. Этим, я как-никак, дал какое-то *определение* республики в моем понимании — ведь не стал бы я вообще провозглашать здравицу за республику, не определив ее прежде. И как?! Почти как противоположность *нынешней* действительности. Но в том-то и штука: попытка придать этому горестному государству, у которого нет граждан, какое-то подобие идеи, души, живого духа казалась мне неплохой затеей, представлялась мне чем-то вроде доброго дела! И Вы, в своем письме, кое-где так близки ко мне, что я, право, не совсем понимаю Вашу боль. Вы видите мой путь, раз Вы говорите об отождествлении понятий гуманность и демократия. Вы называете мою демократию «идеалом всех зрелых и верящих в будущее творческих людей». И тем не менее предательство, измена самому себе, отречение от собственных поступков! Я ни от чего не отрекаюсь. Эта статья — прямое продолжение существенной линии «Размышлений», поверьте мне! Во имя немецкой гуманности я резко выступил против революции, когда она надвигалась. Из тех же побуждений я резко выступаю сегодня против реакционной волны, которая проходит по Европе (ибо я думаю не об одной Германии), как после наполеоновских войн, и которая не кажется мне отраднее в своем фашистско-экспрессионистском бешевании. Я чувствую, что великая опасность, привораживающая уставшее от релятивизма и жаждущее абсолюта человечество, — это обскурантизм в любой его форме (успех римской церкви), и я на стороне великих наставников Германии, Гёте и Ницше, которые умели быть антилиберальными, не давая ни малейших поблажек никакому обскурантизму и ничуть не поступаясь человеческим разумом и достоинством. Видите, я не отвернулся от Ницше, хотя, правда, задешево отдам его умную обезьяну, господина Шпенглера. А из того, что я дважды становился в оппозицию к своему времени, надо бы, мне кажется, сделать вывод скорее об известной безошибочности инстинкта и независимости совести, чем о податливости «влияниям» и «связям».

Не обессудьте — и эту весьма отрывочную попытку оправдания, и меня вообще!

Ваш Т. М.

24

ГЕНРИХУ МАННУ

Мюнхен, 17.II.23

Дорогой Генрих,

незачем говорить тебе, что германские поездки с выступлениями теперь невыгодны. Я только что побывал в Дрездене за 50 000 марок, которые бедному ферейну подарили *ad hoc**, и должен был бы еще доложить, если бы не остановился на частной квартире и мне все равно не нужно было бы ехать в Берлин, так что я сэкономил на дороге. Если ты при комбинации близлежащих городов не возьмешь за вечер 30 000 м, ты не сделаешь дела, которое окупило бы тебе затраченные усилия. С другой стороны, не думаю, чтобы ферейны могли себе позволить дать больше. Требуй для начала 40 000 за вечер. Я скоро поеду в Аугсбург за 25 000, но это уже старая договоренность.

Хороши наши французы. Кажется, они задались целью испортить дело любому, кто в Германии хочет добра. Уверяют, что подробности насчет Рура¹ не преувеличены, а скорей даже бледнеют перед правдой. Озлобление царит ужасное — оно глубже и дружнее, чем то, которое привело к падению Наполеона. Трудно сказать, что будет дальше. И скверно то, что фиаско французов, как оно ни желательно, внутривполитически означало бы триумф национализма. Неужели действительно надо было загонять лучшую Германию в этот тупик? В 1918 году из Германии можно было веревки вить, но другие, считавшие, что они-то лучше, не проявили большого педагогического таланта.

Сердечный привет и лучшие пожелания!

Т.

25

ФЕЛИКСУ БЕРТО

Мюнхен, 1.III.23

Милостивый государь,

Спешу поблагодарить Вас за Ваше милое письмо, которое доставило мне большое удовольствие. В самом деле, в этой Европе, раздираемой недоразумениями между народами, нельзя было бы уже жить, если бы не сохранилась индивидуальная и духовная сфера симпатии, взаимосвязи, товарищеского согласия.

Ваши разнообразные сообщения не столько «испугали» меня, сколько душевно обрадовали, и я искренне признателен Вам за интерес к моей работе, который в них выражен. «Смерти в Венеции» повезло в широком мире. С недавнего времени она существует на польском языке, а еще раньше ее перевели на венгерский, русский, шведский и, кажется, на

* Специально для этого (лат.).

итальянский. Мне будет особенно приятно увидеть ее теперь и на языке Флобера. История эта, собственно, не что иное, как «Тонио Крёгер», рассказанный еще раз на более высокой возрастной ступени. Если у него и есть преимущество большей свежести, юношеского чувства, то зато «Смерть в Венеции» несомненно более зрелое произведение и композиция более удавшаяся. Не могу забыть чувства удовлетворения, чтобы не сказать — счастья, которое порой охватывало меня тогда во время писания. Все вдруг сходило, все сцеплялось, и кристалл был чист.

Вы хотели бы получить от меня некоторые биографические данные для Вашего портрета в «Ревю эропеэн». Исполнить Ваше желание дело недолгое, ибо до сих пор, то есть до 47 лет, моя жизнь протекала крайне спокойно, — хотя на мой вкус и недостаточно спокойно, ибо все более беспокойной и рассеянной делают ее изнурительные требования мира, которым я из какого-то педантического чувства долга стараюсь соответствовать, в то время как истинная потребность моей души — это только сосредоточенность, а отнюдь не рассеянность.

Происхождение мое описано ведь с чрезвычайной точностью в «Будденброках», автобиографическим продолжением которых является в известной мере «Тонио Крёгер». Я родился в Любеке в 1875 году — второй сын сенатора свободного города и наследника старого торгового дома, ликвидированного после его смерти. Моя мать, которая еще жива, родом из Рио де Жанейро; ее отец был, однако, немец, из туземцев только ее мать. Таким образом, налицо примесь латинской крови, в художественном отношении гораздо сильнее проявляющаяся у моего старшего брата Генриха, но несомненно заметная и у меня — достаточное для нашего литературного тевтонства основание меня отвергнуть. И все-таки северное начало во мне настолько сильней, что душою я по-настоящему так и не прижился в Мюнхене, куда, еще почти мальчиком, был пересажен вместе с братом и сестрами. Сфера католической народности — не моя сфера. Мой мир — это в общественном отношении патрицианская гражданственность, а в духовном — индивидуализм протестантской внутренней жизни, из которого вышел когда-то «воспитательный роман». Об этих вещах я подробно говорил в «Размышлениях аполитичного», порождении войны, в котором сегодня, и на мой собственный взгляд, кое-какие частности не выдерживают критики, но аполитичную гуманность которого истолковать в политически реакционном смысле способно было лишь грубое непонимание. Известная антилиберальность этой исповедальной книги объясняется моим отношением к Гёте и Ницше, в которых я вижу своих высочайших наставников, — если не бессовестно навязываться в ученики таким фигурам. Свою идею гуманности я пытался обрисовать в статье «О немецкой республике», за которую на меня обиделись, усмотрев в ней отход от немецкой идеи и противоречие «Размышлениям», хотя внутренне она представляет собой прямое их продолжение.

Короче говоря, в барочном, крестьянском и чувственном Мюнхене, который в известном отношении совсем не «мой» город, я пустил житейские корни, здесь я, в довольно молодом возрасте, женился, здесь, непосред-

ственно на берегу Изара, чье журчание заменяет мне рокот Балтийского моря, построил себе дом, вижу вокруг себя поразительно много детей, их шестеро, и здесь, я, пожалуй, и кончу свою жизнь. Красивой вершинкой этой жизни был день, когда я в прошлом году в Любеке, в кругу своих земляков и под приветствия официальных глав города, открыл так называемую «Будденброковскую книжную лавку», устроенную в прихожей нашего старого семейного дома. Заметили, оказывается, что об этом доме справляются приезжие, и если в юности я слыл неудачным отпрыском столь почтенной общины, то сегодня я произведен в чин «сына города». Это смешно, и если мне все-таки было приятно, то это свидетельствует о глубоких связях, которые всегда будут соединять меня с этой сферой.

От больших моих литературных предприятий меня слишком часто отвлекают поездки с выступлениями и очерковые импровизации, к которым принуждает меня время. Еще до войны я начал писать два романа, и один из них я теперь, после долгих перерывов, стараюсь закончить в первую очередь, — эта пространная внутренне композиция с политическими, философскими и педагогическими поворотами и с заголовком «Волшебная гора» представляет собой попытку обновить «воспитательный роман». Другой, передразнивающий руссоистско-гётеанскую автобиографию, изображает воспоминания некоего авантюриста и гостиничного вора.

Я попросил своего издателя послать Вам «Тонию Крёгера». Со своей стороны прилагаю экземпляр статьи «О немецкой республике», которая теперь вышла брошюрой и для этого издания снабжена моим предисловием.

Покажите мне, что Вы расскажете обо мне своим соотечественникам, и держите меня в курсе дел, касающихся французской «Смерти в Венеции».

С глубочайшим уважением
преданный Вам

Томас Манн

26

ГЕРБЕРТУ ЭЙЛЕНБЕРГУ

Мюнхен, 6 января 1925

Многоуважаемый господин Эйленберг,

что Вы хотите сделать — написать о случае Пеперкорна? ¹ растрюбить о нем? ткнуть в него публику носом? вызвать скандал? Кому на радость? Гауптману на радость? Никак не получится! Общественности на радость? Но Вы же уготовите ей только сенсацию, ложную, возмутительную сенсацию, и мне пришлось бы с негодованием отвергнуть обвинение, будто в образе голландца я дал портрет Г. Гауптмана. Это неправда! Но, объявляя это неправдой, я готов отдать должное правде. В момент, когда образ стал актуален, — дело было в Больцано, позапрошлой осенью, — я находился под впечатлением могучей и трогательной фигуры этого писателя, что и повлияло на изображение Пеперкорна в отдельных внешних чертах. Этого я не могу и не хочу отрицать. Но ни на шаг дальше в своих уступ-

ках я не пойду. Да и что, сверх этого, может быть общего у Гауптмана с бывшим яванским кофеторговцем, который является в Давос со своей малярией и со своей ищущей приключений возлюбленной и намеренно убивает себя азиатскими снадобьями? Ничего, и воспоминания, может быть, и мелькнувшие у посвященных в начале этого эпизода, непременно должны уйти и исчезнуть по мере дальнейшего чтения. Роман прочитало теперь, вероятно, 50 000 человек. Из них самое большее два десятка, поскольку они разделяют эти впечатления со мной, вообще в состоянии о чем-то вспомнить. Все остальные ни о чем не подозревают, как то и требуется. И Вы хотите их просветить? Горячо и настойчиво прошу Вас отказаться от своего намерения!

Как и в других городах, я недавно читал начало пеперкорновского эпизода в Штутгарте, через несколько дней после того, как там выступал Гауптман. О публике я уж не говорю, но даже из тех, кто после выступления мэтра общался с ним в узком кругу, никто и глазом не моргнул, — ясно было, что никаких воспоминаний ни у кого не возникло. Близкие знакомые и друзья Г., Лёрке², Райзигер³, его «Эккерман» Шапиро⁴, написавший чуть ли не восторженную статью о «Волшебной горе», д-р Элесер⁵, которому я тоже обязан весьма положительной рецензией, приняли этот персонаж, если и не совсем без ассоциаций, то во всяком случае без всяких опасений. Вассерман, который тоже знает Г., написал мне по этому поводу следующее: «Если резонерствующие голоса Вашего оркестра выносятся в конце концов наверх такой образ, как Пеперкорн (портрет завидно точный и на зависть искусный), то это уже нечто иррациональное, это уже грандиозный плод фантазии», — да, именно: плод фантазии, произвольно и почти бессознательно окрашенный неким сильным, подлинным впечатлением, персонаж, который по идее, в существенных своих чертах, как противоположность «болтунам», превращающимся рядом с ним в карликов, определился, конечно, задолго до того, как я встретился с Гауптманом, и который обязан этой встрече, этому двухнедельному соседству кое-какими живыми чертами. И это означает, что я окаррикатурил первого писателя Германии? Разве Вам как поэту, разве Г. Г. не знаком процесс, о котором я говорю? Михаэль Крамер, по слухам, жил на свете. Жил на свете пьяница, коллега Крамптон. История Габриэля Шиллинга⁶ — «подлинная» история. А история Питера Пеперкорна — не подлинная, и от действительности ей досталось лишь несколько морщинок на лбу.

Излишне говорить, что ни в одной из множества печатных рецензий нет ни малейшего намека на какую-либо связь. Сдержанность ли тому причиной? Нет, вынужденная неосведомленность, нарушать которую было бы делом вредным для всех сторон. Но не совсем излишне отметить, что нет ни одного печатного или письменного отзыва, где бы этот Пеперкорн, наряду с Иоахимом Цимсенем, не был признан самой удачной и самой симпатичной фигурой моей книги. «Ему, — продолжает Вассерман, — этому Пеперкорну, принадлежит ведь Ваша тайная любовь...» Ваша тайная любовь! Я не думал, что она такая уж тайная. А теперь я должен защищаться от упрека в холодном предательстве!

Поверьте мне, дорогой господин Эйленберг, для меня было бы тяжелым ударом, по-человечески, если бы мысль о предательстве, насмешливом подглядывании, непочтительной эксплуатации — росток, как я подозреваю, питаемый извне, — пустила корни в душе Гауптмана. Во всяком случае это было бы дело, улаживать которое должны были бы мы только между собой, — дело, смею думать, не безнадежное: его величие, доброта и веселость позволяют мне рассчитывать на понимание. Но еще раз прошу Вас: ради бога, не «пишите» об этом! Напишите ему, напишите мне, как то велит Вам совесть! Но только не портите всего, передав это дело общественности, о которой Вы, наверно, не хуже моего знаете, что она до него не доросла и недостойна его!

Преданный Вам
Томас Манн

27

ИОЗЕФУ ПОНТЕНУ

Мюнхен, 1, 21.1.25,
Пошингерштр[ассе], 1

Дорогой Понтен,

спасибо за Ваше письмо, которое я внимательно прочитал, и за присланную Вами прекрасную корреспонденцию Биндинга¹. Я почти уверен, что поминальный праздник, который устроили эти славные мальчики, взволновал бы меня так же, как и его. Если правда, что они испытывают ко мне антипатию, то это печально для обеих сторон. Но именно потому, что печально это для обеих сторон, я считаю такое положение не окончательным.

Ваши предложения я должен отклонить. Я не чувствую необходимости заключать какими-либо смягчающими объяснениями тот живописный спор между нами, который Вы явно испытывали необходимость предать гласности. Если, по-Вашему, появление «Волшебной горы» Вас как-то опровергает; если, кроме того, Вы находите, что Ваши высказывания искажают или употребляют во зло, то это Ваше дело — объясниться на этот счет. Мне нечего говорить, публично — нечего. Кто читал «Размышления», знает, что Ваша полемическая работа не содержала разгромных для меня откровений. Кто знаком с музыкальной диалектикой «Волшебной горы», также это знает и знает вдобавок, что ответить Вам я сумел бы. Каждый понятливый человек понимает, что сегодня и почему сегодня мне хочется — бросить свое слово на ту чашу весов, где «дух», бросить без опасения, что в нашей Германии она перевесит чашу «природы» и «природа» когда-нибудь упорхнет бог весть куда. Если Вашей усердной дружбе и удалось мобилизовать против меня национальную молодежь, — что ж, новый роман, как я знаю, и то пробудил во многих юных сердцах чувство стыда и потребность извиниться передо мной, да и вообще я настолько

привык представлять в неправильном свете, освещение, падающее на меня, менялось уже настолько часто, что я отказался от неблагодарных и малопочтенных хлопот самозащиты и самообъяснения и решил предоставить все времени и дальнейшему спокойному проявлению в нем моей натуры.

На этом я мог бы, собственно, и закончить ответ на Ваше письмо, но чтобы Вы не считали меня человеком слишком уж вялым, добавлю еще кое-что.

Знаете ли Вы прекрасные, сильные слова, которые написал Варнхаген фон Энзе² в 1813 году, когда Гёте умудрился прослыть безродным бродягой? Я приведу их, знаете ли Вы их или нет. «Это Гёте-то не немецкий патриот? — восклицал Варнхаген. — В его душе давно сосредоточилась вся свобода Германии и стала там, ко всеобщему нашему неоцененному благу, образцом, примером, основой нашего развития. В тени этого древа мы все. Ни чьи корни не входили в нашу отечественную почву прочнее и глубже, ни чьи сосуды не пили ее соков истовей и упорней. Наша ратная молодежь и ее высокие помыслы связаны с этим духом, право, теснее, чем со многими теми, кто утверждает, что он был тут особенно деятелен».

Прекрасные, сильные слова. Из них вытекает та истина, которую я всячески публично отстаиваю, — что в делах национальных слово и мнение человека мало что решают, зато его бытие, его поступки решают все. «Если ты написал «Гётца», «Фауста», «Рифмованные изречения» и «Германа и Доротею», поэму, которую Шлегель почтил эпитетом «отечественная», — то можешь быть каким угодно великим гуманистом, позволить себе сколько угодно цивилизаторско-космополитической неблагонадежности в своем поведении, и все равно ты всегда будешь излучением великой немецкой идеи. Если ты — простите такое сопоставление в частном письме! — написал в молодости «Будденброков» и «Тонио Крёгера», а в зрелом возрасте «Волшебную гору», книгу, мыслимую только в Германии и самую немецкую, какая только может быть, — то ты достаточно неподделен, у тебя достаточно национальной «природы», чтобы в определенных, благоразумных и добрых целях немного поддержать «дух», не рискуя впасть в литераторское пустословие, и возможно, что наша любезная рёнская молодежь «связана» с таким духом «теснее», чем то предполагает сегодня ее раздражительность.

Давайте задержимся еще немного на Гёте! Вы знаете, что этот старый гуманист терпеть не мог «креста». Тем не менее он часто делал выразительно-почтительные уступки христианской идее. «Выше величия и нравственной культуры того христианства, — говорил он, — что сияет и светит в евангелиях, человеческого дух не поднимется». Это слова, в которых проглядывает симпатия, чувство союзничества, и над которыми стоит задуматься. Гёте склоняется перед «нравственной культурой» христианства, то есть перед его гуманностью, перед его антиварварской тенденцией к смягчению нравов. Это была и его, Гёте, тенденция; и идут такие реверансы при случае, несомненно, от понимания родства между миссией христианства внутри национально-германского мира (который, в частном письме это

можно сказать, всегда находится в каких-нибудь двух шагах от варварства, а то и вовсе в нем погрязает) и его, Гёте, собственной миссией. В том, что свое национальное назначение, свою задачу он считал в основном цивилизаторской, и состоит самый глубокий и самый немецкий смысл его «самоотречения». Неужели Вы сомневаетесь, что в Гёте были заложены возможности величия более дикого, более буйного, более опасного, более «естественного», чем то, какие ему позволил явить его инстинкт самообуздания, чем то, которое видится нам сегодня в его высокопедагогичной фигуре? В его «Ифигении» идея гуманности, как противоположности варварству, принимает облик цивилизации — не в том полемическом и уже политическом смысле, в каком употребляют это слово сегодня, а в смысле «нравственной культуры». Один француз, Морис Баррес³, назвал «Ифигению» «произведением цивилизаторским». Еще точнее, пожалуй, подходит это определение к другому произведению, рожденному самодисциплиной, самоограничением, даже самоистязанием, — к «Тассо», часто пренебрежительно отвергаемому из-за царящей в нем атмосферы образованности и придворной чопорности. Это произведения, рожденные «самоотречением», немецко-воспитательным отказом от тех преимуществ варваризма, которыми вовсю и с таким огромным эффектом пользовался сладострастнейший Рихард Вагнер, — за что и закономерно наказан тем, что его разгульно-этническое творчество с каждым днем обретает все более глубокую популярность. Тут действительно существует некий закон. В самом деле, разве долг самоотречения, которому подчинился Гёте, не есть нечто сверхличное? Разве это не предписание судьбы, не врожденный, карающий за его нарушение тяжкой духовной карой императив всякой немецкой идеи, которой суждено как-либо и в какой бы то ни было мере вырасти в воспитательную ответственность?

Вот всякие тенденции, дорогой господин Понтен, имеющие сегодня прямое отношение к проблеме примирения Германии с Европой и к спасению Европы вообще. Вы чистосердечно ввязались в дело, и Вам полезно узнать, что есть люди, которые никакого чистосердечия тут не усматривают и не прощают мне простодушия, с каким я отнесся к этому. По-моему, они неправы. Но после того, как я уж поссорился с милой молодежью, я не могу ссориться со своими друзьями, выступая Вашим партнером в брошюрах. Я должен подумать, как мне, раньше или позже, на свой страх и риск, «приблизиться к молодежи», и, по-моему, Вы тоже должны были бы предпочесть приблизиться к ней иным способом, чем памфлетами против меня. А именно — собственным творчеством.

Ваш Томас Манн

28

ИОЗЕФУ ПОНТЕНУ

Мюнхен, 22.4.25,
Пошингерштр[ассе], 1

Дорогой Понтен,

Ваше большое письмо меня потрясло. Оно ясно и четко, в форме признания, высказывает то, что я давно видел, но о чем не мог сказать, а именно — что существует почти болезненная сосредоточенность Вашего внимания на моем духовном облике, сосредоточенность, для возникновения и сохранения которой я — во всяком случае, сознательно, умышленно — палец о палец не ударил и от которой, будучи Вашим другом, от всего сердца желаю Вам избавиться. И правда, надо покончить с этой привычкой не спускать с меня глаз, сравнивать себя со мной и мерять себя по мне, упорно размышляя, как это мне удалось что-то значить, тогда как на самом деле, чтобы иметь право что-то значить, мне следовало бы быть совсем другим, таким, как Вы. Господи, можно подумать, что в мире нет ничего, кроме Вас и меня и проблемы нашего отношения друг к другу. Это нездоровое мироощущение. И боже мой, как неверно Вы многое во мне видите! Мое творчество — по-Вашему, насмешка над деловитостью. Она высмеивается, например, в образе гофрата Беренса¹, этого состоящего на службе у дьявола властителя плоти, прячущего свою меланхолию за корпорантской молодцеватостью. И даже величие я будто бы высмеял в Пеперкорне¹, а между тем совсем не глупый Юлиус Баб² находит в своей большой статье, что Пеперкорн — это, вероятно, наиболее удачный поэтический образ книги и что в нем есть достоинство самой природы. Считая прекрасной приметой очеловечения молодого героя то, что этот соперник вызывает у него, Касторпа; не рыцарскую ненависть, а восхищение, Юлиус Баб называет самой счастливой поэтической находкой книги ту сцену, где Пеперкорн держит свою последнюю речь на краю гремящего водопада. Одним словом, на моей памяти не было, кажется, случая, чтобы моя постоянно упоминаемая ирония показалась кому-либо такой подавляющей, такой нигилистической и дьявольской, как Вам. Наоборот, мои литературные противники видят в ней скорее проявление добродушной и нерадикальной буржуазности, а те, кто относится ко мне лучше, говорят обычно о доброте. Не знаю, кто прав, сам я себя не вижу, да и никто не видит себя самого. Но то отражение, которое Вы мне показываете, несомненно, как-то искажено; этого можно было ждать а priori, при Вашем чрезмерно страстном, можно даже сказать, патологическом отношении ко мне, и мне остается надеяться, что так оно и есть. Трудно понять, почему мое житье-бытье все больше и больше становится для Вас проблемой и сгёве соеуг*. Ведь коль скоро Вы сами считаете, что мы очень разные люди, о соперничестве, да, пожалуй, и о сравнении не может быть речи, и Вы спокойно можете предоставить мне быть таким, каков уж я есть, а

* Заботой (франц.).

сами спокойно оставаться тем, чем являетесь. Спокойствие — это и в самом деле то, чего я Вам, как уже сказал — по дружбе, желаю от всего сердца. Вы должны избавиться от этой мании, которая стала уже помехой Вашей творческой деятельности, как я, к ужасу своему, заключаю из Вашего признания, что эти раздумья и эта несвобода не позволяют Вам взяться за тот чудесный материал, о котором Вы мне тогда, в пути, рассказывали. Я давно твердо верю в Ваш самобытный и сильный талант, так не похожий на мой и при этом такой большой. «Студенты» несомненно окажутся выдающимся произведением, если во время работы Вы будете целиком самим собой. Я слышал, что Вы собираетесь путешествовать. Приветствую это почти с облегчением. Я сказал бы Вам: будьте мужчиной, если бы не знал, что Вы и так женщина, и в чем-то в большей мере, чем я. Мужество тоже не такая простая вещь, соотношение всех «за» и «против» тут тоже весьма сложно. Обо всем этом мы, конечно, еще поговорим перед нашими дальнейшими, своими у каждого, дорожными приключениями. Благодарю Вас за то, что Вы излили мне душу и шлю Вам самый теплый привет.

Ваш Томас Манн

29

ГАНСУ ПФИТЦНЕРУ

Мюнхен, 23.VI.25.
Пошингерштр[ассе], 1

Дорогой маэстро,

Ваше молчание в те дни я не находил ни великодушным, ни добрым, — тем более великодушным и прекрасным нахожу я сейчас Ваше письмо, за пожелания и мужественные признания которого благодарю от души.

Конечно, мне было ясно, что мои новые духовные решения Вам неприятны¹. Поверьте хотя бы, что они рождены доброй волей — и чувством ответственности, более, вероятно, строгой, чем та, которая возложена на музыканта. «Послушен власти любви ты был...»² Не каждому это так-таки и дозволено, и бывают случаи сознательного и довольно болезненного самообуздания, грозящие человеку репутацией Иуды. Наша драма, дорогой маэстро, в истории духа, в великих и представительных образцах давно отыграна; мы, нынешние, — это всего лишь публицистически-злободневная вариация случая Ницше contra Вагнер. Ницше, как и Вагнер, от которого он со своим судом совести отмежевался, но которого любил до конца жизни, был по духовному происхождению поздним сыном романтики. Но оттого, что могуче-удачливый Вагнер сам себя славил и завершал, а революционный Ницше, напротив, преодолевал себя и «стал Иудой», Вагнер и остался всего лишь последним прославлением и бесконечно очаровательным завершением какой-то эпохи, тогда как Ницше стал ясновидцем и проводником в новое будущее человечества.

О скромном герое моего последнего романа³ иногда говорится, что он «трудное дитя жизни». Все мы, художники, трудные дети жизни, но все-таки дети жизни, и как бы ни обстояло ныне дело с романтическими вольностями музыканта, писатель-художник, который при такой европейской ситуации, как эта, не станет на сторону жизни и будущего и не воспротивится колдовству смерти, окажется поистине негодным холопом.

Вот что подразумевал я под «доброй волей», да и под «ответственностью». Но сильнее всего взволновали меня в Вашем письме намек на Ваше одиночество среди славы и слова, что при всем множестве поклонников настоящих друзей в высшем смысле Вы можете потерять не так уж много. Да, таких друзей у Вас немного, и у меня тоже. Нам обоим знакомо это торжественное недоразумение, надувательство славы, поверхностность тех, кто нам ее создает. То, что между нами стоит, между нами маячит, соединяет нас, во всяком случае, не в меньшей мере, чем разъединяет. Для многого из того, что я написал, не может быть лучшего читателя, чем Вы, и, наоборот, моя статья о «Палестрине» — будем говорить правду — единственная статья, мало-мальски достойная своего предмета, что бы ни говорили всякие болваны из числа Ваших друзей, например Элэрс⁴. Наши разные позиции во времени обнаруживают своеобразное родство. Нам вольно стать врагами; но не в нашей власти помешать тому, чтобы в будущем наши имена называли подчас вместе. Поэтому нам следовало бы, может быть, смотреть на наши отношения немножко *sub specie aeterni** и, невзирая на все разногласия, признать некую братскую связь, от которой потомство нас едва ли избавит.

Еще раз благодарю за прекрасный тон Вашего письма.

Ваш Томас Манн

30

ЭРНСТУ БЕРТРАМУ

Мюнхен, 28.XII.26,
Пошингерштр[ассе], 1

Дорогой Бертрам,

немецкий профессорский дом в Герцогспарке¹ единодушно огорчен и разочарован тем, что его давняя надежда увидеть Вас после рождества здесь так и не сбудется. А почему? Вы предпочитаете навещать родственников? Мне непонятно! Четырех-, а то и пятикратное семейное сидение за столом в дни праздника — это ведь нечто ужасное, я опять это испытал и сегодня все-таки отказался от чая у своего младшего брата, малого, кстати сказать, очень славного, сославшись на то, что у меня заложено грудь — это, к сожалению, не выдумка и прямо-таки помешало мне сегодня утром писать о рае², что непростительно, ибо раз уж поэтом вы слывете etc. . . Однако этот отказ дает мне возможность успеть хотя бы до нового года прислать Вам благодарность моего дома за Вашу преданную,

* С точки зрения вечности (лат.).

богатую, заботливую память: мы все, от мала до велика, тронуты ею [...] Генеалогия сказаний пришлась как нельзя более кстати и очень ценна. Я уже много чего в ней искал и нашел. Она еще раз подтверждает мне, что Иосиф — это тифоническая форма³ Таммуза—Озириса—Адониса—Диониса, из чего, однако, вовсе не следует, что он не жил на самом деле. В жизнь Иисуса тоже привнесли задним числом все наличное культурно-религиозное добро, и его жизнь тоже кажется всего лишь солнечным мифом. Я, наверно, поступлю правильно, сделав Иосифа этаким мифическим авантюристом, который рано начинает «отождествлять» себя, находя в этом поддержку у своего окружения, которое в общем не очень-то склонно различать между бытием и значением. Для того, чтобы спорить об этом различии, «созрели» только через 3000 лет. Что меня привлекает и что я хотел бы выразить — это обретаемая преданием сиюминутность, превращение его в не связанное ни с каким временем таинство, способность человека относиться к самому себе как к мифу. Но сделать это нужно легко, юмористически-рассудочно; на пафос и религиозную горячность я не пойду. Впрочем, то, что я покамест пишу, — это лишь некое псевдонаучное обоснование данной истории; начал я вряд ли правильно, хотя об Иосифе все время уже идет речь. Настоящий и тайный мой текст есть в Библии, в самом конце истории. Это благословение, которое оставляет Иосифу умирающий Иаков: «От всемогущего благословен ты *благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу*»⁴. Чтобы решиться на произведение, в материале его должна быть точка, при прикосновении к которой душа твоя непременно наполняется радостью. Вот она, эта продуктивная точка...

Простите. Мне следовало рассказать о другом, вместо того чтобы распространяться об этих вещах. Но я знаю, Вы примете в них участие, а потом другого столько уж опять накопилось, что нет надежды одолеть это на страницах письма. Не приедете ли Вы еще все-таки? Мы собираемся в январе съездить в горы, если позволит погода. Что бы Вам нагрязнуть к нам туда? .. К вещам, за которые мне следовало поблагодарить Вас подробнее, относится и Ваш прекрасный фрагмент о Штифтере. Он снова вызвал у меня сильнейшую потребность прочитать *все целиком*. Ах, кому-кому, только не мне пристало сетовать на чью-то медлительность!

Привет от нас всех — Вам и Вашей милой матушке.

Ваш Томас Манн.

31

АДОЛЬФУ ПФАННЕРУ

Мюнхен, 27. 15.XI.27
Пошингерштр[ассе], 1.

Глубокоуважаемый господин профессор,

насчет Вашего карлсбадского доклада о «Волшебной горе» я уже слышал много хорошего и познакомился с ним в отрывках через газеты. А теперь я обязан Вам полным знакомством с ним: я прочел его сегодня

с наслаждением и радостью и еще с тем удивлением, которое испытываешь, когда говорят о достоинствах давних работ, и которое где-то у Ницше облечено во французскую, не знаю уж откуда взятую фразу: «Possible, que j'ai eu tant d'esprit»*. С медицинской точки зрения, право, нельзя разобрать мой роман блистательнее и глубже, чем это сделали Вы, и все достоинства, какими обладает в этом отношении моя книга, отмечены с удивительной любовью и удивительным пониманием. Разбираете Вы ее, однако, сказал бы я, немного односторонне, и это-то — конечно, сознательная — односторонность явно несколько обедняет Вашу критику второго тома. Лечебно-критическая сторона исследована исчерпывающе, чего нельзя сказать о культурно-критической, о европейской диалектике, совершенно логически, как мне кажется, подводящей к тому, что Вы называете выходом из затруднительного положения, к мировой войне, к катастрофе, в которой, все еще со своей любимой песней, лебединой песней романтики на устах, исчезает Ганс Касторп. Вы думаете, что эта диалектика не имеет никакого отношения к теме романа? Но ведь эта медицинская тема оказывается всего лишь педагогическим путем, ведущим маленького Ганса через приключение организма к идее человека. Глава о снеге находится, в конце концов, тоже во втором томе, и если я готов пожертвовать Нафтой, фигура которого, пожалуй, правда, представляет собой диалектический прием (хотя он, Нафта, *существует*), то я ни за что не поступлюсь Пеперкорном, в чисто художественном отношении самым сильным, как многие считают и как казалось порой мне самому, образом книги.

Простите, это, вероятно, некрасиво — похвалы принимать, а упреки оспаривать. Что в книге есть рыхлые места, я, конечно, не отрицаю, только они, по-моему, не всегда находятся там, где Вы их усматриваете.

Еще раз сердечное спасибо за великолепную оценку романа. Он для меня, как я сказал, давно в прошлом. Есть новые дела, *очень* новые.

Преданный Вам

Томас Манн

32

ВИЛЛИ ГААСУ

Мюнхен, 11.III.28

Многоуважаемый господин Гаас!

большое спасибо за Ваше письмо. В частном порядке я получил все же много одобрительных отзывов о своей статье¹ — и непосредственно, и косвенно; говорят, например, будто Георг Бернгард² сказал, что он сам с удовольствием напечатал бы эту реплику. А вообще-то я не удивился бы, если бы левая печать не поддержала меня, таково уж ее поведение в подобных случаях. Полагаться на нее мы можем гораздо меньше, чем наши противники на свою прессу. Я видел только два газетных отклика, оба

* Возможно, что у меня и было столько ума (франц.).

со стороны немецких националистов. «Фёлькишер Беобахтер»³ сама прислала мне свой ответ, и, взглянув на него, я отправил его обратно с пометкой «за ненадобностью». О нем, право, не стоит и говорить. Зато я хотел бы обратить Ваше внимание на статейку, помещенную 7 марта в «Занимательном обзоре» газетой «Таг». Великолепную брань под заголовком «Расколдованная гора», которой там кроет меня какой-то молодой динамитчик из фашистских «революционеров», стоит прочесть уже как документальное свидетельство умонастроения известной части политической или псевдополитической молодежи, и мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы именно Вы еще раз выступили с критической репликой по этому поводу. Как личное выражение мальчишеского темперамента эта статейка даже симпатична, но полное отсутствие в ней чувства ответственности заставляет все же задуматься. Имеет ли еще этот так называемый национализм хоть малейшее отношение к отечеству или какой-либо идее отечества? По-моему, нет. Это чистейшая романтика динамизма, чистейшее прославление катастрофы ради катастрофы, по существу беллетристика, и этим-то орган буржуазной реставрации занимает сегодня своих читателей. Странные времена!

Кажется, все в один голос упрекают меня в том, что я, мол, козырнул своей «славой», а ведь на самом деле она, честное слово, оставляет мое сердце и мой ум совершенно холодными. Не славу свою я отстаивал, а национальную подлинность своего творчества, и притом перед людьми, которые не могут подтвердить свою принадлежность к немцам ничем, кроме крика. Я не понимаю также, почему мои слова о различии между немецким и французским национализмом вызвали такое ожесточение, словно я сказал что-то неслыханное. Только что я перелистывал новую книгу Германа Кейзерлинга⁴ «Спектр Европы» и нашел там в главе о Германии фразы, которые попросил бы Вас перечесть в контексте: «Нет ни одного котирующегося в Европе немца, который был бы лишен этой вселенской широты. Немец-националист, в отличие от националиста-француза, не представляет собой культурной и общечеловеческой ценности, это частное дело Померании или Баварии, а то и вовсе какой-нибудь корпорации». Мне кажется, повторяю, было бы недурно, если бы Вы вернулись к этому инциденту в заключительной заметке, где могло бы найтись место для приведенной цитаты.

Преданный Вам

Томас Манн.

33

АРТУРУ ГЮБШЕРУ

Мюнхен, 27.VI.28,
Пошингерштр[ассе], 1

Глубокоуважаемый господин доктор,

не думаю, что Вы поступаете правильно. Мое письмо в «Зюддейче Монатсхефте» устарело и уже ни к чему, а Ваш ответ, извините, не очень

внушитель: в своих частных письмах Вы выражаете свои мысли гораздо лучше и теплее. Вам следовало бы полностью перепечатать мое заявление из «М. Н. Н.»¹, — ведь места оно занимает немного, — а потом уж ответить на него, как Вы считаете нужным, то есть примерно так, как Вы написали мне. Это было бы, по-моему, правильное.

Вы считаете меня узкопартийным человеком и узкопартийным писателем и находите, что «в послевоенные годы круг моих публикаций все более сужался». Не вполне понимаю, что Вы хотите сказать, но, по моему впечатлению, участие к моей работе проявляет, хотя бы лишь по старой привычке, все та же значительная часть нашего народа, что и во времена «Будденброков», а именно — образованное бюргерство, и я не думаю, чтобы оно видело во мне политика и человека узкопартийного. Нет у меня ни природной склонности к политике, ни твердой веры в какую-либо политическую доктрину. Ничего я не имею в виду и не хочу in politics*, кроме всего разумного, необходимого, дружественного жизни, достойной человека, то есть всего того, что можно, пожалуй, назвать «немецким», — я ведь и вообще чувствую себя, как выражался Ницше, «чем-то очень немецким», и хотя в плане литературном нахожусь, конечно, под интернациональным влиянием, в плане личном я неинтернационален до нельзя. Но я живу в новой, уменьшенной и стремящейся к единству Европе, у меня есть некоторый контакт с ее духовными силами и самое общее представление об ее условиях жизни. Некоторые проявления ограниченности и злобы претят моему характеру и рассудку. Я не скрываю, что не хочу иметь ничего общего с теми, кто по поводу убийства Ратенау² восклицал: «Прекрасно, одним меньше!» (это мюнхенские университетские профессора!), и что считаю мюнхенскую буржуазную печать просто ужасной. И поскольку я пишу Вам как раз в тот день, когда наш славный, но совращенный город делает в честь двух горемык-летчиков националистическую стойку на голове, то уж признаюсь заодно, что эта возня мне еще противнее, чем «Джонни наигрывает»³. Узкопартийный человек? Вы тоже хотите, чтобы я был им в том смысле, в каком сегодня им стал любой. Только хотите Вы, чтобы я примкнул к той партии, которая во время войны называла себя «отечественной» и была очень политической партией, и по отношению к внешнему миру, и по отношению к внутренним делам. А этого я не могу сделать. Если спасительное слово, которого Вы от меня ждете, состоит в этом, то сказать его я не могу. Я вообще не берусь его сказать. Кто может сегодня сказать его? Духовная жизнь тяжела, и никогда, может быть, не было мудренее угодить богу, чем нынче. Вождь? Никогда у меня не было даже поползновения стать им. Единственное, чего могут добиться такие, как я, — это воздействовать своим примером на находящуюся в замешательстве молодежь — но и то лишь примером скромности, осторожности и доброй воли.

Преданный Вам

Томас Манн.

* В делах политических (лат.).

34

НЕИЗВЕСТНОМУ

8.1.32

Милостивый государь,

я получил Вашу анкету и порадовался приятной точности, с какой Вы определяете литературную обстановку и возможные перспективы, ею открываемые. Осведомленность, с которой Ваши рассуждения затрагивают меня, и непосредственное мое согласие с ними заставляют меня по-настоящему почувствовать, как мало значат ныне для духовной жизни государственные границы и в какой большой мере Европа представляет собой ныне некое духовное целое.

Обстоятельность, с которой Вы формулируете свой вопрос, делает, мне кажется, излишним всякий ответ, кроме простого согласия. Добавить можно, пожалуй, вот что:

Страдания и приключения, выпавшие на долю европейского человечества в последнее время, вызвали новый, особой силы интерес к проблеме самого человека, к его сущности, его положению в космосе, его прошлому, его будущему, интерес, который таким насущным и всесторонним никогда раньше не был и до сих пор выступал отчетливей и ярче всего в научной форме. Налицо, особенно, может быть, у нас в Германии, новая, вдохновленная этим интересом антропология, своеобразное оживление в области науки о древнем мире, истории мифов и религии, любопытные попытки проникнуть в первобытную древность человечества, попытки, характерные страстным слиянием спекулятивности с точностью и не лишенные связи с психоаналитическим исследованием первобытной жизни. Физиогномика, характерология, изучение экспрессивных средств оживились по-новому.

Такие труды, как Макса Шелера¹, который был слишком рано вырван из жизни и потому, к сожалению, не закончил свою большую и такую нужную его времени книгу, особенно показательны для этого нового, гуманного интереса, представляющегося мне главным духовным направлением нашего времени. Я называю этот интерес гуманным, потому что в этом типе исследований есть, на мой взгляд, ростки нового гуманизма в том смысле, в каком Гёте сказал: «Настоящая наука о человеке — это человек», и я не сомневаюсь, что эта новогуманистическая тенденция времени скажется и в искусстве, причем, как Вы правильно намекаете, гуманность обязана будет доказать свою естественную психологическую связь с классикой. Я считаю вероятным поворот в поэзии от всего крайнего, авантюрного, экзотического и сенсационного по материалу к человечески изначальному и простому, тяготение к первобытно-мифическому и чистому, то есть к новой классике, которая возвратится на другом, позднем уровне и, поскольку искусство тем временем прошло через многое, примет, конечно, иной вид, чем на более ранней ступени. Я говорю это отчасти на основании опыта, ибо, докапываясь до главного инстинкта, который действовал, когда я задумывал свой библейско-мифологический

роман, давным-давно меня занимающий, я отчетливо вижу связь этого замысла с теми общими тенденциями, что я сейчас пытаюсь определить, и снова нахожу, что человек, и особенно художник, является индивидуумом в куда меньшей мере, чем он на то надеется или того боится.

Прошу Вас, милостивый государь, довольствоваться этим ответом, который, в сущности, выражает только согласие с Вашими собственными словами, разве что чуть-чуть расширяя их, и принять мои искренние пожелания успеха основанному Вами недавно журналу.

Преданный Вам
Томас Манн.

35

Б. ФУЧИКУ

15.IV.1932

Дорогой доктор Фучик,

большое Вам спасибо за Ваше милое письмо.

Прекрасный и богатый набор книг я тоже получил и искренне рад, что теперь у меня есть эти великолепные издания. Одновременно я получил оттиски и, как только до них дойдут руки, надпишу их.

Лучше всего я выражу свою горячую признательность за дружеские слова и прекрасные подарки, ответив как можно полнее на Ваши вопросы.

1) Кто заявляет о своей верности европейскому мышлению и мироощущению, того сегодня сразу же тривиально упрекают в безродности. Поэтому, вероятно, хорошо, что я чувствую себя лучшим немцем, чем многие из тех, кто ругает меня за мой европеизм. Мне совершенно ясно, да и всякому разумному человеку видно, сколь многим обязан я немецкой духовной традиции и какие глубокие корни меня с ней связывают. Но моя вера в высшее единство европейской культуры — не столько вера, сколько простое и ясное понимание. Два главных элемента этой европейской культуры — античность и христианство. Именно теперь, когда чтут память великого европейца Гёте, оба эти элемента стали при юбилейном обращении к его творчеству снова особенно ощутимы. Я целиком разделяю мнение Ортега-и-Гассета¹, который в своей книге «Восстание масс» говорит: «Если мы в виде опыта представим себе, что должны жить только с тем, что нам «дано от природы», если мы попробуем, например, отнять у среднего немца все качества, мысли, чувства, которые он перенял в других странах земного шара, мы поразимся тому, как невозможно уже такое существование: четыре пятых нашей собственности — это общеевропейское достояние». Кстати сказать, единство европейского мира очень легко установить опытным путем в других человеческих мирах. Достаточно отправиться в Азию или Африку, чтобы самым непосредственным образом почувствовать брата в любом соевропейце, будь то немец, француз, чех или еще кто-либо.

2) В молодости я вобрал в себя многое из духовного и художественного мира русского Востока и не избежал огромного влияния, которое оказал Достоевский на всю Европу. Но и тут лично мне были ближе писатели, испытавшие влияние Запада, такие, как Толстой и Тургенев, а примесь латинской крови со стороны моей матери объясняет, пожалуй, почему романская форма мышления, являющаяся формой в большей степени, чем любая другая, всегда привлекала меня и даже, может быть, все сильнее и сильнее привлекает с годами. Я ни в коей мере не разделяю веры в упадок европейского Запада, который еще недавно породил такое литературно-художественное явление, как Марсель Пруст, и духовные достижения романско-кельтского Запада неизменно бывали для меня самыми сильными и самыми счастливыми импульсами.

3) Я не решился бы огульно назвать славянское начало анархическим и разлагающим хотя бы по той причине, что понятие разложения очень неопределенно и отдает буржуазной трусостью, которая не представляет собой духовной ценности. То, что называют разлагающим, бывает часто направлено не против жизни, а на освежение и обновление жизни. Стремление Гёте к порядку, к мере и к форме выражало его волю к самообузданию своей поначалу опасно, до демонизма, могучей природы, и эта воля прекрасно сознавала свое большое народно-воспитательное значение, но если видеть разрушительное начало, например, в критическом духе, то в немцах его, конечно, столько же, сколько в любой другой расе, знаменитый пример чему — «сокрушительное» творчество Канта, и все знают, как много лирически-личного в образе гётевского Мефистофеля, а ведь он самым великолепным и самым забавным образом олицетворяет принцип разумного разложения.

4) Я считаю искусство изначальным феноменом, который ни при каких обстоятельствах не перестанет существовать, а художника как форму бытия — бессмертным. Если взглянуть на себя самого, то художественное изображение — настолько естественный, настолько непрменный для меня вид жизнедеятельности, что я не в силах поверить, чтобы даже самое утилитарное, самое механизированное общество смогло когда-либо истребить тип, разновидностью которого я являюсь. Было время, когда один великан, Шиллер, мог сказать: человек лишь тогда вполне человек, когда он играет. В такие серьезные и трудные времена, как наше, это звучит фривольно, и все-таки я уверен, что та священная и освобождающая игра, которую называют искусством, всегда будет необходима человеку, чтобы он чувствовал себя действительно человеком.

5) Ни один художник, конечно, не видит наперед плана своей жизни и не знает заранее всего материала, над которым он будет работать со временем. Но большей частью ему удается установить связь между отдельными своими детищами, отмечая, что ростки всякого последующего произведения содержатся уже в предшествующем, и все больше и больше убеждаясь в том, что все исходит из какого-то личного центра и в конечном счете само собой образует естественное единство.

6) Во французском интервью я потому назвал «Тонио Крёгера» и «Смерть в Венеции» работами, в которые верю больше всего, что замкнутая и четкая форма новеллы, по-моему, долговечнее, чем рыхлая и растянутая форма романа. В Германии самая популярная из моих книг, несомненно, «Будденброки», и возможно, что в собственной моей стране мое имя всегда будет связываться преимущественно с этим произведением. В Америке, например, «Волшебная гора», благодаря своей современной проблематике, произвела куда более сильное впечатление. Что касается «Марио и волшебника», то мне неприятно, когда этот рассказ рассматривают как политическую сатиру. Тем самым ему отводят сферу, которой он принадлежит разве что небольшой своей частью. Я не отрицаю, что в нем есть кое-какие политические приметы и намеки злободневного характера, но политика — это широкое понятие, переходящее без резкого разграничения в область этических проблем, и мне хотелось бы видеть значение этой маленькой истории скорее в ее этической, не говоря уж о художественной, чем в ее политической стороне.

7) Я думаю, что переживания детства, которые и вообще-то оказывают такое решающее влияние на склад человека, играют в любой артистической жизни большую роль и уж как раз творчество любого писателя обильно питают мотивами и впечатлениями. Во всяком случае, относительно меня такое утверждение совершенно справедливо. Характерно, что и в автобиографиях, и в автобиографических романах детство обычно — самая поэтическая и самая свежая часть. Музыку я всегда страстно любил и считаю ее в известной мере классическим образцом искусства вообще. Я всегда считал свой талант неким видоизменением музыкантства и воспринимаю художественную форму романа как своего рода симфонию, как ткань идей и музыкальное построение. В этом смысле характер партитуры носит из моих книг больше всего, пожалуй, «Волшебная гора». В музыке ближе всего мне всегда была немецкая романтика, но ранней и неизменной моей любовью был и Шопен, и опять-таки с давних пор я питаю решительную симпатию к славянину Чайковскому, от которого, на мой взгляд, идет четкая линия к такому современному явлению, как Стравинский, чье искусство вызывает у меня живой интерес.

8) Что касается чешской национальной культуры, то должен честно признаться, что вступал в непосредственный контакт с ней только через одного музыканта, Сметану, чья музыка входит в фонд европейской культуры, а в литературном отношении через нескольких новейших писателей, таких, как знаменитый автор «Швейка» Гашек, затем Карел Чапек, чью прозу очень высоко ценю, и драматург Лангер², которого часто играют в Германии. Это немного, но, к сожалению, язык создает преграду слишком могучую, чтобы я познакомился с достижениями чешской культуры поближе.

9) Тем многограннее и живее мое соприкосновение с немецко-чешской литературой, главным представителем которой Вы называете Рильке — лирика, и, на мой взгляд, конечно, высшего ранга. Меня всегда необычайно привлекал специфически пражский колорит в современной прозе.

Мне достаточно назвать имена Верфеля³, Франца Кафки, Макса Брода⁴, Германа Унгара⁵, Людвиг Виндера⁶, чтобы показать, какое значение имеют эти имена для современной прозы вообще.

10) Новая работа, которая занимает меня уже много лет и потребует еще немало времени, — это библейско-мифологический роман под названием «Иосиф и его братья». Я не думал прежде, что история религии и даже теология могут вызвать у меня такой интерес. Эта склонность, по-видимому, — продукт возраста, и я отдаюсь ей с готовностью, которой заслуживает все, что жизнь органически приносит с собой.

[Конец письма не сохранился]

36

ЛАВИНИИ МАЦЦУККЕТТИ

Ароза, Новый лесной отель, 13.III.33

Дорогая фрейлейн Маццуккетти,

от души благодарю за Ваши строчки от 3 сего месяца, участливость которых была мне отрадна, ибо у меня действительно очень тяжело на душе, и ужас, и отвращение не оставляют меня.

Вы писали еще в сравнительно многообещающие дни. С тех пор произошли тягчайшие несчастья, и мое будущее и будущее моей семьи совершенно неясно.

Вне Германии я оказался совсем случайно. 10 февраля я поехал с женой на вагнеровские торжества в Амстердам, а оттуда, по программе, в Брюссель и Париж. С докладами было сопряжено много светских обязанностей, и так как я до этого напряженно работал, мы решили прямо из Парижа приехать сюда отдохнуть на несколько недель. Меди¹ присоединилась к нам, чтобы походить на лыжах.

Ну, так вот, из отдыха ничего не вышло, вернее, вышло нечто противоположное, и наше пребывание здесь поневоле затягивается. Мы рассчитывали на Баварию и надеялись, что там-то уж, благодаря силе народно-католической партии, все останется более или менее по-старому. О результате, который и там, и как раз там, дали выборы, думать не думали и самые сведущие люди. Это известие произвело впечатление бессмысленной катастрофы. Мы увидели, что все наши надежды рухнули, но именно из-за внутренней тревоги нас сильно потянуло домой и чемоданы наши были уже уложены. Тут со всех сторон посыпались предостережения друзей: сейчас моя личная безопасность совершенно не гарантирована, и ближайшие недели мне следует переждать, оставаясь там, где, по несчастью, нахожусь.

Итак, мы волей-неволей задержались. Покуда по всей стране будут продолжаться террористические акты, которые после всех обещаний властители должны будут, в известном объеме, разрешить своим людям, было бы действительно неразумно возвратиться домой, ибо печать побе-

дителей изо всех сил травила меня и я числюсь в списке виновных в «ацифистских эксцессах», в «духовной измене родине». Возможно, однако, что в Баварии прежде всего и уже в обозримом будущем создастся какой-то правопорядок, какая-то более или менее сносная обстановка, так что я смогу вернуться туда со своими родными. Если же этот кошмар надолго, то мне лично придется остаться за границей, — еще не знаю, где, в Тироле, может быть, или в Цюрихе.

Впрочем, возникает вопрос, будет ли отныне вообще для таких, как я, место в Германии, смогу ли я дышать тамошним воздухом. Я слишком хороший немец, слишком тесно связан с культурными традициями и с языком своей страны, чтобы мысль о многолетнем или пожизненном изгнании не имела для меня тяжелого, рокового значения. Тем не менее мы поневоле начали присматривать себе новую житейскую базу, по возможности хотя бы в странах немецкого языка. Конечно, в 57 лет такая утрата быта, с которым сжился и в котором уже немного закоснел, совсем не пустяк. Но, думаю, мое художничество сохранило мне достаточную гибкость, чтобы начать все сначала на совершенно иной основе; и покамест моя храбрая жена рядом со мной, я вообще ничего не боюсь. Надо только смотреть в оба, чтобы нас не разъединили никакими маневрами, например задержав ее внутри страны, когда я буду за границей.

Наши старшие дети собираются завтра подняться к нам на несколько дней. Есть что обсудить.

Будьте благополучны! Преданный Вам

Томас Манн

Пожалуйста подтвердите получение этих строк!

37

АЛЬБЕРТУ ЭЙНШТЕЙНУ

Бандоль (Вар), 15.V.33,
Гранд-Отель

Глубокоуважаемый господин профессор!

все новые перемены мест виною тому, что лишь сегодня, с таким опозданием, благодарю Вас за Ваше доброе письмо.

Оно было самой большой честью, выпавшей мне не только за эти скверные месяцы, а, может быть, за всю мою жизнь вообще; но хвалит оно меня за поведение, которое было для меня естественно и, стало быть, вряд ли заслуживает похвалы. Не очень, правда, естественно для меня положение, в котором я оказался из-за того, что вел себя так; ведь я в сущности слишком хороший немец, чтобы мысль о длительном изгнании не была для меня весьма тяжела, и разрыв со своей страной, почти неизбежный, очень угнетает меня и страшит — а это как раз признак того, что он плохо вяжется с моей природой, для которой традиционное гётеанско-репрезентативное начало характерно настолько, что мучени-

чество не кажется ей истинным ее уделом. Чтобы навязать мне эту роль, должно было, видимо, случиться что-то необыкновенно противоестественное и гнусное, и вся эта «немецкая революция», по глубочайшему моему убеждению, действительно противоестественна и гнусна. У нее нет ни одного из тех свойств, которыми настоящие революции, даже самые кровавые, завоевывали симпатию мира. Она по сути своей не есть «возмущение», что бы ни говорили и ни кричали ее носители, а есть ненависть, месть, подлая страсть к убийству и мещанское убожество души. Ничего хорошего из этого не выйдет, я убежден бесповоротно, ни для Германии, ни для мира, и то, что мы всячески предостерегали от сил, принесших это моральное и духовное бедствие, нам, конечно, когда-нибудь, к нашей чести, зачтется, да, нам, которые, может быть, тут и погибнут.

Преданный Вам
Томас Манн.

38

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Санари-сюр-Мер, 31.VII.33

Дорогой господин Гессе,

Вы так мило и прекрасно мне написали! Это была для меня радость, и я благодарю Вас от души. Я тоже много думаю о Вас, о Вашей кроткой жене, о Вашем прекрасном доме, его окрестностях и проведенных с Вами благотворных часах. Я тогда изрядно страдал, но могу сказать, что стал спокойнее и бодрее и занимаюсь своей работой, как прежде. Моя борьба уже позади. Бывают, правда, все еще моменты, когда я спрашиваю себя: почему, собственно? Ведь живут же в Германии другие, Гауптман, например, Хух¹, Каросса². Но искушение быстро проходит. Ничего не вышло бы, я бы окончательно опустился и задохнулся. Это невозможно и по простым человеческим причинам, из-за моих родных. Мне придется все это высказать однажды публично, когда настанет час, т. е. когда меня официально призовут вернуться. Известия из Германии, ложь, насилие, пошлая игра в великую «историю», связанная с такой мерой подлой жестокости, снова и снова внушают мне ужас, презрение и отвращение. «Голубоглазый энтузиазм», о котором Вы пишете, тоже уже не трогает меня больше. Я считаю, что такая степень глупости уже не доволена. Страшная гражданская война кажется мне неизбежной, и «я не желаю», как говорит наш Маттиас Клаудиус, «виновным быть»³ во всем, что произошло, происходит и произойдет.

Какая досада, что Вы не показали мне своего любопытного предисловия!⁴ Я был бы восприимчивым слушателем и вообще очень люблю такой вид общения. Здесь я сразу ввел в правило вечера, на которых мы, Шикеле⁵, мой брат, Мейер-Грефе⁶, Олдос Хаксли⁷ и я, по очереди читаем друг другу из наших новейших работ.

Фишер по-прежнему намерен выпустить осенью первый том моего библейского романа, и, стало быть, иностранные издательства подключатся. Как будет при нынешней обстановке и той, что еще сложится, обстоять дело с распространением в Германии, трудно сказать. Я думаю, что книга эта скоро будет там же, где ее автор, — за рубежом.

А не пришлете ли Вы мне свое предисловие? Я с особенно большой охотой прочел бы его и немедленно бы вернул Вам.

Мы все еще не решили, провести ли нам зиму еще в Ницце, где в наше распоряжение предоставлен за небольшие деньги на диво прекрасный дом, или же сразу искать что-то определенное и обратиться к Цюриху. Поскольку германского подданства я лишусь, я стану, по-видимому, швейцарцем. Медлить заставляет нас только Вена, которая, если она еще раз устоит против турок, была бы, конечно, самым подходящим местом для нас. Но это ведь очень неопределенно, и вероятнее всего, что скоро мы снова приблизимся к Вам.

Сердечный привет Вам и Вашей милой жене от всех нас!

Ваш

Томас Манн.

39

А. М. ФРЕЮ

Кюснахт/Ц[юри]х.
30.XII.33

Дорогой господин Фрей,

хотя бы до конца года хочу и должен поблагодарить Вас за Ваше дружеское письмо от 16 и за отрядные слова, которые Вы, сверх того, сказали мне об историях Иакова. Я довольно долго откладывал это. Будучи и так-то не совсем в форме (сказываются, как-никак, эти десять месяцев, со временем все становится, по-моему, не легче, а тяжелее, и тихая тоска в общем-то гложет и гложет душу), я отдал слишком много сил всяким художественным и светским отвлечениям, какие только может предложить такой город, и часто бывал в том состоянии неполноценности, которого боюсь, как чумы, но не всегда умудряюсь избежать.

Еще раз, Ваша добрая оценка романа была для меня большой радостью. Она необходима мне внутренне; ведь как ни осчастливлен я участием людей именно творческих, Верфеля, например, Шикеле или моего брата, критическое эхо отечественной печати было по преимуществу настолько жалким, настолько, в своей тупости, наглым, что в глубине души я не раз испытывал обиду и отвращение. Ну и мерзко же там, внутри, радуйтесь, что Вы за границей! Почти каждое высказывание, попадающее на глаза, внушает тебе ужас перед — уже и не осознаваемой — порабощенностью и выхолощенностью этих душ.

Как жаль, что дело не дошло до рецензии А. М. Ф. на мою книгу! «Заммлюнг»¹ моего сына было бы для нее подходящим местом. Ведь я полагаю, что Вы перестали считаться с прелестной обидчивостью гер-

манских правителей и печатается где захотите. Это безусловно промах издателя, что он не обратился к Вам. Эфраим Фриш² написал ему — очень умную — статью; но так как у Фриша есть еще какие-то интересы в Германии, работа его может быть опубликована только под псевдонимом, а от этого радости мало.

1 января 34

До окончания этих строк Новый год все-таки наступил, и я шлю Вам самые лучшие пожелания. Мы с женой скоро справим годовщину нашего случайного отъезда из Мюнхена. Что за год! А из этой передраги мы отнюдь не вышли. В Мюнхене наши дела находятся в неопределенном положении. Политическая полиция разрешила нам заплатить «налог за бегство из рейха». [...]

... Несмотря на то, что требование мюнхенского финансового ведомства удовлетворено, остальное мое имущество, а именно — дом и вся утварь, по-прежнему, совершенно бессмысленно и противозаконно, описано, — хотя, с другой стороны, арест с гонораров снят, так что за истории Иакова Берман смог заплатить. Это «иррационально» — или «иррационально», как было недавно по ошибке написано в одной немецкой газете. Они уже это путают и даже выговорить уже не могут.

Вполне возможно, что отрывок из второго тома «Иосифа», успевший только что появиться в «Нейе Рундшау», был для Германии моей лебединой песней в литературе. Формуляры для вступления в берлинскую принудительную организацию я не подпишу ни за что. В официальном заявлении я написал, что, как почетный член Союза по Охране Прав Немецких Писателей, поглощенного Имперским Союзом, я полагаю, что меня будут и впредь причислять к немецким литераторам и что дальнейшие формальности излишни. Сначала похоже было, что они посмотрят на это сквозь пальцы, но потом мне все-таки прислали бланки и объявили, что их необходимо заполнить. До этого я, как сказал, ни за что не унижусь. Может быть, я смогу уклониться, вступив в швейцарский союз писателей. Если это не выйдет или не поможет, на том дело и кончится, и ответственность падет на тех, кто хочет выжать из меня обет служить литературе в духе «национального правительства».

Вы, наверно, уже вне этих проблем? Хотите ли Вы остаться в Италии? Это не свидетельствовало бы о благоприятном развитии событий в Австрии. Но неужели мир действительно примирится с аннексией? Впрочем, слабости и растерянности сколько угодно, и я боюсь, что эта банда хочет «легальным», «демократическим» путем, без войны, стало быть, прикарманить Европу. Нынешний пропагандистский пацифизм, духовно совершенно бесчестный, — это фактически не что иное, как точное подобие принципа легальности, с помощью которого была захвачена внутрисполитическая власть. Вооружимся циничной веселостью на случай успеха!

Шлю сердечный привет и желаю удачи в работе!

Ваш Томас Манн

40

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Кюснахт, 3.1.34

Дорогой господин Гессе,

не успел я недавно в Бадене попросить Вас написать мне два слова об Иакове¹, когда Вы его кончите, как уже раскаялся в том, что обрёменил Вас этим. Вам, конечно, понятно мое желание, ведь Вы знаете уровень немецкой критики, теперь, естественно, и вовсе упавший, и можете представить себе наглую тупость, с какой она почти без исключений встретила именно эту книгу. Видеть эту — уже неосознаваемую — покорность и выхолощенность мозгов у людей, которых ты знал, плачевно и ужасно. Доброта и тонкость, с какой Вы откликнулись на давний крик сердца немецких авторов: «Полцарства за умное слово!»² — глубоко меня тронула, и я искренне благодарю Вас за Ваш отрадный отзыв, прося еще раз прощения за свою назойливость.

Величайший интерес вызывает у меня каждое Ваше сообщение о хрупкой и далеко идущей, смелой и крайне щекотливой рабочей идее, Вами вынашиваемой, — я чувствую какую-то смесь зависти, любопытства и озабоченности. Рождающееся явно склонно в данный момент пребывать в стадии самоуспокоенной мечты, проявляясь тут во всей своей полноте. Но старая привычка Придавать форму и объективизировать пробется, конечно, и в этом трудном случае, и если даже не все цветы мечты при этом распустятся³, то более или менее спасенный продукт будет все же носить счастливые следы своей бесконечной предыстории. Прекрасное состоит вообще-то в каких-то таких следах дерзкой мечты, которые произведение искусства приносит с собой со своей духовной родины. . .

Мы довольно приятно провели Рождество с собравшимися детьми, а также с несколькими друзьями, Райзигером и Терезой Гизе⁴ из Шаушпильхауза⁵.

Формуляров о приобщении к господствующей идеологии, присланных берлинской принудительной организацией⁶, я подписать не могу, и если там не посмотрят на это сквозь пальцы, то придется мне выйти из числа немецких писателей. Не так-то легко будет, именно мне, остаться с миром один на один. Может быть, я смогу избежать этого, вступив в швейцарское общество писателей.

Главная отрада — огромный успех, с которым Эрика позавчера снова открыла здесь свое литературное кабаре⁷. Я радуюсь этому больше, чем восторгам по поводу моего нового романа, — знак ласково вкрадывающейся в душу готовности уступить место молодым.

В новогоднее утро умер наш старый друг Вассерман⁸. В его творчестве было много пустой помпезности, и оно мне часто казалось смешным. Но он относился к нему с торжественнейшей серьезностью, и воля его была велика. Эта воля и была, собственно, «провидческой» в его артистизме. . . Незадолго до смерти он был здесь — такой изменившийся, что мы с грустью сошлись на том, что он не переживет нового года. Но подоб-

ных предвосхищений не представляешь себе вполне реально и снова забываешь, какой кусок из картины мира вырывает уход таких сверстников и соратников. Он был преданный друг, славный, ребячливый малый. Под конец он и материально дошел до последней черты, благодаря распрям со своей первой женой, сумасшедшей, которая буквально затравила его на смерть. Он еще вовремя успел перед полным разорением, потерей своего альтаузейского дома, обезопасить себя лично. Он пришел из неизвестности и бедности, достиг большого счастья, богатства, славы и потом снова погиб в нищете. Гёте говорит: «Человеку суждено разрушиться». Годы и многое другое заставляют меня часто думать об этих словах...

Хоть бы поправились Ваши глаза! Меня задело за живое, когда я услышал, что сейчас дело с ними обстоит скверно. Передайте привет Вашей милой жене и примите сами наши дружеские приветы и пожелания!

Ваш

Томас Манн

41

РЕНЕ ШИКЕЛЕ

Кюснахт-Ц[юри]х, 8.1.34

Дорогой Рене Шикеле!

вид бедного Вассермана был уже во время нашей последней встречи здесь, 3 недели назад, в Бор-о-Лак, когда он вернулся из своей нелепой поездки в Голландию, настолько недвусмыслен, что мы поняли: он и полгода не протянет. А дело, оказывается, пошло еще быстрее — в первый день нового года, рано утром, он умер от паралича сердца.

У него уже много лет был нарушен обмен веществ, а сахарная болезнь как раз хуже всего справляется с волнениями. А волнениям-то у него конца не было: распри с его первой женой [...] и события в Германии сделали свое, чтобы подхлестнуть недуг, с которым при иных обстоятельствах можно дожить до глубокой старости. Сердце было переутомлено; осенью он уже лежал в венской больнице по поводу тяжелого приступа так называемой *angina pectoris** и после этого еще, из-за материальной нужды, поехал в Голландию, где, чтобы не тратиться на гостиницу, ночевал в чьем-то неотапливаемом гараже и еще больше разрушил свое здоровье. Паралич сердца, надо в этом признаться себе, избавил его в последний миг от полного разорения [...]. Глубоко грустный закат после блистательного восхода из нищеты и мрака.

Его творчество из-за некоей пустой пышности и выпренности вызывало у меня порою улыбку, хотя я и знал, что у него больше настоящего повествовательского таланта, чем у меня. Знал я и его священную правду, его провидение великого произведения (не произведения, находил я, было «провидением», а его воля к нему, его страстный замысел) и дорожил личной дружбой с ним. Весть об его смерти оказалась для меня, хотя я

* Грудной жабы (лат.).

это не сразу заметил, таким потрясением, что я до сих пор еще не оправился от него: нервы и желудок расстроились, я слег на несколько дней в постель. Подействовала тут отчасти, вероятно, реакция в Германии. «Берлинер Берзенкуир» заявил: «В. был одним из самых видных писателей ноябрьской Германии. К немецкой литературе он не имеет почти никакого отношения». Ну, как не околеть от этого вопиющего идиотизма? Советую взглянуть: это немецкий некролог обо всех нас...

[...]

Передайте горячий привет Вашей милой жене и пожелайте ей от нашего имени, чтобы ее рука поскорее поправилась!

Картинка на Вашей открытке снова наполнила меня тоской по Санари, по моей маленькой каменной террасе, где я сживал по вечерам и глядел, как падают звезды. И это тоже было уже давно. Еще немного, и исполнится год со дня нашего отъезда из Мюнхена (12 февраля). Боже, как это все-таки странно.

С сердечным приветом

Ваш Томас Манн

42

ЭРНСТУ БЕРТРАМУ

Кюснахт-Ц[юри]х, 9.1.34

Дорогой Берtram,

нет, продвинуться еще дальше году II¹ я не позволю, не сказав Вам полагающегося и просроченного спасибо за Ваш большой эпистолярный труд от ноября месяца, — за эту щедрую по затрате времени и сил жертву, которая принесена Вами нашей старой дружбе и по-человечески не должна оказаться совсем напрасной, как ни чуждо мне и как ни угнетает меня то умонастроение, чтобы не сказать: то состояние ума, в каком она была принесена. Не стану сбиваться на все равно бесконечные и бесполезные возражения и опровержения. Мы теперь слишком далеки друг от друга, а препирательство приведет разве что к еще большему взаимному огорчению. Только одному прошу Вас поверить: мое поведение, моя позиция определяются не эмигрантским духом или его влиянием. Я сам по себе, и никакого контакта с рассеянной по свету немецкой эмиграцией у меня вообще нет. Кстати сказать, в смысле какого-либо духовного и политического единства этой немецкой эмиграции не существует. Налицо полная разобщенность индивидуумов; и если прелесть и достоинство Вашего рейха встречают надлежащее сочувствие не во всем мире, то это вовсе не вина и не заслуга совершенно невлиятельной эмиграции. Было бы хорошо, если бы Вы выступили среди своих единомышленников против противоположного, чисто суеверного мнения.

Нет, я гляжу на новую Германию (если ее можно назвать новой; силы, под гнетом и угрозой которых мы живем уже более десяти лет, сейчас ведь просто-напросто дорвались до полного самовластия) не через какую-

то искажающую призму, а так, как я привык глядеть на вещи — непосредственно своими глазами. Мне известны ее мысли и дела, ее разговорный стиль и стиль ее письма, ее во всех смыслах неверный немецкий язык, ее нравственный и духовный *уровень*, демонстрируемый с поразительной откровенностью... и этого достаточно. Что и Вас этот уровень порою смущает, я, как бы упорно Вы это ни отрицали, убежден твердо. Я употребляю тут, однако, слишком легкое слово для обозначения вещей жизненно и смертельно серьезных. Я надеюсь, что путем ускоренной процедуры стану швейцарцем, и хочу, чтобы меня похоронили в Швейцарии, как хотел этого Стефан Георге, который после этой «последней воли» не вполне, пожалуй, заслуживает огромного правительственного венка, украшающего его холм.

Довольно. Не буду изменять своему намерению и останусь в как можно более веселых рамках. Если состоится встреча (но рискнете ли Вы выйти на свежий воздух?), можно ведь будет с нужным мужским самообладанием поговорить об «оползне века». Тогда я остановлю бурный поток Ваших речей мягким жестом и отвечу Вам: «Друг мой, я тоже верю в будущее Германии...» Право, мне хочется, чтобы я был так же похож на Гёте, как Вы на Людена².

Очень рекомендую Вам принять приглашение цюрихских студентов. Это милые, общительные молодые люди, и оба вечера, устроенные ими в большой аудитории политехникума, где я читал из «Иосифа», оставили у меня самые приятные воспоминания. В начале февраля мне предстоит турне по всей этой маленькой стране — десять городов; по моим поубавившимся силам это немного чересчур, но есть тут и своя психологически благотворная сторона. Вагнеровский доклад³, на котором я простился с Мюнхеном, я, пользуясь этим случаем, тоже прочту еще несколько раз — скоро уже год с того дня, когда я под искренние аплодисменты впервые выступил с ним в мюнхенской auditorium maximum. Фосслер⁴ и Брехт тоже пришли тогда, и Фосслер сказал, что это был самый лучший доклад, который он когда-либо слышал в этом месте. На следующий день мы уехали... Я качаю головой, как об этом подумую.

Рождественский вечер мы провели со съехавшимися детьми и с несколькими друзьями совсем, в общем-то, на прежний манер. Теперь старшие сыновья снова приступили к своей работе в Амстердаме и Сен-Клу, малыши учатся в городе, а Мони⁵, которая до рождества оставалась в Санари, собирается сейчас переселиться во Флоренцию, где у нее есть друзья. Нам остается Эрика. дитя, которым я все больше восхищаюсь и которое все сильнее люблю. Она здесь с беспримерным для цюрихских условий успехом снова открыла свое литературное кабаре, которое держится целиком на ее энергии и фантазии, на ее слегка меланхолическом и все-таки боевом остроумии. Маленький ресторан «Олень», вообще-то кабак невысокого пошиба, переполнен ежевечерне, перед ним стоят машины цюрихского высшего света, публика ликует, пресса единодушно восторгается. Смесь лихости и чистоты, оказывающая такое действие, точно так же оправдала себя в Берне, Базеле и других швейцарских городах и

скоро попытает счастья в широком мире. Мне этот успех доставляет больше радости, чем одобрение, которое встречают, скажем, истории Иакова. Вот она, незаметно и безболезненно появляющаяся в мои годы способность к самоотречению в пользу молодых людей.

О смерти нашего Вассермана Ваши газеты, наверно, известили Вас двумя строчками. Его продукция из-за некоей пустой пышности и выспренности вызывала у меня порою улыбку, хотя я и знал, что он рассказчик гораздо крупнее меня [...]. Во всяком случае его жизнь — это огромный, мирового значения труд на благо немецкого романа, и кривая этой жизни, высоко и блистательно восходящая из нужды и мрака, а затем снова опускающаяся в бедность и ночь, отличается тем романским размахом, о котором он мечтал. Известие об его смерти не было для нас неожиданным, ведь несколько недель назад мы видели его здесь, и нам было ясно, что он погибает, и все-таки, при теперешней моей впечатлительности, оно меня глубоко потрясло. Кончина его, разумеется, связана с оползнем века. Чего уж тут роптать. Лес рубят — щепки летят. Так, кажется, Вы говорите?

Прочтите-ка, что откопала, забавы ради, одна пражская литературная газета! (см. приложение). На другой странице приводятся мои строчки о моем впечатлении от «Витико»⁶, которые Вас, может быть, заинтересуют как моего проводника к Штифтеру. Если мне доведется еще раз написать большую статью, она будет об этом писателе, чья фигура, по мере того, как идет время, все больше занимает меня. Разве что Вы издадите наконец свой труд о нем — тогда я, конечно, остерегусь.

С искренним приветом и лучшими пожеланиями Вашей матушке

Преданный Вам

Томас Манн

43

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Кюснахт-Ц[юри]х, 20.11.34

Глубокоуважаемый господин профессор,

для меня снова было особенной радостью и живительной поддержкой получить Ваше прекрасное письмо и вдобавок обе замечательные статьи. Теперь, познакомившись с этими маленькими образцами Вашей историко-религиозно-мифологической интуиции, я собираюсь при первой возможности изучить Ваш большой труд о греко-восточной романной литературе. Вопрос еще, сумею ли я воспринять его надлежащим образом. Наверное, он, к стыду моему, даст мне почувствовать, сколь еще узки границы моих положительных знаний в этой прекрасной и глубокой области. Но в наличие некоторых внутренних предпосылок к их расширению позволяют мне поверить Ваши слова, что «Волшебная гора» и истории Иакова для Вас кое-что значили, имели некое подтверждающее значение для такого ис-

следователя, как Вы. Одновременно они служат мне доказательством того, — или напоминанием о том, — как широко уже в «Волшебную гору», занимавшую всех исключительно тематикой переднего плана, вторгаются те интересы и мотивы, которые затем в романе об Иосифе становятся явным предметом повествования; другими словами — как точно «санаторный роман» образует промежуточное звено между юношескими реалистическими «Будденброками» и демонстративно мифологическим произведением моего почти шестидесятилетнего возраста.

Действительно, в моем случае постепенно возрастающий интерес к мифу, к истории религии — это «явление возрастное», он соответствует вкусу, который с годами поворачивается от материи индивидуально-бытовой к типическому, всеобщему, всечеловеческому. В юности мне никак не могли бы доставить удовольствие ни сцена вроде той, которую Вы упомянули, — сон Иакова об Анупе¹, — ни реплика вроде той, что вложена в уста существа с головой шакала: «Я еще избавлюсь от своей головы». Это почти домашняя шутка, на нее, читая, не обращают внимания. А речь-то идет о карьере некоего бога. Ведь этот Ануп, сейчас еще полуживотное-полусатир, не кто иной, как будущий Гермес-Психопомп². Заметили Вы, что он сидит у меня на камне в точной позе Лисиппова Гермеса в Неаполе? Я необычайно люблю эту скульптуру, прекрасная копия которой стоит в берлинском Старом музее, и то место есть тайное выражение восторга... Из английских писателей, на которых Вы указываете, двоих я знаю довольно хорошо. Искусством Хаксли, особенно его эссеистикой, я восхищаюсь как тончайшим цветком западноевропейского духа. Я предпочитаю его Д. Г. Лоренсу³, который несомненно представляет собой значительное и характерное для времени явление, но чья лихорадочная чувственность мне не очень по вкусу. На Поуиса⁴, одновременно с Вашим письмом, обратила мое внимание статья в «Нее Цюрхер Цейтунг», разбирающая, причем под заголовком «Назад к ихтиозавру», его книги «Defense of Sensuality» и «The Meaning of Culture»*. Это, конечно, грубое и огрубляющее заглавие, но насмешка, в нем содержащаяся, отчасти оправдана. Есть в современной европейской литературе какая-то злость на развитие человеческого мозга, которая всегда казалась мне не чем иным, как снобистской и пошлой формой самоотрицания. Да, позвольте мне признаться, что я не поклонник движения, представляемого в Германии, например, Клагесом⁵, движения антидуховного и антиинтеллектуального. Я давно его опасался и с ним боролся, потому что разглядел все его жестоко-антигуманные последствия задолго до того, как они проявились... То «возвращение европейского духа к высшим, мифическим реальностям», о котором Вы так убедительно говорите, дело с точки зрения истории духа действительно великое и доброе, и я вправе гордиться, что своим творчеством в какой-то мере участвовал в нем. Но Вы, я полагаю, согласитесь со мной, если я скажу, что с модой «на иррациональное» часто бывает связана готовность принести в жертву и по-мошеннически ог-

* «В защиту чувственности», «Смысл культуры» (англ.).

швырнуть достижения и принципы, которые делают не только европейца европейцем, но и человека человеком. Тут дело идет о куда менее благо-родном по-человечески «возврате к природе», чем тот, что подготовила французская революция... Довольно! Вы понимаете меня с первого слова. Я человек равновесия. Я инстинктивно склоняюсь влево, когда лодка дает крен вправо, — и наоборот...

После этого отступления не мешает еще раз вспомнить о том неописуемом обаянии, какого был для меня полон Ваш очерк об образе Телесфора⁶ в «сисуллус»^е* и со свитком в руке. Что за волшебная фигура, этот маленький бог смерти! И в частности — какое волшебство исходит от истории плаща с капюшоном, если оно живет целые тысячелетия. Порази-тельно! Я понятия не имел об этих вещах, и все-таки своего Иосифа, после его воскресения из колодца, когда измаильтяне ведут его в Египет, я наделил и плащом, и капюшоном, и свитком. Это таинственная игра духа, доказывающая, что симпатия может до известной степени заменять научное знание.

С почтительным приветом, глубокоуважаемый господин профессор.

Преданный Вам

Томас Манн

44

герману Гессе

Ароза, 11.III.34

Дорогой господин Гессе,

известие о смерти Виганда¹ было для меня большим ударом. Горе и заботы тут быстро сделали свое дело. Жертва, одна из многих. И жертва за что?... Я хочу написать и вдове.

Почему Вы прислали мне эти мюнхенские и лейпцигские мерзости? Я только робко заглянул в них и увидел эпиграф, где это неаппетитное чучело Гитлер прочувствованно и панибратски сравнивает себя с Вагнером. Этим я был уже сыт по горло.

Но прекрасной, веселой земли Баварской мне правда жаль, и я зави-дую Вашей ничем не связанной свободе передвижения и повсеместного проживания. И здесь некоторые доброжелательные люди советуют мне вернуться в Германию, говоря, что мое место там, что эмиграция не для меня, что правителям было бы даже приятно, если бы я вернулся, и т. д. Все так, но как там жить и дышать? Не могу этого себе представить. Я зачах бы в этой атмосфере лжи, шумихи, самовосхваления и утаенных преступлений. Немецкая история всегда шла волнообразно, высокими го-рами и глубокими низинами. Ныне достигнута одна из самых глубоких депрессий, может быть, самая глубокая. Что ее принимают за «подъем», это невыносимей всего...

* Капюшоне (лат.).

Мы здесь уже 2 недели, и почти непрерывно дует сухой теплый ветер, к сожалению. Из работы при этих обстоятельствах мало что вышло, и, пожалуй, не надо было мне даже пытаться работать. Для меня климат и сам по себе, без всего прочего, составляет спортивную нагрузку.

Что «Рундшау» вскоре напечатает какой-то кусок, относящийся к тому таинственному и высокому замыслу², Берман³ мне уже рассказал, и я жду этого с бесконечным любопытством. И с особенной радостью увидал я в журнале то прекрасное стихотворение о человеке⁴, которое Вы мне как-то прислали в Кюснахт.

Хоть бы не разочаровал Вас мой второй том!⁵ По крайней мере, рисунок Вальзера на обложке вышел, говорят, еще удачней, чем первый.

Сердечный привет Вам и Вашей милой жене от нас обоих!

Ваш Томас Манн

45

ЮЛИУСУ БАБУ

*Цюрих-Кюснахт. 25.III.34
Шидхальденштрассе, 33,*

Дорогой господин Баб,

сердечное спасибо за Ваше письмо от 20. Я особенно рад тому, что и этот второй том увлек Вас. Он идет поначалу несколько тяжело, но зато потом в нем, как и мне кажется, много любопытного и занимательного. Кстати, его никак в общем-то нельзя считать вполне самостоятельным томом. Позднее он должен составить одно целое с первым, и весь роман будет двухтомный.

Ваш вопрос насчет Лии, конечно, вполне оправдан. Первой обратила мое внимание на этот пробел, производящий впечатление забывчивости, и потребовала, чтобы я заполнил его, моя жена. Последовать ее совету помешала мне какая-то смесь безразличия и убежденности. Молчание относительно Лии основано в сущности на некоем художественном намерении; она просто-напросто должна быть забыта. Если же этого не происходит, как в случае с Вами, и возникает вопрос насчет нее, то я, конечно, обязан ответить. У меня было такое чувство, что после того как эта «неправедная» сыграла свою роль полностью и было к тому же упомянуто, что она «с красными своими глазами, отвергнутая, всегда сидела в шатре», повествование может умалчивать о ней и не касаться ее дальнейшей, уже не имеющей значения судьбы. Сообщать об ее смерти просто не было, чисто повествовательски, никакого интереса, и если читатель воспринимает это как недостаток, то я должен принять этот упрек и могу выдвинуть лишь тот довод, что холодный отчет о смерти Лии показался бы на фоне отчета о кончине Рахили, может быть, более бессердечным, чем полное молчание.

Бруно Франки¹ еще не выполнили своего плана переселиться в Англию. Как я только недавно узнал, они находятся сейчас в Санари-сюр-мер (Вар).

Я вовсе не доволен, что Вам дали прочесть «Юного Иосифа» в гранках; они, не говоря уж об опечатках, еще отнюдь не давали верной картины книги. Впоследствии была снята целая глава, оказавшаяся ненужной, да и не все было в порядке с заглавиями отдельных кусков, а они для общей картины весьма важны. Если впечатление сложилось все-таки благоприятное, то тем лучше! Я с большой радостью жду Вашей рецензии.

Привет и наилучшие пожелания!

Преданный Вам

Томас Манн

46

РЕНЕ ШИКЕЛЕ

Кюснахт/Ц[юри]х, 2.IV.34

Дорогой Рене Шикеле!

в это прекрасное пасхальное утро (это самая, кажется, лазурная пасха на моей памяти) мне хочется опять послать Вам привет и осведомиться о Вашем и Вашей семье житье в новом доме, где Вы, надеюсь, хорошо себя чувствуете и который удобен для Вашей работы. Мы часто, про себя и вслух, сожалеем, что не можем его увидеть и что вообще эпизод нашего соседства и частого общения прошлым летом так и остался эпизодом, на повторение которого видов покамест нет. Недавно я писал об этом своему брату, тоже посетовавшему на то, что именно теперь мы живем в разных городах и даже разных странах, и объяснил ему, что удерживает нас здесь. Привязывают нас к Швейцарии, во всяком случае на ближайшие годы, прежде всего дети. Они здесь, в гимназии и консерватории, устроены, они явно счастливы, и было бы несправедливостью снова пересаживать их, притом на иноязычную почву. Особенно для мальчика¹, делающего успехи у своего концертмейстера, новая перемена учителя была бы безусловно вредна. Мы могли бы его, правда, оставить здесь; но мы хотим подождать хотя бы Меди, которая через 1½ года должна сдать экзамены на аттестат зрелости. Дальше мы не загадываем — кто загадывает теперь больше чем на 1½ года вперед? До тех пор мы будем с помощью божьей платить бешеные деньги за наш дом над озером, а там видно будет. Вообще-то я, признаться, рад был бы сохранить то состояние половинчатой или, вернее, не совсем решительной эмиграции, какое представляет собой жизнь в восточной Швейцарии, так сказать, у ворот Германии, и рад был бы сделать его со временем еще менее скованным и оседлым. Я откровенно завидую Гессе, который давно за границей но для которого Германия не закрыта. Мое отвращение к тамошним порядкам и мое горячее желание, чтобы хозяйничающая там банда убралась так или иначе к чертям, нисколько не изменилось; но мне все трудней примириться

с тем, что из-за этих идиотов я отрезан от Германии или хотя бы только оставил им свое имущество, дом и утварь. Я не отказываюсь от попытки вырвать это из рук мюнхенских мерзавцев; и поскольку меня, к разочарованию этих самых мерзавцев, не лишили подданства и в последний заход², то и правда есть какая-то вероятность, что в обозримом будущем мне это вернут. Если бы мы могли пользоваться своей мебелью, мы сильно сэкономили бы на арендной плате, да и чувствовали бы себя спокойнее в окружении вещей из прежней жизни. Но главное, если бы мы отвоевали ее, это было бы просто торжеством над мюнхенскими властителями, за которым, по человеческому разумению, должно было бы волей-неволей последовать продление моего паспорта. Тогда я мог бы по крайней мере проезжать через Германию, чтобы навещать наш дом в Мемельской области³. Я требую такой свободы передвижения, я считаю наглостью, что мне в ней отказывают! Это тоже позиция, разве не так? Скажите, считаете ли Вы ее предательской и бесхарактерной?

А можете и не говорить, потому что моя позиция, мои планы и решения нетверды и противоречивы. Как только я поднимаю глаза от своего причудливого эпоса, где продвинулся до первой беседы между Иосифом и Потифаром в финиковом саду последнего, я начинаю думать о некоем очень личном и беспощадном разговоре, в форме книги, по поводу немецких дел, разговоре, за который мне когда-нибудь да придется приняться и который будет, конечно, означать полный разрыв с Германией до конца нынешнего режима, то есть, вероятно, до конца моих дней. Или Вы верите, что я или Вы доживем до его краха? Недовольство велико, ропщут повсю и довольно открыто, экономическое положение скверное (хотя иные отрасли промышленности процветают), есть опасность падения марки и появления суррогатных товаров, не будет недостатка и во внешнеполитических неудачах и т. д. Но немецкий народ терпелив, и так как свободы он не любит, воспринимая ее как беспорядок, отчего она в известной мере и правда приводит его к беспорядку, то, несмотря на тяжелые разочарования, он будет при новом, грубодисциплинарном строе чувствовать себя все-таки лучше и спокойнее, все-таки «счастливее», чем при республике. Добавить нужно неограниченные средства обмана, оглушения и оглупления, которыми располагает этот режим. Интеллектуальный и нравственный уровень давно уже пал так низко, что задора, необходимого для настоящего возмущения, ждать просто не от кого. И находясь в этом состоянии деградации, они преисполнены торжественного сознания, что представляют собой новый мир, — а нов-то их новый мир именно деградацией. Мы в нем чужие, и нам в конце концов придется смириться. Я лично начал смотреть на себя исторически, как на пережиток другой эпохи культуры, эпохи, которую я индивидуально довожу до конца, хотя по сути она уже мертва и забыта. Эдуард Корроди⁴ из «*Нейе Цюрхер Цейтунг*» не бог весть какой критик, но, когда он в своей рецензии на «*Иосифа*» назвал его «последней песней немецкой воспитательной поэзии», меня это действительно взволновало. Фердинанд Лион⁵, с которым я тут часто мило беседую, применяет к этой книге еще более торже-

5 Томас Манн

ственное определение. Он называет ее «Les adieux de l'Europe» *. Этот грустный, но почетный титул мне нравится, и я думаю, по крайней мере в пессимистические часы, что все, что мы сегодня делаем, заслуживает такого названия. План Вашего журнала и его заголовков «Защита Запада» показывают мне, что у Вас более боевое настроение. Я отсоветовал Вам братья за это дело, но в глубине души я хочу, чтобы Вы осуществили свой план. Нет ничего прекраснее, чем почетные арьергардные бои, а кроме того, мы, может быть, сами не знаем, как мы еще сильны.

Я послал бы Вам недавно вышедшего «Юного Иосифа», если бы не был уверен, что Вы его и так получите. Надеюсь, скоро представится случай лично подарить его Вам. Берман выпустил его с несколько странной поспешностью. Тем длиннее будет зато вторая пауза. Веселость, необходимую для творчества, приходится ведь постоянно отвоевывать у обыденной тоски, да и некоторая усталость после первой тысячи страниц неизбежна...

Просто не помню другой такой голубой весны, как в этом году. А уж каково-то у Вас! Завтра увижу, что делается в Тессине, так как поеду выступать в Локарно: 4 часа, это чуть ли не самая дальняя поездка, какая возможна в этой стране.

Сегодня вечером у нас ужинает Аннетта⁶. Будем, значит, говорить о Вас. Кстати, покауда я дописал это письмо, наступило четвертое.

Передайте сердечный привет своим, а также моему брату, если его увидите! И Вам самому шлет дружеский привет

Ваш Томас Манн

47

КЭТЕ ГАМБУРГЕР

Кюснахт, 4.V.34

Глубокоуважаемая фрейлейн Гамбургер,

сердечно благодарю за Ваше письмо. Вы говорите о моем сочинении в таком высоком тоне, что я, право, взволнован и даже немного подавлен: смогу ли я дальнейшим развитием религиозного авантюризма, каковым маленький Иосиф, в отличие от своего добропорядочного создателя, по сути является, оправдать Ваши ожидания, такие по-человечески и духовно большие? Будем надеяться, что это произойдет «в ходе работы», — ибо это «в ходе работы» имеет у меня большое значение: мои намерения всегда должны быть скромны и юмористичны, тогда вещь, может быть, и «получится» и примет природные свои пропорции. А если бы она сразу открыла их мне, я бы за нее и не взялся.

Египетское продолжение занимает уже много места, уже несколько сот страниц, хотя сюжетно я не продвинулся дальше, чем до первого знакомства отторгнутого с Потифаровым домом. Боюсь, что до этого я слишком

* «Прощание с Европой» (франц.).

мудрил и начало тома придется переработать. Сколько всего нужно еще сделать и выполнить, в том числе, правда, и сколько весьма заманчивого для рассказчика! В характеристике Иосифа как политика мифа и светского практика мне придется зайти довольно далеко; но зато при встрече с братьями проявятся человечно-милые стороны его натуры.

[...]

Желаю Вам вжиться тем временем в чужую академическую среду и прочно в ней утвердиться! Верю, что Ваши необыкновенные способности добьются признания и там, как они добились его дома.

Преданный Вам

Томас Манн

48

ИДЕ ГЕРЦ

*Линия «Голландия—Америка»
Королевское почтовое судно «Волендам».
25.V.34*

Дорогая фрейлен Герц,

не зная, когда удастся мне это сделать в Нью-Йорке, я хочу поблагодарить Вас за Ваше дружеское прощальное письмо и приятные дорожные припасы, его сопровождавшие, сегодня и здесь, а заодно и послать Вам наш сердечный привет с этого уже оканчивающегося морского пути. Сначала погода у нас была довольно скверная, туманный горн гудел целыми днями, и продвигались мы медленно, вследствие чего ступим на землю Нового Света лишь 29 утром вместо 28. Но какое это имеет значение? С тех пор как установилась хорошая, летняя погода, — под влиянием Гольфстрима это произошло вскоре, — а судно идет себе от горизонта к горизонту почти без качки и всякое подобие морской болезни преодолено, на палубе и в салонах этого славного, уютного средства передвижения живется до того хорошо, что не торопишься прибыть на место и, по правде сказать, уже заранее опережая пребывание в Америке и тамошние впечатления, радуешься обратному пути. Быт здесь как в первоклассном санатории с потрясающе хорошей едой и всяческими, самыми изощренными удобствами, имеющем вдобавок то преимущество, что он парит над кру́гом фиолетового океана. Полная тишина вокруг поразительна. Ведь на этом «участке» ходят суда всех стран, а мы за все эти дни не видели даже дыма других пароходов. Очень уж места много, и есть в этих расстояниях что-то космическое. Так теряются звезды в пространстве, как корабли на этой воде, и встретиться два парохода могут, конечно, лишь в виде исключения. Чувство первозданной уединенности между мирами, любопытное и само по себе, странно оттеняется окружающими тебя изяществом и удобствами. Это все-таки нечто иное, чем путешествие по суше: при всем комфорте сохраняется какой-то элемент примитивности и авантюристичности; он проглядывает уже в неопределенности часа и даже дня прибытия, и элемент этот симпа-

тичен мне в том же смысле, что и характер движения — это степенное перемещение через дали, благотворно отличающееся от суетливых поворотов железной дороги.

Сегодня мы видели стаю птиц на волнах, чаек, — вот куда осмелились они забраться, но все-таки они послужили нам знаком, что суша теперь не так уж и далека.

Кстати сказать, судно наше почти пустует: в I классе нас не больше десяти пассажиров, так что вполне можно вообразить, что путешествуешь на собственной яхте. «Роттердам» на обратном пути будет, наверно, несколько населеннее, поскольку в июне у американцев начинается сезон поездок в Европу.

Мы играем в красивые палубные игры с одним молодым голландцем и с одним дельцом из Филадельфии, любящим больше всего на свете шампанское. Особенно нам нравится некая разновидность поло, в которое мы уже наловчились играть.

Что я *german author**, уже разнесся слух. Но больше ничего никто обо мне не знает, кроме одного маленького стюарда из Гамбурга, который успел даже прочитать «Иакова», как он доложил моей жене. На днях вечером, перед показом *moving picture*** , миссис Кинг, этакая американская гримза с нашего стола, попросила записать ей английские заголовки моих книг и обещала зимой все прочесть. Я отсоветовал ей делать это.

До свиданья!

Ваш Томас Манн

49

ЭРНСТУ БЕРТРАМУ

30.VII.34

Дорогой Бертрам,

из дарственной надписи на Ваших «Немецких ликах» я с огорчением вижу, что Вы, уже несколько недель назад, потеряли друга¹. Я не знал об этом, и никакие наши с Вами серьезные ныне расхождения в оценках и взглядах не должны и не могут помешать мне выразить Вам свое живое сочувствие по поводу боли, которую, конечно, причинила Вам эта утрата. Индийские утешения, на которые намекает другая Ваша посвятельная надпись, моей природе не очень созвучны. В духе храброго пессимизма, высоко мною ценимого в характере XIX века, я держу сторону штормовского² «Таким уж ты не станешь снова — Как не был никогда таким». Но в любящей Вашей душе друг Ваш по-прежнему будет жить, как и в сердцах всех, кому довелось видеть этого чистого и благородного юношу.

* Немецкий писатель (англ.).

** Кинофильма (англ.).

Ваши статьи я читаю со всей симпатией, какую всегда вызывала у меня Ваша честная и умная немецкая статья. Что Вы способны путать эту немецкую статью с пошлейшей пародией на нее и принимать мерзейшего в мировой истории шута³ за «спасителя», о котором говорит Ваш поэт⁴, — это для меня постоянное горе, весьма часто готовое перейти в противоположность того, выражением чего оно ведь в конечном счете является. Без всякой, поверьте, преувеличенной торжественности обращаю Ваше внимание вот на что: последуй я Вашим настойчивым дружеским советам, меня бы уже с вероятностью, почти равной определенности, не было сегодня в живых. Какое это имело бы значение, скажете Вы, по сравнению с «творимой историей»! Конечно, никакого. И все-таки я иногда думаю, что эта определенность могла бы, просто по Вашей натуре, слегка изменить Ваше покорно-доверчивое отношение к силам, от вмешательства которых меня уберегла милость судьбы.

«Увидим», — написал я Вам как-то, и Вы упрямо ответили: «Конечно, увидим». Начали ли Вы видеть? Нет, ибо кровавыми руками Вам закрывают глаза, а Вы куда как довольны такой «защитой». Немецкие интеллигенты — простите, что употребляю это слово в чисто объективном смысле, — начнут видеть даже позже, чем кто бы то ни было, ибо слишком глубоко, слишком позорно они увязли и оконфузились.

Несчастный, несчастный народ! Я давно уже прошу мировой дух освободить его от политики, распустить его и рассеять по новому миру, подобно евреям, с которыми этот народ связан таким сходным трагизмом.

Отвечаю тем же на Ваш привет, а также, вполне искренне, на Ваши добрые пожелания.

Ваш Томас Манн

50

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

*Кюснахт-Цюрих, 4 авг[уста], 34,
Шидхальденштрассе, 33*

Глубокоуважаемый господин профессор,

что я еще не поблагодарил Вас за присылку Вашей последней критической работы, очень меня беспокоит, и я хочу хоть с грехом пополам поправить дело. Я был плохим корреспондентом последнее время, по отношению не только к Вам, но и ко всем на свете. Главная причина этого Вам известна: это наше американское путешествие, стоявшее мне, как никак, месяца и учинившее некоторый беспорядок во всем моем маленьком хозяйстве. А было то, собственно, великолепное баловство, — так я определил бы сразу и впечатляющие, и ненужные стороны этого предприятия. Я не раскаиваюсь в своем походе, ведь есть тут что-то приятное и по-человечески оправданное, когда вот так пожинаяешь посеянную за долгие годы и выросшую симпатию, тем более если на родине урожай побит градом.

Плохо то, что вскоре после возвращения, едва я опять приступил к регулярной деятельности, состоялось новое путешествие — в Венецию, на какой-то бессмысленный в общем-то международный конгресс по вопросам искусства. Извлек я из этого только свидание с городом, который, по глубоким и сложным причинам, давно горячо люблю, и с соседним курортным островом где разыгрывается некая история, которой теперь уже 20 лет. В течение половины этого срока я не бывал там, но этот случайный приезд сломал лед, и надеюсь ближайшей весной, если живы будем и если состояние Европы позволит, провести там неделю-другую без пустой болтовни на такие темы, как «L'art et l'état» * или «L'art et la réalité» **.

Упомянув, однако, об этом проблематичном и заключающем в себе столько будущих проблем «состоянии», я заговорил о главной помехе, от которой страдает мой покой, моя веселость, моя сосредоточенность, мое душевное и даже физическое здоровье, короче — мое творчество. Не знаю, как Вы, ученый, относитесь к злобе дня, к политическим событиям, к так называемой мировой истории, но полагаю, что Вы умеете держаться свободнее от них, чем то удастся мне, — к стыду моему, должен был бы я, пожалуй, добавить, если бы меня не извиняло то, что ареной этих событий является ныне моя родина, от которой я отрезан, и что, следовательно, мое отношение к ним поневоле гораздо непосредственнее и, как говорил Гёте, «патологичнее», чем Ваше. Несмотря на горе, которое непрестанно причиняет мне судьба моей страны — эта судьба, грозящая стать судьбой и всей нашей части света, — я с переменным успехом, но честно пытался в течение всех этих полутора лет по-прежнему выполнять личные свои задачи. Но трудно передать, как потрясли меня зверства 30 июня¹, австрийские ужасы² и затем государственный переворот этого субъекта³, дальнейшее его возвышение, несомненно означающее новое укрепление его уже дрогнувшего былого режима, как все это волнует меня и отдаляет от того, что я, будь мое сердце тверже и холоднее, считал бы, пожалуй, единственно важным для меня и мне подобающим. Какое мне дело до «мировой истории», мог бы я, казалось бы, думать, покуда она позволяет мне жить и работать? Но так думать я не могу. Моя морально-критическая совесть находится в постоянном возбуждении, и мне становится все невозможнее заниматься и дальше пусть и возвышенной игрой своей работы над романом; пока я не «дам отчета» и письменно не изолюю сердца, не поделюсь его тревогой, знанием, мучительным опытом, а также ненавистью и презрением.

И вот, как во времена «Размышлений аполитичного», я, пожалуй, перейду от повествования к такому исповедальному предпрятию, а завершение моего третьего тома⁴ отложится на более отдаленное будущее. Пускай. Человек и писатель может делать только то, что его допекает; и что кризис мира становится кризисом и моей работы и жизни, это в порядке вещей, и мне следует видеть в этом знак того, что я жив. Настало.

* «Искусство и государство» (франц.).

** «Искусство и действительность» (франц.).

кажется, время высказаться, как я предполагаю, и скоро может прийти момент, когда я буду раскаиваться в том, что продлил свое выжидательное молчание сверх отпущенного на то срока.

Вот что хотелось мне сказать Вам, чтобы Вы были в курсе дела. Еще раз спасибо за Вашу работу. Какие опять новые и неожиданные связи! Про себя можете быть уверены, я буду держаться за этот общий у нас мир интересов.

Преданный Вам

Томас Манн

51

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Кюснахт, 7.VIII.34

Дорогой господин Гессе,

спасибо от всего сердца за письмо и дорогой подарок!¹ Какое богатство мелодий! Какое чистое искусство! Сущая отрада для страдающей души. Эти слова имеют обобщающий смысл, но также и вполне личный и должны не в последнюю очередь оправдать скудость этого выражения благодарности. Я пребываю в довольно тяжелом житейском и рабочем кризисе. Немецкие дела настолько меня донимают, так сильно и непрерывно терзают мою морально-критическую совесть, что я, кажется, уже не в состоянии продолжать свою текущую художественную работу. Может быть, пришло время исповедально-политического сочинения, которое я должен написать без всяких оглядок и которое, конечно, внутренне далеко завело бы. С другой стороны, больно за мой роман, сомнения в пользе такого приложения сил мучат меня, и я не прихожу ни к какому решению. Хорошо бы посоветоваться с Вами, но Вы-то ведь довольно далеко.

Ваш

Томас Манн

52

ФЕРДИНАНДУ ЛИОНУ

*Кюснахт-Цюрих, 3.IX.34,
Шидхальденштрассе, 33*

Дорогой Лион,

спасибо за Ваше письмо. Когда я «выражаю свой ужас», я надеюсь, что при этом получится и какая-то положительная помощь, какое-то личное содействие лучшему; но нынешним хозяевам и растлителям страны помочь все равно нельзя и помогать не следует. Пока эта гнусная шайка не сгинет, ничего путного для мира и человека возникнуть не может. Послушайте, что говорят о германском режиме сербы, венгры,

итальянцы. Отвращение единодушно, и оно показывает, какая пропасть отделяет этот режим даже от тех политических укладов и убеждений, которые называют фашистско-диктаторскими. Так называемый национал-социализм выходит даже за европейские рамки благовоспитанности, он противостоит не только «либерализму» и «западной демократии», но и просто-напросто цивилизации, употребляя это слово в таком смысле, от какого и немецкий культурмистицизм никуда не уйдет. Мне часто бывает стыдно, что я занимаюсь не тем и не выполняю возложенного на меня, вероятно, долга — сказать миру надлежащие слова. Я этого еще не делаю. С романом, впрочем, тоже застопорило, и вот я покамест пишу газетную статью под названием «Путешествие по морю с Дон Кихотом»¹, болтливо-ассоциативную вещицу, которая нужна мне, чтобы выиграть время и вдобавок укомплектовать том эссе.

«Иаков» будет Вам послан. (Из него сейчас в Лондоне делают фильм².) Заранее радуюсь Вашему дополненному исследованию в «Антологии». По-настоящему это должно было бы остаться главным моим интересом, и так оно в сущности и есть. А что с Вашим предложением Фишеру³? Все еще никакого ответа? Берман, находящийся сейчас в Фрейденштадте (Шварцвальд) у стариков, сообщил недавно по телефону, что навестит нас. Он хочет проверить, все ли в порядке, потому что чувствует, что я настроен вырваться. Но потом он известил нас, что состояние Фишера не позволяет ему уехать. Похоже, что мой старый друг уже не живет на свете. Он все спит и почти не принимает пищи.

У нас сейчас бывает до смешного много гостей, главным образом из Германии. Объявляются даже люди, отошедшие совсем далеко, — как, например, сегодня Эмиль Прееториус, — они постарели, говорят шепотом и потрясены тем, что узнают за границей о своей стране.

Сердечный привет!

Ваш Томас Манн

53

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Кюснахт, 5.IX.34

Дорогой господин Гессе,

своим дружеским письмом Вы вогнали меня в краску, ибо мне совершенно ясно, что моя открытка была крайне слабой реакцией на Ваше последнее прекрасное послание. Самое малое, что я могу сделать, — это поскорее ответить на Ваши позавчерашние строки.

Ad* 1. «Немецкая биография»¹ ко мне не обращалась — да и с чего бы ей ко мне обращаться? Шольц, насколько мне известно, пи-

* По поводу (лат.).

сатель самого верноподданнического направления, да и не будь он таковым, — мое имя настолько однозно, а люди настолько трусливы, что недавно «Франкфуртер Цайтунг» вычеркнула посвящение мне из статьи Мейера-Грефе² о Флобере. По этому поводу один анекдот, который я вычитал в «Книжном черве»³, весьма показательный по своему настроению. В писательской компании, перед переворотом, *Биндинг*⁴ заявляет, что нет ни одного настоящего художника, который не был бы способен написать хоть одну стихотворную строку. Ему называют — довольно-таки бедное воображение! — мое имя (вместо того, чтобы назвать Жан-Поля⁵, Диккенса, Достоевского, Толстого, Бальзака, Пруста, Мопассана или еще кого-нибудь), и, продолжая журнал, «как будто бы загнанный в тупик, Б[индинг], на секунду задумавшись, бросает дерзкое тогда утверждение», что я-то и не настоящий художник. «Это было нечто большее, — пишет журнал, — чем бонмо или блестящий выход из трудного положения...» Епогме! * — восклицал в таких случаях, не без воодушевления, Флобер.

Ad 2. Человека, восторженно Вас любящего, я, кажется, знаю и отношусь к нему, ради Вас, хорошо. Что касается его навязчивой идеи, то я спохватился раньше, чем он, да и чем Берман, который недавно действительно обратился ко мне по этому поводу. В своей переписке с Фредриком Бёеком, решающим стокгольмским академиком, я уже минимум трижды, но думаю, что четырежды, более или менее подробно развивал и обосновывал эту идею. Отмечу, что многие из этих писем были написаны до событий. Но Вы простите мне, что после событий я стал настойчивей. Вы — та Германия, которая должна получить премию, если таковую получит Германия. Мысль, что ее получит кто-нибудь внутри страны, какой-нибудь Кольбенгейер, Гримм или Штер, приводит в отчаяние. Но мой противник в данном случае (если ни в каком большем) — германский посол в Стокгольме.

Я с нежностью навострил уши при Ваших словах о Ваших музыкальных изысканиях и о роли, которую играет в Ваших «литературных планах» старая музыка. Полагаю, что эти планы имеют в виду все тот же большой курьез, в осуществлении которого Вам сопутствуют мои самые заинтересованные пожелания.

Сам я занимаюсь пустяками, пишу длинный фельетон «Путешествие по морю с Дон-Кихотом», где дневниковое описание океанского путешествия смешано с замечаниями об этом романе. «Иосиф в Египте» у меня застопорился, а на что-нибудь другое, на «Книгу негодования»⁶, я еще никак не решусь. Но заглавие, правда, хорошее?

У нас сейчас бывает необычайно много гостей, преимущественно из Германии. Появляются и фигуры из прежней жизни, которые уже совсем было куда-то канули: постаревшие, говорящие шепотом, потрясенные тем, что узнают о своей стране за границей.

* Неимоверно! (франц.).

Горячий привет от нас обоих Вам и фрау Нинон. Возможно, что мы навестим Вас в октябре. Мы наполовину решили съездить на машине во Флоренцию.

Ваш
Томас Манн

54

ХЕДВИГ ФИШЕР

*Кюснахт-Дюрех, 2.XI.34,
Шидхальденштрассе, 33*

Дорогая фрау Фишер,

мне хочется послать Вам привет, только и всего. С тех пор как мы в Базеле, на обратном пути из Лугано, узнали о случившемся¹, не было дня, чтобы мы не говорили о Вас и о Вашем муже, и потрясение, которое мы тогда испытали, не прошло и не пройдет еще долго. Надо было, казалось бы, подготовиться к этой утрате и даже чуть ли не согласиться с ней; и все-таки не могу передать, какую она причинила мне боль, когда и в самом деле случилась. Почти четыре десятилетия совместной работы! Я был очень привязан к покойному. Между нами царилла веселая сердечность, какая вообще-то редко получалась у меня в отношениях с людьми, и почти не бывало у нас даже поверхностных обид и недоразумений. Мы сходились характерами, и я всегда чувствовал, что я рожден быть его автором, а он — моим издателем. На это я и намекнул в некрологе², который Вы, вероятно, видели в воскресном приложении к «Базлер Нахрихтен». Непонятно, право, как я в таких обстоятельствах обуздываю свои чувства, непроизвольно их оттесняю и охлаждаю ради психологической характеристики. То-то и оно, что я не лирик и мой удел — объективизировать, соблюдать дистанцию. Я не удивился бы, если бы Вас покорило от этого в данном случае. Да и сам я больше доволен двумя скупыми страницами, которые послал сейчас еще Зуркампу³ для траурного номера «Рундшау». Пусть бы этот номер стал хорошим памятником!

От Райзигера⁴, собирающегося навестить нас на днях, мы узнали, что конец был спокойный и в забвенье. Так оно и должно быть. А Вы? Как перенесло Ваше сердце эту разлуку? После того как так долго шли бок о бок и все делили? Как подумаешь о жизни, слезы навертываются.

За последнее время Ваше издательство выпустило много хорошего и интересного. Необычайно интересна книга о Карле Великом⁵. Дёблин⁶, говорят, хочет написать статью о ней для «Заммлюнг»⁷. Хотя вообще-то о немецких книгах, то есть о вышедших в Германии, эмигранты не любят упоминать. Но что я, и притом с необычайным увлечением, прочел от корки до корки — это «Ханеман»⁸ Гумперта⁹, описание одной жизни, о которой я почти ничего не знал и которая меня в этом изложении глубоко взволновала. Будьте благополучны и спокойны! Передайте привет Вашим детям и внукам, и Вам шлет привет

Ваш Томас Манн

55

ГАРРИ СЛОЧАУЭРУ

Кюснахт-Цюрих, 1.1X.35

Глубокоуважаемый господин Слочауэр!

Мне совестно, что Ваша рукопись так долго лежала у меня, и я прошу Вас не судить меня слишком строго. [...] Большую главу из «Three Ways of Modern Man»* я изучил¹ с понятным интересом. На основании своих впечатлений я убежден в том, что весь этот труд представит собой интереснейший анализ положения современного человека, и я горд тем, что Вы могли воспользоваться моим творчеством, чтобы точнее определить это положение. Автор, конечно, не может не быть взволнован, когда его вот так включают в критику эпохи и ее развития, а знание и понимание, с каким Вы это делаете, доставило мне настоящую радость.

Но один элемент Вашей характеристики моего творчества меня удивил и, признаюсь, огорчил. Это создаваемое Вами представление о некоей либеральной нерешительности и нерешимости моего ума. Я имею в виду, Вы понимаете, особенно последние страницы лежащей передо мной рукописи, где эта концепция выступает резче всего. Мне приписывается тут либерализм, неспособный устоять перед иррациональным и антидуховным, и несколько искажаются мои высказывания, взятые из «Фрагментов к проблеме гуманизма — Гёте и Толстой»². Мне никогда не приходило в голову, что ироническую оговорку, о которой я там пишу, что антипатию к опрометчивому решению в пользу природы или в пользу духа можно истолковать как либеральную вялость и слабость. Моя мысль служит здесь самой идее гуманизма, как я его понимаю, идее, что естество человека охватывает одновременно и природу, и дух и получает полное выражение лишь в том и другом сразу. Я представляю идею равновесия, и она-то и определяет мое, я сказал бы, позиционно-тактическое отношение к проблемам времени. Уже лет десять я держался в своих эссе и культурно-критических работах подчеркнуто рационалистической и идеалистической позиции, но к позиции этой я пришел лишь под давлением иррационализма и политического антигуманизма, распространившегося в Европе, особенно в Германии, и издевавшегося над всяким гуманным равновесием. Знаете Антигону³? Сначала эта девушка одинаково чтит обе разновидности божества, подземную и светлую, но из-за того, что ее антагонист Креон поверхностно переоценивает горние силы, ей приходится чрезмерно подчеркнуто чтить силы Аида. У меня картина обратная и все-таки сходная. Но характерно, что рационально-идеалистическая гуманность проявляется почти исключительно в критической эссеистике, в полемике, а не в моем поэтическом творчестве, где моя изначальная природа, требующая равновесия в гуманности, находит гораздо более чистое выражение.

* «Три пути современного человека» (англ.).

Я почти единственный из немецких писателей всеми силами боролся против того, что надвигалось и теперь добилось абсолютного господства в Германии, и нынешнее мое изгнание, изгнание полудобровольное-полувынужденное, есть именно следствие этой борьбы. Я пожертвовал двумя третями своего земного имущества, чтобы жить на свободе вне германских границ, и этим отмежеванием, даже не пускаясь в яростную полемику с Третьей империей, я непрестанно выступаю против того, что происходит сегодня в Германии и с Германией. Мне важно сохранить контакт со своими германскими читателями, которые сейчас по своей природе и по своему воспитанию находятся в оппозиции и могут когда-нибудь положить начало движению против царящей ныне системы, а этот контакт сразу бы прекратился, то есть мои книги, которые пока еще можно читать, были бы сразу запрещены, объяви я войну в более ясной форме, чем то все-таки случалось во многих моих высказываниях последних лет. Сделать из этой сознательной сдержанности, из этого умышленного самообуздания вывод, будто у меня нет нравственных сил назвать мерзкое мерзким и с презрением отвергнуть презренное, значит нанести мне своей критикой обиду, которая, исходя от такого вообще-то симпатизирующего мне человека, как Вы, меня, повторяю, огорчила.

Я должен был это высказать и высказываю в надежде, что, может быть, Вы все-таки решитесь как-то отретушировать свою книгу в этом отношении. Это пошло бы только на пользу правде, ибо я вовсе не требую снисходительности к моим действительным слабостям.

Еще раз, я с искренней радостью жду всего Вашего труда и от души желаю Вам счастливо его завершить. С горячим приветом и в надежде еще раз встретиться с Вами

Преданный Вам

Томас Манн

56

АЛЬФРЕДУ КУБИНУ

Кюснахт, 9.IX.35

Дорогой Альфред Кубин,

я от души порадовался Вашему письму, которое прямо-таки на глазах возникает из спонтанной открытки с приветом, Вашим восторгом по поводу «Страдания и величия» и вообще Вашей памяти, Вашей дружбе и привязанности, так прекрасно открывшимся мне уже много лет назад, когда Вы посетили меня в Мюнхене. Я был тогда тронут Вашей теплой, почти мягкой человечностью, памятующей о молодости, о жизни и смерти, и сегодня я тронут ею опять.

По-моему, мы оба, Вы и я, довольно хорошо держались все эти 35 лет, что мы знакомы, ибо при всех потрясениях, передрыгах и совсем не пустячных страхах, какими только ни осаждали нас эти годы, мы с предан-

ностью и хитростью, с флегмой и тайной страстью, короче — с упорством делали свое дело, которое и само-то по себе дело нелегкое, и Ваше тоже, как я полагаю, нелегкое, хотя тут речь идет, казалось бы, всего лишь об отдельных, быстро заканчиваемых вещах; и когда я узнаю, что над своими «Фантазиями в Богемском лесу» Вы внутренне и фактически работаете уже 13 лет, то мне это известие в полном смысле слова *симпатично*. Примерно столько же времени тяну свой библейский роман и я, и, кроме моей смерти в ближайшие 12 месяцев, ничто мне не мешает его закончить. Пусть это знает так называемая мировая история. Я провел «Волшебную гору» через войну, а теперь проведу трилогию об Иосифе через «немецкую революцию». Для того ведь я и подался на волю из страны этой революции, пожертвовав двумя третями своего имущества.

Но было бы неблагодарностью назвать мое положение лишь сносным. Я живу в красивом доме над Цюрихским озером, и если я теперь и не так богат, как одно время раньше, то все-таки у меня есть все, что мне нужно, и в общем мой быт по сравнению с прежним изменился мало. Может быть, слишком мало: когда я читал о Вашем творческом отшельничестве, меня немножко мучила совесть, ибо я слишком уж склонен позволять миру морочить мне голову, слишком много разъезжаю, обхожусь со своим временем и своими силами все еще так, словно мне наверняка предстоит еще долгая жизнь. Я бы продвигался быстрее, если бы сосредоточился отрешеннее и был тверже по отношению к миру. Но в общем-то дело идет и так, и, может быть, я как раз в том и нахожу удовлетворение, чтобы вопреки всякому рассеянию удерживать сосредоточенность зубами и ногтями.

К моему 60-летию на мою долю выпало чуть ли не чрезмерно много приятного. И какой великолепный лист дали Вы, дорогой Кубин, в бермановский футляр!¹ Позвольте мне сейчас собственноручно еще раз поблагодарить Вас за это, ибо факсимиле, которое Вы в те дни, наверно, получили, было паллиативом².

Кто еще прислал мне сердечную телеграмму, так это наш старый добрый Курт Мартенс, о котором я думал, что его уже нет в живых. Сохранили ли Вы связь с ним и знаете ли еще что-нибудь о нем? [...]

Будьте благополучны, дорогой мастер, и продолжайте свое прекрасное, скорбно-фантастическое и щемяще-смеющееся творение, которое мы любим! Не приведут ли Вас Ваши пути когда-нибудь к нам в Швейцарию? Но если обстоятельства позволят, мы Вас, глядишь, опередим и осядем в Австрии, ибо нынешняя наша страна, при всех своих преимуществах, на длительный срок слишком уж дорога.

С верностью старой дружбе

Ваш Томас Манн

57

РЕНЕ ШИКЕЛЕ

Кюснахт-Ц[юри]х, 16. XII. 35

Дорогой Шикеле,

хочу сразу же поблагодарить Вас за Ваше дружеское письмо. «Письма во мрак» — хороший заголовок, который прошу разрешить мне взять себе на заметку.

Случай Гамсуна, или, вернее, падение Гамсуна¹, я тоже принял довольно близко к сердцу. Какая непонятная грубость! Он несомненно повредит этим злосчастным шагом своей репутации у современников и потомков. Его симпатия к нынешнему режиму основана отчасти, возможно, на том, что он путает таковой с Германией вообще, которой он, как все великие скандинавы, многим обязан. А впрочем, мы же знаем, к каким политическим убеждениям давно привело его отступничество от либерализма. Уже в «Мистериях» он издевался над Гладстоном² и говорил, что перо Виктора Гюго похоже на «жирный окорок, который сочится чем-то ярко-рыжим» — скверный образ, уродливый образ и очень глупый вдобавок. Позднее с его артистизмом, испытанным, кстати сказать, и сильное парижское влияние, смешались мужиковствующее почвенничество, антилитературность, антицивилизаторство, а теперь он дошел до товарищеской близости с нацистами. Меня так и подмывало ему написать, ведь он всегда относился ко мне дружески, да и со днем рождения меня поздравил. Я полагал, что обязан его предостеречь; но это завело бы слишком далеко, я отказался от этой затеи, и меня успокаивает то, что ему, как Вы говорите, пришлось много чего выслушать в собственной своей стране.

Рецензия на Генриха IV³ была довольно типичной выходкой «Цюри Цитиг»⁴, она как нельзя более подошла этой газете. Автора Вы угадали почти тютелька в тютельку: только это не папаша Герман Кессер⁵, а его сынок Армин Кессер. Я написал господину Корроди, что после этого поступка не хочу больше видеть этого молодого человека, который был в добрых отношениях с моим сыном Клаусом и которого мы даже принимали у себя в доме.

Меня глубоко тронуло, что Вы сразу уделили внимание моей главе в «Рундшау»⁶. Я почти решился выпустить новый том весной. Конца в нем еще не будет, он охватит лишь пребывание Иосифа в Египте до катастрофы с женой Потифара и второе падение в яму. Оказалось, что для египетского романа одного тома совсем недостаточно, а так как нового материала хватит на том, я поступаю совершенно правильно, взяв снова аванс и тем обеспечив себе больший покой для заключительной части.

Берман как раз опять уезжал отсюда, когда пришло Ваше письмо. Он снова вел здесь переговоры и хлопотал о разрешении на трудовую деятельность, но ему приходится туго, здесь так же, как и в Берлине. Во что выльется продажа, можно сказать наперед, только он лично все еще питает иллюзии. О Страсбурге я еще не думал. А не будет ли, если

Берман осядет именно там, безусловно потеряв германский рынок, на который он еще рассчитывает? Во всяком случае, я сделаю ему такое предложение. Теперь, под впечатлением встретившихся здесь трудностей, он усиленно думает о Вене. Клерикальная затхлость все же, конечно, лучше, чем национал-социалистская чума, но кто знает, долго ли это вообще продержится?

Сердечный привет Вам и Вашим от меня и моих!

Ваш Томас Манн

58

ЭДУАРДУ КОРРОДИ

Кюснахт-Цюрих, 3.II.1936

Дорогой доктор Корроди,

Ваша статья «Немецкая литература в эмигрантском зеркале», появившаяся во втором воскресном выпуске «Н[ейе] Ц[юрхер] Ц[ейтунг]» от 26 января, привлекла к себе большое внимание, о ней много спорили, ее цитировала — чтобы не сказать: эксплуатировала — пресса самых различных направлений. Кроме того, она имела известное, хотя и косвенное, отношение к заявлению, с которым я вместе с несколькими друзьями считал нужным выступить в защиту нашего старого литературного пристанища — издательства С. Фишера. Поэтому я считаю себя вправе сделать еще несколько замечаний по ее поводу и, возможно, даже высказать несколько возражений против нее.

Вы правы: издатель «Нового дневника»¹ допустил явную полемическую ошибку, утверждая, что вся или почти вся современная литература покинула Германию, что она, как он выразился, «перенесена за границу». Я прекрасно понимаю, что это непоправимое преувеличение должно было разозлить такого нейтрального наблюдателя, как Вы. Господин Леопольд Шварцшильд — блестящий политический публицист, хороший боец, сильнейший стилист; но литература — не его область, и я полагаю, что он — быть может, по праву — считает, что при нынешних обстоятельствах политическая борьба — куда более важное, достойное и полезное дело, чем какая бы то ни было поэзия. Во всяком случае ограниченность кругозора и недостаток художественной объективности, которые он обнаружил своим заявлением, не могли не вызвать возражения у такого литературного критика, как Вы, и некоторые приводимые Вами имена внутригерманских авторов опровергают его слова начисто.

Остается, правда, под вопросом, не предпочел ли бы иной из носителей этих имен тоже быть за границей, если бы это удалось устроить. Я не хочу ни к кому привлекать внимание гестапо, но во многих случаях действуют причины не столько духовного, сколько чисто технического характера, и поэтому границу между эмигрировавшей и неэмигрировавшей немецкой литературой провести нелегко: в духовном смысле она не просто совпадает с границей Германии. Немецким писателям, живущим

вне этой границы, не следует, думается мне, глядеть со слишком неизбирательным презрением на того, кто волей или неволей остался на родине, и связывать свои художественные оценки с местопребыванием автора. Они страдают; но внутри Германии тоже страдают, и они должны остерегаться самодовольства, которое часто бывает порождением страдания. Они не должны, например, упрекать товарища по перу, хотя и отказавшегося ради своих европейских взглядов и ради своих представлений о немцах от дома и родины, от почетного положения и состояния; хотя и не внявшего весьма прозрачным намекам, что он пригодится, а на его непонятное, но уж так или иначе сложившееся мировоззрение посмотрят сквозь пальцы; хотя и оставшегося там, где он был, чтобы и расцвет, и гибель Третьей империи переждать на свободе, но ни в коем случае — сохранится ли нынешний немецкий режим или не удержится — не желавшего сжечь все мосты, связывавшие его с родиной, и лишить себя всякой возможности говорить с ней, — такого человека писатели эмиграции не должны сразу же обвинять в предательстве и в измене, если в вопросах переселения немецкой культуры он по каким-то, может быть, основательным и не вполне учитываемым ими причинам, держится иного мнения, чем они.

Оставим это. Отождествление эмигрантской литературы с немецкой невозможно уже потому, что к немецкой литературе относятся также австрийская и швейцарская. Из авторов, пишущих на немецком языке, мне лично особенно близки и дороги двое: Герман Гессе и Франц Верфель, оба одновременно романисты и достойные восхищения лирики. Они не являются эмигрантами, так как один из них швейцарец, а другой — чешский еврей... Трудным, однако, искусством остается нейтралитет даже при такой долгой исторической тренировке, какой можете тут похвастаться вы, швейцарцы! Как легко нейтральный наблюдатель, выступая против одной несправедливости, впадает в другую! В тот самый миг, когда Вы возражаете против приравнивания эмигрантской литературы к литературе немецкой, Вы сами допускаете столь же несостоятельное отождествление; ведь любопытно, что злит Вас не сама эта ошибка, а тот факт, что ее совершает писатель-еврей; и делая из этого вывод, что в данном случае снова, в подтверждение старого отечественного упрека, с немецкой литературой спутали литературу еврейского происхождения, Вы сами путаете эмигрантскую литературу с литературой еврейской.

Надо ли говорить, что это никуда не годится? Мой брат Генрих и я — не евреи. Леонгард Франк², Рене Шикеле, солдат Фриц фон Унру³, коренной баварец Оскар Мария Граф⁴, Аннета Кольб⁵, А. М. Фрей⁶, а из более молодых, например, Густав Реглер⁷, Бернгард фон Brentano⁸ и Эрнст Глезер⁹ тоже не евреи. Что в общей массе эмигрантов много евреев — это в порядке вещей: это следствие надменной жестокости национал-социалистской расовой философии, а с другой стороны, особого отвращения еврейской интеллектуальности и нравственности к некоторым государственным мероприятиям наших дней. Но мой список, не претен-

дующий, как и Ваш внутригерманский, на полноту, список, который я не стал бы составлять по собственному почину, показывает, что о целиком или хотя бы только преимущественно еврейском характере литературной эмиграции говорить нельзя.

Прибавлю имена поэтов Берта Брехта и Иоганнеса Р. Бехера — поскольку Вы сказали, что не можете назвать ни одного эмигрировавшего поэта. Как Вы могли так сказать, ведь я же знаю, что Вы цените в Эльзе Ласкер-Шюлер¹⁰ настоящую поэтессу? Эмигрировали, утверждаете Вы, «романная промышленность» и «несколько настоящих мастеров и творцов романов». Что ж, «промышленность», «индустрия» значит «прилежание», и люди, оторванные от родной земли, которых экономически стесненный и потому не слишком великодушный мир терпит повсюду лишь через силу, — такие люди и впрямь должны быть прилежны, если хотят выжить: было бы довольно жестоко ставить им это в упрек. Но жестоко и спрашивать их, не воображают ли они, что составляют национальное богатство немецкой литературы. Нет, об этом не помышляет никто из нас, ни промышленники, ни творцы. Но ведь есть же разница между всем нам дорогой сокровищницей немецкой национальной литературы, сокровищницей, обогатить которую суждено будет лишь немногому из того, что возникает сегодня, — и как раз этой нынешней, выпускаемой живыми людьми продукцией, которая в целом и по сравнению с прежними эпохами, как везде, не так уж блистательна, но в которой, опять же как и во всем мире, роман играет особую, можно даже сказать, главную роль — роль, не вполне оцененную Вами, если Вы говорите, что эмигрировала не поэзия, а всего-навсего проза, роман. В сущности, это не удивительно. Чистые стихи — чистые в том смысле, что держатся на почтительном расстоянии от общественных и политических проблем (что лирика делала далеко не всегда) — подчиняются иным законам жизни, чем современная прозаическая эпопея, роман, который из-за своей аналитической интеллектуальности, сознательности, из-за природного своего критицизма вынужден бежать от социального и государственного уклада, при котором те могут притаиться в сторонке и процветать без помех в прелестном уединенье. Но именно эти его прозаические качества, сознательность и критицизм, а также богатство его средств, его способность свободно и оперативно распоряжаться показом и исследованием, музыкой и знанием, мифом и наукой, его человеческая широта, его объективность и ирония делают роман тем, чем он является в наше время: монументальным и главенствующим видом художественной литературы. Драма и лирика по сравнению с ним — архаические формы. Он преобладает везде, в Европе и в Америке. Он преобладает с некоторых пор и в Германии — и поэтому, дорогой доктор, Ваше утверждение, что немецкий роман эмигрировал, никак нельзя назвать осторожным. Если бы так было на самом деле — а утверждаю это не я, — тогда пришлось бы признать, что прав, как ни странно, политик Шварцшильд, а не Вы, литературный критик, тогда центр немецкой литературной жизни и впрямь переместился бы за границу.

Еще недавно, в связи с биографией Вассермана, написанной Карль-вейс¹¹, Вы, со свойственной Вам тонкостью и прозорливостью, рассуждали о процессе европеизации немецкого романа. Говоря об *изменении* типа немецкого романиста, происшедшем благодаря таким дарованиям, как Якоб Вассерман, Вы замечали: под действием интернационального компонента еврея немецкий роман стал интернациональным. Но ведь к этому «изменению», к этой «европеизации» мой брат и я причастны не меньше, чем Вассерман, а мы не евреи. Может быть, на нас повлияла капля латинской крови (и швейцарской — со стороны бабушки). «Интернациональный» компонент еврея — это средиземноморский европейский компонент, а таковой является и *немецким*; без него немцы были бы не немцами, а не нужными миру лодырями. Это-то и защищает сегодня в Германии преследуемая — что возвращает ей уважение воспитанника протестантской культуры — католическая церковь, когда заявляет: только приняв христианство, немцы вошли в ряд ведущих культурных народов. Нельзя быть немцем, будучи националистом. Что же касается немецкого антисемитизма, или антисемитизма немецких правителей, то духовно он направлен вовсе не против евреев или не только против них; он направлен, как все ясней и ясней обнаруживается, против христианско-античных основ европейской цивилизации: он представляет собой — символизированную, кстати сказать, выходом из Лиги наций — попытку сбросить узы цивилизации, грозящую ужасным, гибельным разрывом между страной Гёте и остальным миром.

Твердая, каждодневно питаемая и подкрепляемая тысячами человеческих, нравственных и эстетических наблюдений и впечатлений убежденность, что от нынешнего немецкого режима *нельзя* ждать ничего хорошего ни для Германии, ни для мира, — эта убежденность заставила меня покинуть страну, с духовными традициями которой я связан более глубокими корнями, чем те, кто вот уже три года никак не решится лишить меня звания немца на глазах у всего мира. И я до глубины души уверен, что поступил правильно и перед лицом современников, и перед лицом потомков, присоединившись к тем, к кому можно отнести слова одного по-настоящему благородного немецкого поэта¹²:

Но тех, кто к злу исполнен отвращеньем,
Оно и за рубеж погнать смогло бы,
Коль скоро дома служат злу с почтеньем.
Умней покинуть отчий край свой, чтобы
Не слиться с неразумным поколеньем,
Не звать ярма слепой плебейской злобы.

Преданный Вам

Томас Манн

59

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Кюснахт, 9.11.36

Дорогой друг Гессе,

не огорчайтесь по поводу сделанного шага!¹ Примите во внимание большую разницу между Вашим положением и моим, которая существовала с самого начала и обеспечивала Вам куда больше свободы, отстраненности, неприкосновенности. Я должен был, в конце концов, ясно определить, на чьей я стороне: ради мира, где еще царят довольно двусмысленные и половинчатые представления о моем отношении к Третьей империи, да и ради себя самого; ибо это давно было мне необходимо душевно. А уж после того, как Корроди, использовав мое имя, обошелся с эмиграцией так безобразно, я просто обязан был дать ей удовлетворение, примкнуть к ней. Множеству страждущих я сделал доброе дело, это показывает мне поток писем; и множеству людей равнодушных подал пример, доказывающий, что еще есть на свете такие вещи, как характер и твердое убеждение. Многие сожалеют о моем решении вместе с Вами и в том же смысле, что и Вы. Но я все-таки считаю, что сделал в надлежащий момент что надлежало, «и легко на душе у меня», как поется в песне. К тому же я совсем не уверен, что правящая банда ответит ударом на удар. Олимпиада² и внешняя политика говорят об обратном, и я не исключаяю, что — кроме того, что мне, конечно, не вернут моего имущества, — не произойдет вообще ничего. Разумеется, лишение подданства и запрет на книги вполне возможны. Но если они будут объявлены, то либо, смею думать, будет война, либо через несколько лет в Германии сложится обстановка, которая позволит снова распространять мои книги.

На свой шаг я никогда не смотрел, как на разрыв с Вами; тогда бы я не сделал его или он дался бы мне гораздо тяжелее. Теперь, когда слово сказано, в моем поведении ничего не изменится. Я буду продолжать свою работу и предоставляю времени подтвердить мое предсказание (сделанное довольно поздно), что ничего хорошего из национал-социализма не выйдет. Но моя совесть была бы не чиста перед временем, если бы я этого не предсказал.

От души преданный Вам

Томас Манн

60

ПАУЛЮ АМАННУ

Кюснахт-Цюрих, 21.11.36,
Шидхальденштрассе, 33

Дорогой господин доктор,

спасибо от души! Не обессудьте: вследствие этой гусарской выходки¹ моя корреспонденция сильно разбухла, — я тронут и почти потрясен, видя, какое движение вызвали эти несколько простых и само собой разу-

меняющихся слов, — а кроме того, я стараюсь довести до конца третий том «Иосифа», последняя часть которого, любовная история с женой Потифара, — такая же литературная авантюра малого масштаба, как все в целом — большого.

Ваше предположение верно: эти слова были чистым выражением темперамента, непреднамеренной, почти нежеланной, но в конце концов, наверно, необходимой уже для моего душевного здоровья реакцией на все горькое омерзение, которое ежедневно вызывает у нас это уродство. И вот я написал их и дал им ход в надежде, что время для них уже подошло, а также в желании приободрить эмиграцию, внешнюю и внутреннюю, и одновременно исправить кое-какие неприятно двойственные представления, существующие, возможно, в мире относительно моего отношения к Третьей империи. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что теперь, после долгих оттяжек, германский правительственный сброд лишит меня подданства и запретит мои книги. Но надолго ли? Я говорю себе: либо через 1½—2 года будет война, либо за этот же срок в Германии создадутся условия, при которых и мои книги будут опять возможны. Все соотечественники, меня навещающие, уверяют, что разложение дошло до невероятного, что достигнута последняя стадия.

Если смогу, то в мае прочту в Венском акад[емическом] обществе медицинской психологии торжественную речь к 80-летию Фрейда, а может быть, выступлю там и в июне в дни празднеств. Так или иначе, надеюсь увидеть Вас.

Преданный Вам

Томас Манн

61

ГЕНРИХУ МАННУ

Кюснахт, 2.VII.36

Дорогой Генрих,

спасибо за твою открытку. Там, наверху, сейчас, наверно, чудесно, и я от всей души радуюсь твоему строго заслуженному отдыху. Я слишком часто делал перерывы, если не для отдыха, то для рассеяния: последняя наша поездка в Будапешт и Вену была довольно занята, особенно пребывание в Будапеште с заседаниями «Кооперасьон»¹, докладом о Фрейде² и вторым чтением в Центральном театре, а также со всякой оперной парадностью и банкетами. Венгерское правительство вовсю старалось показать себя цивилизованным, но мы не принимали приглашений, которые, хотя мы и остановились у Гатваньи³, поступали к нам от министров. Пикантной всего было, что германский посол позвонил в министерство внутренних дел и попросил позаботиться, чтобы пресса не уделяла мне столько внимания. Дело в том, что я произнес в «Кооперасьон» речь о «воинствующем гуманизме», о которой потом много говорили. Да и замечания посла никто не принял всерьез. Но разве это не восхитительно: немецкий посол

протестует в собрании европейских интеллигентов. . . Потом так продолжалось некоторое время и в Вене. После тамошнего моего выступления мы пошли еще на третий акт «Тристана» — дирижировал Вальтер⁴ — и театр встретил нас страшной вонью. Оказалось, что нацисты разбросали зловонные бомбы, но спектакль все-таки шел — под конец, правда, с участием только оркестра, ибо Изольда, которую весь антракт рвало, лишь выразила изнеможение красивым жестом и так уж и не поднялась от трупa Тристана. То же самое, впрочем, и минута в минуту, произошло в «Бургтеатре» и в трех кинематографах — это выходка против летнего фестиваля. Надо однажды испытать такое, теперь, по крайней мере, точно знаешь, чем пахнет национал-социализм, — потными ногами в высокой степени.

Теперь мне приходится расплачиваться за праздники, исполняя отложенные дела, а, кроме того, «Иосиф в Египте», который должен в октябре выйти в Вене и уже печатается, совсем еще не готов, и я очень боюсь, что мне придется с этим спешить. Осталось сделать несколько важных заключительных глав, и при теперешней моей усталости я сомневаюсь, что кончу уже в этом месяце. А надо бы, собственно. Потом мне действительно требуется отдых, и в последнее время я подумываю о Майорке, где недавно были наши старшие и которую они очень рекомендуют. Что ты об этом думаешь? Как раз к осени это было бы, пожалуй, самое лучшее.

Франция вызывает только любовь и восхищение⁵. Отношение буржуазной мировой прессы, например «Нейе Цюрхер Цейтунг», к таким событиям несказанно подло. Немецкая, конечно, упивается надеждами на разложение.

Сердечно твой Т.

62

ГЕНРИХУ МАННУ

*Кюснахт-Цюрих, 20.VII.36,
Шидхальденштрассе, 33*

Дорогой Генрих,

прежде всего: твоя хрестоматия¹ пришла — захватывающее чтение. Я читал ее, не отрываясь, два дня и, вобрав в себя сначала все новое, повторил и все уже мне знакомое. Это великое наслаждение и великое удовлетворение. Я убежден, что эти манифесты сыграют когда-нибудь в будущем самую почетную историческую роль — спасительную для чести Германии — вместе с немногими другими, например обращением Нимёллера² и его близких к Гитлеру, которое этот жалкий субъект препроводил к своему «министру церкви». Особенную благодарность вызывает комизм, которому ты даешь волю. Я то и дело громко смеялся, а позднее смеяться будут еще свободнее, сердечнее и не так измученно.

Твои предложения насчет поездки кажутся нам убедительными. Со всем не обязательно Майорка. Так как до конца августа мне безусловно не кончить³ по-настоящему, то Сент-Максим вполне подойдет. На том и договоримся. Мы хотим поехать на машине хотя бы до Женевы, а мо-

жет быть, затратив два-три дня, и до самого места назначения, чтобы иметь ее там при себе. Как решит Гоши⁴, мы скоро, наверно, узнаем. Если мы будем без детей, она могла бы поехать с нами на машине.

Посылаю тебе последнее мое «отклонение»⁵, которое, впрочем, не так уж и отклонило меня от темы. Берман красиво оформил эту брошюру. Она его дебют. Выйдет она только через месяц.

Сердечно твой Т.

Сейчас я, конечно, не думаю о Вене, но и на другое решиться не могу. Если мы останемся здесь — а ведь похоже на то, — то года через три я смогу стать швейцарцем. Я считал бы это самым правильным. Но Флейшман⁶ вскоре побывает у нас.

63

ГЕНРИХУ МАННУ

*Кюснахт-Цюрих, 4.VIII.36,
Шидхальденштрассе, 33*

Дорогой Генрих,

ты прав, оставим эту мысль. Что в Венеции с кем-либо из нас может что-нибудь стрястись, я, правда, не думаю, и после того как я недавно побывал в Трибшене, где Вагнер, кстати сказать, среди великолепной природы, провел шесть лет эмиграции (это было время его теснейшей дружбы с Ницше, по чьим следам мы направились затем в Сильс Мария), меня снова потянуло в Венецию. Я думал: что дозволено одному, разрешено и другому. Это было анахронизмом, а за те дни, что прошли с тех пор, как я отправил письмо, становилось анахронизмом все больше и больше. И у меня нет ни малейшего желания гостить у пособников патриотов, которые заявляют, что «марксизм» в Испании должен быть уничтожен, даже если при этом половина народа погибнет... Если испанская республика победит, это будет при нынешних обстоятельствах подвиг, не имеющий себе равных. Непостижимо гнусно усердие, с каким капиталистическая печать, например и наша «Нейе Цюрхер Цейтунг», стоит на страже французского невмешательства, тогда как до невмешательства итальянского и германского ей нет никакого дела. Кто радуется наивности, то есть бесстыдному преобладанию корысти над всякой духовной порядочностью, для того настали славные дни.

Горькие твои слова, что Франция «не даст себя спровоцировать», выражают всю злосчастную суть дела. Мысль, что Германия может таким путем стать очень большой, а Гитлер отправится на тот свет с почетом и славой, часто не дает мне уснуть.

Итак, остановим выбор на твоём побережье. Что мы приедем в конце этого или в начале следующего месяца, решено окончательно. Но точно указать день я не могу, потому что он зависит от окончания моей заключительной главы, которую нельзя сделать наскоро, и до самого послед-

него слова я не смогу предсказать, сколько дневных уроков мне понадобится. И поездку Гоши не следует связывать с нашим неопределенным часом отъезда. Лучше бы ты вызвал ее раньше, а мы присоединились бы к вам, когда сможем. А на обратном пути мы, может быть, прихватили бы ее на машине.

Я послал тебе бандеролью брошюру. Похоже на то, что она и одно письмо, последнее перед тем, где было предложение насчет Венеции, пропали. Если же они все-таки дошли до тебя, прошу держать ее покамест в секрете. Она выйдет только к концу месяца, и Берман, собственно, запретил мне рассылать ее раньше.

Сердечно твой Т.

64

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Кюснахт-Цюрих, 7. X. 36

Дорогой господин профессор,

в дарственной надписи на речи о Фрейде я попытался выразить Вам свою самую отзывчивую признательность за умные и тонкие слова Вашего письма о третьем Иосифе¹. И вот, в ответ Вы снова заставляете меня благодарить Вас, прислав мне свою прекрасную статью² о «religio», которая, между прочим, с превосходством большого знания, вносит поправку в одно место той речи — вернее, заменяет научной серьезностью одну полушуточную этимологическую натяжку³. Ничем бóльшим, пожалуй, не было мое «толкование» слова religio, понадобившееся мне для довольно лихого и на церковный взгляд несколько предосудительного, вероятно, определения «завета» как взаимопомощи бога и человека во имя освящения, этого двустороннего процесса, для которого человек нужен богу так же, как бог человеку. Эта идея сильно окрашена юмором, как вся теология «Иосифа», а с юмором дело обстоит особо: он хоть и не совсем несерьезен, но не хочет, чтобы его понимали буквально, это как бы шутка, в которой есть доля правды, не вовсе нелепая, но не конкурирующая с настоящей наукой. Вот почему моя радость по поводу обильных конструктивных результатов Вашей работы не омрачилась нечистой совестью. Поразительно, как Вы умудряетесь каждой своей статьей, каждым своим выбором проблемы затронуть действительно интересное — по крайней мере, для меня, что указывает на известное предопределенное родство наших сфер. Стимулирующее воздействие и личное удовлетворение, испытываемые мною и при чтении этой статьи, — тому пример. Чему она во мне особенно импонирует, так это известной склонности к «секуляризации» религиозных понятий, к психологическому переключению их в нравственно-мирскую, душевную сферу. Религия как противоположность небрежности и безалаберности, как внимательная, осмотрительная, вдумчивая добросовестность, как *осторожное* поведение, даже как metus* и

* Страх (лат.).

в конечном счете как заботливо-чуткая восприимчивость к движению мирового духа ... чего мне еще надо? Я вдруг получил законное право назвать себя человеком религиозным — а то бы я на такую самооценку, именно из «осторожности», едва ли решился.

В середине месяца должен наконец выйти «Иосиф в Египте». Хотелось бы, чтобы заключительные части доставили Вам еще некоторое удовольствие! Моя совесть отнюдь не «чиста», и все же я думаю, что нечто особое, по-новому способствующее веселости человеческой пришло с этим томом в мир.

Преданный Вам

Томас Манн

65

А. М. ФРЕЮ

*Кюснахт-Цюрих, 10.XI.36,
Шидхальденштрассе, 33*

Дорогой господин Фрей,

какое великолепное письмо Вы мне написали об «Иосифе»! Главное, конечно, что эти успокаивающие, даже окрыляющие слова дошли до меня, и все-таки мне очень жаль, что Вы не сказали и не скажете их публично, — жаль хотя бы по причинам экономическим, ибо я-то знаю, какая это роскошь для профессионального писателя такое письмо [...].

Прекрасно знаю, что моя книга отягощена педантичными длиннотами, которые лишь немного, вот именно лишь кое-как, сглаживаются и скрадываются на общем фоне. То-то и оно, что такое произведение надо вести через всякие состояния, и через вялые тоже; а я так странно устроен, что никак не могу потом отречься от них. Конечно, я вычеркиваю иное, что написал вчера под конец и что сегодня нахожу неудачным. Но в целом я человек своего *scripsi**, и есть у меня какой-то пиетет перед выполненным при определенных личных обстоятельствах каждодневным уроком, — следствием чего является очень, вероятно, нехудожническая склонность видеть в такой книге не столько объективное, доводимое до максимального совершенства произведение искусства, сколько след жизни, ретушировать который было бы для меня чуть ли не равносильно обману. Говорю это для объяснения, не в оправдание. Не хотел бы я также, чтобы Вы подумали, что мне чуждо стремление к совершенству. Я делаю всегда все как только могу лучше. Но именно оттого, что я это знаю, я не убираю и не самое лучшее.

Спасибо и привет!

Ваш Томас Манн

* Я написал (лат.).

66

СТЕФАНУ ЦВЕЙГУ

Кюснахт, 8.XII.36

Дорогой господин Стефан Цвейг, спасибо от души! В эти дни мне доводится слышать много дружеских слов¹, но Ваши строки были для меня особенно успокоительны и отрадны. Ведь я же не могу отрицать, что сам вызвал этот акт. Он был неизбежен. Но остроумнее он от этого не становится. Есть какая-то миленькая ирония в том, что я пишу сейчас как раз новеллу о Гёте². Между прочим, Чехословакия дала мне право гражданства, так что я снова прикрыт подданством, уважаемым мною...

Особое спасибо за Ваше указание на книгу Мартена дю Гара³. Непременно прочту ее.

С сердечным приветом

Ваш Томас Манн

67

ЗИГМУНДУ ФРЕЙДУ

*Кюснахт-Цюрих, 13.XII.36,
Шидхальденштрассе, 33*

Глубокоуважаемый господин профессор,

своим милым, великолепным письмом Вы доставили мне настоящую радость, которая была особенно благотворна для меня в эти дни, хоть и вопреки разуму, а все-таки несколько омраченные объявившим меня вне закона берлинским указом¹. Как живо напомнило мне Ваше письмо тот проведенный у Вас и принадлежащий к самым прекрасным воспоминаниям моей жизни вечер, когда мне довелось еще раз, в частном порядке, прочесть Вам речь, которую я произнес на торжественном заседании². Ваша дочь совершенно права: непосредственно после моего чтения Вы изложили мне и гостям те удивительные, нет, захватывающие мысли о Наполеоне³ и бессознательных тяготениях его жизни, которые Вы запечатлеваете в этом знаменательном письме. Они, стало быть, не были для меня новы, но они сохраняют свою неожиданность и свою разительную правдоподобность, в свете которой вопрос об их соответствии ушедшей действительности — для меня второстепенный вопрос. Во всяком случае, письмо это — волнующий пример Вашего гениального чутья в проблемах бессознательной духовной жизни и влияний, идущих из ее глубин, и я немало горжусь тем, что могу считать себя его адресатом.

Мы с женой твердо рассчитываем снова побывать в Вене в середине января и, конечно, связываем с этим надежду повидаться с Вами, глубокоуважаемый профессор.

Просим Вас передать наш сердечный привет Вашей супруге и детям.

Искренне преданный Вам

Томас Манн

68

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Кюснахт-Цюрих.
Шидхальденштрассе, 33
23.II.37

Дорогой и глубокоуважаемый Герман Гессе,

позвольте поделиться с Вами вот какой новостью, — кому и сообщить ее первому, как не Вам? Долгожданный свободный немецкий журнал, кажется, станет действительностью, более того, дело с ним решено. Одна богатая и любящая литературу дама¹, желающая, кстати сказать, остаться совсем в тени, предоставила необходимые средства, и переговоры которые она и ее парижский агент вели здесь на днях со мной, берущим на себя роль ответственного редактора, а также с Опрехтом² как будущим издателем и Фердинандом Лионом как предполагаемым редактором, прошли успешно. Имеется в виду журнал на первых порах двухмесячный, с названием «Мас унд Верт»* Название это кое-что говорит о духе, в котором решено вести журнал, о направлении и позиции, которые мы будем пытаться ему придать. Он должен быть не полемическим, а конструктивным, творческим, он должен одновременно проявлять тенденцию к восстановлению и дружелюбие к будущему, стремясь завоевать доверие и авторитет как прибежище высшей современной немецкой культуры на срок внутригерманского междуцарствия. Желательность, даже необходимость такого органа немецкого духа вне рейха, полагаю, бесспорна и живо ощущается всеми. Я лично рад этому решению, заранее радуюсь тому, что тут может выйти, и всей душой, всеми мыслями погружен в это дело.

Как это важно, и как прекрасно было бы, если бы и Вы смогли так же погрузиться в него! Не знаю, как Вы сейчас относитесь к Германии, как относятся в ней к Вам и с чем Вам нужно еще считаться, но мне незачем говорить, что Ваше участие в этой хорошей, по-моему, затее имело бы огромное символическое и практическое значение, и я никак не хотел упускать возможности немного подготовить Вас этими строчками к тому шагу, который предпримет будущий главный редактор. Лион проинформирует Вас подробнее и выскажет Вам, как я полагаю, более точные желания, — если, конечно, Вы не заявите мне сразу, что ни о каком Вашем сотрудничестве не может быть речи. Я немного боюсь такого ответа, но вдруг Вы сразу дадите общее и принципиальное согласие.

С сердечным приветом Вам и фрау Нинон от меня и всего моего дома

Ваш Томас Манн

* «Мера и ценность» (нем.).

69

ДЖОЗЕФУ АНДЖЕЛЛУ

Кюснахт-Цюрих.
Шидхальденштрассе, 33
11.V.37

Дорогой и многоуважаемый господин профессор,

Ваше письмо от 29 апреля, такое милое и дружеское, я получил и очень благодарю Вас за него. Вы говорите мне и моей жене такие сердечные слова о нашей встрече, что нам просто приятно. Могу лишь ответить Вам, что мы искренне рады личному знакомству с Вами. В Вашем лице мы познакомились с действительно обаятельным человеком, с лучшим типом американского интеллигента и ученого, простого и благородного, чистосердечно живущего духовными и культурными интересами.

С удовольствием сделаю все, что в моих силах, чтобы содействовать осуществлению Вашего замысла, который оказывает мне честь и доставляет мне радость. Обещаю Вам в ближайшее время, уже в ближайшие дни, послать Вам несколько маленьких рукописей, способных, как-никак, послужить документальным фундаментом собрания, подобного задуманному. Кроме того, я попрошу своего немецкого издателя, Бермана—Фишера, присылать Вам разные издания моих произведений; равным образом, я разошлю своим иноязычным издателям циркуляр с просьбой предоставлять в распоряжение Вашего архива мои книги, вышедшие на европейских языках.

Этим будет положено некое начало, а устроить это сравнительно легко. Не столь просто обстоит дело с Вашим желанием относительно книг, производивших на меня в течение моей жизни сильное впечатление, составлявших мою духовную пищу и служивших материалом для моих работ, в частности для «Волшебной горы». Вы, конечно, правы, когда говорите, что перечисление поэтических произведений и произведений умственных, которые способствовали моему литературному воспитанию, — дело в известной мере бесконечное. Некоторые факты Вы можете взять из книжечки «Очерк моей жизни», вышедшей в октябре 1930 года у Гаррисона в Париже и по-английски под заголовком «A Sketch of My Life», в переводе Лоу-Портер¹, роскошным изданием. Там констатируется, что во времена «Будденброков» моими наставниками были главным образом большие скандинавские и русские прозаики, Чьелан, Ли², Якобсен³, Гамсун, Толстой, Тургенев, Пушкин, Гоголь, в меньшей степени Достоевский. Огромное впечатление произвело на меня в юности искусство Рихарда Вагнера, след этого воздействия прослеживается, мне кажется, во всем моем творчестве. Так же обстоит дело с драмой Ибсена. Влияние немецкой романтики, например Шамиссо⁴, Вам известно. Играет некую роль и проза Тика⁵ и Гофмана, Шлегеля⁶ и Новалиса⁷. Из новейшей немецкой прозы значение имел в первую очередь Фонтане⁸. Его стиль, кроме, пожалуй, еще стиля Готфрида Келлера⁹, — это единственный стиль эпохи между романтизмом и Ницше, удовлетворяющий моим врожденным художе-

ственным требованиям. Нельзя забыть, конечно, и самого *Ницше*. Его культуркритицизм и его стилистическое художничество — первостепенное событие в моей жизни, точно так же, как метафизический гений и европейский эссеизм *Шопенгауэра*.

Не могу больше перечислять отдельные определяющие впечатления, но думаю, что уже назвал важнейшие. Что касается вспомогательного научного материала, то в случае «Будденброков» таковой вообще не требовался. Я работал с помощью семейных документов и почерпнутой в моем родном городе информации о купеческом быте. Для «Волшебной горы» я, правда, много чего прочел, но такова уж особенность моего ума, что эти вспомогательные средства, да и сами знания, которые они мне доставляют, я забываю поразительно быстро. Как только они сослужили свою службу, вошли в работу, растворились в ней и переварились, они вылетают у меня из головы, даже с глаз исчезают, и я словно бы не хочу знать о них больше и словно бы прогоняю память о них. Поэтому я сегодня в самом деле не в состоянии назвать Вам хоть одну из книг, питавших во времена «Волшебной горы» мои биологические фантазии. К тому же из-за разрыва с Германией я ведь лишился существеннейшей части своей библиотеки, так что и этих книг у меня уже нет под рукой. Хорошо помню один биологический труд, который я тогда изучал, но не могу назвать ни автора, ни заглавия. Еще помню отчетливо, что у меня тогда неизвестно откуда оказалось какое-то сочинение о масонстве, затем и использованное мною для масонских бесед между Нафтой и Сеттембрини, но что касается заголовка и автора, то память моя пасует и тут. Помню далее, что читал какую-то книгу о средневековье, которая сыграла свою роль для идей, развиваемых Нафтой, но и эту книгу при всем желании назвать не могу.

Видите, как огорчительно несостоятелен я в данном случае. В более раннем случае ренессансных диалогов «Фьоренца» я смогу назвать хотя бы главную вспомогательную работу. Это биография Савонаролы, написанная Паскуале Виллари¹⁰ и вышедшая в немецком переводе в Лейпциге, у Брокгауза, в 1868 году. Книга эта все еще находится в моей здешней библиотеке и испещрена карандашными пометками и заметками на полях.

Лучше обстоит дело и в случае романа об Иосифе, ибо маленькая библиотека, которая служит мне источником материала и информации, сохранилась у меня почти полностью, и главное в этом собрании я Вам могу перечислить. Если не считать иллюстрированных книг об искусстве и культуре Египта, то речь идет в основном о следующих произведениях.

Эрман—Ранке. Египет. Издательство И. Ц. Мора. Тюбинген, 1923;

А. С. Иагуда. Язык Пятикнижия в его отношении к египетскому. Вальтер де Груйтер и К°. Берлин—Лейпциг, 1929.

А. М. Блэкмен. Стюарты Фивы, в немецком переводе Рёдера. Книготорговля Гинриха. Лейпциг, 1926.

Артур Вейгаль. Эхнатон, царь Египта, и его время. Бенно Швабе и К°. Базель.

«Египетские повести и сказки», составление и перевод Гюнтера Рёдера. Издательство Эйгена Дидерихса в Иене.

Бруно Мейснер. Вавилония и Ассирия. Университетская книготорговля Карла Винтера. Гейдельберг, 1920.

А. Видеман. Древний Египет, там же.

Бенцингер. Древнееврейская археология, издательство Эдуарда Пфейфера. Лейпциг.

«Сказания евреев», в трех томах, составление и обработка Михи Иосифа бен Гориона, немецкий перевод вышел в издательстве Рюттена и Лёнинга, Франкфурт.

Источников, влияние которых было не столько вещественным, сколько чисто духовным, таких, как «Первобытные религии и античные символы» Бахофена¹¹, я здесь касаться не буду. Но как важнейший источник информации должна быть тут названа книга Альфреда Иеремияса «Ветхий завет в свете Древнего Востока», книга, давшая мне большой импульс к работе. Вышла она в книготорговле Гинриха в Лейпциге, в 1916 году.

Довольствуйтесь этими данными, которые и меня самого не вполне удовлетворяют, но которые я сейчас не в силах дополнить. Прежде всего я сделал кое-какие попытки вызволить из Германии рукопись¹² «Волшебной горы», чтобы либо получить ее здесь самому, либо переправить с надежным человеком прямо в Америку.

Сообщайте, мне, пожалуйста, и впредь, как развивается такая приятная и такая интересная мне идея, и примите самый сердечный привет от меня и моей жены.

Преданный Вам

Томас Манн

70

ГОСПОДИНУ КИНБЕРГЕРУ

*Кюснахт-Цюрих, 23.XII.37.
Шидхальденштрассе, 33.*

Многоуважаемый господин доктор Кинбергер,

Ваше дружеское расположение ко мне лично обязывает меня, несмотря на Ваш резкий отзыв о журнале и его сотрудниках, вежливо поблагодарить Вас за Ваше письмо.

Я прекрасно понимаю, что у такого нейтрального, терпимого, внутренне спокойного наблюдателя, как Вы, всякое подобие борьбы, партийности, страсти сразу вызывает раздражение и отвращение. И все же мне кажется, что о Вашем соотечественнике Конраде Фальке¹, который, кстати сказать, не является выдворенным евреем, и о Дёблине² — его, правда, можно назвать выдворенным евреем, но ведь это большой романист и оригинальный мыслитель — Вам не следовало бы говорить так, как Вы говорите. Вы плохо знаете творчество Дёблина, если пишете, что он «делает первые шаги в философии», и единственный Ваш конкретный

упрек ему — в том, что он якобы путает понятия «прометеевский» и «фаустовский» (ведь речь идет о добытчике огня Прометее, а не о жажущем бесконечности Фаусте, — не говоря уж о том, что никто не обязан придерживаться шпенглеровской терминологии³), — кажется мне полной предубеждения придижкой.

Но плохо Вы знаете и меня, если, восхищаясь эстетической стороной моего творчества, пренебрегаете нравственными его предпосылками, без которых оно немислимо, и считаете меня способным отречься от них из снобизма в такое время, как наше, когда дело идет не о «парламентаризме», а о человеке и его духовной чести. Я открыто прошу избавить меня от всякого почитания, не видящего и не учитывающего органической связи между всем, что я делал как художник, и нынешней моей позицией борьбы против Третьей империи.

Вы, как я вижу, начали читать «Мас унд Верт» только с 3-го номера. Посылаю Вам две первые книжки, где кое-что, возможно, настроит Вас на более миролюбивый лад — не в последнюю очередь, смею надеяться, мое «Предисловие». Оно, может быть, объяснит Вам в общих чертах, почему я предоставил себя в распоряжение «эмигрантского журнала».

Преданный Вам

Томас Манн

71

НЕИЗВЕСТНОЙ

Гостиница «Бедфорд»,
Нью-Йорк, 118 Ист, 40-я стрит.
21.V.38

Сударыня,

лишь в кратких словах могу я поблагодарить Вас за Ваше письмо, которое прочел с отзывчивым волнением. Какое впечатление произвело на меня злодеяние, учиненное над Австрией, и то, что оно оказалось возможно, что его допустили, Вы можете судить по тому, что я решил покамест не возвращаться в Европу из этой поездки в Америку, куда я выехал в феврале, чтобы выступать здесь с докладами. Я ликвидирую свое швейцарское хозяйство и поселюсь в одном университетском городе американского Востока¹. Я должен, следовательно, не молодым уже человеком, стараясь нанести как можно меньше ущерба умственной своей работе, приспособиться к совершенно новым условиям, а это требует немало напряжения сил. Если бы я стал отвечать на Ваши вопросы более или менее обстоятельно, это завело бы меня весьма далеко. Я только посоветую Вам: радуйтесь, что живете в еще свободной, не-фашистской стране, будучи, благодаря браку, ее подданной, и остерегайтесь выражать в агитационной форме свою страстную и вполне понятную потребность в отмене, в боевом вмешательстве демократических держав, в écraser

l'infâme *². Австрийская эмиграция убедится на опыте в том же, в чем давно убедилась немецкая, — что мир очень не любит таких советов и требований с нашей стороны, что он слушает их враждебно или пожимая плечами. Снисходительность мира, такая для нас мучительная, и его стремление поладить с фашизмом имеют свои если не уважительные, то серьезные причины, разбор которых завел бы меня, повторяю, чересчур далеко. Коротко говоря, национал-социализм и фашизм — это подсобные средства против грозящей повсюду социальной революции, средства, направленные на то, чтобы ее подавить, замазать, замедлить, задержать, осуществляя в ложном и лживом духе какие-то ее части, — это грубое, стало быть, шарлатанство, к которому, однако, при всем отвращении к его атрибутам, буржуазный мир питает тайную слабость, почему и так трудно поднять этот мир на борьбу, почему он и воспринимает наши предостережения как эгоистическое подстрекательство. Я ничего больше не хочу, кроме как довести до конца труд моей жизни под защитой общества, которое еще любит и чтит то, что я не столько пропагандирую, сколько действительно и представляю собой. Вам, если Вы меня спросите, я порекомендовал бы держаться так же внутренне решительно, но спокойно и уповая на будущее.

Преданный Вам

Томас Манн

72

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Кюснахт-Цюрих, 9.IX.38

Дорогой господин профессор,

спасибо от души! Я все получил как положено, в частности и «Папирусы»¹, которые буду спокойно читать на пароходе. У нас в доме были упаковщики, это, слава богу, позади, но по сути мы уже уехали и только витаем, как тени, среди пустых книжных полок — люди без имущества, суденышки без балласта, качающиеся на волнах. 17 мы начнем качаться и в самом деле.

Моя принстонская «программа» — боже мой, не так все это серьезно. Главное, что я там буду жить и работать. При этом я должен буду прочесть в течение учебного года четыре-пять лекций, о чем захочу: о «Фаусте», о Гёте вообще, о Шопенгауэре, Вагнере или Фрейде. Даже о своей собственной «Волшебной горе» можно будет как-нибудь высказаться. Но это и все. Мне хотя бы по-дружески облегчить жизнь, и когда я прошу указаний, меня всегда просят не принимать этого слишком всерьез. Это не исключает, что я все-таки сделаю это в полную меру своего умения, а не только в пределах необходимого.

Даю Вам свой адрес: Принстон, Н.-Дж., Стоктон-стрит, 65, США. Это красивый дом, снятый нами там уже в июне, кругом зелень, и

* Раздавить гадину (франц.).

знаешь, что находишься лишь в часе езды от Нью-Йорка и ненамного дальше от Филадельфии. Как только я установлю свои книги и письменный стол, а обслуживающая негритянская пара, муж с женой, привыкнет к нашим гастрономическим вкусам, все пойдет хорошо, и тот факт, что между мной и освобождением судетских немцев² будет лежать океан, облегчит мне, надо полагать, завершение «Лотты в Веймаре»³, так что я снова смогу вещать об Иосифе, растерзанном и воскресшем. Занятно и отраднo будет все-таки, когда эта колоссальная забава предстанет в законченном виде. Кажется, по-настоящему занятная и отрадная вещь — это смерть. Ведь всегда стремишься что-то закончить и не замечаешь, что стремишься по сути к тому, чтобы покончить со всем, к смерти.

Навестите нас поскорей в этом прочном царстве мертвых!⁴

Преданный Вам

Томас Манн

73

КОРДЕЛЛУ ХЭЛЛУ

Принстон, Нью-Джерси.
Стоктон-стрит, 65,
25.X.38

Глубокоуважаемый господин государственный секретарь,

письма и телеграммы из Праги, представляющие собой настоящие крики о помощи, заставляют меня обратиться к Вам со следующей просьбой.

В Праге существовало названное моим именем общество, оказывавшее помощь немецким эмигрантам-интеллигентам и пользовавшееся содействием высших властей страны. Президент Бенеш относился к этому объединению с особой доброжелательностью и великодушно помогал ему деньгами. Дело шло не столько о благотворительной организации, сколько об организации, которая обеспечила бы дальнейшее существование независимой от нынешнего тоталитарного режима немецкой духовной жизни, нашедшей убежище в Чешской республике.

Ясно, что после политического поворота в Европе и Чехословакии общество этого направления не только не сохранилось, но что для ведущих его членов новая обстановка представляет собой и прямую опасность, так что следует предпринять все возможное, чтобы они поскорее покинули Прагу. Этому, однако, препятствуют, к сожалению, формальные трудности, и вот мой вопрос и просьба: не можете ли Вы, господин государственный секретарь, посодействовать тому, чтобы в столь неотложном, настойчиво зывающем к нашей человечности случае эти трудности были устранены. Например, американский консул в Праге действует, конечно, лишь по долгу службы, требуя от просителей метрик и характеристик из Германии, получить которые, однако, при нынешних обстоятельствах никак невозможно. Мыслимо ли, чтобы консульство в Праге

было уполномочено директивной инстанцией облегчить въезд в Америку лицам, находящимся в большой опасности и достойным? Привожу список тех, о ком идет речь:

Профессор Лео Кестенберг¹ с женой
 Иоахим Вернер Кон², социолог, с женой и двумя маленькими детьми
 Д-р Вильгельм Неккер³ с женой и ребенком
 Д-р Александр Бессмертный⁴
 Эгон Лербургер⁵
 Урсула Хёниг⁶
 Вильгельм Штернфельд⁷
 Фридрих Буршель⁸
 г-жа Фритта Брод⁹.

Знаю, глубокоуважаемый господин государственный секретарь, что в эти трагические дни Вы засыпаны ходатайствами такого рода, и я не стал бы увеличивать Ваше бремя, если бы, с другой стороны, это не шло вразрез с моей совестью и моими чувствами — бросать на произвол судьбы людей, которые в беде обращаются ко мне и которые, покуда могли, помогали другим, в то время как сам я имею счастье пользоваться защитой американской демократии¹⁰.

С совершенным уважением

Преданный Вам

Томас Манн

74

АННЕ ДЖЕКОБСОН

Принстон, Нью-Джерси.
30.XI.38

Дорогая фрау профессор Джекобсон,

то, что Вы сообщаете о ситуации в German Department * Хантер-колледжа, произвело на меня сильное впечатление, сильное и в положительном, и в отрицательном смысле. Что ужасными событиями в Германии студентки колледжа испуганы, ожесточены, лишены веры в человеческую ценность своих занятий германистикой, что они начали сомневаться в том, что имеет смысл изучать культуру народа, в среде которого, вроде бы беспрепятственно, творятся столь гнусные дела, — все это я слишком хорошо понимаю, больше того, я одобряю это, даже радуюсь этому. Это свидетельствует о такой нравственной чувствительности и о такой ненависти к злу, какие очень уж редко встречаются теперь в мире, почти совсем погрязшем в моральной апатии. Америке делает честь, что это отвращение и возмущение здесь так сильны и распространены так широко.

* Германском отделении (англ.).

Но уже, к сожалению, не первый раз я замечаю, что в этой стране существует тенденция переносить такое справедливое отвращение к теперешнему германскому режиму и его зверствам на все немецкое вообще, отворачиваясь и от немецкой культуры, хотя она-то тут совсем ни при чем. Не надо же забывать, что большая часть немецкого народа живет в вынужденно немой и мучительной оппозиции к национал-социалистскому режиму и что ужасные преступления, происшедшие там в последние недели, отнюдь нельзя считать делом рук народа, как ни старается их выдать за таковое режим. Эти убийства, поджоги, этот истребительный поход против евреев как таковых — дело исключительно правящей верхушки, и утверждение, будто это — стихийная реакция народа на несчастный случай в Париже, — такая же пропагандистская ложь, как все прочее. Несомненно, что «большевистские» акции по всей Германии организованы правительством и выполнены его гангстерскими бандами. Глядя на это, как и на многое другое, немецкая публика могла только в тихом ужасе качать головой.

Близорукая, слабая и бестолковая политика западноевропейских держав предоставила национал-социалистскому режиму такую полноту власти, которая дает возможность этим людям творить, ничего не боясь и ни с чем не считаясь, решительно все, чего ни потребуют их желания и низменные инстинкты. То, что они творят, есть, конечно, пятно на чести Германии, замыть и вывести которое время сможет только с большим трудом. Но, несмотря на это, в прошлом немецкий дух сделал для культуры человечества много великих и удивительных дел и еще многое сделает, мы все надеемся, в будущем, когда этот несчастный народ покончит со своими теперешними правителями, которые позорят его. Немецкая культура в музыке, искусстве и умственной жизни была и остается одной из самых богатых и самых значительных в мире, и никакие ужасы нашей растерянной современности не оправдывают отказа от изучения этой культуры и отказа от языка, в котором она проявилась. Я думаю, студентки Вашего колледжа должны это понять и даже с особенным честолюбием беречь эти блага и хранить их живыми в Америке на протяжении того темного отрезка времени, когда в самой Германии их пинают ногами. Это, по-моему, хоть и морально почтенная, но все-таки детская и незрелая линия поведения — бросить занятия немецким языком, потому что некомпетентные правители публично дискредитируют его в данный момент. Прошу Вас сообщить это мое скромное и доброжелательное мнение дамам German Department'a. Может быть, оно поможет предотвратить те или иные благородные, но все же односторонние и поспешные решения.

Преданный Вам

Томас Манн

Дорогая фрейлейн Джекобсон,

Видите, Ваше письмо и письмо д-ра Кайзера¹ произвели на меня большое впечатление. Они побудили меня сразу написать Вам все выше-

сказанное. Если Вы созовете планируемый meeting, прошу Вас прочесть эти строки, которые Вы, может быть, переведете на английский. Больше, к сожалению, я ничего не могу сделать, не могу и явиться на meeting лично. Здоровье мое от впечатлений последнего времени несколько пострадало, и я перегружен старой и новой работой. Не сердитесь на меня за то, что я не приеду в Нью-Йорк исключительно из-за этого дела, это была бы слишком большая потеря времени и сил.

С сердечным приветом и лучшими пожеланиями

Преданный Вам

Томас Манн

75

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Принстон, 6 декабря 1938

Дорогой господин профессор,

вчера по дороге в Нью-Йорк я прочитал в вагоне Вашу прекрасную статью о рождении Елены. Не могу передать, как опять подхлестнула, обогатила и взволновала меня и эта Ваша работа. Мир Ваших занятий обладает для меня магической притягательной силой, и связи, которые Вы вскрываете, это таинственное единство Елены, Немезиды и Афродиты, занимают и забавляют меня самым духовным образом, после того как Вы позволили мне в них заглянуть. После такого чтения мне всегда хочется снова вернуться к «Иосифу», которому бы они принесли больше пользы, нежели тому, чем я занят теперь. Но вообще-то не могу поручиться, что чтение Вашей статьи не скажется и на романе о Гёте, где тоже в конце концов совсем без Елены дело не обойдется. Вот бы задача для Вас — написать о гётевском образе Елены: есть что-то совершенно уникальное и обаятельно недозволенное в том, как античность смешана в нем с элементами рококо и галантности, и никогда еще, насколько я знаю, это не анализировали методами, имеющимися в Вашем распоряжении.

При чтении Вашей статьи мне вспомнились встречи Гёте с Вашим умершим коллегой, мифологом Крейцером¹, о чем можно прочесть в бидермановских «Разговорах»². В 1815 году в Гейдельберге Гёте вел с Крейцером беседу о символическом толковании греческих мифологических персонажей и рассказов, в которой, по-видимому, сильнее всего обнаружился глубокий интерес Гёте к этим вещам. Мифологическое у Гёте, особенно в «Классической Вальпургиевой ночи»³, всегда представляется мне мостом от него к Вагнеру, который особенно любил именно эту часть «Фауста» и под конец жизни, в Венеции, читал ее своим близким вслух, часто прерывая себя возгласами восхищения.

Мы уже акклиматизировались в новом окружении. Внешние условия были благоприятны, внутренние — тяжки, ведь незачем говорить, что

европейские события оказались тяжелым бременем. Не хочу распространяться об этом; я дал выход своим чувствам в маленькой статье «Этот мир»⁴, которая вышла и на английском и уже разошлась здесь во многих тысячах экземпляров. Положение в Венгрии мне не очень ясно. Может быть, хотя бы из намеков, я узнаю об этом что-нибудь от Вас? Когда мы увидимся? Путь в Будапешт мне отрезан, путь в Европу вообще, надеюсь, нет еще, и, пожалуй, лучшим местом встречи была бы Швейцария летом, если, конечно, Ваши пути вдруг не приведут Вас за океан.

Будьте благополучны, примите еще раз сердечную благодарность за духовную радость, которую Вы мне снова доставили, и, пожалуйста, держите меня по-прежнему в курсе Вашей работы.

Искренне преданный Вам

Томас Манн

P. S. Недавно я прочел здесь две моих первых лекции, которые были публичными. Они были посвящены «Фаусту» Гёте и снискали мне большое расположение молодежи и стариков.

76

ЭРИКЕ И КЛАУСУ МАННАМ

[Декабрь 1938]

Дорогие дети,

вы, мои старшие, написали, скажу я вам, книгу в моем духе¹, вы это знаете; ведь вы знаете, что я пресек попытку отделить меня от немецкой эмиграции, навязав мне особое, довольно двусмысленное место среди нее, и подчеркнул свою принадлежность к ней — с тех пор уже несколько лет прошло². Я поступил так, потому что хотел, чтобы германские правители «экспатриировали» наконец и меня, как уже «экспатриировали» вас и моего брата. И они это сделали наконец.

Ваша книга — это книга солидарности, именно той, на которой я тогда настаивал, и речь у нас идет о солидарности не только в гордости и страдании, но и в чувстве вины. В гибели немецкой свободы, Веймарского государства совиновны, как-никак, мы все, — хотя бы мы и вправе были снять с себя всякую ответственность за меру падения и позора, затем последовавшую. Но ошибки имели место, ошибки и упущения, не будем этого отрицать; духовное руководство республики было не на высоте, может быть, не в смысле духовности, а в смысле руководства и сознания ответственности, свободу подчас компрометировали, с ней обращались часто не с той серьезностью и осмотрительностью, какие особенно нужны были бы в немецких условиях, — что тут удивительного? Свобода вещь более сложная и щекотливая, чем неволя; жить на свободе менее просто, чем жить в неволе, а мы, немецкие интеллигенты, были не искушенными в свободе, неопытными в политике юнцами — такими же юнцами, какими вы были тогда просто по возрасту.

Почему не сказать мне, что я в достаточной мере отец, чтобы увидеть в вашем развитии за эти серьезные шесть лет пример и признак того, что свобода порой созревает в изгнании? Подобно тому, как животная ненависть, которой распоясывавшееся хамство пылало именно к вам, моим детям, всегда была для меня, знавшего добрую вашу основу, особым свидетельством (если таковое требовалось) его злобной безмозглости, ваше человеческое возмужание, ваши успехи в умении желать, делать и доводить дело до конца служат мне ныне символом и гарантией того, что ссылка способствует общественно-политическому росту немецкого духа.

Несомненно также, что точное соответствие этому процессу есть в нашей стране. Немецкий народ проходит сегодня суровую, давно в общем-то заслуженную им школу, и одно он в ней определенно усвоит, уже, судя по всем приметам, усвоил: что значит свобода. Никогда он этого прежде не знал. И если когда-нибудь по всепрощающей доброте божьей свобода будет ему дарована вновь — право, я думаю, он сумеет ее сберечь!

Ваша книга о немецкой эмиграции выходит в благоприятный момент — когда в кризисе, единственной пользой которого это и было, всему миру открылось душевное состояние немецкого народа, его тоска по миру, свободе и праву, — что и усилило внимание этого находящегося в огромной опасности мира к неофициальной внутренней жизни немецкого народа, а тем самым сделало его, мира, отношение к немецкой эмиграции более заинтересованным и сочувственным. Возникла догадка, что наши предостережения идут, может быть, не от подстрекательской неприязни, а просто от лучшего знания той страшной породы людей, которая завладела Германией, и что мы действительно могли бы заранее проинформировать мир насчет этой породы, если бы такая информация была хоть сколько-нибудь желательна. Ваша книга передает индивидуальное разнообразие немецкой эмиграции удачнейшими портретами.

Думаю, что книге будет оказан теплый прием.

Ваш отец

77

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Принстон, 16.11.39

Дорогой профессор Кереньи,

Ваше письмо от первого дня рождества я получил дважды и дважды прочел Вашу статью о празднике¹ — Вы довольны? Незачем говорить, да и не могу передать, как созвучно мне было все в этой Вашей работе, которую отношу к самому лучшему в написанном Вами вообще — пожалуй, я отдал бы ей пальму первенства, подкупленный особенно тесной ее связью со всеми вещами, за которыми я отдыхаю от жалких и подлых глупостей, творящихся в мире. Мнение мое имеет, стало быть, личный оттенок, но я серьезно думаю, что по своим литературным качествам, по изяществу мысли этот очерк заслуживает особого места среди Ваших работ

и представляет собой более высокую, более свободную ступень. Это связано, наверно, с тем «прорывом» в более высокую и широкую научную сферу, о котором Вы говорите, но который я не воспринял бы как прорыв, потому что давно считал Вас более или менее сознательным приверженцем этой сферы, где я лишь дилетантствую с некоторой художественной интуицией.

Можете представить себе, как много я думал об «Иосифе», читая Вас. Ведь праздник в смысле мифической церемонии и серьезно-веселого повторения какого-то изначального события — это и есть чуть ли не главный мотив моего романа, и его герой однажды так прямо и назван «Иосиф эм хеб», «Иосиф на празднике». У меня началась бы, пожалуй, ностальгия по этой книге, как то часто бывает, когда я читаю что-либо каким-то боком причастное к ней; но в ностальгии на сей раз не было нужды, так как в Вашей статье прозвучало немало идей, входящих и в нынешнее мое умственное занятие, в гётевский роман. Не «мифология» ли в конечном счете и он? Словом, я почувствовал что-то удивительно родное в Ваших замечаниях об утрате жизни в жизни через повторение, о том, что творческое начало остается и в повторении, о несомненной соединимости живого и духовного, исполненной жизни и исполненного смысла. *Подкрепленное духом*, хотя и менее живое, повторение жизни — одна из главных тем «Лотты в Веймаре», всдь о таком повторении любви к Лотте и идет речь, когда говорится о гатемовском романе с Марианной Виллемер². К тому же и фамилия ее Юнг*. Возлюбленная всегда молода; но немного сбивает с толку то, что наряду с этой вневременной возлюбленной еще существует и заявляет о себе постаревшая Лотта... Так примерно.

Я рад был бы помочь исполнению Вашего желания перебраться в Америку, рад был бы устроить Вам приглашение. Если бы Вы указали мне, к кому обратиться, я предпринял бы такую попытку. Говорите ли Вы по-английски? Всего самого лучшего Вам и Вашей супруге!

Томас Манн

78

ГЕНРИХУ МАННУ

Принстон, Н. Дж., Стоктон-стрит, 65,
14 мая 1939

Дорогой Генрих,

при всей ясности и неопределенности, при угрозе войны и новой опасности *arreusement***¹ одно становится все яснее, принимает все более четкие контуры: решение должно быть и будет принято в Германии. Покуда немецкий народ не освободится от этого «руководства», прочного

* Jung — юный, молодой (нем.).

** Умиротворение, разрядка (англ.).

мира не будет. Мы знаем это давно, а мир начинает это понимать. Мы знаем также, что немцы, в сущности, ненавидят свой режим и что только войны они боятся больше, чем Гитлера. Глубокая, недоверчивая и полная страха неприязнь немецкого народа к своему нацистскому правительству носит не просто «политический» характер. Лучшим из немцев ужас внушает нравственная бездна, грозящая поглотить их, — гнуснейший упадок морали и культуры. Известно, что за последние полгода родину покинуло значительное число немцев, которых нельзя считать «неблагонадежными» ни в «политическом», ни в «расовом» отношении, — просто потому, что после ноябрьских погромов² и пропагандистской травли Чехословакии терпение их лопнуло. Они рассказывают о жадности, с какой, хоть это и было опасно, они ловили все, что писалось и говорилось за границей, на воле, о своей мучительной жажде не только правды, но прежде всего порядочности, достоинства, спокойного размышления, о своей тоске по голосу ума и культуры. И в то время как при всей пропагандистской шумихе книги премированных государственных писателей уже не находят в Германии спроса, немцы буквально проглатывают работы нескольких «дозволенных» зарубежных авторов. Как же велика, как же нетерпелива потребность наших друзей в Германии услышать о нас! В ходе кампании против интеллигенции «Дас шварце Кор»³ — несколько недель назад — ополчилась на книготорговцев: дай им волю, они бы вообще с утра до вечера ничего, кроме эмигрантской литературы, не продавали. У нас есть все основания поверить в этом вопросе газете «Дас шварце Кор».

И немцам внутри страны, и нам, представителям духовной Германии за границей, надо установить друг с другом связь. Надо покончить с нынешним неестественным положением, когда мы, которые должны бы напомнить немцам о самом лучшем в них, лишены контакта с ними. Наши голоса будут услышаны дома, если только они прозвучат достаточно убедительно.

Как следует все обдумав, я принял такое решение:

В течение примерно 12 месяцев я хотел бы отправить в страну примерно 24 брошюры, написанные представителями немецкой мысли для немцев. Серия вовсе не должна носить исключительно политический характер, она должна апеллировать к лучшим инстинктам наших соотечественников, в то время как Гитлер умеет пробуждать лишь самые опасные их инстинкты. Комитет американских друзей (chairman* доктор Франк Кингдон, президент Ньюаркского университета) возьмет на себя финансирование этого проекта, а я в течение этого года обращусь с предложениями примерно к 24 немецким писателям, ученым, богословам и работникам искусств. Я хотел бы внести в список моего немецкого committee** твое имя, которое хорошо, располагающе звучит в Германии и во всем мире.

* Председатель (англ.).

** Комитет (англ.).

С этой же почтой уйдут аналогичные письма к следующим друзьям и коллегам:

к Вильгельму Дитерле⁴, д-ру Бруно Франку, профессору Джемсу Франку, Леонгарду Франку, Лотте Леман⁵, доктору Герману Раушнингу⁶, Людвигу Ренну⁷, профессору Максу Рейнгардту⁸, Рене Шикеле, профессору Эрвину Шрёдингеру, профессору Паулю Тиллиху⁹, Фрицу фон Унру, Францу Верфелю, Стефану Цвейгу.

Сам я в ближайшие недели начну одну работу, которую надо сделать для немцев.

Что касается способов распространения, то их много, даже почта — способ: мы рассчитываем распространить минимум 5000 экземпляров каждой брошюры, с учетом, что каждый экземпляр будет прочитан множество раз. Работы будут оплачиваться — скромно и в рамках гонорара за статьи этого объема в здешних еженедельниках («Нейшн», «Нью рипаблик»).

Позволь резюмировать, дорогой Генрих: наряду с нашими насущнейшими задачами, наряду с «требованием дня» и помимо этого существует наш долг, наша обязанность — использовать свое влияние на немцев. Только если немцы покончат с Гитлером, можно избежать войны. Только если — коль скоро избежать ее не удастся — немцы откажутся повиноваться этому режиму *до поражения*, мы можем надеяться на мир, который не будет снова носить в себе зародыша новой войны. Немцев нужно образумить, а кто это сделает, если мы будем молчать?

Дай побыстрее знать о себе и прими сердечный привет от твоего

Т.

P. S. Это письмо пусть послужит для информации о моем плане и как просьба о твоем формальном согласии. Поскольку твои работы стали несколько лет назад бестселлерами запрещенной литературы в Германии, я знаю, конечно, что в принципе ты согласен со мной.

79

РУДОЛЬФУ ОЛЬДЕНУ

Принстон, Нью-Джерси.
Стоктон-стрит, 65.
1.VI.39

Глубокоуважаемый господин Рудольф Ольден,

мне сказали, что английский пен-клуб планирует некое мероприятие в пользу нашего великого коллеги Роберта Музиля¹. Это добрая, прекрасная, радостная весть, она прямо-таки снимает тяжесть у меня с сердца; ведь я давно тревожусь за этого необыкновенного человека и его бесценное творчество, и сейчас я облегченно вздыхаю, видя, что мир осознает необходимость вмешаться и поправить эпоху, которая так не умеет гор-

даться своими духовными наставниками и чувствовать ответственность за судьбу своих великих людей.

Мне хочется сказать Вам, как высоко ставлю я творчество Музиля, чтобы Вы использовали, как то сочтете полезным, мое свидетельство в Англии, где пока еще это творчество знают, вероятно, мало. Ни одно другое произведение современной немецкой продукции не внушает мне такой уверенности в суждении о нем потомства, как это. «Человек без свойств» — это, вне всякого сомнения, величайшая проза, занимающая место в ряду самых благородных творений, какие вообще могла создать наша эпоха, это книга, которая переживет не одно десятилетие и которую высоко оценит будущее. По выходе второго тома я назвал этот роман² «поэтическим предприятием, необыкновенность и решающая роль которого в развитии, возвышении, одухотворении немецкого романа сомнению не подлежат». Сегодня я вправе сослаться на эти слова.

Такое создание художественной духовности спасает ни больше, ни меньше как честь нашей, вообще-то сильно скомпрометированной перед историей, эпохи. Если, несмотря на его далекость и затрудненную многими обстоятельствами доступность, в Англии это чувствуют и хотят претворить свое чувство в действие, то это делает честь Англии. Скажите это, пожалуйста, от моего имени всякому, кто захочет услышать!

Преданный Вам

Томас Манн

80

ГЕНРИХУ МАННУ

*Нордвик-ан-Зе (Голландия),
28.VI.39*

Дорогой Генрих,

сегодня, еще через несколько дней после твоего письма, пришло из Принстона «Мужество»¹ — прекрасный твой подарок на день рождения. Аннотация на обложке безусловно не преувеличивает, говоря об историческом документе. Все это останется и будет свидетельствовать и вызывать восхищение, когда чума уйдет в далекое прошлое. Кстати, и правда не надо терять мужества. Именно в том случае, если все сложится самым уж мерзким образом, возникнет тесное сообщество лучших, которое, как-никак, предоставит известное жизненное пространство нашим трудам и мыслям.

Сердечно твой Т.

81

ЛУИЗЕ СЕРВИСАН

Отель «Вальдхауз Дольдер»,
Цюрих, 13.VIII.39

Дорогая и многоуважаемая фрейлейн Сервисан,

зная, что вся седьмая глава Лотты уже у Вас, хочу послать Вам несколько слов, скажем уж сразу — утешительных слов, по поводу почти, наверно, непреодолимых на первый взгляд трудностей, которыми озадачивает переводчика этот фатальный кусок прозы. Могу себе представить, что Вы этим угнетены и пребываете в некоторой растерянности. Прошу Вас смотреть на вещи проще и перевести сперва непринужденно, решительно. Я сам того мнения, что в иноязычных изданиях «Лотты в Веймаре» эту главу надо сократить и упростить, так как некоторые намеки и литературные реминисценции возможны, наверно, только в немецком тексте, да и в немецком сегодня тоже едва ли. Только нужно, по моему, чтобы составить себе общее представление, перевести сначала, хотя бы начерно, все; то же самое я рекомендовал и своей английской переводчице. А когда текст будет перед глазами, определится дальнейшее...

Еще я думаю, что хорошо было бы снабдить переводы этой книги, в виде послесловия, пояснениями чисто исторического характера, которые облегчили бы читателю понимание всего, что касается творчества Гёте и любви в его жизни. Например, для французского издания за эту очень простую для германиста работу мог бы, мне думается, взяться Феликс Берто или его сын Пьер. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет.

Может быть, удастся поговорить в сентябре, так как я все еще полагаю, что из Швеции мы еще раз вернемся в Швейцарию и поедем обратно через Париж. В течение всей этой поездки я не переставал работать и пробиваться к концу романа. Я уже в глубине восьмой главы, опять комедийно-светской; девятая будет лишь заключительным аккордом, так что почти наверняка можно сказать, что немецкое издание книги выйдет уже этой осенью.

Мне было бы очень приятно и успокоительно услышать от Вас, что Вы не слишком расстроены из-за седьмой главы. С чисто художественной точки зрения ее как-никак оживляют и разнообразят вкрапленные во внутренний монолог диалоги. Если Вы хотите мне что-нибудь сказать или о чем-нибудь спросить меня, то до пятницы Ваши письма еще застанут меня здесь, а потом пишите по адресу издательства Бермана—Фишера: Стуреплан, 19, Стокгольм.

Еще я хотел бы обратить Ваше внимание на одну до сих пор не исправленную неточность в датах. В первой главе сказано, что Лотта приезжает в Веймар в начале октября. В действительности же, по преданию, это произошло 22 сентября, и пробыла она там до первых чисел октября. Я решил ориентироваться на это и в своей повести, так что указания на день приезда в новой главе, в частности — дату в записке Лотты, надо соответственно исправить. Записку нужно датировать точно 22 сентября,

а в первых строках сказать менее определенно о дне во второй половине сентября.

Прошу Вас также заметить, что везде идет «Глава первая», «Глава вторая» и т. д., но — «Седьмая глава».

С большим сердечным приветом

Преданный Вам

Томас Манн

82

ГЕНРИХУ МАННУ

Принстон, 26 ноября 1939

Дорогой Генрих,

ты помнишь, как прервалась наша связь. После нашей счастливой встречи в Париже, благотворных семи дней, проведенных нами в Голландии, поездок в Швейцарию и в Лондон мы отправились в Швецию на P. E. N. Club Congress*, который так и не состоялся. Началась война, и пошло прахом наше намерение вернуться из Стокгольма еще раз в Швейцарию и устроить оттуда продолжение свидания с тобой. Ради нашей безопасности нас уговаривали «провести военное время в Швеции». Слава богу, что мы не послушались! Правда, обратный путь был сопряжен с известным риском. Шведским судном, как раз из соображений безопасности, воспользоваться мы не могли. Нам пришлось полететь назад в Лондон, чтобы попасть на американское судно, увозившее на родину citizens**, и полет от Мальме до Амстердама, на небольшом расстоянии от Гельгольанда, был довольно-таки неприятен. Но все обошлось благополучно, и из Саутгемптона мы добрались сюда на американском лайнере «Вашингтон» — в сутолоке 2000 человек, которые проводили ночи на импровизированных нарах в салонах, переоборудованных в concentration camps***.

Мы были очень рады — насколько вообще возможно сегодня радоваться, — что снова обрели базу. Но переписка с Европой обескураживающе затруднена и осложнена. Оставим политику. Пишу-то я тебе, наконец, главным образом для того, чтобы поздравить вас от души с бракосочетанием¹ — в такой же мере от имени Кати, как и от своего. Это хороший, прекрасный, успокаивающий поступок. Он закрепляет проверенный союз, который уже не так нуждается в искренних пожеланиях счастья, как союз нашей маленькой Меди с ее теперешним супругом Дж. А. Борджезе². Да, у нас тоже была свадьба. Меди вышла замуж за своего профессора-антифашиста, который в свои 57 лет и думать не думал, что ему достанется столько молодости. Но девочка этого хотела и своего добилась.

* Конгресс пен-клуба (англ.).

** Американских подданных (англ.).

*** Концлагерь (англ.).

Он человек умный, милый, очень хорошо сохранившийся, это надо признать, и лютей ненавистник своего дуче, которого он из чистого национализма считает самым худшим из всех. Этот национализм он бичует такими, например, замечаниями: «Германия — орган, а Италия — всего-навсего скрипка». Но словечко «всего-навсего» ничего не значит. Однажды он договорился до формулировки: «Europe, that is Germany with fringes» *. (С бахромой.) Да ведь это, пожалуй, и Гитлеру понравилось бы. При этом он убежденный американец, и хотя Меди знает итальянский, — а он — немецкий, говорят они между собой только по-английски.

Они будут жить в Чикаго, где преподает Борджезе. И так, мы остались в большом доме совсем одни, в обществе чудесного черного пуделя французской породы, которого подарила мне одна меценатка. Катя успокоилась, узнав, что ее древние родители все-таки действительно попали в Швейцарию. Удалось это, наконец, благодаря фирме Ванфрид, и на тот срок, который им еще отпущен, старикам, бывшим миллионерам, средств хватит. А вот увидят ли они еще свою дочь? Это зависит от того, от чего все зависит.

Я здоров, что значит — не болен, и этим приходится в наши годы довольствоваться. Пребывание в Нордвике так удачно подтолкнуло к концу роман о Гёте, что я его здесь закончил в первые же недели по возвращении. Заключительная часть рукописи благополучно (через Португалию, со швейцарской дипломатической почтой) прибыла в Стокгольм, и, значит, немецкое издание может «появиться» еще до рождества. Интересно, каково покажется оно любопытной кучке швейцарцев, голландцев и скандинавов, которые составят его публику. И тебе.

Не скоро, наверно, получишь ты это письмо. Пожалуй, поздравлю уж тебя сразу и с Новым годом. Дай нам тоже знать о себе, если будет возможность. За интернированных немецких и австрийских писателей я вступился в меру своих сил. Жироду³ дал мне очень милый и обстоятельный отчет, и Ж. Ромен⁴ тоже сделал что мог. И довольно много денег послано отсюда тем, о ком идет речь.

Сердечный привет и лучшие пожелания

Т.

83

ЭМИЛИЮ ЛИФМАНУ

Принстон, Нью-Джерси,
Стоктон-стрит, 65.
2.1.1940

Дорогие друзья,

счастливого Нового года!

Мы давно ничего не слышали друг о друге. Жизнь поглощает много благих намерений, и иные мысли так и остаются невысказанными.

* Европа — это Германия с бахромой (англ.).

Решился ли вопрос о том, чтобы Вас раньше допустили к экзамену, дорогой доктор Лифман? Я часто спрашиваю себя об этом, и мне горько думать, как не хватает Вам Вашей любимой врачебной деятельности, мастером которой Вы слыли на родине.

Не могу примириться с этой гнусной нелепостью, что такие люди, как Вы, будучи без всякой вины, несмотря на тысячи заслуг перед обществом и на все их заботы о человеческом благе, вырваны из привычного и подобающего им быта, должны где-то бездельничать — и «бездельничать» не то слово, оно отдает шуткой, а тут совсем не до шуток. У Вас, по крайней мере сейчас, нет ничего из того, что Вам принадлежит, Вы живете, без сомнения, стесненно, и я просто не могу уйти от мысли, что Вашей милой жене порой нечем поддержать Вас чисто физически. Имеет ли в такое идиотское время смысл только из соображений такта полагаться на то, что кривая вывезет? Не пристало ли дружбе принять честно-деловой вид с обеих сторон? Я тоже что заработаю, то и проедаю, но мою работу эти каналы не смогли у меня отнять, и я надеюсь, что при нужде Вы обратитесь ко мне, чтобы я больше так долго не медлил и не раздумывал, как сейчас, прежде чем решился приложить к этим строкам скромный чек, сумму которого, как и дальнейшее, Вы ведь сможете мне вернуть, когда у Вас появятся доходы.

Не обижайтесь, от души желаю Вам бодрости!

Ваш Томас Манн

84

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГЕРЦОГУ

*Женский колледж штата Техас.
Дентон, Техас, Дом Президента.
26.11.1940*

Дорогой господин Герцог!

конечно, Ваша мысль превосходна, я от души восхищаюсь творчеством Верфеля и всячески приветствовал бы это, если бы Шведская академия решилась на подобную демонстрацию¹, во что, однако, не верю. От участия в задуманной акции я вынужден отказаться, потому что неоднократно поддерживал кандидатуру Гессе², чьи виды лучше и в чьем лице были бы почтены также и внегерманская немецкая мысль, и высшие немецкие традиции.

У Вас, надеюсь, все благополучно, но, конечно, не настолько благополучно, чтобы не восхищаться тем, как Ваши мысли и дела никогда не замыкаются собственной борьбой, а всегда направлены и на общие, несвоекорыстные цели. Мы служим тому, что неправдоподобно уже давно. Я делаю это здесь изо всех сил — без веры, в чем сокрушенно признаюсь,

и с сильным сомнением в том, что сторона, на которой борешься, сто́ит того, чтобы вместе с нею погибнуть.

От Генриха получил прекрасное письмо о моем последнем романе.

Сердечный привет.

Ваш Томас Манн

Нахожусь в lecture tour*.

85

ГЕНРИХУ МАННУ

Принстон, 3 марта 1940

Дорогой Генрих,

твое прекрасное письмо от 17 января я получил где-то в глубине штата Техас, среди турне с выступлениями, о котором я, кажется, писал тебе, что оно предстоит. Перед возвращением в Нью-Йорк, продолжавшимся 40 часов, у нас было несколько дней передышки в Сан-Антонио, близ Мексиканского залива, где стояла уже совсем летняя погода. Население там с сильной мексиканской примесью, это часто очень привлекательный тип внешности и отдохновение для глаз после сплошных янки. Есть там еще чудесные испанские миссионерские постройки XVII века, самое живописное, что мне случалось видеть в Америке.

Меня очень тронуло, что ты еще раз с такой любовью заговорил о моем романе, и я счастлив, что он захватил тебя и задел за живое. Не знаю, самое ли он прекрасное мое произведение, но самое любимое во всяком случае, потому что в нем больше всего любви и любовного слияния, несмотря на все колкости, на все иронические веризмы, в которые рядится эта любовь. Его слабости и педантичности я вижу поэтому особенно ясно. Это был бы совсем не роман, а что-то вроде диалогизированной монографии, если бы не элемент волнующего, принадлежащий замыслу и, кажется, сохранившийся при исполнении. Конечно, это связано с реализацией мифа, в которой я поупражнялся благодаря «Иосифу». У читателя возникает иллюзия, что он совершенно точно узнаёт, как все было на самом деле, и он верит, что при этом присутствует. Это приключение, и поэтому, вероятно, в одной швейцарской газете кто-то смог написать, что проглотил мою книгу так, как проглатывал в детстве истории об индейцах... То, что ты говоришь о заключительной главе, показывает мне еще яснее, чем я уже знал, что я хорошо сделал, придумав ее. В действительности второй встречи не было, и я вышел из затруднительного положения, заставив самую славную Лотту, взволнованную ямбическим спектаклем, ее вообразить. Это единственная нереальная сцена, хотя и другие разговоры достаточно платоничны.

У нас тут после летних дней в Сан-Антонио опять снег. Дел у меня много, надо готовить lectures для boys об art of the novel**, причем главное

* Поездке с выступлениями (англ.).

** Лекции для мальчиков об искусстве романа (англ.).

усилие надо направить на то, чтобы не сделать этого слишком хорошо. Я часто задаюсь вопросом, чем ты сейчас живешь и что пишешь. Не могу вполне поверить в роль зрителя, на которую ты намекаешь, потому что сам, признаюсь, весьма далек от нее и часто разрываюсь от ненависти и жажды возмездия. Во время этой поездки я снова агитировал до предела, дозволенного установкой на «нейтралитет», и написал, в пару к «This peace»* — «This war»**, которая вскоре выйдет в Лондоне и будет broadcasted*** в Германию.

Будь здоров! Голо в Цюрихе очень хорошо делает свое дело¹. Не дашь ли ты ему как-нибудь статью?

Т.

86

КУНО ФИДЛЕРУ

Принстон, 19.III.40

Дорогой доктор Фидлер!

Благодаря Вас за Ваше письмо от 18 февраля, хочу еще раз вернуться к Вашему теологическому памфлету¹, снова занимавшему меня в последние дни. Надо, вероятно, находиться внутри церковной жизни, чтобы по достоинству оценить все его значение, всю его важность, а главное, все мужество, которое требовалось, чтобы написать его и выступить с ним; но есть в нем такое дыхание, такой задор, такая чистая злость и такое остроумие, которые захватывают и постороннего, воскрешая в памяти великие примеры Лютера, Лессинга, Толстого. Я глубоко уважаю убеждения, в нем отстаиваемые (слово это уместно); я вижу в нем естественно-необходимую и эмоционально совершенно понятную мне реакцию человека культуры на варварство ортодоксальности, реакцию гордого человека на ее посредственность, каковая особенно ярко выражается в (очень интересном разобранном Вами) отрицании всякого морального «титанизма» и в предостережении от «полюса идеала». И Вашу полемику против «крови спасителя» я тоже объясняю себе основанным на сознании разницы в «рангах» презрением к тем, кто облегчает или готов облегчить себе жизнь. Однако... с точки зрения потребности *misera plebs***** в религиозном утешении — не то, чтобы я разделял эту точку зрения — Ваша атака выглядит, пожалуй, рискованно, и сомнение в том, что, довольствуясь Вашей чистой вестью Иисуса, церковь вообще может существовать; что она не нуждается в системе догм и в исконно-популярной, традиционной связи с религиозным мифом, где принесенный в жертву бог (у него рана в боку) — фигура привычная, — такое сомнение то и дело вкрадывается

* «Этот мир» (англ.).

** «Эта война» (англ.).

*** Передана по радио (англ.).

**** Жалкой толпы (лат.).

в произвольное сочувствие Вашему воинственному евангелию. Злой Ваш пассаж об Адонисе—Озирисе на 49 стр. я подчеркнул. Это мой герой. Ну, да, это он опять, и у него тоже есть мать бога, являющаяся одновременно возлюбленной бога (отсюда и древняя культовая формула «бык своей матери»). Придать ему такой *узаконивающий* мифически-традиционный облик признали необходимым—это, наверно, религиозная политика, но без этого, может быть, и нельзя. Недаром Ницше, который, как я думаю, задался мыслью основать религию, подписывал поздние свои записки то «Дионис», то «Распятый». Я убежден, что Вы правы в каждом слове, сказанном Вами об Иисусе и о догматиках, его исказивших. Но я уверен, что и Вам бы, точно так же, как возвратившемуся Христу, Великий Инквизитор² сказал бы: «Зачем же ты пришел нам мешать?» Это не значит, что я не считаю «мешать» превосходной деятельностью и что не буду всей душой на Вашей стороне и против великих инквизиторов, которые предадут анафеме Вашу книжечку!

С пасхальными пожеланиями и приветом

Ваш Томас Манн

87

ВИКТОРУ ПОЛЬЦЕРУ

Принстон, Нью-Джерси.
Стоктон-стрит, 65
23 марта 1940

Дорогой господин Польцер,

я рад быть полезным Вам в Вашей работе, поскольку она касается и меня, только я буду очень краток и ограничусь объективно-внешней стороной, потому что сейчас как раз самая горячая пора моей «академической» деятельности и мне и без того трудно продолжать при этих обязательствах личную свою работу.

Серьезную, предназначенную для печати работу я уже много лет делаю почти исключительно в утренние часы, примерно от 9 до 12, до половины первого. Работа делается в одиночестве и от руки, так называемая fountain pen* заменяет мне теперь прежнее стальное перо. Дневной мой «урок» составляет примерно полторы машинописных страницы. Медленный этот способ работы обусловлен строгой самокритикой и недовольством формой, но также и известной «символичностью» стиля, где все время важны каждое слово и каждый оборот, потому что никогда не знаешь, какому мотиву послужит в будущем написанное сейчас.

Диктовка применяется только для корреспонденции (жена и секретарь) и разве что для коротких импровизаций, частей докладов и речей. Диктовка претит мне от природы донельзя, и лишь необходимость сбегать время вынуждает меня прибегать к ней. Да и привык я к ней лишь в поздние годы, когда корреспонденция очень уж разрослась.

* Самопишущая ручка (англ.).

Мой почерк с годами довольно сильно менялся, то есть он делался все менее разборчивым из-за некоего упрочения и формирования личных особенностей. Прежде чем лечь на бумагу, работа бывает по большей части настолько тщательно продумана — обычно на прогулках, — что уже первый вариант и больших моих работ я всегда мог отдавать на машинку, а раньше и прямо в печать. (И «Будденброки», и «Волшебная гора» пошли в типографию в единственном рукописном экземпляре.) Число корректур колеблется; иные страницы я пишу совершенно заново — но в принципе рукопись «остаётся», не претерпевая изменений и при переизданиях.

Чтобы писать, мне нужна крыша над головой, и так как больше всего я люблю работать у моря, то там требуется палатка или пляжное кресло-корзинка. Многие мои работы сложились, как я сказал, во время прогулок; движение на свежем воздухе я нахожу также лучшим средством восстановления своих сил для работы.

Для больших книг имеется, как правило, маленький набор *заготовок*, который потом лежит у меня под рукой во время письма: кое-как нацарапанные заметки, записи для памяти частью чисто вещественного свойства, внешние детали, колоритные черточки или же это психологические формулировки, отрывочные мысли, которые затем находят применение в том или ином месте.

Так как раньше я ограничивался бюргерско-современной тематикой, *источники и штудирование* начали играть некую роль, собственно, лишь при работе над «Иосифом» или, пожалуй, над «Волшебной горой»: в случае «Волшебной горы» нужен был медицинский, в более позднем случае — востоковедческий материал. С другой стороны, именно «Иосиф» — первая моя работа без «*прототипов*», здесь лица сплошь «выдуманные» — в противоположность прежней зависимости от подлинных впечатлений, если они даже и претерпевали некую стилизацию в процессе работы.

Замысел большей частью уходит в далекое прошлое моей жизни; у моих материй большей частью очень глубокие корни. Интерес к иосифовскому комплексу восходит к детству. *Музыка* постоянно вторгается во все мое творчество и как высокий стимул, и даже как объект художественного подражания и перевода в мою художественную сферу, но это не значит, что определенные замыслы рождались именно за музыкой.

От *настроения*, а также от влияния погоды и времени года я стараюсь, насколько это физически возможно, сохранять независимость, так как при моем медленном и постепенном продвижении в работе обширные предприятия, в которые большей частью разрастаются мои книги, никогда бы не подходили к концу, если бы я полагался на настроение. В общем я следую изречению «назвался поэтом — так командуй поэзией».

На Ваш последний вопрос об «истинной цели» моей работы ответить труднее всего. Скажу просто: *радость*.

С дружеским приветом

Томас Манн

88

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Гельфонт-Хэддон-холл.
Атлантик Сити. Нью-Джерси.
25.V.40

Дорогой друг,

большое, большое спасибо... Каково у меня на душе, Вы знаете. Все это лишь венчает и довершает страдания семи лет¹, когда я знал все наперед и был в отчаянье от того, что другие не знали этого и не желали знать. Но того, что теперь предстоит, сам не знаешь, да и не хочешь знать — этого еще и сегодня представить себе нельзя. Разве только чудо помешает невозможному ужасу стать действительностью. Что замышляет судьба, посылая самым подлым и самым дьявольским силам, какие только были на свете, чудовищный триумф? Время это покажет.

Ваш Т. М.

Голо во Франции, где, наверно, состоит на какой-нибудь вспомогательной военной службе. Нам остается лишь согласиться с этим.

89

ГЕРХАРТУ ЗЕГЕРУ

Принстон.
4 июня 1940

Дорогой господин Зегер,

я был совершенно потрясен симпозиумом, который Вы с таким радушием устроили в своей газете по поводу моего дня рождения. Вот уж никак не ждал я в данный момент подобной праздничности — она, наверно, многим покажется призрачной. Да и на меня она могла бы произвести такое же впечатление, ибо все выглядит так, словно ничего не случилось, и не будь среди всех этих, красиво и тщательно сочиненных заметок, подписанных духовно близкими и крупными именами, приветствий Принстонского университета и «University in Exile»*, приветствий, знаменующих новизну ситуации, я мог бы подумать, что передо мной какое-то поздравительное приложение к «Фоссише» или к «Франкфуртер Цейтунг» в свободной Германии.

Сегодня мы строже между своими, чем в те времена, но «между своими» мы были по сути всегда; всегда хватало вокруг нас ненависти и презрительного отвращения, и немецкий дух — закаленный малый, он давно уж привык ко многому, и для него новая ситуация по сути не так уж нова. Но такое литературное празднество, как это, совершенно независимо от повода к нему, свидетельствует о стойкости «старого света», которая, несмотря на очень плохую подготовку, проявляется и на поле

* «Университет в изгнании» (англ.).

сражения — потому, может быть, что это вообще глупый вымысел — сводить бушующую сейчас битву к противоречию между молодостью и старостью, — как будто низкий лоб моторизированного злодейства, чьими успехами восхищаются лишь хлюпки да помешанные на спорте, отмечен знаком молодости и жизни, а человечность означает смерть.

Соединяет нас вера в несколько вещей, не имеющих ни малейшего отношения к старости и молодости, и для этих вещей слово «культура» — обозначение сегодня слишком вялое и вычурное. Это вера в духовное и божественное начало в человеке, отрицая и попирая которое можно побеждать, но нельзя победить. Если божественного начала и нет над нами, то в нас оно есть, оно есть в человеке, оно непреложно, неотторжимо и нерушимо. Правда, свобода и право — это не «идеи среднего сословия», не исторические брэнности, которые увядают и могут быть заменены ложью, рабством, насилием. Это самые прочные человеческие реальности, против них не изобретено еще ни танков, ни бомб, и стойкость их покажет еще чудеса «новому миру».

Уделите, дорогой господин Зегер, скромное место в Вашей газете моей благодарности за все добрые слова и добрые пожелания, собранные для меня Вами. Она адресована каждому автору в отдельности.

Преданный Вам

Томас Манн

90

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Принстон, Нью-Джерси.
Стоктон-стрит, 65.
14.VI.40

Дорогой друг,

спасибо за Вашу внимательность! Судьба Франции — большой удар для меня. Она ничего не хотела, кроме как отвоевать себе покой, — а что получила, что получит? Покой — да, но жуткий покой, и саван молчания окутает всю Европу. Если этот изверг¹ переночует теперь в Тюильри, будет ли это вершиной его позорной для всех нас карьеры? Неизвестно. Если бы источником всех этих катастрофических бед было хоть что-либо более пристойное, чем навозная душа этого субъекта, — их было бы легче перенести. Голо, как я Вам писал, во Франции, где он, по-видимому, служит шофером в Красном Кресте. Кроме короткой телеграммы сразу после его приезда, у нас нет никаких сведений о нем. Вполне возможно, что его беззвучно проглотит пучина. Еще тяжелее думать, что он угодит в руки немцам.

Но не сомневайтесь в моем флегматизме, в моем упрямстве и в упорстве моих привычек. Как же мне не работать? Не работать я не умею и буду работать, пока живу. Могу Вам сообщить, что позавчера я читал здесь своим родным и нескольким друзьям новую главу «Обменных

голов»², где дело происходит у одного аскета в индийском лесу, и что мы все смеялись до слез — чтец и автор не составлял исключения. К сожалению, не могу прочесть это Вам в доказательство своего озорства. Это местами неприлично, по вине святого.

С 5 июля мы сняли на 3 месяца дом где-то между Голливудом и Санта-Моникой. Мы поедем туда поездом, сначала послав туда наших негров с машиной. Что, если мы, перед тем как поехать самим, явились бы на 3—4 дня, начиная примерно с 28 июня, в Маунт-Киско³? Удобно ли это? Скажите откровенно, нарушит ли это Ваши планы или нет.

Дружески Ваш

Томас Манн

91

ГАМИЛЬТОНУ АРМСТРОНГУ

Принстон, Нью-Джерси.
Стоктон-стрит, 65.
26 июня 1940

Dear Mr. Armstrong *,

мне больно было читать Ваше письмо, потому что я не только не был своего согласия и намерения написать что-нибудь для «Форин Эфферз», но все это время мучился из-за невыполненного обещания угрызениями совести. И все-таки ничего не получилось с его исполнением. Много раз, начиная писать что-нибудь по поводу современного положения в мире, я думал, что это подойдет Вашему журналу — а потом, вопреки моим планам, это применялось для других целей. Так было уже с рассуждением о «Проблеме свободы», которое затем, в измененной форме, стало материалом для публичных выступлений, и даже со статьей «Эта война», которая вышла здесь и в Лондоне отдельной брошюрой. [...].

Между тем события развивались ужасно, теперь они в мировом масштабе, с точно такой же абсолютной жестокостью, как прежде в Германии, пренебрегли всем, чего желали, о чем думали и писали, что советовали я и другие, и я боюсь, что время исполнить Ваше и мое желание, время для этой статьи, которую мне когда-то так хотелось Вам написать, уже прошло. Выражаясь точнее и грустней, я боюсь, что мне — по крайней мере вне сферы художественного вымысла и высшего развлечения — нечего больше сказать Америке. Что эта великая и могучая страна, США, признанная руководительница демократии и хранительница демократических идеалов, должна или, вернее, к сожалению, должна была сделать, ряд людей, у которых есть голова на плечах и которые страдают, знают так же, как я, и лучше, чем я; они, раньше или позже, сказали это с большим мужеством и с большим талантом, говорят это ежедневно и будут, конечно, говорить это до тех пор, покуда здесь еще свободен язык. Вы

* Дорогой мистер Армстронг (англ.),

сами сказали это недавно в своей блестящей статье в «Таймс», крупные журналисты, Липпман, Дороти Томпсон говорят это каждый день; говорят это такие люди, как Р. Т. Суинг¹, говорят либеральные еженедельники; патриотически настроенные и свободолюбивые президенты университетов заявляют об этом в речах, произносимых в commencement day*, — перед молодежью, среди которой один или двое на сотню хотят это понять и услышать. Что мне добавить к этим голосам видящих и знающих — мне, эмигранту, эмигранту, правда, опытному, бежавшему от того, что, вероятно, наступит и здесь? Этого нельзя задержать защитным законодательством, творимым явными или тайными, но смертельными врагами того, что следует защищать.

Мне сейчас шестьдесят пять лет, я всю жизнь себя не щадил, и мировая история тоже не щадит наших сил. Не так уж, видимо, долог срок, отпущенный мне, чтобы, пусть лишь порядка ради, довести до конца свои лично-художественные работы. Я думаю, что лучше мне сосредоточиться на них, чем истратить остаток дней на наполнение политической бочки Данаид.

Этим я, разумеется, не даю зарока, что у меня когда-нибудь, совершенно произвольно, не вырвется вдруг излияние, которое я смогу предложить Вашему журналу. Извинительное это письмо не ставит своей целью поставить на место не выполненного до сих пор обещания отказ.

Преданный Вам

Томас Манн

92

ЛЮДВИГУ ЛЬЮИСОНУ

Лос-Анджелес—Брентвуд.
30.IX.40

Дорогой Людвиг Льюисон!

Ваша книга¹ получена, она сильно меня занимала, и я написал бы Вам о ней раньше, если бы не болезненно разбухшая почта, продукт этого времени, которая в иные дни не дает мне возможности заняться своим. Сегодня меня известили, — вернее, подтвердили еще не полученное мною известие, — что при вступлении немцев покончил самоубийством один мой добрый друг, голландский писатель и выдающийся критик Менно тер Браак². Сердце у меня обливается кровью. Два других крупных голландских писателя³ также стали жертвами этого поведения мировой истории. Погибают именно лучшие — что и естественно, когда побеждает последняя мразь. Всякая мелюзга спаслась в Америке, потому что кричала во все горло, а те, кто благороднее, гибли молча.

О Вашей книге — я прочел ее давно, очень быстро, почти в один прием, с большим интересом, понятно, ибо при всем своем американстве она ды-

* Актовый день (англ.)

шит очень европейским воздухом, если не выдыхая, то вдыхая его; литературно все французское, английское, немецкое очень близки, и отсюда возникло чувство чего-то родного. К нему добавилось чувство растроганности человеческим документом — чувство, хочу и должен добавить, несколько шаткое, склоняющееся в ту сторону, где, видимо, и находится сопротивление, которое, судя по намекам Вашего письма, встречает Ваша книга у публики. Есть такая интимность, такая наполненность собственной личностью, собственной судьбой, собственными исканиями и собственным счастьем, собственной любовью и собой как предметом чьей-то любви, которые раздражают людей — не только из-за недоброжелательности и тривиального требования скромности, но и из-за какой-то оскорбленной стыдливости, которой, по крайней мере во времена больших общественных испытаний, когда у частной жизни есть столько причин для сдержанности, нельзя отказать в известной правоте. Я сказал бы так: Вашей книге нужна была бы защитная вывеска посмертного издания. Если бы, допустим, Ваше выдающееся творчество было увенчано и завершено еще несколькими сильными произведениями, а Вы, вполне став тем, что Вы есть, ушли бы из времени и Ваши друзья издали бы эти бумаги как Ваше литературное наследие, то против этого не только ничего нельзя было бы возразить, такая публикация была бы просто выигрышна. Но вот так, сейчас, когда Вам еще жить и жить, в ней есть, если *угодно* (мне-то не «угодно», но другим, как видно, угодно, и я не могу очень уж осуждать их за это), в ней есть какая-то претенциозность, какая-то наивность, которая, вероятно, с другой стороны, является условием Вашего творчества и без которой Ваши *произведения* (ибо это вряд ли произведение) не были бы, наверно, написаны, но в прямом проявлении которой есть все-таки что-то тягостное.

Понимаете: заинтересован, растроган, но не вполне согласен — вот какое у меня ощущение. Публичный отзыв о «Haven»* получился бы у меня поневоле довольно уклончивый, и так как я немного против опубликования самой книги, то я еще больше против того, чтобы публиковать отзыв о ней. Благодарность за нечто сугубо частное лучше выразить частным порядком. Новое выступление в поддержку Вашего искусства я лучше отложу до нового произведения объективной изобразительности, которого Вы, конечно, не заставите нас долго ждать.

Преданный Вам

Томас Манн

* «Убежище» (англ.).

93

ЛИОНУ ФЕЙХТВАНГЕРУ

Принстон, Нью-Джерси.
Стоктон-стрит, 65.
26.X.40

Дорогой господин Фейхтвангер,

благодарить тут не за что. Но как я рад случаю поздравить Вас и Вашу жену с прибытием!¹ Хоть бы эта так расположенная к Вам и к Вашей работе страна вознаградила Вас за все, что Вы вынесли!

Мой брат был крайне утомлен и нуждался в покое в первые дни. Теперь он скоро поедет в Калифорнию. Храбрая Эрика тоже благополучно вернулась из Англии. Овдовевшей Монике еще нет², но она уже в пути — снова. Она придет с искалеченными руками, потому что в течение 20 часов цеплялась ими за борт лодки, у которой не было днища — не получив ни ревматизма, ни даже насморка. Это сверхъестественно.

Всего доброго!

Ваш Томас Манн

94

ДЖОЗЕФУ КЕМПБЕЛЛУ

Принстон, Нью-Джерси.
Стоктон-стрит, 65.
6.1.1941

Дорогой мистер Кемпбелл,

Вы оказали мне любезность, прислав мне свое обращение «Permanent Human Values*», горячо благодарю Вас за внимание. Разумеется, я внимательно прочитал этот доклад; сказать по его поводу могу примерно следующее.

Как американцу, Вам лучше судить, чем мне, уместно ли в этой стране, которая как раз теперь, медленно-медленно, при тяжелом и сильном сопротивлении, надо надеяться, еще не слишком поздно, поднимается к осознанию создавшейся необходимости, уместно ли здесь и сегодня рекомендовать молодежи политическое равнодушие.

Вопрос, как мне представляется, стоит так: что станет с теми пятью прекрасными вещами, которые Вы защищаете или думаете, что защищаете, что станет с критической объективностью социолога, со свободой ученого и историка, с независимостью литературы и искусства, с религией и с гуманным воспитанием в том случае, если Гитлер победит. Я хорошо знаю по опыту, что стало бы со всем этим на несколько поколений повсюду в мире, но многие американцы еще не знают этого и потому думают, что блага эти нужно защищать тем путем и в том духе, в каком это делаете Вы.

* Постоянные человеческие ценности (англ.).

Удивительно: Вы друг моих книг, которые, по-Вашему, стало быть, должны иметь какое-то отношение к permanent human values. Так вот, в Германии и во всех странах, захваченных сегодня Германией, эти книги запрещены, и кто их читает, кто ими торгует, кто хотя бы похвалит вслух мое имя, тот окажется в концентрационном лагере, где ему выбьют зубы и отобьют почки. Вы учите, что мы не должны волноваться по этому поводу, а должны заботиться о постоянных человеческих ценностях. Еще раз, это странно.

Не сомневаюсь, что Ваш доклад снискал Вам большое одобрение. Я думаю, что Вам не следует этим одобрением обольщаться. Вы сознательно или бессознательно сказали молодежи, и без того склонной к нравственному безразличию, то, что она рада услышать, но это не всегда то, в чем она нуждается.

Я знаю, намерения у Вас добрые и хотите Вы самого лучшего. А правы ли Вы и не служат ли подобные речи неправому делу, об этом не будем спорить.

Еще раз благодарю и искренне желаю всего хорошего.

Преданный Вам

Томас Манн

95

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Гостиница «Белфорд».
118 Ист, 40-я стрит.
Нью-Йорк. 24.1.41

Дорогой друг,

я называю Вас так подчеркнуто, ибо то, что Вы, как я лишь потом догадался, так страдали во время моей Town Hall lecture*, было ведь именно знаком Вашей дружбы, привязанности и заботливости, и это меня утешает и радует, как ни досадно мне, что я заставил Вас мучиться.

Эту лекцию я повторил затем еще два раза, в Атланте и в Афинах (только у Дарэма, Duke University, хватило ума попросить меня говорить о Magic Mountain**), и каждый раз меня всячески приветствовали и чествовали. Но радости мне это не доставило, и как бы Вы ни относились к этому факту, доклад мой стал для меня мукой оттого, что он заставил Вас мучиться, и если бы я мог сожалеть, что не попросил Вас не присутствовать (а сожалеть-то я не мог), я сожалел бы об этом. Я знал все заранее, но должен был предоставить события их собственному течению — ситуация довольно распространенная. Результат тот, что в таком виде я эту речь повторять больше не буду. Она мне уже не нравится, и я ее изменю. Если бы только не сомнение в том, что какой-либо переделкой

* Лекции в ратуше (англ.).

** «Волшебной горе» (англ.).

можно добиться чего-то приятного Вам! Мы не сходимся в этом вопросе, который для меня вопрос жизни и причина страданий, а для Вас всего лишь «политика», отдавать меня которой Вам, по Вашей доброте, слишком жаль. *Je fais la guerre* *, — а Вы по доброте своей хотите видеть меня *au dessus de mêlée* **. Но эта *mêlée* *** — решающая битва человечества, и в ней решается все, в том числе судьба моего творчества, которое еще по меньшей мере несколько десятилетий не сможет вернуться в Германию, включиться в ее традиции, если победит этот мерзкий сброд, которому наш косный, трусливый, невежественный мир вот уже восемь лет ничего, кроме побед, не преподносил. Вы не знаете, как я страдал эти восемь лет и как я хочу, чтобы сгинула эта мразь, самая гнусная, которая когда-либо «делала историю», — и чтобы я дожил еще до такого удовлетворения. Разве я плохо держался эти годы, разве деградировал от ненависти, разве ненависть парализовала меня? Я написал «Иосифа в Египте», «Лотту в В[еймаре]» и «Обменные головы», произведения, полные свободы, веселья и, если хотите, превосходства. Я немного горжусь тем, что справился с этим, вместо того, чтобы оказаться среди душевнобольных, и, по моему, в том факте, что я вдобавок еще и боролся, моим друзьям следовало бы видеть признак силы, а не признак слабости и униженности. Участие в моем свободном творчестве не совершенно и не может осчастливить меня до конца, если оно не определено, помимо всего, сознанием и пониманием этого. Говорят: «Кто не за меня, тот против меня». Так вот, кто не против зла, не против него резко и всей душой, тот более или менее за него. Избави бог, чтобы Ваше дружеское страдание во время моей речи имело к этому какое-либо отношение! Вопрос решен, я больше не буду с ней выступать...

Какие чудесные дни Вы снова устроили нам в Вашингтоне, и как благодарен я за Вашу отзывчивость к моим повествовательским шуткам! Дальнейшее наше путешествие было интересно и уютно — интересно, конечно, особенно на следующем этапе, где нас приняли с поразительным вниманием¹. Головокружительной вершиной его был коктейль в рабочем кабинете, — когда другим приглашенным на *dinner* **** гостям пришлось ждать внизу. А ведь у нас уже был с «ним» первый завтрак. «Он» снова произвел на меня сильное впечатление или, вернее, опять вызвал у меня интерес и симпатию: трудно охарактеризовать эту смесь хитрости, солнечности, избалованности, кокетства и честной веры, но есть на нем какая-то печать благодати, и я привязался к нему как к природному, на мой взгляд, противнику того, что должно пасть. Вот укротитель масс, укротитель современного типа, который желает добра или хотя бы лучшего и держит нашу сторону, как, может быть, ни один другой человек в мире. Как же мне не держать его сторону? Я ушел от него с новыми силами. Надо надеяться, у него больше влияния на народ, чем

* Я веду войну (франц.).

** Над схваткой (франц.).

*** Схватка (франц.).

**** Обед (англ.).

у летчика Линдберга² с его «stalemate» * и «unbeatable» **. «Побольше бы таких американцев!» — кричит нацистская пресса. Что же, их много; это и есть мировая гражданская война, о которой я писал.

Назначение этих строк было, собственно, лишь уведомить Вас о нашем благополучном возвращении домой. Нам пришлось сразу же отправиться сюда — на Federal Union-dinner ***, где мне надо было выступить. Это было позавчера. Вчера мы остались здесь ради концерта, где Вальтер исполнял «Песнь о земле»³ — произведение, которое, как мне кажется, *вырастает*, тогда как многое из того времени меркнет и вянет. Сегодня днем едем обратно в Принстон. Иосифа сейчас доставляет ко двору некий запыхавшийся гонец⁴.

Привет Юджину!

Ваш Томас Манн

96

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Принстон, 18 февр. 1941

Дорогой господин профессор,

что Вы соединились на почве науки с Юнгом¹, мифология с психологией, — это событие очень примечательное, радостное и весьма характерное для нынешней духовной ситуации. «Божественное дитя»² дошло до меня, как положено. Это крайне интересная книга — не диво, что она удивительно интересна, если сошлись двое посвященных такого ранга. Вам было бы забавно увидеть, сколькими отчеркиваниями и подчеркиваниями испещрены страницы моего экземпляра. Я порадовался за себя, увидав, с каким интересом и волнением я еще способен читать, когда нахожусь действительно в своей стихии, — а что же сейчас моя стихия, как не миф плюс психология. Я давно уже страстный приверженец этой комбинации, ведь фактически психология — это средство вырвать миф из рук фашистских мракобесов и «переключить» его в сферу гуманности. Это сочетание для меня прямо-таки прообраз мира будущего, человечества, благословенного свыше духом и «благословением бездны, лежащей долу».

Видите, как уже принципиально важна для меня Ваша совместная работа, не говоря уж об ее конкретном содержании, которое богато и обворожительно и, помимо прочего, доказало мне кое-какими частностями, что при всех моих невежественных мифологических мечтаниях у меня все-таки есть очень верный инстинкт. Я не мог не обрадоваться определению Психопомпа как преимущественно божества-ребенка: это напомнило мне Тадзио в «Смерти в Венеции». А то примитивное отсутствие «единства личности», о котором говорит Юнг, я в «Былом Иакова», целиком на свой

* «Безвыходным положением» (англ.).

** «Непобедимый» (англ.).

*** Обед, устроенный организацией «Федерел Юнион» (англ.).

страх и риск, использовал как юмористический факт (Елиезер). Вот два примера... Мифологический персонаж, который меня сейчас поневоле привлекает все больше и больше и о котором я нашел в Вашей книге столько прекрасных замечаний, — это связанный с Луной Гермес. До сих пор он уже нет-нет, да маячил в книгах об Иосифе; но в последнем томе, показывающем героя как ловчайшего политика и дельца, он все больше переходит от первоначальной роли Таммуза-Адониса к роли Гермеса. Его дела и сделки нельзя нравственно-эстетически представить иначе, как в смысле божественного плутовского романа.

Недавно я отправил Вам маленькую книжку: «Обмененные головы», индийская легенда и не более как метафизическая шутка. Но, может быть, она доставит Вам удовольствие. Ваш пакет дошел до меня, и это позволяет мне надеяться, что и моему улыбнется счастье.

Надеюсь, связь с Европой еще не совсем прервется! Сама эта возможность укрепляет во мне желание, чтобы Вы соединились с трансатлантической Европой в этой стране, которой ведь, наверно, *volens-nolens* будет принадлежать руководство миром. «Изгнание» стало чем-то совсем другим, чем оно было прежде; это уже не выжидательное состояние, нацеленное на возвращение домой, тут есть уже намек на отмену наций и на объединение мира... Надо бы учредить здесь кафедру мифологии — для Вас; я всегда это говорю. Но кажется, здесь по-настоящему не понимают нового состояния этой науки, которое Вы представляете.

Примите мои самые сердечные пожелания и привет!

Ваш

Томас Манн

97

АГНЕС Э. МЕЙЕР

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
15 мая 41.*

Дорогой друг,

это было очаровательно с Вашей стороны — послать мне телеграмму, как только стало известно о фантастической выходке Гесса¹. Что правда, то правда — фантазии у нацистов хватает, и в том-то вся и беда, что у других ее слишком мало. Я был очень склонен, да и сейчас еще до некоторой степени склонен оценить эту историю положительно. Именно потому, что Г[есс] считался у немцев, по сравнению со всей его страшной бандой, фигурой относительно чистой, его дезертирство должно произвести сильное впечатление на народ, приученный к таким оглушительным победам. На англичан, впрочем, тоже. Но смысл этого сенсационного происшествия мы, видимо, все-таки переоценили. After all*, Г. — чистокровный нацист, и я не думаю, что мир без Гитлера и против Гитлера,

* В общем-то (англ.).

мир, устраняющий нацистский режим, находится в пределах его мыслительных возможностей. Он, вероятно, своего рода *arreaser* *, чувствующий себя призванным добиться мира путем переговоров, мира, при котором сохранилась бы, правда, британская *empire* **, но зато и Гитлер тоже бы сохранился, — что и означало бы победу Гитлера. В порыве первой радости я телеграфировал в «Дейли телеграф» несколько иначе, но тут же подчеркнул, что национал-социализм — это совершенно не поддающаяся учету, совершенно патологическая сфера, нравственная и интеллектуальная пропасть, откуда каждую минуту может выйти на свет божий любая, самая невероятная нелепость.

Известно ли Вам, почему Ф. Д. Р.² на целых две недели отложил свою речь, которая была громогласно объявлена важнейшей с начала войны? Это похоже на летаргию или растерянность. Но я не вправе задавать Вам такие вопросы. Это же мой президент, а не Ваш³.

Как приятно слышать Ваши уверения, что мы понятия не имеем о том, что произойдет! Повторяйте их мне как можно чаще; я пью их, как сладкое вино. Однако в Вашей фразе «Полагайтесь на Америку в мрачные часы!» есть какая-то логическая погрешность. Ведь мрачные часы — это как раз часы сомнения! Но я, надо надеяться, не заблуждаюсь, считая, что большинство составляют люди, внушающие надежду...

К моему последнему письму Вы все-таки слишком строги. Вы именуете его даже «так называемым»! Ну, письмом-то оно, как-никак, было, и поскольку этот музыкант⁴ излил мне душу на десяти страницах, я мог и обязан был доложить Вам об этом хотя бы на двух. Правда, писал я с отчетливым сознанием, что навожу на Вас скуку. Но таков уж я. Я не могу отказывать людям, просящим меня похлопотать за них в могущественной инстанции, на которую я, как они думают, имею влияние. Если бы Вы знали, сколько я пишу таких писем — в консульства, министерства, комитеты etc.! Впрочем, Вы не можете жаловаться, что я так уж назойливо воспользовался своим колоссальным влиянием на Вас ради нуждающегося Штидри.

Скажите, пожалуйста, раз уж об этом зашла речь, — но не в связи с этим делом, — как фамилия того симпатичного хлопкового короля, с которым мы познакомились на последней party *** в Вашем доме? Длинный такой, довольно смысленный и любезный, помните? Как его фамилия и где он живет? Хотел бы я это знать, тоже из-за одного обещания.

Ваше возмущение идиотами-англичанами, которые именно в этот момент вымещают свою глупую злость на Мильтоне, мне совершенно понятно, и я разделяю его целиком. Когда такая наглость написана талантливо, она может испортить настроение на много дней. Вообще-то не стоило бы, наверно, принимать это близко к сердцу. Молодые люди часто кичатся своим крошечным преимуществом сиюминутности перед великой стариной, и пиетет — это дело зрелости. Но то, что молодые британцы

* Умиротворитель (англ.).

** Империя (англ.).

*** Вечеринке (англ.).

посягают на национальную святыню Англии именно сейчас, свидетельствует о слишком, увы, распространенном на стороне демократии неумном прекраснородушии, внушающем больше тревоги, чем военные поражения, — которые, может быть, как-то и связаны с ним. Чего только эти люди ни считают возможным все еще себе позволять. Это безусловно типы, которым исход войны совершенно безразличен. Я знаю таких. «Если Лондон станет чем-то вроде Копенгагена, там будет только спокойнее сочинять стихи и писать рецензии». Так примерно. Несколько хороших оплеух по обоим щекам — вот был бы правильный ответ на этот дурацкий эстетизм. Я не требую «любви к отечеству». Но я требую порядочности и глубокого уважения к великим решениям человечества. . .

Суховой и зной свирепствовали несколько дней. Десятки лет в это время года подобного не бывало. Ничего, кроме одного из Ваших египетских носовых платков, не хотелось надевать на себя. Но я относился к этому бедствию довольно спокойно и во всяком случае не воспринимал его как наказание за то, что «покинул свою бедную приятельницу». Во-первых, она не бедная, а живет богато заполненной, кишашей людьми жизнью, при которой без моей персоны легко обойтись. А потом: что, собственно, изменилось? Не так уж часто пили мы вместе шерри и тогда, когда я жил на Востоке. Разница между расстоянием Вашингтон—Принстон и Вашингтон — Пасифик Пэлисейдз в сущности иллюзорна. Тем, что я представляю собой для Вас, я могу быть везде, а что такое Вы для меня, это я еще раз благодарно узнаю из Вашей рецензии на «О[бменные] г[оловы]». Жаль, что, когда Вы писали ее, Вам мешало подозрение, что я сам невысокого мнения об этой вещице. Право, она все выростала в моих глазах, как только я закончил ее. Честно говоря, я недалеко от того, чтобы считать ее шедевром. Вот видите, сколько у меня доверия к моей бедной приятельнице.

Осенью lecture tour приведет меня на Восток. Но почему бы Вам не слетать сюда еще до этого? В конце концов здесь ведь у Вас детки.

Всегда Ваш

Томас Манн

98

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Амальфи-драйв, 740.
16 июля 41

Дорогой друг,

«anpouing» * пишется через «а», не через «е», как то случилось в моем последнем письме. Я все думаю об этом, потому что очень удивился, обнаружив ошибку. Я был твердо убежден, что это то же слово, что и еппи ** —

* Надоедливый, докучливый (англ.).

** Скука (франц.).

откуда же «а» в начале? Такие вещи очень меня занимают. Недавно мне пришло в голову, что английское слово «schedule»* — это наше «Zettel»**. Это довольно ясно благодаря старинной форме «Schedel» в значении «Zettel», встречающейся еще в «Фаусте» в сцене, где идет речь о бухгалтерных деньгах¹.

Как Вы поживаете? Оправились ли Вы? Из-за вызванных климатом изменений в крови я несколько недель пребывал в очень плохом и подавленном состоянии, что было особенно некстати, так как сейчас у меня идет самое трудное место «Иосифа». Получилось, конечно, то, что называют *circulus vitiosus****. Теперь врач что-то предпринял для повышения моего кровяного давления и ускорения моего пульса, и я чувствую себя здоровяком. Вот как зависим мы, жалкие существа, от маленьких изменений в химии нашего тела. Измените в человеке функционирование нескольких желез, «внутреннюю секрецию», и Вы поставите его вверх ногами как личность. Есть тут что-то позорное и возмутительное.

Знаете ли Вы, что слово «химия» происходит от древнего названия Египта, которое я так часто употребляю: Кеме, черное, черная плодородная земля? Ветхозаветное имя «Хам» (праотец негров) с этим связано... Мы, по крайней мере в языковом отношении, часто бываем очень близки к временам первобытным. Да и в остальном! — как, пожалуй, именно сегодня можно сказать.

На строительной площадке срублено несколько лимонных деревьев, и на земле вычерчен жердями план домика. Придя туда вчера, я видел пространство будущего своего кабинета, где будут стоять мои книги и мой мюнхенский письменный стол и где я, по всей вероятности, допишу «Иосифа». Странно!

Серия глав о большой беседе между И[осифом] и фараоном, приводящей к возвышению И[осифа], теперь прояснилась и близится к окончанию. Скомпоновать эту сцену было очень трудно, и такой хорошей, как мне хотелось, она не вышла, но, может быть, она все-таки достаточно хороша. Когда ее перепишут, я пришлю ее Вам.

Голо приехал сегодня утром, к большой нашей радости. Если бы только удалось добыть ему хоть самое скромное место в колледже! Может быть, ему поможет его книга о Фридр[ихе] Гентце², которую, кажется, хочет издать Принстон Юниверсити Пресс.

От Эрики у нас снова были известия из Лондона. Она «счастлива, что находится там». Мы рады, что *Vive l'empereur***** занят сейчас другим — и, кажется, весьма неприятно.

Ваш Т. М.

* Расписание, опись, график (англ.).

** Записка (нем.).

*** Порочный круг (лат.).

**** Да здравствует император (франц.).

99

АЛЬБЕРТУ ЭЙНШТЕЙНУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Амальфи-драйв, 740
4 августа 1941

Дорогой, глубокоуважаемый профессор Эйнштейн,

я хотел бы спросить Вас вот о чем: не согласитесь ли Вы вместе со мной замолвить слово перед Государственным департаментом за писателя Вильгельма Герцога¹, чье имя Вам, наверно, знакомо (он издавал журнал «Форум» и написал хорошую книгу о деле Дрейфуса), чтобы ему продлили истекшую визу, возобновления которой он уже несколько недель ждет на Тринидаде. Он вправе сказать, что это все-таки жестоко — на основании общего правила о новых условиях иммиграции запрещать въезд в США писателю, который всю жизнь так страстно боролся с гитлеровским бандитизмом, как он.

Консул же на Тринидаде заверил его, что если Вы и я поручимся за его политическую и моральную безупречность перед Государственным департаментом, то таковой несомненно уполномочит консула возобновить визу. Мне было бы тяжело отказаться от этой попытки и заставить Герцога торчать на Тринидаде.

Пожалуйста, присоединитесь ко мне и подпишите прилагаемый отзыв. Сердечный привет, надеемся увидеть Вас осенью.

Преданный Вам

Томас Манн

100

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
7 сент. 41

Дорогой господин профессор,

да будет Вам известно, что «Божественная дева»¹ дошла до меня как положено и что эта чрезвычайно интересная работа доставила мне наслаждение и множество поучительных сведений. Следы этого Вы когда-нибудь найдете в той главе последнего иосифовского тома, где речь идет о свадьбе возвысившегося с девушкой Аснат из Она, — эту главу я сейчас и пишу. То обстоятельство, что там девственность встречается с девственностью, показалось мне достаточным основанием сделать из этого некую мистерию, дерзко или, если хотите, нагло используя некоторые деметринско-элевсинские мотивы. Ничего такого уж не-египетского тут не будет, ведь блуждающая и ищущая мать — и на Ниле тоже свой человек, да и родство Деметры с Изидой вполне очевидно, хотя в случае Изиды дело идет об убитом сыне. Впрочем, именно в этом последнем томе все мифологии —

еврейская, египетская, греческая — так беззастенчиво перепутываются, что не имеет значения, если одной вольностью будет больше или меньше.

Между нами ведь давно установилось некое отдаленное сотрудничество, совершенно, конечно, незаметное для непосвященных, которое так же правомерно (хотя декларируется оно меньше), как Ваше столь плодотворное и научно удачное сотрудничество с Юнгом. Эта взаимоподдержка мифологии и психологии — явление очень отрадное! Надо отнять у интеллектуального фашизма миф и переключить его в гуманную сферу. Я давно и не делаю ничего другого.

Мы живем уже 4 месяца в Калифорнии и здесь останемся. «Seven Palms House»* на холме уже подведен под крышу, и поздней осенью в него можно будет въехать. Боюсь, что тоска о Европе почти уйдет к тому времени, когда Ваша несчастная часть света снова будет доступна. Но у меня поднялось настроение, оттого что мое бывшее будапештское издательство сейчас написало мне, что считает свои отношения со мной лишь «временно» прерванными. Начинают, значит, оглядываться и подмигивать.

Искренне Ваш

Т. М.

101

АГНЕС Э. МЕЙЕР

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Амальфи-драйв, 740.
7 окт. 41.*

Дорогой друг,

письмо, где я подробно касался Ваших воспоминаний о Рильке¹, конечно, успело уже дойти до Вас. Боюсь, что мы оба осрамямся перед потомством со своими критическими признаниями, ибо неким лирическим гением автор «Дуинских элегий» был ведь несомненно и в художественном, а также, я думаю, в духовно-религиозном отношении (тут я повторяю, как попугай, чужие слова, не очень-то мне понятны его догадки) оказал на какую-то часть молодежи большое влияние. Что ж, мы не обязаны быть такими же умными, как потомство, и оно поймет нашу, современников, нетерпимость к слабостям. Не его личным, нет, а его как личности, — я имею в виду его снобизм и претенциозность, которые всегда мне претили и мешали проникнуться к нему настоящей симпатией. Кстати, Вы, вероятно, не знаете, что Рильке написал одну из первых и лучших рецензий на «Будденброков»². Я забыл в прошлый раз об этом упомянуть. Он тогда часто писал отзывы на книги для какой-то — если не ошибаюсь — бременской газеты и выступил с обстоятельным сообщением о моем романе, придав особую важность встречающимся в повествовании *смертям* — вот вам его религиозный уклон, тяга к «кресту, смерти и могиле», на чем мы

* «Дом с семью пальмами» (англ.).

тогда и сошлись. Но у меня, думаю, все это одновременно и мужественнее, и музыкальнее, хотя я и не Томас-рифмач...

Тем временем, дорогой друг, пришло новое Ваше письмо, «иррациональное», и я был смущен, даже потрясен этими психологически очень странными тревогами о моем личном благополучии, которые вторгаются в Ваши умственные занятия моей персоной. Смею сказать: совесть моя чиста, ибо Вы подтвердите, что я никогда ни одним словом не способствовал тому, чтобы отворить дверь этим мрачным пронырам. И, отвечая на Ваш отчет и вопрос, я опять-таки не могу признать эти призраки скольконибудь реальными. To begin with*: Вы называете мою жизнь «тяжкой», но я не воспринимаю ее так. В принципе я с благодарностью воспринимаю ее как *счастливую, благословенную жизнь* — я говорю: в принципе; ведь не то важно, что в такой жизни встречаются, конечно, и всякие муки, опасности и темные стороны, а то, что фон ее светлый, так сказать, солнечный, — и им-то в конечном счете все и определяется. Я часто совершенно объективно, чисто как феноменом, восхищаюсь тем, как умудряется преодолеть самые враждебные внешние обстоятельства и обратить их на пользу себе приветливо настроенный индивидуум. В начале нового тома «Иосифа» сказано: «Правда, на взгляд Иосифа, его «я» и мир находились в согласии, составляя в известном смысле одно целое, так что мир был не просто миром, который существует сам по себе, а ego, Иосифа, миром, который можно делать добрей и приветливей. Обстоятельства были могущественны. Но Иосиф верил, что они подвластны личному началу, что оно определяет больше, чем безличная сила обстоятельств. Если он, по примеру Гильгамеша³, называл себя человеком боли и радости, то потому, что, зная сопряженность радостного своего назначения со всяческой болью, он в то же время не верил в боль, — настолько черную, настолько мутную боль, чтобы сквозить нею не пробился его сокровеннейший свет, свет бога, который в нем живет».

Вот попытка заглянуть в душу счастливого, предпринятая, как, наверно, заметит любезный читатель, не без учета некоторого субъективного опыта. В самом деле, если принять во внимание царящую сегодня на свете меру слез, крови, беды и гибели, то у меня есть все причины быть благодарным судьбе за то, что она обошлась со мной еще таким правильным, благоприятным и подобающим мне образом. Понимать это нужно относительно; я не хотел бы предстать одержимым эйфорией. И на мою долю тоже выпали, конечно, и потери, и растерянность, и тяжелая перестройка. Но моя работа без помех продвигалась, мне открылись новые возможности послужить человечности, я по-прежнему пользовался достаточным доверием и почетом, да и внешние условия моей жизни не претерпели заметного унижения. Мое положение в этой стране таково, что забота у меня может быть лишь одна: не утратить его по собственной неосторожности. Разве это пустяк, что я нашел на чужбине (не более в сущности чужой, чем мир был и всегда-то) такого друга и такую заступницу, как Вы,

* Прежде всего (англ.).

которая видит в моей работе то, что видите Вы? В Германии ничего подобного не бывало.

Тяжкая жизнь? Я художник, то есть человек, который хочет развлекаться — не надо по этому поводу напускать на себя торжественный вид. Правда, — и это опять цитата из «Иосифа», — все дело в уровне развлечения: чем он выше, тем больше поглощает тебя это занятие. В искусстве имеешь дело с абсолютным, а это тебе не игрушки. Но все-таки, оказывается, это игрушки, и я никогда не забуду нетерпеливых слов Гёте: «Когда занимаешься искусством, о страдании не может быть речи». Оглядываясь назад, он потом говорил: «Это было вечное ворочанье камня, который снова и снова требовалось поднять». Хорошо замечено. Но отними у нас это проклятую глыбу, и мы как еще затоскуем по ней! Нет, о страдании в искусстве не может быть речи. Кто в глубине души избрал себе такое приятное дело, не должен перед серьезными людьми строить из себя мученика.

Политика? Мучительная и постыдная мировая история? Ну, конечно, она давит на грудь, как стопудовая тяжесть; но ведь, с другой стороны, она же интересна и увлекательна, и если правота делает человека счастливым, то я должен быть очень счастлив, ибо в своих прогнозах насчет «национал-социализма» я оказался совершенно прав — прав перед моими соотечественниками и перед миром арреасерс*, и в том, что касается его, «национал-социализма», конца, тоже, судя по всему, окажусь прав. Я глубоко убежден, что приговор Гитлеру вынесен и что он погибнет — какими бы обходными путями и со сколькими бы ненужными затяжками ни пришла его гибель [...]

Вы спрашиваете и о моем здоровье — тут все тянется старая, довольно-таки замысловатая песня. Оно, собственно, не знает настоящего благополучия, но и серьезных болезней тоже в общем не знает; организм в полном порядке, и по сути я думаю, что по всему своему темпу и характеру природа моя рассчитана на терпение, выдержку, долгий путь, на доведение до конца, чтобы не сказать: до совершенства. Этим инстинктом объясняется ведь и мое стремление устроиться на новом месте, построить дом — выходка в моем возрасте несколько смелая и своенравная, но при нынешних обстоятельствах и при теперешних моих условиях она решительно вытекает из моих привычек, потребностей, притязаний, из естественного *стиля* моей жизни, и — если дозволено в этом признаться — я не раз задавался вопросом, почему мир, столь готовый оказывать ничего не стоящие почести (я думаю о семи докторских мантиях⁴, навешенных на меня в этой стране), нисколько не заботится о таких внешних, но ведь тесно связанных с творчеством сторонах и ничего в этом отношении не может придумать. Случается ведь в конце концов и обратное. Моему другу, поэту Герману Гессе, один богатый швейцарский меценат, из семьи Бодмеров⁵, построил в Монтаньоле, в Тессине, прекрасный дом, где я часто бывал у него в гостях. Славный Гессе отказался даже от права соб-

* Умиротворителей (англ.).

ственности, чтобы избежать связанных с ним обязательств; дом остается построенному, а Гессе с женой только его жильцы до конца дней... Почему в этой стране ни одному городу, ни одному университету не пришла мысль предложить мне что-либо подобное — хотя бы только из «честолубия», только чтобы сказать: «We have him, he is ours»*? Потому что я раньше когда-то много зарабатывал и получил Нобелевскую премию — которую нацисты, конечно, проглотили вместе со всем прочим, кроме небольших средств, случайно помещенных в Швейцарии, которым я и обязан свободой? Причиной тому, наверно, представление, что «такому человеку» и помогать-то не надо — либо чистое недомыслие. То самое недомыслие, которое постоянно рассчитывает на мой идеализм и обращается ко мне с почетными безгонорарными заказами, потому что-де «такой человек» не станет ведь думать о деньгах. Спору нет, было бы правильнее и достойнее, если бы он мог об этом не думать.

Итак, обиталище я строю себе сам, — не совсем, конечно, легкомысленным образом. На это уж как-нибудь хватит; иначе Federal Loan** не изобразил бы такой любезной мины, — хотя изобразил-то он ее, может быть, имея в виду скорее мое положение вообще, чем теперешние мои обстоятельства. Если так, то он поступил правильно, ибо разницу эту нельзя не принимать во внимание. Из-за потери германского, европейского рынка средства мои, само собой разумеется, сильно сократились. Здешние мои доходы после покупки участка тоже уменьшились, ибо успех «Лотты в Веймаре» был основан главным образом на уважении к моему имени, а «Обменные головы» по праву не были приняты всерьез. О заботах и нужде речи нет, речь идет о неудобстве, стесненности, необходимости вести строгий счет, так что при мебелировке приходится разглядывать каждый стул — не для того, чтобы решить, нравится он или нет, а чтобы высчитать, не обойдется ли он слишком дорого. И все-таки все это не вполне соответствует действительности, я хочу сказать — общему моему жизнеощущению в противоположность ощущениям сиюминутным. Я даю войне еще два, три, ну, четыре года — дольше эта mess*** вряд ли протянется. Победа дела свободы несомненно значительно укрепила бы положение тех, кто с самого начала называл ад адом и боролся с ним изо всех сил [...]. Оставим, однако, в стороне войну и победу. Закончим-ка «Иосифа», над которым я упорно тружусь. К этому моменту приурочиваются немецкие и английские полные издания; завершение, вероятно, подогрело бы интерес ко всей этой работе, и — если к тому времени не будет общей разрухи, то из этой книги почти наверняка сделают фильм на широкую ногу, — по крайней мере, профессионалы кино, такие, как Дитерле, говорят мне об этом с большой уверенностью, — а это сильно подтолкнуло бы мой кораблик, если так можно сказать о кораблике, который и сейчас-то, собственно, не сидит на мели.

* «Мы его заполучили, он наш» (англ.).

** Название банка, предоставляющего ссуды.

*** Неурядица, беспорядок, неприятное положение (англ.).

Короче говоря, «я» — это предприятие, которое стоило бы финансировать и не следовало бы пока суд да дело оставлять в огорчительно стесненных обстоятельствах. Припишите это герметическому духу коммерции, олицетворяемому сейчас Иосифом, если я — к некоторому собственному удивлению — так говорю. Мысли такие у меня иногда бывают, а Ваше внушенное женской интуицией письмо развязало моим мыслям язык — оно этого и хотело, не правда ли?

Не буду перечитывать свое письмо; пускай таким и останется. Было бы странно, если бы оно получилось плаксивым или если бы ему не хватало непринужденности. К тому же оно, думается, вполне оставляет возможность извлечь из него только успокоение.

Читали ли Вы, что всякое частное строительство теперь прекращено? Мы явились действительно к шапочному разбору! Да и дело с домиком движется теперь медленно: долго не удавалось достать стальные наличники для окон и дверей, и часто не хватает рабочей силы.

Въехать мы сможем *в лучшем случае* в середине декабря, но архитектор советует нам на это не полагаться. Что ж, терпение — это моя сильная сторона. Досадно только, что все это время нам приходится платить за квартиру, так сказать, в двойном размере.

От Юджина мы получили из Lisboa* веселую телеграмму о встрече с Эрикой. Склонен думать, что они сегодня вместе сели на клипер...

Вы спросили еще о предполагаемом сроке окончания «Иосифа». Думаю, в мае—июне. Во всяком случае, если буду здоров, надо это сделать в течение лета.

Ваш Т. М.

102

АГНЕС Э. МЕЙЕР

*Пасифик Пэлисайдз, Калифорния.
Амальфи-драйв, 740.
27.XII.41*

Дорогой друг,

Ваш роскошный и выбранный с большим вкусом подарок дому не опоздал: он был бы у нас уже в сочельник, если бы мы смогли сразу доставить его из пересылочной конторы. Привезли мы его вчера; распаковка происходила не без волнения, радость была велика. Сервиз уже красуется на нашем купленном для дома буфете и будет почетным украшением нашей будущей столовой. Спасибо Вам!

Ваше письмо из уединения, письмо, в котором столько чистой боли за Вашу, за нашу страну, задело меня за живое. Не то, чтобы оно сообщило мне что-то фактически новое. Я довольно ясно представлял себе нынешнее пока что скверное положение — ведь не представлять его себе было бы трудно. Но как переживаешь и воспринимаешь такой провал,

* Лиссабон (португ.).

такую несчастную неудачу¹, — или как там это назвать, не употребив ни слишком слабых, ни чересчур резких обозначений, — как воспринимаете подобные вещи, живя в такой личной близости к центру национального сознания, как Вы, — это мне вполне отчетливо показало Ваше письмо. Как могло все внезапно так обернуться; как возможна была при данных, давно определившихся обстоятельствах, в таком мире, как этот, подобная неподготовленность и беспечность, ведомо лишь богам, — человеку этой загадки действительно не разгадать. Куда только вы все смотрели? Разве это не вызывало лишь горького смеха, когда мистер Хэлл² назвал последнюю японскую ноту документом, который он не представлял себе возможным на нашей планете, — такая, мол, степень живости и растленности еще не встречалась? *Двадцать пять раз* встречалась — там, в Европе, на глазах у американцев, но они не верили тому, что видели, то ли по чистоте душевной, то ли спокойствия ради, а может быть, и по обеим причинам. Всего, что испытали мы, они не хотели или не могли сопережить или сопереживали это лишь наполовину, лишь недоверчиво; по существу они считали это страшными сказками. Ну, так теперь они узнали это по собственному омерзительному опыту. От этого они не погибнут!

Страдаю ли я? Ах, дорогой друг, я страдал *прежде*, когда было еще бестактностью выказывать свои страдания. Теперь у меня скорее лучше на душе, ибо лев наконец проснулся, и я думаю, что со стороны японцев было в общем-то большой глупостью столь грубо его будить. Я убежден, что они за это поплатятся, хотя военная клика сейчас, к сожалению, и может демонстрировать этому весьма недоверчивому народу свои успехи, последний из которых, вероятно, еще не достигнут. У кого запас сил больше — на этот счет сомневаться вряд ли приходится. К тому же война неделима, и свалившаяся на нас неожиданность не может затмить подвигов русских. Лев только еще чуть приподнял свою немного затекшую лапу. Никогда не забуду, как старый Абрахам Флексер³ сказал мне, когда я впервые приехал в Принстон: «Надежда мира держится на двух странах — Америке и России». Слова эти имели глубокий смысл...

Я хотел еще кое-что спросить у Вас лично по поводу моего положения «enemy alien»*. Являюсь ли я таковым по существу? «По существу», я думаю, конечно, нет. По существу ведь я pretty friendly**. Но технически? Я ведь «экспатрирован» Гитлером, следовательно не германский подданный. Мало того, у меня есть чешский паспорт (кроме американских first papers***). Не говорю уж о своей антигитлеровской деятельности, о своей причастности к американской культурной жизни (университеты, Фи Бета Каппа, Academy of Arts and Letters****, Library of Congress*****). Так значит мне нельзя иметь коротковолновый приемник (которым я,

* Иностранец из вражеского государства (англ.).

** Расположен довольно-таки дружески (англ.).

*** Первичных документов (англ.).

**** Академия искусств и литературы (англ.).

***** Библиотека Конгресса (англ.).

кстати, не пользуюсь) и разъезжать без разрешения? Спросите как-нибудь Фрэнсиса Биддла⁴, как смотрит он на мой случай и не выдаст ли он мне, если понадобится, какую-нибудь охранную грамоту и General-Permess*.

В Вашем письме трогательно смешивается беспокойство за страну и народ с беспокойством за Вашу работу. Что Вы вообще способны еще беспокоиться за последнюю, свидетельствует о том, что у Вас есть сила для беспокойства. Как мне не верить в эту силу и Вашу выдержку? Никакой растерянности и неясности никогда не ощущал я в том, что Вы мне рассказывали, и я ни на минуту не сомневаюсь в Вашей способности завершить поставленную перед собой задачу — завершить к благодарности тысяч людей. Только погонять мне Вас не хочется, и никакой ревности ко многим другим Вашим обязанностям у меня нет. Пусть не будет ее и у Вас, и пускай Ваша книга, без всякого нетерпения с Вашей стороны, растет лишь в свободные и хорошие часы!

Более закаленный, чем Вы, политическими горестями, я невозможно продолжаю «Иосифа», пытаюсь на новых страницах поправить ошибки, допущенные мною на прежних.

Желаю Вам хорошего, обнадеживающего Нового года!

Ваш Т. М.

103

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
15 марта 42*

Дорогой господин Гессе,

поскольку моя библиотека, отчасти сохранившаяся, отчасти восстановленная, теперь, после долгой недоступности, снова обозримо окружает меня — в новом собственном доме, куда мы несколько недель назад въехали, — мне попала в руки одна небольшая книжка, которая вышла 16 лет назад под Вашей редакцией: «Жизнь и воззрения Шубарта»¹, и лакомое это чтение, начатое с Вашего послесловия, вкладывает мне, как сказал бы Шубарт, перо в руку, то есть принятую в данной стране desk fountain pen**, дает мне непосредственный повод снова послать Вам знак памяти и дружеский вопрос о Вашем житье-бытье. Мне столько теперь приходится читать по-английски (делаю это, впрочем, прямо-таки с удовольствием), что я неописуемо наслаждался роскошным немецким языком, которым этот человек излагает свою сумасшедшую и сокрушенную жизнь художника. Вчера вечером я даже вычитывал кое-что оттуда своим родным и смеялся при этом до слез — хотя ведь ни малейшего намерения смешить там нет. Но как в то же время характерны и поучительны

* Общее разрешение (англ.).

** Настольную самопишущую ручку (англ.).

эти признания, как оживает в них эпоха, какую они открывают картину городской и придворной жизни тогдашней Германии, научных исканий, полуроманского искусства, над которым парят Клопшток² («ангел, который так себя называет») и «немецкий Арион» Иог. Себ. Бах.

Причина для благодарности и повод для письма были у меня и раньше — ведь Вы прислали мне самую любимую свою, напечатанную для Ваших друзей книжечку писем и маленьких прозаических произведений, и следовало бы уведомить Вас, что она благополучно дошла до меня, что я ее с радостью получил и прочел. От этого немецкого языка, вышедшего еще из классическо-романтической школы, остались теперь, пожалуй, последние крохи, и вкус к нему, и то уже полуиронический вкус, сохранится лишь в самых узких кругах внешней и внутренней эмиграции. Правда ли, что и Ваши книги запрещены в рейхе? Здесь прошел такой слух. Возможно, что эмигранты просто тешат этим себя, но я не удивился бы, если бы это была правда и некоторое несоответствие между Вашей натурой и тем, что творится там, вышло бы наконец, несмотря на всю сдержанность, наружу и оказалось бы для тоталитарного режима невыносимым. Весьма временный характер подобных «искоренений из национальной жизни» эти кровавые негодяи сознают, конечно, и сами, и выдержать это в личном смысле Вы, я думаю, сможете; Швейцария не даст Вам бедствовать — если, конечно, сама не бедствует.

Для четвертого «Иосифа», над которым под конец работаю прямо-таки с растущим удовольствием, я решил покамест отказаться и от остатков европейского «рынка». При теперешнем сообщении совершенно невозможно напечатать за океаном сколько-нибудь деликатную книгу. Это показал опыт нового романа Верфеля³, лурдовской истории, за снобистский католицизм которой и за неаппетитную веру в чудеса я его, кстати сказать, грубо выругал. Книга эта сплошь обезображена опечатками — естественно, потому что он не мог держать корректуру. Я не позволю Берману сделать это с Иосифом. Наряду с английским, здесь выйдет и немецкое издание, чтобы был все-таки оригинал — и на том спасибо. Только бы не пришлось немцам когда-нибудь переводить все это с английского...

Увидимся ли мы еще, дорогой Герман Гессе? *Quaeritur**. Увижу ли я снова Европу? *Dubito*** . И в каком состоянии *можно было бы* увидеть ее — после этой войны, конец которой для меня беспредельно далек, иррационален и нереален. Не будем говорить об этом через расстояние между двумя континентами! Пока что с удивительным упорством доводишь до конца начатое, не так ли? — с риском, что сделанное тобой «будет, как обломки, выброшено на берег и поначалу засыпано песком времени» (последнее письмо к Гумбольдту⁴). Я делаю это в таких благоприятных внешних условиях, что можно быть только благодарным до-мельзя — в прекраснейшем кабинете, какой у меня когда-либо был. По-

* Это вопрос (лат.).

** Сомневаюсь (лат.).

глядели бы Вы на места вокруг нашего дома — с видом на океан; на сад с пальмами, масличными, перечными, лимонными деревьями и эвкалиптами, с буйно растущими цветами, с газоном, который можно было стричь через несколько дней после того, как его засеяли. Светлые чувственные впечатления немало значат в такие времена, а небо здесь почти целый день ясное, и излучает оно ни с чем не сравнимый свет, который делает все красивее. Голо и бедная Мони у нас, но мы ждем и Эрику, всегда приносящую с собой жизнь, любимое наше дитя, забавное при самой серьезной внутренней своей основе; а младшие привезут нам внуков из Чикаго и Сан-Франциско. Прилагаю портретик Фридолина⁵, сына Биби и маленькой швейцарки.

Сообщите мне что-нибудь хорошее о Вашем здоровье и передайте фразу Нинон от нас обоих сердечный привет!

Ваш Томас Манн

104

ЛЮДВИГУ МАРКУЗЕ

Пасифик Пэлисейдз,
Сан-Ремо-драйв, 1550.
27.III.42

Дорогой и глубокоуважаемый господин Маркузе,

на такое письмо, как Ваше, следовало ответить сразу же, — простите! Не раз у меня отнимали предназначенный для этого час.

Как я понимаю Ваше волнение, Вашу горечь! Если я разделяю их не непосредственно, а как человек, лично пока еще не задетый, то это чистая случайность. Но коль скоро настоятельные наши, незадетых, протесты до сих пор ни к чему не приводили, — неужели Вы думаете, что моя причастность произведет хоть какое-то впечатление? Вы не знаете психологии американцев или, во всяком случае, властей. Заяви я: я этого не потерплю, я тоже хочу быть епему alien, они бы отнюдь не расплакались, а спокойно восприняли бы это как решение подать хороший пример и представить дело так, будто тем самым всякие жалобы лишаются основания. Знаменитый Мук¹ был интернирован в течение всей прошлой войны, а Тосканини², даже если он дирижирует в пользу defence*, должен сегодня испрашивать разрешения на поездку за 8 дней. Это и есть демократия, или так это, во всяком случае, называется. Даже эвакуированным японцам говорят: если вы так лояльны, как утверждаете, то не кричите и не жалуйтесь, а радостно подчинитесь военной необходимости и с готовностью принесите жертву, которой в крайней emergency** требует от вас эта страна. This is war***... Вы же знаете такую аргументацию. Это бессмысленная, лишенная какой бы то ни было логики жестокость

* Оборона (англ.).

** Критической обстановке (англ.).

*** На то и война (англ.).

(но часто в ней есть еще какой смысл и еще какая логика!) обращаться с немецкими и итальянскими эмигрантами, особенно с изгнанными евреями, как с подданными вражеских государств, объясните это людям! В Комитете Толана³ я заявил: «Я вовсе не думаю только об эмигрантах, я думаю о боевом духе этой страны. Передо мной ужасный пример Франции⁴. Нация, которой доставляют удовольствие победы над ближайшими врагами ее врагов, вряд ли находится в наилучшем психологическом состоянии для того, чтобы этих врагов победить!». Не знаю, поняли ли меня, но я зашел достаточно далеко, чтобы это сказать. Я и вообще зашел довольно-таки далеко, и единственный, на мой взгляд, недостаток Вашего письма и других, менее важных писем — это то, что Вы обращаетесь к человеку, который и так делает все, что в его силах. Если бы я ничего не делал, я бы не получал писем. Но так как я что-то делаю, от меня требуют, чтобы я делал больше и с гораздо большим успехом. Такова уж, видимо, человеческая природа.

До самой границы нескромности и бестактного вмешательства в дела приютившей меня страны, которая в конце концов ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, я буду по-прежнему увещевать и предостерегать, это я Вам обещаю. Плохо то, что, кажется, уже поздно вырывать это дело из рук военных. Мы вели к тому, чтобы у них были полномочия поступать с епету aliens как им заблагорассудится, но чтобы право определять, кто является епету alien, оставалось за гражданскими властями. Но во время войны гражданские власти очень уступчивы по отношению к военным, а президент, который прекрасно во всем разбирается, решает вопросы, как истый политик, в порядке их важности.

Хотел бы, однако, верить, что не так страшен черт, как его теперь малюют. Мы так предостерегали от решительных мер, которые могут наделать много непоправимых бед! Тем не менее похоже на то, что решительные меры принимаются, — не знаю, в каких пределах. Но послабления, поблажки, пересмотры наверняка последуют, если не в общем, то в частном порядке, и возможности быть полезным Вам лично будет искренне рад

преданный Вам
Томас Манн

105

ГЕНРИХУ МАННУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
19 мая 1942*

Дорогой Генрих,

хорошо все же, что деньги пришли¹. Рубль учету не поддавался. Но ты прав: это все-таки прекрасный факт в нравственном смысле, да и облегчение тоже. Если ты считаешь, что покамест, в июне, я могу отступить², принимаю это с благодарностью. Ты дашь мне знак, как только мое вмешательство будет снова желательно.

Прав ты и в том, что ваш переезд в Нью-Йорк следует отложить, пока там, благодаря деятельности твоих друзей, не откроются несомненные возможности. Вообще, по мере того как приближается лето, эта идея становится мне все более чужда и неприятна. Невыносимо думать, что ты там, да еще по моему совету, сидишь в маленькой квартире во влажной жаре. У Голо недавно родилась остроумная мысль. Если уж все равно откладывать, то почему уж не в Мексику? Это сулило бы горный воздух, испанский язык вместо янки-дудля и располагающую политическую атмосферу. Неглупо. Но я бы слишком хорошо понял тебя, если бы ты предпочел остаться там, где находишься. Может быть, осенью война кончится. Боюсь, однако, что она затянется. Русским одним не произойдут революции, которые сметут реакционных вождей, не столько желающих победы, сколько боящихся ее, и на самом деле превратят эту войну в освободительную войну народов.

Сердечно твой Т.

106

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Пасифик Пэллсейдз.
27 июня 42

Дорогой друг,

сегодня пришло Ваше новое, содержательное письмо — я уже завяз в долгу перед Вами и боюсь, что этими строчками выплачу лишь ничтожную его часть. Вот что я Вам скажу: я целиком с Вами согласен и считаю очень удачной идеей Ваше желание подготовить почву для богоискательского труда, опубликовав ту или иную критическую работу более привычных размеров, и сначала привлечь к себе внимание, а потом уже выступить с «настоящим». Жизнь была бы слаще, если бы можно было чаще печататься и чаще кончать, освежая свое воздействие, а не корпеть годами над каким-то мамонтоподобным предприятием, завершения которого все в конце концов устают ждать — автор в том числе. Но такова моя доля, и поделом мне, наверно, ведь я же всегда почти вне себя, когда мне приходится на несколько дней прерывать находящийся в работе романище и делать что-то другое. Так было сейчас опять с предисловием к эссе, а сегодня утром я импровизировал очередное message* в Европу¹: о Гейдрихе² и Лидице, — бог мой, это ведь только деталь, которая канет в море мерзости, залившее все пространство, подвластное этому подлецу. Представить себе всю меру горя, которое принесла и еще принесет миру эта гадина, потому что цивилизованное человечество оказалось слишком глупо и слишком эгоистично, чтобы остановить ее вовремя, не в силах никто, и все-таки чувствуешь себя до некоторой степени обязанным сделать это. Вообще-то я ведь не мизантроп и могу сказать вместе с Иосифом, что мы, люди и я,

* Послание (англ.).

«чаще всего улыбаемся друг другу». Но что цивилизованные государства допустили такое, нет, не допустили, *взрастили* — это для меня большое, горькое разочарование в человечестве, и злость на это я унесу с собою в могилу.

Я никогда не был бог весть каким оптимистом в отношении войны. Я знаю, что эта война отягощена старыми грехами, которые по-прежнему оказывают свое действие, и что потому-то она идет так медленно, ведется все еще так в общем-то вяло, без последней, полной, чистой отдачи всей непреклонной воли. В конечном счете Вы победите, в этом я убежден, и в этом состоит мой оптимизм. Вам ничего не остается, как победить. Очень гордиться этим мы все будем не вправе, даже Россия — и та. В пользу Англии надо зачесть ее выдержку после краха Франции, воздушную битву над Ламаншем, затем Дюнкерк, учитывая, что без этих упорных подтверждений борьба давно бы кончилась. Традиции ведения войны на суше у Англии нет, и тут она явно портачит. Что немцы проникают теперь в мою землю Египетскую³, мне, конечно, обидно. Но я уверен, что они снова уберутся восвосяи и не успеют справиться со всем миром без решающего знакомства с американским бицепсом. Эта энергичная раса вступает в дело поздно, но накаутирует Адольфа все-таки, наверно, она.

Вы должны быть довольны тем, как Ваши дети служат своей стране! Перед глазами Голо теперь снова стоит мираж преподавательской job* на Среднем Западе. Если и этот мираж рассеется, как прежние, Голо, видимо, решит дело одним махом и пойдет в агпу**, как то уже сделал Клаус⁴. Он, правда, еще не призван, но подписывается уже всегда «Uncle Sam's tough boy***» — что, конечно, ужимка самоиронии. Но можно ли отдать больше, чем самого себя! German-American Congress for Democracy****, получивший на это средства, хочет пригласить меня для поездки по всей стране с пропагандистскими выступлениями. Я вовсе не против и поставил свои условия, в которые входят, конечно, priorities*****, дающие возможность ездить с удобствами. Поглядим.

Что я читаю? Американские писания о войне и мире, перевод моих собственных статей, который я должен отредактировать. «Штехлина»⁵ Фонтане (прелестно и без громкости величественно!), псалмы Давида, стихи Гёте — это в связи со сценой «Иосифа», которой я сейчас занят. Возвращаясь в Ханаан, братья не знают, как сообщить отцу, что Иосиф жив и что он «господин надо всей землей Египетской». Поэтому они заставляют одну девочку, Серах, дочь Асира, ребенка исключительно музыкального, пропеть ему об этом чуде под лютню: я беру тут одно внебиблейское древнееврейское сказание и придаю ему забавную форму.

Пошлю-ка Вам одно письмо, которое получил вчера и которое, может быть, доставит Вам удовольствие. Прислал его один венский еврей, кото-

* Работы (англ.).

** Армию (англ.).

*** Дюжий малый дяди Сэма (англ.).

**** Немецко-американское общество в защиту демократии (англ.).

***** Привилегии, льготы (англ.).

рый посетил меня там однажды в «Имперiale» и уже много лет придерживается странной привычки указывать мне в длинных письмах на выдающиеся красоты моих книг. Смешное, но и трогательное занятие. Может быть, Вы будете благодарны ему за ту или иную деталь. При случае возвратите мне, пожалуйста, это послание, ибо я еще должен подробно поблагодарить за него.

Будьте же благополучны и оставайтесь тем, чем являетесь для преданного Вам

Томаса Манна

107

КЛАУСУ МАННУ

Пасифик Пэлисейдз.
2 сент. 1942

Дорогой Эйси,

не будем отступать от прекрасного старого правила, что я пишу тебе письмо, когда из-под твоего пера выходит в свет что-либо новое¹. Моя благодарность за славные, радостные и растроганные часы чтения приходит позднее, чем мне хотелось бы, потому что наш родительский экземпляр переходил из рук в руки и Милейн², которая по праву, говоря словами Меди, видит здесь памятник себе, завладела книгой, прервав мое чтение на середине, и вернула мне ее только недавно. Впрочем, дочитать мне оставалось совсем немного.

Мое мнение, конечно, пристрастно, и высказываю я его с известной радостью, даже тревогой, ведь все это мне, как отцу, очень близко, и я, заранее огорчаясь, допускаю, что равнодушная злоба будет, чего доброго, потешаться над интимной доверчивостью этих признаний. Наверно, — таков уж мир — без этого не обойдется. Есть в твоей книге что-то от «папа был ведь так болен»³, и не раз мелькала у меня мысль о «преступном доверии и слепой требовательности» Иосифа. Но в какой автобиографии, заслуживающей быть прочитанной, нет этой наивности? Если она сочетается с умом и изяществом, то она-то как раз и составляет хорошую, обаятельную автобиографию, и я уверен, что куда веселее зубоскальства, на которое надо рассчитывать, будет мнение, которого держусь я: это необыкновенно привлекательная, задушевно-чуткая, умная и добросовестно-личная книга, — личная и непосредственная также и в усыновленном своем языке, которым автор, насколько я могу судить, орудует с поразительной легкостью, точностью и ответственностью. Невольно ищешь фамилию переводчика, и просто не верится, что это и есть язык подлинника.

Было ли это, как история одной жизни, несколько преждевременным предприятием? Так, может быть, и скажут, но если бы ты ждал до 50, то ранние воспоминания, — а они ведь в исповедях всегда самое лучшее — легко утратили бы ту свежесть и гротескную веселость, какая в них здесь есть. Мы, старички-родители, можем быть довольны видом, в котором

у тебя предстаем. Изображение нашего «метода» воспитания опасно, пожалуй, постольку, поскольку он может вызвать подражание в неподходящих условиях. Но прекрасное место о материнском начале, материнской любви и сыновней благодарности умиротворит даже недоброжелателей, да и папа, который был ведь так болен, — фигура тоже вполне располагающая к себе, хотя и немного таинственная со своей *absent-mindedness* * и своей меланхолической шутливостью. Что это он такое говорил насчет «wretched and forlorn» **? Я никак не могу припомнить этой сцены.

Твоя невероятно европейская книга — обескураживающе, может быть, европейская для американских читателей — дает весьма причудливую картину догитлеровской Европы, особенно из-за множества причудливых друзей-приятелей, которые были твоей судьбой. Но когда читаешь потом главу «Олимп», как критический труд, конечно, *pièce de résistance* *** книги, прекрасное, серьезное свидетельство способности к преданности и восхищению, снова выносишь впечатление, что во всем высшем непременно присутствие *infirmité* ****, хотя отнюдь не следует видеть в *infirmité* уже и нечто высшее. Это ведь и в самом деле сиятельная компания, но заскок есть у каждого. Можно заподозрить, что ты по любви выбрал себе таких богов, у которых есть один бог. Но если потом подумать и попытаться назвать таких, у которых его нет, то оказывается, что какой-то бог есть и у них...

Сейчас я как раз читаю письмо Эри, из которого с истинным удовлетворением узнаю, что симпатичные критики уже тайком делают свое дело. Великолепно! Как было бы чудесно, если бы вы одновременно, она с *United Children* ***** 4, а ты с *Turning Point* *****, были озарены разноцветным огнем успеха — розовым и пурпурным. Правда, Т. Р., к сожалению, не поддается экранизации.

От Гёльхена ⁵ мы все еще не получили ни строчки. Биби и Грет здесь с Антони ⁶, очень смуглым и синеглазым. У него озабоченное выражение лица, похож он, пожалуй, на своего отца и на меня. Когда они с Фридо уедут, мы будем, до приезда Эрики, часто ходить в кино.

Мой вашингтонский доклад переводится. Эрика перед своим отъездом сократила его до 19 страниц вместо 32, и таким уж он, наверно, останется навсегда, ибо зачеркнутое вызывает у меня отвращение.

С сердечным приветом

В.⁷

* Рассеянностью (англ.).

** «Несчастен и одинок» (англ.).

*** Самую сильную (франц.).

**** Слабость, ущербность (франц.).

***** Объединенные дети (англ.).

***** Точка поворота (англ.).

108

ФРИДЕРИКЕ ЦВЕЙГ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
15.IX.1942

Глубокоуважаемая фрау,

моя дочь рассказала мне о письме, с которым Вы обратились к ней несколько дней назад. Мне было очень больно узнать, что у Вас создано впечатление, будто на смерть Стефана Цвейга я отозвался не так, как то соответствовало бы тяжелой потере, которую понес просвещенный мир со смертью этого выдающегося человека. Я понимаю, что это впечатление вызвано моим немногословием, то есть тем фактом, что, выражая свое потрясение публично, я ограничился короткой заметкой в траурном выпуске «Ауфбау». Если это не было просто признаком собственной усталости и перегрузки, то объясняется это угнетающим воздействием, неотъемлемым от трагического решения большого писателя и, по крайней мере в моем случае, не благоприятствовавшим литературной активности в честь ушедшего. Писать о творчестве такого писателя, как Стефан Цвейг, не пустяк, это задача, выполняя которую нужно сделать все, что в твоих силах. Я был в не подходящем для этого душевном состоянии.

Покойный был человек решительно и радикально пацифистских склонностей и убеждений. В нынешней войне, которой надо было страстно желать и которую мог отсрочить только такой позор, как «Мюнхен», в войне, ведущейся против самых дьявольских, самых не способных к миру сил, какие когда-либо пытались навязать человеческой жизни свой облик, — он не видел ничего другого, кроме войны, кроме кровавой беды и отрицания своего естества. Он восхвалял Францию за то, что она не хотела бороться и тем самым «спасла Париж». Он не хотел жить ни в одной из воюющих стран, покинул, будучи британским подданным, Англию и уехал в Соединенные Штаты, а отсюда в Бразилию, где пользовался высочайшим почетом. А когда оказалось, что и эта страна будет втянута в войну, он ушел из жизни.

В этом есть последовательность, не поддающаяся никакой критике. Нельзя сделать больше, чем то, что его природа и убеждения скрепили смертью. Смерть — это довод, побивающий любые возражения; в ответ можно только благоговейно умолкнуть. Я говорю: умолкнуть. Мне было не до слов и сейчас не до слов.

Вы пишете (о чем я не знал), что его супруга страдала неизлечимой болезнью и что это очень способствовало решению умереть вместе. Почему он этого не сказал, а оставил нас с мыслью, что мотивом его поступка было неверие во время и в будущее? Неужели он не сознавал своего долга перед сотнями тысяч людей, чтивших его имя, на которых его уход не мог не подействовать глубоко удручающе? Перед множеством товарищей по судьбе, которым хлеб чужбины дается гораздо тяжелей, чем давался ему, прославленному и не знавшему материальных забот? Неужели он смотрел на свою жизнь как на сугубо частное дело и просто сказал:

«Я слишком сильно страдаю. Управляйтесь сами. Я ухожу»? Вправе ли был он предоставить нашему заклятому врагу кичиться тем, что вот снова один из нас капитулировал перед его «великим обновлением мира», расписался в своем банкротстве и покончил с собой? Такое истолкование, такое использование его поступка врагом можно было предвидеть. Он был в достаточной мере индивидуалист, чтобы не заботиться об этом.

Пожалуйста поймите, почему я промолчал или почти промолчал! В господине Витковском¹, попросившем у меня статью для своего сборника, я увидел не авторитетного душеприказчика Стефана Цвейга, а всеядного, светливого литератора, какого уже много лет, к своему неудовольствию, в нем вижу и которому вздумалось, опираясь на славу умершего, собрать вокруг себя имена мировой литературы.

Поверьте мне, глубокоуважаемая фрау, что о замечательном человеке, чье имя Вы носите, я скорблю не менее искренне, чем те, кому дано было выразить свою боль и свое восхищение в печати. Все эти хвалы я читал с истинным удовлетворением и при всем своем горе радовался демонстративным, государственным почестям, оказанным покойному страной его последнего прибежища. Да почитет он в мире, и пусть живут среди нас его имя и его творения.

Преданный Вам
Томас Манн

109

ЖЮЛЮ РОМЕНУ
[черновой набросок]

[Рождество 1942]

Cher * Жюль Ромен,

я должен всячески поблагодарить Вас за присылку Ваших знаменитых «Mystères»** и любезную дарственную надпись. Аналитический гений Франции, французская прелесть и ясность слова справляют в этой книге настоящие праздники; в этом смысле, разумеется, чтение было для меня сплошным наслаждением. Что тем не менее не на каждой странице у меня было вполне легко на душе, что мне то и дело случалось качать головой, вряд ли Вас удивит, и, наверно, мне незачем Вам об этом и говорить. И все-таки! Ваш визит в Германию в 1934 году, в Германию лагерей пыток, на землю которой мы, немецкие писатели, давно не могли ступить иначе как ценой жизни, в Германию, где наши книги были сожжены и преданы поруганию и где Вы все-таки сочли возможным активно содействовать изданию перевода одного из Ваших шедевров письмом негодяю Геббельсу; Ваше общение с Абетцом и Риббентропом и всей этой шайкой; Ваше деловое участие в затее, которую называли «германо-француз-

* Дорогой (франц.).

** «Тайн» (франц.).

ским сближением», в то время как речь давно уже шла о сближении с растлителями Германии и Европы, то есть с нацистским режимом, — я ведь обо всем этом знал, я с этим мирился, потому что не привык критиковать поступки людей, которых я почитаю. Но что после всего ужасного, что случилось с тех пор, Вам приятно рассказывать обо всем этом, да еще с такой благодушной обстоятельностью, — это меня лично как-то удивляет в не совсем положительном смысле слова.

Не сердитесь на меня за мое признание! Я считал, что обязан сделать его Вам, и неприятные чувства, на которые я намекнул, нисколько не колеблют моего убеждения, что, как труд умного, много видевшего и сведущего свидетеля, Ваша книга останется важным документом для яркой истории нашего времени.

С сердечным рождественским приветом от нас обоих Вам и Вашей милой жене

Преданный Вам

Томас Манн

110

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния,
12 янв. 43

Дорогой друг,

прекраснее, чем Ваше письмо, пришедшее вчера, то, которое Вы уничтожили, все равно быть не может. Я вполне отдаю себе отчет в том, какая это благосклонность, чтобы не сказать: милость судьбы — получать подобные письма. Хотя я прошу Вас поверить этому, я слишком хорошо понимаю чувства и мысли, приведшие к уничтожению предыдущего письма, то есть понимаю, как трудно поверить в возможность дружбы со мной. Я знаю холод и уныние, которые от меня исходят, и недавно, когда писал Вам, говорил о себе жестоко, — может быть, слишком жестоко. Вы знаете, конечно, что до смешного жуткая атмосфера, которой я окружил Гёте в романе, была самобичеванием и самовысмеиванием. Что я способен смеяться над собой, это ведь, как-никак, человеческая черта, не правда ли? И еще в одном отдаю я себе отчет: я знаю, что у меня есть способность к благодарности, и даже к очень живой и глубокой. Не отнимайте у меня веру, что на двух этих качествах уже может строиться дружба! Я сделал Гёте, свой отцовский прообраз, куда как плохим. Но я знаю, что он любит повторять слова Писания, что человек может говорить ангельским языком, и все равно, если у него нет «ничего от любви», он только кимвал бряцающий. Я был бы в отчаянии, если бы должен был сказать себе, что у меня нет любви. А поскольку я не в отчаянии, — почему, с какой стати отчаиваться Вам во мне? Неужели Вы верите, что хоть что-нибудь привлекательное, мало-мальски располагающее к себе, бодрящее, согревающее, словом, достойное любви, может быть создано тем, у кого «нет ничего от любви»? А если Вы в это не верите — ну, так, пожалуйста, *поверьте!*

Да, я часто музицировал с матерью, играл с ней бетховенские сонаты и прочее... «Липочку»¹ я выбрал по той же причине, что и другие records * Ганса², — потому что они были у меня самого и я снова и снова проигрывал их на своем аппарате, ах, таком еще примитивном. Отсюда подробнейшее описание, которое, впрочем, соответствует эпическому стилю всей книги. Так же скрупулезно описывается термометр; или, например, кровь. Мою пластинку с «Ласточкой» напел Таубер³, очень музыкально и с большим вкусом. Эта песня стала для меня символом всего обольстительно-милого, таящего в себе тлетворное начало. Романтическое куда обаятельнее, даже остроумнее, чем гуманистическое. Но я уже тогда чувствовал, что дух не имеет права быть обаятельным, когда дело идет о человеке в такой мере, как «сегодня», — для меня «сегодня» было уже тогда, а для Ницше, вырвавшего Вагнера из своего сердца, оно было уже намного раньше.

Боже, несчастная Ваша подруга! Сколько еще горя принесет война, которой можно было избежать, и этой стране! Ведь перед своей гибелью нацисты будут наносить во все стороны такие удары, которые, несмотря на все уже ставшие явью невероятности, трудно себе даже представить. Они это заранее объявляют. Геббельс пишет: «Если нам придется когда-либо покинуть арену истории, мы захлопнем дверь за собой так, что человечество будет вечно об этом помнить». И против этих-то бесноватых нужно посылать в бой порядочных, добрых, достойных людей, таких, как Ваш Билл⁴!.. Недавно я узнал, что они выслали «в Польшу» 86-летнюю вдову Макса Либермана⁵ — несмотря на настойчивое вмешательство Швеции, которая хотела принять эту старую женщину в свое подданство! Они еще и не то сделают, если только успеют. Будь они прокляты, преступники и болваны, государственные деятели, которые до этого довели!.. Что можно еще сделать, кроме как от души пожелать, чтобы Вас миновала чаша сия.

Ваш Т. М.

111

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
28 янв. 43

Дорогой друг,

пусть дойдет до Вас мой прощальный привет прежде, чем Вы начнете свое новое патриотическое паломничество¹, во время которого Вы будете, вероятно, почти недостижимы. Но зато ведь потом Вы будете вдруг достижимы лично и сможете рассказать больше, чем я, сидя сиднем, способен Вам написать. Я же сделаю все от меня зависящее, чтобы к тому времени мой Моисей² был готов, но не представляю себе, чтобы у Вас нашелся

* Граммофонные пластинки (англ.).

спокойный час его послушать. Это будет во всяком случае только отрывок, ибо что касается этой long short story *, то тут emphasis ** будет, пожалуй, на long ***.

Я только что вернулся из Голливуда, где должен был в одном маленьком театре, расположенном на пятом этаже какого-то универмага, в обществе примерно 350 дам и 5 мужчин, прослушать lecture **** об «Order of the Day» ***** и «Listen, Germany» *****³, которую прочла некая опытная, но простоватая львица подмошток. Затем я должен был, выступив самолично, приветствовать публику, но какое бы то ни было ожидание собственной моей продукции я прекратил такими словами: «Everything I should add to this splendid analysis of my work could only be an anti-climax *****». Так надо лгать, когда выходишь в мир! Об anti-climax ***** не могло быть и речи. Но еще три четверти часа мне пришлось просидеть, делая надписи на книгах. На что только не идешь, чтобы увеличить свою популярность! Даже Джефферсон⁴, как я недавно вычитал из одной книги о нем, был «Thirsty for public praise» *****⁵, а это был «the apostle of americanism» *****.

Его преемник по должности снова выкинул сенсационный номер своим полетом в африканский White House *****⁶. Это была уже волнующая новость, хотя публикуемые результаты встречи, конечно, никак не соответствуют тонам, в каких говорили о ней высокие договаривающиеся стороны. Надо надеяться, что сами результаты будут соответствовать им в большей мере. In any case, it will be a very long way to Tipperary *****⁶, несмотря на Сталинград и Ростов, который немцы, кажется, собираются сдать. Сообщают они о своем поражении в России снова в причудливой форме. У давно побежденных «недочеловеков»-большевиков вдруг оказывается большое превосходство в численности войск и оснащении, и бедному, нежному захватчику приходится вести тяжелую борьбу в защиту цивилизации против коварно вооруженного варварства. Налицо совершенно испорченное мышление, функционирующее только как ложь и безумное искажение правды. Хотел бы я знать, в какой степени жертвой этой порчи стал сам народ.

Не огорчительно ли немного все-таки, что в Касабланке не было ни русского, ни китайского представителя? География тут не препятствие. Молва

* Повесть, буквально: длинный короткий рассказ (англ.).

** Акцент, ударение (англ.).

*** Длинный (англ.).

**** Лекцию (англ.).

***** «Повестка дня» (англ.).

***** «Слушай, Германия» (англ.).

***** «Все, что я мог бы добавить к этому блестящему анализу моего творчества, было бы только спадом» (англ.).

***** Спаде (англ.).

***** Охоч до публичных похвал (англ.).

***** Апостол американизма (англ.).

***** Белый дом (англ.).

***** Во всяком случае, до Типерери будет еще очень далеко (англ.).

утверждает, будто на встрече присутствовали итальянский наследный принц и сеньор Франко, что, конечно, смешно, — а, с другой стороны, не так уж и глупо. Я думаю (не очень-то из-за этого волнуюсь, ибо не думаю, что мировая история существует для нашего удовольствия), что из «демократического мира» мало что выйдет. Это будет католическо-фашистский мир. Возможно, что ничего лучшего Европа уже не заслуживает. Но англо-саксонские оккупационные армии будут, наверно, служить главным образом для того, чтобы задерживать назревшие революции в Германии, Франции, Италии и Испании... Вы всегда резко меня обрываете, когда я вмешиваюсь в дела политические, но я думаю, что Вы еще меня помните. Русские могли бы, конечно, стать помехой, но уже часто доводится слышать, что после победы над Германией нам придется столкнуться с русскими. Вы тоже поедете в Москву?

Пришла из Library* брошюра с lecture** об «Иосифе», печать очень красивая. Вы тоже, конечно, давно ее получили. Мне жаль только, что не включили вступительных слов Мак-лиша⁷ и Уоллеса⁸. Для участников это был бы более полный памятный документ.

У нас сейчас время дождей. Мокрые дни чередуются с ветрено-сухими, жгуче-солнечными. Борджезе очень счастливы у нас и рады бы остаться здесь навсегда. Он пишет довольно умную публицистическую книгу «The cup for all»***. Они были несколько дней в Сан-Франциско, где снова встречались со Сфорца⁹, который и нас здесь уже навестил, — изящный, занятный, но, мне кажется, несколько легкомысленный человек. Биби здоров, у него семь учеников, и он очень занят репетициями и концертами. Дети¹⁰ были в восторге от Вашей модернизированной чудо-лошадки, которая и здесь произвела фурор.

Счастливого Вам пути, дорогой друг, не перенапрягайтесь! Иногда я уже подумываю, о чем мне говорить в Вашингтоне будущей осенью.

Всегда

Ваш Т. М.

112

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Пасифик Пэллсейдз, Калифорния,
17 февр. 1943

Dear Ag! (Learnt it from Eugene) ****

Писать мне в Луисвилль или в Канзас-Сити? Не знаю. Надо будет еще вычислить на основе пессимистической оценки нынешних транспортных условий. Но написать мне все-таки снова хочется, — пусть только чтобы писать, — поскольку в общем-то я примерно знаю, где Вы находитесь. Ответа я отнюдь не жду.

* Библиотека (англ.); здесь: Библиотека Конгресса.

** Лекцией (англ.).

*** «Чаша для всех» (англ.).

**** Дорогая Ag! (научился этому у Юджина) (англ.).

В то время как Вы носитесь по свету, учась и уча, я живу однообразно, и дни мои отличаются один от другого разве что переменами в самочувствии. Во время самума, допекавшего нас почти неделю, я вечером, после дневного зноя, простудился и был временами довольно плох, да и сейчас еще кашляю, но уже дело идет на лад, а работу мне удалось вообще не прерывать, так что «Моисей» продвигался все время. Я на 52-ой странице довел людей до оазиса Кадеш, близ вулканического Хорева, и приступаю теперь к главному, к законодательству, которое я представляю как некий микеланджеловский труд, труд скульптора над необработанной глыбой — народом. Какие части смогу прочесть Вам, я еще не знаю. Во всяком случае многое придется пропустить, прибегая к вставным пояснениям.

Большие события произошли тем временем в России, и дела явно идут дальше в том же духе. Немецкий «поход» вылился там, кажется, в неправую катастрофу, и похоже на то, что нашему Адольфу хочется как-то ликвидировать это предприятие и перенести «защиту культуры» на запад и в Африку. Будем надеяться на самое худшее для него и там! Он этого заслужил. Чем заслужила наша сторона горький провал в Тунисе, это вопрос, над которым стоит подумать. Вполне понятно, что цивилизованные мальчики, посланные Вами за океан, не могут тягаться с закаленными в пустыне пройдохами Роммеля¹. Но я допускаю возможность, что виной тут и некое не способствующее боевому духу смятение в умах. Boys* и так-то трудно понять, почему они должны защищать Оклахому в Африке. Но как можно бороться против фашизма рука об руку с фашизмом, этого им, наверно, никак не понять, и вопрос «What are we fighting for?»** оказывается для них почти неразрешимым... Плохо то, что из-за этой неудачи наступление на Европу, вероятно, надолго отложится — в на редкость благоприятный для него момент. Но кого это лишит веры в счастливый исход? То есть у кого это отнимет определенную надежду на то, что в 1944 году у нас будет мир, который покончит по крайней мере с Гитлером и Муссолини, если и не с Франко, Чиано², Савойской династией и Виши³?

Курта Вольфа я хорошо знаю. Он был в Мюнхене одним из ведущих издателей прогрессивного направления. Печатание книг, видимо, такая же страсть, как любая другая; все они здесь сразу же берутся за это, хотя обстановка отнюдь не заманчива. Вольф выпустил солидное немецко-английское издание стихов Стефана Георге, анонсирует Пеги⁴ и мужественно издает объемистую политико-философскую книгу моего друга Эриха ф. Калера⁵. Перевод чудесных «Размышлений о мировой истории» Буркхардта⁶ был, конечно, хорошей идеей. Я порадовался бы не только за него, если бы Вы написали об этой книге, это доставило бы и мне лично радость и удовольствие.

* Мальчикам (англ.).

** «За что мы сражаемся?» (англ.).

Сегодня у меня было одно огорчение: я прочитал в «Нейшен» в высшей степени отрицательный, отчасти даже злобный отзыв на «Radio Messages to the German people» *, написанный Рейнгольдом Нибуром⁷, человеком, которого я искренне уважаю. Он находит их скучными, заносчивыми, пропагандистски неверными, лишенными чувства трагической дилеммы немецкого народа etc. etc. Тут вышла беда. Вы знаете, там же он написал об «Order of the Day» — очень обстоятельно, умно и тепло, а я... не поблагодарил его за это. Я мысленно сочинил длинное письмо ему, которое должно было коснуться главных пунктов его критики моей книги, критики, которая была одновременно критикой немецкой культуры, а потом месяцами не мог выбраться написать ему — из-за лени, из-за занятости, из-за усталости, мало ли из-за чего, и Нибур не получил никакого знака моей признательности. А она была велика. Я всем и каждому с радостью говорил об этой статье, только автору ничего не сказал. Такие человеческие упущения всегда мстят за себя. Он мог бы ведь и отказаться рецензировать «Listen, Germany», если книга ему так не понравилась. Но в том, что она ему не понравилась, что-то не совсем чисто, и по моей вине. Жаль, жаль.

Утешает меня то, что «Фамарь»⁸ Вам так понравилась и при чтении. Любопытно, что порой вещи совсем не предусмотренные, импровизированные удаются в книге лучше всего. Я очень поздно решил включить этот эпизод.

Сердечно желаю Вам счастливого пути, дорогой друг! Приезжайте в Лос-Анджелес в не слишком замученном состоянии! В сущности я предпочел бы слушать Ваши рассказы о поездке, чем читать Вам. Лучше мне, по-моему, оставить Вас под впечатлением «Фамари». Эта заказанная вещь⁹ не очень значительна.

Ваш Томас Манн

P. S. Одна лос-анджелесская paper ** недавно написала обо мне: «Some months ago high government officials invited him to Washington as a consultant on German matters (!). There is every reason to believe that when the Nazis collapse Th. M. will be the cultural and political leader of the new Germany» ***.

* «Радиопослания немецкому народу» (англ.).

** Газета (англ.).

*** «Несколько месяцев назад высокопоставленные правительственные чиновники пригласили его в Вашингтон как консультанта по германским делам (!). Есть все основания полагать, что после падения нацистов Т. М. станет культурным и политическим лидером новой Германии» (англ.).

113

КЛАУСУ МАННУ

Пасифик Пэлисейдз.
27.IV.43

Dear son! *

не знаю, так ли уж рад был ты моему предыдущему письму, касавшемуся Жида¹. Ты, насколько я знаю, не дал этого почувствовать. Или я забыл? Как бы то ни было, сегодня я пишу снова р. р. с.**, так сказать, и р. f.***, ибо последние новости или намеки были ведь важного и серьезного свойства, и похоже на то, что так скоро возможность написать не представится. Р. f. относится, конечно, прежде всего к sergeant, который ведь ждет скорого дальнейшего повышения в чине. Да и вообще желаю всяческого счастья, bonne chance**** и good luck**** на всех твоих путях, во всех замечательных, почетных, интересных и тревожных для старых родителей делах, теперь предстоящих!

Как врывается ныне война и в amazing family*****², это неожиданно, хотя и не удивительно. Эрика опять уже плывет по направлению к Португалии, поедет в Англию и Швецию, может быть, к большевикам. Ты теперь американский офицер где-то на далеких полях сражений. И скоро, конечно, настанет черед и Голо, чтобы он перестал вам завидовать. Но сколькими больными местами я смогу козырять, если вдруг раскрою здесь рот, как будто я дома.

Голо ведь всегда говорил, что природа у тебя железная, но как ты прошел basic training*****, это все-таки поразительно, — не думай, что я считаю, будто это пустяк, наоборот. Скажем лучше так: вызывает уважение. Ни писательство, ни любовь явно не нанесли ущерба здоровой твоей основе, нет, хотя и не без помощи здешних юмористически-почтительно-снисходительных нравов, ты показываешь себя настоящим, храбрым мужчиной. Это, по-моему, великолепно, и мне, прости, вспоминается тут то, что я недавно написал по этому поводу. Моисей — я имею в виду рассказ «Закон» — какое-то время живет (что, кстати, соответствует Библии) с некоей арапкой, к которой он страстно привязан, и из-за этого у него возникает тяжелая распря с его семьей. Но когда потом гора Синай взрывается и Яхве зовет его на ужасное свидание на ее вершину, он говорит: «Теперь вы увидите, и весь народ увидит, истощен ли ваш брат черным распутством или горит в его сердце мужество божье, как ни в каком другом. На огненную гору пойду я etc.» — Так в известной мере и ты.

Как обстоит все у нас, ты ведь хорошо знаешь от Милейн и Эрики. Скоро, наверно, приедут на несколько недель Фридолин и Тонио, воз-

* Дорогой сын! (англ.).
 ** Чтобы попрощаться (франц.).
 *** Чтобы поздравить (франц.).
 **** Удачи (франц. и англ.).
 ***** Удивительное семейство (англ.).
 ***** Первоначальную военную подготовку (англ.).

можно, что они прогостят у нас и несколько месяцев потому, что ведь Грет хочет устроиться на job*. Все хотят деятельности, Милейн, конечно, в первую очередь. За нее я немного беспокоюсь из-за перегрузки, но, с другой стороны, рад, что в доме будут жить малыши, особенно Фридолин, который уже, говорят, болтает, чего я еще никак не могу представить себе. До сих пор это была сама немая красота. Он, рассказывают, часто говорит: «Аha, I see!»** и своей матери: «Фу, мама!»

Мне очень хочется опять писать что-нибудь, и я вожусь с одним очень старым замыслом, который тем временем разросся: история художника (музыканта) и современной сделки с чертом из области судеб Мопассана, Ницше, Гуго Вольфа³ etc., словом, тема пагубной инспирации и гениализации, которая кончается уходом во власть дьявола, то есть параличом. Но с этим связана идея дурмана и антиразума вообще, тем самым и политика, и фашизм, а тем самым и печальная судьба Германии. Все это выдержано в очень старонемецко-лютеровских тонах (герой был сперва богословом), но происходит в Германии вчерашней и сегодняшней. Это будет мой «Парсифаль»⁴. Так было задумано уже в 1910 году, когда примесь политики была большим предвосхищением и большой заслугой. Но у меня было всегда столько других дел.

Никто не знает, выйдет ли Иосиф IV осенью. Судя по пробам, которые я видел, Лоу⁵ делает свое дело очень хорошо, но уж очень, очень медленно. Возможно, что стокгольмское немецкое издание будет готово раньше английского. Берманы и старая фрау Фишер были в большом восторге от этого тома.

Война эта никогда не кончится. Твоя солдатская служба не будет коротким эпизодом, как не оказался им и сам национал-социализм, который мы поначалу за таковой принимали. Полагаю, что и 1945 год будет у нас военным, даже в Европе. Но ведь ты когда-нибудь да получишь отпуск домой, и надеюсь — скоро. Ведь движение между частями света теперь оживленное.

Прощай! Пусть у тебя будет все хорошо!

Твой В.

114

БРУНО ВАЛЬТЕРУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
6 мая 43

Дорогой Бруно Вальтер,

Ваше доброе письмо от 24 апреля было несоразмерным вознаграждением за столь малый подарок — книжку радиопосланий в Германию. Излишни какие бы то ни было слова благодарности за вашингтонскую речь, которую я послал вслед за ними просто потому, что она ведь тоже

* Работу (англ.).

** Ага, понимаю! (англ.).

относится к ним. Но что между Нью-Йорком и Пасифик Пэлисейдз молчание царило слишком уж долго, — это правда, в рутинной своей занятости я часто чувствовал, как это нелепо и огорчительно и рад, что благодаря немецкой книжечке и Вашему прекрасному отклику лед снова сломан. Отчасти ведь потеря связи объяснялась тем, что мы полагались на скорую встречу: Вы должны были приехать зимой, но не приехали. Это было разочарование. Впрочем, в главной своей сути Вы всегда среди нас. Ведь вальтеровский отдел нашей фонотеки довольно значителен. А недавно, в тот большой день (у нас было утро), далекое расстояние между нами исчезло действительно достопамятным образом; наш превосходный приемник свел под одной крышей нас всех, включая шум встающего и снова садящегося хора, 55 минут — столько времени длилась передача — мы как бы в самом деле присутствовали, все слышимое было нашим, а поскольку дирижируете Вы, как известно, в точности так, как дирижировал бы я, будь я дирижером, то и эту немаловажную визуальную сторону дела я мог вообразить с величайшей легкостью. Хоры хораля прозвучали с трогательной до слез нежностью и чистотой.

Мы так и коротаем дни привычного ожидания среди наших пальм и lemon trees*, общаясь поочередно с Франками¹, Верфелями², Нейманами³, все одни и те же лица, а если вдруг и возникнет что-нибудь американское, то это обычно до того скучно-любезно-стереотипно, что ты этим снова надолго сыт. Но к нам, поскольку наша снохашвейцарочка нашла себе defence-job** (она tank cleaner***), приехали на несколько недель оба внучонка из Сан-Франциско — хоть и обременительно для моей жены, тем более что наша черная прислуга несет свою службу весьма спорадически, но зато в доме живет и веселее. Тонио, младший, как личность еще незначителен, но от очаровательного Фридо, еще больше похорошевшего с прошлого раза, я каждый день бываю в восторге. С трудом управляя языком, он учится сейчас говорить и произносит, указывая на соответствующие места: «Глази, носи, роот — и роодак (подбородок)». Если ему чего-то достаточно или если он хочет утешить себя, когда чего-то нет больше, он говорит: «ватит мне!» По-моему, это великолепно. Когда я буду умирать, я тоже скажу «ватит мне». Прощается он при всех обстоятельствах словом «Ночи!» К музыке у него совершенно особый и сильный интерес. Он называет ее «ич», и когда играет радио, он целиком поглощен, сидит себе и слушает. Потом приходит и докладывает со сверкающими глазами: «Ич ватит мне». Я непременно должен о нем написать, вставляю его, может быть, в следующую свой роман; ибо я решил дать войне сроку еще на роман, так что Берман сможет потом прошествовать через Бранденбургские ворота с 4 неизвестными книгами моего сочинения. Иосиф закончен уже давно, в январе. Затем я написал еще некую длинную новеллу о Моисее, эта-

* Лимонных деревьев (англ.).

** Работу на оборону (англ.).

*** Очищает цистерны (англ.).

кую синайскую фантазию, для одной интересной антологии, в которой участвуют также Ундсет⁴, Верфель, Ребекка Уэст⁵ и другие и где каждый рассказ посвящен той или иной из 10 заповедей и тому, как она нарушается Гитлером. Книга заранее вызывает большой интерес и выйдет на английском (в Нью-Йорке и Лондоне), немецком и шведском (в Стокгольме), французском (в Канаде) и испанском (в Южной Америке) языках. Моя история о Моисее служит введением. Верфель довольно красиво назвал ее «Прелюдией на органе».

Теперь передо мной маячит нечто совсем другое, довольно-таки жуткое и близкое к богословско-демонологической сфере, [...] роман патологически-неправомерной инспирации, герой которого будет, кстати сказать, теперь действительно *музыкант* (композитор). Хочу рискнуть, — но предвижу, что мне еще придется просить у Вас совета и конкретных сведений, например, уже сейчас относительно профессиональной подготовки музыканта-творца. Тут ведь нет, наверно, никакого общего правила и консерватория вовсе не обязательна? Гуго Вольф, кажется, никогда в консерватории не учился. Да и Стравинский⁶, который говорит, что учение о гармонии навело на него страшную скуку, а контрапункт зато очень его привлекал. Его раннее творчество развивалось под наблюдением Римского-Корсакова... Надо ли мне прочесть учебник композиции? Есть ли у Вас таковой? Впрочем, посоветуюсь с Шёнбергом⁷.

Что Эрика находится на пути в Европу, Англию, Швецию, а возможно, и Россию, Вы знаете. [...] Второе большое место — *sergeant* Клаус, который уже несколько недель назад писал, что вскоре, вероятно, отправится в «далекое путешествие» (конечно, Африка). Больше никаких вестей от него у нас нет; конечно, он уже уехал. Голо, который все еще в своем колледже, в июне придет сюда для несложного удаления грыжи. Он говорит, что лопнет от зависти к брату, и у него одна мысль: *to join the army**.

Прощайте! Тысяча галантностей Вашим дамам!

Ваш Томас Манн

115

АГНЕС Э. МЕЙЕР

*Пасифик Пэллсейдз, Калифорния,
26 мая 43*

Глубокоуважаемый друг,

я был несколько дней нездоров и не мог писать — писем тоже.

На Ваше позвольте ответить: мы не выбираем часа, когда наше письмо попадет к адресату, и не можем учесть душевного и физического состояния, в котором тот находится, когда получает его. Следуя Вашему примеру, я мог бы сказать, что Вы «выбрали» момент, когда я занят за-

* Вступить в армию (*англ.*).

мыслом нового произведения и нахожусь, значит, в состоянии предельно повышенного нервного напряжения, чтобы прислать мне эту ничтожную болтовню дамы из Смит-колледжа, — не для того, чтобы я увидел, как коварна и злобна сочинительница этой писанины, а для того, чтобы я увидел, какой шалопай мой сын Клаус.

Я много и тяжело страдал от того, что к моим детям Вы ничего, кроме нескрываемого неуважения и неприязни, не испытываете, ведь я люблю этих детей по тому же праву, по какому Вы любите своих детей. Поверьте мне, ничего более ужасного — для меня лично — я не представляю себе, случись что-нибудь на войне с Вашим замечательным Биллом. Сквозь все мои каждодневные мысли — а им ведь надо обращаться в самые разные стороны — всегда проходит эта забота, как и забота о благополучии Ваших дочерей, которым предстоят трудные часы. Здесь, в кругу близких, я иногда говорил, что не знал бы, как мне жить дальше, если бы кто-нибудь из Ваших детей доставил Вам горе. Но это были очень односторонние чувства. Лекции Эрики, успех которых основан на большом личном обаянии и на глубокой, страстной чуткости к моральным и политическим вопросам времени; ее пребывание в Англии во время самого тяжкого «налета» — все это было, по-Вашему, сплошное безобразие, а у русских, писали Вы, — «нет времени на путешественниц». На путешественниц. Если бы Вы знали, как долго сидел я с Вашим письмом в руках и качал головой!

Вы по праву считали, что хотя бы один из моих сыновей должен быть в армии. Клаус прямо-таки боролся за то, чтобы туда попасть. Добившись этого, он, 36-летний, совершенно неподготовленный интеллигент, с большой силой воли и воодушевлением прошел нелегкую *basic training** и был поразительно быстро произведен в *staff-sergeants*** . Я сообщил Вам об этом с юмористической отцовской гордостью. Ни одного слова одобрения, поздравления от Вас я не получил.

Сейчас я вступился за своего одаренного, прилежного и мужественного сына, которого Вы несправедливо, по моему убеждению, упрекнули в том, будто он неподобающе высказался об одном большом поэте, являющемся к тому же Вашим другом. К моему безмерному ужасу и удивлению, оказывается, что, стало быть, я сам обидел и «condemned»*** Клоделя¹, — я, который минуту назад и думать не думал даже касаться чуждой мне, но достойной уважения сферы этого ума.

Это Клаус написал книгу об Андре Жиде и по необходимости кое-где упомянул там Клоделя. Сделал он это в трех или четырех местах, три раза в самой безупречной форме. В четвертый раз он, видимо, оказался виноват в неверном, основанном на ложной или устаревшей информации, изображении поведения Клоделя после оккупации Франции. Кого за это призывают к ответу? Меня. Клаус молод, и если не легкомыслен, то права все-таки легкого. Он вряд ли читает нападки, которые

* Первоначальную военную подготовку (англ.).

** Штабные сержанты (англ.).

*** «Осудил» (англ.).

навлек на себя, разворошив католическое осиное гнездо; не знает он и о нашей переписке, и на уме у него только его солдатская жизнь со всеми приключениями, его ожидающими. Мне, принимающему все близко к сердцу и нуждающемуся в покое и мире, как в хлебе насущном, не способному в обстановке ссоры и спора не то что творить, а жить, ибо я быстро в ней гибну, мне приходится это расхлебывать, видя, как из-за дела, к которому я не имел ни малейшего отношения, рушится дружба, которой я дорожил.

Я ею дорожил. Я знал, что она для меня, чужеземца, значит, и служил ей верно и ревностно. Думаю, что о служении говорить можно. Я годами посвящал ей больше мыслей, нервной энергии, работы за письменным столом, чем каким-либо другим отношениям на свете. Я, насколько я на это способен, позволил Вам участвовать в моей внутренней и внешней жизни, я часами, когда Вы бывали поблизости, читал Вам новые свои работы, которых еще никто не знал, я проявлял свое самое искреннее восхищение Вашей патриотической общественной деятельностью. Все было впустую, всего было мало. В моих письмах не было «ни следа» — уж не знаю чего, человечности, видимо. Вы всегда хотели, чтобы я был иным, чем я есть. У Вас не было ни юмора, ни почтительности, ни сдержанности, чтобы принимать меня таким, каков я есть. Вам хотелось меня воспитывать, направлять, исправлять, избавлять. Напрасно я со всей добротой и бережностью предупреждал Вас, что я неподходящий объект для таких попыток, что в свои почти 70 лет я для этого слишком уж сложившийся и определившийся человек. Я думаю, что Ваша вспышка по поводу такого письма, как мое предпоследнее, была просто-напросто вспышкой более глубокого разочарования и ожесточения, ухватившегося за почти ничтожный предлог, чтобы выйти наружу.

Итак, в этих отношениях, которым мне так хотелось — так несказанно хотелось — придать ровный, веселый, спокойно-надежный, сердечный характер, наступил, кажется, кризис, грозивший им, вероятно, с первого же мгновенья. Дадим же им и себе покой — единственное, что может восстановить наше душевное равновесие. Мне, по крайней мере, оно нужно, чтобы вернуться из этой муки к самому себе и к своим задачам — пока не похоже, что это легко удастся. Чем мы обязаны друг другу, мы вряд ли забудем, — я говорю: друг другу; ведь то добро, ту поддержку, ту облегчившую мою жизнь помощь, которые я от Вас получил, я мог принимать без ущемления собственного достоинства, потому что Вы позволяли мне верить, что благодеяния тут были не вовсе односторонние.

Что касается нашей договоренности с Library of Congress, то она, по-моему, настолько скомпрометирована и замарана доносом этой горячей почитательницы Клодела, что мне следует попросить мистера Мак-лиша прервать мою связь с его учреждением и заявить об этом публично. Ведь я боюсь, что упрек в подкупности, покровительстве и расточительности, брошенный ему этой дамой, он воспринимает как обвинение, выдвинутое против него лично.

От всей души и с наилучшими пожеланиями Вам и Вашей семье говорю Вам: всего доброго.

Преданный Вам
Томас Манн

116

ДИТЕРУ КУНЦУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
7.X.1943*

Глубокоуважаемый господин доктор Кунц,

с искренним удовольствием прочел Ваше письмо, благодарю Вас за Ваше участие, за Вашу прекрасную отзывчивость.

Авантюризм Феликса Круля немного «отстал», поскольку благодаря Иосифу вырос в миф. Тем не менее могу сказать Вам, что после окончания «Избранника» я готов был снова взяться за Круля¹. В конце концов, однако, верх одержала — на этот раз — одна запись сорокалетней давности, составляющая ядро романа о музыканте.

Заключительный том Иосифа напечатан в Стокгольме, и теперь чистые листы следуют в Швейцарию, где их переплетут, — удивительное дело — через Германию.

Надеемся вскоре получить экземпляр этой книги, который будет потом «фотостатически» размножен, чтобы небольшой тираж немецкого текста имелся и здесь.

Английское издание печатается уже несколько недель, но вряд ли выйдет раньше начала будущего года.

К сожалению, мне придется теперь прервать эту новую, необычайно захватившую меня работу, чтобы совершить примерно двухмесячное лекционное турне по Востоку и по Канаде.

Еще раз спасибо, от души желаю Вам всяческого благополучия.

Преданный Вам
Томас Манн

117

БЕРТОЛЬТУ БРЕХТУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
10.XII.43*

Глубокоуважаемый господин Брехт,

Ваше письмо я внимательно прочитал. Позвольте мне ответить на него нижеследующим.

В середине ноября я выступал в Нью-Йорке, в Колумбийском университете, с политическим докладом¹. Меня слушала тысяча человек,

но — архистранно и, пожалуй, на истинно немецкий манер — среди них не было ни одного из тех, кто собирався совещаться со мною относительно объединения немецких противников Гитлера на чужбине. Надо было полагать, что хоть кто-то из них поинтересуется публично высказываемыми политическими взглядами человека, которого они считают способным, даже единственным, кто способен обеспечить это объединение. Ни у кого не хватило любопытства. А явись туда хоть один человек, никаких сомнений в моей позиции, которые Вы выражаете в своем письме, не возникло бы.

Да, я признал в докладе, что нельзя отмахиваться от некоей общей ответственности за случившееся и за то, что еще случится. Ибо и человек, и народ в какой-то мере ответствен за то, что он представляет собой и что он творит. Но потом я не только привел в точности те же доводы против отождествления немецкого с нацистским, которыми пользуетесь в своем письме Вы, но и заявил, что мудрости в обращении с побитым противником требует хотя бы уже тяжкая совиновность мировых демократий в возникновении фашистской диктатуры, в возрастании ее власти и во всей беде, свалившейся на Европу и на весь мир. Я говорил об этой совиновности капиталистических демократий в таких выражениях, что никак не ждал, что их терпеливо выслушают, а не то что, как это оказалось, встретят аплодисментами. Даже глупый, панический страх буржуазного мира перед коммунизмом — и тот я высмеял, и не только в Нью-Йорке, но еще раньше в Вашингтоне, в официальной Библиотеке Конгресса. Я сказал, что не к лицу нам, немецким эмигрантам, давать советы завтрашним победителям, как поступить с Германией, но, обращаясь к либеральной Америке, я выразил надежду, что общее будущее не будет чрезмерно отягощено мероприятиями победителей. Не Германию, сказал я, и не немецкий народ надо уничтожить и стерилизовать, а надо разрушить преступную коалицию юнкерства, военщины и тяжелой промышленности, несущую ответственность за две мировые войны. Вся надежда, сказал я, на настоящую, очистительную немецкую революцию, которой победители не должны мешать, а должны оказывать поддержку и содействие.

Так примерно звучал этот доклад, и я надеюсь, Вы и Ваши друзья заключите из этого изложения, что влиянием, которым я обладаю в Америке, я отнюдь не пользуюсь для того, чтобы умножить сомнения в «существовании в Германии могучих демократических сил». Но все это не имеет никакого отношения к вопросу, несколько недель серьезно меня занимавшему, — пора или не пора создать Free Germany Committee* в Америке. Я пришел к мнению, что образование такой корпорации преждевременно, не только потому, что его считают преждевременным и сейчас нежелательным в Государственном департаменте, но и на основании собственных размышлений и опыта. Это факт, и, насколько я помню, о нем говорилось во время нашей последней встречи, что как только

* Комитет «За свободную Германию» (англ.).

слухи о таком немецком объединении дошли до общественности, у представителей различных европейских наций возникли тревога и недоверие и что сразу же был брошен лозунг: образующийся немецкий союз надо разорвать. Действительно существует опасность, и мы, несомненно, должны с этим считаться, что наше объединение будет расценено лишь как патриотическая попытка защитить Германию от последствий ее чудовищных преступлений. Оправдывая и защищая Германию и требуя «сильной немецкой демократии», мы сейчас опасно противопоставили бы себя чувствам народов, томящихся и погибающих под нацистским игом. Слишком рано выставлять немецкие требования и апеллировать к миру в заботе о державе, которая сегодня еще владеет Европой и еще вполне способна творить преступления. Могут произойти и, наверно, еще произойдут страшные вещи, которые снова вызовут у мира великий ужас перед этим народом, и хороши мы будем тогда, если заранее поручимся за победу лучшего и высшего его начала. Дайте свершиться военному поражению Германии, дайте приспеть часу, который позволит немцам рассчитаться с преступниками, рассчитаться так основательно, так беспощадно, как мир от нашего нереволюционного народа и ждать-то не смеет, тогда и для нас здесь настанет момент засвидетельствовать: Германия свободна, Германия вправду очистилась, Германия должна жить.

Преданный Вам

Томас Манн

118

ЭРИХУ ФОН КАЛЕРУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
16 января 44

Дорогой, добрый друг,

Вы так мило, так хорошо, с таким пониманием написали и утешили меня в моей досаде на громадную мою задолженность, что я могу лишь поблагодарить от души. Досада это, видно, естественная и неизбежная: я просто начинаю чувствовать свой возраст, уже долгую и смолоду довольно напряженную и трудную жизнь, и часто, говоря между нами, изрядно устаю, бываю в общем-то ленив, боюсь затрат энергии, с которыми прежде совсем не считался. Привычная потребность в деятельности ограничивается утренними часами (старик Гайдн: «Малость позавтракав, я сажусь сочинять музыку». Миляга!), а во второй половине дня мне в сущности ничего не хочется делать, я даже с тоской жду секретаршу, когда она приходит писать под диктовку письма, и каждый раз, убеждаясь, что все, что я заставляю себя в это время дня набросать, получается плохо, понимаю: надо освободить для этого одно или два утра. Я признаю: в большей или меньшей степени так бывало всегда, но налицо все-таки явная вялость и усиливающаяся тенденция избегать до-

полнительных нагрузок. Тем не менее многих важных долгов за мной еще нет, а что касается Вашего письма, то тут дело идет о задержке, о которой я со спокойной совестью могу сказать, что сейчас она объясняется причинами исключительно внешними. Я не мог взять с собой этот том¹, для него, как и для многих других, не было места в нашем багаже. Маленькую библиотеку, скопившуюся у нас в номере, в том числе рукописи, мы поручили Берману послать нам вдогонку, и этот пакет непонятно почему еще не пришел. Некоторое время его задержку оправдывала рождественская суматоха на почте, но теперь эта забава давно кончилась, и мы уже дважды настойчиво выражали Берману свои претензии. Это и вообще неприятно. Перед многими уже мне пришлось извиняться за задержку отзыва на их рукописи и самих рукописей. Будь у меня под рукой Ваша книга, маленькая статья о ней родилась бы, конечно, сама собой, по внутреннему побуждению. Все, что Вы пишете мне о сдержанном и боязливом приеме, ей оказываемом, укрепляет меня в намерении объявить себя ее сторонником, и намерение это не далее как вчера было подогрето разговором с Эрвином Кальзером², которого мы встретили в одном доме и который прямо-таки восторженно отзывался о Вашем труде. Много дней, сказал он, он не переставал думать о нем.

Не могу передать, как я Вам благодарен за Ваше прекрасное участие в моем новом эпическом эксперименте³ [...]. Останься за мной теперь этот «долг», было бы, конечно, скверно. Но при терпенье, осторожности, осмотрительности и вставании вовремя, «малость позавтракав», глядишь, и доведу дело до ума. После лекций мне не раз указывали на линию, идущую будто бы сюда от старых «Будденброков», и — любопытное совпадение! — как раз сейчас здесь разные люди, независимо друг от друга, с удивительным удовольствием перечли этого 44-летнего первенца. Франки, например, и почти одновременно смертельно больной Верфель, который выпросил у меня книгу и, когда я последний раз был у него, говорил о ней совершенно восхищенно. «Бессмертный шедевр, несокрушимо!» И ему, сказал он, странно видеть у своей постели автора во плоти... Так бывает с удачными, сотворенными в счастливый момент создателями юности. Часто приходится потом лишь как-то достойно заполнять остаток жизни, остаток иной раз долгий, всегда, и чем дольше, тем в большей мере, продолжая быть создателем того первенца. Не хочу вспоминать в связи с «Будденброками» так-таки «Cavalleria rusticana»*, но о «Волшебном стрелке», который был настоящим событием, по крайней мере немецким, тут можно, пожалуй, вспомнить. Впрочем, «Оберон» и «Эврианта»⁵ тоже еще не вышли из репертуара... И я даже думаю все-таки, что мне удалось построить свою позднюю жизнь по образцу Гёте.

Моисеевская история получила большой резонанс [...]. Вы правы, сама книга не бог весть что. Честно боюсь, что мой рассказ много лучше прочих. Многое просто смехотворно и компрометирующе, например описание Копенгагена Ребекки Уэст, такое невежественное, что в Европе

* «Сельская честь»⁴ (итал.).

животики надорвут. Очень жаль... К сожалению, оригинал «Моисея» у меня только в рукописи. Не сможете ли Вы добыть копию у Берман-Фишера?

Мы часто говорим о Вас и хотим, чтобы вы были здесь. Я всегда думаю, что придет день, когда Вы будете с нами.

С сердечным приветом

Ваш Томас Манн

Вопросы, что делать с Германией после победы, не прекращаются. Я не говорю ни слова. Если выскажешься за мягкость, немцы могут тебя омерзительно дезавуировать. Если выскажешься за неумолимость, окажешься в скверном и невыгодном положении перед страной, на языке которой сам же и пишешь. Да и все толки насчет шкуры неубитого медведя представляются мне все еще зловеще преждевременными.

Мы сдали экзамен на подданство и, в сущности, значит, уже *cives romanus**. Но ехать в Европу лучше, думаю, с чешским паспортом.

119

К. Б. БАУТЕЛЛУ

[черновой набросок]

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
21 января 1944*

Dear Mr. Boutell **,

мне жаль, что глупый донос этого господина Араквистейна произвел на Вас такое сильное впечатление. Меня он оставил бы вполне равнодушным, и я совершенно не чувствовал бы себя обязанным ответить, если бы не Ваш почти угрожающий призыв ко мне оправдаться, объяснить, извиниться. Если господин Араквистейн не может простить мне моего становления и роста, моего духовного и нравственного развития, моей жизни, то это его беда, не моя. Я живу, надеюсь продвинуться еще дальше, чем я продвинулся, радуюсь пройденному пути и не отрекаюсь ни от одной его стадии, потому что убежден в справедливости гётевского изречения:

Если к правой цели ты идешь,
Путь во всех частях его хорош.

Что по-английски будет:

— — — — — ***

Я сомневаюсь в том, что это разумно — человека, старающегося в полную меру своих не юношеских уже сил участвовать в борьбе современ-

* Римские граждане (лат.).

** Дорогой мистер Баутелл (англ.).

*** Прочерки в черновике Томаса Манна.

ного человечества и каждодневно соединять свои обязанности гражданина мира с продвижением и завершением труда собственной жизни, для многих безразличного, — я сомневаюсь в том, что есть какой-либо смысл тыкать такого человека в суждения, высказанные им на совсем другой фазе истории и его жизни, и заставлять его за них отвечать. Но поскольку Вы считаете нужным занимать своих многочисленных читателей наветами автора письма в «Таймс», надо, видно, и мне сказать кое-что по этому поводу, и я охотно отвечу на Ваш вопрос, если Вы позволите мне не слишком вдаваться в подробности.

Я не могу с полной уверенностью ручаться за точность цитат господина Араквистейна, но полагаю все-таки, что он не докатился до фальсификации в своем рабском рвении подкинуть ванситтартизму¹ доводы против возможности «другой», «лучшей» Германии. Нет сомнения, все это я говорил, и звучит это сегодня довольно скверно. Много скверных, из ряда вон выходящих вещей говорилось тогда в Европе — не только в Германии, где Гауптман, Демель и Гофмансталь, Гарден и Ратенау² благословляли национальную войну так же, как я, но и умными вообще-то людьми вражеского зарубежья, и мое диалектическое гусарство 1914 года³ объясняется отчасти реакцией на множество запальчивых оскорблений, брошенных тогда в лицо немецкой философии и культуре, с которой я жил в естественном единении. Но прежде всего оно объяснялось полной политической невинностью и невежеством выросшей на Лютере и романтиках немецкой интеллигенции, долго не видевшей в войне, когда та застала ее взрослой, ничего, кроме справедливой защиты ценностей, которые, к ее, интеллигенции, изумленной растерянности, вдруг оказались преданы поруганию. В этой сфере ценностей были корни всего, созданного к тому времени мной лично, ее я имел в виду, когда говорил «Германия», и за нее я вступился.

Мой обвинитель подчеркивает, и Вы считаете своим долгом с ним согласиться, что мне было тогда 40 лет и мои суждения были, следовательно, суждениями зрелого человека. Ну, зрелость понятие очень относительное, и человек, которому суждены долгая биологическая стойкость, далекий путь, в 40 лет, может быть, и не отличается такой уж зрелостью. Да и достиг ли я зрелости сегодня, тоже не знаю. Чтобы ее достичь, нужна, может быть, вся жизнь, и созревание — это, может быть, не что иное, как созревание для смерти. Как художник я, кажется, созрел необычайно рано, поскольку в 25 лет написал книгу, которая живет и сегодня и, возможно, переживет все, что я потом написал. Зато в политическом отношении я созрел (и это, может быть, национально-немецкая черта) явно очень медленно, и фактически лишь война 1914 года, потрясшая самые мои устои, вообще столкнула меня с проблемами, чувства которых я дотоле в себе не развил.

«Politics, — сказал кардинал Мэннинг⁴, — is a part of morals»*. Не хочу казаться хуже, чем я есть, и не стану утверждать, будто моя

* «Политика — эта часть морали» (англ.).

юность и мои «зрелые годы» были совершенно чужды морали. Я следовал пессимистической этике, воплощением которой были «вопреки», храбрость, выдержка в тяжелых условиях, и в Германии я видел страну, которая жила в тяжелых внешних и внутренних условиях, страну, которой было трудно, как бывает трудно художнику. Я отождествлял себя с ней — такова была форма и таков был смысл моего военного патриотизма. Я высказывался в пользу прусской идеологии, прусской повадки, прусского милитаризма, — бедный господин Араквистейн спустя целых 30 лет ужасается сумасбродству, с каким я это тогда делал. Я думаю в связи с этим о статье⁵, недавно появившейся в московской «Интернациональной литературе», где речь идет о пруссачестве в немецкой словесности. Автор статьи Георг Лукач⁶, литературовед коммунистических убеждений, коснувшись в ней моих высказываний времен прошлой войны, заявил, что нельзя психологически верно оценить мой тогдашний фредерицианизм⁷, мою апологию прусской повадки, отрывая их от вышедшего перед войной рассказа «Смерть в Венеции», где прусской этике была уготовлена гибель, исполненная иронического трагизма... Насколько же это замечание выше плоских придиорок английского патриота из чужой страны!

Никто не скажет, что я так уж пекся о своей личной выгоде, держа нос по ветру. Еще консервативные «Размышления аполитичного» вышли в момент катастрофы, в 1918 году. Даже немецким националистам проку от этой книги не было. Они всегда питали справедливое, с их точки зрения, недоверие ко всему духовному, в том числе и к консервативной духовности. Когда потом снова стала подниматься волна национализма, я уже дошел до того, чтобы броситься ей наперерез, и выступил с обращенной к молодежи речью «О немецкой республике»⁸. Я просто кое-чему научился — чего многие другие не сделали. В течение десятилетия, подвергаясь ядовитейшим нападкам, постоянно жертвуя своим покоем и благополучием, я пытался предотвратить надвигающуюся, как я видел, беду. Ибо мой взгляд обострился, я понимал, что означал нацизм для Германии, для Европы и для мира, в то время как подавляющее большинство моих соотечественников, а с ними Европа, с ними широкий мир этого не понимали. Предполагать это надо к их чести, ибо как обстояло бы дело с мировой демократией, если бы она понимала фашизм и все-таки помогала ему?

Если бы я открыл свою демократическую душу лишь в 1933 году, в изгнании, то раскопки господина Араквистейна отличались бы не столь тупой недоброжелательностью. Но статьи в книге «Order of the Day» * помечены датами; он знает, сколь рано мне удалось дополнить свое понимание гуманизма политикой, найти подобающее мне место в борьбе человечества и делать свое дело в этой борьбе. И все-таки у него хватает глупости задавать глупый вопрос: «Who is the real Thomas Mann, the

* «Повестка дня» (англ.).

author of «Gedanken im Kriege» or the author of «Order of the Day»?»*, Он понятия не имеет об органическом единстве ищущей, растущей жизни, выражающей и сохраняющей себя в разнообразных произведениях. Но ему доставляет удовольствие роль автора писем в «Literary Supplements»**.

Юношей я написал «Будденброков, упадок одной семьи». В 50 «Волшебную гору». Сейчас, когда мне скоро будет 70, предстоит выход заключительного тома «Иосифа и его братьев». Первое произведение было немецким романом, второе — европейским, третье — это мифическо-юмористическая песнь о человечестве. Доброжелательный наблюдатель мог бы говорить о процессе развития и одухотворения — безотчетно определенном великими образцами. Почтенный сотрудник лондонской «Таймс» смыслит в такой жизни не больше, чем вол в игре на лютне.

Я не думаю, что его донос на старые сочинения отнимет у меня благодарность тысяч измученных сердец за иные слова утешения и ободрения, сказанные мною в самое мрачное время; не думаю также, что он поколеблет потомство во мнении, что я не только создал несколько славных вещей, но и всегда, на всех ступенях своего разума, старался думать о добром и справедливом.

Sincerely yours ***.

Томас Манн

120

ГЕНРИХУ МАННУ

Отель «Уиндермир», Чикаго.
24 марта 44

Дорогой Генрих,

приближается 27¹, и пора, если не давно пора, нам обоим, Кате и мне, послать тебе наши сердечные поздравления с этим торжественным днем, таким важным для множества людей и по ту, и по эту сторону. Большое удовлетворение вызвал у всех явно блестяще удавшийся канун праздника в нью-йоркской «Трибюн». В твоём послании², которое я прочел в одной эмигрантской газете, ты говорил о фениксоподобном возрождении твоего творчества после прошлой войны. Это касалось тогда главным образом Германии. На сей раз, судя по всему, это повторится в мировом масштабе. Не далее как вчера один американский писатель, Луис Бромфилд³, выразил мне свою убежденность в том, что после войны у нас непременно будут соединенные советские республики Европы. Что ж, это был бы совсем другой простор для расправленных крыльев феникса, чем в бедной немецкой республике.

* Кто подлинный Томас Манн — автор «Мыслей во время войны» или автор «Повестки дня»? (англ.).

** «Литературные приложения» (англ.).

*** Искренне Ваш (англ.).

Наша Меди очень быстро и благополучно родила вторую дочку, но пообеднела и похудела и, безусловно, слишком рано активизировалась. Надеемся, что у нас в Пасифик Пэлисейдз она оправится, ибо в начале сентября эта маленькая семейка снова приедет туда к нам в гости на три месяца. Эрика покажется там уже в апреле, перед тем, как, по-видимому, опять отправится в Европу. Голо, назначенный в Англию, еще появится здесь на несколько дней. От Клауса мы получаем из Италии скудные вести, свидетельствующие, однако, о благополучии и удовлетворительной деятельности — в личном смысле: ведь в общем на этом театре военных действий удовлетворительного как будто мало.

News* 1925⁴ года: «The Russians enter Toulon. Fearce fighting continues near Cassino» **. (Американский народный юмор.)

Итак, желаем прекрасного, веселого дня, крепкого здоровья вам обоим и самых больших удач во всех предприятиях.

Т.

121

ЛИОНУ ФЕЙХТВАНГЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз.
апрель 1944*

Дорогой Лион Фейхтвангер,

мне чудно, что, поздравляя Вас с шестидесятилетием, я должен обращаться к Вам на этой бумаге ручной выделки¹ через Нью-Йорк, хотя мы ведь соседи на этом слегка неправдоподобном берегу и мне нередко выпадает удовольствие Вас видеть, и ничто вроде бы не помешает мне 7 июля лично посетить Вас в Вашем приморском замке и ободряюще пожать руку молодому коллеге — боже мой, мне было уже 60, когда Гитлер пребывал в расцвете своих грехов. Это будет лучше, чем писать Вам. Но когда, коллективно чествуя Вас и Вашу щедро благословенную жизнь, литературный мир собирается между нарядными створками папки, оставаться в стороне я не хочу и не вправе, хотя в праздничные дни лучше не быть тем, кем являешься в прочие — формулирующим, взвешивающим слова писателем.

Позвольте мне сделать это коротко и сердечно! Пусть и это будет скорее рукопожатием, чем юбилейным эссе! Вы, конечно, замечали, что я Вас люблю и пристрастно ищу беседы с Вами, когда мы бываем вместе на людях. Объясняется это легко. Вы — милый, веселый в своей общительности и — простите мне это слово — искренний человек, чей славный мюнхенский говор приятно слушать; вдобавок Вы человек больших знаний, опытный, у которого можно чему-то научиться; а за Вашей человеческой статьёй стоит разнообразное, энергичное творчество, хорошо

* Новости (англ.).

** Русские вступают в Тулон. Ожесточенные бои продолжаются близ Кассино (англ.).

подкованное в истории, зоркое и прозорливое в критике собственной нашей эпохи, творчество, которое с самого начала вызвало широчайший интерес, сперва в Германии, потом за рубежом, на Востоке и на Западе, в России и в англосаксонских странах. В Англии я сам слышал: когда хотели что-то очень похвалить, говорили: «It's nearly as good as Feuchtwanger»*.

Восхищенную симпатию — вот что внушали Вы мне всегда. Счастье и успех родились вместе с Вами, они Вас никогда не покинут. Вы утешительный пример тому, как радостная натура преодолевает мрак обстоятельств. Эпоха сыграла с Вами такую же шутку, как со всеми нами. Вы понесли потери и претерпели оскорбления, были оторваны от своих корней, прошли через личные опасности, — я не слышал, чтобы Вы говорили об этом иначе как со смехом, и все обошлось для Вас хорошо. Думаю, Вы были первым, кто сумел в эмиграции создать себе более чем достойный, великолепный дом: в Санари-сюр-мер, где мы вместе прожили первые месяцы, после того как нас вычеркнули из числа немецких писателей. Мне хотелось провести Геббельса по Вашим комнатам и показать ему открывавшийся оттуда вид, чтобы его позлить. Что ж, дожидайтесь, неутомимо трудясь, почетным гостем этой огромной, ставшей уже уютной страны, конца идиотского эпизода, который именует себя национал-социализмом и для избежания которого Вы, это Вы вправе сказать, пытались сделать все, что могли. Поскольку вам всего 60, молодой человек, Вы, в отличие от нижеподписавшегося, еще внесете изрядную долю в то, что затем последует. Так ли уж много я тут теряю, — это вопрос, которого мы касаться не будем. Конец позора злодейской глупости, изгнавшей нас из Германии, мы, судя по всему, увидим вместе, отпразднуем вместе и уйдем из жизни, каждый в свой час, с успокоительным как-никак сознанием, что хотя на звезде, с которой мы поверхностно познакомились, и возможны всякие литературные небезупречности, но что самая большая глупость и самая большая подлость смогли продержаться на ней не дольше каких-нибудь двенадцати лет.

Ваш Томас Манн

122

ЭРНСТУ РЕЙТЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
29 апреля 1944*

Глубокоуважаемый господин Рейтер!

с благодарностью сообщаю Вам, что Ваше очень волнующее письмо дошло до меня в целости и сохранности и что его копия, а также журнал с Вашей знаменательной речью о Гауптмане прибыли вслед за ним вскоре.

Поскольку я занят работой и делами, да и не совсем хорошо себя чувствую из-за бронхиального катара, привезенного мной из Чикаго, где климат ужасен, позвольте мне ответить Вам только следующее:

* Это почти так же хорошо, как Фейхтвангер (англ.).

По мотивам совести и такта я-противлюсь некоему немецко-эмигрантскому патриотизму, который в разгар войны, в момент, когда враг еще угрожающе силен и для победы над ним нужно принести еще величайшие жертвы, как бы распростирает руки, прикрывая Германию и возглашая, что с этой страной ничего не должно случиться никоим образом, хотя именно по вине этой Германии с другими европейскими нациями случились самые невероятные вещи. Я нахожу это сейчас, когда у нас еще нет ясного представления о нынешней Германии и о силах, которые там уцелели для дела свободы, преждевременным и как немец считаю неуместным давать советы и наставления тем, кто после еще весьма далекой победы должен будет принять меры, необходимые, с их точки зрения, для обеспечения мира. В поведении некоторых политических активных эмигрантов не видно ни малейшего понимания того, что причинила и все еще причиняет Германия другим нациям. В нем не видно ни малейшей боязни оскорбить эти нации в их более чем оправданных чувствах. Эти люди предостерегают от навязывания Германии неразумного и несправедливого мира. Я же думаю, что мир, навязанный Германии, может быть неразумным, и надо надеяться, что такому миру воспрепятствуют умеренность и осмотрительность со стороны победителей, но несправедливого мира после всего, что случилось, для Германии вообще быть не может.

Таково мое чувство, мое убеждение, и я должен, пусть рискуя нажать себе врагов, соответственно действовать или, вернее, воздерживаться от действий, противоречащих этому. Но хотя я и собираюсь стать американским подданным и окружен говорящими по-английски детьми и внуками, я немец и остаюсь немцем, какой бы проблематичной честью, каким бы утонченным несчастьем это ни было. Я полон решимости навсегда сохранить верность немецкому языку, довести на нем до конца труд своей жизни и ничего так не жду, как часа, когда Европа снова откроется для моих творений и я снова смогу вступить в духовный контакт с теми моими соотечественниками, которые еще что-то обо мне знают и хотят знать. Весь тот моральный и духовный вес, какой я, как Вы говорите, способен пустить в ход, будет отдан, можете быть уверены, стране, чья культура меня взрастила, если из этой войны возникнет созревшая, очищенная и готовая к искуплению Германия, которая отречется от греховной, враждебной миру, безумной идеи своего превосходства, ввергнувшей ее в эту катастрофу.

Примите мои наилучшие пожелания и привет!

Преданный Вам

Томас Манн

123

КЛИФТОНУ ФЕЙДИМЕНУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
29 мая 1944

Dear Mr. Fadiman *,

из строк, недавно мною Вам посланных, Вы увидели, что я искренне хотел последовать призыву, с которым Вы обратились ко мне и от Writer's War Board **. Именно Вам, кому мое творчество обязано умным и проникновенным представительство перед американской публикой, я не считал себя вправе ответить молчанием, и поэтому я несколько дней посвятил исключительно попытке выразить свое отношение к манифесту «Council for a Democratic Germany» *** и объяснить, почему я, как и многие другие видные немцы, живущие в этой стране, отказался поставить свою подпись под этим воззванием. С самого начала у меня тут возникли очень большие затруднения; в ходе усилий они оказались непреодолимыми, и я убедился, что, по крайней мере в данный момент, надо ограничиться негативным актом моего отказа подписать это обращение.

Первая, чисто техническая трудность состоит в том, что мне, — так уж я, — не дано высказаться о бесконечно сложном предмете «Германия и остальной мир», «Германия и эмиграция», «Германия и заключение мира», «What to do with Germany?» **** в кратком заявлении, которое можно передать прессе. Второе личное затруднение — то обстоятельство, что мой брат Генрих подписал этот манифест и что, значит, моя полемика с манифестом оказалась бы направлена и против брата. Есть и нечто третье: воззвание это поддержано рядом самых блестящих имен либеральной Америки, которые я обязан уважать и которым я не могу так-таки заявить, что они влезли под свою защиту нехорошее, по крайней мере, двусмысленное дело.

Но все это еще не решило бы вопроса, и последовать Вашему призыву, наверно, не помешало бы мне так непреложно. Правда состоит в том, что в процессе писания я впал бы в ошибку, обратную той, которую допустили господа из «Council for a Democratic Germany». Как я ни убежден, что еще слишком рано сочувствовать Германии, каким ни безответственно рискованным кажется мне сегодняшнее ручательство немецких эмигрантов за будущее демократическое благонравие Германии — страны, ставшей нам всем невозможно чужой, [...] некрасиво, по-моему, и убийственно для себя поступит немец моего склада, намеревающийся и в качестве американского гражданина сохранить верность немецкому языку и завершить на нем труд своей жизни, если возьмет на себя роль обвинителя своего заблудившегося и провинившегося народа перед мировым трибуналом и своим,

* Дорогой мистер Фейдимен (англ.).

** Писательского Военного Совета (англ.).

*** Совета по борьбе за демократическую Германию (англ.).

**** Что делать с Германией? (англ.).

не таким уж, может быть, невлиятельным свидетельством накличет самый суровый, самый уничтожающий приговор на страну, которая его родила.

Опасность, что Германия слишком дешево отделается от этой войны, невелика. Ни планы «European Advisory Commission» * в Лондоне, ни русские заявления опасений такого рода не внушают. Германия давно начала расплачиваться, и куда более тяжкое искупление у нее, несомненно, еще впереди. Я против этого ничего не имею. Я ведь покинул Германию потому, что был убежден, что Гитлер означал войну и что этот вождь приведет Германию к хаосу и разорению, к катастрофе. Ну, так вот, катастрофа пришла или приближается гигантскими шагами. Немецкий народ тоже должен был предвидеть ее. Если ему придется худо, можно только спросить: а что он раньше думал? Что за разгул, за дурман такого размаха, какой он себе позволил, не придется платить? Это будет дело ответственных государственных деятелей мира — принять решения, которые они найдут нужными, чтобы помешать Германии через десять или двадцать лет ввергнуть мир снова в военную катастрофу. Я не удивлюсь никаким мерам, которые признают необходимыми для этой цели. Но можете ли Вы ставить это в вину немецкому писателю, если подстрекателем Немезиды он перед своим народом не хочет представлять в будущем?

Поскольку Вы всё видите и всё читаете, Вам, возможно, попалась на глаза и моя статья в последнем номере «Атлантик Мансли»¹. Это поневоле недостаточный и отрывочный пример копания в мировых проблемах, постоянно идущего наряду с моей художественной работой. В дополнение я хочу опубликовать в подлиннике мое недавнее, переданное по Би-Би-Си broadcast ** в Германию, — к манифесту Council *** оно имеет отношение постольку, поскольку направлено против ходовых слов о предстоящем порабощении немецкого народа, вполне способных стать новым лозунгом националистического реваншизма и сыграть ту роль, которую после 1918 года сыграли слова «удар ножом в спину» и «позорный мир».

С горячим приветом

Ваш Томас Манн

124

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
3 июня 44

Дорогой друг,

Ваше письмо по случаю дня моего рождения глубоко меня взволновало. Спасибо, тысячу раз спасибо за Вашу память, за Ваши искренние пожелания, за всю Вашу доброту! Это просто триумф, что Вы все-таки будете писать статью для «Таймс»¹. Газета этим решением позаботилась о своей выгоде — и моей — и Кнопфа². А трудиться Вам — я, пожалуй, рад, за

* Европейская консультативная комиссия (англ.).

** Здесь: радиопослание (англ.).

*** Совета (англ.).

Вас, что Вас ограничили 1500 словами; столько в конце концов и можно, не очень ломая себе голову и не тратя много времени, сказать об этой шутливой книге.

Вернуться я должен и к Вашему предыдущему письму, где столько говорилось о Билле, — из чувства растроганности, благодарности и гордости, сохранившегося во мне после прочтения того письма до сих пор. Прекрасно, что Вы видите во мне человека, в чью грудь Вы можете с доверием излить все эти священные чувства, материнскую любовь, материнские радости и тревоги. Дай Вам бог поскорей заключить в объятия, невредимым и покрытым славой, этого славного, дорожащего честью мальчика, из которого война окончательно выковала мужчину!

Из моих последних известий по British Broadcast * явствует, что могущество гестапо все же немного ослабло, не только из-за нужд войны в tap power **, но и из-за побочного последствия бомбежек — уничтожения множества документов. Полицейская система, конечно, очень зависит от документов. Все больше людей скрывается, исчезает, живет вне контроля.

Нацисты явно возлагают все свои надежды на расхождения между United Nations ***, между Востоком и Западом и даже между Англией и Америкой, если, понятно, война затянется, о чем они твердо решили позаботиться. Доктрина их такова: кто не сдастся, того нельзя победить, и самая большая катастрофа для немцев — потерять моральную силу. Только не сдаваться! Создание Западного фронта, говорит Геббельс, частично, наверно, удастся, но германский план обороны состоит в затяжном отступлении, которое хоть и не помешает англо-американским десантам, но сохранит германскую армию. Покуда, таким образом, фронт будет существовать, война по-прежнему будет стоить людей и материальных ресурсов, и затянувшаяся война создаст те расхождения, которые Германия использует, чтобы добиться переговоров о мире. К тому же, продолжает Геббельс, западные державы должны считаться со своим общественным мнением, а оно может в конце концов склониться в пользу Германии. Нынешняя кажущаяся решимость западных держав, мол, ничего не доказывает. — А кажущаяся решимость России тоже ничего не доказывает? — хочется спросить. Но хотя на успех тут нет никаких шансов, все это не так уж и глупо. Недавно я и впрямь получил от одного преподавателя литературы из штата Огайо письмо, где говорится, что своим враждебным отношением к совершенно безобидному германскому режиму я втравил мир в войну против него и несу ответственность за 300 миллиардов, в которые война обошлась Америке. Самое меньшее, что я могу сейчас сделать, — это содействовать скорейшему примирению сторон. — Дурак, скажете Вы. Но в мире полно дураков, и читать такое все-таки жутко.

Тысяча приветов!

Ваш Т. М.

* Британскому радио (англ.).

** Живой силе (англ.).

*** Объединенными нациями (англ.).

125

УИЛЬЯМУ ЭРЛУ СИНДЖЕРУ

Пасифик Пэлисейдз.
13 августа 1944 г.

Dear Mr. Singer *,

все, что я пишу Вам на этом листке бумаги, я мог бы с таким же успехом сказать Вам устно. Но мне кажется, что час, когда художественное произведение, создававшееся усердно и преданно, взыскательно и радостно, когда портрет человека впервые предстает перед широким кругом друзей и знатоков искусства и выходит, так сказать, в мир, — мне кажется, что такой час связан с идеей долговечности, прочности, и поэтому мне тоже хочется не просто поздравить Вас с окончанием этого добротного труда и не просто поблагодарить Вас за то, что вы оставили потомству такое долговечное и такое, полагаю, правдивое изображение моей особы, но и придать своим словам, написав их, известную прочность.

Мы много говорили об искусстве, когда Вы писали меня, — не удивительно, ведь искусство присутствовало при этом более, чем в одной своей ипостаси. Я, писатель, бывал еще внутренне занят работой, от которой только что оторвался, а Вы наносили краски на холст под звуки радио или проигрывателя, под музыку Брамса, Бетховена, Шуберта, Цезаря Франка или еще чью-нибудь; идея звуковая всегда соединялась с идеей духовной и с идеей цвета и формы. Насыщение этих часов музыкой было хорошим и умным правилом, которое обоим нам помогало. Слушая музыку, несомненно становишься лучшей, более достойной кисти моделью. По глазам на этом портрете видно, что изображенный слушал музыку. Но если по ним так ясно видно, что художник великолепно использовал этот психологический эффект, то, значит, слушая музыку, становишься лучше и как живописец.

Повторяю, мы много говорили об искусстве, о его единстве и о том, что во всех его разновидностях — будь то живопись, поэзия, музыка или ваяние, — дело идет по существу об одном и том же: о порядке, организации, форме, о выразительности, о гармонии, о новом и добром, об усилении ощущения жизни посредством того, что называют очень туманным словом «прекрасное». Но кажется, мы так и не сказали, в чем, собственно, состоит главный инстинкт искусства и художника, их сокровеннейшая потребность и цель. Это длительность. Это стремление увековечить вещь, опыт, видения, страдания и радости, мир, каким он предстал художнику, а тем самым и свое «я», свою жизнь. Художник — прирожденный противник смерти, бренности. Его цель — не слава, а нечто более высокое, по отношению к чему слава всего только несущественная подробность, — бессмертие.

Мне кажется, дорогой господин Синджер, что в Вашем творчестве эта черта искусства выражена особенно ярко. Это хорошие картины, так принято говорить, но прежде всего это картины долговечные, долговечные благодаря усердию, взыскательности, любви, которые Вы в них вложили, хотя

* Дорогой мистер Синджер (англ.).

даже и материально они отмечены печатью прочности, способности противостоять времени, ведь у Вас есть краски непреходящей световой силы, которые, кажется, никогда не искрошатся и не поблекнут. Ваши paintings* — могучий след Вашего земного бытия. Он останется. И такой след, один из самых ярких и прочных, представляет собой, мне кажется, этот портрет, к долговечности которого приобщен и его объект — моя особа и ее вид, запечатленный на нем со всей силой искусства. Благодаря Вам потомство узнает, если пожелает узнать, как выглядел этот funny fellow**, что написал Magic Mountain и Joseph-stories***. И так как узнает оно об этом через произведение искусства, оно будет знать это даже лучше, чем мои современники.

Вы изобразили меня на определенной ступени моей жизни и в некий поворотный ее момент: на семидесятом году, когда со мной произошло то, о чем я никогда и думать не думал, — когда я сделался американским подданным. Этот маленький праздник, этот vernissage не может не вызвать у меня радости по поводу нового моего положения. Он противоречит легенде о материалистической Америке, которая глуха ко всему духовному, ко всему, что освобождает нас от уз корысти. Это приятный праздник, он не был бы другим ни в Париже, ни во Флоренции XVI века, после какой-нибудь литейной удачи Челлини. Тогда в городе царило веселье, а сердца переполнял тот же клич, который мы повторяем сегодня и здесь: Three cheers for art, for beauty, for durability, for immortality!

Very truly yours****

Томас Манн

126

БРУНО ВАЛЬТЕРУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
21 сент. 1944

Дорогой друг,

как огорчен я безмерной тяжестью, которая на Вас свалилась, не могу передать, хочу только дать Вам это почувствовать своими беспомощными строчками. Знайте же, что все, кто знает Вас, чтит и любит, вместе с Вами подавлены этим горем и полны желания его облегчить, насколько это способно сделать жалкое слово участия. Не следует ли уповать на то, что бедная женщина¹, которой после того нелепо-ужасного удара² жизнь, конечно, в глубине души опостылела, будет скоро каким-то мягким и бессознатель-

* Картины (англ.).

** Забавный малый (англ.).

*** «Волшебную гору» и «Иосифа» (англ.).

**** Троекратное ура искусству, красоте, долговечности, бессмертию! Искренне Ваш (англ.).

ным образом избавлена от нее? Вы будете, если ей выпадет это на долю, горько оплакивать свою многолетнюю спутницу, и все-таки Вам станет легче, а с Вами и нам всем. Знаю, какой бедой и для Вас, отца, было то, прежнее страшное несчастье, знаю, что и Вы вполне не оправитесь от него никогда. И все же мужчине, благодаря его таланту, его труду, его задаче, легче после такого испытания как-то примириться с жизнью, чем женщине, у которой нет таких объективных связей с жизнью. Мне довелось много думать об этих вещах, потому что я потерял двух сестер из-за их добровольного отказа от жизни. У нас, братьев, есть все основания спросить себя, что было бы с нами, если бы не наша работа.

Странно, ведь, казалось бы, дух должен делать человека менее пригодным для жизни, чем женская природа. А он явно повышает его сопротивляемость ей и вообще, видимо, более важен для жизни, чем уверяли нас романтики антидуховности. . .

Это лишь в знак памяти, дорогой друг. Держитесь храбро и верьте, что наша любовь и наше восхищение с Вами всегда!

Ваш Томас Манн

127

ГЕРХАРДУ АЛЬБЕРСГЕЙМУ

Пасифик Пэлисейдз.
7.X.44

Глубокоуважаемый господин доктор Альберсгейм,

большое Вам спасибо за Ваше письмо! Я могу лишь повторить, что Ваш доклад я нашел превосходным и весьма поучительным и как доклад, и как картину нынешнего положения дел. Но мне нужно только поучение — я в слишком малой степени музыкант, чтобы быть вправе вставить и свое слово. Тенденция Вашей статьи — если тут может быть речь о тенденции — не была для меня неожиданной. Только что я слышал нечто очень сходное из уст Эрнста Тоха¹, который, конечно, не думал, что этим он отрекается от своего модернизма. Встречное движение против Шёнберга, Берга², Кшенека³ etc., на которое Вы намекаете, вызвано, безусловно, художественной и общественной необходимостью. Но необходимость была, несомненно, и в самом движении, обладавшем импозантной серьезностью в своей критике эпохи и материала, да и Вас ведь надо понимать в том смысле, что оно не было напрасным.

Кризис во всех искусствах — разве с живописью или с романом положение иное? — связан, видимо, с проблематикой и неоправданностью нашего социального порядка, заставляющего художника либо производить товар, либо хотя бы духовно протестовать против того, что существует. Я лично вялый традиционалист по сравнению с Джойсом или с Пикассо. И все же я хорошо понимаю, как ужасно избитое, и глубоко уважаю презрение к рынку и критическую последовательность в сфере духа и в сфере искусства.

Разговор с Вами о нынешнем положении дел принес бы мне только пользу. Надо надеяться, такая возможность как-нибудь и представится вскоре.

Преданный Вам
Томас Манн

128

МАРИАННЕ ЛИДДЕЛЬ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
8 октября 44*

Глубокоуважаемая фрейлейн,

своим письмом Вы доставили мне искреннюю радость. Мне всегда бывает приятно слышать о читателях немецкого издания¹, хотя это суррогатное издание, вышедшее в Стокгольме без моего присмотра и сфотографированное в Нью-Йорке, полным-полно ошибок, пропусков etc. И все-таки это немецкий ритм, это мои фразы. Как я завидую музыке в том, что она не нуждается в переводе. Надо представить себе музыку, которая не могла бы обойтись без перевода, чтобы понять мою меланхолию и понять, что 1800 немецких экземпляров доставляют мне больше радости, чем 200 000 английских.

Мне любопытно, какое впечатление произведет все вместе как целое, будучи издано сразу двумя томами, как то собирается сделать Кнопф и как, наверно, вскоре и Берман сделает, — если только не окажется, что потребность немцев в чтении, наверстывающим упущенное, была предположением совершенно ошибочным. Ведь все это всегда рисовалось как целое, и разбивка на тома более или менее случайна. Увидит ли в этом потомство чудовищный курьез или, может быть, все-таки юмористическую песню о человечестве, пропетую в самые темные дни, — кто знает! Что какое-то число лучших современников находит в этом радость, уже немалое дело.

Самые дружеские приветы и пожелания!

Томас Манн

129

АГНЕС Э. МЕЙЕР

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
11 окт. 44*

Дорогой друг,

против Вашей резкой критики Хаксли¹ возразить почти нельзя или никак нельзя, и я рад, что тоже решительно отмежевался от духа, от взглядов этой книги — и от этого человека вообще. Это, как Вы совершенно верно говорите, дух крайне западноевропейский, хрупкий, упадоч-

ный. В России его быстро бы образумили, и что Америка отвергает его, это можно только приветствовать. Нельзя желать, чтобы это мистическое пораженчество нашло здесь сочувствие. Меня, который питает к упадку известную слабость да и в болезненности, немного даже гордись своей компетенцией, кое-что смыслит, злила полная глухота рецензий, мне попадавшихся, к прелестям этой книги как романа, прелестям, которых и Вы не можете отрицать. Телефонная сцена с прежней возлюбленной, которая ему читает из старых писем, на одном конце и нынешней на другом, в комнате; смерть дяди; все интриги с вождельным вечерним костюмом и осложнения, из которых мальчик уже не может выпутаться, — все это и другое ново, daring*, интересно, полно язвительной живости. Нужно быть очень уж уверенным моралистом, чтобы это просто отвергнуть. И все-таки и я не отрицаю, что на каждом шагу нравственное мое чувство протестовало. Уже в самом факте, что свою ненависть ко всему плотскому автор использует для того, чтобы изображением радостей плоти привлечь читателя как романист, есть что-то неприятное. Но его ледяное равнодушие ко всему, что для нас первостепенно, что мы ненавидим и что мы любим, поистине возмутительно. Итальянского профессора, покидающего свою тиранизированную страну и отправляющегося в изгнание, совсем не обязательно изображать болваном; что-то в нем да должно быть. И манера, в какой показаны усталость и разочарование социального борца, не свидетельствует о горьком пессимизме, это не обвинение миру, который так трудно улучшить, а дерзкое издевательство над дураком, которому лучше бы печься о благе своей души.

Это книга вовсе не сегодняшнего англичанина, кажется, что она написана 10 лет назад, когда мир еще не понимал и не хотел понимать, что означали события в Италии и Германии. Ведь исходная ситуация этой книги состоит в том, что одна богатая британская семья живет в Италии Муссолини в полном равнодушии ко всему, что там происходит, эстетизированной паразитической жизнью. Изгнанный антифашист должен жить в Англии, а зато англичане живут в прекрасной Италии. Отсутствует какое бы то ни было чувство нравственной тупости, которая в этом заключена и с которой никакое архиаскетическое презрение к миру примирить не способно.

Но я трачу бумагу и время, чтобы говорить Вам то, что Вы и так знаете и ощутили вместе со мной. Книга волнует потому, что она талантлива и ее литературный уровень подкупающе высок. Но она порочна, тут Вы правы. Только у меня самого не совсем чистая совесть, когда речь идет о болезненности и декадансе. У меня ведь уже со времен «Будденброков» рыльце в пушку; «Смерть в Венеции» тоже не безупречна, а теперь в «Докторе Фаустусе» опять в смысле здоровья дело не очень-то чисто. Но можно, пожалуй, по поводу всего этого вспомнить о том но-

* Смело, дерзко (англ.).

веллисте из старого рассказа «У пророка»², о котором сказано: «У него была известная связь с жизнью».

Фаустус вступил в данный момент в фазу светского романа. Действие происходит сейчас в Мюнхене, и я роюсь в своих светских воспоминаниях о Мюнхене 1910 года. Адриану, конечно, не подходит атмосфера этой наивной Капуи, которой потом суждено было стать «колыбелью движения». Я всегда предчувствовал эту судьбу глупости.

Боже мой, Аахен! Значит, нам надо обратить его в пепел и прах. А жители вывесили при этом белые флаги. Роог реорле!* Нацисты хотят предельного разорения и хаоса. Их мысли об этой войне, которую они не считают такой же войной, как всякая другая, очень зловещи. Ни в коем случае не следует посылать в Германию Клауса и Голо. Их бы убили вместо меня.

Позвольте мне закончить не этим мрачным поворотом мыслей, а пожеланием, чтобы Вы снова были на высоте и душевно, и физически и смотрели вперед с надеждой. Тогда я поступлю так же.

Ваш Т. М.

130

АННЕ ДЖЕКОБСОН

Пасифик Пэлсейдз.
19.1.45

Дорогой биограф,

наконец-то — и все-таки снова лишь вкратце:

1) Верно, Иеремиаса¹ я основательно проштудировал. Винклера непосредственно я не читал, но часто встречал цитаты из него. Тенденции Иеремиаса меня не интересовали. Он был только источником, притом на многое меня наведшим.

2) Из трудов В. Ф. Отто² я читал «Богов Греции». Рекомендовал их Карл Кереньи, венгерский мифолог, чьим работам я очень обязан. Хорошая книга.

3) У Хегемана³ все фикция, вернее: он вкладывает в мои уста мною же напечатанное.

4) Ясность Брандеса⁴ всегда была мне отраднa. Я встречался с ним в Мюнхене, когда он читал там лекцию о Вольтере (в начале века), и позднее навещал его в Копенгагене. Он был очень похож на остроумную старуху-сплетницу со злым языком.

5) Конечно, поза, где рука прикрывает подбородок⁵ и бороду, идет от одной из микельанджеловских фигур. Кажется, это кто-то из апостолов. — Я сейчас справился. Это пророк Иеремиа.

Сердечно

Ваш Томас Манн

* Бедняги! (англ.).

131

АННЕ ДЖЕКОБСОН

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
22 февраля 1945

Дорогая фрейлейн Джекобсон!

Наспех, так как я чрезвычайно занят, давно уже просроченные ответы на Ваши вопросы:

Песня о горбатом человеке произвела впечатление на Ганно¹ лишь как стихотворение, не как спетая песня. В первый раз слышу, что ее положили на музыку. Во всяком случае, этой музыки Ганно не знал.

Скверный романс «В темноте лесной, дремучей» написан не Эйхендорфом², а шурином Гёте Христианом Августом Вульпиусом в 1800 году.

Мережковским я очень восхищался как критиком, особенно его книгой «Толстой и Достоевский» и книгой о Гоголе. Романы его всегда производили на меня впечатление неумелости и не оказали на меня никакого влияния.

На статью «Единство человеческого духа»³ я не очень уповаю в смысле опубликования в этой стране. Совершенно не представляю себе, какой тут орган можно иметь в виду. К тому же эта статья, насколько я помню, облечена в форму рецензии на книгу (Иеремиас), что ведь тоже затрудняет английское воспроизведение. Если профессор Луиза Геслер хочет перевести эту вещь наудачу, в какой-то уверенности, что пристроит ее, я, конечно, ничего не имею против.

Клагес⁴, насколько мне известно, никогда не жил в Кюснахте. Жил он, насколько я знаю, всегда где-то у Боденского озера. Что его философию я всегда считал опасной, вы, наверно, знаете. Я с ним однажды, то ли в Берлине, то ли в Мюнхене, встречался мельком. Юнга⁵ я никогда не видел в Швейцарии. Однажды он навестил меня в Мюнхене вместе с кем-то — не помню уж, с кем. Юнг произвел на меня впечатление чрезвычайно умного человека. Его позиция по отношению к нацистам была поначалу довольно сомнительна. Литературных связей никогда не было.

До свидания!

Сердечно

Ваш Томас Манн

132

БРУНО ВАЛЬТЕРУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
1 марта 45

Дорогой Бруно Вальтер,

Эрика написала мне, что Вы — Гофмансталь сказал бы: нескромным образом — прочли в «Ауфбау» отрывок начального куска романа¹ и отметили там ряд музыкально-технических моментов, которые, «по Вашему

убеждению», как она выразилась, никуда не годятся. Конечно, я испуган — хотя еще никак не могу представить себе, что может быть неверного или противного чьим-либо убеждениям в этом ребячестве. Не имеется ли в виду часто отстаиваемый и часто оспариваемый колористический характер разных тональностей? Или «открытие» розы ветров для самих тональностей? Или то, что молодой лаборант додумывается до энгармонической путаницы как средства модуляции? Ведь это и все. Больше ведь ничего нет. И уже чего я вовсе не понимаю — как можно заподозрить, что что-либо из этого внушено Шёнбергом!

Пожалуйста, просветите меня! Если в эти примитивные упоминания мне удалось вставить глупость, над которой специалист посмеется, то у меня не будет более срочного дела, чем убрать ее по Вашему указанию. Верфель, который тоже ведь близок к музыке, *ничего не сказал* мне, когда я как-то раньше читал ему эту главу. Малерша² тоже была при этом. Но какое им дело до того, опозорюсь ли я! Что Вы следите, и следите внимательно, очень хорошо с Вашей стороны.

«Ауфбау» у меня уже нет. Эта ничего не говорящая публикация меня не радовала. Поэтому я посылаю Вам машинописный экземпляр главы, чтобы Вы вспомнили, что Вы имеете в виду, и сказали мне точно.

У меня была сейчас a hell of time* с моими зубами. Оттиски, экстракции, *toute la lyre***. Так я, конечно, не набрал веса, потерянного из-за flu***, и сейчас я нервный старик. Ну, что ж, дело обычное! Может быть, мне тоже следовало передохнуть годик. Но Вы могли в это время писать, а я же не могу для отдыха дирижировать. Это совершенно исключено, говорите что хотите [...]

Моя лекция в Вашингтоне (Germany and the Germans****. Гололед!) назначена на 29 мая. Затем мы поедem на несколько недель в Нью-Йорк. Вы ведь, наверно, будете там? Тогда я расскажу Вам подробнее о романе и какие у меня планы относительно этого интеллектуального музыканта. «Новая», «радикальная» музыка, даже шёнберговская система *воляется* сюда, дорогой друг; ведь не подлежит сомнению, что музыка, как и все другие искусства — и не только искусства! — пребывает в кризисе, который, иногда кажется, грозит самой ее жизни. В литературе он порой затушевывается ироническим традиционализмом. Но все-таки Джойс, например, от которого я в каком-то отношении не так уж далек, для вкуса, сформированного романтическо-реалистическим искусством, такое же оскорбление, как Шёнберг и иже с ним. Кстати, читать я его не могу, хотя бы потому, что для этого надо жить в английскую культуру. А что касается соответствующей музыки, то за меня лично можете не опасаться: я ведь в сущности с головы до ног предрасположен к романтической пошлости, и при хорошем уменьшенном септаккорде у меня все еще льются слезы из глаз.

* Адская пора (англ.).

** Всяческая канитель (франц.).

*** Гриппа (англ.).

**** Германия и немцы (англ.).

В романе речь идет о парализующем действии ума, интеллектуального подхода к этому кризису — и о сделке с дьяволом из потребности в прорыве к вдохновению. Глубокая и полная намеков материя. Музыка как таковая играет тут в сущности лишь символическую роль, — что, конечно, не означает, что фигурирующие тут детали не должны быть *верными*.

Сердечно

Ваш Томас Манн

P. S. Я подумал сейчас, что лучше послать Вам все начало вместе с главой, о которой идет речь. Без всякой атмосферы этот отрывок уж очень убог.

133

ДЖУЗЕППЕ АНТОНИО БОРДЖЕЗЕ

Пасифик Пэлисейдз.
21.III.45

Дорогой Антонио,

очень хорошо ты поступил, прислав нам свою великолепную статью¹, которая, как я с удовлетворением отмечаю, у американцев высокого пошиба, — а к американской совести она и обращена, — вызывает лишь восхищенное одобрение. Мы убедились в этом не далее как вчера, в гостях у писателя Натана², где оказался и Максвелл Андерсон³. Было только одно мнение: что это в высшей степени нужный и в высшей степени заслуживающий благодарности призыв к американскому идеализму, сформулированный притом с большим достоинством. Я согласен с этим и с радостью вижу, как проявляется в твоём произведении платоновский двойной смысл слова «хороший»: как едины здесь нравственное и эстетическое и как прекрасное представляет собой естественную и природную оболочку порядочного. «Оболочка» — уже слово, ведущее не туда. «У природы нет ни ядра, ни шелухи».

А вообще-то мне почти жаль, что итальянскую тему, которую ты по сути имел в виду и из которой можно было бы извлечь куда более прямые эффекты, ты из скромности транспонировал на польские дела. Разве это немного не дешево и чуть ли даже не злбно — именно на примере Польши, которую освободила Россия, и только она, продемонстрировать поражение идеализма и требовать, чтобы мы это поражение хотя бы признали? Неужели мы должны кричать: «Россия заставила нас, видит бог, мы должны были смириться с этим ужасом!»? Это было бы плохим способом доказать нацистам безнадежное единство союзников. Рузвельт ехал в Ялту⁴ с большой тревогой, а вернулся с чувством облегчения, потому что единство как-то все-таки сохранилось. «Политика — это искусство возможного», — говорил Бисмарк. Чистому духу легко издеваться или негодовать по поводу уступок, которые она должна делать, будучи началом посредническим, претворяющим в жизнь. Дух не обязан претворять в жизнь.

А претворить в жизнь прежде всего нужно, по-моему, хотя бы ты и считал это ограниченностью, уничтожение нацистского зверя, — который дипломатично соглашается сложить оружие на Западе, если ему позволят продолжать борьбу против одной России. Какое искушение для мира, давшего некогда «Мюнхен»! Я никогда не отучусь дрожать перед сверх-Мюнхеном, а Ялта, какой бы скверной она ни была, все-таки немного умерила эту дрожь...

В превосходной твоей статье есть фехтовальные выпады высшего класса. Так зачем же еще лицемерно-произвольные выпады, вроде того, что Америка, мол, в своей сфере не вызывает беспокойства своими размерами и своим численным превосходством, а стало быть, и Германии в Европе не надо бояться?.. Ну, знаешь!

Вот тебе немного критики. Твоей статье как произведения и поступка она не может задеть.

Отцовские и дедовские приветы!

Т. М.

134

герману Гессе

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
8 апреля 1945

Дорогой господин Гессе,

давно Вы ничего не слышали о заброшенном судьбою на дикий Запад брате — или кузене — по духу, а были куда как вправе ожидать вестей от него после того удивительного подарка, который Вы сделали миру духовности и этому самому брату лично своим восхитительно зрелым и богатым монументом-романом «Игра в бисер». Но, знаете, сообщения со Швейцарией несколько месяцев не было, — во всяком случае, на нашей стороне почты не принимали, а к тому же еще при прерванном сообщении я вошел в полосу болезни [...] Словом, дело шло явно о возрастном сдвиге, — неважно, во что он облекся, — сдвиге, против которого сказать нечего и после которого до самого дня благочестивой кончины штаны будут мне слишком широки в поясе. При этом выгляжу я так, словно мне 55, особенно когда свежее выбрит, и мой врач, одержимый современной идеей полного отличия чисто цифрового «возраста» от биологического, при каждом визите советует мне не обольщать себя пустыми надеждами. Ну, что ж, придется с легким любопытством понаблюдать за своей долей: The readiness is all*!

Вам выпала доля великолепная и чудесная. В период, когда другие устают (ведь и «Годы странствий»², сравнение с которыми так и напрашивается, не что иное, как совершенно усталая, чинно-склеротическая мешанина), Вы превзошли самого себя и увенчали свое творчество высокодуховным поэтическим произведением, — при всей романтической избыточ-

* Готовность — это все (англ.).

ности, при всей замысловатости, это совершенно цельный, внутренне собранный, полностью завершённый шедевр, где Вы собственноручно подводитесь внашительнейший «итог своей жизни, своего существования».

Книга пришла тогда совершенно неожиданно, я никак не думал, что буду держать ее в руках так скоро после ее выхода в свет. Какое любопытство меня охватило! Я читал ее по-разному, быстро и медленно. Я люблю ее атмосферу серьезной игривости, которая мне, как родная, близка. Ведь сама эта книга, несомненно, очень похожа на партию в бисер, и притом самую достославную, — это, стало быть, одна из тех органических фантазий, обыгрывающих все содержание и все ценности нашей культуры на той ступени игры, где достигнута способность к универсальности, воспарение над факультетами. Такое воспарение, конечно, равнозначно иронии, которая ведь превращает торжественное глубокомыслие мира в лукавую забаву искусства и придает ей комизм, пародируя биографию и исследовательскую степенность. Люди не осмелятся смеяться, а Вы будете втайне злиться на них за их донельзя серьезную почтительность. Я это знаю.

Замешательство тоже было среди чувств, с какими я читал Вашу книгу, — по поводу близости и родства, поражающих меня не впервые, но на сей раз в самую точку, в особенно конкретном смысле. Не странно ли, что я давно уж, с тех пор, как закончился мой «ориенталистский» период, пишу роман, настоящую «книжечку», и в форме биографии, и о музыке? Название такое:

Доктор Фаустус
Жизнь немецкого композитора
Адриана Леверкюна,
рассказанная его другом.

Это история сделки с дьяволом. «Герой» разделяет судьбу Ницше и Гуго Вольфа, и его жизнь, изложенная чистой, любящей, гуманистической душой, представляет собой нечто очень антигуманистическое, дурман и коллапс. *Sapientī sat**. Трудно вообразить себе что-либо более отличное, а сходство все-таки разительное — как это бывает у братьев...

В заключение: неувидительно, что такое «воспаряющее» произведение, как Ваше, выступает против «политизации духа». Ну, что ж, надо только договориться относительно этого мнения. [...]. Если «дух» — это начало, сила, которая желает добра, заботливая чуткость к изменениям в облике истины, «забота о боге», короче, стремление приблизиться к справедливому для данного времени, к надлежащему, к назревшему, тогда он «политичен», находит или не находит он красивым этот эпитет. Я думаю, ничто живое не минует сегодня политики. Отказ — тоже политика; он на руку политике неправого дела. [...]

Всего Вам доброго, дорогой господин Гессе! Держитесь молодцом, как буду стараться и я, чтобы мы снова увиделись!

Ваш Томас фон дер Траве³.

* Умною достаточно (лат.).

135

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
24 апреля 45

Дорогой друг,

пишу Вам в Вашингтон и на тот случай, если Вы еще в отъезде. Вашу почту Вам, конечно, пересылают.

Мы были в восторге от Вашей телеграммы со счастливым известием. Это называется семья в цвету! Катя решила написать Вам особо. При всей своей занятости она не хочет лишиться себя этого. С матерью и ребенком, надо думать, все в полном порядке. Пусть новому citizen* земли живется легко!

Ваше письмо от воскресенья пришло сегодня. Дорогой друг, мне все эти дни было не по себе от сознания, что Вы чувствуете себя обязанной что-то сказать об этих главах романа. Это ведь вряд ли возможно, и я бы Вас с удовольствием избавил от этого. Своей короткой дружеской характеристикой Вы теперь сняли с меня эту заботу. Наверно, так: завлекательность, присущая общему замыслу, побеждает до некоторой степени и в частях хоть и необходимых, но трудных. Начало беседы с чертом хорошее, и хороша она будет еще раз при описании ада. В промежутке много педантизма, отбросить который я не мог и не имел права. Бог весть, получится ли в целом нечто съедобное. Закончив несколько вытребованных у меня промежуточных работ, broadcasts**, застольных речей и т. п., которым я был в известной мере рад как занятию в состоянии утомления, чтобы не сказать: отвращения, я сейчас возобновил работу над следующей главой и буду продолжать ее — с постоянным чувством, что это эксперимент и, может быть, невыполнимый. «Иосиф» был по сравнению с этим невинной детской игрой, ибо довольно-таки изнурительно еще и защищать что-то страшное от того, чтобы оно показалось смешным. А вымышленное изображение гения куда как легко может показаться смешным.

Исторические события дают моему занятию, не лишенному внутренней связи с ними, подходящий аккомпанемент. Ужасно, ужасно! Несмотря на Ваше успокоительное одобрение, мне немного страшно за мой доклад, ибо я спрашиваю себя, снесут ли его именно теперь, после всего пережитого из-за Германии и в самой Германии. И все же самое лучшее и самое верное в нем — это выражение моей солидарности с немецкой бедой и отрицание двух Германий — «доброй» и «злой». Патриотическая эмиграция — а она сейчас неимоверно патриотична — в обиде на меня за то, что я считаю, что эта катастрофа распространяется на все немецкое, на немецкую историю, на немецкий дух. А как же иначе? Можно ли, будучи немцем, не стыдиться, не воспринимать это как величайший позор, когда теперь злодеяния нацистов предстают перед глазами иностранных комиссий?

* Гражданину (англ.).

** Радиопередач (англ.).

Правда, не следовало бы, может быть, говорить им: «Глядите, это Германия», а следовало бы говорить: «Глядите, это фашизм! Вот на какие дела он способен, и в любой стране, которая ему покорится, он будет способен на них». Так надо бы учить.

Позвольте ли мне, дорогой друг, поскорбеть о великом человеке? ¹ Мне кажется, что с тех пор, как он умер, это уже не та страна, в какую я приехал. Я написал некролог, который по-немецки опубликован в «Ауфбау» и будет опубликован по-английски в «Фри Уорлд» ².

Я хотел бы, чтобы вы прочли его по-немецки.

Сердечно преданный Вам

Т. М.

136

ГЕНРИХУ МАННУ

Сент-Риджис, Нью-Йорк.
9 июня 45

Дорогой Генрих,

строчки письма, которые ты еще прибавил к великолепной статье в «Рундшау» ¹ я, как и статью, не мог читать без слез. Позволь мне поблагодарить тебя, насколько это осуществимо в суете этих дней, — я не искал ее, но, как-никак, и не избежал, не избежал из «приветливости», — за всю твою любовь и верность, которая не взволновала бы меня так, если бы моя душа горячо не отвечала ей тем же.

Вообще же не так-то просто, при всем том, что мне оказывают сейчас добрые люди, надлежаще держаться внешне и внутренне. Растроганность тоже очень смешна. Надо воспринимать это больше как нервное усилие и не ударить лицом в грязь, несмотря на основательный скепсис, больше того, меланхолическую уверенность, что самому-то виднее. Иосиф ² прекрасно знает, что его жизнь была «игрой и намеком на благодать». С другой стороны, есть и Иуда ², который говорит про себя: «Кто бы подумал. Каплет на мою голову. Боже, помоги мне, но это я». Устами обоих говорит доля опыта.

Твоя статья, разумеется, гвоздь берманского номера ³, она восхитительна в личной своей части, особенно волнует она воспоминаниями о папе, о котором и мне так часто в жизни случалось думать, и это чудесный документ, из которого видны братские разновидности нашей связи с Германией. Проза неповторима. У меня не в первый раз возникает чувство, что эта насыщенная и интеллектуально могучая простота есть язык будущего, язык нового мира.

До свидания, как только мы вернемся!

Т.

137

ВАЛЬТЕРУ ФОН МОЛО

7 сентября 1945

Дорогой господин фон Моло!

я должен поблагодарить Вас за очень любезное поздравление по случаю моего дня рождения и вдобавок за открытое письмо ко мне, переданное Вами немецкой прессе и в отрывках попавшее также в американскую. В нем еще сильнее и настойчивее, чем в частных письмах, высказывается желание, более того — обязывающее требование, чтобы я вернулся в Германию и поселился там снова, «чтобы помогать советом и делом». Вы не единственный, кто обращается ко мне с этим призывом; он, как мне сообщили, последовал и со стороны находящегося под русским контролем Берлинского радио, а также со стороны органа объединенных демократических партий Германии — с подчеркнутой мотивировкой, что «в Германии» мне надлежит «выполнить свою историческую миссию».

Казалось бы, я должен быть рад, что снова понадобился Германии — понадобился я сам как человек, лично, а не только мои книги. И все же эти обращения меня чем-то тревожат и удручают, я чувствую в них какую-то нелогичность, даже несправедливость и опрометчивость. Вы прекрасно знаете, дорогой господин фон Моло, как дороги в Германии «совет и дело» сегодня, при том почти безвыходном положении, в какое поставил себя наш несчастный народ, и я сильно сомневаюсь в том, что человек уже старый, к сердечной мышце которого это головокружительное время успело уже предъявить свои требования, сможет непосредственно, лично, физически, существенно помочь людям, так волнующе Вами изображенным, оправиться от их глубокой подавленности. Но это не главное. Обращаясь ко мне с подобными призывами, не задумываются, по-моему, и над техническими, юридическими и психологическими трудностями, препятствующими моему «возвращению».

Разве можно сбросить со счетов эти двенадцать лет и их результаты или сделать вид, что их вообще не было? Достаточно тяжким, достаточно ошеломляющим ударом была в тридцать третьем году утрата привычного уклада жизни, дома, страны, книг, памятных мест и имущества, сопровождавшаяся постыдной кампанией отлучений и отречений на родине. Я никогда не забуду ни той безграмотной и злобной шумихи в печати и радио, которую подняли в Мюнхене по поводу моей статьи о Вагнере¹, той травли, после которой я только и понял по-настоящему, что обратный путь мне отрезан; ни мучительных поисков слова, попыток написать, объяснить, ответить, «пишем в ночь», как назвал эти задушевные монологи Рене Шикеле, один из многих ушедших от нас друзей. Достаточно тяжело было и дальнейшее — скитания из одной страны в другую, хлопоты с паспортами, жизнь на чемоданах, когда отовсюду слышались позорнейшие истории, ежедневно поступавшие из погибшей, одичавшей, уже совершенно чужой страны. Всего этого не изведal никто из вас, присягнувших на верность «осеннему благодатью вождю» (вот она, пьяная образован-

ность, — ужасно, ужасно!) и подвизавшихся под началом Геббельса на ниве культуры. Я не забываю, что потом вы извели кое-что похуже, чего я избежал; но это вам незнакомо: удушье изгнания, оторванность от корней, нервное напряжение безродности.

Иногда я возмущался вашими преимуществами. Я видел в них отрицание солидарности. Если бы немецкая интеллигенция, если бы все люди с именами и мировыми именами — врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники — единодушно выступили тогда против этого позора, если бы они объявили всеобщую забастовку, многое произошло бы не так, как произошло. Каждый, если только он случайно не был евреем, всегда оказывался перед вопросом: «А почему, собственно? Другие же сотрудничают. Вряд ли это так уж страшно».

Повторяю: иногда я возмущался. Но никогда, даже в дни самого большого вашего торжества, я не завидовал вам, которые там остались. Я слишком хорошо знал, что эти дни торжества — всего лишь кровавая пена и что от нее скоро ничего не останется. Завидовал я Герману Гессе, в чьем обществе находил в те первые недели и месяцы поддержку и утешение, — завидовал потому, что он давно был свободен, вовремя отойдя в сторону с как нельзя более точной мотивировкой: «Немцы — великий, значительный народ, кто станет отрицать? Может быть, даже соль земли. Но как политическая нация они невозможны! В этом отношении я хочу раз навсегда с ними порвать». И жил себе в безопасности в своем монтаньольском доме, в саду которого играл в бочка со своим растерянным гостем.

Медленно, медленно налаживались тогда дела. Появились первые пристанища, сначала во Франции, потом в Швейцарии, неприкаянность сменилась относительным успокоением, оседлостью, постоянным местожительством, возобновилась брошенная работа, казавшаяся уже безвозвратно загубленной. Швейцария, традиционно гостеприимная, но из-за своего опасно могущественного соседа обязанная соблюдать нейтралитет даже морально, разумеется, не могла скрыть некоторого смущения и беспокойства по поводу присутствия гостя без документов, который был в таких плохих отношениях со своим правительством, и требовала «такта». Потом пришло приглашение из американского университета, и вдруг, в этой гигантской свободной стране, всякие разговоры о «такте» прекратились, и кругом была только откровенная, незапуганная, декларативная доброжелательность, радостная, безудержная, под девизом: «Thank you, Mr. Hitler!» * У меня есть некоторые причины, дорогой господин фон Моло, быть благодарным этой стране и есть причины показать ей свою благодарность.

Ныне я американский подданный, и задолго до страшного поражения Германии я публично и в частных беседах заявлял, что порывать с Америкой не собираюсь. Мои дети, из которых два сына еще и сегодня служат в американской армии, прижились в этой стране, у меня подрастают внуки, говорящие по-английски. Да и сам я, тоже прочно уже осевший

* Спасибо, м-р Гитлер (англ.) [за то, что Томас Манн оказался в Америке].

на этой земле и связанный с Вашингтоном и главными университетами Штатов, присвоившими мне свои *honorary degrees**, почетными связями, построил себе на этом великолепном побережье, где все дышит будущим, дом, под защитой которого хотел бы довести до конца труд моей жизни в атмосфере могущества, разума, изобилия и мира. Прямо скажу, я не вижу причины отказываться от выгод моего странного жребия, после того как испил до дна чашу его невыгод. Не вижу потому, что не вижу, какую службу смог бы я сослужить немецкому народу — и какую не смог бы ему сослужить, находясь в Калифорнии.

Что все сложилось так, как сложилось, — дело не моих рук. Вот уж нет! Это следствие характера и судьбы немецкого народа — народа достаточно замечательного, достаточно трагически интересного, чтобы по его милости многое вытерпеть, многое снести. Но уж и с результатами тоже нужно считаться, и нельзя сводить дело к банальному: «Вернись, все прощено!»

Избави меня бог от самодовольства! Нам за границей легко было вести себя добродетельно и говорить Гитлеру все, что мы думаем. Я не хочу ни в кого бросать камень. Я только робею и «дичусь», как говорят о маленьких детях. Да, за все эти годы Германия стала мне все-таки довольно чужой: это, согласитесь, страна, способная вызывать опасения. Я не скрываю, что боюсь немецких руин — каменных и человеческих. И я боюсь, что тому, кто пережил этот шабаш ведьм на чужбине, и вам, которые плясали под дудку дьявола, понять друг друга будет не так-то легко. Могу ли я быть равнодушен к полным долго таившейся преданности приветственным письмам, приходящим сейчас ко мне из Германии! Это для меня настоящая, трогательная отрада сердца. Но радость мою по поводу этих писем несколько умаляет не только мысль, что, победи Гитлер, ни одно из них не было бы написано, но и некоторая нечуткость, некоторая бесчувственность, в них сквозящая, заметная хотя бы даже в той наивной непосредственности, с какой возобновляется прерванный разговор, — как будто этих двадцати лет вообще не было. Приходят теперь порою и книги. Признаться ли, что мне неприятно было их видеть и что я спешил убрать их подальше? Это, может быть, суеверие, но у меня такое чувство, что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Германии с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом пустить в макулатуру.

Непозволительно, невозможно было заниматься «культурой» в Германии, куда кругом творилось то, о чем мы знаем. Это означало прикрашивать деградацию, украшать преступление. Одной из мук, которые мы терпели, было видеть, как немецкий дух, немецкое искусство неизменно покрывали самое настоящее изуверство и помогали ему. Что существовали занятия более почетные, чем писать вагнеровские декорации для гитлеровского Байрейта², — этого, как ни странно, никто, кажется, не чувствует. Ездить по путевке Геббельса в Венгрию или какую-нибудь другую

* Почетные звания (англ.).

немецко-европейскую страну и, выступая с умными докладами, вести культурную пропаганду в пользу Третьей империи — не скажу, что это было гнусно, а скажу только, что я этого не понимаю и что со многими мне страшно увидаться вновь.

Дирижер, который, будучи послан Гитлером, исполнял Бетховена в Цюрихе, Париже или Будапеште, становился виновным в непристойнейшей лжи — под предлогом, что он музыкант и занимается музыкой и больше ничем. Но прежде всего ложью была эта музыка уже и дома. Как не запретили в Германии этих двенадцати лет бетховенского «Фиделио», оперу по самой природе своей предназначенную для праздника немецкого самоосвобождения? Это скандал, что ее не запретили, что ее ставили на высоком профессиональном уровне, что нашлись певцы, чтобы петь, музыканты, чтобы играть, публика, чтобы наслаждаться «Фиделио». Какая нужна была тупость, чтобы, слушая «Фиделио» в Германии Гиммлера, не закрыть лицо руками и не броситься вон из зала!

Да, много писем приходит теперь с чужой и зловещей родины через посредство американских sergeants и lieutenants — и не только от людей выдающихся, но и от людей молодых и простых, и примечательно, что из этих последних никто не советует мне поскорее вернуться на родину. «Оставайтесь там, где Вы находитесь!» — говорят они попросту. «Проведите остаток жизни на Вашей новой, более счастливой родине! Здесь слишком грустно...» Грустно? Если бы только это, если бы не было вдобавок неизбежной и долго еще неизбежной вражды и злобы. Недавно я получил от одного американца, как своего рода трофей, старый номер немецкого журнала «Фольк им Верден» от марта 1937 года (Ганзейское издательство, Гамбург), вышедшего под редакцией одного высокопоставленного нацистского профессора и почетного доктора. Фамилия его, правда, не Криг*, но Крикк, с двумя «к». Это было жуткое чтение. Среди людей, говорил я себе, которых двенадцать лет подряд пичкали подобными снадобьями, жить трудно. У тебя было бы там, говорил я себе, несомненно, много добрых и верных друзей, старых и молодых, но и много притаившихся в засаде врагов — врагов, правда, побитых, но они всех опасней и злей...

Но, дорогой господин фон Моло, все это только одна сторона дела; другая тоже имеет свои права — права на слово. То глубокое любопытство и волнение, с каким я принимаю любую, прямую или косвенную, весть из Германии, та решительность, с какой я отдаю ей предпочтение перед всяким другим известием из большого мира, занятого теперь собственной перестройкой и очень равнодушного к второстепенной судьбе Германии, — они ежедневно показывают мне снова и снова, какими нерасторжимыми узами связан я все же со страной, которая меня «лишила гражданства». Американец и гражданин мира — отлично. Но куда деться от того факта, что мои корни — там, что, несмотря на все свое плодотворное восхищение чужим, я живу и творю в немецкой традиции, если даже время

* Krieg — война (нем.).

и не позволило моему творчеству стать чем-то другим, нежели затухающим и уже полупародийным отголоском великой немецкой культуры.

Никогда я не перестану чувствовать себя немецким писателем, и даже в те годы, когда мои книги жили лишь на английском языке, я оставался верен немецкому языку — не только потому, что был слишком стар, чтобы переучиваться, но и от сознания, что мое творчество занимает в истории немецкого языка свое скромное место. Мой роман о Гёте, написанный в самые черные дни Германии и проникший к вам в нескольких экземплярах, никак нельзя назвать свидетельством забвения и отречения. Да и от слов: «Но я стыжусь часов покоя, стыжусь, что с вами не страдал»³ я могу воздержаться. Германия никогда не давала мне покоя. Я «страдал с вами», и это не было преувеличением, когда я в письме в Бонн⁴ говорил о тревоге и муке, о «нравственной боли, которую не утихавшей ни на один час в течение четырех лет моей жизни, боли, которую мне приходилось преодолевать изо дня в день, чтобы продолжать свою работу художника». Довольно часто я вовсе не пытался преодолеть ее. Полсотни радиопосланий в Германию (или их больше?), которые печатаются сейчас в Швеции, — пусть эти то и дело повторявшиеся заветы засвидетельствуют, что довольно часто другие дела казались мне более важными, чем «искусство».

Несколько недель назад я выступал в Library of Congress* в Вашингтоне с докладом на тему: «Germany and Germans»**. Я написал его по-немецки, и он появится в ближайшем номере журнала «Нейе Рундшау», воскресшего в июне 1945 года. Это была психологическая попытка объяснить образованной американской публике, как могло все так случиться в Германии, и мне оставалось только восхищаться той спокойной готовностью, с которой эта публика принимала мои объяснения через такой ничтожный срок после окончания страшной войны. Нелегко мне было, конечно, не сбиться, с одной стороны, на неподобающую апологию, а с другой — на отречение, которое мне тоже было бы совсем не к лицу. Но в какой-то мере мне это удалось. Я говорил о том исполненном милости парадоксе, что зло на земле часто оборачивается добром, и о том дьявольском парадоксе, что от добра часто рождается зло. Я коротко рассказал историю немецкой «внутренней жизни». Теорию о двух Германиях, Германии доброй и Германии злой, я отверг. Злая Германия, заявил я, — это добрая на ложном пути, добрая в беде, в преступлениях и в гибели. Не затем, продолжал я, пришел я сюда, чтобы, следуя дурному обычаю, представлять себя миру как добрую, благородную, справедливую Германию, как Германию в белоснежной одежде. Все, что я пытаюсь сказать о Германии своим слушателям, подчеркнул я, идет не от стороннего, холодного, бесстрастного знания: все это есть и во мне, все это я изведал на собственной шкуре.

Это было, можно, пожалуй, сказать, выражением солидарности — в рискованнейший момент. Не с национал-социализмом, разумеется, отнюдь

* Библиотека Конгресса (англ.).

** Германия и немцы (англ.).

нет. Но с Германией, которая в конце концов ему поддалась и заключила сделку с чертом. Сделка с чертом — искушение глубоко старонемецкое, и темой немецкого романа, рожденного страданиями последних лет, страданием из-за Германии, должно быть, думается мне, это ужасное обещание. Но даже в отношении души одного Фауста злой гений оказывается в величайшей нашей поэме в конечном счете все же обманут, и не нужно думать, будто Германией окончательно завладел дьявол. Милость выше всяких подписанных кровью сделок. Я верю в милость, и я верю в будущее Германии, как ни бедственно ее настоящее и каким бы безнадежным ни казалось ее разорение. Довольно разговоров о конце немецкой истории! Германия неравнозначна тому короткому и мрачному историческому эпизоду, который носит имя Гитлера. Она неравнозначна и Бисмарковской, короткой в сущности, эре прусско-германской империи. Она неравнозначна даже тому всего лишь двухвековому отрезку своей истории, который можно назвать именем Фридриха Великого. Она собирается принять новый облик, перейти в новое состояние, которое, может быть, после первых мук перемены и поворота, сулит ей больше счастья и подлинное достоинство, отвечая самым специфическим нуждам и потребностям нации больше, чем прежде.

Разве мировая история кончилась? Она весьма даже энергично движется, и история Германии заключена в ней. Правда, политика силы продолжает довольно грубо предостерегать нас от слишком больших ожиданий; но разве не остается надежды, что волей-неволей, по необходимости, будут предприняты первые пробные шаги к такому состоянию мира, когда национальная обособленность девятнадцатого века постепенно сойдет на нет? Мировая экономическая система, уменьшение роли политических границ, известная деполитизация жизни государств вообще, пробуждение в человечестве сознания своего практического единства, первые проблески идеи всемирного государства — может ли весь этот далеко выходящий за рамки буржуазной демократии *социальный гуманизм*, за который идет великая борьба, быть чужд и ненавистен немецкой душе? В ее страхе перед миром всегда было так много желания выйти в мир; за одиночеством, которое сделало ее злой, таится — кто этого не знает — желание любить и вызывать любовь. Пусть Германия вытравит из себя спесь и ненависть, и ее полюбят. Она останется, несмотря ни на что, страной огромных ценностей, которая может рассчитывать на трудолюбие своих людей и на помощь мира, страной, которую, когда будет позади самое трудное, ждет новая, богатая свершениями и почетом жизнь.

Я далеко зашел в своем ответе, дорогой господин фон Моло. Простите! В письме в Германию хотелось высказать многое. И вот что еще: наперекор той великой изнеженности, которая зовется Америкой, мечта еще раз почувствовать под ногами землю старого континента не чужда ни моим дням, ни моим ночам, и, когда придет час, если я буду жив и если это позволят сделать транспортные условия и достопочтенные власти, я поеду туда. А уж когда я там окажусь, то, наверно, — такое у меня предчувствие, — страх и отчужденность, эти продукты всего лишь двенадцати лет,

не устоят против той притягательной силы, на стороне которой воспоминания большей, тысячелетней давности. Итак, до свидания, если будет на то воля божья.

Томас Манн

138

РУДОЛЬФУ В. БЛУНКУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
19 ноября 1945*

Многоуважаемый господин Блунк!

Я получил Ваше любезное письмо от 6 ноября и выражаю Вам свое сочувствие по поводу неприятностей, которые выпали сейчас на долю Вашего брата, доктора Фридриха Блунка. Но даже если бы я верил в свою способность влиять на решения британской военной администрации больше, чем верю в действительности, я не был бы в состоянии в данном случае что-либо предпринять. Поведение Вашего брата в годы нацизма не дает мне для этого никаких оснований, и я вызвал бы справедливое недоумение, если бы вступился сейчас за него.

Никто, конечно, не будет считать Вашего брата «war criminal» * в каком-то узком смысле слова. Но не забывайте, что в течение всех этих двенадцати лет он, как председатель нацистской «Имперской палаты по делам печати», занимал официальное, очень заметное положение внутри нацистской культуры, что он пользовался всеми благами, вытекавшими из этого положения, и не должен удивляться, если после краха режима, при котором и в сотрудничестве с которым протекала его деятельность, некая неудача постигает и его лично.

Эрнст Вихерт¹, писатель очень немецкий, с самого начала выступивший против нацистского режима с большим мужеством и жестоко из-за этого пострадавший, приводит цитату из письма, посланного ему Вашим братом, где тот говорит, что «новое государство впервые после многих веков, может быть, даже впервые со времен Вальтера фон дер Фогельвейде², вернуло достоинство немецкому искусству». А ведь это уж никак не укладывается в понятие «чисто немецкое», которым Вы характеризуете поведение Вашего брата.

Придется нам, пожалуй, утешиться тем, что английские лагеря безусловно отличаются от нацистских концентрационных лагерей, в одном из которых томился такой человек, как Эрнст Вихерт, без какого бы то ни было протеста со стороны его коллег в Германии. Да и вряд ли арест будет очень длительным, и мы вправе надеяться, что скоро у Вашего брата будет возможность служить своим выдающимся талантом восстановлению Германии и поправить собственные дела.

С приветом и совершенным почтением

Преданный Вам

Томас Манн

* Военным преступником (англ.).

139

АЛЬБЕРТУ ЭЙНШТЕЙНУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
27 ноября 1945

Глубокоуважаемый господин профессор Эйнштейн!

Простите за беспокойство, но мне хочется по двум поводам узнать Ваше мнение и Вашу позицию. Прилагаю письмо некоего Александра Штерна из Найроби, который, по его словам, хочет и к Вам обратиться со своим предложением о создании Всеобщей организации эмигрантов. Мне очень интересно Ваше мнение об этом деле, которое ведь на первый взгляд не кажется неразумным, но, по-моему, заходит в своих политических честолюбивых намерениях чересчур далеко. Если Вы выдвинете условия и ограничения, я был бы очень благодарен, если бы Вы мне сообщили о них.

Во-вторых, сегодня у меня был один музыкант, по имени Франц Ваксман¹, который представил мне план благодарственного приношения международной иммиграции в Америке. Речь идет о знаменитом портрете президента Вашингтона работы Джильберта Стюарта, который подлежит продаже и который намереваются, собрав \$ 75 000, — такова цена этого исторического полотна, — подарить Белому дому. Мне очень не по душе этот план, не соответствующий, по-моему, нынешнему нравственному состоянию страны, растущей враждебности к иностранцам, растущему антисемитизму и т. д. Кроме того, справедлив был бы упрек, что такой сбор денег лучше провести в пользу голодающих европейских детей, чем для какого-то подарка, который немного отдает подхалимством и желанием снискать благосклонность. И тут тоже я был бы чрезвычайно Вам благодарен, если бы Вы сообщили мне Ваше мнение.

С сердечным приветом

Преданный Вам
Томас Манн

140

ВИКТОРУ МАННУ

Пасифик Пэлисейдз.
15. XII. 1945

Дорогой брат Вико,

Вчера через посредство доброго господина Солма пришло твое последнее послание, опять со старыми трогательными фотографиями [...].

Я ведь еще не поблагодарил тебя за два других подробных и содержательных письма. Кому ты все это говоришь, дорогой мой, когда ты пишешь во втором, от 12 ноября, о совинности внешнего мира в немецкой беде и в немецких грехах! У нас за границей никогда не отсутствовало полное понимание этой совинности, и ты просто не знаешь, как подробно и горько написал я в свое время в статью, озаглавленной «Этот мир», о вине

демократии. Я писал эту книжечку, которая вышла на английском языке в Нью-Йорке, а на немецком в Стокгольме, сразу после нашего приезда в Принстон, под ужасным впечатлением мюнхенской капитуляции демократии перед фашизмом, и там дан весь перечень грехов тех стран, которым пришлось потом заплатить за свое фальшивое и безнравственное миролюбие войной. Все можно было предвидеть так ясно, что результат кажется прямо-таки запоздалым и скучным. К тому же он в большей своей части неутешителен, на что ты тоже совершенно справедливо намекаешь в своем письме. Нам и отсюда хорошо видны ошибки, которые делают союзники в обращении с Германией. Предпочтение отдают не тем и проявляют суровость там, где надо бы быть мягче. С другой стороны, надо признать, что немцам угодить трудно [...].

Очень заинтересовали нас, конечно, шаги, предпринимаемые тобой по поводу дома в Герцогпарке. У меня была бы не совсем чистая совесть, если бы его восстановили на государственный счет, имея в виду наше скорое возвращение туда. Но сознание, что нас снова ждет в Мюнхене настоящий дом, было бы все-таки как-то отрадно. Так или иначе, мы ведь надеемся в обозримом будущем там побывать.

Вторую посылку, содержащую прежде всего шерстяное белье из моего собственного запаса (поскольку сейчас и здесь такого не купишь), а также наши фотографии и кое-какую снедь, мы отправили уже недели две назад. Я немного беспокоюсь: дойдет ли все в целости и сохранности. Пропадает пугающе многое, и получил ли ты хоть первую, еще неизвестно. Крадут во всем мире, неудивительно, поскольку весь мир обеднел и обнищал.

Рукописи, взятые на хранение Гейнсом¹, видимо, увы, безвозвратно пропали. Его показания, впрочем, советнику юстиции Фейгу действительности не соответствуют. Переправить рукописи через границу мы никому чешскому курьеру не поручали, вместе со всем легально вывезенным имуществом одного надежного знакомого, имевшего на руках нашу доверенность, они должны были быть доставлены морем прямо в Соединенные Штаты, что могло быть сделано без всякого риска, и непростительно, что Гейнс, которому я доверил эти бумаги как нашему адвокату, отказался их выдать. Если он считал это своим долгом, ему следовало в момент конфискации моего имущества передать их государству, но задерживать их вопреки моему ясно выраженному желанию он не имел никакого права. Я могу усмотреть в этом только намерение завладеть моими материальными ценностями, намерение, из которого у него ничего не вышло и которое нанесло мне трудноисчислимый ущерб.

Если не к рождеству, то, наверно, все же до конца года это письмо до тебя дойдет, и мы оба желаем тебе и Нелли², за чьи собственноручно написанные строки я еще особо благодарю, хорошего, бодрого Нового года, лучшего, по крайней мере, будем надеяться, чем те, что сейчас прошли.

Сердечно

Твой Т.

141

ТЕОДОРУ В. АДОРНО

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
30 дек. 1945

Дорогой доктор Адорно,

мне хочется написать Вам письмо о рукописи, которую я недавно оставил у Вас и которую Вы, наверно, уже собираетесь читать. У меня нет чувства, что при этом я прерываю свою работу.

В сознании, что эта диковинная, невозможная композиция (в той мере, в какой она налицо) находится в Ваших руках, есть для меня что-то тревожное; ибо в учащающиеся периоды усталости я спрашиваю себя, не лучше ли бросить ее, и от того, как Вы к ней отнесетесь, немного зависит, буду ли я ее продолжать.

Прокомментировать мне не терпится главным образом принцип монтажа, необычно и, может быть, довольно непристойно проходящий через всю эту книгу — совершенно откровенно, без всякой утайки. Недавно он снова, полузабавным-полужутковатым образом, бросился мне в глаза, когда мне нужно было описать кризис болезни героя и я, слово в слово, включил в книгу симптомы Ницше, взяв их из его писем вместе с предписаниями диеты etc. и вклеив их, так сказать, всем напоказ. По принципу монтажа использовал я и мотив остающейся невидимой, никогда не встречаемой, избегаемой во плоти поклонницы и возлюбленной, госпожу Мекк Чайковского. Этот исторический, общеизвестный материал я вклеиваю и затушевываю края, погружая его в свою композицию как мифически вольную тему, принадлежащую каждому. (Любовная связь — это для Леверкюна средство обойти наложенный чертом запрет на любовь, пункт о холоде.)

Другой пример: под конец книги я открыто и оперируя цитатами пускаю в ход тему шекспировских сонетов: треугольник, где друг посылает к любимой друга, чтобы тот добился для него ее руки, — а тот «добивается ее руки для себя». Конечно, я это видоизменяю: друга, которого он любит, Адриан убивает, навлекая на него связью с той женщиной смертоносную ревность (Инеса Родде). Но это мало что меняет в нагло-воровском характере такого заимствования.

Ссылки на мольеровское «Je prends mon bien où je le trouve»*, мне самому кажется, не вполне достаточно для оправдания этой манеры. Можно было бы говорить о старческой склонности видеть жизнь как продукт культуры и в форме мифических клише, которые ты, в своей склеротической степенности, предпочитаешь «самостоятельной» выдумке. Но я слишком хорошо знаю, что уже на ранних порах упражнялся в некоем высоком списыванье: например, для изображения тифа у маленького Ганно Будденброка я, не стесняясь, выписал статью из энциклопедического словаря, «переложил ее в стихи», так сказать. Получи-

* Я беру свое добро там, где его нахожу (франц.).

лась знаменитая глава. Но заслуга ее лишь в известном одухотворении механически усвоенного (и в уловке косвенного упоминания о смерти Ганно).

Труднее, чтобы не сказать: скандальнее, обстоит дело тогда, когда присваивается материал *сам по себе уже духовный*, то есть совершается самое настоящее литературное заимствование, но с таким видом, будто подхваченное как раз достаточно хорошо, чтобы служить твоей собственной композиции. Вы по праву полагаете, что тут я имею в виду дерзкое — и, надо надеяться, не вовсе бестолковое — запускание рук в Ваши музыкально-философские работы, которое тем более нуждается в извинениях, что читатель пока что не может установить такового, — ведь нет же никакой возможности, не жертвуя иллюзией, указать на него (Сноска: «Это взято у Адорно-Визенгрунда¹»? Так нельзя...) Странное дело: моя связь с музыкой пользуется некоторой славой, я всегда знал толк в литературном музицировании, всегда чувствовал себя наполовину музыкантом, всегда переносил на роман технику музыкальной ткани, и еще недавно, например, Эрнст Тох в своем поздравлении ясно и убедительно засвидетельствовал мою «музыкальную посвященность». Но чтобы написать роман о музыканте, иногда даже намекающий на свое честолюбивое притязание стать среди прочего, одновременно с прочим, романом музыки, — для этого нужно нечто большее, чем «посвященность», нужна *образованность*, которой у меня просто-напросто нет. Потому-то я с самого начала и решил не страшиться в книге, и без того склонной к принципу монтажа, никаких заимствований, никаких вспомогательных запусков рук в чужое добро, — уповая на то, что внутри моей композиции все подхваченное, все перенятое вполне может обрести самостоятельную функцию, собственный символический смысл — и при этом *ничего не утратить* на своем исконном критическом месте.

Хотел бы я, чтобы Вы разделяли это мнение... Фактически благодаря Вам я, чье музыкальное образование еле-еле выходит за пределы позднего романтизма, получил представление о современной музыке, необходимое мне для книги, тема которой, вместе со многим другим, — *положение искусства*. Мое «посвященное» невежество нуждалось, точно так же, как при тифе у маленького Ганно, в *точных деталях*, и это теперь Ваша любезность — вносить поправки, когда эти точные детали, нужные для композиции и для создания иллюзии, оказываются недостоверными, спорными и вызывают смех у специалистов. Я прочитал Бруно Вальтеру куски об орис III. Он был *в восторге*. «Ну, это великолепно! О Бетховене никто лучше не говорил! Понятия не имел, что Вы так проникли в него!» И при этом я вовсе не хочу так уж непреклонно брать в судьи только специалистов. Именно специалист в области музыки, всегда очень гордящийся своим тайным знанием, слишком уж, по-моему, предрасположен к высокомерной усмешке. С осторожностью и *cum grano salis** можно сказать, что иное могло бы казаться правильным,

* «Со щепоткой соли», т. е. с долей юмора (лат.).

выглядеть правильным, не будучи таковым в строгом смысле... Но я не хочу Вас задабривать...

Роман дошел уже до того, что Леверкюн, в 35 лет, на первой волне эйфорического вдохновения, сочиняет на основе 15 листов Дюрера и непосредственно на основе текста «Откровения» свое главное или первое главное произведение — «Apocalipsis cum figuris»*. Здесь нужно с известной силой внушения вообразить, сделать реальным, описать некое произведение (которое я представляю себе очень немецким, ораторией с оркестром, хорами, солистами и чтецом), и письмо это я пишу в сущности для того, чтобы не отвлекаться от задачи, к которой еще никак не решусь приступить. Мне нужно несколько характеризующих, создающих видимость реальности точных деталей (обойтись можно немногими), которые дадут читателю более или менее понятную, даже убедительную картину. Не подумаете ли Вы вместе со мной, как выполнить это произведение, — я имею в виду произведение Леверкюна; как сделали бы его Вы, если бы Вы заключили сделку с чертом; не подкинете ли мне какой-либо музыкальный признак для создания иллюзии?.. Мне чудится что-то сатанинско-религиозное, демонически-благочестивое, строго построенное и вместе с тем как бы преступное, какое-то порой даже издевательство над искусством, какой-то при этом возврат к примитивно-стихийному (воспоминание о Кречмаре—Бейселе), отказ от тактовой черты, даже от привычных звукорядов (тромбонные глассандо); вдобавок нечто практически невыполнимое: старые церковные лады, хоры а capella, которые надо петь в нетемперированном строе, так что едва ли какой-либо звук или интервал может быть передан на рояле etc., etc. Но «etc.» — это легко сказать...

... Покуда я писал эти строки, я узнал, что увижу Вас раньше, чем думал, что уже договорились о встрече в среду во второй половине дня. Значит, все это я мог сказать Вам и устно! Но есть, с другой стороны, что-то уместное и что-то успокоительное для меня в том, что все это будет у Вас в руках, черным по белому. Пусть это подготовит ближайший наш разговор, а если суждено жить на свете нашим потомкам, то это письмо останется им.

Преданный Вам
Томас Манн

* Апокалипсис с рисунками (лат.).

142

ПЬЕРУ-ПОЛЮ САГАВУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
[Почтовый штемпель: 28.I.46]

Глубокоуважаемый господин профессор,

для меня было большим удовольствием получить Ваше письмо и вдобавок забавный листок, повод к которому дало одно выражение в моих боевых призывах. Передайте художнику мою благодарность и поздравления... 55 радиообращений вышли уже в собранном виде¹ и, к собственному моему удивлению, не кажутся монотонными, хотя упорно твердят одно и то же. [...]

Конец буржуазной эпохи культуры я датировал бы не 1933 годом, а уже 1914. Ведь в основе потрясения, которое мы тогда испытали, было чувство, что вспыхнувшая война — это историческая вежа, отметившая конец одного мира и начало чего-то совершенно нового. С тех пор идут сплошные смуты и пертурбации и долго еще будут идти. Как можете Вы хотеть, чтобы я одним или двумя словами определил то новое, что разовьется в борьбе и муках переживаемого нами кризиса перемен? Я для этого не очень гожусь, ибо я сын буржуазного индивидуализма и от природы (если не позволяю разуму поправить себя) весьма склонен путать буржуазную культуру с культурой как таковой и видеть варварство в том, что придет затем. Но моя симпатия к видоизменяющейся жизни учит меня, что противоположность «культуры» в нашем понимании не варварство, а *содружество*. Я думаю прежде всего об искусстве. Характерной чертой послебуржуазного мира будет то, что он освободит искусство от торжественной изоляции, которая была результатом отделения *культуры от культа*, ее возвышения до роли заместителя религии. Освобождено будет искусство от пребывания наедине с образованной элитой, именуемой «публикой», элитой, которой уже нет больше, так что скоро искусство окажется в полном одиночестве, одиночестве предсмертном, если оно не найдет пути к «народу», то есть, выражаясь неромантически, к массам. Я думаю, изменится весь тонус жизни искусства, причем в сторону *большой* и более радостной *скромности*. Оно отбросит свои меланхолические амбиции, и уделом его будет новая невинность, даже бесхитрость. Будущее увидит в нем — оно само снова увидит в себе служанку содружества, которое будет охватывать нечто куда более широкое, чем «образованность», которое не будет *обладать* культурой, а будет, возможно, *самой культурой*...

Ну, это уже, по-моему, пророчество! Вы вызвали его своим вопросом, и я боюсь, что сказал слишком мало, сказав слишком много. Не обессудьте!

Преданный Вам

Томас Манн

143

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА
«ФРАЙЕС ДОЙЧЛАНД»Пасифик Пэлсайдз, Калифорния.
6 февраля 1946

Глубокоуважаемые господа из «Фрайес Дойчланд»,

в связи с приближающимся семидесятипятилетием моего брата Вы спрашиваете меня, как он поживает. У него все благополучно, благодарю Вас. Постигшую его скоро уже полтора года тому назад потерю спутницы жизни, женщины, которая в то 21 февраля 1933 года, мужественно удержавшись от слез, проводила его в Берлине до трамвая, до поезда во Франкфурт (снова во Франкфурт), он перенес с присущей ему силой и стойкостью духа, способной тягаться с судьбой, и его одиночество, естественная по сути стихия ему подобных, знакомая ему по многим годам юности и ранней зрелости, оживляется и скромно скрашивается дружеским преклонением, почтительной любовью его близких.

Расстояния в этой стране затруднительны. Расстояние между его жильем и нашим могло бы оказаться большим препятствием: оно составляет полчаса езды на машине, если повезет со светофорами. Мы живем ближе к океану, уже среди холмов Санта-Моники, а его квартира в более городской местности по направлению в глубь страны, не то чтобы down-town*, но все же в самом Лос-Анджелесе. Он любит, когда мы его, раз в неделю уж непременно, привозим к себе на лоно природы, чтобы провести с ним часы от ленча до сумерек. Для разнообразия мы приезжаем иногда к нему и устраиваем похожий на пикник ужин, который обычно проходит очень уютно и после которого он, в зависимости от самочувствия, либо читает нам новые любопытные вещи, им написанные, либо выражает желание послушать сделанное мной.

Болтаем, говорим о прошлом, о днях Италии, о странном течении нашей жизни, с которым нам остается лишь примириться, о злободневных событиях. Его манеру говорить о последних можно назвать покровительственно-благодарной, потому что она довольно близка к тому, что критические наблюдатели Гёте называли его «терпимостью без мягкости». Нет, он не мягок, но снисходительно терпим и довольно пессимистичен. Фашизму он предрекает еще большое будущее, — естественно, поскольку против фашизма здесь никогда не воевали всерьез, непреклонно, он и не разбит, и ему сознательно, полусознательно, а охотней всего бессознательно попустительствуют так же, как во времена appeasement**. Страх перед его ужасами, которые в конце концов суть ужасы, обеспечивающие порядок, намного меньше, чем страх перед его альтернативой — социализмом, и поэтому души ему открыты. Американские солдаты учатся фашизму в Европе — они могли бы с таким же успехом учиться ему

* В деловой части города (англ.).

** Умиротворения (англ.).

у себя дома, если бы им вообще надо было ему учиться. Сама наша эпоха фашистская — эта невозмутимая с виду констатация факта не что иное, как горькое проклятье нашему времени.

На этот счет у нас нет разногласий, своей племяннице Эрике, старшей моей дочери, он как-то сказал по дороге от нас домой: «С твоим отцом мы теперь по политическим вопросам и правда прекрасно сталкиваемся. Он немного радикальней, чем я». Звучало это бесконечно смешно, но имел он в виду отношение к нашей дорогой Германии, на которую он менее зол, чем я, по той простой причине, что он раньше знал, что к чему, и никакие разочарования ему не грозили. Сегодня он отказывается видеть в том, что натворили немцы, просто «чудовищный единичный случай», «ничем не обусловленную, ни с чем не связанную вину» — я привожу его слова. Все обусловлено и объяснимо, хотя и непростительно, и немцы тоже всего лишь люди: я думаю, что утверждение, что они так уж из ряда вон плохи, показалось бы ему формой национализма. Немецкое безумие стоило ему таких же мук и потерь, как и мне, — даже больших, потому что во время бегства из Франции его собственная жизнь находилась в опасности. Но он умудряется не питать к немцам зла, а я никак не могу простить им утрату друзей, которые были украшением моей жизни (Карел Чапек, умерший от разрыва сердца, Менно тер Браак в Голландии — застрелившийся). Дело тут в том, что при более хрупкой физической конструкции душевно он был всегда гораздо уравновешенней, чем я, и политически активизировался к тому же гораздо раньше.

Вспыхни в Германии вовремя спасительная революция, его следовало бы назначить президентом Второй республики, его, и никого больше. И даже сейчас — как смешно, что вокруг меня поднят этот дурацкий шум, вернусь ли я или не вернусь, а о нем, кажется, никто не вспомнил. В ком из нас обоих всегда сказывалась наша латинско-политическая кровь? Кто был социальным ясновидцем и воспитателем? Кто написал «Верноподданного» и кто в Германии провозглашал демократию, в то время как другие довольствовались меланхолической защитой протестантско-романтически-антиполитического немецкого духовного бюргерства? Я только прикусил губу, когда он в конце концов совершенно кротко спросил: «Почему, собственно, меня совсем оставляют в покое?» И для меня это было настоящим облегчением, когда сейчас наконец он получил приглашение из Германии — конечно, из русской зоны: Бехер¹ написал ему и сообщил, что там все его ждут. Что ж, пора было. Он вряд ли поедет; видит бог, причины у него уважительные. Но все-таки не позвать его нельзя было.

«По нынешним делам, — сказал он недавно, — лучше всего оставаться дома». И это тоже прозвучало трогательно смешно, ведь это, мягко выражаясь, довольно-таки случайный «дом» — где-то на переходе Лос-Анджелеса в Беверли Хиллз. Но он привязан к своей удобной маленькой квартире на первом этаже на Саут Суолл-стрит, откуда он может ходить пешком за покупками и где еще все дышит умершей. В его выходя-

щей на улицу, хорошо меблированной living room*, с изящным письменным столом, каковым он, однако, не пользуется, так как уединенно работает в спальне, есть превосходный радиоаппарат, и вечерами он подолгу слушает музыку — именно в Калифорнии он значительно расширил и углубил свое знание симфонических богатств мира. В определенные часы дня он читает по-французски, по-немецки и по-английски, причем, если проза стоит того, то вслух. По утрам, выпив крепкого кофе, примерно от семи до полудня он пишет, творит с прежней непоколебимой отвагой и убежденностью, окрыленной той верой в миссию литературы, которая так часто заявляла о себе в его прекрасно-гордых словах, — он продвигает вперед текущую работу, покрывая, все еще с помощью стального пера, листок за листком, своим чрезвычайно ясным и четким латинским письмом, — не без труда, разумеется, ибо хорошее трудно, но с тренированной легкостью великого труженика.

Так неустанно, неся на себе самобытную печать его духа, возникают новые вещи, о которых скоро услышат: светящиеся странным финифтяным блеском исторического колорита эпическо-драматические сцены², диалоги, повествующие — поразительный выбор темы! — о жизни Фридриха Прусского; роман «Прием в свете», похожая на призрак социальная сатира, действие которой происходит везде и не происходит нигде; опять новый роман³, темы еще не знаю; прежде всего (по моему — прежде всего) захватывающая книга воспоминаний «Обзор века», большие куски которой можно было прочесть в московской «Интернациональной литературе» и английский перевод которой закончен: автобиография как критика пережитой эпохи, полная неописуемо строгого и веселого блеска, наивной мудрости и нравственного достоинства, написанная прозой, которая — такова ее интеллектуально могучая простота — представляется мне языком будущего. Да, я убежден, что немецкие хрестоматии двадцать первого века будут приводить выдержки из этой книги как образцы. Ее сейчас печатают в Стокгольме, и я лично жду не дождусь, чтобы немцы на родине получили возможность ее прочесть. Конечно, они обидятся — когда они не обижаются? Им нужно всегда и во что бы то ни стало чувствовать себя обиженными и непонятыми, а если их понимают слишком хорошо, они обижаются тем более. Но все это ребячество. Объективный факт, что этот уже семидесятипятилетний человек был одним из самых гениальных писателей, окажется сильнее, чем их капризы, и раньше или позже войдет в их сопротивляющееся сознание.

Томас Манн

* Жилой комнате, гостиной (англ.).

144

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Пасифик Пэлисайдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550
12 февр. 1946

Дорогой профессор Кереньи,

поздно и скудно благодарю Вас за Ваш великолепный подарок, за «Рождение Елены»¹, вернее, за весь богатый венок проникнутых знанием и мыслью наблюдений, собранных под этим заглавием. Меня очень радует эта книга, всегда будет радовать. Ибо есть нечто по-своему возвышающее и очищающее в погружении в этот мир мифической священности, гуманного достоинства и сакраментального превращения жизни в праздник; я намеренно употребляю слово «сакраментальный», потому что близость религиозного и гуманного, переход одного в другое, отчетливее всего проступающий в теологической уже статье о «духе», — это самое характерное, может быть, для этой книги и, пожалуй, для положения человека или для человеческой беды наших дней. Ведь углубление гуманизма в религиозность, которое я без неправдоподобного догматизма все еще считаю возможным, — единственное, наверно, средство придать ему ту связующую силу, которая ему нужна, чтобы объединить заблудившееся человечество вокруг какого-то нового авторитета. Без такого объединения, без образования содружества, спаянного благоговением перед идеей, итог запутанного эксперимента «человек» выглядел бы, как все чувствуют, довольно угрожающе, даже безнадежно...

Благодарность моя, повторяю, оказывается скудной. Вы не поверите, как непрестанно дергают, теребят и изматывают человека в этой поддетски усердной и доброжелательной, но наивно-авантюристической стране. А после нового открытия Европы моя корреспонденция удвоилась. «С годами, — сказано у Гёте с примечательно христианским акцентом, — испытания усложняются». Роман, который я среди суматохи двигаю дальше, осуществить дьявольски трудно. Так, по весьма понятным причинам, всегда бывает с произведениями старости. «Игра в бисер» Гессе — прекрасный, великий, трогательный тому пример... Заметили ли Вы, что я фигурирую в нем в качестве *magistri ludi** Томаса фон дер Траве?

Скоро мне придется сделать перерыв, чтобы подготовиться к ежегодному *lecture tour*** на Восток. Если сбудутся планы одного брюссельского агента, то затем состоится даже турне по Европе, ибо он хочет, чтобы я в мае или июне выступил с докладами как минимум в Лондоне, Париже, Амстердаме, Брюсселе и Цюрихе. Утомительное приключение, от которого предостерегают почти все, кто мне желает добра. Прежде всего с этим было бы ведь непременно связано посещение Германии — очень щекотливое дело, ибо я уже снова в полном разладе с этим народом,

* Магистра, учителя игры (лат.).

** Лекционному турне (англ.).

который обижается на каждое мое слово. Ужасная порода! Им вечно нужно быть обиженными, во что бы то ни стало обиженными и непонятыми. А если их, наоборот, слишком хорошо понимают, то они обижаются еще пуще.

С другой стороны, я говорю себе, что если я вообще собираюсь там когда-нибудь появиться, то сделать это надо поскорей, потому что иначе пропасть будет и вовсе непреодолима.

Прямо-таки дилемма... Как жаль, что ты не свободное частное лицо, которое могло бы просто совершить уютную поездку в Швейцарию, чтобы повидаться со своими друзьями! Но свою частную жизнь ты уж из-за своей нескромности упустил.

Преданный Вам
Томас Манн

145

ГАНСУ ФРИДРИХУ БЛУНКУ

Пасифик Пэллсейдз,
22 июля 1946,

Многоуважаемый господин Блунк,

чувство, с каким я читал присланные Вами письмо и меморандум, нельзя назвать иначе, как «замешательство». Почему я получаю из Германии все эти сообщения, объяснения, оправдания? (Ваше послание — не единственное в этом роде.) Ведь у меня же нет власти вязать и разрешать! А если на меня смотрят как на представителя «мира», то этот мир ведет себя нынче, право же, так скверно, что оправдываться перед ним особых поводов нет. Пусть лучше каждый сам сводит счеты со своей совестью.

Мое высказывание о Вас было совершенно случайным, непреднамеренным, оно вызвано только прямым вопросом. Я должен был просто ответить Вашему брату, а ответить я мог только, что мне, так демонстративно порвавшему с Третьей империей, было бы совсем не к лицу ходатайствовать перед оккупационными властями за представителя литературы и видного деятеля этой «империи».

Вы утверждаете, что не были таковым, и я не хочу считать Ваши слова просто лишним примером того, что сегодня все утверждают, будто они «были никем». Я охотно верю в Ваши добрые намерения. Но когда в Вашем меморандуме читаешь фразы такого рода: «В 1933 году, когда Гитлер, назначенный рейхспрезидентом фон Гинденбургом на должность рейхсканцлера, поклялся в верности Веймарской конституции, я верил торжественным заявлениям, что все подданные государства будут равноправны. Я полагал, что дело идет о кратком периоде перехода к новой конституции... После смерти Р. Биндинга я был назначен на его место в Немецкой академии в Мюнхене. Моя деятельность ограничивалась... советами и предложениями по вопросам преподавания на немецком языке за границей, которыми эта академия занималась», — когда читаешь та-

кие фразы, можно только возвести глаза к небу и сказать: «Господи боже!» Возможно ли такая слепота, позволительна ли интеллигентному человеку такая нечуткость и нечувствительность к окружающей его мерзости? Неужели колдовство Гитлера состояло в том, что люди верили, будто он будет защитником Веймарской конституции? Прежде чем даст новую конституцию? А «преподавание на немецком языке за границей»? Любой ребенок на свете знал, что означает этот эвфемизм — повсеместный подрыв демократических сил Сопротивления, деморализацию их нацистской пропагандой. Только немецкий писатель этого не знал. Ему было легко, он мог быть незапятнанным глупцом и тупицей, начисто лишенным моральной чувствительности и способности испытывать отвращение, гнев, ужас при виде того подлейшего непотребства, каким был национал-социализм для всякого порядочного человека с первых же дней.

И приглашения в Мюнхенскую академию Вы не отвергли. А я, представьте себе, держусь мнения, что ни один мой коллега не должен был соглашаться занять то место, с которого, сразу же после того как Гитлер «подтвердил Веймарскую конституцию», меня прогнали в самой оскорбительной форме. Вам кажется это чванством? Но это не только мой взгляд. Его разделяет весь интеллигентный мир. Только в Германии совершенно не понимают такой солидарности, такой гордости, такой смелости, которые нужны, чтобы протестовать или стать на чью-либо сторону. Слишком велика там готовность стать на сторону явного зла — покуда кажется, что «история» подтверждает его правоту. Но писателю, художнику следовало бы знать, что, хотя жизнь и со многим мирится, безнравственности *совершенной* она не терпит.

Это письмо превращается в филиппику — вопреки моим намерениям. Я совсем не гожусь для роли непреклонного блюстителя нравственности, не мне бросать камень, и я ни в коей мере не чувствую себя инстанцией, к которой следует обращаться с оправдательными заявлениями. Но никакими словами не избавить меня от горя и стыда по поводу ужасного, бессердечного и безмозглого провала немецкой интеллигенции на экзамене, которому она подверглась в 1933 году. Она должна сделать много *великого*, чтобы это забылось. Дай бог ей только сил и внутренней свободы! Таковы мои общие и в то же время вполне личные пожелания, касающиеся Вашего труда и успеха.

Преданный Вам

Томас Манн

146

ХЕДВИГ ФИШЕР

На 8 сентября 1946

Дорогая фрау Фишер!

Предстоит Ваше 75-летие, какой трогательный день для всех нас! Я все еще должен известным образом ограничивать себя в писании, но я не откажу себе в том, чтобы в Ваш большой день принести Вам самые

сердечные, самые почтительно-дружеские свои поздравления и поблагодарить Вас за то, что Вы преданно и стойко продержались с нами эти годы. Держитесь и впредь! Вы принадлежите к «картине», которая и так уже лишилась множества лиц и красок. В эти дни я часто вспоминаю то время, — прошло уже, пожалуй, почти полвека с тех пор, — когда я познакомился с Вами и с Вашим мужем и когда Вы и Ваш блестящий берлинский круг так приветливо приняли молодого, робкого дебютанта. Вспоминая Фазаненштрассе, затем прекрасный дом в Груневальде, я окидываю взглядом Вашу жизнь — как она, бок о бок с Вашим мужем, в чьих успехах классическим образом сочетались заслуга и счастье, поднималась от скромного начала к богатым почестям и ко всем радостям, которые дает культура... Затем пришли оползень, «вторжение мировой истории», великое несчастье, и все мы, чего-то достигшие в состоятельной культурной стране, должны были от многого отказаться и как-то устраиваться на другой почве с другими средствами. Нет причин унывать! Что у нас было, то было у нас. Это, правда, могут сказать и наши ныне павшие политические экспроприаторы, но сказать не по праву. Ведь они только глубоко погрязали в богатстве, а мы пользовались им пристойно, да и без него кое-что собой представляем... Проведите свой почетный день повеселее, бодро и в общем даже благодарно, в кругу Вашей цветущей семьи, и знайте, что Вам неизменно предан

Ваш Томас Манн

147

БРУНО ВАЛЬТЕРУ

*Пасифик Пэллсейдз,
на 15 сентября 1946*

Дорогой друг,

ужасно досадно. Только что, после строгого испытательного срока в тридцать четыре года, мы договорились перейти на «ты», и вот мне надо писать тебе поздравительное письмо, где это прекрасное нововведение никак не скажется, поскольку, изъясняясь на этом до чертиков цивилизованном английском¹, даже своей собаке говорят «уоу». Ну да ладно! Товарищеские чувства, которые я к тебе питаю, праздничная сердечность, с которой приветствую тебя с той вершины жизни, куда и сам я уже, не без удивленного покачивания головой, недавно взошел, с вершины «семидесяти», найдут, надо надеяться, выражение и в упраздненной между нами множественной форме — для нас и для всех, кто как-то участвует в нашем существовании, когда-либо с ним соприкасался, бывал под его впечатлением: если сосчитать всех, кто о нас знает, кому мы, каждый на свой лад, что-то сыграли, на чьих глазах что-то прожили, то получится ведь, глядишь, добрая часть обитающего на земле человечества.

Большая сумма выпадает, понятно, на твою долю. Объясняется это, при условии, что ты не просто делал свое дело лучше, чем я свое, большей, по-видимому, доступностью твоего искусства, музыки, ее кажущимся добродушием к «наслаждающимся», ее светской торжественностью и тем, что даже от ее высоких проявлений толпе перепадает немало эмоциональных, чувственных, сентиментальных, «возвышающих» побочных эффектов. Музыка «к себе детишек подпускает», — но очень уж близко, говоря между нами, она их не подпускает к себе. Она по сути своей так же замкнута, так же холодна и неприступна, как любое искусство, как сама духовность, — строгая, даже когда прелестна, соблюдающая форму, даже когда шутит, и проникнутая печалью, как все высшее на этой земле. Кто это спросил: «Знаете ли вы веселую музыку?» Я думаю даже, что не кто иной, как Шуберт, «ясный», «золотой», чей выбор литературных текстов обнаруживает поразительное пристрастие к сфере загадочного одиночества, осененного смертью. . .

Сказать я хочу только, что это определенно не шутка — быть избранным музыкой, родиться музыкантом. И все же это великолепное призвание и отличие, более, вероятно, счастливое и приветствуемое всеми с более радостным изумлением, чем всякий другой специфический и редкий талант. Как раз сейчас, дорогой друг, ты подарил нам свои воспоминания, сказку своей жизни, — это и правда сказка, какие любят слушать большие и малые дети, восхождение от зауряднейшей буржуазности к фантастическим вершинам мирового успеха — благодаря дару, который какая-то фея с серьезной улыбкой положила тебе в колыбель — кто знает, почему именно тебе при стольких братьях и сестрах, — благодаря волшебному дару по имени «музыка».

Талант — какая это непостижимая и веселая тайна! До чего забавляет меня в твоей книге портрет десятилетнего мальчика, уже выступающего перед публикой, изящно одетого, с широким воротником и белым бантом — он сидит на столике, закинув ногу на ногу, сидит очень прямо, высоко подняв голову, смывленный, гордый, с сознанием своего особого жребия, с выражением смелой и твердой готовности предстать перед миром. Это не оболтус, не какой-то там мальчик и мальчик. Это человек, отмеченный даром и состоящий в долгу перед ним, человек, который определенно пойдет далеко, — старик Радеке, директор берлинской консерватории Штерна, это сразу сказал. Отрадная картина, все именно так и представляешь себе, как сказано в книге: добрые родители, пораженные тем, что уже вытворяет их восьмилетний, ведут его на экзамен к музыкальному зубру, который принимает их в роскошном кабинете с бештейновским роялем и бюстом Бетховена. Ну, ну, поглядим! Абсолютный слух? Слух и впрямь, как его ни испытывай, непогрешим. Малыш играет незнакомые пьесы с листа. Впервые на настоящем концертном рояле, какого он никогда не видел, может он сыграть пьесы, им самим выбранные, отрывок из Моцарта, несколько «Песен без слов». Затем ему предлагают немного поимпровизировать. Потом старый господин просит его выйти, чтобы перекинуться с родителями словечком-другим, присут-

ствовать при которых мальчику вовсе не обязательно. Он говорит им: «Знаете, это что-то необычайное! Стоит учить самым тщательным образом. Ваш отпрыск — это сплошная музыка!» В конце концов, в педагогически смягченной форме, услышал это и ты, как зажигательную похвалу, как призыв к строжайшему прилежанию. . .

Прилежание — надо ли призывать к нему талант, одержимость талантом? Ведь оно с ним едино, он влечет к нему, а оно — средство его осуществления. Гений от природы маниакально прилежен. Я вижу, как ты по дороге в школу упражняешься в согласовании дуолей с триолями, считая через каждые два шага вслух и в совершенно одинаковом ритме: «Раз, два, три», причем так, чтобы «раз» всегда приходилось на шаг левой, — а затем, точно так же «Раз, два» через каждые три шага — чтобы «раз» приходилось то на шаг правой, то на шаг левой попеременно. Прохожие, наверно, удивлялись. Это несколько бесноватое поведение. Но так делают незатруднительно привычным точное исполнение триолей в сопровождении. И так получается потом, что Стравинский, чей «Concerto» ты немного, конечно, вопреки своим классически-романтическим убеждениям, играл с ним в Париже, пишет в своих мемуарах: «Благодаря своему необыкновенному умению, Вальтер сделал мою задачу особенно приятной. С ним я никогда не буду бояться тех мест, ритм которых представляет опасность для ансамбля и которые оказываются камнем преткновения для множества дирижеров».

«Вначале был ритм», — сказал Ганс фон Бюлов². Дирижерское изречение, спору нет, но я думаю, что оно применимо ко всякому искусству, а к поэзии, под которой я подразумеваю не только лирику, оно применимо наверняка. Шиллер признавался, что первоначальное, звездно-туманное состояние любого произведения — это музыкальное состояние, ритмическое предчувствие. При письме, уверяю тебя, мысль очень часто порождается всего лишь некоей ритмической потребностью: она вводится не ради нее самой, — хотя как бы и ради нее самой, — а ради каденции. Я убежден, что самая таинственная и самая притягательная сила прозы заключена в ее ритме, — законы которого куда тоньше, чем явно метрические. И я был чрезвычайно польщен, когда о моем первом романе один критик сказал, что в моей манере исполнения много общего с работой — дирижера.

Когда я однажды выразил метафизическое намерение стать «в следующий раз» дирижером, ты элегантно ответил:

— Ну, так я очень рад, что ты не стал им уже и на сей раз.

Верно: один из нас тогда оказался бы, видимо, лишним. Родись я музыкантом, я сочинял бы примерно как Цезарь Франк³, а дирижировал — как ты. Прости, я уже говорил это как-то раньше. В этих словах таится огромная симпатия к твоей манере управления оркестром, к мере и вкусу в твоих жестах, к твоему мимическому проникновению в музыку, огромное восхищение твоей независимостью и твоим мастерством, которым я завидую, утверждая, что я ими обладал бы. . . Ах, боже мой, то, что нам не под силу, это и есть искусство. У тебя, наверно, вырвался

вздых-другой, выдавая, что и ты порой не прочь поменяться; а в нашей семье (ну, да ты ведь знаешь ее и любишь) кто-то как-то сказал, что это редкое и приятное зрелище — два старика, которые в таком искреннем друг от друга восторге. Я каждый раз смеюсь до слез, когда повторяют эти слова. Но затем я говорю себе, что поводов для зависти у меня, пожалуй, все-таки больше, и я склонен предостеречь тебя от неосторожных желаний.

Советовать тебе родиться второй раз писателем, рекомендовать тебе такой более чем сомнительный жизненный путь я, как друг, не могу. Во времена, когда тебя изумленно экзаменовал старик Радеке, я играл со своими невинными сестрами, с нашими родителями и тетушками глупые пески, которые сам сочинял и одна из которых, как я слишком хорошо помню, называлась: «Меня не отравить вам!» Если бы какой-нибудь старик Радеке засвидетельствовал на ее основании что я — это сплошная поэзия, его можно было бы обвинить в чудовищном легкомыслии. Ничего не скажешь, выдумки у меня были потешные, но строить на них какие-либо надежды на будущее никому, да и мне самому тоже, я думаю, не приходило и в голову. Если же человек продолжает, как я, сочинять стихи и писать всякий вздор (тяга эта тесно связана с отсутствием веселой грубости, с чрезмерной эмоциональностью), то дело принимает нешуточный оборот и близких прямо-таки тревожит. В пятнадцать лет я был всего-навсего плохим учеником. В это время суждено было умереть моему отцу, и в своем завещании он сказал обо мне, что у меня мягкое сердце и что я буду его оплакивать. Ничего больше, при всем желании, он не мог от меня ожидать. Спустя десять лет, весьма, стало быть, рано, благодаря особого рода прилежанию, которое позволю себе сравнить с твоим, и благодаря способности восхищаться и учиться, я написал книгу, пригодную для выхода на люди. Десять лет — признаю, что в течение их нет-нет, да бывали уже какие-то ободряющие предзнаменования. Но в общем это были годы робкой уединенности, печального пребывания наедине со своей смутной и ничем не подкрепляемой самоуверенностью.

Нет, тебе было лучше, — не легче, этого я не говорю, но лучше. Насколько сразу явственнее, убедительнее, нагляднее, блистательнее, желательнее музыкальный талант, чем поэтический. Насколько больше расположено общество встретить его и выпестовать! Его можно проверить, и потом прошедший проверку феномен выглядит, как ты на своем детском портрете. Казенные учреждения, консерватории, певческие академии, оперные театры — все к его услугам, все ждут его с распростертыми объятиями. «Кем ты хочешь стать?» — «Музыкантом». И все лица светлеют. «Кем ты хочешь стать?» — «Поэтом». Но так никто и не отвечает.

Что я в тебе высоко ценю, старый друг, — это то, что, обладая самым угодным миру талантом, какой только может даровать небо, ты никогда не довольствовался им, что высокая неопределенность царства звуков, где ты царил, была для тебя еще не всем на свете, что тебя с самого

начала влекло также к почестям и радостям расчлененного духа, мысли, слова, к человеческой цельности, к образованию — не будем бояться этого старомодного слова. Это у музыкантов не такое уж само собой разумеющееся свойство, но величайший из них, Бетховен, трогательно призывал к такому труду, когда в одном из своих писем сказал: «Нет на свете трактата, который столь быстро показался бы мне не в меру ученым. Нимало не притязая на истинную ученость, я все же с молодых ногтей заботился уловить мысль лучших и мудрейших людей всякой эпохи. Позор художнику, который не почитает за должное продвинуться хотя бы до этого». «Должное» было для тебя любовью и радостью, естественной потребностью твоего деятельного, всесторонне-живого ума. О твоей осведомленности в мировой литературе свидетельствует твоя книга воспоминаний, еще в большей мере — твои разговоры. И конечно, не меньше, чем музыкантов, было писателей среди твоих близких друзей. Одним из них был я, и если мне когда-нибудь случится писать мемуары, — об этом счастливом факте моей биографии упомянуть в них надо с радостью, гордостью и благодарностью.

А сегодня, дорогой мой, позволь мне все чувства, мною, как и целым миром неравнодушных, владеющие в твой большой день, слить в тот возглас, который в римском Аугустею, когда ты, уступив после недолгой заминки шумным призывам, начал играть *da capo* *Зигфридово плаваньс*, бросил с галерки некий энтузиаст:

«Браво, Бруно!»

Томас Манн

148

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Пасифик Пэлсейдз, Калифорния.
15.IX.46

Дорогой профессор Кереньи,

как я был рад Вашему письму от 1 августа и как признателен я Вам за Вашу исполненную преданности попытку защитить меня от кое-каких мелких подлостей, которые, может быть, следовало бы с любезной улыбкой спускать людям. Что я 30 лет назад держался романтично-протестантско-националистических убеждений и защищал «духовную» немецкость от тогдашнего экспрессионистского пацифизма и активизма, — этот факт никогда, видимо, не перестанет занимать многих пишущих, их все время так и подмывает указать на него, и такая одержимость моей нравственной биографией даже как-то лестна. Только это уж, правда, немного чересчур — проводить параллель между моей позицией 1914—1918 годов и пронацистскими заявлениями Юнга 1933 года и оправдывать последние первой. В самом деле, мне это не нравится. Человек сугубо немецкого воспитания, ученик Гёте и Ницше вполне мог в прошлую войну относиться с известной иронией к якобинско-пуританским риторическим

доблестям другого лагеря. Но не распознать сразу же в такой дьявольской гадости, как немецкий национал-социализм, дьявольской гадости, а говорить о ней поначалу нечто совсем другое, весьма неловкое — это было, по-моему, менее простительно, хотя я определенно нахожу скучным снова и снова корить этим большого ученого.

Жаль, что на множестве мыслей Вашего содержательнейшего письма я не в состоянии остановиться подробнее. Должен признаться, что к афоризмам из гётевской переписки, которые Вы цитируете, я всегда относился с веселой симпатией и одобрением. Большинство писем, занимающих наши глаза и мысли, напоминают ведь ту сценку мюнхенского комика Валентина¹, где он появляется в виде столяра Брандштедтера и говорит: «Доброго здоровья, господин коммерции советник! Я пришел по делу, на счет — себя». Все «чего-то добиваются для себя лично», а чтобы нашелся корреспондент, который хочет только доставить радость, несвоекорыстный, — ждать надо долго. Я не хочу защищать гётевскую холодность. Я слишком хорошо ее понимаю, и у меня самого ее много. Но я знаю, что Гёте, как все наши великие, как Лютер, Бисмарк, Ницше, был, с одной стороны, красой и гордостью немцев, а с другой, как формирующая сила, и роком для них. В «Лотте в Веймаре» я старался дать почувствовать эту двойственность во всем ее «раздражительном комизме».

Все, что я сказал о религиозно понимаемом гуманизме и о сплочении под знаком такового, шло у меня от души. Надо сплотить народы против того, что готовится причинить человечеству осатаневшая корысть. Кто мог подумать, что после этой войны, на которую все порядочные люди смотрели как на борьбу за человека и его свободу, все политические глупости и пороки будут справлять такие оргии! Я никогда не оставляю никаких сомнений относительно того, какова моя позиция, но конгрессы и дискуссии — не моя сфера и думаю, что академия Вашей мечты возможна будет лишь при world government*, каковое, видимо, еще долго будет оставаться мечтой, — хотя как раз в этой стране группа честных людей лелеет ее на весьма точный манер и подготавливает к претворению в действительность очень детально. Происходит это именно в Чикаго².

Книгу д-ра Майера³ я, конечно, имел возможность прочесть — и местами ограничился просмотром. По поводу подобных трудов я говорю: «Почему бы нет?» и никому не отказываю в праве на такие усилия. Что некоторые его замечания отдают смешной робостью, я нахожу тоже. Бог ты мой! Родись я на свет патетиком и величавым пророком, — я был бы не менее импозантен, чем Георге.

Сердечно

Ваш Томас Манн

* Всемирное правительство (англ.).

149

ОТТО БАЗЛЕРУ

Пасифик Пэлисейдз.
23 сент. 1946

Дорогой господин Базлер,

тем паче спешу поблагодарить Вас за Ваше великолепное письмо от 15, что втайне боюсь, что я уже и за предыдущее в долгу перед Вами. Я прочитал все с приятным чувством. Такой уж Вы приятный корреспондент, честный, пристойно говорящий справедливые вещи, а главное — несвоекорыстный.[...]

У Фрейда были свои limits *, но Э. Людвиг¹ их все-таки, видимо, сузил, хотя он интервьюер мирового класса и говорил со Сталиным. Его книги о Фрейде я не знаю², как и книги об Иисусе Христе³. Говоря между нами, я подозреваю, что он чернит Фрейда *потому*, что я говорил о нем с почтением. Существует томас-манновский комплекс, который уже доставил мне немало досадных часов. У Людвига он есть, потому что я осмелился написать «Лотту в Веймаре» после его книги о Гёте. Ну, это можно понять. Но почему меня — с недавнего времени — ненавидит и систематически преследует Дёблин⁴, совершенно непостижимо. Это уже какая-то паталогия. Я никогда ничем его не обижал, никогда не становился ему поперек дороги, наоборот, обращался с ним всегда крайне учтиво, памятуя хотя бы слова Буллера⁵: «The fool flatters himself. The wise man flatters the fool» **. Но все было напрасно, он хочет меня убить, ведь ничего же другого не означает его утверждение, что я *мертв*. Что за этим стоит, повторяю, сказать не могу. Д. ожесточен, потому что жил в этой стране не так, как того заслуживало его дарование, неприметно, бедно, — и он, вероятно переоценил в раздраженье великолепие *моей* жизни. Мои здесь успехи всегда держались в скромных границах, — я имею в виду книжный рынок, — и никогда я не загребал денег, как Фейхтвангер или как Верфель. Правда, я выучил английский, до чего он не снизошел, и выступал с докладами, борясь против Гитлера, которого я действительно ненавидел. Но разве по этому поводу уместно сказать: «Кто ненавидит, тот мертв»? Это чистейший вздор — такой же, как то, что я «ничего, решительно ничего не знаю». Имеет он в виду только: о Германии. Но разве о Германии я знаю меньше, чем он? Недавно он напечатал в одном здешнем журнале статью о сегодняшней Германии — такую статью и я мог бы написать, разве что я написал бы ее несколько занимательнее. Чего он хочет? Этого он не знает. Но он хочет мне насолить.

Как, однако, попало его письмо в швейцарскую прессу? Фрау [...] я написал любезное письмо насчет ее романа о женском лагере с разрешением распорядиться этим письмом, как она сочтет нужным. Теперь она, кажется, выступает в газетах с нападками на меня. «Люди, люди, лживое, лицемерное крокодилье отродье!» сказано в «Разбойниках»⁶.

* Пределы, границы (англ.).

** Дурак льстит самому себе. Умный льстит дураку (англ.).

Тут мне вспоминается одна история, которую и правда приятно рассказать. Маленького Морица спрашивают в школе, кто написал «Разбойников». «Господин учитель — не я». За это его наказывают. А потом к учителю приходит старый Мориц и говорит: «Господин учитель, у моего Морицхена много недостатков, но он никогда не врет. Если он говорит, что не он написал „Разбойников“, значит не он. И в конце концов, господин учитель: даже если бы он и написал „Разбойников“, — он же еще ребенок!»

Сердечно

Ваш Томас Манн

150

ВИКТОРУ МАННУ

Пасифик Пэлсайдз, Калифорния.
4.X.46

Дорогой Вико,

твое славное письмо от 7 августа пришло к нам уже несколько дней назад и доставило нам большую радость. Очень разумно, что ты уточняешь ваши желания и потребности по части продовольственного подспорья. Катя сделает все возможное, чтобы последовать твоим указаниям. Будем надеяться, что до вас дойдет все, что она так заботливо собирает. «Что-то в ночь бесследно канет» — сказано у Эйхендорфа-Шумана¹.

Если кто-либо вздумает перепечатать что-нибудь из «Лотты в В.», он непременно наткнется на место, которое тебя заботит, — свидетельство того, что людей даже потешает бесстыдный анахронизм, который я позволил себе туда вставить. Ничем иным намек на покойного Адольфа, конечно, нельзя назвать. Сегодня я мог бы уже от него отказаться, но тогда Адольф еще не был покойником, поэтому я и не отказался. Мое раскаянье в этом умеренно. Не так уже это в сущности нелепо и недопустимо, по-моему, что мысли Гёте, раз уж они вертятся вокруг немцев, предвосхищают столь многое из того, что еще нельзя оправдать. Такие есть поразительные примеры! Найди как-нибудь в сочинениях Келлера² стихотворение «Публичные клеветники!» Это просто невероятно. Повод к яростному описанию этой чумы был совершенно незначительный, какой-то мелкий цюрихский журналист из бульварной газетки, как мне сказали. Но до каких пророческих картин ужаса доходит воображение, возбужденное крошечной толикой действительности! Это же сплошное предвосхищение национал-социализма, вплоть до заключительных слов, что когда-нибудь об этом будут говорить «как о Черной Смерти». Такое бывает.

Но кое-какие смешные недоразумения по моей милости вышли. Может быть, ты слышал историю о том, что британский прогосситог^{*3} в Нюрнберге цитировал высказывания Гёте о немцах, думая, что по подлиннику, а на самом деле — по «Лотте в Веймаре». Бдительная английская печать

* Обвинитель (англ.).

подняла крик, что это вовсе не из Гёте, а из моего романа, и посольство в Вашингтоне смущенно запросило меня, как тут обстоит дело. Я ответил, что ручаюсь за то, что Гёте в самом деле вполне мог бы думать и говорить в точности так, как он думает и говорит у меня, и значит, в некоем высшем смысле prosecutor цитировал его все-таки верно. Не знаю, утешило ли это лорда Инверчепела⁴ и Foreign Secretary *⁵, по поручению которого он написал мне. Эпизод вышел щекотливый...

Сейчас у нас гостят Биби и Грет со своими милыми мальчуганами. Эри тоже еще здесь, но уже начались, очень спешно, ее lectures **, и скоро она исчезнет совсем. Зато есть виды на приезд Голо [...]. Кроме того, мы ждем из Японии Катиного близнеца, старого Клауса⁶ и его сына... Оставляю место для приветов от Эрики.

Сердечно

Т.

Я курю в свое удовольствие. Ведь легкое у меня в общем-то совершенно здоровое.

151

герману Гессе

Пасифик Пэлусейдз, 12 окт. 1946

Дорогой господин Гессе, недавно мне сообщили из Аргау, что Вы скверно себя чувствуете, настолько скверно, что собираетесь в санаторий, и передали всякие другие Ваши грустные слова. Не надо, не надо! Я хотел тогда сразу же Вам написать, записочку хотя бы, по теперешней моей привычке. И все же понадобилась еще Ваша степенная благодарность за премию славного города Франкфурта — этот желанный pendant к Вашему «Письму в Германию»¹, — чтобы заставить меня отложить в сторону все остальное и первым делом поздравить Вас с почестью, представляющей собой, как-никак, выразительную демонстрацию, и поблагодарить Вас за удовлетворение, с каким я прочел эти два решительных документа с их неподкупным чувством истины.

Этот-то вкус к правде, конечно, и не прощают Вам немцы. Кому они когда-нибудь прощали его? Они не любят правды, не хотят ее знать, не видят ее прелести и очищающей силы. Они любят чад и хмель, гнилую, жалостливую, жестокую «душу», и даже сегодня, став по ее милости «грязью и мерзостью среди народов», они готовы убить всякого, кто портит им удовольствие от этого дурмана. Вы слышите немецких писателей? Да ведь Вы же слышите их с более близкого расстояния, чем я. Они, право, ведут себя почти так, словно Германия — это какой-то Иисус Христос, который взял на себя весь грех мира.

* Министр иностранных дел (англ.).

** Лекции (англ.).

«К чертям собачьим этот вздор!» — любил восклицать Ницше. Он знал своих немцев. Если бы только он был для них и лучшим, более рассудительным педагогом!..

Дорогой господин Гессе, я надеюсь, что все эти мысли о нездоровье и заведении для инвалидов были каким-то недолгим приступом, и представляю себе, как Вы, после хорошего, конечно, лечения в Бадене, бодро трудитесь в своем саду — старый, благородный швабский крестьянин, каким Вы все больше становились с годами.

Слышали ли Вы, какой поздней и неожиданной проверке на прочность довелось недавно подвергнуться мне? Пришлось срочно удалить инфекционный абсцесс в легком, неделями вызывавший у меня жар, и это стоило мне одного ребра. Разрез длинный-предлинный, тянется от груди до спины. Но благодаря крепкому сердцу я, по словам врачей, прошел через эту историю так, как будто мне тридцать лет. Однако шоком для организма такое вмешательство всегда остается, и некоторая осторожность все еще требуется, так что последняя четверть одного весьма своеобразного романа, моей «Игры в бисер»², так сказать, продвигается не так, как надо бы. Но — продвигается, и во втором или третьем месяце будущего года я надеюсь закончить его.

Состоится ли тогда давно обдуманная, внутренне уже не раз предпринятая поездка в Европу? Европа! Я немного противлюсь картине ее будущего, которую Вы набрасываете, причем как лучший случай. Неужели она действительно, потеряв власть, отказалась и от всякой руководящей, активной роли и годится лишь на то, чтобы служить хранилищем благочестивых воспоминаний? Не знаю. Недавно меня навестил Альварес дель Вайо, министр Испанской республики, приехавший из-за океана. «Europe, — сказал он, — is miserable, but very much alive...» * В большей мере alive **, может быть, чем эта могучая страна здесь, где слепые, устаревшие силы со злобным упорством отбиваются от новых необходимых и, вероятно, заставят эту страну пройти через все, пройденное Европой, в том числе через фашизм, против которого мы вроде бы воевали. Третья мировая война медлит с приходом, но она, видимо, придет — после нас, после нас, будем надеяться.

Ваш Т. ф. д. Тр.³

152

ФРЕДЕРИКУ РОЗЕНТАЛЮ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
28 окт. 1946

Дорогой господин Розенталь,

хочу попросить у Вас медицинской информации, которая, надеюсь, не доставит Вам слишком большого труда. Мне нужны кое-какие характер-

* Европа находится в жалком состоянии, но она вполне жива (англ.).

** Жива (англ.).

ные подробности насчет (летального) течения менингита (лучше всего цереброспинального менингита) у ребенка пяти-шести лет¹. Каковы начальные и позднейшие симптомы? В чем состоит лечение? Какой применяется антитоксин? Можно ли произвести необходимую мозговую пункцию на месте, поскольку ребенок живет в деревне? Желательно было бы, чтобы транспортировка в город и клинику (также и для изоляции) была невозможна из-за быстрого течения болезни. Какова обычная продолжительность этой болезни? Бывает ли при этом жар? Должен ли ребенок очень страдать? Быстро ли он теряет сознание? Обстоятельства таковы, что лечением, сначала, во всяком случае, ведает простой сельский врач.

Я был бы очень благодарен Вам за некоторые сведения.

Преданный Вам

Томас Манн

153

РУДОЛЬФУ КАЙЗЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния,
8 ноября 1946*

Дорогой доктор Кайзер,

С волнением заканчиваю сейчас чтение Вашего «Спинозы»¹ и благодарю Вас за славные, возвышенные часы, которые я за ним провел. Я искренне восхищен Вашим произведением, внушенным любовью, насыщенным обширными знаниями и построенным с большим литературным мастерством. Какая философская выучка и какой талант историка нужны были, чтобы так ясно, наглядно и достоверно представить нам, нынешним, вызывая наше непосредственное участие, эту достойную преклонения жизнь в атмосфере ее эпохи! Никогда прежде не была так близка ко мне волнующая фигура этого поныне влиятельного мыслителя и истинного богоискателя. Вы показали земное существование святого, самого чистого и самого глубокого, пожалуй, из всех обращенных к добру умов, какие только рождало человечество. От этого жизнеописания исходит поистине какой-то катарсис — заканчивая чтение, чувствуешь, что стал чище, благочестивее, лучше, по крайней мере, проникся более страстным желанием жить в доброте и правде. Я думаю, что многие читатели разделяют со мной это чувство. А как нужен бедному нынешнему человечеству, находящемуся в нравственно смертельной опасности, такой стимул к добру!

Это Вам в благодарность. Для печатной рецензии, способным на которую Вы меня считаете, мне во всех смыслах многого не «хватает». Да и нуждается ли новинка, снабженная предисловием Эйнштейна, в моей рекомендации!

Сердечные пожелания и приветы

Ваш Томас Манн

154

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Пасифик Пэлисейдз.
1 дек. 46

Дорогой, высокочтимый друг,

как я рад был увидеть, что Вы удрали хоть на несколько дней и отдыхаете в хорошем и мирном месте! Боюсь, что Вы не жалели себя последнее время и уже опять не жалеете себя — но можно ли Вас бранить за Вашу жертвенность? Кто нынче хочет и может удобно устроиться? Все мы как-то изводим себя и, хотим того или не хотим, мучительно участвуем в рождении нового мира. Если бы моя натура не представляла собой такой странной смеси возбудимости и флегмы, — что бы уже было со мной! Ведь чего только не выпадало на долю, и ненавидеть, и отчаиваться, и бороться, и при этом еще петь песни. Вы правы, считая, что я кое-что испытал на своем веку. «Бесов» я разучился бояться. Это несчастные, неблагословенные существа, которых ждет скорый и скверный конец. Чего хочет этот Льюис¹ в своей тупой башке? Он хочет довести дело до show-down*, которое сделает его диктатором? Он попадет под колеса. Но Ваши слова о способности этого буйвола сопротивляться ненависти производят на меня известное впечатление. Стоит мне подумать, как ужасает меня всякая ненависть, которую я (без малейшего намеренья, самим фактом своего существования) вызываю, я готов им чуть ли не восхищаться. Нервы у него, наверно, как телеграфные провода.

Америка в целом находится не в лучшем расположении духа — понеся нравственный урон из-за войны, которая хоть и была необходимостью, но просто как война наделала зла и вреда. Таковы антиномии этой юдоли печали. Теперь у нас повсюду омрачение умов, грубое корыстолюбие, политическая реакция, расовая ненависть и все признаки духовной депрессии, — из-за чего, однако, не надо забывать тех частых проявлений доброй воли и здравого рассудка, которым все еще может радоваться эта страна. Как немец, склоняешься, конечно, к пессимизму и боишься порой, что придется, в слегка измененной форме, пережить все это несчастье еще раз, — а эмигрировать уже нельзя: — куда? Но исторические, духовные и материальные условия здесь все же совсем другие и гораздо благоприятнее. Америка, надо надеяться, справится. Если же наступит фашизм, то я ведь могу сослаться на то, что был однажды с Вами у сенатора Тафта² на званом обеде. Тогда я, может быть, и не попаду в концлагерь.

Дом наш заполнен родственниками. Из Токио приехал Катин близнец со своим молодым сыном, а с сегодняшнего утра здесь также Голо и Мони. Штатский подполковник, по его словам, вконец устал от барского житья в Германии, житья ложного, изнеживающего и духовно опустошающего, и туда не вернется. Он колеблется между профессурой (для которой, я думаю, он рожден) и материально выгодной education job**, кото-

* Раскрытия карт (англ.).

** Педагогической работой (англ.).

рую ему предлагает State Department *. Несколько недель он, во всяком случае, будет с нами, что меня радует. Ему очень жаль, что он Вас не застал, и он самым настойчивым образом отвечает на Ваш привет.

Гости дома, в свою очередь притягивающие гостей, действуют несколько рассеивающе, но я всячески стараюсь закончить роман и думаю, что до февраля управлюсь. Миссис Лоу получила уже около 720 рукописных страниц и приступила к работе. Печатание немецкого издания тоже уже началось — на сей раз в Швейцарии, и я жду первых корректур. Впервые после долгого перерыва я снова могу сам следить за печатанием своей книги. Надеюсь также, что «Фаустус» выйдет в такое время, когда моим книгам опять откроется доступ в Германию. Дело это сверх ожидания долгое!

Говорил ли я Вам, что читал Конрада ³? Если нет, то это любопытное совпадение, что Вы как раз читаете его. Меня он чрезвычайно увлек, особенно «Victory», «Негром с «Нарцисса»» и прежде всего «Ностромо», где с великолепной живостью изображена южноамериканская коррупция. Это повествователь, вобравший в себя слишком много внешней жизни, чтобы быть очень глубоким. Но это мужчина и очень часто настоящий поэт.

А какой поэт Блейк ⁴! Ваша цитата — вообще-то знаменитая! — доказывает это лучше всего. Я выразил свое преклонение перед ним, заставив Адриана Леверкюна сочинить музыку на некоторые его странности, например «Silent, silent night» **. Только что один мой американский друг, доктор Энджел из Помона-колледжа, подарил мне «The Portable Blake» ***, хорошее издание, подготовленное Альфредом Кацином ⁵.

Получилось длинное воскресное письмо. Привет Вам и more power to you! ****. Я часто думаю, что если бы миром правило несколько умных женщин, он бы от этого только выиграл.

Ваш Т. М.

155

ЭРИКЕ МАНН

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
11 дек. 46

Дорогая Эркинд,

твоим первым письмом мы просто наслаждались. Что касается твоего приезда на Рождество, ах, как человек понятливый, я должен сказать тебе: лучше уж откажись от него! Когда ты уезжала, я заранее настроился лишь на март, а то и на апрель, а по нынешней обстановке, которую можно было предвидеть, я за то, чтобы на том и осталось. Да и место

* Государственный департамент (англ.).

** Тихая, тихая ночь (англ.).

*** Портативного Блейка (англ.).

**** Побольше Вам сил! (англ.).

выкроить для тебя было бы трудно, покуда здесь Гёльхен и Мёнхен и шурин со своим отпрыском. Тут впору бы пожелать, чтобы для полноты картины и ты приехала, но, совершенно независимо от вопроса о месте, я нахожу, что было бы просто жаль тебя, и лучше тебе до перемены декораций не приезжать. Ведь вряд ли окупится для тебя долгое путешествие.

С точки зрения книжечки¹ и supervision* за ней твое присутствие было бы, правда, полезно и важно, не говоря уж о прочем. Я очень благодарен тебе за твое предложение последить и на расстоянии, чтобы в ней все было в порядке, и вытравить излишнюю педантичность. Поздние главы, включая смерть Руди, частично еще в переписке, но скоро я получу недостающее, а тем временем уже правлю полученное. С удовольствием послал бы тебе только что законченные разделы о Непомукe Шнейдевейне и о том, как его «отнимают». Но пока это будет переписано да выправлено, пройдет, наверно, слишком много времени. Сколько времени у тебя вообще? Долго ли ты пробудешь в Нью-Йорке?

Счастливо и большое спасибо! Я очень за то, чтобы ты послала к черту этого загребашущего деньги Кольстона² с его дрянью, если он не будет платить тебе лучше. . . А прогос, агенты. Брюссельский опять прислал письмо, где расписывает, как его деловые друзья в Скандинавии, Голландии, Лондоне, Париже, Швейцарии просто впадают в истерику, когда он заикается о возможности моего приезда. Он клянется, что все удобства будут обеспечены, никаких перегрузок не будет, а потом можно будет прекрасно отдохнуть в Швейцарии. Мне кажется, что Милейн, уставшую от здешней лямки, это привлекает, тем более что я так растолстел. Проблемой осталась бы Г.³ По-моему, Виковым⁴ следовало бы приехать в Швейцарию.

Твой В.

156

ГАНСУ ПОЛЛАКУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550,
29 декабря 1946*

Глубокоуважаемый господин доктор Поллак!

Вы любезно прислали мне школьное издание моего рассказа «Вундеркинд» с комментарием и номер «Острелиан Куотерли» с Вашей статьей «How Shall the Teacher of German Present Germany?»** Большое спасибо Вам за этот интересный подарок. Особенно любопытна была для меня статья в «Острелиан Куотерли», где Вы с подобающей осторожностью касаетесь ответственности немецкого духа за трагическое развитие, которое претерпела Германия. Я целиком одобряю то, что Вы как учитель про-

* Наблюдения (англ.).

** «Как должен учитель немецкого языка представлять Германию?» (англ.).

водите резкую разделительную черту между изъявлениями немецкой мысли на высшем уровне и той действительностью, которая ныне свергла мир в столь сильное сомнение в здоровье и жизнеспособности немецкой мысли вообще. Как учитель, повторяю, Вы правы, когда говорите, что «*certainly no writer of the past bears the responsibility for the fact the junkers and industrialists put Hitler into power*»* и что нельзя взваливать ответственность за современную демагогию на Гегеля или Ницше.

И все же я написал на полях «гм» в знак сомнения. Не есть ли это умаление, недооценка духа — избавлять его от ответственности за его последствия, за его претворение в действительность? Что Гегель, Шопенгауэр, Ницше внесли свой вклад в формирование немецкого духа и его отношения к жизни, так же неоспоримо, как тот факт, что Мартин Лютер имеет какое-то отношение к Тридцатилетней войне, ужасы которой он заранее недвусмысленно взял «на свою шею». Отрицать вину духа значит, по-моему, приуменьшать его роль, а у нас, немцев, сегодня есть все основания задаться проблематикой немецкой мысли и великого человека из немцев и задуматься над ней.

Но еще раз: зачем Вам как учителю эти бесплодные в сущности раздумья? Вы поступите правильно, если, по крайней мере покуда вы говорите и преподаете, будете, не связывая себя ими, указывать своим ученикам на то великое и доброе, что эта могучая проблематика, толкающая порой к катастрофам, все же содержит.

Еще раз благодарю и желаю Вам всяческого личного благополучия.

Преданный Вам

Томас Манн

157

ЭМИЛИЮ ПРЕЕТОРИУСУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
30 дек. 46*

Дорогой Прее,

не могу позволить году *совсем закончиться*, не написав Вам снова несколько слов в знак дружеской памяти, хотя дойдут они до Вас лишь много времени спустя после начала 1947 года р. Chr.** Не сетуйте на меня за долгое молчание: не так уж быстро шла поправка после той операции, осталась сильная усталость, обычная сейчас из-за низкого кровяного давления, которое здешний климат еще больше снижает, и по выполнении утреннего урока ни на какую личную корреспонденцию часто уже нет пороха, — «на сегодня хватит». Я, знаете ли, делаю все возможное, чтобы закончить роман-чудовище, занимающий меня уже 2¹/₂ года, этого док-

* «Разумеется, ни один писатель прошлого не несет ответственности за то, что юнкеры и промышленники привели Гитлера к власти» (англ.).

** После Рождества Христова (лат.).

тора Фаустуса, потому-то и принявшего такие размеры, что очень уж многое от времени и искусства, от горя времени и беды искусства устремилось в него. Но больше никогда этого со мной не случится. Никаких больше романов, я твердо решил. В годы, которые мне еще остаются, я сознательно буду делать лишь короткие, быстро выполнимые вещи: статьи, мемуарообразное, какую-нибудь порой short story*, — мне все это представляется незатруднительно-милым, вести жизнь Атланта — это в сущности уже не по мне. Будденброки, Волшебная гора, иосифовские истории с гётевско-божественной игрой в промежутке, а теперь и это — для одной жизни высотных зданий достаточно, а для моей и удивительно много. У меня было терпение, — которое Шопенгауэр называл героическим. Бедняга, особого добра человечеству он песнью своей жизни не сделал. Потом пошел подъем к Ницше, ко льдам, а потом невероятно быстрый спуск невероятно далеко вниз.

Сейчас я воображаю и сочиняю для своего музыканта «симфоническую кантату», которой он прощается с духовной жизнью, «Плач доктора Фауста» (по народной книге), песню к печали, поскольку «радости» Девятой симфонии явно не должно быть и ее возвешение надо взять назад. Это экспрессивнейшее произведение, ибо первый и подлинный его смысл — плач, и едва лишь музыка эмансипируется до выразительности, в начале ее новейшей истории, она превращается в жалобу и в «Lasciatemi morir...»** Что ж, плач — это смысловое содержание, вполне соответствующее времени, да и Ваше «недовольство культурой» тоже, вероятно, выходит далеко за рамки неудобств и лишений, которые, так я, по крайней мере, рисую себе, в Вашей верхнебаварской сельскости, наверное, не совсем столь же страшны, как в прочих немецких землях... Ужасно, ужасно! Когда я слушаю рассказы побывавших в Европе, сейчас, например, Дитерле¹, меня жуть берет. Отчаяться в жизни — что еще может родиться от такой жизни?..

Поразительно! Только я дописал эту строчку, как получаю Ваше письмо от прошлого месяца. Грустное письмо. Что я могу еще тут сказать? Что лучше бы вы, немцы, писали веселые и бодрые письма? Это было бы чрезмерное требование. То, о чем Вам довелось услышать, не ново, произошло не сегодня. Вы прочли это в письме к Моло², в том вызвавшем множество возражений месте, где я говорил о жутковато-неприятных чувствах, с которыми я прикоснулся бы к изделиям Третьей империи. У нас, и у тех, кто за рубежом, и у тех, кто остался, налицо, видимо, несколько болезненная чувствительность, когда дело касается этой Третьей империи. Довольно! Хочу только констатировать, что писать этот новогодний привет я начал вчера самопроизвольно и что Ваше письмо пришло только сегодня.

Дружески Ваш
Томас Манн

* Рассказ, новелла (англ.).

** «Дайте мне умереть» (итал.).

158

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Пасиф. Пэлисейдз, Калиф[орния].
1 янв. 1947

Дорогой профессор Кереньи,

год кончился, а я, к сожалению, не поблагодарил Вас за Ваше дружеское письмо. Ну, так пусть хотя бы первый день Нового года не пройдет раньше, чем я это сделаю, если даже и скудно, «страничкой», как писывал в молодости В. Гёте. Мне, старику, приходится, по крайней мере, сейчас, ограничиваться страничками, потому что все свои силы я положил на окончание романа-чудовища, который занимает меня уже 2¹/₂ года и который я в этом месяце хочу довести до точки, самую личную, во многих смыслах рискованнейшую и самую волнующую для меня из моих книг. Но уж потом никаких больше романов! На остаток моей жизни только короткие вещи, которые можно исполнить в умеренный срок. «Будденброки», «Волшебная гора», иосифовские истории со вставкой гётевской божественной игры и теперь еще это — достаточно высотных зданий для одной жизни, а для моей и поразительно много. У меня было терпение — которое Шопенгауэр называл настоящим героизмом. Миагя! Он находил уже героическим свое единственное сокровище, за которое всегда держался. Оно было волшебно, но оттуда начался подъем к Ницше, ко льдам, — а потом ужасно быстрый и крутой спуск. . .

Сейчас я придумываю и сочиняю для своего музыканта произведение, которым он прощается с духовной жизнью: симфоническую кантату «Плач д-ра Фаустуса» (по народной книге), произведение экспрессивнейшее, именно потому, что это плач, ибо плач был, наверно, началом всякой выразительности, а всякая выразительность — это всегда в сущности плач. Как только музыка, в начале своей новейшей истории, эмансипируется до выразительности, она превращается в *lamento** и в *lasciatemi morir***.

Что ж, плач — довольно актуальное средство выразительности, Вы не находите? Картина скверная. Мои известия из Германии и вовсе безнадежны. Вообще то я, правда, думаю, что на круг, несмотря на противоположное впечатление, человечество все-таки сделало порядочный шаг вперед. К тому же оно живуче, как кошка. Даже атомная бомба не вызывает у меня серьезного страха за него. Разве живучесть его не сказывается в нас самих? Какое это странное легкомыслие, какая это доверчивость, что мы все еще творим *произведения*! Для кого? Для какого будущего? И все же произведение, будь то даже произведение отчаяния, всегда по сути своей оптимистично, основано на вере в жизнь — ведь с отчаянием дело обстоит особо: в нем самом уже есть трансценденция к надежде.

А говоря о парадоксе «произведения», я имею в виду, конечно, Ваше произведение, «Учение о богах как учение о человеке». Оно должно быть

* Плач (итал.).

** «Дайте мне умереть» (итал.).

и будет написано, и для меня это будет истинной радостью, если я, как на то похоже, смогу способствовать его созданию. Письмо насчет fellowship* я собираюсь написать. Но гораздо лучше послать его непосредственно в Foundation**, чем обходным путем через Европу.

Из одной странички получилось все-таки две. Добавлю на этой только самые сердечные пожелания на Новый год и остаюсь

Ваш
Томас Манн

159

ЭРИКЕ МАНН
[телеграмма]

Pacific Palisades
January, 29, 1947

Keen glorious child¹ must know that Adrian's sad story was definitely brought to a happy end today unsigned***.

160

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Пасифик Пэлисейдз, 8 февр. 47

Дорогой господин Гессе, я давно должен поблагодарить Вас за «Войну и мир»¹ и веселую дарственную надпись, за эту прекрасную, мудрую, чистую книгу, где, где-то в середине, возвращается Заратустра², — в более приятном облике и с более милой интонацией, чем старый, который меня всегда немножко отпугивал. А теперь пришла еще «Благодарность Гёте» с великолепной статьей о «Вильгельме Мейстере» — самым, пожалуй, теплым и умным из всего, что писалось об этом романе после Фридриха Шлегеля³. Радостно видеть, как сейчас, среди почестей, время которым приспело вполне естественно, выступает из туманов времени Ваше творчество, выступает так ясно, так убедительно, во всем верное себе самому и отмеченное печатью долговечности... Вы сами не можете этому не радоваться, и за Вашим характерным ворчаньем, брюзжаньем и сетованием не может не таиться изрядная доля благодарной удовлетворенности удавшейся, благословенной и по воле судьбы всегда огражденной от ужасов времени жизнью. Теперь, конечно, после стокгольмских фанфар успеха⁴, — это смешно, и Вам, наверно, будет довольно противно — Ваше

* Членства (англ.).

** Фонд (англ.).

*** Пасифик Пэлисейдз.

29 января 1947

пусть храброе славное дитя знает что печальная история Адриана сегодня полностью доведена до счастливого конца

творчество начинает оживать здесь, и я слышал, что скоро не то «Демиан», не то «Степной волк» или даже и то, и другое выйдет на английском языке, причем рассчитывают, кажется, на мои услуги в качестве толкователя и introducer * — «I want you to meet Mr. Hesse» **. За мной-то дело не станет. А вот за другими — пожалуй.

«Убеждения, по крайней мере, — пишете Вы мне по поводу своих политических статей, — никогда не менялись». Не менялись они и у меня, если различать между убеждениями и мнениями, как о том говорил Гёте: «Он не раз менял свои мнения, но никогда не менял своих убеждений». Читая теперь то, что сказано у Вас о первой мировой войне, я нахожу, что и я тогда от души одобрил бы это, вернее, действительно одобрял, но пацифизм тогдашних политических литераторов, экспрессионистов, активистов раздражал меня так же, как якобинско-пуританские добродетели, пропагандируемые державами Антанты, и я отстаивал протестантско-романтическую, аполитичную и антиполитичную немецкость, которую считал основой своей жизни. С тех пор, за 30 лет, я весьма существенно менял свои мнения, не ощущая в общем-то никакого перелома, никакого разнобоя в себе. А с пацифизмом дело по-прежнему обстоит особо. Не при всех обстоятельствах выглядит он как истина. Одно время он был во всем мире маской фашистских симпатий, «Мюнхеном» 1938 года, отчаянием всех друзей мира, и я страстно мечтал о войне против Гитлера и «подстрекал» к ней и навек благодарен Рузвельту за то, что он с величайшим искусством вовлек в нее свою решающую страну, он, прирожденный и сознательный противник этого infâme ***. Когда я впервые покидал Белый дом, я знал, что песня Гитлера спета.

По-прежнему верно, что всякая война, даже та, что ведется за человечество, оставляет после себя много грязи, великую деморализацию, огрубление, оглушение. Необходимо и губительно — такова одна из «антиномий» этой юдоли скорби. И все-таки я думаю, что, несмотря на множество признаков, говорящих обратное, человечество за последнее десятилетие продвинулось — или было продвинуто — на шаг вперед по пути к своей социальной зрелости. Это еще, я думаю, скажется, и тогда Германии волей-неволей придется признать, что и она тоже сделала этот шаг...

Пора, однако, кончать эту записку... Несколько дней назад я написал заключительные слова того фаустовского романа, о котором я Вам, конечно, рассказывал. Больше 800 страниц... Это все же известное нравственное достижение — такое выдержать. Есть ли тут еще что-либо достойное признания, покажет будущее. Я сейчас на этот счет слеп. Во всяком случае это нечто вызывающе немецкое, история сделки с чертом, современная, но всегда стоящая одной ногой в XVI веке. Веселости иосифовских историй в этой книге нет, наоборот, она довольно печальна и незабавна. Но уж чего там!.. Немецкое издание печатается на сей раз

* Того, кто кого-то представляет (англ.).

** Я хочу познакомить Вас с мистером Гессе (англ.).

*** Чудовища, гадины (франц.).

в Швейцарии, наконец-то снова наборщиками, у которых немецкий — родной язык, и я могу держать корректуру. Меланхолия да еще 120 опечаток впридачу — это было бы уж чересчур.

Увидим ли мы Вас и Вашу милую жену в этом году? Мы собирались и собираемся поехать в Европу в мае, но по разным причинам время для очень обстоятельной организации этой поездки уже упущено.

Всячески желаю Вам здоровья и улыбочивой стойкости, когда «начнется» Ваше семидесятилетие!

Ваш
Томас Манн

161

ФРИЦУ ГРЮНБАУМУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния,
20 февр. 1947*

Многоуважаемый господин доктор Грюнбаум,

с этим вопросом¹ обращались ко мне не раз, и я всегда пытался сделать понятным, что я вовсе не та инстанция, чтобы на него отвечать. Я ведь сам все оставил во мраке, в неверном полумраке каретных фонарей, и, стало быть, мне не подобает решать относительно реальности или нереальности задним числом.

Всякий раз, когда меня просят решить спор, мне хочется согласиться с обеими сторонами. Но как следует подумав, я должен признаться: чаша весов склоняется к нереальности чуть-чуть больше. Многое в тексте решительно, если тут можно говорить о решительности, указывает на то, что дело идет о мечтаниях и о чем-то гаком, чего «не пугаешься», потому что выдумываешь это сам. На самом деле Гёте вряд ли упомянул бы о дрожании головы Лотты — это исходит от нее. Да и не стал бы он так много говорить ямбами — это происходит оттого, что Лотта только что из театра. Она ведь тоже говорит стихами: «Ах, как чудесно жертву принести! / Однако. . . etc.» И вряд ли закончил бы он свою речь заключительными словами «Избирательного сродства», и если бы он был в карете, то Магер, помогая Лотте вылезти, его бы увидел. Однажды он назван «человек в плаще» — а это ведь мифологическое обозначение; кажется, Вотана² так называли. И то, как его голос «затухает» в конце: «Мир твоей старости», тоже слегка призрачно.

Подозреваю, что Лотте так хочется заключительного, как-то ставящего все на свои места разговора, что она эту сцену просто придумывает. Но если это и так, о чистой нереальности все равно еще нельзя говорить. Речь может идти тогда о мысленном разговоре, который состоится потому, что желанию Лотты идет навстречу желание ее старого друга, о мысленном разговоре, где то, что говорит Гёте, принадлежит ему, хотя он не сидит рядом с нею физически, и значит, какая-то высшая реальность в этом разговоре все-таки есть.

Так расплывчато думаем мы, рассказчики историй. Не обессудьте! Исторической, как обед, встреча в карете все равно не является. Гёте не провожал Лотту после театра.

В связи с Вашим письмом я снова почитал свою книгу. Она моей душе все же очень, очень близка, и хорошее это было время, когда я писал ее.

Преданный Вам

Томас Манн

162

ГЕРБЕРТУ ФРАНКУ

Пасифик Пэлсейдз, Калифорния.
19.III.47

Глубокоуважаемый господин Франк,

как разделяю я Ваши чувства и как мне хочется подробно ответить на Ваше такое доверчивое, так умно написанное, такое глубокое письмо! Но не могу [...] Так уж ведется, у «людей духа» в голове их собственные заботы; один и не знает даже о другом, не желает знать; каждый думает: «Жизнь ли, коль живут другие?»¹, отрицает тайком всех других и чувствует себя островом отдельной и уникальной проблематики. Да, в сущности это не что иное, как здоровая скромность, если кто-то, кому достаточно трудно найти собственное благо, не дерзает спасти еще и мир. «Дух», как Вы это очень верно видите, не есть нечто однородное, а есть сфера личности, на самые разные лады определяемой временем и средой, и «организация людей духа» вряд ли возможна. Я иной раз участвовал в таких попытках, из социального чувства долга, например как член Comité permanent des lettres et des arts* при Лиге Наций (с итальянскими фашистами и французскими эстетами). Могу Вам сказать: это было безнадежно, академическая болтовня вокруг да около, монологи в обход всех важнейших вопросов. С тех пор кое-какой опыт приобретен, и все же меня очень смущает мысль о мировом ареопаге интеллектуалов для ограничения насилия. Не будет ли он выглядеть смешно? Не покажется ли смешным себе самому? Склонность духа к самоиронии остается неизменной. Сделать президентом старика Шоу²? От него нечего ждать, кроме самодовольных парадоксов, да еще он будет советовать, чтобы играли только его пьесы.

Не поймите меня превратно! Я от души сочувствую всем людям доброй воли, хотел бы сам принадлежать к ним и нахожу, что даже если не веришь, говорить и действовать нужно так, словно ты веришь. Я рад, что живу в стране, по которой сейчас, правда, проходит волна реакции и где господствующий класс замышляет фашизм, но которая при этом полна людей доброй воли и где в воздухе носятся планы World Government**,

* Постоянного Комитета по литературе и искусству (франц.).

** Всемирного правительства (англ.).

идеи всеобщей экономической администрации земли, международного парламента народов для обеспечения мира и т. п. Я всегда к услугам, если я нужен. Но вы, конечно, правы, когда говорите, что от решений конференций и юридических учреждений толку мало. Сначала надо создать атмосферу, благоприятную для таких учреждений. Ницше считает, что в мире будущего религиозные силы могут быть все еще достаточно сильны для атеистической религии à la Будда, отмечающей различия в вероисповедании, и что наука не против нового идеала. «Но это не будет всеобщим человеколюбием», — предусмотрительно прибавляет он. . . А если бы это оказалось им самым? Религиозно обоснованным и окрашенным гуманизмом, который вобрал бы в свое почтение перед тайной человека и всю полноту знания о низшем и демоническом начале? Всепроницающим, неприменным для каждого уважением к тайне, каковую представляет собой человек, к благородству и трудности жребия быть человеком? Если бы это стало врожденным чувством, тонусом жизни, от которого никто не мог бы уйти, то практически из этого проистекло бы, пожалуй, много хорошего. Поэт и художник может кое-что сделать, чтобы, незаметно воздействуя вширь сверху, эту атмосферу создать.

Преданный Вам

Томас Манн

163

ВИКТОРУ МАННУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния,
27 марта 47*

Дорогой Вико,

твое славное письмо от 10 февраля благополучно дошло и предыдущее тоже. Не думаю, чтобы в переписке возник какой-то пробел. Мне от радно знать, что мое английское письмо¹ дает вам известное чувство безопасности. И я рад был узнать о впечатлении, которое произвела на тебя «Лотта в Веймаре». Как только у меня снова окажется несколько экземпляров, я пошлю тебе один — в твою собственность.

Что у вас в ходу именно «С. И. Пост»², мне совсем не нравится. Портрет-то был неплохой. Но что интервью с агентом Кольстоном Ли³ передано неверно, явствует уже из того, что Эрика, сейчас лучшая, пожалуй, его лошадка, вообще не названа. А того, что написано там обо мне, он не говорил. Я ведь lecture * мало, но когда это делаю, как сделаю сейчас снова в Вашингтоне и Нью-Йорке, то люди приходят безусловно не только to look at me **. Не только для этого приходили они даже в самом начале, когда я говорил много хуже, но объехал весь континент с «The coming victory of Democracy» ***.

* Читаю лекции (англ.).

** Поглядеть на меня (англ.).

*** «Грядущей победой демократии» (англ.).

Ро-Ро-Ровольт⁴ действительно, стало быть, написал мне длинное письмо, [...] я передал его письмо Берману. Тот говорит, что издания газетного типа — не новость, нечто подобное уже практиковалось, и что-то в этом роде он сам планирует с Зуркампом. Он собирается в свою очередь написать Ровольту. Несомненно ведь, что эти дешевые массовые издания — отличный способ снова представить широким слоям в Германии авторов, облик которых стал этим слоям довольно-таки неясен.

Наш приезд в Мюнхен, дорогой Вико, — проблема очень серьезная, мы всячески обдумываем и обсуждаем ее. Если бы я мог тихонько приехать и уехать, как частное лицо, дело было бы очень просто. Но ведь я прибыл бы официально, неизбежно с некоторым шумом, и должен был бы предстать перед общественностью — и эта мысль, будем говорить честно, пугает меня с каждым днем все больше и больше. По развитию событий в Германии, по тому, какая там сегодня уже опять атмосфера (опять виноваты и другие, но это особый вопрос), меня не удивляет, что все заклинают меня не ехать. [...] Вихерт⁵, который теперь в Швейцарии, потому что больше не выдержал, заявил «Стокгольмс Тиднинген», что приди завтра Гитлер, 60, а то и 80% народа встретили бы его возгласами «ура». Все, что он еще говорит о разложении и страшной безнадежности этой страны, я опускаю. Но поскольку он однажды, очень мягко и вяло, что-то пролепетал о «вине», его стали обзывать «изменником родины», выбили ему окна, систематически угрожали ему, он вынужден был просить защиты у американцев, и его дом был взят под охрану. Это Вихерт, консервативный националист. А уж я-то, который у спасителей и мстителей немецкой чести на гораздо худшем счету, слышу более красным! Полагаешь ли ты, что мой визит пройдет без «помех»? Здесь ожидают противоположного. Не то, чтобы я боялся за свою жизнь. Но представь себе всю неловкость и всю позорность этой ситуации! Military Government* сочло бы своей обязанностью меня защищать, хотя по закону натурализованный американец не имеет никакого права на защиту в стране, откуда он родом. Так или иначе, если мне дадут визу, то придется следить за мной и предотвращать неприятные инциденты. Неужели мне ходить по Мюнхену с M. P. bodyguard**?) Мне непременно пришлось бы говорить публично, скажем: прочесть доклад в университете. Стало быть: полицейский кордон, проверка слушателей, напряженность, опасение, что вспыхнет дебош. А что надо, что можно сказать немцам, если они чувствительны, как мимоза, испуганы, изранены, предельно раздражены? Они ведь явно не видят, что Германия находится как раз в том состоянии, какого желали ей ее вожди, если уж им суждено проиграть войну. Но говорить что-либо против этих вождей, не критикуя оккупацию (что я могу делать здесь, но не там), было бы уже непатриотично. Немцы в сущности не хотят давать в обиду своей Третьей империи. Значит, говорить только о будущем! Но ведь оно покрыто сплошным мраком, и не знаешь, чего желать, на что

* Военное правительство (англ.).

** Телохранилем из военной полиции (англ.).

надеяться, что рекомендовать. [...]. Любые слова — это сотрясение воздуха, увертки, ложь, утешительная чепуха и хотя бы уже поэтому не могут не вызвать возмущения.

О натиске на мои нервы, о жалобах, о просьбах помочь, о мучительных надеждах на мое «влияние», которыми станут меня осаждать (я говорю уже «станут», хотя все это лишь предположения), — я уж молчу. Я почти не сомневаюсь, что все это ты уже тоже мысленно нарисовал себе и задавался тем же вопросом, что я, — какой смысл имеет визит, от которого хочется отделаться как можно скорее и к великому своему облегчению. Облегчение, вероятно, почувствовали бы и американцы, как только бы я уехал. У меня такое впечатление, что въезд они разрешили бы мне неохотно — разрешили бы, да, но неохотно, — потому что боялись бы troubles*, а их они вовсе не любят. Нам надо будет выяснить это в Вашингтоне точнее. Не исключено, что там просто-напросто скажут «нет».

Обидно — это, конечно, скромное слово, чтобы передать, как все мы будем разочарованы, если планы свидания, так предвкушаемого обеими сторонами, расстроятся по жестокому велению разума. Но они могут и не расстроиться, даже если все пойдет так, как я предвижу. Одно-то уж мое желание мои мюнхенские американцы, мне кажется, готовы исполнить, и Эрика (она сейчас здесь у нас) берется посодествовать тому, чтобы вам разрешили приехать к нам, когда мы будем в Цюрихе. 3 июня я должен выступить там с докладом о Ницше на Международном конгрессе пен-клуба. Вот было бы славно, если бы вы при этом присутствовали, — для вас как-никак перемена обстановки, а для нас безобидное вознаграждение за отказ от не совсем безобидного предприятия.

Сердечно
Т.

164

В РЕДАКЦИЮ «НОЙЕ ЦАЙТУНГ»

Флимс, Граубюнден.
25 июня 1947

Многоуважаемые господа,

писатель Манфред Хаусман¹ распространяет в немецкой печати сообщение, будто в 1933 году, в письме к министру внутренних дел Фрику², я настоятельно просил разрешить мне вернуться в национал-социалистскую Германию и заверял, что буду там, в полную противоположность своему поведению в прошлом, хранить молчание и перестану вмешиваться в политические дела. Ни в коем случае, мол, я не хочу эмигрировать. Таков был, по Хаусману, смысл моего оставшегося без ответа письма. Я, получается, рад был тогда вернуться в Третью империю, но должен был, вопреки своему желанию, остаться за границей, потому что мне не дали разрешения на въезд.

* Волнений, беспорядков (англ.).

Нелепость этой сплетни очевидна. Никакого разрешения на мое возвращение в Германию в 1933 году не требовалось. Ведь этого возвращения как раз и желали и мюнхенское гестапо, чтобы отомстить за мою борьбу с надвигавшейся бедой, и геббельсовская пропаганда в Берлине — из соображений международного престижа и для того, чтобы литературная академия располагала моим именем. Мне не раз давали понять (например, через «Франкфуртер Цайтунг»), что прошлое забудется, если я возвращусь. Берман-Фишер, надевшийся тогда сохранить издательство в Берлине, обещал встретить меня с автомобилем у границы и довезти до Берлина. Он послал ко мне в Санари-сюр-мер редактора «Нойе Рундшау» С. Зенгера³, чтобы тот уговорил меня вернуться. Я отказался. В недавно опубликованных страницах дневника 1933/34 годов⁴ отражается тот глубокий ужас перед Германией, который я тогда испытывал и от которого боюсь, уже никогда вполне не избавлюсь. Они полны также непоколебимой убежденности в том, что ничего, кроме горя, кроме кровавой гибели, этот режим Германии и миру не принесет, полны раннего сострадания к немецкому народу, вложившему столько веры, воодушевления, гордых надежд в такое явно злое и подлое дело. Своими публичными заявлениями в Швейцарии, своим открытым переходом на сторону эмиграции я вынудил германские власти лишить меня подданства, на что Геббельс отнюдь не хотел идти. «Покуда я что-то значу, этого не случится...» А теперь говорят, что я умолял разрешить мне принести фюреру присягу на верность и вступить в палату по делам культуры. Хаусману это известно.

Почему он наносит мне удар в спину этим нелепым доносом, чем я заслужил это у него, чем досадил ему, я не знаю. Не потому ли он так зол, что сегодня я «не хочу» того, что тогда мне «не разрешили»? Не далее как два года назад он писал нашему общему издателю в Америку, что глубоко отчаялся в Германии, что чувствует себя чужим в родной стране. Этот народ, писал он, безнадежен, испорчен до основания, и ни о чем он. Хаусман, уже не мечтает, кроме как о возможности стряхнуть с ног прах отечества и уехать за границу. Сегодня он говорит о «хоть и убогой и несчастной, но все же до некоторой степени демократической Германии». в которую я гнусно не желаю вернуться. С немецким равновесием дело обстоит — что тут удивительного? — из рук вон жутко.

Если среди «писем в ночь» (так пожелал их назвать Рене Шикеле), которые я в муке своей писал тогда, — если среди этих кликов, обращенных к уплывавшей Германии, находится и письмо к Фрику и если Манфред Хаусман ухитрился завладеть этим письмом, пусть он опубликует его целиком, а не торгует вразнос каким-то явно фальсифицированным изложением. Я уверен, что такой документ 1933 года⁵ не запятнает моей чести, а посрамит лишь ныне повешенного⁶, который, как Хаусман с каким-то удовлетворением отмечает, «на него не ответил».

Преданный Вам

Томас Манн

Флимс, Гбд, Гостиница «Сурсельва»,
6 июля 47

Дорогая, глубокоуважаемая фрау Хедда Эйленберг,

из-за угнетающего множества других дел я до сих пор, к сожалению, не поблагодарил Вас за Ваше волнующее письмо. Простите! [...] Германия стала для меня чем-то несказанно жутким, и у меня такое впечатление, что большинство людей там на $\frac{3}{4}$ сумасшедшие или, по меньшей мере, навсегда спятили — что нисколько не удивительно. Безмерно при этом мое преклонение перед теми, кто держался как Ваш замечательный супруг¹. Не почетным гражданином Дюссельдорфа надо бы его назвать, а почетным гражданином мира — и так его еще назовут. Не думайте также, что я был очень далек от слез, читая Ваше описание публики на Страстях по Матфею и по Иоанну² у входа в подвал и в развалинах церкви! Все это вместе песня, которую не споешь, Вы правы. Однако в своем романе о Фаустусе я попытался кое-что из нее пропеть — и заболел, нажил абсцесс в легком и должен был лечь на операцию. Ни одна книга так не донимала меня. Иосиф был по сравнению с этим чистейшим оперным удовольствием. Но как радовался я Вашей музыкальной характеристике 4-ой части! Это было, в артистическом смысле, похоже в некотором роде на «Гибель богов» после вставок «Тристана» и «Мейстерзингеров»³, работа с давно заданными мотивами [...]

Чего Вы только не потеряли!⁴ Простодушный Геринг называл это «разнести в пух и прах». Со мной отчасти это тоже произошло. Друзья, украшавшие мою жизнь, убили себя, убиты, умерли от разрыва сердца etc. Песня, которую не споешь... Передайте Герберту, что я люблю и чту его!

Ваш Томас Манн

Цюрих, Бор-о-Лак.
10 авг. 47

Дорогой Герман Гессе,

в последнюю минуту (мы улетаем сегодня) спасибо за Ваши милые строки. «Националы» в Люцерне¹ сдержали свое обещание постольку, поскольку за королевский салон, который они нам открыли и которого мы не заказывали, платы с нас безусловно не потребовали.

Это была хорошая встреча, мы будем весь год о ней вспоминать. Но как я устал от всего, не могу передать, и довольно скверно, что в Голландии надо опять начать чуть ли не с начала. Я буду рад, когда мы сядем на пароход, и втайне сомневаюсь, что в мае следующего года (всего через 8 месяцев) снова уже пушусь в пляс. Швейцарию мне, правда, не хочется покидать. Это восхитительная страна, и недавняя дорога через

Альпы, когда мы ехали на машине в Стрезу, произвела на меня глубокое впечатление. (Как только они умудрялись тогда на слонах²?). Если приежаешь издалека и не слишком часто, получаешь к тому же много швейцарских франков.

Из Вашингтона я получил неприятные известия насчет *copyright* *, и снова стало весьма вероятно, что немецкое издание отложится еще на восемь-девять месяцев, — для меня это огорчительно, а для Бермана, полагаю, ужасный удар по карману. От доктора Бенедикта³ (в прошлом Вена), который прочел гранки⁴ в Стокгольме, я получил отрадно взволнованное письмо.

Всего лучшего Вам и фрау Нинон, которой, как и Вам, мы оба шлем сердечный привет.

Ваш Томас Манн

167

КЛАУСУ МАННУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
19 сент. 47

Славный Эйси,

Спасибо за новые сведения¹ в письме от 5-го. Я постараюсь получить воспользоваться ими в программном письме, которое в ближайшие дни направлю «Дайэл». При этом я спрошу также, в какой мере там согласны на *research work* **, когда дело идет о переводных вещах, и затем извещу тебя. По поводу инзелевского томика² я написал в Нью-Йорк. Только укажи мне письма.

В первые дни после нашего приезда я был здесь такой усталый, что с трудом читал и ни о чем не мог думать. Эти строки уже признак возвращающейся жизни. Но оживляешься лишь для забот. Доходы сильно сократились, и во время нашего недавнего завтрака Кнопф был ужасно *gloomy* ***. Эрика скоро уже придет, что приятно, но не по приятным причинам: у нее почти нет *engagements* ****, потому что в Европе ничего не хотят знать. Дядя Генрих жалуется на скверные ночи и приступы страха, а Розенталь³, тайком от него, говорит об *angina pectoris* *****, правда, легкой, в сочетании с бронхиальной астмой и опасениями за блуждающий нерв. Вдобавок плачевная почта из Германии и из Швейцарии, где А. М. Фрей голодает и нуждается в поддержке.

Хоть бы ты сумел помочь себе, и хоть бы тебе помогли!

Вообще же здесь чудесно, и после банного чада Нью-Йорка и Чикаго я наслаждаюсь чистым, свежим воздухом.

* Права издания (англ.).

** Исследовательскую работу (англ.).

*** Мрачен (англ.).

**** Договоров о работе (англ.).

***** Грудной жабе (лат.).

Милейн героически деятельна, но уже тоже в годах, и из-за нее я рад, что Генриху нельзя подниматься по лестницам (чего он не знает), так что перебраться к нам он не может, и его надо только время от времени привозить. Голо красуется полными щеками и брышком ученого и очень мил.

Сердечно
В.

168

ЛИОНУ ФЕЙХТВАНГЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
9 окт. 1947*

Дорогой господин Фейхтвангер,

спасибо за Вашу великолепную книгу¹ с дружеской надписью! Я провёл за этим произведением славные часы и отношу его к Вашим лучшим, склонен даже под свежим впечатлением считать его самым лучшим по радостному владению предметом, построению, изобретательности и по языку. Наслаждение доставляет мне именно духовная веселость, радость художественного выражения, с которой я Вас поздравляю. Юношеская свежесть в сочетании с умелостью и опытом — это, конечно, большое удовольствие. Оставайтесь еще долго таким молодым, а когда Вы составитесь, это, может быть, будет опять по-другому прекрасно!

Мы были бы очень рады скоро увидеть Вас обоих опять у себя, но вынуждены боязливо считаться со слабыми нервами нашей теперешней help* и осмеливаемся приглашать гостей лишь через какие-то размеренные промежутки. Тем не менее: до скорого свидания! Ведь в материале для беседы, щекотливым, зловещем и забавном, нет недостатка.

С сердечным приветом от дома дому
Ваш Томас Манн

169

АГНЕС Э. МЕЙЕР

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
10 окт. 1947*

Дорогой друг,

[...] вопрос, интересуетесь ли Вы еще мною вообще и в какой мере, часто меня занимает и, конечно, заставляет меня нерешительно медлить с писанием. Однако укоренившаяся потребность сообщать Вам о себе не исчезла. Потерпите ее, сколько сможете!

* Прислуги (англ.).

Из моих Вы во что-то ставите Голо — очень по праву и к моей радости, ибо он отличный малый, и я рад, что он снова поблизости: в качестве преподавателя истории в Помона-колледже, откуда он прикатывает к нам на своем фордике на каждый конец недели. Эрика, вернувшаяся из Европы отдельно от нас (из Швейцарии она ездила в Прагу к нашему другу Бенешу и в Польшу), составляет нам компанию, ожидая начала сезона lectures*. Это будет, вероятно, ее последний сезон, ибо при ее убеждениях (отнюдь не коммунистических) и при тех путях, которыми мы, то есть U. S.**, теперь идем, возможностей высказываться будет, наверно, и у нее все меньше и меньше. Она достаточно умна и энергична, чтобы пробиваться по-другому. Я сам больше не подписываю никаких воззваний, которыми надоедают отчаявшиеся левые, ибо не испытываю желания еще раз играть роль мученика. Приятней всего мне объяснение, что дело идет об известной моральной усталости страны после усилий гениального рузвельтовского периода. Вообще же я утешаюсь красивым афоризмом, услышанным мною в Лондоне от Гарольда Никольсона: «В Америке, — сказал он, — надо отличать погоду от климата. Погода сейчас там плохая, но климат хороший...» Климат хороший! А от смутно-неприятного чувства растущей непопулярности Америки в остальном мире тоже никуда не деться.

По личным причинам меня сильно волнует дело Ганса Эйслера¹. Я его довольно хорошо знаю, он человек высокообразованный, умный, очень занятый в разговоре, и я часто великолепно беседовал с ним, особенно о Вагнере. Музыкант он, по мнению всех его коллег, первоклассный. После того как инквизиция рекомендовала «светской деснице» выслать его, можно опасаться, что он очутится в немецком лагере. Я слышал, что Стравинский (белый русский!) собирается устроить демонстрацию в его защиту. Но у меня есть жена и дети, и я больше не осведомляюсь об этом.

Будучи в конце концов романистом, я с известным волнением следил даже за процессом той молодой парочки, что убила родителей, и его исходом. Оправдательный приговор — это феномен, который никак не выходит у меня из головы. За большие деньги можно было заглянуть в переписку этих молодых людей во время их предварительного заключения. Эрнст Любич², например, читал их письма и говорит, что по непристойности их превзойти трудно, зато в них нет ничего, что свидетельствовало бы о какой-то попытке разобраться в собственном деле, в тайне смерти родителей. Во время суда они обменивались влюбленными взглядами, явно по совету защитника; ведь после оправдательного приговора девушка заявляет, что не хочет выходить замуж за своего друга «and leave it to us to figure out why she doesn't care»***. Что может сказать на это the cheering crowd**** в зале суда? Понимаете ли Вы вообще, почему и по какому поводу ликовала публика? Ведь никаким личным обая-

* Лекций (англ.).

** Соединенные Штаты (англ.).

*** И предоставьте нам решать, почему ей не хочется (англ.).

**** Ликующая толпа (англ.).

нием, судя по всем фотографиям, эта пара не отличалась. Неужели в народе принято восторгаться тем, что можно совершить тяжчайшее преступление and may get away with it *. Такого рода восторг нельзя назвать очень здоровым. Верхом всего кажется мне то, что защитник хочет теперь предъявить иск на сумму страховки, — что ведь цинично противоречит версии убийства. Я думаю, домашняя хозяйка, которая в полном одиночестве стойко держалась до самого конца и лишь вынуждена была наконец присоединиться к вердикту «невиновны», окажется права в своем уповании на то, что наказание как-то все-таки постигнет виновных. . .

А теперь, со смешным опозданием, я должен сделать Вам один дружеский упрек, который скорее, однако, — просьба объяснить и вразумить. В своей забываемой речи, которую Вы произнесли здесь в организации учителей и где «Голливуд» был Вами подвергнут столь мужественной критике, Вы если я не ошибаюсь, странно ошиблись в выборе частного примера, скомпрометировав «The best years of our lives» ** Шервуда как disgrace *** для американского производства и для самой страны. Глубокоуважаемый друг, сколько вредных для народа подделок следовало бы заклеить позором вместо этого фильма, которого я тогда не знал! Только вчера я случайно увидел его и должен сказать: он принадлежит к самому лучшему, что попадалось мне в этой области, — при предельной естественности, глубокой идейной порядочности и блестящей игре, он полон истинно американской жизни. Скажите мне ради бога: где в этой картине подстрекательство, охаивание, апелляция к низменным инстинктам, что-либо позорное для страны? Ведь трудности приспособления вернувшихся с войны к гражданской жизни изображены с тактом, юмором и добротой, женщины трогательны, кроме одной, ординарной, необходимой по замыслу, мужчины, как индивидуальности с несходными судьбами, совершенно достоверны — и достоверен мир, в который они возвращаются. Разве не правомерны трагические ноты, вызванные тем, что каждый раз, когда возвращаются boys ****, идея войны, где они отдавали свои конечности, оказывается преданной и распроданной? Вы против того, чтобы давали по физиономии человеку, у которого хватает наглости и политической подлости сказать вернувшемуся домой калеке «We fought the wrong people» *****? Если нет, то против чего Вы? Я должен а priori признать большую компетентность мнения такой американки, как Вы. Поскольку я хочу стать американцем, я должен желать видеть и думать, как Вы. Я серьезно прошу, просветите меня, если у Вас найдется для этого время, относительно причин Вашего отрицательного отзыва, чтобы я их осмыслил!

В бодрые часы я воююсь со всякими планами работы: со средневековой новеллой-легендой³, которая вместе с «Обменными головами» и моисеев-

* И за это ничего не будет (англ.).

** «Лучшие годы нашей жизни» (англ.).

*** Позор (англ.).

**** Мальчики (англ.).

***** Не с теми мы воевали, с кем надо (англ.).

ской историей составила бы третью пьесу моих «Trois contes»*; с превращением Феликс-крулевского фрагмента в современный плутовской роман, действие которого происходит во времена карет. Смешное, смех, юмор все больше и больше кажутся мне целебными для души; я жажду их после лишь скудно разбавленных весельем ужасов «Фаустуса» и собираюсь при мрачном положении в мире придумывать веселые вещи. Кто во времена побед Гитлера писал «Иосифа», не уstraшитcя и будущего, если до него доживет. Вы, дорогой друг, переживете меня и, может быть, иногда будете меня вспоминать.

Верный Вам
Томас Манн

170

МИСТЕРУ ГРЕЮ
[черновик]

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
12 октября 1947

Dear Mr. Gray**,

оба заявления в living room*** Боба Натана¹ вряд ли звучали в точности так, как их передает мистер Лайонз. Фейхтвангер никак не мог сказать: «I am going home to Germany»****, ибо, как и я, он не собирается этого делать, и к тому же, как и я, он не стал бы в доме американского писателя называть Германию, в отличие от Америки, страной, «where real culture can be found»*****. Насколько я знаю нашего Лиона, он отстаивал патриотизм в языке, не привязывающий жизнь немецкого слова к жизни Германии. Наверно, он доказывал, что язык не может висеть в воздухе, что без опоры в народе и государстве он мертв и бесцветен и что поэтому мы, немецкие писатели, заинтересованы в политическом существовании Германии. В этом много правды.

Что касается меня, то мне уже доводилось читать, что я непременно должен быть патриотом, что я по природе своей патриот и что поскольку от своего немецкого патриотизма я отказался, то стал патриотом американским. Заявление, приписываемое мне мистером Лайонзом, кажется, это подтверждает, и нечто подобное я действительно мог сказать. Было время, когда моя вера в мировую миссию Америки была очень сильна. В последние годы она была слегка поколеблена. Вместо того, чтобы руководить миром, Америка, кажется, решила его купить, — что, конечно, в своем роде тоже великолепно, но все-таки не столь вдохновляюще. А что я и при таких обстоятельствах остаюсь американским патриотом, показывает мне искреннее огорчение, с каким я гляжу на растущую непопуляр-

* «Три рассказа» (франц.).

** Дорогой мистер Грей (англ.).

*** Гостиной (англ.).

**** Я возвращаюсь домой в Германию (англ.).

***** Где можно найти настоящую культуру (англ.).

ность Америки в остальном мире. Американский народ в этом не виноват и этого не понимает. Голосам, которые могли бы просветить его относительно причин, приходится все больше и больше молчать. Ощутимы первые признаки террора, идеологического шпионажа, политической инквизиции, начинающегося несоблюдения законности, оправдываемые состоянием якобы emergency*. Как немец, я могу только сказать: так начиналось и у нас. Но лишь тихим голосом, по частному поводу и непритязательно, как в данном случае, произношу я эти предостерегающие слова, которые и вообще не стал бы произносить, если бы не сохранял в душе веру, что эта великая страна заслуживает нашей любви, нашей заботы — и нашего доверия.

171

МАКСУ РИХНЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
26 окт. 1947*

Дорогой господин доктор Рихнер,

Берман по праву поторопился прислать мне Вашу рецензию на «Фаустуса» — первую, которую я увидел, и первую же, вероятно, которая появилась в печати. Я глубоко взволнован теплотой всего, что Вы говорите об этой мучительной книге. Не знаю, в чём тут дело, но у меня появляются слезы на глазах, как только о ней заходит речь всерьез. А Ваша большая статья — первый оформленный, публичный разбор данного произведения, и в этом есть для меня что-то потрясающее. И что-то успокаивающее: у меня такое чувство, что теперь ему уже ничего не страшно. Пусть книгу, которую сразу так рецензируют и оценивают, потом всячески ругают и отвергают, — большого ущерба, я думаю, это ей уже не причинит.

Что скажут немцы по поводу этого романа? Уже позаботились о том, чтобы они получили собственное издание. Может быть, он все-таки им покажет, что было ошибкой видеть во мне отступника от немецкости.

О Швейцарии и приеме, который мне там оказали, я вспоминаю, как о приятнейшем сне.

Преданный Вам
Томас Манн

172

ЭМИЛИЮ ПРЕЕТОРИУСУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
12 дек. 1947*

Дорогой Прее,

бандероли Пипера¹ и моя, Ваши «Мысли насчет искусства» и оттиск моего опыта о Ницше², разминулись, и должен признаться, на этом об-

* Вынужденности, необходимости (англ.).

мене я выгадал: за случайную работу, хоть и ответившую требованиям момента, но изрядно отстающую от мечтаний, которым я сам же и предавался, когда думал о том, чтобы излить свою душу относительно Ницше, я получаю вполне выношенное и выстроенное сочинение художника, на редкость упорно и глубоко задумывавшегося над сферой своей деятельности и обладающего всем образованием, всеми средствами выражения, необходимыми для того, чтобы превратить свой опыт в прекрасную науку. Я ведь в сущности не человек зрения, а скорее музыкант, перемещенный в литературу, но если Ваша книга доставила такое наслаждение мне, то как же горячо должны быть благодарны творцы изобразительного искусства за этот насущный дар! У меня в самом деле такое чувство, что с таким знанием и с такой мудростью об искусстве не писали со времен Рёскина³. Наши немецкие искусствоведы мейергрёфевского пошиба⁴ были ведь фельетонистами, только и державшими руку на пульсе времени, и даже Вёльфлин⁵, несомненно, великий знаток, толкователь и историк, не доходил до этой философской глубины. Гётевские изречения, предпосланные отдельным эссе или очеркам, не украшение для придания незначительному достойного вида. То, что за ними следует, вполне в их духе и на их уровне, а в афористическом заключительном разделе есть слова, которые и правда могли бы попасться в «максимах» или в дневнике Оттилии.

Этой книгой Вы дали бедным немцам нечто духовное и доброе, созданное словно бы в лучшие их времена. Будем надеяться, что они не только будут покупать ее как «реальную ценность», но и сумеют оценить ее по той нравственной ценности, которую она представляет собой именно сегодня...

Статья о Ницше, повторяю, — не то, чего я сам ждал от себя, да и чего другие, наверно, ждали от меня на данную тему. «То» — это скорее фаустовский роман. [...] Внутригерманское его издание сейчас, видимо, идет в печать, и я смею — или лучше сказать: должен — рассчитывать на то, что книга эта в скором времени попадетсЯ Вам на глаза. Поэтому несколько слов о ней.

Это жизнеописание почти преступной беспощадности, особый вид косвенной автобиографии, произведение, стоившее мне больше и истощившее меня сильнее любого прежнего [...] внутреннее волнение пробивается, думаю, даже в самых скучных местах. Оно отзывается дрожью почти в каждой рецензии, которую мне довелось прочесть, и даже такой холодный критик, как Эмиль Штайгер⁶, пишет в «Нойе Швейцер Рундшау», что «Фаустус» не укладывается в ряд моих прежних произведений, что он заслуживает высшего ранга «даже внутри этого ранга» и что здесь налицо страстность, «предсказать которую при библейском возрасте автора ни у кого, пожалуй, не хватило бы смелости» [...].

Круг замыкается. Это, после пятидесятилетних скитаний по пространству и времени, возвращение домой, в сферу немецких старых городов и немецкой музыки, и «случаю» угодно, чтобы как раз сейчас, благодаря перепечатке⁷ главы из «Будденброков» в американской антологии «The

World's Best» *, я снова увидел свой юношеский роман. Возвращение домой при скольких изменившихся, при скольких потрясающих обстоятельствах! Оно будоражит больше, чем то сделала бы личная встреча, которой я избежал, и щедро, как Вы согласитесь, вознаграждает за нее нравственно.

На сей раз получилась не сага поколений, а фиктивная биография, где умеренность пишущего и демонизм предмета образуют странную смесь, биография, разыгрывающаяся между 1884 и 1945 годами и пытающаяся охватить эпоху, в которую я жил. Подобно «Будденброкам», возникшим далеко от места их действия, эта книга возникла еще дальше от мест ее действия, глубоко отделенная от них всеми обстоятельствами, при которых она — с 1943 по 46 — писалась, — что усилило ее бесцеремонность, ее человеческий радикализм. Должен ли я назвать его бесчеловечностью? В фигуре самого героя, этого Адриана Леверкюна, есть что-то холодное и бесчеловечное, но и жертвенности в ней так много, что это, может быть, искупает человеческие грубости книги, холодный портрет моей матери, предание огласке судьбы моих сестер. Выработалась своеобразная волнующая и порожденная волнением, как все другое, техника *монтажа*, при которой фрагменты духовной действительности, — например, детали истории страданий Ницше и тема шекспировских сонетов — но также и действительности бытовой, имена, факты, как бы наклеивались на вымысел, — нечто совершенно новое для меня в этом роде.

И вот где-то там в середине, в тесной связи с пророческим капитальным произведением Леверкюна, «*Apocalipsis cum figuris*» **, есть сцены одного мюнхенского дискуссионного клуба, при работе над которыми черт дернул меня вспомнить об иных вечерах, проведенных с некими остроумными господами в Вашем доме на Омштрассе, и положить это в сущности вполне пристойное воспоминание в основу своего изображения нараставшего зла! Надо ли мне просить Вас не ужасаться этому и не злиться на это? Пожалуй, надо, и просьбу эту следует усилить до заклипания, когда там еще мельком, очень мельком, появляется стороной любопытная, говорящая на дармштадтский лад фигура любезного хозяина дома, бесплотная тень, у которой только и общего с Вами, что 2^{1/2} внешних черты. Еще раз, надо ли мне просить Вас вместе со мною не обращать внимания на глупость и злобность, а также на негодование тех, кто скажет, что это Вы? Абсурдно! И все-таки я обязан обратиться к Вам с такой просьбой, даже если Вы только пожмете плечами по этому поводу. У меня к Вам даже еще одно ходатайство и прошение — переписать это письмо, когда Вы в один прекрасный день приступите к чтению «Фаустуса».

Всего Вам доброго, дорогой мастер! Предлагаю Вам свой последний портретик, изготовленный одной американской приятельницей, и маленький вид нашего дома и сада.

Ваш Томас Манн

* «Мировые шедевры» (англ.).

** «Апокалипсисом с рисунками» (лат.).

173

МАКСИМИЛИАНУ БРАНТЛЮ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
26 дек. 1947

Дорогой доктор Брантль,

несколько озадаченно благодарю Вас за Ваше большое письмо, представляющее собой, во всяком случае, самую живую, с какой я сталкивался, реакцию на мой — ах, такой недостаточный, так наспех сделанный этюд о Ницше¹: это целый каскад страстных упреков, которыми Вы, однако, простите, большей частью ломитесь в открытую дверь. Сначала я действительно думал, что Вы хотите защитить Ницше от меня. Потом мне стало ясно, что моя критика для Вас куда как нерадикальна. И все же вряд ли может быть что-нибудь радикальнее, чем изобразить его жизнь как историю оказывающего вдохновляющее действие паралича, а развитие его философии как историю упадка мысли первоначально справедливой в своей критике эпохи. Я ведь всегда пишу истории «упадков»; такой историей был уже первый мой роман — вышедший из знакомства с Ницше, а «Д-р Фаустус», которого Вы скоро прочтете, — это наконец настоящий ницшеанский роман, по сравнению с которым та статья лишь small talk, маленькая болтовня. Швейцария уже несколько недель заливадается слезами над ним.

Болезнь для меня не есть нечто абсолютно обесценивающее — в этом, видимо, разница между нами. Вас, Ваше католическое христианство, слишком легко шокирует слово «идиот» в применении к самому святому. А это ведь заглавие одного жития святого, глубочайшего, может быть, романа одного византийского психолога, которым Ницше очень восхищался. Станете ли Вы отрицать, что у князя Мышкина есть черты Иисуса Христа? И если понимать под святым не просто благочестивого человека, а видеть в этом типе нечто более жуткое, то в Ницше было очень много, волнующе много черт святого, — простые люди в Турине это ясно почувствовали. «Un Santo!»*

«О, что за благородный ум разрушен!»² Эпиграф этот уместен, и Вы не можете жаловаться на недостаток у меня указаний на разрушение и разрушительность. Не следовало Вам обижаться на меня и за упорное наряду с этим уважение к не имеющей себе равных силе языка, к почти беспримерному богатству ума и глубокой проницательности, рассыпанному по его ранним книгам, и к исполненной мифически-ужасающего величия драме его жизни.

«Великий человек — это общественное бедствие», — говорят китайцы. Особенно великий человек — немец. Разве не был Лютер общественным бедствием? Разве не был им Гёте? Приглядитесь к нему, сколько ницшеанского имморализма заключено уже в его природолюбивом антиморализме! Тогда все еще могло быть прекрасным, радужным и классическим.

* Святой (итал.).

Потом всё стало странным, хмельным, полным крестной муки, преступным. Таково движение времени, движение духа, движение судьбы. Только всякие флаке³ пишут, когда момент кажется подходящим, примитивные брошюры против этого.

Я не могу злиться на Ницше за то, что он «испортил мне моих немцев». Если они были настолько глупы, чтобы поддаться его дьявольщине, то это их дело, и если они не переносят своих великих людей, то пусть они больше их не рожают.

Сердечно

Ваш Томас Манн

174

ВАЛЬТЕРУ КОЛЬБУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
4 января 1948*

Глубокоуважаемый господин обербургомистр,

я получил Ваше письмо от 27-го ноября — кстати сказать, только вчера — и от души благодарю Вас за приглашение приехать во Франкфурт на столетие прихода Паульскирхе и выступить на планируемом приеме в Пальмовом саду. Вы оказываете мне этим честь, которую я слишком глубоко ценю, чтобы мне было легко ее отклонить. Тем не менее я должен решиться на это, и лучше мне, ради Вас и ради себя, сделать это сразу, а не после долгих проволочек.

Я уже старый человек, несколько уставший от труда жизни, который давался мне нелегко, и от потрясений, которые всем нам принесло время, к тому же здоровье у меня довольно шаткое, и я должен привыкать беречь свои силы — не по скупости, а чтобы сохранить себя еще на некоторое время для своей семьи и, может быть, еще что-то сделать. Путешествие от Тихого океана через весь континент на запад¹ и за море — это для меня не легко импровизируемый пустяк, оно к тому же идет вразрез с моей новой работой, и от такого предприятия, ввиду его обременительной сложности, я в нынешнем году, да, наверно, и в следующем, откажусь. Лишь ненадолго было поколеблено это решение Вашим письмом. Я вынужден на том и оставить.

Сейчас печатается немецкое издание романа, который был написан во время войны, представляет собой возвращение, после долгих духовных скитаний, в немецко-городской мир моей первой книги, «Будденброков», и вызвал большое волнение в Швейцарии. Я считаю возможным, что этот роман рассеет или хотя бы ослабит некоторые недоразумения, возникшие в Германии по поводу моего отношения к старой родине. Что я отнюдь не отступник от немецкой судьбы, — эта книга даст, как-никак, многим почувствовать, — сильнее, полагаю, чем то могло бы сделать риторическое участие в юбилее Паульскирхе.

Позвольте мне выразить здесь глубоко прочувствованные пожелания, направленные на благо немецкого народа, на его душевное благополучие,

на его духовное и физическое выздоровление — причем на первом месте надо бы, пожалуй, поставить физическое! Все это, конечно, неразрывно связано с благом и болью остального мира и с вопросом, преодолет ли он без новых разрушительных катастроф тот тяжелый кризис перехода и приспособления, в котором он в целом находится, и те антагонистические противоречия, которые вытекают отсюда. Но сыну Германии да будет позволено сосредоточить свои пожелания на стране своего происхождения и своих традиций. Не в последнюю очередь относятся эти пожелания к прекрасному, тяжело пострадавшему городу, главой которого Вы являетесь и с именем которого у меня связано множество свято сохранных воспоминаний, к милому Франкфурту и к восстановлению его бывлой славы.

С почтительным приветом, глубокоуважаемый господин обербург-мистр.

Преданный Вам
Томас Манн

175

ОСКАРУ ШМИТТУ-ХАЛИНУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
7 янв. 1948*

Глубокоуважаемый господин Шмитт-Халин,

не хочу заставлять Вас ждать благодарности за Ваше теплое и интересное письмо, хотя в данный момент она получится скудной и сравнительно односложной. Есть прекрасное письмо Целлера¹ к Гёте, где этот музыкант превосходно определяет, в связи с «Избирательным сродством», особое волшебство гётевской прозы. Об этом письме вспоминал я, читая Ваши такие нежные слова о моей собственной толике «музыки». За братским искусством, которое Вы считаете таким далеким от слова и которое действительно находится в известном противоречии с рациональностью слова, я всегда признавал большое влияние на мое сочинительство и внимание к средствам и путям этого искусства, к тому, «как оно это делает», обязан, может быть, больше, чем любому чтению. Правда, и к опасностям этого искусства, к его говорящей нечленораздельности, к его мистике я был тоже всегда очень чуток, особенно в применении к немецкому духу, отчуждению которого от мира увлечение музыкой, недостаточно откорректированное литературой, несомненно, сильно способствовало.

В том, что Вы рассказываете мне об «иконоборческом» движении в Германии, о покаянном антиромантизме, есть, однако, своя плачевная сторона. Низкопоклонством перед неудачей отдает это отвращение к ценностям, которые, не проиграв Германия войны, оздоравливали бы мир. Почему бы не отвергнуть уж и Бетховена? Ведь с него же началась «выразительная музыка», и он есть грехопадение музыки с небес к человечеству. Такие вехи и судьбы психологической истории надо бы, наоборот, чтить, включая двусмысленного мифотворца Вагнера, который написал

много великолепнейшей музыки. Теперь ополчаются на Лютера, Фридриха, Бисмарка, Ницше, Вагнера, а то и на Гёте. Хотят отречься, что ли, от своей истории, от своей немецкости? Есть много правды и много доброй воли, но есть и что-то жалкое в этом самобичевании и отрицании немецкого величия, самого, впрочем, каверзного величия на свете. Слово «жалкое» я употребляю в буквальном смысле. Надо признать, что положение немцев достойно жалости... Они компенсируют его заядлым нео-национализмом.

Романтическая эпоха музыки, несомненно, прошла. В ее новых судьбах, при всей их логичности, есть много злосчастного, они составляют часть общего кризиса культуры, изображаемого через посредство музыки и вымышленной личности музыканта в романе, кусочек из которого Вы прочли. «Orus III»², как заголовок вообще не фигурирующий, — это в нем лишь проходной эпизод. «Доктор Фаустус» — вот довольно-таки вызывающий заголовок романа, и это история сделки с чертом от интеллектуального отчаяния. Конечно, все это о Германии, глубоко вкапывается в германские дела и задело меня за живое, как ни одна прежняя работа. Оно и сказывается; читающая Швейцария в глубоком волнении от этой книги. Внутригерманское издание скоро выпустит Зуркамп.

Ну, получилось все же более или менее пространное письмо. Закончу его самыми лучшими пожеланиями и приветами.

Преданный Вам

Томас Манн

176

САМУЭЛЮ ЗИНГЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния,
Сан-Ремо-драйв, 1550.
20 янв. 1948*

Дорогой, многоуважаемый господин профессор,

есть верхненемецкий перевод «Григория Столпника» Гартмана фон Ауэ¹. Я знаю, что он был в рекламовской библиотеке², но она далеко или погибла, а здесь никак не достать этой книги, я безуспешно обращался во множество университетских библиотек, и даже в Library of Congress*, где есть все, ее нет. А мне важно прочесть эту поэму, причем по-верхненемецки, ибо в средневерхненемецком тексте мне все же многое остается неясным. Не можете ли Вы помочь мне? Я не сомневаюсь, что в Вашей библиотеке есть вся литература о Григории. Вопрос только, пожалуй, в том, захотите ли Вы на некоторое время лишиться этой книги и послать мне ее за океан. Это нахальство, я знаю, но очень уповаю на Вашу доброту. Ваша собственность вернется к Вам в целости и сохранности.

Преданный Вам

Томас Манн

* Библиотеке Конгресса (англ.).

177

МИХАЭЛЮ МАННУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
31 янв. 1948

Славный Биби,

я не хочу, хотя рядом сидит собачка Х.,¹ дать истечь дню получения, не поблагодарив тебя за действительно превосходную рецензию² на Фаустуса, которой я с нетерпением ждал и которую теперь, стало быть, с удовольствием и удовлетворением прочел: с удовлетворением не только из-за этой книги и из-за себя, но прежде всего с отцовским удовлетворением, потому что твоя рецензия — это очень умная, содержащая уверенные, компетентные оценки и прекрасно написанная работа, делающая тебе честь. Жаль, что усач³ не может ее прочитать, не может по многим причинам, он сразу бы из почтения пересадил бы тебя на несколько пюпитров вперед. Но Орманди⁴ надо бы нам дать это прочесть, чтобы он увидел, что ты что-то представляешь собой.

Статья твоя полна прекрасных суждений, и я нет-нет, да задаюсь вопросом, идут ли они от тебя самого или к ним причастны какие-то здешние разговоры. Например, меня поразило часто употребляемое тобой слово «монтаж», потому что я сам люблю применять его к этой книге и идея монтажа с самого начала, уже при замысле этого романа, действительно играла роль. Я решительно шел на всякого рода «монтаж», ведь то, что мы оба так называем, непосредственно связано со своеобразным выходом книги за литературные пределы, с ее «отброшенной видимостью искусства», с ее реальностью. Это ты очень хорошо разрабатываешь — и этим в свою очередь как критик выходишь за чисто музыковедческие пределы. Конечно, невидимая Мекк тоже пример тому. Но писем Бетховена к Целтеру я не читал.

Отметить некоторые ляпсусы по части истории и теории музыки было твоим долгом, и я их целиком признаю. Примитивная, но непонятная модуляция на стр. 282 вычеркнута, среди прочего, для дальнейших изданий. Я могу проиграть ее тебе на рояле, испортил я ее только вводящими в заблуждение названиями ступеней (соль-диез вместо ля-бемоль или что-то в этом роде). Но она совершенно излишня. Что Бейсель⁵, по-твоему, нужен, меня радует. Адорно всячески отговаривал меня от него, и все-таки он как-то к месту. Очень хорошо также твое определение моего собственного отношения к Адриановой музыке, в котором больше сострадания и уважения, чем симпатии. Я никогда не писал бы такой музыки и чувствовал себя счастливее при описании других звуков, увертюры «Леонора», III пролога «Мейстерзингеров» и «Mon coeur s'ouvre à ta voix»^{*6}, чем при описании серийных ораторий, которые ведь представляют собой искусство отчаяния. Я в нем хоть и искушен, но во власть его не попал.

* «Мое сердце открывается при звуке твоего голоса» (франц.).

Мотив «холода» очень важен во всей этой дьявольской истории; и ты правильно связываешь с ним изобретение 12-тоновой техники. После некоторого промедления я все же послал Шёнбергу книгу, написав на ней: «Истинному». Никакого отклика от него еще не было. Слова о «животной теплоте музыки» принадлежат ему и «вмонтированы» — более мягкое слово для значения «заимствованы»... Кстати сказать, его изобретение не мешает и ему смотреть на темперированную шкалу как на очень временный компромисс (как и Тоху).

Еще раз благодарю и поздравляю и шлю горячий привет Грет и мальчишечкам! Об Эхо ты говоришь отстраненно, спокойно и достойно.

Твой В.

178

ВИКТОРУ МАННУ

*Пасифик Пэлсайдз, Калифорния,
Сан-Ремо-драйв, 1550.
6 февраля 48*

Дорогой Вико,

твои мемуары¹ были, конечно, неожиданностью, и мы хлопали себя по бедрам от удивления по поводу хитрости, с какой ты скрывал от нас до сих пор это свое занятие. Но всем нам, включая старого Генриха², который просто восторженно отозвался о твоих воспоминаниях, сделанное очень понравилось, и мы совершенно спокойны насчет того, что дальнейшее будет так же приятно и отраднo. После твоего письма я очень хорошо представляю себе историю этого предприятия, и то, как ты приступил к нему, вполне оправдывает тех, кто тебе это посоветовал. Нельзя сделать это непретенциознее, веселее и симпатичнее, и семейно-исторический фон тоже добротен. Разделы о маме особенно теплые и милые. Мне любопытно теперь, как пойдет дальше. Наверно, это будет все больше и больше сжиматься в автобиографию с местом действия в Поллинге, Вайенштефане, на фронте и в Мюнхене, ибо что тебе еще делать с нами, братьями? Но посмотрим. Что для многих эта книга воспоминаний будет интересна, в этом я уверен. Рассказать о нацистском периоде и его конце — в этом ведь тоже будет своя прелесть. [...].

Я тоже, по твоему примеру, занимаюсь сейчас автобиографией, сочиняя предисловие к полному однотомному (!) английскому изданию «Иосифа и его братьев» (около 2000 страниц), где рассказываю историю возникновения этого чудища (Мюнхен, Санари, Кюснахт, Принстон, Калифорния).

Сердечно Т.

Получил ли ты тем временем экземпляр «Фаустуса», который, мне кажется, я вам послал? Дело в том, что в последнем я не абсолютно уверен, хотя это, наверно, и отдает слабоумием. Я долго жил в представлении, что, когда у меня еще были экземпляры, я отправил вам один

с надписью «Вико и его Нелли». Но мало-помалу я стал в этом сомневаться, и, может быть, мне это только приснилось. Плохо то, что сейчас, по крайней мере временно, у меня нет экземпляров.

179

ГЕЙНЦУ-ВИНФРИДУ ЗАБАИСУ

Пасифик Пэлсайдз, Калифорния,
Сан-Ремо-драйв, 1550.
9 февр. 1948

Дорогой господин Забаис,

от души благодарен Вам за Ваше письмо и Вашу статью¹, которые доставил мне профессор Джокерс² и которые в совокупности — самое лучшее и отрадное из всего, что — не помню уж, с каких пор, — приходило ко мне из Германии. Ваша добрая, умная и на совесть выполненная работа мысли необыкновенно симпатична, и даже если Вы называете себя и тех, кто с Вами заодно, кто трудится с Вами вместе, «крошечной горсткой» (по праву, как я знаю), то все равно голос, подобный Вашему, не может не наполнить человека надеждой и дать ему именно ту веру, какой вы требуете, а именно — что немецкому духу выпадет деятельная роль в строительстве мира, на который мы надеемся.

Очень многое в Ваших рассуждениях родственно и близко моим собственным мыслям и чувствам, особенно все, что сказано там против спеси и ханжества притязаний на обладание окончательной истиной и в пользу «сохранения тенденции к прогрессу», то есть в пользу некоей религиозности, которая состоит в послушании и в постоянной чуткости к изменениям в лике истины. В недопонятых еще романах об Иосифе это называется «богомудростью» — мудрость человека, заставляющая его объединить свою волю с волей бога и не застывать в состоянии, «из которого Он хочет нас вывести». Такого рода упрямство я называю богоглупостью, это настроение непременно ведет к катастрофам, и катастрофа тут даже желательна, как исход. В этом настроении давно уже живет то, что мы называем «западным миром», хотя понимание требований мирового духа понемногу распространяется довольно далеко на запад, вплоть до Атлантического океана. Демократия не хочет знать, что нравственно она вообще еще существует лишь в форме социализма. Прежде чем это признать, она бросается в объятия к фашизму, представляющему собой по сути отлынивание от обязанностей, взбодренную допингом безответственность, и поджигает мир. Очень вежливо с Вашей стороны, что в лозунге «век маленького человека», лозунге, которому следует лишь «крошечная горстка», Вы видите кредо западного мира. Несравненно популярнее другой лозунг — «American Century»*, содержащий в себе великую богоглупость, и если «нам» не удастся добиться от мира социализма, останется только атомная бомба. Многого ли не хватает, чтобы мы здесь жили — примерно так же, как в начале тридцатых годов в Германии?..

* «Американский век» (англ.).

С другой стороны, я целиком разделяю Вашу озабоченность «охраной личности от социального организационного аппарата» и присоединяюсь ко всем Вашим предостережениям против полной политизации человека и вытекающего отсюда маккиавеллизма. Реализм и чуткость к изменению жизни в «диалектике событий» — прекрасные вещи, но они таят в себе также зародыш цинизма и комично-иезуитской маневренности в переменах идеологии, тактики, риторики. Человеческую совесть не следовало бы перекладывать на политическое бюро, не правда ли?

Ничего не может быть трогательнее и привлекательнее, чем Ваше требование объединения политики и нравственности в гуманизме. И цитируемое Вами определение оптимизма я тоже принимаю с готовностью, хотя я и не большой поклонник «творений», хотя во взрывающемся космосе вижу скорее дьявольскую потеху, чем повод для «осанны», и знаю за собой некую мистическую тягу к небытию и избавлению. Но я живу и в глубине души чувствую тождество жизни, оптимизма и этики. Заменим это более теплым и емким словом: симпатию. От нее идет все, что я делаю, и когда развлекаю, и когда даю советы.

Я знаю, почему меня по-настоящему не трогает этот, несомненно, по праву прославленный Альберт Швейцер³: он для меня слишком теоретичен, он говорит «оптимизм» и «этика» вместо «симпатия». Говорят, что он очень хорошо играет на органе, и все же у меня нет чувства, что тут мы имеем дело с артистом. Гёте мне милее. У того была симпатия, которая, не задаваясь вопросом об оптимизме или пессимизме, идет непосредственно от жизни, и лирики в нигилизме его Мефистофеля, конечно, больше, чем думает обыватель. В «Годах учения» есть великолепная фраза, вполне опять-таки применимая к нынешней ситуации. «Чернь ничего не страшится больше, чем разума, глупости надо бы им бояться, пойми они, что действительно страшно, но разум неудобен, и его отстраняют; глупость же только гибельна, а тут еще есть время». Блестяще! Исчерпывающе! Его будто бы «последние слова», чтобы вошло больше света или что-то в этом роде, не были, конечно, «словами», и тут было совершенно мошенничество. Но точно известно то, что он напоследок действительно сказал и думал: «Есть в сущности только одна цель — вперед». На том и будем стоять, и если Германия будет на этом стоять, ей суждено жить.

Преданный Вам

Томас Манн

180

АРНОЛЬДУ ШЕНБЕРГУ

Пасифик Пэлисейда, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
17 февраля 1948

Дорогой господин Шёнберг,

это, конечно, занятный документ¹. Он взволновал меня, как знак того, с какой святой ревностью хранят славу и честь своего учителя Ваши ученики. Но в такой ярой и при этом совершенно пустой злости есть и своя смешная сторона.

Кто создатель так называемой двенадцатитоновой техники, знает сегодня каждый младенец. И уж наверняка знает каждый, кто вообще возьмется за такую книгу, как «Доктор Фаустус». Почему же Трибзамен изображает дело так, будто я выдаю себя за изобретателя этой системы? В романе, пытающемся дать общую картину эпохи, я перенес невероятно характерное для этой эпохи явление культуры с его подлинного создателя на вымышленную фигуру художника, на представителя и мученика своего времени. Вряд ли появится на каком-либо языке отзыв на эту книгу, который, если он вообще коснется показа положения музыки, не назовет Вашего имени. На то есть больше поводов, чем только введение серийной техники. Почему Трибзамен не поднимает шума еще и по поводу идеи преобразования горизонтали в вертикаль, идеи, расширяющей понятие гармонии и идущей явно от Вашего учения о гармонии? Неужели он не заметил, что вся теория музыки в этой книге пропитана Вашими идеями, больше того, что под «музыкой» все время по сути подразумевается музыка Шёнберга?

Роман эпохи подразумевает под музыкой музыку Шёнберга. Это не умаление Вашей исторической фигуры.

Несомненно, любая вина на свете мстит за себя! Широко применяя монтаж действительности, я многое присочинил («Много ведь врут стихотворцы», — говорит Гомер), и вот ретивый Трибзамен сочиняет злобные сказки о моем намерении стать композитором, о моем давнем знакомстве с Вами, о моей позднейшей ссоре с Вами etc. Всю эту мешанину никто даже не поймет, тем более что книга по-английски еще не вышла. Что же, собственно, представляет собой этот документ? Письмо? Статью для печати? Я уже сказал, что в нем, как в свидетельстве рвущейся в бой преданности, есть что-то трогательное. И все же, читая его, вспоминаешь старое воздыхание: «Защити нас, боже, от наших друзей!»

Мне жаль, дорогой господин Шёнберг, что Вас так целиком сосредоточили на этой стороне моей книги. В целом, думаю, она была Вам любопытна. Теперь Вы, увы, как читатель потеряны для нее. И все-таки подарок, который мы бросили Вам тогда за забор², был от души!

Позвольте нам надеяться, что грипп в Вашем доме прошел и все в добром здравье!

Преданный Вам

Томас Манн

181

ЭЛИЗАБЕТ МАНН-БОРДЖЕЗЕ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
5 марта 48*

Дорогая маленькая Меди,

тысячи благодарностей за твое прекрасное письмо с соболезнованием. Дело очень тягостное, но первое чувство болезни прошло, а завтра уже снимут большую повязку. Потом мне придется делать мучительные маленькие упражнения рукой.

Меня несколько угнетает, что Антонио все собирается написать мне письмо о Фаустусе, когда у него столько других забот и дел. Я бы, право, избавил его от письма, на которое у него наверняка уйдет день, хотя для меня, конечно, очень важно его мнение. Но я ведь знаю, что он хорошо думает об этой книге, и слезы, которые ты увидела у него на глазах после чтения «Апокалипсиса», — достаточная благодарность.

Кстати, ты совершенно права, заметив, что в 1-ой главе осталось отброшенное позднее заглавие для Апокалипсиса. Тогда я, видно, еще не думал о Дюрере. Невнимательный Цейтблом! Но этого действительно еще никто не заметил, и Эрика тоже.

Ну, уж прямо я пишу так, словно ничего не случилось! Просто быстро приспосабливаешься, и я ухитряюсь все-таки писать левой.

Сердечно ГП¹

182

САМУЭЛЮ ЗИНГЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
8 марта 48*

Дорогой господин профессор,

огромное спасибо Вам и фрейлейн доктор Бауэр за прекрасное продолжение перевода!¹ Я уже заранее рад следующему.

Я воображаю герцогство Фландрию-Артуа, с французским элементом, но с именами вроде Гримальда, Вилигиса, Зигунды, все легендарно-международно. Историю эту я заставляю писать, развлечения ради, ирландского монаха, гостящего в Санкт-Галлене. Он — личность несколько абстрактная, это по сути «дух повествования», и не совсем ясно, когда он там находится и на каком, собственно, языке пишет. Он говорит, что он — это сам язык.

Вы видите, я позволяю себе всякие чудеса, как в данном случае и надлежит, и с островом в Канале или в Северном море, где вырастает Г[ригорий], обойдусь, пожалуй, тоже довольно-таки безответственно. Что же касается настоящего Григорьева острова, «камня», — то разве вообще это должен быть морской остров? Я знаю, конечно, что «вѣ» в средневерхне-

немецком мужского рода, даже когда означает море, но у меня такое впечатление, что кающийся забрел в глубь страны, и если там сказано

Nu gie ein stic (der was smal)
nâhe bî einem sê ze tal,

то ведь явно имеется в виду озеро в глубине страны, где промышляет этот неприятный рыбак. Или как Вы считаете? Как расположен в нем камень, надо придумать, и как Григорсу удастся там, несмотря на ненастье и на одном лишь trunk * из дыры, прожить целых 17 лет, это нужно изобрести! Фон Оуве Гартман тут не очень-то себя утрудил.

Благодарный привет Вам и фрейлейн доктор Бауэр!

Ваш Томас Манн

183

ХАЙДИ ХАЙМАН

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния,
Сан-Ремо-драйв, 1550.
10.III.48

Дорогая фрейлейн Хайман,

[...] хочу без промедления сообщить Вам, что через несколько дней после Вашего любезного письма пластинки Бриттена¹ пришли в полной сохранности, и от души поблагодарить Вас за Ваше участие в моем романе о музыканте и музыке, а также за этот внимательный и ценный подарок. Мы сразу же опробовали пластинки и очень внимательно прослушали песни, держа Ваши тексты в руках. Это нервная, умная, оригинальная музыка, поразительно, впрочем, умеренная в гармонии; я представлял себе автора «более диким». Во всяком случае, Адриан вполне был бы рад оказаться сочинителем некоторых из этих вещей, таких, как ноктюрн с «dying, dying, dying»** и большая роза.

Пора было мне как-то познакомиться с этим интересным художником. Здесь сейчас много о нем говорят, и его «Питер Граймс»², наверно, приедет и в Лос-Анджелес. Мой второй сын³ когда-то долгое время жил в Бруклине в том же доме, что и Бриттен. Это была некая богемная колония, к которой принадлежал и Уистен Оден⁴. Тогда этот молодой музыкант, кажется, не производил впечатления гения. Это, видно, история о «гадком утенке».

Еще раз спасибо и сердечный привет Иде Герц.

Преданный Вам

Томас Манн

* Питье (средневерхненем.).

** Умирая, умирая, умирая (англ.).

184

ЭМИЛИО ПРЕТОРИУСУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
24 апреля 1948

Дорогой Прее,

это действительно настоящее безобразие, что для Вас выписали эти места и что Вы прочли их теперь, в таком грубом виде, без связи, без общего освещения. Неужели нельзя было прислать Вам мою книгу? Мне давно следовало бы это сделать, но меня всегда отпугивает отправка книг в Германию, потому что обычно они идут много месяцев, если их вообще не крадут. Переживаемое рассказчиком у «Вас» (Кридвис — фигура второстепенная, очерченная очень бегло, вообще едва очерченная, явно настолько неузнаваемая, что кто-то из Мюнхена спросил меня, не Вольф-скель¹ ли это, — наверно, потому, что он говорит на дармштадтский манер) идет параллельно с его переживаниями, связанными с возникновением самого жуткого произведения его друга, «Apocalipsis cum figuris», и внушает этому славному человеку аналогичный страх. Таких дискуссий, как те, на которых он присутствует, у Вас никогда не бывало, и при описании их участников я опирался на действительность настолько туманно и неточно, что ничего ей по-настоящему не соответствует, кроме Надлера², которого там не было, и никакие расшифровки ни к чему не приводят. Не было там никакого Брейзахера, никакого Буллингера, никакого цур Хёэ — последний в такой же мере встречается уже в совсем ранней новелле «У пророка». Не было у Вас и помешанного на Ренессансе Инститориса. В случае Хольцшюэра, да и Унруэ тоже, это я признаю, использованы кое-какие бледные воспоминания, окрашенные и подогнанные, как того требовала композиция, под смысл надвигающейся беды, под дух открыто антигуманной эпохи. Для него Даке³ не был, конечно, хорошим примером. Я вижу, что намек на него причинил вам большую боль, чем просто любопытный хозяин дома. Я не знал его так, как Вы. «Первобытный мир, предание и человечество» произвело на меня необычайное впечатление, которое ощутимо в прологе к «Иосифу». Дарвинизм он, по-моему, преодолел примерно так же, как Макс Вебер⁴ марксизм — выводя экономику из религии, а не наоборот, — что, мне кажется, так же не подрывает основ марксизма, как не подорвал основ дарвинизма Даке своим «Происхождением видов» навыворот. Все, что он писал после, казалось мне сомнительными трактатиками. «Борьбы» между обращенной к богу ответственностью и отвращенным от бога самоуверенствованием я не понимаю или понимаю под этим скованность и лицемерное поражение. Для меня самоуверенствование и чувство ответственности за противодуховную богопротивнейшую глупость на свете по природе своей неразделимо едины.

«Нойе Цайтунг» я без промедления оттелеграфировал «No objection»*, — хотя совершенно не помню, что именно я Вам написал.

* «Нет возражений» (англ.).

Кажется, ничего такого, чего мне следовало бы стыдиться, ибо в Цюрихе и Лондоне это произвело хорошее впечатление. Пусть бы это прежде всего произвело впечатление, что «Кридвис» никак не противоречит добрым и дружеским отношениям, в которых мы с Вами находимся.

[...]

Ваш Томас Манн

185

герману Гессе

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
1 июня 48*

Дорогой Герман Гессе,

спасибо за нарядную книжечку! Хорошо всегда иметь в запасе такие приправы. Мне служит для этой цели картинка моего сада и дома. На обороте я пишу приветы. И людям есть чем полакомиться.

Нужно ли было просить моего разрешения на перепечатку этой маленькой статьи! В связи с ней я вспоминаю Ганса Пфитцнера¹: с него полностью сняли обвинение в нацизме. А он был сенатором по делам культуры и все такое прочее. Министру Франку², прежде чем того повесили, он послал в последний час телеграмму: «Дорогой друг, всеми мыслями с Вами!» Нет, скажу вам, это уже так «au delà»*, такое дурацкое донкихотство, что даже примиряет меня с его оправданием.

Чем славным Вы заняты? Я сейчас готовлю speech** для реэсе-сепегенсе***, которую здесь планируют, — чего не стал бы делать, не будь в этом острой нужды. Здесь вышибают клин клином и, того и гляди, вовсе отменяют Bill of Rights****. Ялмар Шахт³ уже засвидетельствовал нам, что мы на верном пути, — это, собственно, должно бы насторожить нас.

Но главным образом занят я новой прозаической версией «Григория на камне» Гартмана фон Ауэ [...] и развлекаюсь по-царски.

Передайте сердечный привет фрау Нинон! Как я рад, что ее родственники спаслись!

Ваш Томас Манн

186

Вальтеру Рилле

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
22 июня 1948*

Дорогой господин Рилла,

от души благодарю Вас за Вашу богатую посылку, где каждый предмет был для меня событием: Ваше письмо, блестящий памфлет¹ Вашего

* «За пределами» (франц.).

** Речь (англ.).

*** Конференция о мире (англ.).

**** Декларацию прав (англ.).

брата² и его трогательные слова о «Фаустусе», которым Вы по праву отводите особое место среди всего, что уже писалось об этой книге. — Но прежде всего позвольте мне сказать, как потрясло меня (и нашу Эрику вместе с мной!) то место Вашего письма, откуда я узнал о Вашей жестокой потере, о страданиях и смерти Вашей спутницы жизни! Прекрасно представляю себе и сопереживаю Вашу боль, Ваше чувство одиночества, необходимость продолжать в одиночестве жизнь, к которой после такого прощания нельзя уже чувствовать настоящей привязанности. Меня несколько утешает мысль, что приближалось это несчастье медленно и его неотвратимость стала постепенно видна, так что у Вас было время свыкнуться с мыслью о предстоящем. И все равно шок был, наверно, достаточно тяжелый.

Потрясло меня и то, что Вы пишете о судьбе Вашего брата. Не таковы, боюсь, условия жизни в Германии, чтобы ускорить излечение болезни, которую он нажил в эти страшные годы. Хоть бы англичане, в чьей зоне — и под чьим, полагаю, началом — он работает, выполнили по отношению к нему свой долг! Во всяком случае, его плодовитость, его темперамент, его сила гнева, его дар высмеивать злое и подлое заслуживают всяческого восхищения. Какой полемист! Не хотел бы я иметь с ним дело как с врагом. Впрочем, несчастный Лют³, которого можно считать «нокаутированным», особой жалости у меня не вызывает. Порка поделом, и я больше не корю себя за то, что так при этом забавлялся, несколько раз даже смеялся вслух.

Куда менее веселы связанные с этим дела Дёблина. Он — сильный писатель, — или был им, — и заслуги его велики. Спокойная гордость этим должна была бы внушить ему отвращение к такому невообразимо недостойному занятию, как именуемое «литературной политикой». Я всегда выказывал ему только почтительность, содействовал в Германии его приему в Академию, восхищался его «Александрплацем» и многим в других его книгах и откликнулся здесь на празднование его шестидесятилетия хвалебным приветствием, прочитанным во всеулышанье в числе прочих. Да и лично я при этом присутствовал, тем охотнее, что стыдился невежественного пренебрежения, которое он с самого начала и до конца встречал в этой стране и которое, безусловно, очень способствовало его ожесточению. Его враждебность ко мне — уже здесь он давал ей волю публично, а потом, в Европе, она вылилась у него в настоящую, литературную и ораторскую кампанию против меня — доставила мне немало мрачных часов — не столько из-за меня самого и не столько потому, что такая ничем не спровоцированная, внушаемая самой моей личностью ненависть внушает мне ужас, сколько потому, что такое маниакальное преследование и умаление другого для вящей собственной славы свидетельствует, на мой взгляд, не о вере в свои творческие силы, а о разложении и деградации. Что ж, раньше или позже — это наш общий удел. «Человеку суждено разрушиться», — говорит Гёте. Но не обязательно это должно выражаться так.

Здесь по праву тревожатся за Дёблина. Что станет с ним в старости? Его служба во французской зоне Германии скоро кончится. Куда ему по-

даться потом? В Париже, хоть он и француз⁴, он, по-моему, так же не на месте, как в Америке. Естественным для него полем деятельности был бы русский сектор в Германии. Но и там, с другой стороны, трудно представить себе новообращенного католика, который, вероятно, убежденный антимарксист. Пускай бы он поскорей каким-нибудь независимым произведением, например, большим романом на современную тему, — что, вероятно, могло бы у него получиться, — доказал правдность всех этих вопросов. Такому мастеру описывать, как он, не надо бы биться над критикой системы духовного мира и нагромождать пустые, бессодержательные категории типа «феодальный», «буржуазный» и «прогрессивный». Это все равно, что чертить линии на воде. Некий дерзкий традиционализм, например, выше всего этого, и тот не так уж далек от революционности, кто видит смелость классического...

Что это письмо предназначено и Вашему брату, незачем говорить. Незачем говорить также, что я горячо признателен ему за его необыкновенную рецензию на Фаустуса. Она создает новые точки зрения и указывает на те элементы книги, на которые до сих пор почти не обращали внимания. [...].

Примите оба, Пауль Рилла и Вы, мой привет и самые лучшие пожелания!

Томас Манн

187

ТЕОДОРУ В. АДОРНО

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
12 июля 48*

Дорогой доктор Адорно,

от души благодарю Вас за Ваше участие¹. Клаус, который физически оправился, живет пока вместе с Эрикой, оказывающей ему нравственную поддержку, у Бруно Вальтера. Я немного злюсь на него за то, что он готов был нанести этот удар своей матери. Он избалован ее всепониманием — и моим тоже.

Положение остается опасным. Обе мои сестры покончили с собой, а Клаус многим пошел в старшую. Эта тяга у него врожденная, и все обстоятельства ей способствуют, — кроме только родительского дома, на который он всегда может положиться, но от которого, конечно, не хочет зависеть.

Хороший знак то, что publicity* о его неудачной попытке ненавистно ему по той причине, что «это ведь сильно мешает попытаться еще раз»...

Ваша критика Эгга² серьезнейше остроумна. Она меня необычайно позабавила. Я дал ее прочесть своему шурину, чтобы он увидел, какая строгость и верность традициям царят в области, к которой он, подобно добрейшему Вальтеру, испытывает отвращение, как к антимюзыкальной.

До скорого свидания

Ваш Томас Манн

* Шум, толки (англ.).

188

ВЕРНЕРУ ШМИТЦУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
30 июля 1948

Глубокоуважаемый господин Шмитц,

спасибо за Ваше письмо. С тех пор как Европа снова стала доступна, я не раз спрашивался об Эрнсте Бертраме, но получал лишь неточные, более или менее успокоительные сведения. Поэтому я рад, что один из его учеников рассказал мне о моем старом друге. Еще больше был бы я рад, если бы он хоть раз за эти годы написал мне сам. Но для этого он, наверно, слишком горд, да и слишком зол на меня, потому что мне пришлось выступить против того, во что он верил.

Если Вас интересует мое мнение об его случае, о «категории», к которой его отнесли, то оно таково: Эрнст Бертрам — приятный, тонкий и чистый человек, чрезвычайно высокого интеллектуального уровня и много лет был моим лучшим другом и лучшим другом моего дома. Все больше и больше разъединяла нас, к моему огорчению, политическая злокачественность его германистского романтизма, его приверженности к мифу о белокурых и к аристократическому национализму, — другими словами, его пламенная вера в пришествие «Третьей империи», вера, в которой его не могли поколебать никакие предостережения, никакие закликательные указания на приметы беды в облике этого массового движения. Сколько разговоров я помню! Он видел розы и мрамор там, где я не видел ничего, кроме мерзости, сивушной отравы для народа, кроме врожденной страсти к убийству, кроме верной гибели Германии и Европы. Прийти к согласию было уже невозможно. Грубости он, правда, не отрицал; но его нежность приветствовала нашествие варваров изнутри, поскольку извне оно уже не предвиделось. Он ждал от него обновления культуры, очищения, подъема, величия родины. И вере этой, при личной чистоте и самоотверженности, он оставался верен не только во время обманчивых побед Гитлера, когда Европу оскверняли и грабили, а до самой агонии национал-социалистского государства, до дней фольксштурма и «оборотня»¹.

Что из того, по сравнению с этим, что он не был членом партии? Он был слишком аристократичен, чтобы состоять нумерованным членом чего-то. Но утверждение, что он «никогда не был национал-социалистом», несостоятельно. Конечно, он не был им как всякий встречный и поперечный, но он был им как мифолог, идеалист и мечтатель. Вы говорите даже, что он не числился в «Имперской палате по делам печати». Возможно ли это? Насколько я знаю, в Германии никто не мог писать и издаваться, не вступив в эту палату и не принеся присяги на верность «фюреру». А Бертрам написал и издал книгу о «Свободе слова»² (его слово было ведь свободно), статьи, воззвания и речи, которые производили на нас за границей ужасное впечатление. Он был поборником и выразителем национал-социалистской культуры и при неразделимости сфер не ограничился, само собой разумеется, епархией культуры. Он был причастен к политике. Он призы-

вал Австрию присоединиться к гитлеровской Германии. Его строптивость по отношению к Русту³ во имя «академической свободы» напоминает церковнобашенную политику некоторых лютеранских священников, которые мирились со всеми гнусностями «национального государства» до того момента, когда затрагивались интересы их церкви, — и которые, правда, во многих случаях обрекали себя потом на мученичество, не выпавшее на долю этому защитнику академической свободы.

И что же? Эрнста Бертрама лишили преподавательской работы. Это бессмысленно в свете того, что к общественным постам снова привлекают множество несравненно более опасных фигур с более грубым политическим обликом, снова наделяя их должностями и властью. Но бессмысленно ли это для него самого? Может ли он после катастрофического крушения своих почвеннических идеалов желать снова учить молодежь? Может ли он желать делать это в отечестве, которое заполонили (это его выражение) «термитные народы»? Короче, я спрашиваю себя, в его ли, собственно, интересах, в его ли духе Вы говорите и действуете, собирая голоса в пользу его восстановления на службе?

Вы правы, когда называете доводы, которыми — по Вашему письму — официально мотивировалось его отстранение, шаткими. К кружку Георге Бертрам, как ни был он близок к нему, никогда в сущности не принадлежал. Его протестантизм и германизм сопротивлялся римско-имперским и иезуитским тенденциям этого священного кружка. К тому же, на взгляд Бертрама, там было, наверно, слишком много евреев. (Если бы на то требовалось его согласие, говорил он, Гундольф⁴ никогда бы не стал ordinary профессором)... Та идея «элиты», представителем которой он был, отнюдь не чужда демократии... И что называть Ницше, европейца, судью Бисмарка и Вагнера, «зачинателем Третьей империи» — это грубое упрощение, так же несомненно, как то, что ранняя бертрамовская работа⁵ о нем — это сама красота, сама музыкальность, сама невинность. Она выдержит свет любого дня, но это совсем не низкопоклонство перед неудачей — считать, что бертрамовские писания времен нацизма не выдерживают света нынешнего дня и что их лучше сегодня не выставлять. Это можно, по-моему, спокойно предоставить решить ему самому.

Так же обстоит дело и с его будущей продукцией, подавлять которую, запретив ему писать и печататься, я счел бы неверным и недостойным. Этот человек должен сам распоряжаться своим молчанием и своим словом, и в данной ситуации от его гордости следует ждать скорее молчания, чем слов. Но если он когда-нибудь завершит большую книгу о Штифтере⁶, которую когда-то задумал (я не знаю, что из этого вышло), то непонятно, зачем духовной Германии лишать себя каким-то глупым запретом такого события.

Наконец, отказ в пенсии. Признаюсь, что к моим протестующим чувствам примешиваются отрезвляющие воспоминания: воспоминания об еврейско-ученых, которых в 1933 году выдворили с их кафедр и из их лабораторий и судьба которых не очень-то занимала их чистокровно-немецких коллег. У меня есть шурин⁷, который, будучи видным физиком-теоретиком,

тоже получил бы когда-нибудь в Германии право на пенсию, а сегодня не знает, на что ему существовать на старости лет. Но это не заставит меня согласиться с тем, чтобы певцу легенды о Ницше, человеку, у ног которого сидело множество молодых людей, в чьем духовном служении нуждается сегодня Германия, отказывали в средствах на жизнь. Не к лицу стране, добродушно компенсировавшей членов владетельных домов за национализированное имущество, выталкивать в экономическую пустыню благородно заблуждавшегося профессора.

Резюмирую: я, вероятно, в соответствии с его собственным желанием, против того, чтобы Бертрама снова привлекли к академическо-педагогической работе. Помимо всего, он, наверно, близок к предельному возрасту. Но я решительно за то, чтобы ему предоставили пристойную пенсию и возможность продуктивного самоопределения.

Преданный Вам
Томас Манн

189

РИХАРДУ ШВЕЙЦЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
12.X.48*

Дорогой господин Швейцер,

как славно приобщили Вы меня к счастью Ваших венецианских каникул! Мне уже следовало поблагодарить Вас за прекрасный цюрихский альбом, недавно от Вас полученный. Так поблагодарю хотя бы за этот великолепный и полный смысла подарок, сочетание Сан-Марко с Иосифом¹, более многозначительного дара, наверно, и быть не может.

Завидую Вам в том, что Вы побывали в Венеции, в моем втором, так сказать, родном городе — может быть, в начале будущего лета я тоже отвоюю себе такое свидание. Ибо если война останется холодной (она и холодная достаточно скверна), то в конце апреля мы снова двинемся...

Только что у меня целый час пробыл по поводу д-ра Фаустуса репортер из журнала «Тайм». Там хотят поместить review* этого романа и прислали длинную телеграмму с вопросами: кто мои любимые композиторы, и считаю ли я, что от сифилиса становятся гением, и позировал ли Шёнберг для Леверкюна, и болен ли он сифилисом, и не болен ли я сифилисом etc. Я еще несколько оглушен этим nice little chat**.

До свидания, большой привет и от моей жены.

Ваш Томас Манн

* Обзор (англ.).

** Милым разговорчиком (англ.).

190

В «САТЕРДИ РЕВЬЮ ОФ ЛИТЕРЕЧУР»

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
 Сан-Ремо-драйв, 1550.
 10 декабря 1948.

Сэр,

письмо Арнольда Шёнберга в «С. Р. оф Л.» поразило и огорчило меня. Наша прямая переписка по этому поводу носила на всех своих стадиях вполне дружеский характер; за посланное ему английское издание «Доктора Фаустуса» с моим примечанием в конце маэстро еще сердечно, в тоне полного удовлетворения, поблагодарил меня, и я полагал, что «дело Леверкюна» улажено и исчерпано. Теперь я с сожалением вижу, что оно не дает ему покоя, более того, приводит его во все большее волнение — хотя он все еще не читал моей книги.

Познакомься он с ней не только благодаря болтовне сплетников, он убедился бы, что перенесение шёнберговского «method of composing with twelve tones» * на героя книги было отнюдь не единственной и не самой важной попыткой «придать» этому герою «качества, необходимые персонажу романа, чтобы вызывать интерес». Он называет эту технику композиции своей «литературной собственностью» — что удивительно, ибо скорее ведь ее следует назвать музыкальной системой, которая давно вошла в культуру и по которой, молча заимствовав ее у ее автора, сочиняют бесчисленные музыканты во всем мире. Но именно с большой распространенностью и широким применением этой техники связано то главное заблуждение, за которое я должен себя корить. Я действительно думал, что в нашем культурном кругу о двенадцатитоновой технике и ее основоположнике слышал чуть ли не каждый ребенок и что на основании моего романа никому и в голову не придет, что я изобрел ее или делаю вид, будто изобрел ее я. В этом мнении, должен сказать, меня утвердили многочисленные швейцарские, германские, шведские, да и французские уже рецензии на мою книгу, в которых Шёнберг, вполне естественно, назван по имени. Только он сам и просветил меня насчет моего заблуждения. Тяжкие недоразумения, сообщил он мне, вызовет моя книга, если я что-то не предприму. Автором его творения станет в конце концов кто угодно, только не он, и, насколько он знает музыковедов, через сто лет они припишут его теории мне, потому, что я развил ее в своем романе. Слишком много недодают ему современники, чтобы он не должен был печься хотя бы о своей смертной славе.

Эти слова меня взволновали, сколь ни абсурдными показались мне его опасения. Совершенно неверно, что понадобилось «much pressure» **, чтобы заставить меня воздать ему должное. Как только я понял, чего он хочет, я распорядился, чтобы ко всем переводам, а также как можно скорее и к немецкому подлиннику было добавлено в конце примечание, которое

* Метода двенадцатитоновой композиции (англ.).

** Большое давление (англ.).

можно теперь прочесть в английском «Докторе Фаустусе». Оно было задумано как уведомление для непосвященных, и я придал ему самую объективную форму. «Да будет вам известно, — таков его смысл, — что среди нас живет композитор и философ от музыки по имени Арнольд Шёнберг; на самом деле метод двенадцатитоновой композиции придумал он, а не герой моего романа». Вопрос, кто чей современник, в этой заметке не затрагивается. Если Шёнбергу угодно, то все мы больше всего гордимся тем, что являемся его современниками.

Как только в руках у меня оказались первые экземпляры немецкого издания, я послал ему один с надписью: «Истинному». Это значило: «Не Леверкюн — герой музыкальной эпохи, а Вы». . . Это был поклон. К бескомпромиссному и смелому художнику Арнольду Шёнбергу я всегда обращался лично и в письмах с самым почтительным уважением и буду делать это и впредь.

Мысль, будто Адриан Леверкюн — это Шёнберг, будто эта фигура — его портрет, настолько нелепа, что я даже не знаю, как мне на ней останавливаться. Ни одной точки соприкосновения, ни тени сходства нет между происхождением, традициями, ходом жизни, характером и судьбой моего музыканта и существованием Арнольда Шёнберга. «Фаустуса» называли романом о Ницше, и действительно книга эта, избегающая, естественно, имени Ницше, содержит множество намеков на его духовную трагедию, даже прямые цитаты из его истории болезни. Говорили также, что я разделил себя надвое в этом произведении и что и в рассказчике, и в герое есть что-то от меня. Тут тоже есть доля правды, — хотя я и не страдаю параличом. Но говорить о романе о Шёнберге — до этого еще никто не додумывался.

Вместо того, чтобы с улыбкой смотреть на мою книгу просто как на образец современной литературы, свидетельствующий об его, Шёнберга, мощном влиянии на музыкальную культуру нашей эпохи, он видит в этой книге акт грабежа и оскорбления. Больно глядеть, как выдающийся человек, издерганный, разумеется, тем, что его то прославляют, то забывают, чуть ли не добровольно входит в роль преследуемого и обкрадываемого и погрязает в ядовитых раздорах. Пусть бы он поднялся над ожесточением и недоверием и обрел покой в твердом сознании своего величия и своей славы!

Томас Манн

191

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Пасифик Пэлисейдз, 4 янв. 1949

Дорогой Герман Гессе,

хорошего Нового года Вам и фрау Нинон от всех нас здешних, и большое спасибо за Ваше письмо из «Быка» («моя книжечка», как написали Вы очень смешно, говорят от нежности). Желаю Вам, чтобы баденское лечение, несмотря на вклинившуюся простуду, пошло Вам на пользу! Я всегда обхожусь без курсов лечения и ванн, но иногда они бывают мне

очень нужны, и я не прибегаю к ним только из лени и потому, что это такое долгое дело. Устаешь, устаешь, порой. Жизнь была не детская игра, а если игра, то весьма серьезная. Кое-что в ходе ее получилось, и кое-что из этого держится довольно прочно, хулителям не так-то легко это охаять. Всякое более или менее сильное бытие создает себе врагов, и один из них, стало быть, этот Мушг¹, имени которого я еще ни разу не слышал. Да и забуду его скоро. Но жаль, конечно, если он как заведующий кафедрой и ректор настраивает молодых людей, которые вообще-то восприимчивы, против всего лучшего. До них ему, кажется, вовсе нет дела, что, собственно, еще хуже — то есть для него.

Мир полон дураков. Но и порядочных людей с душой и умом тоже великое множество. Таков д-р Амштейн, с которым я во Флимсе сживал за столиком внизу у озера и пил вермут. Вы очень привлекательно описываете мне его рукопись², и если никто не напечатает ее, то, может быть, я смогу прочесть ее летом в Швейцарии.

Недавно здесь в одной статейке, сопровождавшей фотографии интерьера нашего дома, написали, что, несмотря на свой возраст и свою репутацию, я вынужден еще работать, чтобы зарабатывать на жизнь. Моя секретарша рассказала мне, что один ее американский приятель был этим возмущен до предела: это неслыханно, надо сразу же устроить сбор средств, а nationwide collection*, чтобы я, наконец, мог уйти на покой! Редко я так смеялся.

Что вы сейчас пишете, чем занимаетесь, несмотря на свой возраст и свою репутацию? Что касается меня, то в январском номере «Нойе Рундшау» Вы найдете мои воспоминания о становлении «Доктора Фаустуса». Должен сказать, что немного стыжусь этого документа, возникшего лишь потому, что я после окончания книги долго не мог от нее освободиться, — вероятно, из чувства: «Такое не повторится». Полностью эта «книжечка» должна выйти весной. Есть там и встреча с «Игрой в бисер», и отмечены странные чувства, которые вызвала у меня одновременность обеих этих книг.

Выдержку из вестфальского письма, предоставленного Вами в распоряжение «Национальцайтунг», славный Базлер мне тоже прислал. Оно подтверждает все впечатления, — и даже еще не все, — которые даже на том расстоянии, на каком я живу, складываются о настроении немецких умов. Но можно ли удивляться? Злосчастная напряженность между Востоком и Западом дает Германии, несмотря на все руины, эти печати беды, какие-то выгоды, которые делают понятным любое нахальство, в том числе наглое злоупотребление германских газет своей лицензией³. Это противно в высшей степени. И мне еще ехать в Германию? Там часто пишут в газетах, что я сделаю это будущим летом, но я не верю ни одному слову оттуда.

С сердечным приветом

Ваш Томас Манн

* Сбор средств в национальном масштабе (англ.).

192

ВИЛЬГЕЛЬМУ БУЛЛЕРУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
22 февр. 1949

Дорогой господин Буллер,

множество старых воспоминаний проснулось при чтении Вашего привет: наше плавание по Рейну, когда Ваш друг, этот богатый юноша, потерял шляпу, etc. Я словно слышу, как Вы говорите: «Да у него столько шляп!..» Очень испугало меня на несколько мгновений известие о болезни, которая напала было на Вас. Но ведь все, надо надеяться, навсегда, прошло и улажено, и Ваша добрая природа выдержала испытание. Выдержала его и моя, когда 3 года назад мне оперировали абсцесс в легком, что стоило мне ребра. Хирургия ведь здесь на невероятной высоте, и обо всем этом эпизоде, происходившем в Чикаго, у меня сохранились в общем-то светлые воспоминания, тем более что я и сам как-то содействовал удаче... Но все же мне скоро 74, и это, как-никак, чувствуется — после жизни, которая никогда не была праздной и в «отдыхе» мало что смыслила. Во что выльется моя весенняя поездка, еще совершенно не ясно, и буду ли я после танцев, предстоящих в Чикаго, Вашингтоне, Нью-Йорке, затем в Лондоне и Оксфорде, затем в Стокгольме и Лунде (если до этого дойдет), еще и германоспособен, это по меньшей мере вопрос. Надеюсь, воплей не будет, если я только прихвачу недельку-другую в Энгадине или Граубюндене, а потом полечу восвояси. Зачем мне еще и во плоти быть в Германии? «Где я, там и Германия»¹, а где мои книги, там и я. Они ведь в конце концов дистиллированно-лучшая часть меня, и пусть себе немцы читают их так, словно я уже дух усопший. Ведь все равно до этого не так уж и далеко.

Эйленбергам² мой сердечный привет! С Райзигером³ я переписываюсь.

Преданный Вам

Томас Манн

193

МОНИКЕ МАНН

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
24 февр. 1949

Да, славная Мёнле, что тут сказать! Ты поступила не совсем правильно, так прямо втравив меня в это дело. Твои тоже пишущие братья и сестры никогда этого не делали, и мне никогда не приходилось опережать своим мнением об их продукции мнение редакций. Да и как папа я ведь плохой судья, ибо как таковой слишком желаю, чтобы она была хороша, и должен силой заставлять себя быть объективным, что, с другой стороны, делает меня, наверно, слишком критичным. Твои «Мысли» — это ведь изящная

лирическая вещьца, немного, пожалуй, жиденская, но часто не без обаяния и с большим настроением в интонации. Как всегда у тебя, иной раз найдены меткие слова, а иной раз они лишь мнимо-точные и по сути не попадают в самую точку. «Преамбула» слишком претенциозна по сравнению с дальнейшим. Это ты, мне кажется, переняла от «Turning Point» * Клауса, но там дальше идет целая автобиография, обладающая весом чисто количественно, а у тебя лишь отдельные описания настроения, часть которых никакого веса вообще не имеет, как, например, гашение лампы, когда входит мать, и мрачная веселость при ощущении трудности жизни, когда лампа зажжена снова. Есть ли здесь настоящий смысл? Есть ли стержень и правда? Для тебя — вполне вероятно. Нужно следить за тем, чтобы мотивы имели какие-то следствия, например, упоминание о том, что мама вышла замуж за папу лишь по приказу своей злой матери, — в таком случае Барбара должна бы расти как дитя несчастного брака по принуждению и вряд ли имела бы столько сестер и братьев. Любовь к правде и точная память — основа основ при писании. Разве ртуть образует «лужицу», когда разбивается градусник? Она скорее распадается на шарики, которые при соприкосновении сливаются воедино. В детстве я часто наблюдал это с интересом. С правописанием и грамматикой ты отнюдь не в ладу. Frier (от frieren) не пишут через h, и не говорят «beschwörte», а говорят «beschwoг».

Но это забота редакции и наборщика. Маленькое стихотворение спокойно пошли в «Нойе Рундшау». Мы все уверены, что оно найдет ценителей. В нем есть какая-то мечтательность и поэзия, и если оно не совсем стало поэзией, то все же близко к ней, что уже много. Удачи тебе!

Сердечно

В.

194

АРЧИБАЛЬДУ МАК-ЛИШУ

[Черновик]

*Пасифик Пэлсейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
27 февраля 1949*

Dear ** Арчи,

Ваше письмо, прекрасное, как стихотворение, и отрадное, как слово друга, передо мной со вчерашнего дня. Я прочел его с душевной радостью — и почти с таким же большим огорчением. Почему? Потому что 27 мая я буду далеко от Нью-Йорка. Вы знаете: это гётевский год¹, и что тут мне не увильнуть, я понимал заранее. Да и составлена довольно долгая программа обязанностей: в конце апреля мы выезжаем в Чикаго, где и начнется танец, затем я буду читать в Вашингтоне о «Гёте и демократии», затем в Нью-Йорке, затем поедем в Англию, затем в Швецию, оттуда

* «Точки поворота» (англ.).

** Дорогой (англ.).

в Швейцарию, возможно, и в Австрию, — короче говоря, лето почти пройдет к нашему возвращению. В день Annual Ceremony* нашей академии мне придется, hélas**, держать речь в Лундском университете (Швеция) — договоренность, имеющая особый вес ввиду присвоения звания почетного доктора (это между нами).

Меня волнует один вопрос, задавать который, однако, видимо, совершенно бесполезно. Мое пребывание в Нью-Йорке перед отлетом в Европу продлится с 3 по 10 мая включительно. Заняты из этих дней 6 и вечер 7. Нет ли хоть какой-то возможности перенести ceremony на четвертое или пятое мая, или на первую половину дня седьмого, или на восьмое, девятое, десятое? Я, конечно, в это не верю и задаю этот вопрос, лишь чтобы показать Вам, как мне жаль, что я не смогу лично принять почести², милостиво мне уготовленные, и поблагодарить за них лично.

Я принимаю их сим — как это звучит! Словно со вчерашнего дня я не чувствую себя ребенком, получившим подарок. Поверьте мне, я могу оценить по достоинству все значение этого великодушного жеста Вашего института. Правда, обо мне говорили с издевкой, что ни один писатель на свете не чувствовал себя столь достойным наград, полученных им от современников, как я. Хотел бы я знать, как удалось мне породить это заблуждение, это полное непонимание моего жизнеощущения! Оглядываясь назад, я говорю себе: «В общем-то получилось»³. Но я слишком глубоко сознаю сомнительную природу своей личной сделки с искусством, чтобы мне хоть когда-либо случалось выпускать из рук произведение с малейшей надеждой на внешний успех. Если этот успех приходил, я бывал смущен, обрадован, растроган, но и встревожен, но и полон объективного любопытства к вопросу, на чем же он все-таки основан, — что угодно, только самодовольства и «достоинства» во мне не бывало. Никогда похвалы и награды не колебали моего скепсиса. Часто их бывало чересчур много, и я предвидел ответную реакцию, каковая в полную силу и следовала в виде ожесточенно преувеличенной хулы.

Время все поставит на свои места. Что после выхода скорее курьезного, чем образцового, но, правда, рожденного глубоким волнением труда моей старости⁴ американские коллеги, собравшиеся в Academy, отмечают этой редкой наградой, присуждаемой их решением, мою работу, наполняет меня радостью и благодарностью. Есть прекрасные слова Гёте: «Мы редко делаем достаточно для себя; тем утешительнее сделать достаточно для других».

Cordially yours ***

Томас Манн

* Ежегодных торжеств (англ.).

** Увы (франц.).

*** От души Ваш (англ.).

195

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Вульпера, Граубюнден, гостиница «Швейцерхоф».
1 июля 49

Дорогой господин Гессе,

Вы дома, как говорит мне Базлер, и поедете в Баден, конечно, только осенью. Похоже, что в этом году мы больше не повидаемся, мне жаль! Мы здесь на трехнедельном отдыхе после всяческих приключений и напряжений, часто, впрочем, приятного свойства, как, например, в Швеции, — на отдыхе, для меня, правда, состоящем в кропотливой подготовке к визиту в Германию, который я, сам не знаю почему, вбил себе в голову или который мне вбили в голову. Во всяком случае я не должен ждать до 28 августа¹, а могу произнести свою речушку² во Франкфурте 25 июля, затем поеду еще в Мюнхен, может быть, даже в Веймар, что, конечно, будет un-american activity*. Вообще слишком много activity**. Так тянется уже с конца апреля, и если поначалу это доставляет удовольствие, то вскоре спрашиваешь себя, зачем за это берешься. Как завидую я Вашему умению избегать, Вашей способности к мудрости! Но 5-го августа (если я выберусь из Германии цел и невредим) мы в Роттердаме опять выйдем в море, чтобы эта суматоха завершилась спокойными океанскими днями. Мне не хочется снова лететь пулей по воздуху, как в мае из Нью-Йорка в Лондон.

В будущем мае, если будем живы-здоровы, мы снова приедем, ибо свое 75-летие я хочу провести в Цюрихе. Будьте и Вы живы-здоровы к тому времени, дорогой друг и брат, если мы сейчас действительно не увидимся больше. Моя жена и я шлем Вам и фрау Нинон сердечный привет.

Ваш Томас Манн

В «Нойе Швейцер Рундшау» скоро появится посмертная статья нашего бедного Клауса³ об отчаянном положении европейских интеллигентов. Рекомендую эту работу Вашему вниманию.

196

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Вульпера, 6 июля 49

Дорогой Герман Гессе,

только ушло мое предыдущее письмо, как, с большим опозданием, пришли от Вас и от Вашей милой жены добрые слова на смерть нашего Клауса. Еще раз, и от имени моей семьи тоже, всячески благодарю за них Вас обоих.

Эта сокращенная жизнь сильно и грустно занимает меня. Мое отношение к нему было трудным и не свободным от чувства вины, потому что ведь моя личность заранее бросала тень на его личность. При этом в мо-

* Антиамериканская деятельность (англ.).

** Деятельности (англ.).

лодые годы в Мюнхене он был довольно высокомерным принцем, позволявшим себе немало вызывающих выходок. Позднее, в изгнании, он стал гораздо серьезнее и нравственнее, да и по-настоящему прилежен, но работал слишком легко и быстро, чем и объясняются всякие неряшливости и небрежности в его книгах. Неясно, когда начала развиваться эта тяга к смерти, так загадочно не вязавшаяся с его явной солнечностью, приветливостью, легкостью, светскостью. Неудержимо, несмотря ни на какую поддержку и любовь, губил он себя и дошел наконец до полной неспособности думать о верности, оглядке на кого бы то ни было, благодарности.

Тем не менее он был замечательно талантлив. Не только «Жид»¹, но и его «Чайковский»² тоже — очень хорошая книга, а его «Вулкан»³, за исключением тех мест, которые он мог бы сделать лучше, — это, может быть, лучший роман эмиграции. Если собрать самые удачные его вещи, то увидят, что очень жаль его. На его долю выпало много несправедливого, даже на одре смерти. Я смею думать, что всегда хвалил его и подбадривал.

Смехотворно мучаюсь и бьюсь над сочинением доклада для Германии⁴. К этому прибавляется досада и сожаление по поводу разнобоя между обеими сторонами в датах поездки. Так хорошо бы встретиться в Сильсе или где-нибудь здесь поблизости. Что ж, до следующего года!

Ваш Томас Манн

197

ГЕНРИХУ МАННУ

*Вульпера, Энгадин.
14 июля 1949*

Дорогой Генрих,

разные тяготы и волнения всех этих недель (ребяческие, по поводу германских подлостей¹, намерения посетить Веймар etc.) вместе со здешним низким давлением вызвали несколько сильных кровотечений из носу (лопнула вена), с последним из которых здешний курортный врач никак не мог справиться полтора часа. Впрочем, крови у меня скорее слишком много, так что случившееся надо рассматривать не как нежелательное, а только как очень неудобное и в высшей степени неопрятное кровопускание. Но вполне хорошо я уже давно (с «ухода моего сына»²) себя не чувствую, а здесь мне надо было готовить для Франкфурта речь — с великим трудом. Поэтому я и не писал, вопреки своему желанию, так долго, причем, и теперь оставляя рассказ о ходе поездки до личной встречи.

Некто по фамилии Гросхут прислал мне из Швеции хвалебную рецензию на «Дыхание»³, появившуюся в «Экспрессен». Он просит переслать ее тебе. Уже несколько дней, как книга твоя у нас, и мы с Катей читаем ее по очереди. Незачем говорить, что это нечто уникальное и ни с чем не сравнимое в современной литературе, вернее, в современных литературах, которые твоя книга, не будучи уже национальной, переросла, так что видишь: превыше языков язык. В этом предельном продолжении личной линии есть стариковский авангардизм, который хоть и известен по некото-

рым великим примерам (Парсифаль, Гёте, также Фальстаф), но здесь производит сильное впечатление и кажется чем-то совершенно новым. К тому же авангардисты нынче обычно реакционны, а ты составляешь исключение (Лукач, наверно, сказал бы: «подобно тому», как я составляю исключение как традиционалист). Впрочем традиционного и у тебя достаточно: от Бальзака идут этот грандиозный гиперболизм и это гениальное вранье в политической интриге, авантюренность, которая, однако, вполне реалистична и соответствует эпохе. Очень зло и волнующе. Я теперь ни о чем не думаю, кроме как о «синархизме» и обо всем, что только может еще появиться в этом стиле. Мы хотели спросить, придумал ли ты это слово или заговор действительно так назывался и называется. Я выставил против этого довод, что managerial revolutionaries* и капиталистические предатели народа любят анонимность... Это поразительно, как резкий, даже режущий, ясный и все-таки скрытый, холодный и сверхсосредоточенный эссеизм интонации приобретает вдруг лирическое звучание, и волнующие места в самом деле волнуют.

Вот несколько более или менее запомнившихся, но, наверно, и беглых замечаний. Не обессудь!.. С 19 по 22 мы пробудем еще в Цюрихе, а 23 поедем со швейцарскими друзьями на автомобиле во Франкфурт. Большая любезность со стороны Military Permit Office**, к моему удивлению. Military facilities***. С другой стороны, русские отвезут меня на автомобиле из Франкфурта в Веймар. Не верится. На 5 августа мы заказали каюту на «Нью-Амстердам», надеемся, значит, в середине месяца быть дома.

Еще раз — не обессудь!

Сердечно твой Т.

198

ЛЮДВИГУ КУНЦУ

Амстердам, 5 авг. 49

Глубокоуважаемый господин Кунц,

спасибо за Ваше письмо и за прекрасные цветы!

Говорить можно, пожалуй, о кризисе культуры и смене эпох со всеми тяготами и трудностями переходного периода, сопутствующими такой смене и в которых она выражается. Ведь она захватила всех нас, и все мы стараемся вести себя и держаться при этом более или менее умно, правильно и порядочно. О «нивелирующем» воздействии этого всеохватывающего кризиса на литературу речи не может быть: слишком уж разнообразной и многооттеночной в зависимости от личности художника предстает она в ряде произведений, тем и «значительных», что носят его, кризиса, отпечаток и ему более или менее прямо посвящены. Причем произведения эти выходят, по-моему, в основном из-под пера авторов пожилого и преклон-

* Верхушечные революционеры (англ.).

** Отдел пропусков и виз военной администрации (англ.).

*** Военные удобства (англ.).

ного возраста, потому, наверно, что их горизонт шире, их образование и опыт богаче, чем у молодых, родившихся уже среди разложения. Лично я считаю преимуществом, что застал еще последнюю четверть девятнадцатого, буржуазного века.

«Вергилий» Броха¹, поздний роман «Дыхание» моего брата Генриха, «Игра в бисер» Гессе, даже мой собственный роман о «Фаустусе» крупнее и как документы эпохи выразительнее, чем сделанное до сих пор молодыми. Пусть они растут, крепнут и развивают дальше наше наследие. Западная культура многое уже выдержала, не погибнет она и на этот раз.

Спешу на пароход в Америку. Пора.

Преданный Вам

Томас Манн

199

ЭРНЕ ИОНАС

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
19 октября 1949*

Дорогая фрейлейн Ионас,

большое спасибо за Ваши добрые слова и славные фотографии, самая крупная из которых напоминает мне наше причудливое пребывание в Ниде¹ после постройки дома. Это было настоящее народное празднество, и все население собралось на процессию. Дом, очень славное творение мемельского² архитектора, кажется на этом снимке еще несколько голым. Позднее он был обнесен забором и цветником и выглядел лучше. Я слышал, будто в свое время Геринг перестроил его в охотничий домик и перестрелял красивых лосей, которые еще гордо расхаживали по незагороженным участкам в лесах близ Ниды и к которым мы часто ездили на машине.

Еще раз спасибо за Вашу дружескую память и добрые пожелания. Наше пребывание в Беркли было довольно удачным. У меня была весьма многочисленная и удивительно внимательная аудитория.

Преданный Вам

[...]

Томас Манн

200

ЭМИЛИЮ ПРЕТОРИУСУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
20 окт. 49*

Дорогой Прее,

тысяча благодарностей за Ваше письмо, сердечность которого отчасти вознаграждает меня за отложенное по воле судьбы свидание. Хорошо знать, что в стране Г. живет все же великое множество людей, вовсе

не испытывающих к моей персоне отвращения и ненависти. Общего облика Германии они не определяют, и никогда еще им подобные не определяли лица и судьбы Германии. Но в высшем смысле, этим я утешаюсь, решают все-таки они, и никакие плевки и вопли глупого большинства в сущности ничего не значат — ничего на поверку и мало что значат сейчас. Я никогда не переоценивал себя, но я знаю, что знаю, и все, кто поумней, тоже это знают.

Это же моя вина, что наша встреча не получилась. Вы рассчитывали на 28 августа, а я, от нетерпения вернуться домой, настаивал на более ранней дате. Так что удивляться я не должен был, если Вы оказались как раз заняты. То, чем оказались Вы заняты, должно ведь меня поддружески радовать, тем более что из этого в общем-то вытекает возможность, что вместо встречи в Германии мы увидимся здесь. Ибо Германия — зарекаться не буду, но склонен думать, что побывал там в последний возможный момент и что этим визитом дело и кончится. Совсем не высказываться насчет тамошней обстановки я не сумею, а такие высказывания усиливают ненависть и потребовали бы, позорным образом, все больших нарядов уголовной полиции.

Спору нет, «Мюнхен»¹ прошел вполне приятно и без диссонансов. Большая пресс-конференция, прием Академии в Принц Карл Палé, где очень славно говорил Пенцольдт², доклад о Гёте, вечерний банкет в Ратуше — все шло так мило, так дружественно и невинно, как будто ничего, собственно, не случилось, хотя вид города очень напоминал о случившемся. Видеть, как снова, в лохмотьях и развалинах, с постаревшими человеческими лицами, вспыхивает весь этот кусок отжившего прошлого — в этом было уже что-то призрачное, и я часто отводил глаза, да и наш дом в Герцогпарке предпочел вовсе не посещать. Я настолько бездушен, что вкуса к прошлому у меня нет, и Жан Поль, по-моему, ужасно сентиментален, когда говорит: «Воспоминания — это рай, из которого нас нельзя изгнать». Почему рай? Мне нужно всегда заново жить в новом.

Кстати, я написал в «Нью-Йорк Санди Таймс» маленький отчет о своей поездке в Германию, который «синдикализирует» одно нью-йоркское Press Corporation*, так что, может быть, Вам доведется где-нибудь прочесть его на каком-либо языке. На свои впечатления от восточной зоны, то есть от Веймара, я сделал там особый упор. Сколько крика, оттого что я съездил туда! А ведь город Франкфурт сам послал делегацию на гётевские торжества в Веймаре, о чем умный муниципальный советник Райнерт, с которым мы подружились во Франкфурте, рассказывал мне очень весело и одобрительно.

Ваш со всеми добрыми пожеланиями

Томас Манн

* Агентство печати (англ.).

201

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
2 ноября 49*

Дорогой Герман Гессе,

спасибо за байдлеровскую¹ открытку! Да, писать письма у меня тоже часто не хватает духа. Время от времени непременно оказываешься тут совершенно несостоятелен и тогда уж на все машешь рукой. Что будет делать люди, когда мы умрем? Им просто нечего будет делать. Письмо Ваше² этому молодому нахалу, помещенное в «Националь-Цайтунг», было очаровательно — Вы осадили его добродушно, отечески-педагогично. После такого ответа можно бы долго никому не отвечать. [. . .]

Я только что вернулся из Сан-Франциско, где у меня, по его желанию и желанию его сестры, посланницы, была встреча с пандитом Неру³, находящимся здесь с продолжительным официальным визитом. Тонкий, милый, умный человек, — умнее, безусловно, чем те, кто руководит этой страной. К cold war* они его не расположили. Поэтому он и денег, наверно, не получит.

Недавно меня спрашивали, какие книги «произвели на меня впечатление» в последнее время, и я очень расхвалил английский перевод «Игры в бисер», хотя и не знаю, приемлем ли он хоть сколько-нибудь. Вероятно, нет.

Всего лучшего и приятного Вам обоим.

Ваш Томас Манн

202

ВИЛЛИ ШТЕРНФЕЛЬДУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
3 ноября 49*

Дорогой господин Штернфельд,

я все еще не вернул Вам письма Пехеля¹ и не поблагодарил Вас за то, что Вы познакомили меня со своей перепиской с ним. Пехель — человек порядочный, и у него должно бы хватить ума понять, какой смысл вкладывался в те слова 45 года о жуткости немецких книг. Никто из друзей в Германии, способных немного вникнуть в ощущения живущего за границей, не обижался на меня за эти слова и не настаивал на том, чтобы я торжественно взял их обратно. Да и все это уже быльем поросло. С тех пор я дал милым немцам, к их радости, совсем другие поводы для возмущения, например, этим письмом к шведскому журналисту, которого мне действительно не следовало писать. Это было чистое озорство. Там говорилось, что в свете нравов западногерманской печати

* Холодной войне (англ.).

кажется чуть ли не благом, что при авторитарной демократии наглость и глупость должны будут наконец прикусить язык. Это тоже было сказано под влиянием настроения и, конечно, критики не выдерживает. Ведь я же не за насилие и полицию. Но не было ли скверным легкомыслием отменить лицензирование германской прессы? Если это не было чем-то худшим, чем легкомыслие! Генерал Клей², мне рассказывала индийская посланница, очень откровенно говорил сейчас в Вашингтоне о том, *какова* обстановка в Германии. Успеха он не имел, ведь все полны зловещей любви к немцам. Но правду он сказал, и я, если на то пойдет, скажу ее тоже, да и сказал ее несколько лет назад, говоря о глубоком сожалении по поводу того, что побили в союзе с Россией Германию, а не Россию в союзе с Германией. Это сожаление надрывает нам, американцам, сердце, и мы никогда не простим этого Рузвельту.

Ваш Томас Манн

203

Г. В. ЦИММЕРМАНУ
[Черновик]

*Пасифик Пэлсейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
[без даты, примерно 7 декабря 1949]*

Глубокоуважаемый господин Циммерман,

редакция «Моната» прислала мне Вашу анкету, прибавив, что я ведь, как известно, особенно мягкосердечно и терпеливо отвечаю на письма и поэтому, может быть, отзовусь. Повода для определения позиции редакции они не видят.

Так вот, должен сказать, что тон Вашего письма, Ваша манера спрашивать, все эти «Неужели Вы все еще не признали», — «Неужели Вы все еще не поняли», — «Задумывались ли Вы хоть раз над тем —», «Неужели Вы все еще не осознали —», так запросто от Вас мне, — все это кажется мне немного неподобающим, не вполне адекватным и тактичным. Но тактичность ведь не самая сильная сторона немцев, и Ваши манеры — это дело Ваше. Не хочу из-за этого посрамлять свою добрую славу человека, отвечающего на письма. Итак:

Я не включил Адольфа Гитлера в свое эссе¹, потому что он не был ни монументальной фигурой немца, ни вообще монументальной фигурой, ни вообще фигурой, а был просто мерзостью. Я не мог ставить этого взбесившегося неотесанного плебея рядом с хитроумным исполином высшей европейской отделки², который хотел иметь соседом по имению Лас-саля, писал первоклассную прозу и все же — из-за блестящего успеха своего маккиавеллистического политического искусства, смеси грубости и утонченности, — оказал роковое влияние на немецкую нравственность. Вы *правы* когда говорите, что Гитлер вряд ли имел бы такой успех у немцев, не пройди они бисмарковской школы, но это сказано у меня

между строк, и Вы неверно прочли мою статью, если видите в бегло набросанном портрете Бисмарка, который она дает, прославление и хвалу. Другие увидели в нем, как и в предыдущем, тоже бегло набросанном, лютеровском портрете, нечто прямо противоположное, а именно — оскорбительную для национальных чувств хулу. Трудно угодить одновременно правде и людям.

Совсем ошибочно, мне кажется, Ваше утверждение, что Бисмарк растоптал «ценнейшие политические принципы» Фридриха II. Этого гениального гнома я не причислил к своему «поколению исполинов», потому что в нем, теснейше связанном с французской культурой, на мой взгляд, мало немецкого, кроме, пожалуй, *мефистофельства*, которое Ницше хвалебно отмечает в немецком величии. Но Бисмарк проводил политику глубоко фридриховскую. Он претворил в жизнь фридриховскую идею объединенной на династической основе Германии под прусским руководством и без Австрии. Веймарского Карла Августа³ это очень привлекало, Гёте же был решительно против этого. Я говорю мимоходом об этом в докладе «Гёте и демократия», который тоже был напечатан в «Монате», но которого Вы, видимо, не читали. А то бы Вы знали, что я тоже уже «задумывался» над различием между утонченным почвенничеством Гёте, его любовью к питательной стихии подсознательного и революционным почтением Шиллера к человечеству.

Неужели мой этюд так отвратителен, неужели он заслуживает 15 ехидных вопросов, если отмечает у «Трех гигантов», Лютера, Гёте, Бисмарка, определенные черты национально-психологического родства? Я не ставил Бисмарка «на одну доску» с Гёте, ведь Гёте же, а не Бисмарка назвал я «немецким чудом». Назвал я его так потому, что монументально-немецкое он выражает в самой обаятельной, самой милой, эстетически самой благословенной форме, образуя самую счастливую связь между Германией и миром. То, что Вы называете «политически сомнительными чертами», я в нем отметил, потому что нахожу пошлым делать из Гёте демократического пай-мальчика и представителя «доброй Германии». Слишком он был велик, чтобы быть только добрым, а в немецком величии всегда есть что-то от «злой Германии». Мои статьи по немецкому вопросу, например «Германия и немцы», уже дали многим англичанам и американцам представление о том, что с reeducation* моих «бывших соотечественников» дело обстоит не так-то просто.

Если статья «Гёте, немецкое чудо» читается чуть ли не как глава из написанных уже 32 года назад «Размышлений аполитичного», — то я ничего не имею против. Это доказывает лишь, что «перелом» в моей жизни — глупая выдумка, что жизнь моя, наоборот, есть некое развивающееся единство. «Размышления» были очень верной книгой с неверным математическим знаком. Слишком многому я научился за этой работой, чтобы меня заставили «отмежеваться» от нее, то есть от самого себя; да и Вам лучше бы поучиться по ней, чем с какого-то «разрешения»,

* Перевоспитанием (англ.).

которого Вам никто не дает, не дает прежде всего духовная и личная иерархия, говорить о «политическом вздоре».

Конечно, при последних словах «Размышлений» я стоял уже не там, где стоял при первых словах. Я прошел дальше, как то и подобает духу живому; однако мне свойственно ничего не выбрасывать из своей жизни, а вбирать раннее в позднее, благодаря чему раннее всегда может снова стать плодотворным. Будь Вы знакомы с вызвавшим столько шума романом «Доктор Фаустус», Вы знали бы это лучше. Но что Вы вообще знаете и читали из моих книг? «Лотту в Веймаре», может быть, роман о Гёте? Или «Иосифа»? Ничего, наверно. Без подготовки, вне связи [Конца нет]

204

АРНОЛЬДУ ШЕНБЕРГУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния..
Сан-Ремо-драйв, 1550.
19 декабря 1949

Глубокоуважаемый господин Шёнберг!

Ваш character document* в журнале «Мьюзик Серви», документ, который редакция не преминула прислать мне (другое между тем от меня утаили), снова, к великому моему ужасу, напомнил мне, что свое «Учение о гармонии» Вы некогда, уже много лет назад, дали мне только почитать, а вовсе не подарили. Действительно, это неоспоримое обстоятельство совершенно выпало у меня из головы, в моем представлении одолженное незаметно превратилось в собственность, — потому, может быть, что в некоем высшем смысле оно и правда стало моей собственностью. Это, конечно, попытка психологического объяснения, но не извинение. А я искренне прошу у Вас извинения. Вы ясно указали тогда на редкость этого издания, и тем непростительнее, что я заставил Вас так долго ждать возвращения этой ценности. Почему же Вы ни словом не напоминали мне о моем долге?

Спешу теперь, после такой позорно долгой задержки, вернуть Вам по почте Вашу собственность. Книга была тогда основательно изучена, и я могу лишь надеяться, что следы этого не слишком заметны.

Преданный Вам

Томас Манн

P. S.

Пользуюсь случаем спросить: если под градом Ваших нападков мне будет все хуже и хуже, можно ли мне, когда уж совсем припрет, опубликовать письмо, написанное мне Вами 15 октября 1948 г., после получения английского издания «Д-ра Фаустуса», с примечанием в конце, то, где Вы от души поблагодарили меня за исполнение Вашего желания, заявили,

* Своеобразный документ (англ.).

что вполне удовлетворены, и прибавили: «Я был твердо убежден, что могу ждать от Вас только того же, чего от себя самого, и очень рад, что моя уверенность так оправдалась...»?

Тогда, стало быть, это пояснительное примечание не было «актом мести». Как оно стало им в Ваших глазах, я не знаю. Но я никак не могу понять, откуда у меня могла взяться охота «мстить» Вам. Ведь и та пустяковая заметка в дневнике о Вашей «Лестнице Иакова»¹, сделанная в период возникновения «Фаустуса», уже чисто хронологически не может иметь ничего общего с мезтью.

Вы обрушиваетесь на какое-то порождение своей фантазии, каковым я не являюсь. Так желание мести не возникает. Будьте, если уж Вам так хочется, моим врагом, — сделать меня Вашим врагом Вам не удастся.

Т. М.

205

ИДЕ ГЕРЦ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
25 дек. 49

Дорогая фрейлейн Герц,

большое спасибо за нарядную, практичную и остроумную вещь! До таких штук я большой охотник. Нехорошо, однако, что, поскольку я запретил Вам из-за тесноты присылать книги, Вы пускаетесь в другие, по возможности, большие расходы!

Надеюсь, Вам дарован был приятный рождественский вечер. У нас, в обществе семьи Борджезе, Вальтеров, Клауса Прингсгейма и его сына, Голо и одного его американского ученика и друга, в немецко-английском языковом сумбуре, под музыку новых records* и детское ликование, он прошел несколько утомительно, но славно. Молодой американец, ни разу не участвовавший в таких континентальных забавах, был в полном упоении. «Gee**, Голо! — говорил он. — That was quite an evening! The champagne, the conversation — it was out of this world!»***

Наш музыкальный аппарат замечательно обновлен, он годится теперь и для новых пластинок, которые крутятся хоть полчаса и дают возможность прослушать целую симфонию без перерыва. Чудо нового времени! «Но счастливее ли мы от этого?» — спрашивает философ.

Счастливого Нового года!

Ваш Т. М.

* Граммофонных пластинок (англ.).

** Ну (англ.).

*** Это был такой вечер! Шампанское, разговоры — это был какой-то другой мир! (англ.).

206

ЗИГФРИДУ МАРКУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
1 янв. 1950*

Дорогой господин профессор,

спасибо за Вашу память! Мне было очень жаль, и моей жене тоже, узнать о болезни, которую Вам пришлось перенести. Что ж, Вы перенесли ее, и дело давно идет снова на лад. [...].

Работа моя, на этот раз довольно незначительная, продвинулась действительно далеко, и она часто очень меня забавляет. Но тем временем я ведь поссорился со всеми приличными людьми из-за своего «коммунизма», и что ни день мне приходится читать ужасные вещи о моем моральном затмении. Мир совершенно спятил. Если ты в 1933 году выражал веру в организованный мир, где царят план и единство, где землей управляют сообща и где блага распределяются так, что миллионов голодающих больше не будет, то ты еще в какой-то мере оставался порядочным человеком. Сегодня за такие же слова на тебя дружно набрасывается вся пресса Atlantic Pact* и багровые от ярости мужчины и сварливые бабы ставят на тебе и на твоём творчестве позорный крест.

Через 50 лет вся эта дикая свара, как прежние противоположности и непримиримые противоречия, растворится в цивилизации; причем окажется, что «Запад» научился большему у «Востока», чем наоборот.

Всяческие добрые пожелания!

Ваш Томас Манн

207

ТЕОДОРУ В. АДОРНО

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
9 янв. 1950*

Дорогой д-р Адорно,

большое спасибо за Ваше богатое, интересное письмо. Оно не раз перечитывалось и читалось вслух, а вчера я рассказал о нем Вашей милой жене, когда она была у нас на ленче. Наконец-то! Встреча так долго не получалась, потому что я сильно хворал и был не очень-то способен к общению; меня мучило и временами поражало почти глухотой инфекционное воспаление и распухание органов слуха, это довольно-таки угнетающее состояние с бессонницей по ночам из-за страшного зуда. После лечения, отнявшего много времени, стало лучше, но сразу же началось сильное воспаление горла, и ныне еще меня донимающее, — вероятно, та же инфекция, бросившаяся от заклинаний в другое место. Не знаю, мне кажется, что воздух здесь всегда полон такой заразы, и на меня производит

* Атлантического пакта (англ.).

большое впечатление то, что Вы так хорошо чувствуете себя на новой заокеанской родине. Мы здесь, хоть и прижились на чужбине, в сущности не на месте, что придает нашему бытию какую-то безнравственность. Это, правда, и забавляет меня, с другой стороны. Да и очень привязан я к нашему дому, как нельзя более отвечающему моим вкусам, да и люблю страну и людей, которые ведь по-прежнему добродушны и приветливы, хотя политический воздух становится *more and more unbreathable* *. Недавно отель «Беверли Уилшир» отказался предоставить зал для dinner ** «Arts, Sciences and Professions Council» ***, потому что там должен был выступать с речью такой communist, как доктор Мэнн¹. Потом, правда, поднялось такое смятение в community **** и отель так засыпали телеграммами, что он сдался и предоставил зал. Как только мое горло поправится, я схожу и произнесу речь², весьма, как то и подобает моему возрасту, уравновешенную. При этом я был бы вполне вправе ругаться, ибо 16 000 долларов налога пришлось мне бросить в пасть холодной войны в этом году. Для этого ли я писал Фаустуса? Отнюдь нет!

Поверите ли Вы, что Шёнберг выстрелил *еще* одной полосой по этой книге, по Вам и по мне? Это произошло в лондонском журнале «Мьюзик Серви», но статья была на сей раз уж такая неумная, что редактор назвал ее, извиняясь, «character document» *****. Среди прочего он рассказывает, что еще ни для кого, кто его обижал, дело не кончалось добром, и из двух дам, которые перед ним провинились, одна сломала ногу, а другую тоже постигла какая-то кара. Но я снова написал ему, что если ему непременно хочется слыть моим врагом, то ему не удастся сделать меня своим.

Авантюристу я все еще улыбаюсь лишь издали³, ибо «Избранник» еще не закончен, хотя и сильно продвинулся. Работать по утрам мне действительно ничто не мешает.

Кающийся грешник находится сейчас на пустынном камне, и, чтобы рационализировать его пропитание, я беру—или монах берет—на помощь идею Эпикура (и Лукреция⁴) об *uberi* ***** земли и «молоке», которые та создала для пропитания первого человека. Одна такая жила осталась для Грегориуса, и корни ее уходят под землю. Надо как-то выходить из затруднительных положений. Впрочем, у Гартмана есть, по-моему, намек на что-то подобное.

Мы все шлем горячий привет и желаем по-прежнему весело фантазировать с детьми.

Ваш Томас Манн

* Все более непригодным для дыхания (англ.).

** Банкета (англ.).

*** Совет по вопросам искусств, наук и вероисповеданий (англ.).

**** Общине (англ.).

***** «Своеобразным документом» (англ.).

***** Сосцы (лат.).

208

ГРЕТЕЛЬ КАЙЗЕР-ЭЛИАС

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
12 января 1950*

Глубокоуважаемая фрау Кайзер!

Ваше любезное письмо от 6 января у меня в руках, и я благодарю Вас за Вашу симпатию и поздравляю Вас с Вашим мужеством. Если Ваши знакомые осеняют себя при моем имени крестным знаменьем, то объясняется это, наверно, причинами политическими, а не литературными. Иностранных слов и длинных фраз недостаточно для объяснения большой неприязни, которую вызывает моя особа у определенного типа немцев. Что касается моих длинных фраз, то, право же, они не похожи на пародию, которую Вы мне прислали и которая кажется мне наименее удачной из трех, что тоже немало. Мои фразы, хоть они и длинные, не сумбурны, при построении их я стремлюсь к максимальной ясности, и даже фразе на «полторы страницы, юмористическим образом встречающейся в начале истории Иосифа, Вы и при чтении вслух не откажете в прозрачности и чистейшей понятности.

Что касается иностранных слов, то они, мне кажется, чаще встречаются в моих критических работах, эссе и докладах, чем в моих эпических произведениях, что вполне естественно; ведь при аналитической работе слово из чужого языка очень часто оказывается более точным нюансом — простите, оттенком. А как раз в «Докторе Фаустусе» анализ и прямая речь автора играют особую роль, а повествователь — гуманист, в чьем стиле есть даже доля пародии, что могло бы и оправдать иные странности. Как раз иностранное слово «миопия» я не считаю таким уж предосудительным, потому что это медицинское обозначение близорукости и в случае медицинского заключения о негодности к военной службе вполне, по моему, уместно.

Еще раз благодарю Вас за Ваше прекрасное участие в труде моей жизни и от души желаю Вам успеха на экзамене, несмотря на рискованный предмет, который Вы для него выбрали¹.

Совершенно преданный Вам

Томас Манн

209

ЭДИТ ДЬЕРДЕНЬИ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
14 янв. 1950*

Дорогая фрейлейн,

Ваше письмо прелестно сбивчиво и действительно мало «конкретно». Ответить на него трудно, но поскольку Вы ждете ответа, я не хочу, чтобы Вы ждали его напрасно, и благодарю Вас за несколько смутное, правда,

доверие, которое Вы оказываете мне, старому человеку, и которое доходит до того, что Вы обращаетесь ко мне на «ты». Я с радостью ответил бы тем же, тем более что Вы сообщаете мне, что Вы красивы, но для этого я слишком робок. Я лично совсем не красив и фотографироваться не люблю. Лучший способ для Вас «поглядеть» на меня — это прочесть какую-нибудь из моих книг, — чем я вовсе не хочу сказать, что они прекрасны.

Мне было интересно узнать, что Вы хотите стать актрисой. У меня, конечно, нет ни малейшей возможности судить, годитесь ли Вы для этой профессии. *Одной* красоты для этого мало, хотя она и большое преимущество. Но в Вашем письме чувствуется некий театральный темперамент, некая напористость, очень склоняющая меня верить в Ваш талант.

Всяческих удач! Всяческих успехов! — Вы думаете, я получаю, наверно, страшно много «такого», как Ваше письмо. Страшно много я получаю и в самом деле. Но «такое» — редко.

Ваш Томас Манн

210

БЕРНГАРДУ БЕНКЕ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
28 февраля 1950*

Глубокоуважаемый господин Бёнке!

Спасибо за дружеские строчки. Заявление, что «Отцы и дети»¹ принадлежали бы к тем шести произведениям, которые я взял бы с собой для чтения на необитаемый остров, выражало, конечно, лишь в общей форме, сколь высоко я ценю этот шедевр. У меня при этом не было рядом пяти других, которые я взял бы с собой. Насчет «Фауста» Гёте Вы во всяком случае правы. Добавить, безусловно, надо было бы и что-нибудь Достоевского, «Братьев Карамазовых» или, пожалуй, «Бесов». «Войной и миром» Толстого Вы тоже попали в точку. Еще, думаю, сюда вошел бы том Штифтера, например «Пестрые камни». Из французских книг, вероятно, «Education sentimentale»^{*2}. На том и остановимся, это больше, чем Вам хотелось услышать. С самыми лучшими пожеланиями и приветом

Преданный Вам

Томас Манн

* «Воспитание чувств» (франц.).

211

ВОЛЬФГАНГУ ШНЕДИЦУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
7 марта 1950

Глубокоуважаемый господин Шнедиц,

«покорнейше», как говорили прежде и как все еще хорошо бы говорить, должен я поблагодарить Вас за волнующий подарок — два тома Тракля¹, которые в эти дни сильно и глубоко меня занимали. Грустная и одинокая жизнь юности этой эпохи стала здесь поэзией, и поэзией интенсивнейшей, кое-что из которой я знал, но которая сейчас, в полноте своих проявлений, взволновала меня больше, чем когда-либо. Это ведь, при всей экспрессивной страстности, болезненно замкнутая в себе сфера, которую не заботит «понимание» в рациональном смысле, и при встрече ее с известной возрастной замкнутостью, как в моем случае, остается дистанция, до жути порой увеличивающаяся. Но по эту сторону всегда остается уверенное чувство, что поэзия там сохранится благодаря краскам, которые не померкнут, и звукам, которых не рассеет никакой ветер.

Своим предисловием Вы приблизили к нам ту жизнь, ту человечность, откуда идет это непреходящее наследие, больше, чем кто бы то ни было прежде, и Ваша заслуга перед поэтом огромна. Я думаю, что Ваше желание, чтобы посмертная слава Тракля росла и шла из края в край, — сбывается. «Давно всеобщим стало достоянием то, чем когда-то он один владел»².

Преданный Вам

Томас Манн

212

МАКСИМИЛИАНУ БРАНТЛЮ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
19 марта 1950

Дорогой доктор Брантль,

за Вашу телеграмму и за добрые слова Вашего письма спасибо от души. Вы были умершему верным другом¹; ведь дружба и верность заключаются не в том, чтобы соглашаться со всем, к чему ни приводит другого его духовная судьба, а в том, чтобы верить в его чистоту и не покидать его даже в его заблуждении или кажущемся заблуждении.

Наш великий покойник, глубоко связанный как писатель с европейской, особенно латинской, традицией и, судя по иным его книгам, обладавший весьма редким в Германии, прямо-таки пророческим политическим чутьем, говорил, чем старше он становился, тем в большей мере, языком будущего и был поэтому мало кому понятен при жизни. Но это-то и поразительно, как в его творениях и писаниях высокоразвитый, блестящий

и строгий ум, нисколько не поступаясь своим благородством, стремился к простоте, к народу, искал социального содружества. Особенно в его мемуарах «Обзор века» это сочетание мощной интеллектуальности с ищущей народом простотой, даже наивностью производит впечатление чего-то совершенно нового, примечательного, принадлежащего будущему.

В последнее время он много хворал, да и внешне сильно постарел, но хотел месяца через полтора справиться с переездом в Восточный Берлин, где его ожидали богатство и высшие почести. Хотел и не хотел; это приключение страшило его и всех нас и оставалось по сути маловероятным. Свой последний вечер он необычно продлил, долго слушая с наслаждением музыку, и его трудно было отправить в постель. Потом, во сне, кровоизлияние в мозг, без единого звука или движения. Утром его просто нельзя было уже разбудить. Сердце работало еще примерно до полудня, но в сознание он больше не приходил. Не будем неблагодарны! Это был в сущности самый милосердный исход.

Панихида была достойная. Один священник Unitarian Church* и Лион Фейхтвангер держали речи, а квартет сыграл прекрасный, медленный отрывок из Дебюсси². Затем я шел за гробом по теплой траве кладбища в Санта-Монике.

Р. I. P.** Не такова жизнь на белом свете над ним, чтобы его надо было особенно жалеть.

[...]

Ваш Томас Манн

213

УОЛТЕРУ Х. ПЕРЛУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
25 марта 1950*

Дорогой друг Перл,

[...]

Рецензию на «Историю создания»¹ Вы, наверно, построили совершенно правильно. Славословий во что бы то ни стало здесь вовсе не любят. Критика должна критиковать, и ни одно дерево не должно вырастать до небес — до такого предела демократия еще доходит в этой стране. Ненависть ко мне из-за того, что я погряз в «текущей политике» (как Вы именуете кризис культуры и гуманизма, кризис, под знаком которого находит мир и от которого в «аполитичности» не спасешься), — рисуется Вам в несколько чересчур мрачном свете под влиянием Вашей германистской среды. Несмотря ни на что, дружеское отношение ко мне в этой стране еще довольно-таки распространено. Да и в текущей политике я погряз сегодня не больше, чем в 1933 году. Не я был, конечно, инициатором

* Унитарной церкви (англ.).

** Requiescat in pace (лат.) — да почует в мире.

протеста против ареста защитников коммунистических партийных руководителей, но я его подпisał, потому что он от слова до слова, и очень хорошими словами, говорил правду. Он был направлен против грубого нарушения прав и неприкосновенности адвокатов, защищающих людей, которых и обвиняют-то незаконно, ибо их деятельность не была незаконной. Да ведь и lawyers*-то выпущены на свободу под натиском общественного мнения, еще, как-никак, срабатывающего. Злить это может только германистов и фашистов.

Поверьте мне: я не собираюсь стать мучеником во имя дела, которое мне чуждо, во имя тотального государства, сторонником которого я никогда не буду. Но стать мучеником собирается здесь сегодня всякий, кто выступает против уничтожения демократии, зашедшего, под предлогом ее защиты, весьма далеко. Не кажется ли Вам все это жутковато знакомым по Германии? «Должно было произойти что-то очень неправильное и скверное»², о да. Происходят вещи, и готовятся вещи, доселе невысказанные в стране, где фашизм еще не выступал открыто и в полную силу. «Холодная война» разоряет Америку физически и морально, поэтому я против «холодной войны», а не «против Америки». Если сейчас пройдет законопроект Мундта—Никсона, я побегу отсюда сломя голову вместе со своими семью почетными докторствами.

Я думаю, что свое желание поддерживать связь с моим творчеством Вы можете преспокойно исполнить и принадлежа к Congregational Church**. Есть христиане-американцы, например, Rev.*** Стефан Фричман³ из лос-анджелесской First Unitarian Church****, которые еще почище моего погрязли в текущей политике.

С лучшими пожеланиями
Ваш Томас Манн

214

В «ДЖЕРМЕНИК РЕВЬЮ»

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
29 марта 1950

Глубокоуважаемые господа,

я был рад приветству от Вас и тронут Вашим письмом, из которого узнал, что Вы намерены отозваться в своем журнале на мое семидесятилетие каким-нибудь доброжелательным обзором моей работы. Но еще большим удовлетворением для меня было узнать, что эти знаки внимания Вы хотите связать с почтением к памяти моего покойного брата, перед которой эта страна действительно, как Вы говорите, в долгу. Он жил здесь довольно безвестно, довольно одиноко, и если я, покуда время не было явно

* Адвокаты (англ.).

** Конгрегационалистской церкви (англ.).

*** Преподобный (англ.).

**** Первой Унитарной Церкви (англ.).

упущено, советовал ему принять приглашение народно-демократического правительства в Берлин, то делал я это, зная, что там у него была бы почетная старость. Ее я желал ему, считал, что он ее заслужил, и поддерживал поэтому желание официальных немецких инстанций, хотя его переезд означал бы, вероятно, разлуку с ним навсегда и хотя все ясней становилось, что он в сущности уже ничего не хотел, кроме того, чтобы его оставили в покое.

В последнее время он очень постарел, страдая всяческими недугами. Он уже не работал, писал письма, где говорил о приготовлениях к отъезду, немного читал и слушал музыку. С продуктивностью дело обстоит странно: когда в конце концов слишком устаешь для нее, то и не горюешь о ней; я ни разу не слышал, чтобы он жаловался на свою неработоспособность, она оставляла его, видимо, совершенно равнодушным. Да и знал он, видно, что труд его жизни — огромный труд! — сделан, хотя его последнее большое предприятие, эпическо-драматические сцены с тускло-блестящим отливом исторического колорита, сцены, рассказывающие в диалогах (поразительный выбор темы!) жизнь Фридриха Прусского¹, оставалось незавершенным. Что из того, что эти фрагменты остались фрагментами! Его искусство исчерпывающе отзывалось в обоих последних романах, в «Приеме в свете», призрачной социальной сатире, где действие происходит везде и нигде, и в «Дыхании», этом итоге его искусства, продукте стариковского авангардизма, который, даже угасая и умирая, не покидает самых высоких вершин.

Таким же образом завершил себя этот великий эссеист в захватывающей книге мемуаров «Обзор века», автобиографии как критике прожитого века, полной неописуемо строгого и веселого блеска, наивной мудрости и нравственного достоинства и написанной прозой, которая по своей интеллектуально мощной простоте представляется мне языком будущего. Да, я убежден, что немецкие хрестоматии 21-го века будут приводить выдержки из этой книги как образцы. Ибо тот факт, что покойный был одним из величайших писателей немецкого языка, раньше или позже войдет и в противящееся сознание немцев.

[...]

Да почиет он в мире после богатой деяньями жизни, след которой исчезнет с этой земли, так я думаю, лишь вместе с самой культурой и уважением человека к самому себе.

Преданный Вам
Томас Манн

215
АГНЕС Э. МЕЙЕР

Отель Бор-о-Лак, Цюрих.
21 мая 1950

Дорогая княгиня,

наконец-то шлю Вам привет, весьма сердечный привет с дороги — я все никак не мог выбраться сделать это в суете переездов и обяза-

тельств. Время, прошедшее после Вашего с Юджином¹ визита в гостинице «Карлейль», кажется мне — до того оно наполнено — более долгим, чем оно было на самом деле — всего три недели или чуть больше. Наш полет в Стокгольм прошел гладко и приятно, и дни в этом городе мы провели хорошо. Доклад там был устроен шведским пен-клубом, и его президент, принц Вильгельм Шведский², представил меня трогательно восприимчивой публике особенно красивой немецкой речью. В своем тихом житье-бытье я и не представляю себе, сколько у меня все-таки в мире преданных друзей, и свидетельства этого при таких случаях больше даже смущают меня, чем радуют. В Париже было еще неистовей. Прием в Риде, устроенный издателем «Docteur Faustus», был настоящим столпотворением, три часа подряд подписывал я книги в одной librairie*, в то время как на улице люди стояли in line** под наблюдением полиции, а доклад в Сорбонне пришлось перенести из маленького зала в большой амфитеатр. 2000 человек — ничего подобного давно не бывало, как меня уверяли, да и поведение этой толпы было необычно. Я нахожу это глупым, как глупо и непонятно то, на чем основана слава; но я рассказываю Вам это потому, что это, возможно, Вас позабавит.

Результат у меня — усталость и ощущение надувательства, но вместе с тем и тихая радость от того, что я каким-то образом что-то для людей значу... Между прочим, я действительно забыл, как прекрасен Париж. Великолепный город! Был как раз день Богородицы, с большим парадом перед ее памятником напротив нашей гостиницы, а вечером весь архитектурный комплекс от Нотр-Дам до Сакре-Кёр был волшебным освещен прожекторами. Блеск!

Затем, на своей английской машинке, при самой благоприятной погоде, мы через Шомон и Бельфор покатали сюда и с чувством возвращения на родину прибыли снова в землю Швейцарскую. Завтра мы поедем на неделю в Тессин, в Лугано, чтобы навестить в Монтаньоле одного старого друга, Германа Гессе, но большую часть июня проведем потом здесь. Мой доклад в Шаушпильхаузе³ назначен на 5, а еще через несколько дней мне предстоит читать там и из Грегориуса. Куда мы поедем в июле, еще не знаем, но в начале августа определенно через Лондон домой.

Прилагаю газетные отчеты, французский и немецкий, из Гейдельберга. Немецкий даже лучше, чем печать других стран, показывает, как воспринимают мои мысли и пожелания в Европе. Да не поймет меня превратно великая и добрая, только очень уж раздраженная Америка! Я к ней привязан и от души желаю ей добра. Я никому не рассказываю, что в Вашингтоне мне не дали выступить⁴, и подчеркиваю лишь, что я это сделал в Чикаго и Нью-Йорке. Здесь я наговорил на пленку для «Южногерманского радио» доклад «Мое время», и в мой день рождения его передадут в Германии. Кончается он такими словами:

* Книжной лавке (франц.).

** В очереди (англ.).

«Кто прожил 75 лет, кое-что знает о милости времени и о том, как терпеливо оно все исполняет. Он чувствует также известную привязанность к этой зеленой земле, и если он — так скоро! — сойдет в ее лоно, то тем поколениям людей, которые появятся на ней под солнцем, он желает, чтобы на долю им выпали не горе и позор озверения, а мир и радость».

Верный Вам

Томас Манн

216

ЭМИЛИЮ БЕЛЬЦНЕРУ

Лугано, 24 мая 1950

Многоуважаемый господин Бельцнер,

большое спасибо за Ваши добрые слова, написанные и напечатанные. Особенно порадовали меня Ваши умные и теплые комментарии к моим докладам. Отчеты в печати, послужившие Вам при этом опорой, были почти безупречны. Только везде дело идет об одной и той же речи, которую я произнес по-английски в Чикаго, по-немецки в Нью-Йорке и Стокгольме, а в сокращенной форме и в парижской Сорбонне и которую повторю вскоре в Швейцарии. Произнесу я ее и в Германии, — то есть: я наговорил ее в Цюрихе на пленку, каковая прозвучит у Вас 6 июня — длиною в час, в полном объеме, как с энтузиазмом заверил меня симпатичный молодой представитель «Южногерманского радио». Полагаю, что его пыл умерят и, чтобы пощадить терпение публики, урежут пленку то там, то сям — справедливо, надо надеяться, разделив вырезанные куски на «там» и «сям». Ведь из баланса легко вывести определенную позицию относительно положения в мире.

А к определению такой позиции доклад «Мое время», как ни невинно говорит он вначале о днях минувших, неизбежно сводится: еще раз к «Призыву к разуму»¹, или, выражаясь проникновеннее, к молитве о мире. «Ибо я верю в мир как в важнейшую заповедь и высшую необходимость, как условие для того, чтобы народы, человечество по-настоящему и честно выполнили свой долг. Для этого не нужно, чтобы одна из спорящих идеологий убивала другую, — идеи вообще не убьешь, — а нужно, чтобы мы предоставили времени вершить свое дело, сглаживая и устраняя противоречия, ведя к высшему единству; чтобы мы, и каждый в отдельности, и народы, заполнили время работой над самими собой. Время — это драгоценный дар, данный нам для того, чтобы мы становились в нем умнее, лучше, достигали большей зрелости и большего совершенства. Время — это сам мир, а война — не что иное, как дикое пренебрежение временем, как бегство из него в бессмысленное нетерпение».

Так говорится в этом докладе. И если Вы сообщаете мне, что хотите откликнуться в своей газете на мой день рождения и просите меня написать несколько слов по поводу этого дружеского публицистического акта, или, пышнее, «Послание к немцам», то я могу только сказать: в той по-

пытке примирить враждебные лагеря, всячески избегая какой-либо политической претендиозности, я не в последнюю очередь, а то даже и в первую думал о Германии. Германии нужны время, сосредоточенность, раздумье, мир, чтобы после ужасных нравственных сумятиц и разрушений прийти к самой себе, вспомнить себя самое, извлечь из-под завалов огромную жизнеполезную энергию, которую она таит, чтобы, как некогда, вбирая в себя мир, одаривать мир. Много говорят об укреплении, о новом оживлении скверных, ложных, эгоистичных («национальных») и опасных сил в Германии. Тому, что тут, к сожалению, соответствует действительности, виною главным образом злосчастная ситуация в мире, которая нигде не приводит к добру, нигде не помогает добру. Но я знаю по своей переписке, и мое посещение Германии в прошлом году показало мне это тоже, как много там сохранилось чистой и благородной воли, преимущественно среди молодежи, прошедшей тяжелые испытания, как много нравственной порядочности, как много готовности к европейскому и мировому содружеству. Ей, этой доброй воле, которой нужно лишь немного сочувствия и солнца, чтобы принести плоды, пусть будет адресована помощь, оказываемая Германии, а не ее «вооружению»!

Я от души приветствую старую родину посреди своего восьмого десятилетия. Какая разница, буду ли я там во плоти или нет? И при том, как распорядилась судьба, контакт теснее, чем думала, и мои заботы, надежды, желания всегда с ней. Радует меня и моя принадлежность к жюри, которое объединяет в себе «внутреннюю» и «внешнюю» эмиграцию и должно ежегодно присуждать заметную премию, учрежденную немцами и заграничными немцами, премию имени Рене Шикеле, за «лучшую немецкую книгу». Говорят: «Там ничего нет». Ничего, что-нибудь да найдем.

Совершенно преданный Вам

Томас Манн

217

БРУНО ВАЛЬТЕРУ

Цюрих, 10 июня 1950

Дорогой друг,

перед исполнением многих других долгов, всех долгов, мне надо от души поблагодарить тебя за твое прекрасное, торжественное письмо к моему дню рождения. Оно взволновало меня и осыпало. Ты знаешь, как мила и дорога мне твоя дружба, дружба не только великого музыканта, но и такого человека, как ты, человека большого сердца и живейшего ума. Вот уже несколько десятилетий мы живем рядом друг с другом, хотя часто бываем разделены большим расстоянием, и если ты горячо, радостно, а порой озабоченно участвуешь в моих попытках делать свое дело как следует, то и я, поверь мне, всегда всеми чувствами разделял твои радости и боли.

Того и другого у нас было много, что надо, видно, рассматривать как некую отличительную награду; и свела и связывает нас, думаю, как раз эта общая предрасположенность к полноте и экспансивности жизни, читаемая нами друг в друге. Вздох «Боль и радость — все зачем?» таким, как мы, хорошо знаком. И все-таки не хотелось бы жить, как милая посредственность.

Недавно в Лугано мы стояли у прекрасного последнего пристанища¹ твоих любимых. Как ты еще ни занят, ты, конечно, иногда переносишься мечтою туда, и, наверно, хорошо — знать, где твое место. Я этого не знаю, и это меня тревожит порой. Но не очень разумна, пожалуй, такая тревога.

Пока мои праздники — их справили здесь бурно и трогательно — не прошли, Катя не говорила мне, что ей рекомендована операция *one of those things* *, сама по себе вполне обычная, невинная, немного рискованная только из-за ее ножных вен, и что она хочет, чтобы ее оперировали *здесь* (это я могу только одобрить). Со вчерашнего дня она находится в Хирсланденской клинике, и мы с Эрикой пребываем вдвоем в Бор-о-Лак, странная ситуация. Устроить К[атию] так очаровательно удобно в Америке никогда не удалось бы; хирург считается очень опытным и надежным врачом. Операцию сделают, видимо, в начале следующей недели, то есть мы надеемся, что ее можно будет сделать. Недели три в больнице, наверно, придется пробыть. Затем, в июле, Сильс-Мария будет, наверно, как раз подходящим местом для полной поправки.

Всего тебе лучшего! Всяческие тебе и твоим приветы и добрые пожелания от нас!

Т. М.

218

ТЕОДУРУ В. АДОРНО

Гранд-отель «Дольдер». Цюрих.
11 июля 1950

Дорогой д-р Адорно,

не обижайтесь! Я же говорил Вам, что правильно прочел ту Вашу статью. Если и Рихнер¹ сумел прочесть и истолковать ее по-своему, то объясняется это его «предрасположенностью» к возвращению как таковому, к деятельности в Германии. Эти швейцарские консерваторы сплошь германолюбы и антиэмигранты и хвалят все, что смахивает на забвенье и примиренье. Если ничего подобного в тексте нет, они стараются вычитать это между строк — а журнал «Франкфуртер Хефте», который на добрый новонемецкий лад постоянно поносит меня и ругает, помог, видимо, Рихнеру подретушировать и ополщить Ваши слова. Вообще-то Рихнер не только крупный эссеист, но и настоящий поэт, и недавно у него вышел «эпиллион» «Первые», триодия Евы, Адама и Змея, несомненно прекрасная. Все на свете имеет свои две стороны. Я не хочу отдавать Вас немцам,

* Известного рода (англ.).

но одновременно вполне разделяю удовлетворение, которое вызывает там Ваша потребность в деятельности, активности, и от души поздравляю Вас с новой, удобной квартирой, не говоря уж о стейнвее. И опять-таки: а Ваша там академическая карьера? Ведь Вы же никогда не станете заведующим кафедрой! Ну, а в Америке что? Мы довольно часто прикидываем, не покинуть ли нам ее. Кто бы думал еще три года назад о возможности второй эмиграции!

Ваша статья о Бенъямине² — чтение захватывающее, и Берман поступил очень умно, заказав Вам очерк о Кафке. Кому и говорить там о нем, как не Вам? Я нахожу, что слово *événement* *¹, которое Вы употребляете иронически, применимо в самом серьезном смысле.

Кафка любил «Тонио Крёгера» — вот одно воспоминание среди множества других (Гофмансталь, Шницлер³, Беер-Гофман⁴, Гессе, даже Гауптман) в противовес словам Ганса Майера⁵ о равнодушии писателей-современников к моему творчеству и о моей роли «нелюбимого». В его книге много умного, заслуживающего благодарности, но и много неточностей и пробелов, а уж что черт в облике музыковеда наделен Вашей внешностью, это и вовсе абсурдно. Разве Вы носите вообще роговые очки? Во всяком случае никаких других Ваших черт там нет. Но уж очень хочется людям как можно больше «заметить».

Помогает ли, спрашиваю я себя, такая книга и способна ли она прикрепить кривую одной жизни к духовному небосводу? Автору я благодарно засвидетельствовал свою веру в это. Но только что я прочел у Шпиттелера⁶, как много и сколько глубокого было написано о Викторе Шеффеле⁷, которым сам Шп[иттелер] весьма восхищался. Что ж, уйдешь и ничего не узнаешь. Какая в общем-то разница. Непомеренные изъявления любви и идиотская брань наводят на меня в конце концов одинаковую скуку. Приват-доцент Кунц вряд ли будет столь часто фигурировать в моих письмах, как «талантливый датчанин д-р Георг Брандес» и его лекции о лекциях Ницше.

Все-таки я не жалею, что перенес празднование моей маленькой знаменательной даты⁸ сюда. Были тут и настоящая теплота, и пристойный уровень — в речах, например, Штриха⁹, Хельблинга¹⁰, де Сали¹¹. «В итоге счастья нет вернее, — говорит Гёте, — чем современников любовь». И в «Фаустусе», думаю, заряда, как-никак, чуть побольше, чем в «Зекингенском трубаче»¹².

Вам и Вашей милой жене — всего самого лучшего! Я рад, что в третий раз прочту «Беньямина» в «Рундшау». Слова «все его высказывания сразу же близки к сути» очень напомнили мне Шопенгауэра, который, как потом Ницше, не признавал границы между эссеистикой и философией. . .
[...]

Ваш Томас Манн

В субботу мы поедем в Сильс-Марию, гостиница «Вальдхауз».
[...]

* Явление, событие (франц.).

219

ГОТФРИДУ БЕРМАНУ-ФИШЕРУ

Отель «Савой».
Лондон, 18 августа 1950

Дорогой доктор Берман,

Вы понимаете, что меня серьезно и сильно занимает проблема, как мне при нынешней обстановке, при сокращающихся американских доходах и при общей конъюнктуре книжного рынка, сохранить более или менее свой жизненный уровень. Особенно важно для меня создать какую-то, хоть скромную, финансовую базу в Швейцарии на тот случай, если мне придется скоро покинуть Америку.

Благодаря случайной личной встрече я разговорился с бернским издателем Альфредом Шерцем¹, и тот склонен, даже очень хочет выпустить лицензионным изданием большой тираж «Будденброков», которых сейчас ведь нет на рынке, а это обеспечило бы мне выплату 16 000 франков. На два года пришлось бы дать ему разрешение распространять этот тираж и за пределами Швейцарии. В связи с этим он был бы чрезвычайно заинтересован в параллельном швейцарском издании грегориусовского романа, и тут финансовые условия надо было бы еще определить. Поначалу речь шла бы о минимум 20 000 франков, и, в случае Грегориуса, он, конечно, непременно обязался бы строжайше ограничить распространение своего издания Швейцарией.

На мой взгляд, Вы могли бы дать согласие² на эту сделку, тем более что, по Вашим же словам, Швейцария играет для Вас весьма несущественную роль.

На Вашу отзывчивость и любезность я вправе рассчитывать и потому, что в последнее время я не раз отмечал многомесячное отсутствие на рынке важнейших моих книг («Волшебная гора», «Фаустус»), связанное, вероятно, с нынешними производственными затруднениями, так что упрекать Вас за него я не хочу. Это простая констатация фактов, уравновесить которые можно было бы швейцарскими лицензионными изданиями. В примерах такого рода ведь нет недостатка, издательство «Инзель», скажем, дало согласие на подобные швейцарские издания Рильке.

Эти швейцарские доходы для меня жизненно важны, и с этими предложениями я обращаюсь к Вам очень серьезно и очень настойчиво, твердо веря, что Вы не будете чинить мне препятствий в осуществлении их.

Обстоятельства в Соединенных Штатах такова, что я могу только повторить: весьма и весьма вероятно, что мне придется отказаться от проживания там и заново, конечно, более скромно, обосноваться в Швейцарии.

Само собой разумеется, что Вам причитается определенная доля, но так же само собой разумеется, что она не может составлять американские 50%; я предлагаю 20%, превышение сделало бы иллюзорной всю выгоду для меня этой затеи.

Прошу Вас безотлагательно дать мне Ваше согласие, поскольку пробуду я здесь лишь до 20 августа, а бернское издательство должно зару-

читься договоренностью до конца месяца, чтобы успеть выпустить «Буденброков» к Рождеству.

Прошу Вас, стало быть, телеграфировать.

С приветом и добрыми пожеланиями

Ваш Томас Манн

220

ЭРВИНУ РОЗЕНТАЛЮ

*Пасифик Пэлсайдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
16 октября 1950*

Дорогой господин д-р Розенталь,

давно мы друг о друге ничего не слышали, но смею полагать, что адрес, указанный на нашем договоре о продаже «Лотты»¹, остается в силе.

Обращаюсь к Вам сегодня по делу, насчет которого очень хотел бы получить от Вас совет. Одно американское учреждение проявляет живой интерес к приобретению всех моих наличных рукописей, включая письма, дневники, рабочие планы, наброски и т. д. Идея такого собрания трудов моей жизни меня, конечно, весьма привлекает. Но я понятия не имею, какую цену потребовать за такую коллекцию. Никаких твердых норм на подобный предмет, конечно, нет, но думаю, что такой эксперт, как Вы, все-таки в состоянии указать мне какую-то отправную точку, то есть мне хотелось бы знать, какой минимум и какой максимум можно было бы в данном случае, по-Вашему, иметь в виду. Речь идет о следующих рукописях:

«Иосиф в Египте», «Иосиф-кормилец», «Доктор Фаустус» (все три романа примерно по 800 печатных страниц), далее «Закон», «Обменные головы», «История создания «Доктора Фаустуса»», новый, почти законченный роман «Избранник» (ок. 350 печатных страниц), затем множество больших и малых эссе и, как я сказал, очень много рабочего материала и дневников. Все вещи, названные в конце, я бы, так сказать, отдал впридачу, но за рукописи надо бы ведь потребовать пристойную сумму. Итак, я был бы очень признателен Вам, если бы Вы сообщили мне Вашу оценку, и, по возможности, отдельных произведений, и на случай продажи всего целиком.

Надеюсь, своим запросом я не затрудню Вас неподобающим образом. С сердечным приветом от семьи семье.

Преданный Вам

Томас Манн

221

Г. Д. ЗАНДЕРУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
26 октября 1950

Глубокоуважаемый господин Зандер!

Ваше письмо и желание, которое Вы в нем высказываете, кажутся мне все же несколько чересчур оригинальной и надуманной формой сближения. С какой стати мне покупать Вам спортивную кепку, если такие кепки кучами продаются в Германии и если у Вас есть деньги на такое приобретение. Я обычно надеваю спортивную кепку — мне не нравится, когда ее называют «спекулянтской кепочкой», — при ветреной погоде и в открытой машине. Та, которая была на мне в Веймаре, куплена в Швейцарии, и та которую ношу сейчас, тоже.

Охотно следуя Вашему предостережению, я не придаю Вашему письму какого-то глубокого смысла, я смотрю на него как на знак дружеского, но несколько неловко выраженного доверия.

С добрыми пожеланиями

Томас Манн

222

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Пасифик Пэлисейдз, 1 ноября 1950

Дорогой господин Гессе,

это, конечно, ребячество, но, вспоминая о часах, проведенных нами вместе в Монтаньоле и Сильсе, я испытываю желание сказать Вам и фрау Нинон, что несколько дней назад я закончил ту штуку, которая вызвала веселое Ваше участие, многократно и теперь, наверно, в последний раз рассказанного «Грегориуса»¹. Господи, ничего значительного в этом известии нет. Моя экспансивность вызвана только удовлетворением, всегда все-таки наступающим, когда что-то кончишь, а тут еще пришло письмо от одного суперинтендента из германской восточной зоны, где он упоминает, что жена Германа Гессе рассказала ему о наших чтениях и что они доставили обоим Вам удовольствие. Было и много другого приятного в письме этого общего корреспондента. В последнее время примечательно учащаются случаи, когда ко мне обращаются с письмами, выражающими симпатию, сановные протестантские богословы, и я полагаю, что с Вами происходит то же самое, — а также, что Вас, как и меня, это наталкивает на всякие мысли о том, что в силу происхождения определяет в конечном счете и «связывает» нашу личность.

Моя жена вполне оправилась от своей операции и деятельна, как всегда. Заботит нас скорее Эрика, которая плохо спит, плохо ест и сильно потеряла в весе. Это что-то душевное — тщательнейшие исследования не показали никакого органического неблагополучия. Она страдает от атмо-

сферы этой страны и от того, что ей закрыты пути к проявлению ее разносторонних способностей. Радио, печать, телевидение — она могла бы всюду блистать, но никуда ей нет хода из-за ее нонконформизма. Кстати, ее статья, за которую Вы вступились, напечатана не только в Дании и Швеции, но теперь и в одной большой голландской газете. А вскоре она снова выступит с докладом в порядке одного политического мероприятия храброй Unitarian Church *. Это полезно и ей, и глупым-преглупым людям. Даже в плохом состоянии она покоряет самую строптивую публику. Сам я в течение нескольких недель после нашего изнурительного путешествия домой чувствовал сильную усталость от множества перемен мест, воздуха и высоты. Потом я использовал вновь пробудившиеся силы, чтобы побыстрее закончить давно запущенную работу. Сейчас, стало быть, у меня такой заботы совсем нет. Но наш милый мир, как Вы знаете, всегда задает человеку задачу. Messages **, книги, дни рождения, юбилеи журналов etc., etc. — этому конца нет, и если бы требовалось только заполнить день каким-то занятием, работы и вовсе не нужно было бы. Но это все-таки набивает оскомину, и скоро придется мне поискать каких-то новых забав, которыми надо заниматься по утрам, хотя бы чтобы иметь право сказать: «Excuse me, I am so busy» ***.

Как поживаете Вы, дорогой господин Гессе? Оказал ли горный воздух полезное действие задним числом? Мы часто говорим о Вас, о Ваших письмах, о Вашем образцовом поведении в нынешней мировой сумятице, и среди всех бед на душе у меня становится хорошо при мысли, что я — Ваш современник.

Ваш Томас Манн

223

МАРТИНУ ФЛИНКЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
21 ноября 1950*

Дорогой господин Флинкер,

никак не хочу упустить предоставленной мне Вашим рождественским альманахом возможности благодарно вспомнить славные дни, прожитые в начале прошлого лета в Париже. Провел я их не как просвещенный турист, не в галереях, музеях, церквях и библиотеках. О нет! Я должен был обмениваться рукопожатиями, надписывать книги (3 часа подряд, Вы-то уж это знаете), давать интервью, слушать речи (какие речи! Эти французы говорят, как Цицерон) и пытаться на них отвечать. В промежутках мне все-таки удалось снова изведать невероятную красоту этого города — двадцать лет я не видел его и действительно забыл, как он прекрасен! Во время быстрых вылазок я любовался широким великолепием его видов,

* Унитарной церкви (англ.).

** Послания (англ.).

*** Простите, я так занят (англ.).

немеркнущим историческим блеском его архитектуры и всеми чувствами, всеми нервами вживался в его особую жизнь, которая при всех мировых потрясениях сохраняет себя без труда и сама собой — в эту насыщенную кислородом литературы атмосферу легкости, смешливости, скептической опытности, все еще держащейся на самом высоком уровне цивилизации. . . Я не точен, я пишу плохо. . . Есть такие маленькие кафе на бульварах, где влачат свои дни оборванные интеллигенты, старые, живущие духом и бездельем потребители абсента и дети богемы — так и кажется все время, что видишь Верлена:

Je suis un berceau
qu'une main balance
au creux d'un caveau —
silence, silence.*

Довольно о моих парижских импрессирах, таких же оборванных, как тени Верлена. Но это безусловно подходящее место, чтобы выразить мою радость по поводу почти взволнованного приема, оказанного парижской публикой, французской критикой моему «Доктору Фаустусу» благодаря переводу¹, мастерство которого тут поражает больше всего. Я повторяю: это подходящее место, ибо Флинкеры, отец и сын, много сделали, чтобы донести до людей эту книгу моего сердца, это резюме моей жизни, так что мужество Альбена Мишеля² вознаградилось успехом. Но феномен этого успеха остается психологически примечателен. Этот роман — немецкий до безобразия. Немецкие краски сгущены в нем так же, как в «Мейстерзингерах». Всеми средствами он навевал глубоко, опасно немецкие ощущения. И французам это нравится? Да, в силу любопытства. Есть французский интерес к немецкости — бесконечно более духовный, чем всякий немецкий национализм, который мне настолько же отвратителен, насколько меня радует тот интерес. И все же к радости этой примешивается что-то вроде подавленности.

Я сплеховал, намекая на свои парижские впечатления. Я опустил склонность к пессимизму, к уходу от дел, тоже входящую в атмосферу, которой там дышишь. Только не это! У меня бывают приступы де-голлизма, когда я чувствую что-то подобное. Есть такая готовность к любви, при которой обезоруживаешь себя. Объединение Европы на основе духовного разоружения Франции — это была бы не та Европа, о которой мечтали «добрые европейцы». Это была бы победа Гитлера задним числом, — отовсюду грозящая. Не была бы это и Европа лучших немцев, которые хотят европейской Германии, а не германской Европы. Пусть французское тяготение к немецкости будет избытком чувства собственного достоинства, а не капитуляцией. Пусть оно будет «faible» **, но не «faiblesse» ***.

* Я колыбель, которую чья-то рука качает над разверстым склепом — молчанье, молчанье (франц.).

** Маленькой слабостью (франц.).

*** Бессилием (франц.).

Это, может быть, и смешно в общем-то, что такие мысли я приурочиваю к доброжелательному приему немецкой книги во Франции. Но я просто рад любому поводу высказать их.

Хорошей, счастливой дальнейшей работы на Кэ д'Орфевр³¹

Преданный Вам
Томас Манн

224

В «САТЕРДИ РЕВЬЮ ОФ ЛИТЕРЕЧУР»

[Черновик]

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
15 декабря 1950

Dear sirs *,

видите, что я натворил. Я знал, что я непрактичный и невыносимый сотрудник, но на сей раз превзошел самого себя в этом смысле. Соблазнившись все еще животрепещущей для меня темой, я написал, рассудку вопреки, вместо нужной рецензии статью¹ в 14 машинописных страниц, которая, будучи по замыслу все же аннотацией книги, не стала опять-таки настоящим и удовлетворяющим меня очерком.

Спрашивается теперь, как нам быть с этой штукой. Если окажется, что Вам с ней просто нечего делать, я пришлю Вам книгу обратно, и Вам придется заказать кому-нибудь другому рецензию для более позднего номера. Рукопись моя поддается сокращению, хотя и не очень сильному. Снять можно было бы *треть* ее, но не больше, не обесценив и не загубив ее и как рецензию, и как статью. Если Вы решитесь на это *ограниченное* сокращение, то, может быть, для нее найдется место — не в Вашем европейском выпуске, так в каком-нибудь следующем. Если нет, то нам придется признать, что Вы обратились не к тому, к кому следовало бы, и Вам ничего не останется, как вернуть мне с вежливым сожалением непригодную рукопись.

Извиняться тут должен я.

Sincerely yours **
Томас Манн

225

ЭРВИНУ ШРОТТЕРУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
11 января 1951

Глубокоуважаемый господин Шроттер!

Ваши строки от 3 декабря дошли до меня, но я несколько затрудняюсь ответить на Ваш вопрос. Я и сам был бы, пожалуй, не в состоянии вы-

* Дорогие господа (англ.).

** Искренне Ваш (англ.).

полнить педагогическое задание, Вами задуманное, ибо не очень-то представляю себе, как извлечь и сформулировать «педагогически существенное» в «Иосифе в Египте».

Прежде всего мне неясно, подразумеваете ли Вы под «Иосифом в Египте» третий том всего произведения, который так называется, или, может быть, именно все это произведение, «Иосиф и его братья». Во всем четырехтомнике из человека больших природных способностей, но относящегося к ближним с известным артистическим эгоцентризмом воспитывается социальный слуга общества и «кормилец». Так ведь, «Иосиф-Кормилец», и называется заключительный том. Об этом воспитании Иосифа жизнью, о пути, которым его ведет судьба, можно было бы, пожалуй, написать что-то педагогическое. Третий том, «Иосиф в Египте», во второй раз приводящий Иосифа в яму, показывает, собственно, только, что с любовью играть так же опасно, как и с ненавистью. Ведь до второй ямы молодого героя доводит его не очень добросовестная игра со страстью жены Потифара, подобно тому как в первой он оказывается из-за своего невнимания к ненависти братьев. Прошу Вас довольствоваться этими скупыми словами и желаю Вам удачи в Вашей работе.

Преданный Вам
Томас Манн

226

АГНЕС Э. МЕЙЕР

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
31 янв. 1951*

Дражайшая княгиня,

Ваши германские статьи¹ не обманули моих ожиданий. Это блестящая журналистская работа, в ней есть ясный взгляд, мужественная правдивость и нечто граничащее с политическим актом. Ибо я не могу не думать, что эти отчеты уже оказали влияние на компромисс, достигнутый теперь между рурскими промышленниками и рабочими, вероятно все-таки под американским нажимом, так что strike* покамест удалось избежать. Она могла бы завести далеко, но я, как и Вы, думаю, что прицел у рабочих вождей остается дальним и носит куда более политический, чем экономический, характер. Какая наглость со стороны этого Аденауэра² утверждать, что бастовать можно только из-за заработной платы и рабочего времени! Дело идет о том, чтобы не дать рурским баронам стать снова решающей политической силой; ведь эти рвачи и неисправимые насильники буквально бросили Германию в две разрушительные войны. Благословенна страна, где рабочие думают не только о заработной плате, но добиваются «права участвовать в государственной жизни» и завоевывают его!

* Забастовки (англ.).

У меня было несколько отрадных новостей в последние дни. Мой доклад о Шоу по Third programme* Би-Би-Си имел, кажется, настоящий hit** — совершенно вопреки моему ожиданию. Статья о Вагнере³ в «Сатерди Ревью оф Литеречур» тоже будто бы привлекла всеобщее внимание. Кроме того, вышла 15-я тысяча французского «Фаустуса», и снова уже нужно печатать еще. Так среди больших забот случаются и маленькие радости.

До свидания!

Ваш Т. М.

227

ОТТО БАЗЛЕРУ

*Пасифик Пэлсейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
4 февр. 51*

Дорогой господин Базлер,

спасибо за Ваше письмо и «документы»¹. Это очень хорошие документы, и наш дорогой, великий Герман Гессе человек занятный! Он всегда изображает себя древним, изношенным, уставшим от мира и от мнений (как сейчас снова в эпилоге к «Курортнику», прочитанном мною с большим удовольствием), а потом вдруг, от хорошей злости, возьмет да ударит, как молодой боец, — только искры сыплются. Сущее наслаждение.

Вы не поверите, как огорчили меня известия о катастрофических лавинах в Швейцарии. Что за несчастье! Весь мир должен был бы солидаризироваться в участии к беде, постигшей эту славную страну. А получилась однодневная сенсация, head-line***, и все. Вы говорите, это-то, по крайней мере, послал Создатель. Вы уверены? Сходные случаи здесь и разительные аномалии климата делают, на мой взгляд, не совсем абсурдным предположение, что такие вещи связаны с гнусными ядерными испытаниями, устраиваемыми в пустынях этой страны. Они сопровождаются жутким свечением на огромных пространствах и легкими землетрясениями. Я несколько не удивился бы, если бы природа, измученная наглостью человеческой, отомстила за себя еще всякими непредвиденными способами.

Сердечно

Ваш Т. М.

* Третьей программе (англ.).

** Успех (англ.).

*** Газетный заголовок (англ.).

228

ВЕРНЕРУ ВЕБЕРУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
6.IV.51

Дорогой господин д-р Вебер,

какое все-таки всегда в этом есть своеобразное очарование — получить письмо с грифом «Нейе Цюрхер Цайтунг»! Итак, Вы любезно присылаете мне свой этюд об «Избраннике». Вы оказали моей маленькой книжке большую честь своей широкой критикой, далеко выходящей за пределы того, что обычно подразумевают под рецензией в ежедневной газете. Эта критика вполне способна пробудить любопытство к своему объекту, который она заставляет играть столькими гранями. Но не слишком ли путаете Вы меня с Адрианом Леверкюном и видите поэтому все в слишком нечестивом, злобно-нигилистическом свете? Намерения тут у меня были куда более веселые и сердечные. Если Вы включите это эссе в сборник, чего оно безусловно заслуживает, я посоветовал бы Вам пересмотреть некоторые резкие и обидные выражения вроде «мерзкий», «жалкий», «отталкивающий». Видит бог, я не знаю, к чему можно применить их в этой истории! Но, конечно, если бы я это понимал, я бы сделал иначе, и поэтому тут Вы, наверно, правы, хотя, может быть, и выразились не совсем точно.

Прямо в точку попадаете Вы, характеризуя эту повесть как произведение позднее во всех смыслах, не только ввиду моего возраста, но и как детище поздней эпохи, когда понятия культуры и пародии уже немного перемешались. *Amor fati** — я не очень против того, чтобы быть запоздалым и последним, и не думаю, что эта многократно рассказанная история, как и история Иосифа, будет еще раз рассказана после меня. Когда я был совсем молод, я заставил маленького Ганно Будденброка подвести под генеалогией его семьи длинную черту, и когда у него потребовали объяснения, я заставил его пролепетать: «Я думал... я думал... дальше ничего не будет...» Ничего дальше не будет. Надвигается варварство, долгая ночь, может быть, и глубокое забвение. Такое позднее произведение — это поздняя культура, которая предшествует варварству и на которую эпоха смотрит почти уже чужими глазами. В нем для нее слишком много мыслей, намеков, цитат, травести, всего того, что в зависимости от географии именуется «далеким от мифа» или «чуждым народу» и носит все же скорее грустный, чем фривольный, характер. Этот озорной стилизованный роман, представляющий собой позднюю форму легенды, позволяет себе много дурачеств. Но с чистой серьезностью сохраняет он ее религиозное ядро, идею греха и милости. [...]

Преданный Вам

Томас Манн

* Любовь к судьбе (лат.).

229

ЭРИХУ ФОН КАЛЕРУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
23 апреля 1951

Дорогой друг,

спасибо за Ваше доброе, преданное письмо. И наше сочувствие прежде всего — Вашей боли о матери. «То участь всех»¹, — и Вы ждали этого неизбежного исхода. И все-таки потом бываешь странно потрясен и ошеломлен, как я еще прекрасно помню по собственному опыту. Хорошо, что Вы так заняты — так всесторонне многообещающе, хотя все эти усилия, старания, хлопоты проходят под бременем, которое у всех у нас лежит на плечах. Кому Вы говорите об «острой депрессии»! Я превратился в комок нервов, вздрагиваю при каждой мысли и при каждом слове и не далее как вчера не смог удержаться от слез, слушая пролог к «Лоэнгрину», — это реакция на всю подлость кругом. Приходилось ли когда-либо людям дышать такой отравленной атмосферой, настолько перенасыщенной глупой мерзостью? Мы живем в мире беды, из которого уже не уйти. Ваш анекдот «Ты что, спятил?»² довольно меток, только я, право, думаю, что плывущий на запад спятил чуть больше, ибо даже если милая наша Швейцария и любит Америку больше, чем иные американцы, то все же мне кажется, что в общем европейское мышление не может тягаться со здешним в варварской инфантильности, особенно после заметного поворота к пацифизму, сделанного римской церковью. Она знает, почему его сделала.

В остальном же неким нашим планам³ многое еще мешает созреть. Эрика, обычно олицетворяющая практически-энергичное начало в семье, слишком больна, чтобы дело дошло до этого. Она перенесла довольно серьезную операцию, от которой лишь медленно оправляется. Но и вообще множество дел и вещей находится в неопределенном положении: продажа земельного участка, покупка Йельской library* всего моего «наследия» вместе с дневниками, ведущимися с 1933 года, которая ждет какого-нибудь незапуганного мецената, — и всякое другое. В крайнем случае — и Катя больше всех склоняется к этой мысли — мы сдали бы, если удастся, дом на год и пожили бы тем временем в Европе, сперва в Гаштейне, куда меня тянет из-за моих подагрическо-ревматических хворостей в бедре и в руке. Но совершенно неясно, получится ли что-нибудь даже из этой временной меры. Да и вопрос денег это тоже. Мы ничего не знаем.

[...]

Сердечно

Ваш Томас Манн

* Библиотекой (англ.).

230

ЭРИКЕ МАНН

20.V.51
Воскресенье

Любимое дитя,

в последних разговорах по телефону твой голос и твои слова звучали бодрее и более ободряюще — как я этому рад! Этот врач-кожник явно знает, чего он хочет, и уверен, что может это сделать, и если он избавит тебя от зуда, то это большая, большая удача, остальное уж образуется. Вчера я был у д-ра Мэна¹ по поводу моей руки (которую потом просвечивали: результата я еще не знаю, наверно, кальций в плече), и он сказал, что мышечная слабость после такой операции длится естественным образом не несколько недель, а несколько месяцев, до шести месяцев, по его опыту, так что оснований для беспокойства тут нет.

Он очень спокойный человек и пишет левой рукой необычайно ловко, без наклона букв влево. Недавно, когда у Милейн было 38,4, он сказал просто, что это очень мало и из-за этого он сразу не приедет. Потом он и оказался не нужен. Очень странно было: в тот вечер, когда ты уехала, у меня на шее, до ушной раковины, появилась жгучая сыпь, а у Милейн жар. Сыпь прошла уже к следующему утру и была явно чистойшей истерией или летучей инфекцией, как и 38,4, на которые не было никаких видимых причин. Милейн пролежала один день, а потом поднялась, потому что ничего не последовало. У меня последовало расстройство желудка с черным языком от лечения углем. Аппетит и настроение, впрочем, всегда очень плохие, но откуда им и быть хорошими.

После последней прочитанной главы я написал большую главу в 28 страниц, но возможно, что она свидетельствует об усталости, которая действительно налицо; только и при усталости я уже, бывало, писал хорошо; самочувствие и обстоятельства не играют, собственно, у меня никакой роли. Только за Крулем часто встает вопрос: «К чему этот вздор?» Нет в нем, мне кажется, добротного background*, но я могу и ошибаться. Сейчас у меня есть порох еще на одну главу. Если дальше у меня не будет пороха, я начну писать степенно-образцовую историческую новеллу об Эразме, Лютере и Ульрихе фон Гуттене — который, впрочем, опять приведет нас к сифилису². «Ему всегда ведь нужно — —»

Нью-йоркская «Штаатсцайтунг» по ошибке напечатала о Грегориусе гимн некоей Джерти Эгостон (не знаю, имя кажется мне знакомым) под заголовком «Неисчерпаемый кладезь»³. Кладезь — это, стало быть, я. Зато немецкие критики упрекают меня, помимо порчи языка, прежде всего в старческой похотливости. (Скверные дети, господи боже!) Впрочем, лишь некоторые. Другие очень славно полемизируют с «Тупиком» Зибурга⁴ и говорят ему прямо в лицо, что мне лучше знать, в какие тупики мне подаваться и как из них выходить. Они над ним просто-напросто издеваются.

* Заднего плана (англ.).

Гессе не пишет мне, но пишет всем другим, например Лессеру в Лондон: у него почти не прекращаются боли, и возраст тяжело давит его, но случаются и праздничные услады, как чтение «Избранника». Думаю, на это можно положиться.

Вчерашнее письмо Фридо Милейн ведь послала тебе. Я до слез смеялся над его извещением о смерти Мики⁵: 27 марта, в 4 часа пополудни, от прогрессивного паралича. Боже мой, ведь он всегда охранял обоих! Вспоминаю по этому поводу, что Лотта вне себя, поскольку Лики⁶ захворала «какой-то тяжелой женской болезнью», а необходимая операция опасна из-за плохого сердца. О горе.

Мы только что подписали Brocke'у* договор о продаже за 11 000, но из-за всяких вычетов это будет в сущности лишь 10 200. Но зато по крайней мере нам не надо будет писать Кнопфу, который хочет оплатить первые 5000 лишь по выходе и всегда становится stiff** и cool***, когда у него требуют денег не в срок. Стоило бы еще вашему или какому-нибудь другому миллионеру проявить интерес к монументу наследия, как прекрасна была бы жизнь! И если к этому прибавится потом старческая похотливость, нам опять хватит с избытком на жизнь и на поездки.

Прощай, милое мое дитя. Не волнуйся, ты все преодолешь. Только прошу тебя от души, будь молодцом и не глотай по вечерам больше двух желтых побрякушек⁷. По моему твердому врачебному убеждению, такие вещи *затягивают* именно такое выздоровление, даже если другие врачи не говорят тебе этого.

Всего тебе лучшего, до свиданья. Какое это было для меня удовольствие — поболтать с тобой при легкой руке и естественном почерке.

Сердечно
В.

231

ЮЛИУСУ БАБУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
30.V.51*

Дорогой господин Баб,

горячо благодарю за Вашу умную, спокойную рецензию на «Избранника»! Подумать только, нью-йоркская политическая и ученая газета поместила сразу две статьи¹ об этой книге.

Такое можно и дозволено делать, конечно, только один раз; это не повторимо. Но я каждую свою вещь делал по одному только разу, и не надо всякий эксперимент сразу принимать за «тупик»², где автор теперь навеки застрял. Каждая моя книга была в сущности тупиком, после которого так продолжать больше нельзя было, а я всегда выбирался из него к новому.

* Маклеру (англ.).

** Натянутым (англ.).

*** Холодным (англ.).

Фокусы с языком, пожалуй, несколько неудачны, и как раз о порче языка много говорили в Германии. Им это нужно! Заграничный немец, Иоахим Маас³, смог написать мне: «Но самое большое и самое глубокое наслаждение доставил мне в этой книге язык... Если задуматься, чему нас, более молодых, особенно будущие поколения немцев, может или мог бы научить этот язык... игре, которую он ведет со своим изначальным сознанием, причем игра нередко становится серьезным делом, то есть неожиданным обогащением языка веселыми диалектизмами и многоязычием...» Наверно, он так ведь и чувствует; зачем ему льстить мне ни с того, ни с сего. Подобные цитаты можно было бы привести и из Гессе, Райзигера и др.

Это ведь юмористически выдуманное, сверхнациональное средневековье, а его я не мог представить себе иначе, как таким лингвистически пестрым. Не примечательно ли, как естественно нижненемецкий язык рыбаков на полуанглийском острове смешивается с английским языком, например в «Dat's nu'n little bit tou vul verlang!» «Dat's» — это ведь уже английское «that's», и последующее «n'little bit», хотя это уже не нижненемецкий, а чистый английский, ложится вполне гладко, так что смешение почти незаметно. К средневерхненемецкому я пришел, собственно, через Непомука Шнейдевейна в «Фаустусе», который своим швейцарским диалектом углубляет языковую перспективу книги, уводит за немецкий язык барокко и Лютера назад в средневековье. Вот точка отправления, если Вам это интересно знать... «Waetlich» (красивый, видный) Вы могли бы уже найти в средневерхненемецком словаре. Полагаю, что это связано с современным «weidlich». Не думаю, чтобы эти старые слова оказались для читателя серьезной помехой. Ведь значение их в общем-то всегда явствует из контекста — даже при осколках старофранцузского, которые, впрочем, в одном определенном случае именно «и понимать-то не следует». Они заимствованы из одного старого французского диалога Адама и Евы о яблоке (это филологи, наверно, скоро определят), а «Fais le! Monique, ne sez que est! Es il tant bon? Tu le saveras! достаточно понятно, мне кажется.

Молитва Сибиллы Богородице опирается (довольно свободно, так что я вправе сказать, что лучшие стихи — мои) на так называемый Форауский плач о грехах середины 12-го века. Вы упоминаете очень уж гётевские стихи, которые однажды бормочет Григорс (не Григорш!). Но разве не гораздо красивей эти:

Stella maris * тебя называют везде
По доброй звезде,
Приводящей усталое судно к причалу,
И поэтому ты привести пожела
К нашей стране,
Прямо ко мне,
Милого юношу, чтобы о нем

* Звезда моря (лат.).

Думала я ночью и днем.
 Меня толкает страсть
 К власам его припасть,
 А коль возалчет сам —
 К его губам!

Это прячется в прозаическом написании, как и стихи из «Песни о Нибелунгах», на которые сбивается господин Пуатвин, рассказывая о Григорсовой «диверсии» на мосту. Что один герой разрубает другого поперек, а тот и не замечает и лишь, наклонившись, теряет верхнюю часть туловища, это ведь и правда упоминается в «Песни о Нибелунгах». Бургомистр достаточно порядочен, чтобы сказать: «На самом деле этого не было. Я это присочинил».

Очень тонко и глубоко Ваше замечание, что при всех шутках к религиозному ядру легенды, к идее греха и милости я отношусь очень серьезно. Под знаком этой идеи давно уже находятся моя жизнь и мои мысли; и разве это не чистая милость, что после изнурительного «Фауста» мне было дано сделать еще и эту маленькую, веселую в бозе книжку?

Преданный Вам
 Томас Манн

232

ШАРЛОТТЕ КЕСТНЕР

*Пасифик Пэлсейдз, Калифорния.
 Сан-Ремо-драйв, 1550.
 18 июня 1951*

Глубокоуважаемая фрейлейн Кестнер,

за Ваше милое письмо от 25 мая благодарю от души. Для меня было чрезвычайно трогательным и знаменательным событием получить это письмо от прямого потомка героини моего гётевского романа, человека, носящего к тому же ее имя, и мне доставляет удовольствие ответить Вам, хотя и самым простым образом, на вопросы, которые Вы задаете мне в этом письме.

Прежде всего Вы можете быть уверены, что положенный в основу моего романа анекдот о приезде в 1816 году надворной советницы Кестнер в Веймар исторически вполне достоверен. Гёте очень коротко и сухо записывает в своем дневнике 25 сентября этого года: «Днем Ридели и мадам Кестнер из Ганновера». На обед действительно были приглашены лишь родственники Шарлотты, у которых она остановилась 22 сентября. Жила она у них, а не, как я это представляю, в гостинице «У слона». И обед тоже прошел лишь в этом узком кругу, а не был банкетом на шестнадцать персон, как я это изобразил. Сопровождала Шарлотту Кестнер не ее старшая дочь Шарлотта, а младшая, по имени Клара. Сохранилось письмо Клары ее брату, которого звали, если не ошибаюсь, Георг и которому она рассказывает о пребывании в Веймаре и о посещении Гёте. На нее этот великий человек произвел, по-видимому, примерно такое же

несколько отрезвляющее впечатление, как и на ее мать. Записка, которую Шарлотта по приезду посылает Гёте из гостиницы, мною выдумана; а строки письма на 489-ой странице, взятые из письма сыну, советнику по-солства Кестнеру, исторически достоверны.

Многие детали романа взяты из современных свидетельств; так, фрау фон Шиллер, вдова Фридриха Шиллера, упоминает в одном письме о дрожанье головы у этой старой дамы, что я использовал в известном смысле психологически и как лейтмотив. Что касается истории с белым платьем и бантами, одного из которых не хватает, то она исторически обоснована лишь очень частично. В этом же письме фрау фон Шиллер останавливается на том, что Лотта оделась, как молодая женщина, в белое, но о бантах речи нет, я простительным или непростительным образом присочинил их.

Прошу Вас довольствоваться этими справками. Я написал Вам по-немецки, уповая на то, что внучка Лотты Буфф не забыла этот язык.

С самым почтительным приветом

Преданный Вам

Томас Манн

233

ГЕОРГУ ФОЛЬМЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
25 июня 1951*

Глубокоуважаемый господин Фольмер!

Большое спасибо за Ваше любезное письмо от 26-го мая. Любопытный *Symbolum Veritatis**¹, к нему приложенный, конечно, представил бы интерес для Адриана Леверкюна, героя моего романа «Фаустус».

Что касается Вашего вопроса о смысле пролога к «Иосифу и его братьям», то тут я могу только сказать, что единственная задача этого фантастического очерка — служить увертюроподобным введением в роман, некоей обстоятельной подготовкой к сошествию в колодезь прошлого. Конечно, сюда вкрапляются всяческие, отовсюду набранные мотивы мистических философских систем, но сам пролог не составляет, как Вы полагаете, части какого-то большого целого и выражает некое определенное мировоззрение, собственно, лишь в одном месте. Место это на 53-й странице книги, где идет речь о слившейся с природой душе и о находящемся вне мира духе, о принципе прошлого и принципе будущего. Там сказано, что оба принципа претендуют на званье «живой воды» и обвиняют друг друга в содействии смерти, причем оба правы, потому что ни природу без духа, ни дух без природы, пожалуй, не назовешь жизнью. Великая надежда состоит в их слиянье, то есть в настоящем приходе духа в мир:

* Знак истины (лат.).

души, во взаимоосвящении обоих начал, в том, что они станут человечеством, благословенным, как Иосиф, «свыше благословением неба и снизу благословением бездны».

Вот гуманизм, вот, если угодно, мировоззрение, которое пронизывает всю книгу и здесь, как лейтмотив оперы в прологе, заявляет о себе в первый раз.

С приветом и самыми лучшими пожеланиями.

Преданный Вам

Томас Манн

234

ЖЕНЕВЬЕВЕ БЬЯНКИ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
27 июня 51*

Глубокоуважаемая мадмуазель Бьянки,

независимо от особого повода я был искренне рад снова услышать что-то о Вас, но и повод-то был прекрасный и значительный. Ваш этюд о «времени» в моем творчестве (думаю, что сужу объективно) очень умная и волнующая работа, которая доставит читателям «Журналь де Психоложи» духовное наслаждение, даже если они и вовсе не знают моих романов. Я сам забываю иное из того, что когда-то написал, а Вы многое мне напомнили, и я думал: «Но это же ведь вовсе недурно! Possible que j'ai eu tant d'esprit?» * Прежде всего я не отдавал себе отчета в том, какую сквозную роль действительно играет в моих книгах мотив времени. «Волшебная гора», ну, конечно, ее я и назвал «романом о времени»; но то, как Вы потом выявляете постоянное присутствие этой темы и в «Иосифе», и в «Фаустусе», меня поразило и в конце концов я даже нашел: «Мало! Эта умная женщина могла бы пойти дальше и выявить эту тему также и в «Лотте в Веймаре» (по-английски: «The Beloved Returns» **)» Мою привязанность к идее и дару времени можно и правда назвать какой-то одержимостью. Ведь и последний мой выездной доклад, в прошлом году, тоже назывался «Мое время», и в нем тоже этому божьему дару, который так мало кто умеет сполна использовать, были оказаны всяческие почести.

Плодородная нива, великая сила и великая возможность — вот что такое время, и кто хочет в нем чего-то добиться, должен стараться добросовестнейше заполнить его. Гёте записал: «Нет ничего более ценного, чем ценность дня».

Из Франции я получаю много дружеских вестей. «Docteur Faustus» принят с поразительно большим интересом, и уже о немецком издании последней моей книги «Избранник» Морис Буше¹ сообщил в «Омм э Монд» в очень лестных словах. [...]

* Неужели я был такой умный? (франц.).

** «Возлюбленная возвращается» (англ.).

Примите, chère Madame, мой самый горячий привет и самые лучшие пожелания!

Преданный Вам
Томас Манн

235

ЛИОНУ ФЕЙХТВАНГЕРУ

Штробль-на-Вольфгангзее,
6 августа 1951

Дорогой Лион Фейхтвангер,

Ваш большой роман¹ мы оба закончили уже на пароходе, где он, кстати сказать, побывал во многих руках. Читалось без помех, ибо ни разу в жизни у нас не бывало такого спокойного плавания: все 8¹/₂ дней океан был тих, как река, и хотя на полпути мы, в порядке emergency*, взяли для операции аппендицита больного с небольшого американского военного корабля (по радиовызову; какой-то голландец тоже подошел сразу; в Лос-Анджелесе так скоро врача не добьешься), — мы все-таки прибыли в Гавр раньше положенного.

Мы оба были полны прочитанным и много о нем говорили, рассказывали о нем и Эрике, которая теперь взяла этот том. «Капричос» Гойи в Вашем изображении кажутся мне лучшим символом самой книги: «здесь вся Испания», совершенно такая же, какую я однажды мельком и смутно увидел, съездив туда, — только, конечно, неизмеримо точнее и исторически обоснованней, досконально изученная, мрачно-блестящее огромное полотно, заставляющее так сильно Почувствовать неизменный характер этой страны, ее особую, наполовину внеевропейскую статью, особенно, пожалуй, в той зловещей роли, какую еще играет там инквизиция в век Вольтера — возмутительно интересная глава! Множество живых фигур на детально и одновременно широкими мазками написанном фоне, среди них такая до смешного по-человечески убедительная, такая самобытная в своей сложности, как премьер-министр дон Мануэль; жизнь самого великого художника в страхе и почестях; разнообразнейшие аналогии с сегодняшним днем, напрашивающиеся без малейшей навязчивости, — все это совершенно превосходно, увлекательно, поучительно, богато и сильно, и Вас можно только поздравить с произведением, в успехе которого у читающей публики там и здесь, hic et ubique**, я твердо уверен.

Трохеи в конце глав, порой немного чудные на вид, намекают своей карикатурностью на какие-то неизвестные мне испанские образцы. Они — каприз, который мне — в отличие, может быть, от многих других читателей, — очень понятен. Считают, — особенно немцы считают, — что проза несколько ниже стиха, а она может быть несколько выше его, может заключать в себе стих и, играя, выделять его из себя. Это производит

* Здесь: скорой помощи (англ.).

** Здесь и повсюду (лат.).

впечатление фиглярства и озорства, но это и идет от чувства раскованности. Роман на своей вершине все может.

Отсюда мы еще поедем на несколько дней в Зальцбург, потом в Гаштейн, дом Герке. Это будет 15. Через три недели после этого вернемся в Цюрих, где остановимся в лесной гостинице Дольдер.

Всего доброго Вам обоим и до свиданья в начале октября.

Ваш Томас Манн

236

ИРИТЕ ВАН ДОРЕН

[Черновик]

Бад-Гаштейн, 28 августа 1951

Dear miss * ван Дорен!

Вы подтвердите, что Вам пришлось дважды писать мне, прежде чем я согласился выступить в Вашем author's number **. Слишком уж много обо мне разговоров, и мне не хочется вносить в эти разговоры собственный вклад. С другой стороны, совершенно верно, что обо мне, как писателе и человеке, на старом континенте, пожалуй, не меньше, чем за океаном у нас, столько всяких кривотолков, столько всяких ошибочных, и незаслуженно лестных, и столь же незаслуженно обидных суждений в ходу, что мне, может быть, не следует упускать случая остановиться на некоторых из них и честно внести поправки.

Не без жеста стыдливого отрицания замечаю я порой, например, что на основании моих книг меня считают прямо-таки универсальным умом, человеком энциклопедических знаний. Трагическая иллюзия! На самом деле я для писателя — простите грубое выражение — всемирно известного невероятно необразован. В школах я не обучился ничему, кроме как чтению и письму, маленькой таблице умножения и немного латыни. Все остальное я отвергал с тупым упорством и считался закоренелым лентяем — преждевременно; ибо позднее я проявлял пчелиное прилежание, когда требовалось подвести научную базу под какое-либо поэтическое произведение, то есть набраться положительных знаний, чтобы литературно их обыграть, строго говоря, стало быть, чтобы ими побаловаться. Так я поочередно был образованным медиком и биологом, хорошо подкованным востоковедом, египтологом, мифологом и историком религии, специалистом по средневековой культуре и поэзии и т. п. Плохо, однако, что как только произведение, ради которого я шел на такие ученые расходы, закончено и отставлено, я с невероятной быстротой забываю все выученное ad hoc *** и с пустой головой пребываю в жалком сознании полного своего невежества, так что можно представить себе горький смех, каким отвечает на эти дифирамбы моя совесть.

* Дорогая мисс (англ.).

** Авторском номере¹ (англ.).

*** На этот случай (лат.).

С другой стороны, я не думаю, что заслуживаю иных ругательных и сердитых определений, которые, особенно на моей новой — не такой уж и новой теперь — родине, в Америке, часто доставались моей манере письма и всей моей духовной позиции. Применительно, видимо, к моим писаниям мне случалось читать такие эпитеты, как «olympic», «pomprous», «ponderous»*, и я глазам своим не верил, особенно когда сверх того давалось понять, что я человек очень чванный, величественно, как нечто само собой разумеющееся, принимающий мирские награды и почести и чуть ли даже не стремящийся к таким почестям.

Как все это неверно! Так же неверно, как вера в мою всеобъемлющую эрудицию. Мои друзья знают, что олимпийства у меня нет ни на грош; что всякая торжественность, напыщенность, выпренность, надменность пророка, претенциозность глубоко чужды моему нраву и моему вкусу, и «pomprous» — это определение, которое, попади оно в точку, означало бы крах всех моих устремлений. Я стремлюсь сделать трудное легким; мой идеал — ясность, и если я пишу длинные фразы, — такова уж склонность немецкого языка, — то стараюсь (и думаю: не без успеха) сохранить полную прозрачность и удобопроизносимость периода. Однажды, в начале иосифовских историй, я позабавился, написав предложение больше чем на полторы печатных страницы. Переводчики, конечно, разбили его на множество коротких. Но кто понимает по-немецки, пусть прочтет эту фразу из «Иосифа» и посмотрит, теряется ли там нить хоть один раз. Она ни pomprous, ни ponderous, она юмористична, и это пример самовысмеивания, которое и вообще не чуждо моим писаниям — и, наверно, причиной тому, что меня так часто неверно читали.

Оно тесно связано с не презрительным, а любовным пародированием традиции, свойственным, видимо, в конечные и переходные эпохи авторам, которые, в соответствии с такими эпохами, оказываются одновременно и в роли последнего из могикан, заканчивающего, завершающего дело преемника, и в роли новатора, подрывающего и ликвидирующего старое. Это роль и положение ироничного консерватора. Целый роман, «Доктор Фаустус», вложил я в уста или продиктовал благочестивому гуманисту, почтенному преподавателю гимназии, — а один швейцарский критик взял да и написал: «Соприкосновение хотя бы с одной страницей этого произведения отбрасывает нас от всей линии развития немецкого романа...» Далее следуют кое-какие преувеличения насчет средств, которые приводят к этому, но кроме самой преувеличенности, протест вызвало у меня только то, что мрачность моей книги помешала рецензенту назвать среди этих средств прежде всего юмор.

Я действительно ощущаю себя в первую очередь юмористом — а такое самоощущение никак не вяжется с олимпийством и напыщенностью. Юмор, думается мне, — это выражение дружелюбия к людям и доброго земного товарищества, короче — симпатии, стремящейся сделать людям добро, научить их чувству прелестного и распространить среди них освобождаю-

* «Олимпийский», «напыщенный», «высокопарный» (англ.).

щую веселость. Кстати сказать, скромности он более родствен, чем чванности, и если бы скромность не перестала быть скромностью, бахвалаясь самой собой, я назвал бы себя человеком скромным. В своем творчестве я вижу результат некоей очень личной и довольно сомнительной сделки с искусством, и когда я слышу, как меня называют «первым повествователем эпохи», я закутываю себе голову. Глупости! Им был не я, им был Джозеф Конрад², что следовало бы знать. Никогда не смог бы я написать ни «Лорда Джима», ни великолепного «Ностромо»; а если он, с другой стороны, никогда бы не смог написать «Волшебную гору» или «Фаустуса», то этот ответный счет получается куда как в его пользу. Меня часто глупо поносили, но гораздо чаще безмерно превозносили, и да поверят мне, что я не прикладывал руку к таким превозношениям. Никогда в жизни я палец о палец не ударял, чтобы «сделать что-то для себя», чтобы снискать почести или, скажем, продвинуть печатание писавшихся обо мне книг.

Я живу уединенно, вижу, если не считать поездок, мало людей и не забочусь ни о чем, кроме своих задач, вырастающих у меня одна из другой. О публике и об успехе я при этом не думаю, и если таковой приходит, то это случайность, свалившаяся на меня с неба, вернее, я сам как с облаков сваливаюсь; ибо ни разу еще не выпускал я книги, не будучи убежденным в ее неудобочитаемости. Так оно большей частью и оказывается в каждом отдельном случае, и успех вызван не той или иной книгой, а их совокупностью, — долгая, заполненная работой жизнь постепенно произвела известное впечатление.

Но своего «положения» в мире я никогда не сознаю; в этом пункте моя фантазия отказывает мне, и я веду себя так, словно никому до меня нет дела, хотя мне следовало бы знать, что многие так и ждут, чтобы я обнаружил свое слабое место и им можно было поднять крик по этому поводу. У меня нет вкуса к личной политике — недостаток, на избавление от которого при столь сильно поджимающем времени надежда невелика.

Вот вам, наспех, моя исповедь. Она выходит, боюсь я, за рамки Вашей анкеты, да и не поспеет за океан к Вашему author's number. Не знаю, сказать ли мне на этот счет: «Жаль!» или «Тоже хорошо!» и «Тем лучше!»

Sincerely yours*

Томас Манн

237

ОСКАРУ ЗЕЙДЛИНУ

*Пасифик Пэлсайдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
10 окт. 1951*

Дорогой д-р Зейдлин,

я в восторге от Вашей плутовской статьи¹ — я сразу по нашем приезде вытащил ее из груды вещей, догадываясь, видно, что это что-то полезное, даже необходимое для меня; ведь установки этой — смею сказать — окра-

* Искренне Ваш (англ.).

шенной моей личностью статьи — вот как раз то, что мне нужно, если я все-таки решусь справиться с «Крулем». Несмотря на все добрые уговоры, даже требования близких и дальних, я не могу обещать, что я это сделаю, но славно было бы, если бы я заполнил этот пробел, не смущаясь тем, что в промежутке уже произошло нечто высшее. Без какого-то идеального чувства достоинства, чувства, в котором элементы косвенной автобиографической исповеди смешиваются с поздним развитием определенной традиции, это, во всяком случае, невозможно.

Недавно в дюринском Шаушпильхаузе я читал, на потеху слушателям, несколько отрывков из продолжения (они должны появиться в «Нейе Рундшау»), сказав во вступительном слове, что если эта вещь когда-нибудь будет закончена, то получится некий авантюрный роман из поздней буржуазной эпохи перед первой мировой войной; некое наивное мемуарное произведение, самым далеким образцом которого можно считать «Симплициуса Симплициссимуса»². Оказывается, не самым далеким. Ваша ученость показывает мне дальнейшие «песчаные мысы»³ за ним, и удовольствие, с каким я на них гляжу, доказывает мне, как насущно необходимы мне и всегда были необходимы и новое, и издавна указанное, можно сказать: неожиданно традиционное.

Преданный Вам

Томас Манн

238

Герману Гессе

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
14 окт. 1951*

Дорогой мой господин Гессе,

что за превосходное, поистине обаятельное чтение — Ваши «Письма»! Сразу по нашем возвращении я вытащил этот том из пяти десятков других, которые здесь скопились, и последние дни проводил свои часы чтения, после обеда и вечером, почти исключительно за ним. Примечательно, как эта книга не дает от себя оторваться. Говоришь себе: «Поторопись-ка немного и пропусти кое-что! Ведь есть же еще и другие вещи, вызывающие у тебя хоть какое-то любопытство». А потом читаешь все-таки дальше, письмо за письмом, до последнего. Это все так благотворно, — трогательно в своей смеси полемики и добродушной уступчивости, прозрачно по языку и по мысли (но это, наверно, одно и то же), полно мягкой и все-таки мужественной, стойкой мудрости, которую можно назвать верой в неверии, бодростью в скептическом отчаянье. Все человеческое предстает в общем-то здесь историчным и духовным, как предстает оно в чрезвычайно умных замечаниях Фидлеру¹ относительно церкви и чистой религиозности с их высоким духовным уровнем и их исторической бесплодностью. Это одно из лучших мест книги. И особенно отрадно, когда Ваше терпение вдруг лопнет и Вы становитесь ясны: в политических вопросах, где мы, к моему успокоению и вящей моей твердости, вполне сходимся,

или, например, когда Вы с такой веселой энергией протестуете против противопоставления Вас мне. Поверьте, случись обратное (но такая опасность вряд ли грозит), я бы тоже задал головоломку такому ослу!.. Я весьма горжусь тем, что изрядное число этих милых человеческих документов, больше, чем я думал, обращено ко мне. Я перечел по этому поводу также Ваше прекрасное поздравление с моим 75-летием и могу лишь вернуть Вам Ваше пожелание и просьбу: оставайтесь подольше среди нас, дорогой Герман Гессе! Для всех лучших Вы опора и светоч, а для меня самого наш дружеский союз — это постоянная внутренняя ценность и утешение...

Мы приятно, спокойно долетели с помощью «Суисс Эйр» от Цюриха — Клотена до Нью-Йорка. Посадок тут всего две, в Ирландии и Ньюфаундленде, и путешествие сводится, собственно, к 8 ночным часам между этими двумя остановками. Мы довольно хорошо проспали их в «превосходных креслах для лежания». В Чикаго, у Меди, чей дикий супруг находился как раз в Италии, мы пробыли (при влажной жаре; Средний Запад — это климатический ужас) три дня, прежде чем пустились в дальнейшее полуторасуточное путешествие к своему берегу. В Чикаго есть выдающийся «Museum of Natural History»*, который мы посетили не только однажды, но, по моему желанию, и второй раз. Там очень наглядно представлены начало органической жизни, — в море, когда земля еще пуста и необитаема, — весь животный мир, внешность и образ жизни первобытного человека (пластические реконструкции на основании найденных скелетов). Никогда не забуду группу неандертальцев в пещере (на этом типе обрывается одна из линий развития), как и самозабвенно присевших на корточки первобытных художников, которые, пользуясь растительными красками, расписывают, вероятно, в магических целях, изображениями животных плоскость скалы. Я был совершенно очарован, и странная симпатия — вот что волнует и покоряет тебя, когда смотришь на это.

Вчера вечером, через Канаду, приехала и Эрика. Это хорошо.

Всего лучшего Вам и Нинон!
Ваш Томас Манн

239

ИОНАСУ ЛЕССЕРУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
15.X.1951*

Дорогой д-р Лессер,

большое спасибо за Вашу многосодержательную бандероль. Часть, касающаяся «Фаустуса», интересует меня даже меньше всего. Это несколько тягостная для меня старательная филологическая работа, которая, по моему, не стоит стараний. Лучше, конечно, что делаете ее Вы, а не кто-то другой, с менее честными намерениями. Но ведь я же в «Истории созда-

* Музей естествознания (англ.).

ния» (написанной главным образом, чтобы «кредитовать» Адорно) чисто-сердечно — действительно от чистого сердца — призвал, что запустил руку в его духовную собственность, и прямо-таки раззвонил об этом. Зачем же теперь еще эти ссылки и сопоставления, которые, так я чувствую, делают слишком большой упор на этом вопросе и наносят ущерб произведению, куда эти мысли органически входят? Я не советовал бы ни печатать, ни посылать Адорно эту работу. «Историей создания» я направил на него довольно сильный прожектор, в лучах которого он не совсем приятным образом важничает, так что у него получается чуть ли не так, что «Фаустуса» написал в сущности он. Это между нами. Мое восхищение его необычайным умом нисколько не умаляется. В его «*Minima moralia*» *¹ тоже есть блестящие вещи. Но я безусловно оставлю их там, где они сказаны.

Кстати, в Вашей рукописи не раз встречается вместо «Адриан» — «Адорно», — описка, которая была бы и ему не на пользу.

Я забыл, что ведь и добрая часть Вашего письма этому профессору-католику² тоже посвящена «Фаустусу». Это, собственно, не опровержение мрачных его суждений обо мне, а критика его точки зрения, критика, которая хоть и не поколеблет его, но покажет ему, что можно чисто-сердечно держаться и других взглядов. Должен сказать, что отрицание моего творчества в таком широком плане, в плане общего упадка, начавшегося уже с конца средневековья, не причиняет мне боли. Тут одновременно задевается столько великих, что я могу быть спокоен. Беспокоить меня мог бы его упрек в том, что я не помощник немцам в их стремлении обновиться. Но неужели он еще не заметил, только он один, что они вовсе и не хотят обновляться? Его неприятие эпитета «гуманист» мне скорее нравится; оно характерно. Гуманистом был Гёте, видевший в религии один из продуктов культуры и относившийся к ней как к одному из них. Как же Вам требовать этого от паписта?.. Я тоже не антипапист, как и Гессе, который очень хорошо пишет Фидлеру (в своем томе писем) о церкви и свободной религиозности. Последняя, мол, конечно, духовно выше и, пожалуй, «ближе к Иисусу». Но не она дала базилики, готические соборы, Палестрину и Баха и никогда их не даст. Либеральное богословие — это в общем-то деревянное железо, — что, думаю, можно прочесть и в «Фаустусе».

Книга о Берге³ была биографией, автора которой я уже, к сожалению, не помню. Адорно дал мне ее почитать и вскоре попросил вернуть... Фамилию Цейтблом я взял из писем Лютера. Об ульмском художнике⁴ я тогда ничего не знал, а уж об его тесте и давно. Основой для «Возвещения» в «Избраннике» послужила мне одна картина верхнерейнской школы (Конрад Витц, Германский музей в Нюрнберге).

Повесть из времен Реформации была бы чистойшей новеллой характеров, духовно свободной, но пристрастной постольку, поскольку в смутах и противоречиях XVI века отразится так много наших противоречий и смут.

Доброго Вам здоровья!

Ваш Томас Манн

* «Маленькие сочинения по вопросам морали» (лат.).

240

ЕНЕ ТАМАШУ ДЬЕМЕРИ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния,
Сан-Ремо-драйв, 1550.
15 ноября 1951

Дорогой господин Дьемери,

большое спасибо за Ваше письмо! Я был от души рад, что снова получил от Вас весть, и особенно интересно было мне, разумеется, приложенное стихотворение¹. Как ярко выражает оно невозможность перевода поэтического произведения с языка, на котором оно создано, которым оно рождено, на любой другой! Что лирика действительно непереводаема, признано всеми. Но что точно так же обстоит дело и со всякой высокой прозой, что она выхолащивается, что ее ритм ломается, что все тонкие оттенки пропадают и даже сокровеннейшие ее намерения, ее настроение и умонастроение, при всем желании воспроизвести их верно, искажаются порой до неузнаваемости, до сплошного недоразумения, это знают немногие, — прежде всего, пожалуй, тонкие переводчики сами, которые уже не раз жаловались мне на свои беды. Например, я отлично помню, что моя американская переводчица и приятельница, Хелен Лоу-Портер, сказала мне со вздохом во время своей работы над английской «Лоттой в Веймаре»: «I am committing a murder!» *

Смешно то, что плохо написанные книги легче всего поддаются переводу и нередко при этом сильно выигрывают. С другой стороны, в высокой сфере есть несколько необычайных удач, таких, как немецкий перевод Шекспира и немецкий Дон Кихот Тика, — чудесные случаи подлинного претворения великих литературных богатств в духовное достояние другого народа. А если спуститься опять к самому себе, то каждый француз говорит мне, что «Волшебная гора» в виде «Montagne magique» покойного писателя Мориса Бетца — это тоже такое счастливое претворение, и такое же чувство испытываю, листая его перевод, я сам. Это настоящее воспроизведение моего романа на другом языковом материале, это уже французская — и ах! — какая все еще немецкая книга.

Кто вообще осудит народы за то, что переводят, только потому, что перевод *в сущности* невозможен? Renchant ** немцев к чужому и их стремление познаться с ним, насколько возможно, на своем языке, — не худшая их черта. Они всегда были усерднейшими переводчиками, и бывали времена, когда они этим значительно повышали свою культуру. Немецкие поэты средневековья, Вольфрам², Готфрид³, Гартман⁴, переводили, собственно, только с французского. И не следует забывать, что значительные современные писатели других стран, Ибсен, Стриндберг, Гамсун, даже Дж. Б. Шоу, достигли мировой славы через Германию, благодаря переводческой ярости немцев.

Я не знаю ни слова по-русски, и немецкие переводы, в которых я в молодости читал великих русских авторов 19 века, были очень слабы. Од-

* Я совершаю убийство! (англ.).

** Тяготение (франц.).

нако это чтение я должен причислить к самым большим событиям в моем образовании. Если в книге есть суть, то многое останется и в плохом переводе, не беспокойтесь! И очень немногие знакомы с чужим языком, как с родным, настолько, чтобы ни одна тонкость иноязычного оригинала не ускользнула от них. Я склонен думать, что, читая произведение в оригинале, теряешь хоть и меньше, чем читая его на родном языке, но не *намного* меньше, если перевод пристоеен.

Вот я написал Вам некую апологию переводческого дела. Не поймите это в том смысле, что я в чем-либо не согласен с жалобами и требованиями Вашего стихотворения!

Преданный Вам
Томас Манн

241

ГЕНРИ ХЭТФИЛДУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
19 ноября 51*

Дорогой д-р Хэтфилд,

превосходна Ваша «реалистическая» статья¹. Я прочел ее сразу и получил от нее большое удовольствие. Особенно заинтересовали меня Ваши рассуждения о «Симплициссимусе» и плутовском романе — по личным причинам, поскольку как раз сейчас меня опять занимают «picaresque» * шутки.

По-новорусски, в марксистской критике, «реалистический» ведь ничего другого не означает, как «связанный с обществом». Но какое хорошее искусство *не* реалистическое по сути? Ведь в искусстве радует нас в конечном счете всегда точно схваченное, «настоящее», иными словами, разительное узнавание подлинной жизни как в сфере психологической, так и в сфере предметной. В молодости в Мюнхене мне еще часто случилось видеть одного великого комедианта старой школы, так называемого «идеального направления» — Эрнста фон Поссарта. Но словно насмех реалистична бывала порой его хорошо отработанная манера речи, как раз в трагедии, когда он говорил, например: «Кто в детстве так умен, живет недолго»². Или: «Таких людей не водится на свете!..»³ Мы можем стилизовать и символизировать сколько угодно — без реализма ничего не получится. Он — это костяк и то, что убеждает. Что другое делал я в «Иосифе» и в «Избраннике», как не реализовал? «Молоко земли» на дикой скале — всего лишь старая мифологема, идущая от Эпикура и от еще более давних времен. Но в повествовании она играет реализующую, реалистическую роль.

Спасибо и привет

Ваш Томас Манн

* «Плутовские» (англ.).

242

АНДРЕ ФОН ГРОНИКА

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
30 ноября 1951

Глубокоуважаемый господин фон Гроника,

большое спасибо за новый славный дар¹, вышедший из-под Вашего пера. Превосходный критический очерк, и правоту Вашу подтверждает сам Шиллер, который ведь в своих письмах довольно резко отмежевывается от позиции Позы. Позиция эта ужасна, но я подозреваю, что наш Шиллер не оставял его в этом смысле в таком нравственном одиночестве, в каком хотел бы видеть его *post festum**. Во-первых, он, Шиллер, был склонен к умозрительности и втайне увлекался политическими интригами; а во-вторых, он был все же слишком солидарен с либерально-революционным идеализмом Позы, чтобы захотеть на примере этого персонажа показать, что экзальтированность ведет к гибели. Несмотря на Солимана² и нидерландские брожения, большая речь перед королем³ со словами «Дайте — дайте — дайте — свободу мысли» носит политический характер не только в тактическом смысле, ее произносит и сам поэт, в ней слышно его дыхание. Никогда, думаю, эта сцена не казалась слушателям неестественной и неискренней, нет, она воспринималась именно как драматический диалог между двумя противоположными мировоззрениями, недоверчиво консервативным и великодушно прогрессивным, верящим в человечество, диалог, где оба мировоззрения представлены поэтом с большой диалектической справедливостью. Ведь Филипп «Дон Карлоса» увиден гораздо человечнее и справедливее, чем Филипп «Отпадения Нидерландов»⁴, глазами именно драматурга. И Филипп прав, говоря: «Ужели Поза мог пойти на смерть за мальчика? Ужели сердце Позы заполнил бы скудный пламень дружбы? О нет, за человечество, за мир, за счастье всех грядущих поколений то сердце билось...»⁵ Совершенно верно**. Поэтому-то, собственно, и неправоммерно обвинять мальтийца в измене его другу Карлосу. Он видит в нем будущего короля и по праву ужасается, когда перед ним, Позой, по его возвращении, оказывается не человек, сознающий свою задачу, а сломленный несчастной влюбленностью мальчик. Он вполне вправе смотреть на эту *grande passion**** как на ребячество по сравнению с великими делами, стоящими на повестке дня. И он прав, говоря после краха: «Спаси себя для Нидерландов. Твой долг — царить, мой — умереть за Карла»⁶. Он ведь и в самом деле умирает за него, как за воплощение будущего. Как тут разграничить дружбу и политическую страсть? Карлос и сам-то их в общем не разграничивает.

Все здесь ребячество. Слова Филиппа «Я такой пожар зажгу, что никакой посев на пепелище и через пять столетий не взойдет»⁷, куда как превосходящие по наивности решение Ричарда III «стать злодеем», прини-

* Задним числом (лат.).

** Его выражения ему не подходят, но это верно (примечание Томаса Манна).

*** Великую страсть (франц.).

маемое перед суфлерской будкой; ребячество — реплика Великого Инквизитора «Тленью, но не свободе!» А уж история о том, как Поза когда-то, не моргнув глазом, допустил, чтобы принца до крови отхлестали вместо него, Позы, и вовсе бестактна. Не понимаю, зачем Шиллеру понадобилось это ввести и оставить.

И все же это великолепная пьеса, и я был рад, недавно посмотрев ее в Цюрихе, прочесть о ней такие умные вещи.

Преданный Вам
Томас Манн

243

ПАУЛЮ АМАННУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
23.XII.51*

Дорогой д-р Амани,

тысяча благодарностей за Ваше словоохотливое письмо и за римеровский очерк¹, против которого у меня нет ни малейших возражений, как и против цитат из писем, хотя из этих цитат ничего такого не вытекает, на что у меня не нашлось бы путного ответа. Статья безусловно интересна, и если бы «Модерн Ленгуидж» недавно не поместил многого обо мне, я бы не сомневался, что там ее приняли бы. Во всяком случае, это красивое сопоставление истории и сочинительства (терпимое к последнему) и опубликования заслуживает.

Я так и сяк продолжал крулевские мемуары, но всегда рискую сбиться на «фаустовское» и потерять форму. Так, например, я заставляю героя, человека чувственного, соприкоснуться с идеей самого бытия, представляющего собой, может быть, лишь эпизод между ничем и ничем, подобно тому как жизнь на земле — это лишь инцидент, имеющий конец и начало, поскольку обитаемость всякой звезды лимитирована. При этом одно переходит в другое без четких границ: человек в животный мир, животный в растительный, органический мир в неорганическое бытие, материальное в нематериальное, в почти уже небытие и в небытие, все это без пространства и времени. Возникновение сущего: как и когда появилась в небытии первая (электромагнитная или какая бы то ни было) вибрация бытия? Это и есть, собственно, возникновение сущего, первое новое. Второе — это некий плюс к неорганической субстанции, который называется жизнью, некое добавление без чего-либо нового в материале. Некое третье добавление в животно-органическом мире — это человеческое начало. Принцип перехода сохраняется, но, как и при повороте к «жизни», добавляется нечто не поддающееся определению... Любовь, понимаемая как чувственная взволнованность эпизодичностью бытия, не только жизни, не только человека. И бытие, значит, — это, может быть, пробуждение любви в небытии?.. Чепуха, Вы не поймете ни слова. Один из моих ма-

леньких внуков, придя из церкви, сказал: «Как задумаешься о боге, начинается землетрясение мозга». Новое выражение, и недурное. Прошу прощения и желаю веселых праздников.

Ваш Томас Манн

244

АЛЕКСАНДРУ М. ФРЕЮ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
19 янв. 52

Дорогой господин Фрей,

спасибо за оба Ваших письма! Я глубоко тронут тем, что «Роман одного романа» занимает Вас так упорно. Написать этот маленький отчет побудила меня первоначально лишь моральная необходимость кредитовать (to give credit, говорят здесь) д-ра Адорно за то, что я дерзко взял у него и что он дал мне, трудясь вместе со мной над музыкальной частью. Акт лояльности. Затем, однако, эта вещь стала, как Вы говорите, фрагментарным примером сосредоточенной на текущем произведении автобиографии. Сходную попытку предпринял я и с «Иосифом», хотя и далеко не столь подробно останавливаясь на сопутствующей полосе внешней жизни. Было бы, пожалуй, трудно реконструировать всю жизнь вокруг произведений по образцу «Истории создания». Но она может, наверно, служить *pars pro toto* *, ибо в главном и *mutatis mutandis* ** каждый раз и на каждой стадии бывало так.

Вообще я очень боюсь прямой автобиографии, которая мне представляется труднейшей, почти неразрешимо трудной задачей для литературного такта. И я отнюдь не уверен, что в «Истории создания» я не погрешил много раз против этого такта. Я не разрешил переводить эту книжечку на английский, отчасти из-за ее слишком верных прогнозов относительно развития послерузвельтовской Америки, отчасти же просто из чувства, что одиночеству не пристала интимность. Бедные мы немцы! Мы одиноки по сути, даже если и «знамениты». Никто в общем-то нас не любит, и в других культурах никому, кроме нескольких специалистов по германистике, не хочется заниматься нами. [...] Что вжившиеся в англосаксонскую культуру и язык заняты собственной сферой и друг другом, что они сердятся, когда им надо заниматься еще каким-то свалившимся на них и на вид требовательным, а на самом деле очень робким «Germanic approach» ***, это ведь вполне естественно. Молодой Тойнби¹, сын философа-историка, написал где-то недавно умную статейку обо мне, «The lonely world-citizen», «Одинокий гражданин мира», где прямо вывел мою изолированность из моей немецкой природы. Он очень забавно сказал, что если попросить английского критика перечислить 10 достойных упомина-

* Часть вместо целого (лат.).

** С соответствующими изменениями (лат.).

*** Германским посягательством, попыткой вступить в разговор (англ.).

ния имен современной литературы, тот назвал бы четырех англичан, трех американцев и трех французов. Если бы ему потом напомнили обо мне, он пощелкал бы пальцами и воскликнул: «Да, верно, его тоже надо бы к ним отнести!» Еще Тойнби очень славно сказал, что мои романы довольно сильно отличаются один от другого, но что все вместе они совершенно не похожи ни на какие другие нынешние романы.

Немец — гражданин мира — в качестве гражданина мира опять-таки до крайности немец — и этим опять-таки особь статья, — таков ты, читаемый в выхолощающих переводах, которые стирают всякое изначальное обаяние, — большое, нелюбимое имя. Не знаю, вправе ли я сказать: нелюбимое, потому что неизвестное. Немецкое безымянно непопулярно, это не подлежит сомнению, и быть немецким писателем — большое несчастье, большая, никогда не восполнимая невыгода. Вжиться в английскую или во французскую культуру — какое это преимущество, насколько это более легкое существование! Оттого что ты немец, ты робок. К автобиографической интимности это никак не располагает.

И Вам тоже — пиши Вы по-английски или по-французски, насколько лучше было бы Вам! Ваши истории Вам бы не опостытели и что-либо соответствующее «Дьявольскому театру»² годами не валялось бы у издателей, будь Ваша фамилия Fгу, а не Fгеу. «Немецкий писатель — немецкий мученик», — говорил уже Гёте, даже он!

Увидеть «рождение Венеры» перенесенным из мифологического плана в космологический было бы восхитительно. Я люблю читать такие книги. Джинс³ прежде сильно меня увлекал. Сейчас здесь есть несколько очень привлекательных книг этого рода: «The Universe and Dr. Einstein»* Линкольна Барнетта⁴ и «Is another world watching?»** Джералда Хирда⁵. Первая строго научна, вторая — ученая болтовня, но тоже очень занимательна. Она касается загадки «flying saucers»*** и на вид очень основательно решает ее, объясняя их появление тревогой, которую внушает марсианам (насекомовидным и очень развитым) наша безответственная возня с атомной энергией, отчего они и следят с этих то и дело появляющихся кораблей, не собираемся ли мы наделать космических бед.

Хватит на сегодня.

Ваш Томас Манн

Надо бы мне прочесть Вам кое-какие диковинки из «Круля», когда мы будем в Цюрихе.

* «Вселенная и д-р Эйнштейн» (англ.).
 ** «Следит ли за нами другой мир?» (англ.).
 *** «Летающих блюдца» (англ.).

245

НЕИЗВЕСТНОЙ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
21 января 1952*

Глубокоуважаемая фрау,

в интересах своей работы Вы спрашиваете о моем отношении к немецкой культуре. Это широкая область, и коснуться ее я могу лишь в нескольких словах.

Я принадлежу к немецкой культуре, и корни мои в ее традициях, подобно тому как каждый француз или англичанин или итальянец повинуется законам языка и мышления своей национальной сферы. Но моя космополитическая отзывчивость издавна была очень велика. Кровь во мне не чисто германская, потому что моя мать со стороны своей матери была латиноамериканского происхождения. Это, думаю, всегда сказывалось в художественном творчестве моего брата Генриха и моем собственном, в формальном и духовном отношении: но в духовном у моего брата гораздо сильнее, чем у меня. Однако и меня, по крайней мере в художественном отношении, чисто немецкое никогда не удовлетворяло, и уже книга, которой я впервые приобрел имя, «Будденброки», отмечена литературными влияниями, идущими отовсюду. Она немыслима без восхищения английским, русским, скандинавским романом, что не помешало ей при такой восприимчивости к чужому стать книгой сугубо немецкой.

Вообще ни одна моя книга не могла бы, наверно, быть написана автором другой национальности, не немцем, и даже мои критические эссе, собранные в томе «Аристократия духа», посвящены почти исключительно немецким умам, что вызвало здесь в Америке по выходе книги известное порицание. За исключением Толстого и Сервантеса, речь в этих эссе идет только о немецких явлениях.

Вот краткое описание моей одновременно национальной и космополитической позиции. В чисто историко-духовном плане можно, пожалуй, сказать, что мы с братом придали немецкому роману, отличавшемуся дотоле некоторой провинциальностью, известный европейский интерес. [...]

Надеюсь, что эти строки дойдут до Вас; Ваш адрес написан, к сожалению, очень неясно.

Прошу Вас передать мою благодарность фрау Тайльхабер-Томпсон за ее любезные сопроводительные слова.

С приветом и лучшими пожеланиями

Преданный Вам

Томас Манн

246

УИЛЬЯМУ Х. МАК-КЛЕЙНУ

Пасифик Пэлисейда, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
23 февр. 52

Дорогой д-р Мак-Клейн,

большое спасибо Вам за Вашу очаровательную статью! Я нахожу ее действительно очень милой в ее веселой отзывчивости и рад, что эти гротескные шутки — или эти шутки с гротескным — кажутся Вам чем-то не совсем бесполезным для гуманности.

Что мне нравится в образе мыслей брата Клементия, так это то, что при всем своем возмущении «равнодушием природы» (цинична в книге только она, больше никто) он дела половые переживает не так уж болезненно и убийство доброго пса осуждает по сути больше, чем всю прочую мерзость. И у него, видимо, мелькает догадка, что инцест был в сущности табу, связанным с привилегиями, — дозволялся богам и царям и запрещался лишь простым смертным. Изиды и Озирис были сестрой и братом, и по их образцу брак между братом и сестрой в семьях фараонов — вовсе не редкость. Что Зевс и Гера тоже были брат и сестра, легко забывается. И даже то касается связи матери с сыном, то в ранних переднеазиатских религиях, которыми ведь сильно окрашено христианство, возлюбленный не раз бывал сыном. Когда дела половые окутываются тайной (а такая склонность у них есть), там всегда царит некоторый сумбур. Недаром в своей стихотворной молитве Сибилла обращается к «пречистой деве» со словами: «Ты богу невеста, дитя и мать!..»

Герман Дж. Вейганд¹ хочет, не знаю где, опубликовать статью об источниках «Избранника», в работе над которой я ему немного помог.

Еще раз благодарю и шлю дружеский привет.

Преданный Вам

Томас Манн

247

ЭМИЛИУ ПРЕТОРИУСУ

Пасифик Пэлисейда, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
11.III.52

Дорогой, превосходный Прее,

за Ваше письмецо большое спасибо. Нет, я нисколько не сетовал на то, что давно не было писем. Ведь личная встреча, каковая была нам дарована, на какое-то время удовлетворяет и уменьшает потребность в письменном общении. К тому же я знаю ведь, как Вы живете и какие требования постоянно предъявляет к Вам мир, — мне легко это понять, тем более что у меня, *mutatis mutandis**, дела обстоят примерно так же, с той

* С соответствующими изменениями (лат.).

только разницей, что занят я обычно в своих четырех стенах. Но все-таки это занятость и загнанность. Роман опять сбивается на нечто «фаустовское»; надо сочинить что-то получасовое для Би-Би-Си на тему «Художник и общество»¹ (!), отредактировать и снабдить предисловием сборник статей, материал пяти десятилетий, и я часто не знаю, что делать, когда меня просят что-то прочесть или нужно ответить на письма. Жалобы такого рода всегда отдают бахвальством, но Вы знаете, какие это честные вздохи. Если бы я только мог надеяться, что в Европе будет лучше. Но боюсь, что там будет еще хуже.

Одно преимущество у меня есть — возможность спрятаться за защитный вал моих почтенных лет — несколько лицемерным образом, ибо если не считать некоторой усталости, то «почти 77» мне не так уж давно. Как бы ни обстояло дело с продуктивностью, не покинувшая меня свежесть часто доставляет мне тайное удовольствие. Так, недавно, по вечерам, я читал, впервые по сути, ранний роман Кафки, «Америку», с неописуемым увлечением и удивлением, если не с восхищением. Что за самобытнейшее существо этот Кафка, смешной, как сон, страшноватый, религиозно-многозначительный и *корректный*! Второго такого не может быть. Нет, правда, развития и разнообразия. «Процесс» и «Замок», позднее, такие же точно, как «Америка»: забавные, как сон, глубокие и корректные.

Другим живым читательским впечатлением последних дней была книга живущего здесь и издающегося в Швейцарии Эриха Ауэрбаха² «Четыре исследования по истории французского образования» (Francke A. G., Bern). По меньшей мере две статьи оттуда, «Политическая теория Паскаля» и «Бодлеровские «Fleurs du Mal» * и величественное» — это высший класс критики. Особенно о Паскале я никогда не читал ничего столь проясняющего и вообще едва ли встречал когда-либо столь интимное знакомство с французской культурой. В Мюнхене был такой писатель Вильгельм Вейганд³, у него встречалось нечто подобное. Но его горизонт не был так широк, и о связи Монтеня с крайне августиновскими представлениями о мире как царстве зла в «Pensées» ** он не смог бы написать так хорошо.

Удастся ли Вам когда-нибудь заниматься такими вещами? У себя я уже много лет замечаю интерес к богословским предметам, прежде совершенно мне чуждый, и «Фаустус», как и «Избранник», наверно, как-то об этом свидетельствуют, ибо они принесли мне немало писем из богословской сферы.

Я ничего не спросил Вас о Вашей болезни, о которой Вы говорите неопределенно, потому, видно, что врачи не сумели в ней разобраться. Мне кажется, это был такой биологический «спад», такое преходящее «не хочу больше», из которого натура добротная и призванная к чему-то быстро выбирается, обретая прежнюю предприимчивость.

* «Цветы Зла» (франц.).

** «Мыслях» (франц.).

Наше положение досадно неопределенно. Мы не знаем, когда сможем приехать в Европу, т. е. когда удастся свернуть здесь дела. Мне хотелось бы, чтобы это двигалось побыстрее. Отрадна была мне переписка с бернскими официальными инстанциями, показавшая настоящую, искреннюю радость по поводу моих намерений.

Ваш Томас Манн

248

ФЕРДИНАНДУ ЛИОНУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
13 марта 52

Дорогой Фердинанд,

премного благодарен! С Вашими письмишками всегда приходится помучиться, но это всегда вознаграждается. Вознаграждает и то, что удастся разобрать, и то, что лишь с грехом пополам угадываешь, и даже остаток внушает приятные догадки. Трогательно, как Вы иногда, в «fit» * гуманности, вдруг напишете какое-нибудь слово еще раз сверху. Так и хочется пожелать, чтобы Вы все написали еще раз сверху. Но тогда это было бы, наверно, не так трогательно.

Вы читаете Шопенгауэра — это произвело на меня самое большое впечатление. Хотел бы я обрести покой, чтобы тоже еще раз, от доски до доски, пройти соп атмоге ** хотя бы его главное произведение¹. В конце концов это было самое сильное читательское впечатление моей юности. И разве не первоклассен он и как европейский эссеист (оставим в стороне его метафизическое учение!), разве уступает он тут самому лучшему вне Германии? Вряд ли мне надо к нему «возвращаться», ведь я же никогда в сущности не покидал его и не терял. Мой очерк о нем относится к 38-му году — к расцвету, стало быть, моего демократического оптимизма, который молодой Тойнби (сын историка) недавно назвал в «Обсервере» «almost too good to be true» ***. Он прав, моя демократическая позиция не вполне правдива, она представляет собой лишь раздраженную реакцию на немецкий «иррационализм» и псевдоглубокость (ядовито различающую между «Dichter» и «Schriftsteller») и на фашизм вообще, которого я на самом деле и честно терпеть не могу. Это он ухитрился сделать меня на время странствующим оратором демократии — роль, в которой я часто казался себе довольно чудным. Я всегда чувствовал, что в пору моего реакционного упрямства в «Размышлениях» я был куда интересней и дальше от плоского.

Правда, когда имеешь дело непосредственно с человеческими нуждами, интересность, по-моему, не так уж важна. Меня очень отпугивает совет: «Старайтесь лишь приводить людей в замешательство; удовлетворить их трудно»². Мне хотелось бы любя удовлетворять их, и у меня, как ни глупо

* Приступе, приливе (англ.).

** С любовью (итал.).

*** Чуть ли не слишком хорошим, чтобы быть правдивым (англ.).

это прозвучит, есть явная склонность к доброте. Лессинг сказал о «Натане»³: «Это отнюдь не будет сатирическая пьеса, чтобы покинуть поле боя с язвительным смехом. Это будет самая трогательная пьеса, какую только мне доводилось делать». Не находите ли Вы, что в этом смысле даже «Избранник», при всех веселых выходках, «пьеса трогательная»?.. Вера! По-моему, для доброты она совсем не нужна, и доброта может быть результатом полнейшего скептицизма. Искусство верит по сути только в само себя, и все же в основе его есть что-то от доброты, — что, может быть, связано со своеобразной эстетически-нравственной неопределенностью понятия «добрый».

[...]

Мысль о Европе соединяется у меня теперь, стало быть, с получением Ваших «Источников жизни французской философии»⁴, которому я заранее радуюсь. А не пришлете ли Вы мне эту книгу еще сюда? Наше положение так неясно — мы совершенно не знаем, когда нас отпустит отсюда свертывание дел. Это может произойти очень скоро, а может и оттянуться на много месяцев. Во всяком случае до доброго свиданья раньше или позже!

[...]

Ваш Томас Манн

249

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Пасифик Пэлусейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
20 марта 52

Дорогой д-р Кереньи,

Благодарить приходится опять мне — за прекрасное благодарственное письмо. Благодарить не за что! Маленькие эти рекомендации¹, английская и немецкая, вышли у меня из-под пера легко и приятно. Ведь право, ничего значительного в них нет, и главная их задача — возбудить аппетит у публики. Читая Ваше произведение, я все время вспоминал ту старую книгу по мифологии, которая служила учебным пособием еще моей матери и которую я в детстве ненасытно читал. Эта книга, с Афиной Палладой на обложке, заменяла мне описаниями подвигов Геркулеса и битв Зевса любимые истории об индейцах. Особенно восхищал меня «острый, как алмаз, серп», которым замахнулся Зевс на Тифона. «Это заставило чудовище уступить!» 67 лет прошло с тех пор, как я прочитал и не раз перечитал эту фразу, и думаю, что и в смертный свой час не забуду ее.

«И пусть гостей Хранитель мощный, нас, чужеземцев, защитит»². Гостей хранитель мощный — ни одна душа в четвертом классе не знала, кто это, — только я! Благодаря этому детскому чтению ни один из благообразных и безобразных персонажей Вашей книги не был незнаком мне по имени, не исключая и тех, кому не нашлось места в Классической Вальпургиевой ночи; а когда я снова прочел о Тефии*, я вспомнил, что после

* Но спутал ее с Нерейдой Фетидой! (Примечание Томаса Манна.)

«Избранника» один немецкий студент написал мне, что теперь мне следовало бы закончить гётевскую Ахиллеиду романом в прозе. По-Вашему, это глупая идея? По-моему, вовсе нет. Только вот я вбил себе в голову довести до конца мемуары Круля [...] На все рук не хватит. Но за идеями дело бы у меня не стало, доживи я хоть до 120 лет. Жалко их, например, романа об Ахилле или романа об Эразме. Ведь кто еще на это способен? . . .

Что, Вам сделали операцию? Почему же? По какому же поводу? Но все равно! Вы с этим давно справились, смело с тех пор разъезжали и общаете прекрасные новости. Что касается отзывов на «*Gods of the Greeks*»*, то Поуис³ важнее, чем Гревз⁴, можете быть спокойны. . .

Хочу Вам рассказать: я готовлю немецкий сборник статей: «*Старое и новое. Малая проза пяти десятилетий*». Ибо материал и в самом деле располагается между 1906 и 1952 годами и охватывает всякую всячину, оставшуюся в исчезнувших томах статей первого собрания сочинений, а также работы периода борьбы против Гитлера — и самое новое. Там есть и раздел писем, куда я хочу включить и мои письма к Вам 1934—41 годов, потому что они подчеркивают автобиографический характер сборника. Надеюсь, Вы не против? Включить и Ваши письма значило бы перегрузить и так уже тревожно разбухшую книгу, да и вообще было бы неверно. Но везде, где идет речь о Ваших работах, надо дать в сноске соответствующий заголовок.

Славный cameriere** уже прислал мне ricordi***. Хорошо бы этой ситуации поскорей повториться! Мы еще понятия не имеем, когда уедем отсюда.

Сердечно

Ваш Томас Манн

250

ФЕРДИНАНДУ ЛИОНУ

Пасифик Пэлсейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
28 апреля 1952

Дорогой Фернан,

это прекрасная, умная, любовно проникновенная и богатая духовной поэзией книга, Ваша книга¹. Право, самое замечательное, самое выигрышное в ней — это соединение острого ума и поэзии. С таким подъемом и такой нежностью и притом с такой интеллектуальной дисциплиной Вы никогда не писали. Искреннюю любовь и восхищение вызывают у меня эти очерки, образующие и показывающие «живую связь», я не переставал наслаждаться, качаясь на волнах Ваших фраз, и буду и дальше держать этот том под рукой. Ваше «здесь и там», Ваше посредничество между национальными духовными сферами, в самом деле, прекрасно,

* «Боги греков» (англ.).

** Услуживший (итал.).

*** Снимки (итал.).

очень полезно и плодотворно. Вы знаете, по крайней мере, в чем Ваша задача, касаетесь ее, правда, тихо, лукаво и неприметно, но можете сказать себе, что делаете для «Европы» больше, чем все паневропейские конференции. Я убежден, что человек из народа, оказавшись, к примеру, Вашим соседом где-нибудь на скамейке и обменявшись с Вами несколькими словами, вынесет впечатление: до чего тонкая штучка этот господинчик.

Очень хотелось бы мне прочесть какое-нибудь Ваше эссе о Шопенгауэре. Оно, конечно, когда-нибудь будет написано, — у Вас впереди много времени, не в пример мне, ущербному диску поздней луны, которая печально восходит. Не следовало мне еще раз взваливать на себя ничего такого, как эти мемуары Феликса Круля; ни в каком отношении, ни в смысле предмета, ни в смысле требований, которые он предъявляет, это задача не *de mon âge* *. Панэротика и кража драгоценностей — к таким ли шуткам пристало обращаться на склоне лет? А они тяжелы и длительны, эти шутки! Иные, добавившиеся, довольно любопытны; но я часто подумываю о том, чтобы бросить это дело, ограничившись дополненным фрагментом, и освободить себе руки для чего-нибудь нового, способного меня еще чуть-чуть освежить, например для эразмовской новеллы, на которую Вы меня подбиваете. С другой стороны, я не привык «бросать». Недаром я наделил своего Григорса² «цепкой рукой», и в общем-то, в своих границах, я из тех, что доводят дела до конца. Но по существу довел до конца я, пожалуй, только «Фаустуса». Уже «Избранник» был шуточной заключительной пьесой, а то, чем я занимаюсь теперь, это просто времяпрепровождение.

Летом мы снова приедем в Европу, сперва в Гаштейн, потом в Швейцарию. Кстати, сейчас возник план превратить обратный путь в кругосветное путешествие и вернуться через Индию и Японию. С обеими странами установились дружеские отношения в последнее время, Неру — читатель «Фаустуса».

Всего Вам доброго! А tantôt! **

Ваш Т. М.

251

ФРЕДЕРИКУ РОЗЕНТАЛЮ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
5 мая 1952*

Дорогой господин доктор,

как во времена «Фаустуса», я хотел бы опять попросить у Вас медицинской информации.

Речь идет о раке матки¹. Женщина лет 50, светская дама, у которой «обыкновенное женское» уже прекратилось, страстно влюбляется в моло-

* Мне не по возрасту (франц.).

** До скорого свидания! (франц.).

дого домашнего учителя своего сына. В этом душевном состоянии, противоречащем ее возрастному физиологическому состоянию, у нее, после уже многомесячного перерыва, появляется кровотечение, и это событие необычайно ее радует и делает ее поведение по отношению к молодому человеку гораздо более смелым, потому что она толкует случившееся как некое чудо любви, как оживление физической стороны ее женской природы психикой, чувством. Выясняется, однако, что кровотечение вызвано запущенным раком матки и что предполагаемая новая весна была жестоким обманом природы, смертью.

Эта история произошла на самом деле. Сделали ли еще операцию или было уже слишком поздно делать ее, я не знаю. Во всяком случае, женщина умерла. — На какой стадии развития рака (которое ведь в матке, как известно, происходит незаметно, без сигналов боли) может появиться такое, похожее на возобновление менструаций кровотечение? В чем состоит операция, если ее еще делают? В удалении всего uterus*? И почему она, если удален весь больной орган, не может сохранить жизнь? По каким вообще признакам определяет врач — часто слишком поздно — наличие рака матки? Является ли кровотечение после уже состоявшегося прекращения половых функций несомненным признаком рака — и одновременно безнадежной запущенности болезни? — Как долго продолжается развитие карциномы от первоначальной до уже неоперируемой стадии? — Сам uterus нечувствителен; но нельзя ли заметить или предположить заболевание раком еще по каким-либо признакам, по общему самочувствию, разрушению организма etc.? Как получается, что распознают эту болезнь часто так поздно?

Чисто физиологический вопрос: как протекает менструация во время климакса, до окончательного угасания способности к деторождению? Становится ли она постепенно нерегулярной или ослабевает, перед тем как совсем прекратится?

Надеюсь, что ответы на эти вопросы не составят для Вас слишком большого труда. Выберите для этого час, который ни для чего другого нельзя использовать!

С самым признательным приветом

Преданный Вам
Томас Манн

252
НЕИЗВЕСТНОМУ

Пасифик Пэлсайдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
1 июня 1952

Дорогой господин профессор,

Вы были у меня давно, и я привык к мысли, что Вы уже отказались от намерения прислать мне для ознакомления свою рукопись. А вчера она пришла, и я ужаснулся, взглянув на нее. Пришла она в самый неблаго-

* Матки (лат.).

приятный момент: мы уже скоро уедем в Европу, я загружен тысячью дел и совершенно не в состоянии даже приступить к чтению столь объемистого труда.

Но, к счастью, следуя Вашему указанию, я прочел главу, где Вы рассказываете о своем посещении моего дома, и, срочно возвращая Вам рукопись, я вынужден просить Вас полностью исключить эту главу. Более того, я не прошу об этом, а вынужден требовать этого со всей решительностью. В наши дни, когда каждое политическое высказывание надо тщательно взвешивать, Вы с невероятной беззаботностью приводите один частный разговор, изложение которого полно компрометирующих и грубых ошибок и наделало бы, стань оно достоянием общественности, величайших бед. Не для того мы вас гостеприимно встретили. Как не умирает от туберкулеза герой «Волшебной горы», как не обращен наш дом к бурному океану и не «простираются до самого берега» наши «сады», так и мы, моя жена и я, не говорили того, что вкладываете Вы тут нам в уста. Я твердо надеюсь, что Вы посчитаетесь с моим желанием видеть эту главу удаленной из книги, и в том маловероятном, на мой взгляд, случае, если Вы все же напечатаете ее, должен буду ответить на это самым резким опровержением.

Мне жаль, что наша тогдашняя, невинная, как мне казалось, встреча имеет такие последствия, и я желаю Вашему производству, хотя бы я в нем и не фигурировал, всяческого успеха.

Преданный Вам
Томас Манн

253

герману Гессе

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-Драйв, 1550.
14 июня 1952*

Мой дорогой Герман Гессе!

Отсутствовать здесь? Никак нельзя. Но и присутствовать сколько-нибудь значительным образом я тоже не могу. Я писал на Ваше шестидесятилетие, писал на Ваше семидесятилетие и уже не знаю, что говорить. J'ai vidé mon sac *. Что я от души восхищаюсь Вами, это я знаю. Но это уже все знают, и Вы тоже. Позвольте мне в день Вашего семидесятипятилетия просто еще раз это сказать и искренне поздравить Вас с благословенной, дарующей радость жизнью, которую Вы вели, пожелать Вам покоя и веселья и на все еще благодатный вечер после трудов этой по-прежнему драгоценной для нас жизни.

«Запутывающее учение для запутанных действий царит над миром», — сказано в последнем письме Гёте. Так оно сегодня и есть, только еще хуже, как нам кажется, еще опаснее, еще трудней для духовного человека

* Я опорожнил свой мешок (франц.).

вести себя порядочно перед лицом нелепого, сумбурного дня — как то и Вы ведь, достойный друг, стараетесь делать, находясь в своем «замке»¹. Делаете Вы это, я нахожу, образцово — чисто и свободно, умно, хорошо и твердо, — и с этим образцовым поведением, с ним, прежде всего, я поздравляю Вас тоже. И не умирайте, пожалуйста, раньше меня! Во-первых, это было бы нахальством; ведь я «впереди Вас». А потом: мне страшно не хватало бы Вас во всей этой неразберихе. Ведь Вы мне тут добрый товарищ, утешение, подмога, пример, поддержка, и очень уж одиноким чувствовал бы я себя без Вас.

Скоро я буду опять у Вас в Вашем «замке», с обеими добрыми женщинами. Мы будем ругаться и вздыхать и немножко отчаиваться в человечестве, что нам обоим в общем-то не пристало, и при этом еще забавляться великой, великой глупостью. Флобер умел прямо-таки восторгаться ею. «Н-éпогте!»* — говорил он восхищенно, поражаясь ее огромности.

До свиданья, дорогой старый попутчик по юдоли слез, где нам обоим дано было утешение мечтаний, игры и формы.

Ваш Томас Манн

254

ФРАНКУ ДОНАЛЬДУ ГИРШБАХУ

Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
14 июня 1952

Многоуважаемый господин Гиршбах,

Простите, что с таким опозданием благодарю Вас за Ваши поздравления с днем рождения и за необыкновенный подарок, присланный с ними вместе. Я был (да и сейчас) не совсем здоров и к тому же по горло увяз в долгах переписки.

Ваша диссертация¹ доставила мне большое удовольствие, и я не сомневаюсь, что она получила серьезное признание у Ваших учителей. Тема была выбрана оригинально, она до некоторой степени неожиданна и, как показывает результат, удачна; ибо при всей пресловутой холодности тут и впрямь можно было собрать солидный критический урожай. Вы сделали это с величайшей осмотрительностью, добросовестнейшим прилежанием, поразительной начитанностью и откопали свой нежный предмет действительно в последнем закоулке моего курьезного творчества. Профессиональная критика этого, по-моему, еще ни разу не делала, и мне приятно, что это сделано так находчиво.

В пункте Адриан—Швердтфегер² Вы правы. Нельзя представить себе Леврекуна в этой ситуации, да и не хочется. Мне самому этого не хотелось, и я по возможности уберегал читателя от этого представления, хотя и считал, что в «сворачивании одиночества доверчивостью» обязан идти

* Неимоверно! (франц.).

до конца. Именно этот роман во всем идет до конца. Но ведь совращаемый и посылает совратителя сознательно на гибель. Вспомните, как рано говорит он об истории Родде—Руди: «Дай бог ему выпутаться из этого дела целым и невредимым». Разговор с ним в Пфейферинге совершенно смертоносен и крайне жуток.

С гомосексуальностью, впрочем, Вы немножко чересчур размахнулись. Относительно маленького Джонни Бишопа³ у меня, право, ничего дурного на уме не было.

Одному совершенно оторванному от темы и до сих пор удивительному для меня эпизоду, единственному в этом дьявольском романе небесному проблеску, Вы не отдали должного, коснувшись его лишь несколькими сухими словами. Это «появление» Эхо. За долгие годы своего сочинительства я плакал два раза: при смерти Рахили и при этой смерти. В двадцать пять лет я сумел сделать обреченного маленького принца Ганно Будденброка, пожалуй, реалистически живым. Но изобразить бо-гоявление — это я сумел лишь в шестьдесят.

Еще раз благодарю и поздравляю с Вашим успешным и вдохновенным прилежанием.

Преданный Вам

Томас Манн

255

АЛЬБРЕХТУ ГЕЗУ

*Пасифик Пэлисейдз, Калифорния.
Сан-Ремо-драйв, 1550.
16 июня 52*

Дорогой господин пастор,

Вы, Ваше преподобие, доставили мне истинную радость своим письмом и доброй, богатой воображением и состраданием книжкой, которая меня очень тронула. Это лирика, как все, что Вы пишете. Ибо Вы поэт, целиком воспитанный стихами и для стихов. Удивительно, как это распределяется по талантам — лирическое начало, драматическое, эпическое. Есть гиганты, как Бальзак и Толстой, в жизни не сочинившие, конечно, ни одной стихотворной строки, ни таких тончайше-нежных страниц прозы, как этот «Визит к больному»¹, где нет ни врача, ни сиделки, ни посетителей, кроме дочурки, прошмыгивающей в комнату и из комнаты, где есть только настроение, мысль, мечта и звук. Это, наверно, прелестно — жить в этой сфере, и ты, объективизирующий реалист и повествователь, кажешься себе тут грубым здорoviaком. Признáюсь уж: самое живое, по-моему, даже не драма, а повествование, когда оно достигает какой-то своей вершины. Сейчас я как раз перечитывал «Хаджи Мурата», где повествовательное начало прямо-таки гипертрофировано. Да, бог ты мой, я же просто щенок перед таким львом. Каких бы еще мировых премий ни присуждали мне всякие академии, я-то знаю, что́ велико и что́ в лучшем случае средне. Лучше нам всем притаиться и смотреть *снизу вверх!*

Надеюсь, мы скоро увидимся. Мы уедем отсюда 24 и 29 приступим к полету в Европу (которая, как пишет нам Голо, все-таки континент «для людей»). Сначала мы остановимся в Швейцарии (Цюрих, гостиница «Бор-о-Лак»). На август мы сняли комнаты в Гаштейне². В сентябре я собираюсь в Рим, чтобы отблагодарить Accademia dei Lincei³. Любопытно будет снова увидеть город, где я много-много лет назад жил со своим братом и писал «Будденброков».

Ваш Томас Манн

256

ГРЕТЕ НИКИШ

Эрленбах—Цюрих.
2 февр. 53

Дорогой друг,

можете мне еще раз немножко помочь? Я дошел до такого места моего рассказа¹, где мне очень мешает незнание топографии Дюссельдорфа. В карте, которая у меня есть, разобраться трудно. Дачное предместье Мерербуш — оно должно быть где-то близ Бюдериха — найти там вообще невозможно. На каком, приблизительно, расстоянии находятся Бюдерих и, наверно, Мерербуш от центра города (Хофгартен)? Ходит ли туда трамвай, скажем, через Оберкассельский мост через Рейн? Прежде всего: как расположен замок *Бенрат*, фигурирующий в моей истории, относительно этого Мерербушского поселка? Как, выезжая на экскурсию, добираются туда и оттуда? Каким пользуются транспортом и как примерно выглядит дорога туда?

Тут я застрял и был бы чрезвычайно благодарен за скорые сведения. Лучше всего было бы, если бы Вы знали все нужное сами. А нет — пожалуйста напишите сразу же д-ру Оберлоскампу!

Мы уже более или менее обосновались в своем новом доме. Это стоило большого труда, особенно расставить книги, плохо и вперемежку упакованные голливудскими варварами. Местоположение высоко над озером удивительно красиво. Но сейчас дикие бураны, и по целым дням мы бываем совершенно отрезаны от мира. Давно не было такой непогоды. Тем прекраснее должно быть весной. Но тогда, правда, мне придется снова уехать в Париж и Рим. Надеюсь, летом Вы как-нибудь побываете в Цюрихе и навестите нас. Наш фиат со швейцарским флажком доставит Вас из гостиницы за 20 минут.

Все ли у Вас обоих, как говорят, слава богу?

Кстати, как употребляется оборот «я — слава тебе господи»? Если, например, женщина забеременела, может она так сказать?

Итак, главное — экскурсия в Бенрат из Бюдериха-Мерербуша!

С сердечным приветом

Ваш Томас Манн

257

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

*Эрленбах—Цюрих.
7 февр. 1953*

Дорогой профессор Кереньи,

перед Вами я довольно сильно ударил лицом в грязь.

Я получил несколько книг, две, наверняка, от издателя и от Вас, и едва перелистал их, да и не поблагодарил Вас — лишь отчасти из-за того, что потерял Ваш тессинский адрес, главным образом оттого, что давно уже нахожусь в усталом, растерянном, подавленном состоянии. За поездками в Германию и Австрию, во время которых я заболел тяжелым бронхитом, последовали переселение из гостиницы в этот дом, а также прибытие нашего калифорнийского имущества, которое в этих куда более стесненных условиях разместить трудно, — безумно трудно было главным образом расставить библиотеку, — и меня мучила все еще продолжавшаяся неустроенность. Нервозность мою усиливали угнетающие задолженности по переписке и отсутствие энергии для работы, которое не позволяет мне закончить вполне удавшийся до известного предела, но теперь застопорившийся рассказ. Короче, мне скверно.

Выходить вечером из дому мне вредно, тем более что выбраться вниз на машине из снежных завалов здесь наверху — это целое приключение. Тем не менее я согласился побывать на одной премьере в Шаушпильхаузе (Шоу, «Пигмалион»). Она будет 12 — а два вечера подряд — это для меня чересчур. Так что Вашего доклада¹ я, видимо, не услышу, — успокаиваю себя тем, что мне это не так нужно, как студентам, перед которыми Вы выступите. Они узнают много нового, а я избалован и умудрен Вашими сочинениями.

Снисходительность — вот что мне нужно. В сущности все, наверно, оттого, что приспособление к Центральной Европе после 12 лет Калифорнии стоит моему организму большего труда, чем я ожидал. Положение в мире и вытекающая отсюда человеческая нетерпимость довершают дело. Мне часто все надоедает до тошноты, но я слишком здоров, чтобы желание смерти не было смешным. Тоже дилемма. До свидания в более благоприятный момент.

Ваш Томас Манн

258

ЭРИКЕ ШАРЛОТТЕ РЕГУЛЕ

*Эрленбах—Цюрих.
9 авг. 53*

Глубокоуважаемая фрейлейн,

искренне благодарю Вас за то, что Вы прислали мне свою диссертацию, за которую Вы, конечно, получили искомую академическую степень «с величайшей похвалой». Нет сомнения, что эта обстоятельная и умная работа гораздо выше среднего уровня докторских сочинений. Духовный

опыт и кругозор, с каким здесь показана та сфера связей, где находит свое место мое творчество, не мог не произвести впечатления на Ваших учителей, как и на меня. Особое мое внимание привлекли разделы о «Фаустусе» и «Избраннике», а также об «Иосифе», и должен сказать, что как раз в этих, заранее наиболее любопытных для меня частях мне встретились места большой критической красоты. Читая, я не мог избавиться от чувства, что то, что Вам удалось сказать о религиозном, даже богословском содержании этих произведений, должно бы в какой-то мере посрамить певцов этих глупо-насмешливых песенок о «мире без трансцендентности»¹.

Вы не оказались глухи, как показывают мне кое-какие фразы в анализе «Иосифа», и к меланхолии, лежащей в основе этой success story *, каковой так часто считают жизнь сына Рахили. «Дитя, кто видит лишь блеск твоей жизни, тот не может любить тебя так, как отцовское сердце, которое видит и ее грусть»². Вы не прошли мимо «правды смертного часа» в этих словах, и я за это Вам особенно признателен.

Будет ли напечатана Ваша работа? Нет, конечно, на это не найдется ни денег, ни бумаги. Так уж нынче водится.

Рукопись прилагаю.

Преданный Вам

Томас Манн

259

ГАНСУ РАЙЗИГЕРУ

Эрленбах—Цюрих.
8 сент. 1953

Милый, славный Райзи!

От души спасибо за все милое и славное; что Вы написали 28.8. Я бы ответил быстрее, если бы всегда что-нибудь да не случалось, особенно если бы чайные гости не крали у меня предназначенное для корреспонденции предвечернее время. Цюрих такой транзитный город, и каждый хочет явиться с визитом. Иногда, конечно, это бывает довольно мило, но чаще все-таки сплошная трата времени, и я по возможности отбиваюсь.

Статьи Эберле¹ о знакомых местах меня порадовали. Это человек, хорошо пишущий путевые заметки, со свежим взглядом и счастливым даром рассказчика. Передайте ему от меня привет и спасибо! Я целиком перенесся во времена моих собственных инспекционных поездок² и в сам роман, на который там есть один намек. Ваше пристрастие к нему всегда мне отраднo. Этот опус мало известен, он слишком дорог, и читать его слишком сегодня долгое для людей предпринятие. Тем не менее Вы, думаю, правы в своей оценке. Это была жизненная вершина, — которая потом в 70 лет еще раз, в глубоком волнении, продолжилась «Фаустусом» или даже превысила себя самое. Дальнейшее — эпилоги, помиримся на том.

* Истории успеха, истории об успехе (англ.).

помиримся с той мерой, в какой они еще могут быть хороши по привычке, как в случае «Обманутой», которую я, несколько недовольный ею и избалованный прежним, не очень высоко ставлю, — или в случае продолжения «Круля», которое, при сотне помех и усталости, уже, собственно, через не могу, еле-еле плетется дальше. Однако нет-нет, да и получается забавный кусок.

У Вас, я сочувственно это вижу, тоже есть свои, приходящие с годами докуки и неполадки. Мой здешний врач, доктор Медер с Вокзальной улицы, всегда говорит: «Годики! — вы должны с ними считаться». Я и считаюсь, конечно, я нахожу, что в 79 надо бы уже, в сущности, оставить в покое врачей. Ни для Вас, ни для меня жизнь не была детской игрой, а если и была, то довольно-таки утомительной. Слава богу, что помутнение стекловидного тела не дало и не дает осложнений — нет, во всяком случае, отслоения сетчатки, о котором я всегда слышал только дурное. Д-р Гешайдель живо напомнил мне мюнхенского зубного врача Гоша, который, леча корни, каждую минуту говорил: «Ой, дело дрян!» Довольно ободряюще.

Тысяча экземпляров «Саламина»³ — да это ведь не так плохо, милый друг. И литературный успех был несомненно. Теперь еще *Афины*⁴, это произвело на меня впечатление! Хоть бы получилось! Это было бы прекрасно и празднично.

В июле у нас было суматошно из-за семидесятилетия моей жены, которое отметили очень торжественно, как того эта добрая женщина хоть и не хотела, но заслуживает. Съехались дети и внуки, все комнаты домика заполнились, и швейцарские друзья дали в Эдан-о-Лак банкет со множеством прекрасных речей. Они позаботились также об утренней камерной серенаде под нашими окнами. Швейцарская пресса приняла в этом дружеское участие, а во франкфуртской «Нойе Цайтунг» поместили действительно славную, теплую и дружескую статью Бруно Вальтера, который, кстати, сейчас здесь.

Эрика в Геттингене, чтобы спасти, что еще можно спасти в фильме по «Королевскому высочеству»⁵. [...] Но в конце недели она свезет нас на машине к Женевскому озеру, где, примерно между Ве́ве и Лозанной, есть еще будто бы доступные и притом приличные объекты для жилья. У меня непреодолимое отвращение к убожеству, а здешнее наше обиталище, при красивом местоположении, немножко убого по сравнению с прежним на Сан-Ремо-драйв, которое наконец продано, но ниже своей стоимости. Здесь я не могу поставить у себя в кабинете даже дивана, который нужен мне для работы, потому что мне вредно часами сидеть за столом сгорбившись... В общем, надо бы иметь больше денег, Вы согласны?

Из Женевы мы поедем на две недели в Лугано (гостиница «Вилла Костаньола»), не в последнюю очередь затем, чтобы навестить супругов Гессе, которых мы после нашего возвращения в Швейцарию еще не видели. Вернемся в начале октября. Можно ли пригласить Вас тогда как-нибудь к нам в гости, как в год Кюснахта⁶? Вы могли бы сколько угодно работать, а окрестности здесь, у озера и за ним, очаровательные. Можно

было бы съездить в город, в Шауспильхауз, в оперу, послушать наш хороший музыкальный аппарат, почитать друг другу вслух etc., как в былые дни. Как говорила Меди: «С господином Райзигером герр Папале⁷ всегда такой *веселый*».

Ваш Томас Манн

P. S. Вам, наверно, будет довольно смешно, что я приглашаю Вас в дом, который сам называю немножко убогим. Действительно, размах здесь нет, и Вы были бы устроены неподобающим образом. Моя жена говорит, что она поселила бы Вас в «Солнце» в Кюснахте. Ведь в конце концов и в Гаштейне мы жили не вместе.

260

ВИKTOPУ РЕЙНСХАГЕНУ

Лугано, гостиница «Вилла Костаньола».
21 сент. 53

Глубокоуважаемый господин Рейнсхаген,

5 сентября я имел счастье слушать под Вашим мастерским управлением «Лоэнгина» — «снова впервые», как сказал бы Ницше. Наслаждаясь этим волшебным произведением, которое я слушал за свою жизнь бесчисленное число раз и, как мне казалось, знаю наизусть, я сделал одно открытие, которого странным образом никогда прежде не делал и после которого решил обратиться за уточнением к Вам.

Речь идет о музыке на сцене во втором акте и об одном эпизоде в ней, который дает мне пищу для размышлений. Там в утро дня, что «событий полон», брабантские или королевские трубачи трубят на балконе в фанфары и играют торжественную мелодию, которую так прекрасно подхватывает потом оркестр. Но однажды — вот что я впервые заметил — они трубят несомненно *мотив Грааля*. Трубят они его, если я не ошибаюсь, не в ля-, — а в до-мажоре, и, если я снова не ошибаюсь, тут приходит на помощь тромбон, поскольку труба берет недостаточно низко. Можете ли Вы мне это подтвердить? Но подтверждение не означало бы успокоения, — ибо как нападают эти добрые люди задолго до того, как Лоэнгрин открыл им свое происхождение, на мотив Грааля? Это же символ мира, им совершенно неведомого, совершенно чуждого их представлениям. Мотив этот принадлежит всезнающему оркестру, а не каким-то там трубачам на сцене, возвещающим о наступлении дня свадьбы. Он им не подобает. Объяснение, что они слышали его в прологе или при появлении Лоэнгина, недопустимо по смыслу. Мотив этот относится не к образу рыцаря, — у того ведь есть собственный музыкальный символ, звучащий впервые в рассказе Эльзы о ее сне, при словах «в сверкающих доспехах», когда слышится *pianissimo* трубы, — а к высокому, далекому миру, из которого рыцарь приходит. Дав эту неуместную цитату, поэт-композитор, по моему, совершил ошибку.

Это тонкая, принципиально интересная ошибка, разбор которой потребовал бы довольно глубокого проникновения в идею и суть этой музыкальной драмы, и если Вы мне не скажете, что критика давно отметила эту ошибку, я бы, может быть, о ней что-нибудь написал. Что Вы, если позволите спросить, думаете по этому поводу? Вы могли бы, конечно, даже не заглядывая в партитуру, кратко сообщить мне точное место появления этой цитаты. Попробуй я свои силы на этой «ошибке», мне понадобится бы известная техническая точность.

Простите, что я обременяю Вас!

Преданный Вам

Томас Манн

261

ЖАКУ МЕРКАНТОНУ

Эрленбах—Цюрих.
6 декабря 1953

Дорогой господин Меркантион,

большое спасибо за то, что Вы прислали Вашу статью в «Журнал де Женев»! Я прочел Ваши слова с искренним удовольствием и с удовлетворением.

Слово «расплата» сказано не профессором Мушгом¹, заведующим кафедрой литературы в Базеле, а редактором этого журнальчика². Слово «Literat», которым характеризует меня Мушг, непереводаемо. Оно стало у немцев своего рода ругательством, и объективно-спокойное «homme de lettres» не передает его смысла. Обругать — это ведь и вообще цель высказываний профессора, доходящего до утверждения, что своими нигилистическими писаниями я бросил Германию в объятия национал-социализма и, стало быть, привел к самой тяжелой эпохе ее истории, если не мировой истории вообще. Многим показалось, что тут он зашел несколько чересчур далеко, и реакция швейцарской печати была довольно резкая.

Ваша манера говорить на эту тему очень благородна, и мне очень по душе Ваше рассуждение, что граница между «Schriftsteller» и «Dichter» проходит в самом человеке, а не вне его. Гёте был замечательный Schriftsteller, помимо того что он был замечательный Dichter. Лессинг не считал себя Dichter и был неправ, но я как-то спросил: «Так ли уж нужно быть Dichter, если ты — Лессинг?»

У «Журнал де Женев» есть все основания радоваться Вашей прекрасной статье.

С самым дружеским приветом

Преданный Вам

Томас Манн

262

ХЕЛЬМУТУ КЛАУЗИНГУ

Эрленбах—Цюрих.
22 янв. 54

Глубокоуважаемый господин Клаузинг,

Мне было приятно читать Ваше письмо, как и Ваши воспоминания, ибо убеждения у Вас достойные и пишете Вы хорошо, и Вашу пьесу¹ я, несмотря на острое глазное заболевание — да и на многие другие обстоятельства, — сразу прочел. Не могу Вас утешить. Это хорошая реалистическая работа, но тема устарела, и Вам ответят словами, которые у Вас говорит однажды мамаша Райнекинг: «Не вороши старья». Я лично смотрел бы спектакль по Вашей трагикомедии, конечно, с теми же чувствами, с какими Вы писали ее. Но кто еще? Western Germany* хочет жить под началом своего канцлера, по праву восхищаясь его практичностью, забыть, наслаждаться, делать дела и получать нескучные поделки, сработанные уже 21 год назад и не играющие при нынешних роскошных делах никакой роли. У Вашей пьесы нет ни малейших видов ни в одном театре, в том числе и в цюрихском Шаушпильхаузе, где она вполне могла бы пройти в середине 30-х годов, но не сегодня. Кто сегодня как драматург обращается к той прошедшей эпохе, должен проявлять поэтическую справедливость, включив в пьесу по меньшей мере одного по-человечески симпатичного национал-социалиста, а не заниматься примитивной пропагандой, распространяя всякие измышления о зверствах. Ярость родит ярость — против того, кто ее возбуждает.

Антифашизм не только не моден, он подозрителен и нравственно нежелателен, ибо отвлекает от единственно положенной по уставу ненависти. В 15 или 16 лет я однажды получил табель, на котором классный наставник внизу написал: «Слишком мало занимается тем, что надобно школе». «Надобно» я нашел ужасным, но по сути сказано было верно. Так и Вы. Занимайся Вы тем, что надобно школе, за Вами признали бы даже «поэтическую справедливость».

Возвращаю Вам рукопись, благодаря Вас за доверие. Симпатия, которую Гессе и я Вам некогда выказали, остается прежней. Это немного, но все-таки, может быть, маленькая поддержка.

Преданный Вам
Томас Манн

263

Х. МА КОРРЕДОРУ

Эрленбах—Цюрих.
Март 1954

Глубокоуважаемый сударь,

мое мнение о Пабло Казальсе¹? Это не мнение, это глубочайшее почтение, это восхищение, граничащее с ликованием, при виде человеческого

* Западная Германия (англ.).

феномена, в котором пленительный артистизм так соединен с решительнейшим отказом от всякой уступки злу, нравственному убожеству и надругательству над справедливостью, что это прямо-таки облагораживает и возвышает наше представление о художнике, сразу лишая таковое всякой иронии, и в одичалое время служит примером гордой, не поддающейся никакому подкупу цельности.

Здесь нет ни грана «эскапизма», эстетического нейтралитета в вопросах человечности, ни грана той готовности к проституции, которая так часто свойственна артистической братии и которая говорит: «Я сыграю любому, кто мне заплатит». Фантастический талант — за него в мире драка идет, ему обеспечен всюду бурный успех, ему предлагают целые состояния, чтобы делать с ним дела, — ставит свои условия, не имеющие никакого отношения к деньгам и успеху. Ноги этого великого художника не будет в стране, где попирают свободу и право. Не будет ее и в стране, которая, называя себя «свободной», оппортунистически заключает сделку с несправедливостью. Он отказывает в своем гении миру, который хоть и кругом виноват, особенно перед его родиной, Испанией, но не прочь этим гением эстетически насладиться. Он вообще не принимает никаких приглашений, не покидая больше того места близ французско-испанской границы, которое он избрал убежищем: Прад. Это географическое название мало кто знал, пока он не связал его со своим именем. Теперь его знает любой. Оно стало символом артистизма, который несовершенно дорожит собой, символом нерушимого единства искусства и нравственности.

Победоносного единства — ибо гора отшельника становится целью боговейного паломничества со всех концов мира. Да, мир устремляется к тому, кто не захотел больше ходить к нему, и «Фестивали в Праде» рождены притягательной силой великого характера не в меньшей мере, чем музыкальным энтузиазмом, который не может не стать здесь протестом против господства зла.

Какой триумф! Какое радостное удовлетворение! Всегда, видно, слабому роду человеческому бывали нужны спасители чести. Один из них, из спасителей чести человечества, — этот художник. С радостью заявляю, что для меня, как и для тысяч людей, его существование — отрада.

Томас Манн

264

ИДЕ ГЕРЦ

Эрленбах—Цюрих.
27.III.54

Дорогая Ида,

премного благодарен за «The Doors of Perception» *¹, но не могу разделить энтузиазма, который вызвала у Вас эта книга. Она представляет собой последнюю и, я сказал бы, самую дерзкую стадию хакслиевского

* «Врата восприятия» (англ.).

эскапизма, который мне никогда не нравился в этом писателе. Мистика была еще, хоть в какой-то мере почтенным средством. Но что он теперь дошел до наркотиков, я нахожу просто скандальным. У меня совесть уже нечиста, потому что я принимаю вечером немного секонала или фанодорма, чтобы лучше спать. Но приводить себя днем в состояние, в котором все человеческое стало бы мне безразлично и я впал бы в бессовестное эстетическое самоупоение, было бы мне отвратительно. А он рекомендует это всему миру, поскольку-де иначе уделом его было бы в лучшем случае тупоумие, а в худшем страдание. Ну, и употребление слов «лучший» и «худший»! Его мистики должны были бы его научить, что «страдание — быстрейший конь, который нас несет к совершенству», чего нельзя сказать о допинге; и погруженность в экзистенциальное чудо стула и во всякие восхитительные фантазмагии красок ближе к тупоумию, чем он думает.

Гамбургский врач Фредеркинг² предостерегает, что с возбужденностью от опьянения мескалином можно справиться лишь при очень большом психотерапевтическом опыте. (А у Хаксли нет опыта, он дилетант.) Прописывать опьянение мескалином, говорит Фредеркинг, надо строго и ограниченно. И никак нельзя сказать наперед, даст ли вообще опыт с мескалином стоящий результат. Что ж, после убедительной рекомендации знаменитого писателя множество молодых англичан и особенно американцев этот опыт проделает. Ведь книга расходуется нарасхват. Это совершенно — не хочу сказать: безнравственная, но надо сказать: безответственная книга, которая может только усилить оглушение мира и его неспособность проявить разум перед лицом смертельно серьезных вопросов времени.

Нам теперь предстоит переезд в собственный дом: Кильхберг-на-Цюрихском озере, Альте Ландштрассе, 39. 25 придут упаковщики, и тут я сам должен буду уличить себя в эскапизме, потому что этой суматохи я не выношу и переберусь на 2 недели в гостиницу «Вальдхауз Дольдер».

Ваш Томас Манн

265

ФРИДРИХУ Г. ВЕБЕРУ

Цюрих. «Вальдхауз Дольдер».
28.III.54

Глубокоуважаемый господин Вебер,

моя жена так занята переездом, что писать приходится мне. С «сентенциозными фразами» дело обстоит скверно, я Вам тут плохой помощник, потому что к моим книгам у меня сейчас нет доступа, а я не только не помню их наизусть, но и большинство их плохо знаю, поскольку давно в них не заглядывал. Не найдется ли кто-нибудь в Базеле и окрестностях, кто составил бы Вам эти две страницы или хотя бы одну? Но задача остается каверзной, ибо у меня много всяких высказываний служит для выражения того или иного характера, так что поймать меня тут на слове

нельзя. Так обстоит дело с Сеттембрини и Нафтой в «Волшебной горе», так же большей частью и с Цейтбломом, рассказчиком «Фаустуса». Короче говоря, мои книги слишком диалектичны, слишком сосредоточены на характерном, чтобы служить кладезем чистых сентенций. Сентенцией было бы, пожалуй: «Счастье писателя — это мысль, способная стать целиком чувством, это чувство, способное стать целиком мыслью» («Смерть в Венеции») или, в шутку: «Писатель — это человек, которому писанье дается труднее, чем всем другим людям» («Тристан»). Это два пригодных примера, вернее, примеры пригодности. Больше мне самому сейчас ничего не приходит в голову. Но несомненно из статей и рассказов можно набрать больше таких фраз.

Преданный Вам

Томас Манн

266

ЛЮДВИГУ МАРКУЗЕ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
17.IV.54*

Дорогой Людвиг Маркузе,

большое спасибо за цитату из Шопенгауэра! Старик заходит немножко далеко. Что женщина «за пределами этого возраста»¹ не может привлечь мужчину и даже «вызывает» у него «отвращение», — утверждение смелое. В «Обманутой» это, во всяком случае, не так, да и молодой Кен Китон такого уж нерасположения не проявляет.

Шопенгауэр — забыт? Мною нет! Он был ведь большой писатель, и его система остается восхитительным произведением искусства. В самом деле, слабый психолог? Тоже смелое утверждение! — в свете такой работы, как «О кажущемся умысле в частной судьбе». Хоть это и прежде всего высокая метафизика, но здесь немало психологических рассуждений, притом весьма любопытных. Он предвосхитил Фрейда раньше, чем Ницше, который всегда оставался его учеником. Все его учение о соотношении воли и интеллекта — это в сущности психология разоблачения и демаскировки. И мистик он тоже, — если это то, чем сегодня приходится быть. В своем этюде о нем я говорил о той смеси из Вольтера и Якоба Бёме, которую он собой представляет. А также об его высокогуманистическом пессимизме, который мог бы быть так полезен сегодня.

Мы рады, что снова живем в собственном доме. Он очень красиво стоит над озером, просторен и удобен. В моем кабинете снова есть место для калифорнийского дивана, в углу которого я написал большие куски «Фаустуса» и «Избранника». Надеюсь, Вы как-нибудь навестите нас вскоре.

Ваш Томас Манн

267

ОСКАРУ ЯНКЕ

Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
3 мая 54

Дорогой господин д-р Янке,

я очень приветливо отношусь к этой затее и посылаю Вам программу концерта по моим заявкам:

- 1) Вагнер. Пролог к «Лоэнгрину».
- 2) Цезарь Франк. Симфония.
- 3) Дебюсси. L'après-midi d'un Faune *.
- 4) Три песни.
 - а) Шуберт. Зимний путь: «В деревне» и «Липочка».
 - б) Шуман. «Сумерки» (Эйхендорф).
- 5) Шуберт. Трио ор. 99, си-бемоль мажор.
- 6) Бетховен. Увертюра Леонора № 3.

Вот, поскольку речь идет обо мне, ответы на Ваше «У кого какие желания» [...]

Если на исполнение моих пожеланий потребуется слишком много времени, прошу разрешить мне сократить программу.

Будьте так любезны, передайте прилагаемую анкету в соответствующий отдел.

С сердечным приветом

Преданный Вам
Томас Манн

268

ФЕЛИКСУ ХЕНЗЕЛЕЙТУ

Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
8 мая 1954

Глубокоуважаемый господин Хензелейт,

за Ваше письмо большое спасибо. Я с интересом узнал о сборнике, который должен выйти к четвертому Международному кинофестивалю в Берлине при Вашем участии и под Вашей редакцией. Сама возможность подобного фестиваля и подобного сборника свидетельствует о роли, которую играет кинематограф в нашем сегодняшнем быте. Кино — это примечательное явление с самобытной историей, и личный мой интерес к нему возрастал постоянно. В ходе долгого развития оно превратилось из первых примитивных опытов, которые я еще помню, в уже неотъемлемый от современной жизни фактор культуры, в могучую развлекательную силу, волнующую миллионы людей и на них влияющую. Оно граничит с искусством, часто, как голая сенсация, стоит намного ниже его, а в счастливейших случаях захватывающе сливается с ним, входит поистине в его

* Послеполуденный отдых фавна (франц.).

сферу — несмотря на тот факт, что влияние кино, ввиду своей фотографической реальности, ближе к влиянию действительности, непосредственной жизни, чем искусство, посредник более строгий, более отстраненный, более холодный.

Кстати сказать, вопреки видимости, дух кинематографа — это по природе своей скорее эпический, чем драматический, дух. Если кино в чем-то превосходит театр, то дело тут в повествующих подробностях, которые оно способно представить наглядней, чем он. Романы и новеллы поддаются переводу на язык кино успешней, чем драмы.

Дозволено ли мне сказать, что мне жаль было немного кинематографа, когда его вытеснил звуковой? У того было преимущество музыки — а также произведения изобразительного искусства — общепонятность, способность чувствовать себя во всем мире как дома. Его универсальность раскололи, когда он заговорил, усвоив национальные языки, и титры с переводом, а тем более синхронизация — это паллиативы.

Развитие немного кинематографа было еще многообещающим в тот технический момент, когда оно оказалось прервано звуковым. Похоже на то, что в истории кино всякий технический прогресс приводил поначалу к регрессу художественному. Кажется, что и злободневная ныне трехмерность тоже — временно, полагаю, — отбрасывает его на более примитивную ступень: просто, вероятно, из-за того, что на первый план вышла техническая сенсация. Так же, в конце концов, было, когда появился цветной кинематограф, который своей художественной неопытностью, грубый и пестрый, как дешевые репродукции, вызывал лишь тоску по черно-белому живому экрану. Тут уже все стало иным. В короткий срок вкус и умение добились многого, чтобы сделать цветной вариант кино приятным для глаз, и когда он уместен, уже не хочется лишаться его.

В данном случае я могу сослаться и на собственный опыт, ведь великолепный цветной фильм, который сделали из моего романа «Королевское высочество»¹ и который Вы по праву собираетесь с уважением упомянуть в своем сборнике, ибо в фильм этот вложено много любви и труда, — это действительно приятное зрелище, и я вполне понимаю огромный его успех во многих немецких и австрийских городах. То же самое будет, конечно, и здесь, в Швейцарии, где он скоро пойдет. Не хочу сказать, что меня как-то не успокаивает мысль, что наряду с фильмом «Королевское высочество» по-прежнему существует все-таки и одноименная книга. Но что эта книга дала идею и мотивы одному из выдающихся достижений немецкой художественной промышленности, доставляет мне радость.

Томас Манн

269

МАКСУ ШТЕФЛЮ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
16 мая 54*

Глубокоуважаемый сударь,

Вы необыкновенно обогатили меня, прислав столь большой штифтеровский пакет, ценность и важность которого хоть и сразу бросается в глаза, но мною еще далеко не прочувствована. Я немедленно заметил и ощутил, как только опять соприкоснулся с этой прозой, — что никакое чтение не учит и не побуждает немецкого писателя прекрасней, чем это, соблюдать чистоту своего языка и служить ему верой и правдой. Я отнюдь не знаю, вполне ли я достоин любви, которую питаю к этому художнику, и подозреваю, что он в своём благочестии отвернулся бы с досадой и порицанием от большей части того, что я сделал. Не в его манере было шутить с искусством, как то часто случалось мне. Но, глядя на него, я следую словам: «Если я люблю тебя, какое тебе дело до этого»¹, и, зная, что мое давнее внимание к нему открыло мне кое-какие глубины и особенности его естества, я хотел бы когда-нибудь поделиться в статье этими открытиями, их сформулировать. Но о чем только не мечтаешь и для чего только не слишком коротка жизнь! Если до такой статьи дело все же дойдет, то Ваши дары дадут ей ценнейший материал.

Преданный Вам

Томас Манн

270

ЗИГФРИДУ МАРКУ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
23 мая 54*

Дорогой профессор Марк,

Вы велели послать мне Вашу прекрасную, широкую, богатую книгу¹ о «Великих людях в наше время» — спасибо за это от души! Она увлекла меня и растрогала — и это тоже; да и как могло меня не растрогать то, что Вы сумели в ней сказать обо «мне», особенно об Иосифе и последней грусти, овевающей его приветливый образ. Он, вероятно, все-таки любимый мой сын, — несмотря на Адриана и Григорса, — хоть Григорс и приносит слова, которые Вы по праву склонны поставить как бы эпиграфом ко всему, что я сделал: «Я сделал это, чтобы доставить развлечение богу». Развлекать — это всегда было моим желаньем и целью, но разве положишь на это столько сил, если имеешь в виду только людей? Искусство, говорят, стремится к совершенству. Но это ведь, собственно, не совсем земное стремление... Впрочем, в крулевских мемуарах, как мне теперь показывают корректуры «Первой части», я порой так хулиганил, что рассуждения, подобные вышеизложенным, мне, право, не приличествуют.

Ваша книга превосходна, говорит ли она о Дьюи², о Рузвельте ли (здесь особенно), о Нибуре³ ли или о французах. Но это ведь просто ужас, сколько в ней опечаток, и притом прямо-таки затемняющих смысл. В поправках указана ничтожная часть. Встречаются направленные листы, по крайней мере местами. Вам следовало бы потратиться на авиапочту, чтобы самому держать корректуру. На издательских корректоров положить нельзя.

У нас теперь опять есть собственный дом, куда более просторный и красивый, да и удобнее расположенный относительно города, чем тот, что мы снимали в Эрленбахе. Восхитителен вид на озеро, оживляемое парусными и гребными лодками, и на другой берег, холмистый, застроженный. Недавно мы устраивали house-warming-party* (здесь это называется «хус-рэйки») на 36 человек во главе с президентом города. Навестите и Вы нас как-нибудь тоже!

Ваш Томас Манн

271

ГАНСУ НОРБЕРТУ ФЮГЕНУ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
29 мая 54*

Дорогой господин Фюген,

Вы говорите мне много славных и дружеских слов в своем письме — спасибо Вам! У всех моих сыночков есть, конечно, известное семейное сходство друг с другом, но Вы, пожалуй, правы, предпочитая из этих братьев Иосифа. Я и сам отдаю ему предпочтение, особенно, наверно, из-за последней грусти, овевающей образ этого баловня судьбы. Впрочем, кто не видит в Адриане Леверкюне ничего милого, исходит из довольно плоского представления о милом. Какая-то симпатия ему все же причитается, ибо он, как-никак, человек, который несет страдание эпохи.

В Вашем письме я отчеркнул то место, к которому оно сводится, — а именно к требованию «маленького указания», как правильнее всего вести себя и держаться в нашем смятенном и разобленном мире. Лучше бы без этого! Как раз это делает Ваше дружеское письмо обременительным для меня, ибо «маленькое указание» неизбежно разрослось бы в долгую пантомиму, в которую я не могу пускаться. Так меня вообще не надо спрашивать. Моя жизнь и ее плоды на виду. Если есть в этом какой-то человеческий пример, пусть им и воспользуются и не требуют от старика особых мудростей. Ведь в конечном счете справедлива все-таки гётевская мудрость:

Разным разное годится.
Сам решай, куда податься,
Где стоять, чего держаться,
Чтобы, ставши, не свалиться.

С самыми лучшими пожеланиями

Ваш Томас Манн

* Прием по случаю новоселья (англ.).

272

ЭРИКЕ МАНН

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
7 июня, воскресенье, троицын день, 54.*

Бедно-дорогая Эрикинд,

спасибо, тысячу раз спасибо! Твое ужасно трогательное, за душу берущее письмо доставили все-таки еще вчера, вместе с десятком очередных телеграмм, специальным рейсом, и, читая его, я поплакал сквозь смех. К тревоге, сомнениям, грусти, витающим над моей поздней жизнью, в течение нескольких дней, как я уже говорил, добавлялось уныние из-за того, что ты там выносишь, необходимость исследовать желудок, пройти через мерзкое «лечение сном» и все прочее. К тому же я злился на доктора, который велит тебе прийти чуть ли не перед самым своим отъездом, — видимо, ситуацию я представлял себе не совсем верно. Во всяком случае теперь я спокойнее за тебя и смотрю на вещи бодрее, ибо, хотя сейчас ты и влачишь довольно жалкое существование, я вижу, к своему утешению, твою добрую, терпеливую, храбрую волю и осмеливаюсь уповать на твое будущее, когда самое близкое и самое грубое будет позади и ты, где-нибудь на горном воздухе, дашь возможность своей добротной по сути природе снова полностью одержать верх. Ведь что-то должно было произойти, мы все чувствовали, что так продолжаться не может, и понимали, конечно, что поправиться будет не так-то легко. Поразительно и очень обнадеживающе то, что совсем уже незадолго до решения о радикальных мерах ты умудрилась вложить в свои рассказы о «перелетной птице» столько милого изящества и обаяния! Способность доставлять радость, даже пребывая в унынии, можно ведь, пожалуй, всегда считать гарантией того, что в тебе самом еще есть ресурсы для возвращения к собственной радости.

Я усматриваю тут отцовско-дочернее родство натур, ведь и я совсем еще недавно был в состоянии расцвести «Круля» несколькими забавными штукаками, которые выглядят так, словно они идут от хорошего настроения, что, однако, не соответствует действительности — или, во всяком случае, хорошее настроение добыто из скверного. Впрочем, мне слишком ясно, что после «оригинальной» речи о любви ничего путного уже не появляется и книга заканчивается вяло и кое-как. Да и в целом я недоволен и жду выхода тома с некоторым стеснением. Дело тут обстоит все-таки не самым достойным образом. Можно ли такими компрометирующими шутками встречать свое восьмидесятилетие? Усталого лишняя воля заводит в неволю, перефразируя пословицу. Часто я думаю, что было бы лучше, если бы я после Фаустуса приказал долго жить. Ведь это была книга серьезная и как-никак сильная, она завершающе замкнула бы круг творчества, а теперь с «Избранником», хоть я и люблю его, начинается какой-то привесок, которого, пожалуй, лучше бы не было. Плести «Круля» дальше у меня, по крайней мере покамест, никакого стимула нет,

хотя плести что-то дальше относительно легче, чем затевать новое предприятие, как то я сейчас пытаюсь делать, вернее: пытаюсь попытаться. Передо мной маячит что-то вроде маленькой галереи характеров из эпохи Реформации, моментальные портреты Лютера, Гуттена, Эразма, Карла V, Льва III, Цвингли, Мюнцера, Тильмана Рименшнейдера, и как тут до смешного противостоят друг другу общность времени и полное несходство личных позиций и взглядов, частных судеб. Но о настоящем замысле никакой речи (еще) не может быть, я кое-что изучаю, но знаю лишь смутно, чего хочу, и часто думаю, что вообще забыл, как что-то начинают и делают, другими словами: что талант или во всяком случае энергия для игры у меня иссякла — отвратительное чувство, ибо без работы, то есть без деятельной надежды, и мне жизнь не в жизнь. Тут остается лишь утешаться тем, что ведь еще недавно я делал вполне талантливые и удачные вещи и что только рассеянность и усталость, которые могут пройти, виноваты в моей теперешней беспомощности.

Ах, не надо бы мне вообще мучить и угнетать тебя своей хандрой. Тебе это ни к чему. Вчерашний день¹ прошел под знаком цветов и сладкого потока писем и телеграмм самым приятным образом — это ведь только слабое предварение той дурацкой суматохи, которая поднимется в будущем году и которой я жду с некоторым страхом. Утром здесь был посланец из Милана, от Мондадори², синьор Федеричи, доставивший какую-то драгоценную вышивку. Днем папа Биб и Фридо очень красиво и чисто сыграли вдвоем совсем не легкую скрипичную сонату Моцарта, а вечером у нас была маленькая праздничная party* с фон-Сали, Лоттой Вальтер, Эмми, а также с Голо, Биби и Грет. Сидел во главе стола между де Сали — милой, простой женщиной — и Лоттхен. Можно заранее порадоваться брамсовским вариациям на темы Гайдна, которыми Куци³ прямо-таки обворожительно, говорят, дирижировал во Флоренции. Но я все-таки больше предвкушаю «Родную дочь» в Шаушпильхаузе в пятницу, третий спектакль. Уверен, что буду жадно ловить каждое слово этой еппи**...

Тереза⁴ недавно пригласила нас на обед в Цуг, в приличный ресторан с мясной лавкой, где мы угостились хорошей морской рыбой в соусе из душистых трав и вишневым тортом. А также очень хорошей малиновой настойкой к кофе, бутылку которой Милейн мне тут же подарила на день рождения наряду с прекрасным мягким кашемировым халатом и другими приятными вещами. Берман преподнес полного «Тристана» под управлением Фуртвенглера⁵. Великолепен также концерт для скрипки Чайковского, совершенно мастерски сыгранный И. Стерном⁶ с величайшей легкостью.

Пора кончать. Всего ведь не напишешь. Дом — это каждодневная отрада, а в ближайшие дни у нас будет и прекрасный, обильно хромированный «плимут», короче говоря, нечего вешать голову. В конце июля или в начале

* Здесь: вечеринка, ужин (англ.).

** Скучной истории (франц.).

августа мы поедem вместе в Санкт-Мориц, пансионат Сувретта, где ты сможешь ходить в походы и станешь еще здоровее, чем уже тогда будешь.

С любовью
В.

273

ПОЗДРАВИВШИМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Кильхберг-на-Цюрихском озере,
8 июля 1954

К моему смущению, мое 79-летие было отмечено столь широко, в столь многих местах земли, столь многочисленными приветствиями, что я не в состоянии выразить свою признательность иначе, как в этой суммарной форме. Я прошу каждого считать мою благодарность обращенной самым сердечным образом лично к нему.

Томас Манн

274

ФРИДРИХУ Г. ВЕБЕРУ

Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
18 июля 54

Глубокоуважаемый господин Вебер,

большое Вам и господину Матису¹ спасибо за Ваш сборник², выпущенный в связи с базельской «выставкой»³. Вы оба, как и Отто Базлер (которого я предосудительным образом даже не поблагодарил еще!), поработали здесь так славно, что все мои ожидания превзойдены. Превзойдены они прежде всего, хочу добавить, благодаря достоинству, которое Вы сохраняете в полемике, благодаря спокойствию и справедливости, проявляемым Вами в статье «Критерий Вальтера Мушга»⁴ по отношению к автору «Трагической истории литературы». Снова признаюсь, что никогда не держал в руках этой нашумевшей книги. Но я все яснее вижу, что тут дело идет о необычном сочинении, о своего рода поэме, где мне выпала роль злодея и вредителя. Живописуя эту отвратительную фигуру, поэт, по-видимому, не чувствовал себя очень ответственным перед «научной» действительностью, но портрет этот сделан явно с умом, фантазией и хорошей яростью, и я давно понимаю, что мне не следует злиться, столкнувшись однажды и с такой черной стилизацией моей особы — особенно потому не следует, что я ведь и сам довольно сильно сомневаюсь в себе и знаменитое «Thou com'st in such a questionable shape»^{*5} в применении к себе самому мне вовсе не чуждо. Это могло бы, конечно, при желании, говорить в мою пользу, но если такого желания нет и если со всеми моими тревогами

* Буквально: «Ты являешься в таком непонятном виде» (англ.).

за себя соглашаются — больше чем соглашаются, — вправе ли я обижаться? Ведь говоря: «Он услаждает погибший мир, не давая ему в руки ни грана спасительной правды», поэт Мушг не так уж неправ. Интересно, что наш мир, мир, стало быть, позднебуржуазно-капиталистический, он называется погибшим. На это я уже не раз *щадяще* намекал миру, но найти для него спасительное слово довольно трудно; Мушг, держу пари, такого слова тоже не знает; зато он услаждает мир трагической историей литературы. Уже не один совестливый писатель спрашивал себя: «Не обманываю ли я читателей своим талантом, не зная, как ответить на важнейшие вопросы?» Я цитирую Антона Чехова, о ком пишу сейчас статью, потому что он бесконечно мне симпатичен, и притом именно «страхом», который внушала ему его слава. В 29 лет он сумел проникнуться чувствами близкого к смерти старика (в шедевре «Скучная история»), ученого с мировым именем, который, несмотря на свои большие заслуги, в конце признает, что в его жизни не было «общей идеи», и когда любимое существо, несчастное и растерянное, умоляюще спрашивает его: «Что мне делать?!» — вынужден ответить «По совести, не знаю».

Эту-то судьбу Мушг и ставит в упрек — по праву, согласен, — герою своей поэмы, которым я оказался. Но почему именно ему, именно мне? Тут налицо, по-моему, не совсем здоровая сосредоточенность на моей личности. Ведь обо мне Мушг говорит не только тогда, когда говорит обо мне, но и тогда, когда этого не делает. — Вы же даете понять, что вся его глава о «славе» абстрагирована от моей особы, выведена из нее. Имеется в виду, конечно, ложная, лживая, нечестно добытая «слава». Но тут я скажу вот что: есть одно место, где его поэма становится совсем уж нереалистической, где она слишком уж поэтически отступает от правды, и место это то, где он характеризует героя как ловкого дельца, как рыночного спекулянта, который гонится за успехом. Господи! Вот уж где поэт действительно промахнулся. Подлинный Т. М., пребывающий на свете вне «Трагической истории литературы», ни разу в жизни не шевельнул пальцем, чтобы снизить успех. В каком-то метафизическом смысле он, может быть, и виноват в том, чем он является и каков он, — но уж в своих успехах он совершенно не виноват, разве только тем, что писал свои книги. Он писал их с трудом и тревогой, в полном одиночестве и без всяких оглядок, он нерешительно и без малейшей веры в успех расставался с каждой из них, и если успех потом приходил, то как снег на голову. И делец он очень нерасторопный, и если бы другие о нем не заботились, его бы так надували, что ему не на что было бы жить. Короче, как бы ни обстояло дело со мной в остальном, ловкость в организации успеха — это штрих настолько неверный, что талантливой карикатуре он не пристал. При переиздании своего романа мастеру следовало бы его убрать.

Еще раз спасибо, многоуважаемый господин Вебер.

Преданный Вам

Томас Манн

275

ГЕНРИ Г. Г. РИМЭКУ

Кильберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
21.VII.1954

Глубокоуважаемый господин профессор,

всячески благодарю Вас за дружеские строки и за то, что Вы прислали мне свою работу «The German Reception of French Realism» *. Это интересная тема, и Вы интересно к ней подошли.

Старика Фонтане я уже не знал лично. Я мог бы, пожалуй, встретить его в Мюнхене, в доме адвоката Бернштейна, но тогда я там еще не бывал, я был слишком молод. Разве «Маленький господин Фридеман» действительно вышел еще при его жизни? ¹ Я об этом не задумывался. Во всяком случае, мне не пришло в голову послать ему экземпляр. Я хотел, чтобы он дожил до выхода «Будденброков». Они бы ему наверняка понравились, может быть, он даже написал бы о них.

Нет, когда я писал «Тонию Крёгера», я еще понятия не имел о Бергсоне ². Слова «тонкая болтовня» относятся к статье Поля Бурже ³ о «космологическом и психологическом мировоззрении», но где ее можно найти, я уж давно забыл.

С пожеланиями успешной работы и личного благополучия

преданный Вам
Томас Манн

276

ЭРИХУ ФОН КАЛЕРУ

Сильс-Мария, Энгадин.
Гостиница «Вальдхауз».
12 авг. 54

Дорогой друг Калер,

меня угнетает то, что я так давно не писал Вам, — Вы знаете, как бывает: работа, дела, всякие недомогания, вдобавок частая усталость в мои годы, ну да. У меня лежит Ваше письмо от середины июня с рассказом о Ваших страданиях, Вашей операции, о том, чего стоило Вам прийти в себя. Конечно, подобное пережил и я, тогда, в 70 лет; но эти легочные операции, я думаю, покойней всех прочих. Время в госпитале, когда решение о вмешательстве было уже принято и выполнено, запомнилось мне в общем-то не как время страданий, и я выкарабкался быстро и без труда. Такие почечные истории наверняка куда неприятней; мне кажется, к сожалению, что Ваше терпение подверглось довольно мучительному испытанию, и я рад, что дела у Вас идут на лад, а сейчас Ваши силы, наверно, и вовсе восстановились — несмотря на то, что Вы позволили себе обременить свое выздоровление созерцанием и слушаньем маккартиевских hearings ** ¹. Да, дорогой друг, что тут скажешь? Я имею в виду не только это perfor-

* «Немецкое восприятие французского реализма» (англ.).

** Разбирательств (англ.).

мансе*, но все в целом. Между двух стульев сидят молча. Таково нынче положение всякого, кто получше, и почкам не очень-то на пользу вся эта клокочущая глупость, которую надо молча проглатывать. Но так и живаешь свой день, уже ведь успокоительно алеющий на западе, и желаешь тем, кому еще суждено протянуть, всего более или менее сносно.

Работал я, закончив мемуары Круля, насколько их на сей раз хватило (440 страниц), довольно мало. Переезд и устройство на новом месте были тоже виноваты в этой непродуктивности. [...]

Теперь я уже, в той мере, в какой это позволяет утомительный воздух здесь наверху, обдумываю торжественную речь, которую мне в мае будущего года предстоит произнести на официальном шиллеровском празднестве в Штутгарте. Я не мог от этого отказаться, как ни невыполнима эта задача по существу. Надо взять наивный и личный тон и попытаться придать своим суждениям что-то от блистательного великодушия и необыкновенного ума этой поэзии. Сочетание духовной гордости и народности здесь почти беспримерно.

Сейчас я как раз читаю нечто старое об его похоронах и судьбе его останков — совершенно скандальная история, для предотвращения которой Гёте не ударил палец о палец. Даже когда двадцать лет спустя с трудом выкопанный из гнилья череп (неизвестно, тот ли) замуровывали в постамент данеккеровского² бюста в библиотеке великого герцога, Гёте при этом не присутствовал, а прислал Августа³. Он всегда оказывался нездоров, если предстояло что-либо такое, что могло слишком его взволновать. Не следовало бы сердиться на меня за то, что в «Лотте в В.» я дал почувствовать долю смешного в его величии. Шиллер, кстати, тоже вовсе не был начисто лишен смешных черт. Но в каком-то смысле он был «выше», шире душой, чем тот, и тот это знал...

Я очень обрадовался, узнав, что Вы пригласили милую старую Хелен Лоу⁴! Она предвкушает удобную укрытость у Вас и хочет все-таки, чуть ли не страстно, перевести «Круля». Но я не знаю, удастся ли подбить на это Кнопфа. Она ведь очень, очень дряхлая. С другой стороны, она единственная, кто мог бы перевести некоторые места этой книги, стихи, рифмы и вообще найти верный тон. Не знаю, право, что посоветовать. Может быть, перевод уже заказан кому-то⁵.

Знаете ли Вы некоего проф. Эриха Хеллера из University of Wales** в Англии? Он пишет для издательства «Варбург-Зеккер» книгу к моему восьмидесятилетию и прислал мне чрезвычайно умный, ничего не скажешь, том эссе. «Дух, лишенный наследства» (Зуркамп), где, кроме статей о Гёте, Буркхардте⁶, Ницше, Рильке, Кафке и Краусе⁷, есть и такая: «От Ганно Будденброка до Адриана Леверкюна» — в тоне полулестного отрицания, впрочем, как критика, интересная. Мне было бы любопытно Ваше мнение.

Моя жена и Эрика, которая сейчас с нами, шлют сердечный привет.

Ваш Томас Манн

* Представление, спектакль (англ.).

** Уэльского университета (англ.).

277

АГНЕС Э. МЕЙЕР

Кильберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
22 авг. 54

Дорогая Агнес,

возвратившись несколько дней назад из Сильс-Марии, мы поедем завтра в Рейнскую область, где у меня будут выступления в Кёльне и Дюссельдорфе. До нашего отъезда я хочу вернуться к Вашему достопримечательному подарку, последнему роману Фолкнера¹, который Вы ведь прислали мне, чтобы услышать мое мнение. Не знаю, интересует ли еще оно Вас вообще, но высказать я его должен, хотя и с задержкой, потому что читал эту книгу с колеблющимися чувствами — как, наверно, и Вы; а то бы Вы не стали меня спрашивать. Я не люблю судить, а осуждать вообще не осуждаю, ибо горшку с котлом не биться, а как подумаю, сколь «противоречивы» будут нынешней осенью мнения о первом томе крулевских мемуаров, так хочется и вовсе держать свою критику про себя.

Сказать можно вот что: иностранцу читать этот роман довольно трудно, и я не удивлюсь, если американцам и англичанам тоже придется помучиться с ним. Меня упрекают за длинные фразы и находят мой стиль «rotundous» и «ponderous»*. Но бог ты мой, это ведь просто грациозный танец на пуантах по сравнению с битком набитыми, перегруженными, еле плетущимися и малопрозрачными периодами, которые Фолкнер по каким-то причинам нашел подходящими для этого произведения. В высоком мнении о своем романе, мнении отчасти справедливом, Фолкнера сильно утверждает тот факт, что он 9 лет трудился над ним. Но то-то и оно: слишком ощутил труд, он чувствуется уже в задыхающемся слоге, писатель потел за работой — не напрасно, конечно, но потел, а это не должно быть заметно, ибо искусство обязано придавать трудному легкость.

«A Fable»** называется эта книга. Назвать ее следовало бы в сущности «A Parable»***, и иносказание здесь очень значительно, полно значения, проведено несколько даже педантично. Вот перед нами унтер-офицер-Христос со своими 12 учениками, среди которых есть и Петр и Иуда. Родился он, как положено, в хлеве на постоялом дворе, жертвенную смерть принимает в обществе двух воров, и Мария, Марфа, Мария Магдалина (из Марселя) — все налицо. Не показалось ли Вам, что это немного дешево — вызывать у читателя благоговейный трепет такой отделкой под Библию? Я вам, пожалуй, не возразил бы. Очень уж тут все систематично, четко, ясно, и ничего похожего на Кафку с его религиозной расплывчатостью, в которой есть что-то от смутного сновидения, с его комизмом, с его неожиданностями и глубиной.

* Выспренним и тяжеловесным (англ.).

** «Легенда» (англ.).

*** «Притча», «иносказание» (англ.).

При всем при том у этого романа есть *большие* достоинства, тут Вы, конечно, со мной согласитесь. Военные познания автора импонируют, и поэтична фантазия, с какой они используются. Совещение генералов-противников о том, как восстановить дисциплину, чтобы продолжать войну, можно, пожалуй, назвать великолепной сатирой, и великолепно драматическое объяснение между унтер-офицером, который хочет умереть для спасения человечества, и главнокомандующим, который пытается соблазнить его своими предложениями. Самое лучшее: любовь художника к человеку, его протест против милитаризма и войны, его вера в конечное торжество добра. Вас это, я думаю, взволновало. Меня тоже, и если, как надо полагать, книга эта пользуется огромным успехом, то я очень, очень рад [...]

Всего Вам лучшего!

Ваш Т. М.

278

ЭМИЛИУ ПРЕЕТОРИУСУ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
6 сент. 54*

Дорогой Прее,

я поразился, узнав, что Вы ждали известия от меня. Я-то представлял себе, что примерно в это время Ваши пути приведут Вас сюда и мы обсудим Ваш план, его привлекательные стороны, его смысл, вопрос об его необходимости — а также мое положение. А теперь Вы пишете мне, сколько Вам еще нужно сделать дел, прежде чем Вы сможете думать о поездке в Цюрих: Амстердам, Париж, Милан, Вена, Мюнхен — везде постановки! Признаться ли Вам, что мне даже *приятно* знать, что Вы по горло заняты? Пускай бы Вы были настолько заняты, чтобы сами заставили себя выбросить покameст из головы эту проклятую конференцию¹, а не я, бедный, заставлял Вас своей неспособностью и своей — к ней-то и относится эпитет «проклятый» — незаменимостью. Нельзя заменить? Что ж, а умри я, что ведь вполне может случиться, то ни о каких таких конференциях вообще нечего было бы думать? Через 2 года, максимум через 5 лет, если не раньше, это непременно произойдет. Печальная картина.

Шутки в сторону: состояние мое скверное, меня одолевает мучительное отсутствие энергии, мои творческие силы, по-видимому, иссякли. В конце концов это физиологично, и мне надо бы с этим примириться, последовать примеру Гессе, который решительно ушел на покой, напишет иногда разве что статью для газеты или открытое письмо друзьям, а в остальном устроил себе уютный вечер. Но я этого не понимаю, я не знаю, как проводить дни без работы, и жажду производительности, не находя в себе запала, который делает ее возможной. Мучительное состояние. Предоставлять чувствовать себя, как сейчас в Дюссельдорфе, за сделанное раньше — от этого больше стыда, чем радости, и что-то здесь есть от обмана. Вот я издаю сейчас расширенный до романного тома фрагмент «Феликса

Круля» как «первую часть» целого и делаю вид, будто продолжение этих шуток находится в пути, а ведь дальше нет на бумаге ни слова, и я в сущности знаю, что так и не доведу до конца эту ерунду. Да мне и хочется, собственно, делать что-то совсем другое, более достойное, более подобающее моему возрасту, но сил приступить к этому нет, и я неопишимо завидую самому себе, вспоминая времена «Фаустуса», когда мне было 70 и я был к тому же болен, но — то-то и оно — на 10 лет моложе.

При этом я раздаю обещания, выполнение которых меня страшно тревожит. Вы знаете, что я согласился выступить в мае будущего года в Штутгарте на праздновании 150-летия со дня смерти Шиллера с торжественной речью в самой официальной обстановке. Люди говорили и настаивали так же, как Вы: только я, мол, гожусь для этого и больше никто, и, поскольку я жив, мне пришлось дать согласие. И вот теперь передо мной стоит задача, и я должен решить ее, прежде чем смогу думать о чем-то другом. Невозможно передать, как трудно мне сделать ее легкой. А решить ее нужно легко, наивно-лично, душевно, чтобы не потеряться в горах литературоведческих писаний, тысяча и один автор которых, каждый в отдельности, был бы в штутгартском Большом театре более достойным, более квалифицированным, более компетентным оратором, чем я. Выбрали, однако, меня, и, может быть, это вернет мне энергии — говорить о жизни, полной величайшей энергии. Очень трудны ограничение темы, форма, композиция; и до чего трудно фигуру Шиллера привести в какое-то отношение к этому времени! Помочь тут может разве лишь то, что ее отношение и к своему времени состояло не в чем ином, как в призыве к взлету. Но как мне-то, с другой стороны, говорить о взлетах!

Во всяком случае, прежде всего на свете я должен во что бы то ни стало покончить с этой задачей и обеспечить ее решение — какое уж получится. Ближайшие месяцы принадлежат ей, возможно, и все время, оставшееся до весны. Отсюда и мое желание, чтобы Вы покамест выбросили свой план из головы, отложили его. Не буду потешаться над тем, что я «безусловно необходим» для его осуществления. В каком-то смысле Вы тут правы. Но я просто не свободен для этого в обозримое время, а когда освобожусь, все мои помыслы будут направлены на новую художественную работу и пойдут вразрез с обязательством опять засесть за доклад. Шиллеровскую же речь, если она более или менее удастся, мне, конечно, придется произнести не только в Штутгарте, но и — как уже договорились — в Цюрихе и кто знает, где еще. А что, если бы мы сделали ее докладом на Вашей «конференции» и в Мюнхене я повторил бы эту речь в рамках Вашего мероприятия? Вот предложение решить дело полюбовно. Располагать для этого можно было бы маем 1955 года, после 8. Вопрос, правда, в том, приемлемо ли для Вас это время года. Раньше ничего не выйдет, а откладывать дальше я не советовал бы, потому что актуальность темы быстро проходит.

Итак, я полностью Вам открылся и посвятил Вас в свое положение. Войдите в него, подумайте и скажите мне свое мнение!

Ваш Томас Манн

279

ФРИДО МАННУ

Кильхберг, 19 окт. 54

Дорогой Фридо,

я очень огорчился, узнав, что у тебя небольшая желтуха и ты должен лежать в постели на строгой диете. Это очень неприятная, противная болезнь — у меня ее никогда не было, но я знаю от других, как скверно чувствуют себя при ней и как портит она настроение. Поэтому я сразу сказал: надо будет написать славному Фридо, я и так уж давно этого не делал. И потом все-таки еще несколько дней никак не мог выбрать время! А теперь, когда я сажусь за письмо, все уже, может быть, — хочу надеяться — прошло, и глаза у тебя уже не желтые, и ты поднялся, и можешь есть все. Рад был бы это услышать. Каково в швейцарской школе? Французский вы тоже там учите? По-итальянски ты уже знаешь, конечно, много, это получается само собой, когда живешь в стране. Смотри только, не забудь совсем английский! Знать языки тебе будет очень полезно, когда ты станешь ловким дельцом. Может быть, ты еще и турецкий выучишь. Но это в деловой жизни, кажется, не так важно.

Что вы обрадовались, когда папа вдруг приехал с Борисом, могу себе представить. Нам немножко не хватает этого миляги, в доме так тихо, особенно с тех пор, как тетя Эри уехала. Она теперь совсем перебралась в Мюнхен и делает с д-ром Брауном фильм¹, что очень хорошо. Но она говорит: это не сахар и подписывается всегда «не-сахар». Раньше Рождества она не вернется, а может быть, и еще задержится. На днях она приезжала сюда на один день, вместе с режиссером Брауном, на «премьеру» фильма «Королевское высочество» в «Ориент-синема», которое перестроили заново. По этому поводу мы сперва устроили здесь закуску с икрой, гусиной печенкой и шампанским, а потом отправились в театр, где, когда мы усаживались, конферансье торжественно представил всех нас публике. «Сейчас, — сказал он, — направляется к своему месту известный литератор Эрика Манн». Это было очень смешно, но в ответ нам преподнесли розы и громко аплодировали. Мария, наша прислуга, тоже сидела в нашем ряду и потом говорила: «Если бы люди знали, кто я!»

У нас всегда много гостей. В последние дни был один профессор-скульптор² из Берлина, которому мне пришлось позировать для бюста. Получилось довольно похоже, и он хочет изготовить его не только в бронзе, но и в камне, чтобы установить его в Германии, конечно, в Восточной Германии, в каком-нибудь общественном месте, и тогда я буду там стоять при любой погоде, блестя от дождя и нагреваясь от солнца, а зимой у меня будет на голове снежная шапочка. Может быть, ты когда-нибудь и съездишь посмотреть.

Всего тебе доброго, мой дорогой, милый, передай привет родителям и Тони, и Борису и напиши-ка мне как-нибудь снова!

Твой дедушка

P. S. Хорошо ли ходят ручные часы?

280

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
5.XII.54

Дорогой профессор Кереньи,

После «окончательной редакции» в верстке, подаренной непосредственно Вами, я получил теперь (наряду с «Божественным плутом») от издательства «Рейн» и готовую книгу Ваших «Невольных путешествий по искусству» с прекрасной аполлоновской колесницей на обложке и богатым приложением помпейских и других картин, частью обворожительных. Позвольте поздравить Вас с этой новой, такой привлекательной, выигранно легкой и содержательной публикацией, которая будет для многих такой же радостью, как для меня! Эти «поездки по старой Европе» я прочел уже в корректуре, теперь я только перелистал их, освежил в памяти и рассмотрел картинки, очень сильно ощущая при этом две вещи: во-первых, почему я вернулся, а во-вторых, как все-таки невероятно обогащают жизнь и наслаждение ею, как углубляют, усиливают, превращают ее в постоянный праздник ума и чувств образование, знание, вкус к красоте, радостно-просвещенная культура зрения. И еще, конечно: как мало у меня из-за моего скандального невежества таких возможностей счастья по сравнению с Вами. Я, правда, не могу признаться, как великий Шиллер: «Италия, и Рим в особенности, — к сожалению, страна не для меня; физическая подавленность, которую бы я испытывал, не возмещалась бы мне эстетическим интересом, потому что у меня нет интереса и вкуса к изобразительным искусствам». У меня есть благоговейная страсть к Риму, к сокровищам тысячелетий, которые он хранит, к его величественному слою культуры, и Вы совершенно правы, когда пишете, что у меня «нет недостатка в должном почтении», а также что я испытывал мечтательное волнение, стоя перед «самим» папой. Но есть у меня все-таки некое тревожное родство с этим поэтом, который жаловался на свое невежество и страшился эпоса, потому что «не обладал знаниями», необходимыми последователю Гомера. И для меня мир зрения — это не истинный мой мир, и, в сущности, я *не хочу ничего видеть* — как он. Почему он ни разу перед работой над «Теллем» и во время ее не съездил в Швейцарию? Это ведь было бы нетрудно устроить. Он не хотел ничего видеть. Он задумывал драмы, где дело идет о мореплавании, «Корабль», «Флибустьеры», но ему и в голову не приходило отправиться на море или вовсе в море. Он хотел черпать все из самого себя и соорудил, по собственным его словам, драму, которая соответствовала его личным обстоятельствам, недостаткам и возможностям и в которой он затем «поневоле сохранял известный блеск». Как мне это знакомо! Я ведь тоже соорудил из своих способностей и глубоких неспособностей собственный роман, в котором я теперь «поневоле блистаю». Но что я так и не выбрался в Грецию! (Не считая 20 минут на Акрополе и взгляда на фидиев в Афинском музее.) Я не хотел ничего

видеть — во всяком случае не хотел видеть в Греции больше, чем доводится увидеть в Италии.

Как *Вы* умеете путешествовать! У меня нет ни малейшей охоты путешествовать — по лености и необразованности и потому что я слишком занят. Но *Вы*-то ведь тоже по-настоящему заняты и все-таки вселяете в нас гордость за старую Европу такой книгой.

Ваш Томас Манн

281

ГАНСУ РАЙЗИГЕРУ

Ароза, 22.I.55.
Гостиница «Эксельсиор»

Дорогой Райзи,

Вы так очаровательно написали мне о Круле, что уже, впрочем, и раньше сделали, Вы доставили себе слишком много труда! Вы сообщили мне, кроме того, о заслуженно полученном Вами звании почетного члена Союза переводчиков (приложенный портрет просто *превосходен!*). Затем Вы еще рассказали нам об удаче с костюмом ко дню рождения, что наполнило нас веселой гордостью за нашего нарядного Райзи, — а я до сих пор ни за что не поблагодарил Вас, ни с чем не поздравил! Выглядит это некрасиво, но все объясняется тем, что последние недели, даже месяцы я так погрузился в свою шиллеровскую писанину, так слепо ушел в нее, что моя голова просто не воспринимала ничего другого и на письменном столе у меня грудями лежали письма, на которые я не ответил. Штук 250 я взял с собой сюда наверх, и теперь, при помощи жены и второй секретарши, надо, в порядке каникулярной работы, управиться с ними путем диктовки. Первые дни, совершенно измотанный, я чувствовал себя здесь наверху очень скверно, но сегодня, на пятый день, мне уже лучше, и у меня начинают открываться глаза на зимнюю величавость этой долины, этой благоустроенной по милости цивилизации горной природы, при виде которой, однако, мне всегда кажется, что шутки с ней в сущности плохи, и к которой я отношусь совершенно так же, как Ганс Касторп: почтительно и немного боязливо, почти набожно, я сказал бы, так что меня всегда немного злит, когда обывательский спортивный сброд шатается по ней так легкомысленно и без ощущения ее тихой угрозы.

Шиллеровская статья, стало быть, готова и отправлена для переписки в Бонн одной женщине, которая странным образом разбирает мой почерк (вот этот). Вышло около 80 страниц от руки, и дальнейшая задача, не самая легкая, состоит теперь в том, чтобы выколупать из этого речь. Это будет делом главным образом Эрики, которая в литературной режиссуре очень искусна. Она причесала мне и чеховский доклад, каковой я недавно прочел для Би-Би-Си по-английски.

Понятия не имею, соответствует ли мой Шиллер в итоге хотя бы приблизительно затраченным на него усилиям. Представляя себе в виде пуб-

лики Вас, я питаю некоторые надежды. О Валленштейне, Димитрии, дружбе с Гёте, об особом величии Шиллера, проявляющемся в таком побочном произведении, как «Песнь о колоколе», я написал вполне прилично, да и о том, пожалуй, что шиллеровское начало — это, наверно, как раз тот витамин, которого недостает сегодня организму нашего общества.

25-го.

Меня схватила сильная лихорадка, начавшаяся с озноба, и третий день я лежу. Принимаю пенициллин, и температура уже упала, но еще слаб. Все время думал о том, что еще не спросил в этом письме о Вашем помутневшем глазе и о выпадении волос из брови. Надеюсь, все позади. Самым запретным образом сел за письменный стол, чтобы кое-как закончить письмо.

Ваш Томас Манн

282

АГНЕС Э. МЕЙЕР

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
9 февр. 1955*

Дорогая княгиня и друг,

Вы, наверно, удивлены, даже обижены тем, как долго заставляет себя ждать моя благодарность за Ваше письмо от 27 декабря, которое я не раз перечитывал. Причины моего молчания следующие: статья о Шиллере — о ней я Вам, кажется, уже рассказывал — неделями и месяцами настолько занимала мою голову, что ни на что другое она не годилась, и мне пришлось беспощадно забросить свою корреспонденцию, в том числе самую важную, самую дорогую. На моем письменном столе устрашающе скапливались письма, на которые я не отвечал, и в середине января, отправляясь в довольно измученном состоянии с Катей в горы, в Арозу (1800 м), в надежде на солнце и отдых, я взял всю эту кипу с собой, чтобы там, наверху, преимущественно путем диктовки, разделаться с ней, но прежде всего написать Вам. Но все вышло иначе. Мы не пробыли там и нескольких дней, как на меня, с ознобом и высокой температурой, напала вирусная инфекция, поначалу принявшая довольно скверный оборот. Это был настоящий коллапс с предельно низким кровяным давлением и величайшей слабостью. Тамосний врач сбил пенициллином температуру и, не мудрствуя лукаво, лечил меня, но после того как я пролежал там 8 дней, Катя и Эрика пригласили из Кура главного врача кантональной больницы, который поднялся в Арозу и после осмотра рекомендовал поместить меня в его заведение, поскольку при моем ослабленном состоянии горный воздух мне не по силам. И вот, на санитарной машине, я был доставлен вниз, и провел свои «каникулы» в больнице, где мне, потерявшему аппетит и слабому, делали всякие анализы крови и рентгеновские снимки, а также, под анестезией, какое-то странное извлечение костного мозга из грудины.

При всем при том ничего особенного не оказалось; обеспокоило врачей только поразительно сильное оседание эритроцитов, проверить которое снова можно будет только недели через две и которое окажется, наверно, всего-навсего побочным следствием инфекции, понемногу меня отпускающей.

Позавчера я вернулся в Цюрих и в собственный дом, где теперь мое выздоровление ускоряют впрыскиваниями витаминов и средствами для укрепления сердца. Удобства дома и домашняя пища действуют на меня благотворно. Да и большую часть дня я не лежу, что дает возможность послать Вам эти строки, дорогой друг, — впрочем, несколько недозволенным образом, ибо какая бы то ни было работа мне, собственно, еще запрещена. Но мою потребность написать Вам усиливает то, что Вы пишете об отказе от *савин** и о Вашем свидании с большими фрагментами Вашей работы о моем творчестве. *Савин* мне жаль. Я провел в этом чудесном месте такие прекрасные часы, и особенно мне запомнился один завтрак, за которым Арчибальд Мак-лиш произнес волнующую речь в мою честь. Я всегда гордился симпатией этого человека, который издавна казался мне представителем лучшей Америки. Свидание со старыми, густо исписанными листами на тему Т. М. было, наверно, Вам весьма любопытно, и мысль об этом меня волнует. Ведь в ту пору я всегда бывал благодарно растроган Вашим любовным и усердно-деятельным погружением в мое духовное бытие, растроган до устыженности, причем это чувство сопровождалось известным страхом за Вас, я прекрасно видел, что Вы хотели слишком многого, копали слишком глубоко, захватывали слишком широкие пределы, включали в затею слишком многое, чтобы при разнообразии Ваших способностей, призваний, обязанностей достаточно долго корпеть над этой сложной задачей, которая для Вашей не чисто литературной натуры была, с другой стороны, задачей слишком ограниченной. Это было для Вас просто nepозволительно, и Вы помните, как я был за, когда Вы решили отложить эту работу *for the time being*** , потому что Ваша страна требовала от Вашей энергии другого, более важного. Но то, что Вы сделали, сделано, безусловно, не напрасно, и я склонен думать, что ничего лучшего, чем страницы, которые Вы сейчас снова перелистали, об этом проблематичном предмете никогда и нигде не писалось.

(10 февр.). Тут мне пришлось вчера остановиться, чтобы передохнуть. Я вот что хотел сказать: предложение *Library of Congress**** взять на хранение Ваши личные бумаги почетно и понятно. Лучшего хранилища для фрагментов Вашего труда обо «мне», чем именно это, я не могу себе представить, как и для писем ко мне, набросанных тогда Вами по нантию на немецком языке и — к сожалению — не отправленных. Столько ведь диссертаций самых разных аспектов сочиняется о моих писаниях молодыми ревнителями литературы, и я целиком согласен с Вами, что в будущем,

* Хижины, дачи (англ.).

** На время (англ.).

*** Библиотеки Конгресса (англ.).

когда к Вашим заметкам откроется доступ публике, студенты смогут извлечь из них пользу. Что касается моих собственных писем к АЭМ, то думаю, что уберечь их от забвения надо по выбору. Ограниченное число их, где можно усмотреть какое-то содержание, пусть будет завещано Library. Большая же часть выполнила свое назначение в соответствующий момент и пускай исчезнет.

[...]

Завтра, 11 февраля, мы с Катей отметим день нашей золотой свадьбы — самым тихим образом. Прибудут Эрика, Голо и Меди Борджезе, но мы останемся в узкосемейном кругу и не будем поднимать шума по поводу этого дня, того же, кстати, в который мы 22 года назад покинули Мюнхен, не подозревая, что туда не вернемся. Да, жизнь была странная. Более хвалебного определения я ей не стал бы давать и прожить ее еще раз никак не хотел бы. У Вас это, конечно, иначе. Вы бы, наверно, с величайшим удовольствием начали все сначала.

Эту памятную дату мы пропустим без шума хотя бы в виду торжеств, предстоящих в мае-июне: я подразумеваю шиллеровское празднество и мое 80-летие. При моем ослабленном состоянии я жду этих нагрузок с некоторой тревогой, потому что у меня никогда не хватает фантазии мысленно выйти из ситуации, в какой как раз пребываю. Во всяком случае свою активность во славу искренне любимого мною поэта я ограничу двумя главными местами его жизни: Штутгартом и Веймаром. В Штутгарте в торжествах будет участвовать и сам выступит с речью федеральный президент Хейс. Все, что собираются учинить 6 июня со мной, я надеюсь выдержать с воинской стойкостью. Я всегда был равнодушен к сказке Андерсена о «стойком оловянном солдатике». Это в сущности символ моей жизни. А при слове «символ» мне вспоминается один ребяческий сон с исполнением желания, который мне недавно, очень живо, приснился: я видел во сне, что ко дню рождения Вы подарили мне кольцо с прекрасным драгоценным камнем, это был смарагд, и кольцо это служило символом цепи, тянущейся отсюда и от меня через океан к городу Вашингтону, округ Колумбия. С поразительной ясностью видел я перед собой кольцо с зеленым камнем, это звено цепи, и радовался ему, как ребенок — как тот ребенок, который я есмь, до такой степени, что еще и исповедуюсь Вам насчет этого сна. Если Вы найдете его ребячески-глупым, каков он, вероятно, и есть, не думайте о нем больше и уж подавно не упоминайте ни словом.

О Шиллере я написал кое-что довольно славно, особенно о «Валленштейне», об антиподной дружбе с Гёте, а также о «Телле» и «Димитрии» — это выйдет в разных журналах и маленькой отдельной книжкой (pamphlet). Я Вам пошлю тогда. Уже закончив эту работу, я нашел одно письмо 1795 года В. фон Гумбольдту, которое меня необычайно взволновало и о котором мне еще придется сказать дополнительно. Он говорит там о замысле олимпийской идиллии, где он мечтал изобразить бракосочетание Геракла с Гебой: — «все смертное устранено, сплошной свет, сплошная свобода, сплошное могущество — никаких теней, никаких пределов, ничего

этого уже не видно». «У меня прямо-таки кружится голова, — говорит он, — когда я думаю об этой задаче — о возможности ее решения. Представить сцену на Олимпе — это величайшее наслаждение! Я не отчаиваюсь в этой затее, *только пусть сначала моя душа станет совсем свободна* и как следует отмоется *от всей грязи действительности*. Тогда я еще раз напрягу все свои силы и *всю эфирную часть моего естества*, даже если она при этом *изойдет начисто*». — Разве это не потрясающе? Нигде больше, ни в каких его списках заглавий и рабочих возможностей этот план, не осуществленный даже вчерне, не встречается. В нем есть что-то трансцендентное, выходящее за пределы жизни, припасенное для блаженного духа, а ведь ему суждено было прожить еще 10 лет. Его тоска была по сути преображением, без теней, без пределов, «сплошным светом, сплошной свободой». Старик Гёте ответил его снохе, когда та сказала что-то пренебрежительное о Шиллере: «Вы все для него слишком жалкие *и земные*».

Ничем лучшим я не могу закончить это письмо. С тысячей добрых пожеланий

Ваш старый протееже

Томас Манн

283

БИТУ ВЕБЕРУ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
13 февр. 55*

Дорогой Бит,

из письма твоих родителей, под которым и ты великолепным почерком подписался, я узнал, что позавчера тебе исполнилось семь лет. Позволь одному старому дяде, с которым ты бегло познакомился как-то вечером, уже лежа в постели, поздравить тебя от души с днем рождения! Надеюсь, ты провел его приятно и в добром здравье и получил в подарок что-нибудь славное.

Нам наши дети, но они уже взрослые, подарили изящного черного пуделя, по имени Нико. Ему два года, и он очень любит шоколад и пирожные. Ты, конечно, найдешь, что это не глупо.

Спасибо тебе также за то, что ты пожелал нам счастья своим чрезвычайно ясным почерком. Ясность — это дело хорошее, я тоже всегда к ней стремлюсь, а твоя подпись не оставляет никаких сомнений в том, что тебя зовут не Хинц или Кунц, или там Мальчик-с-пальчик, а БИТ, и никак не иначе. Это прекрасное имя, и желаю тебе оправдать его долгой, благословенной жизнью!

Привет твоим милым родителям и маленькому Кристофу¹, и самому тебе шлет всяческие приветы

Томас Манн

284

ГАНСУ ИОЗЕФУ МУНДТУ

Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
18 февраля 1955

Глубокоуважаемый господин Мундт,

Ваше письмо и составленный Издательством проект антологии «Лучшие в мире истории»¹ я получил. То и другое я изучил с величайшим вниманием и восхищаясь широким охватом мировой литературы в этих набросках. Днями и ночами, можно сказать, я думал об этом и должен, не откладывая больше, признаться Вам в тяжких сомнениях, возникших у меня относительно возможности втиснуть содержание, соответствующее заглавию планируемого труда, в один том, и даже если таковой будет издан самыми современными способами, сделать удобной для чтения книгу в тысячу с лишним страниц. Книга, какую задумало Издательство, неизбежно подвергнется критике со всех сторон. Из-за избытка материала, требующего отражения, отбор непременно покажется случайным, произвольным, субъективным и недостаточным, и пример тому уже немецкий раздел, куда предполагается включить три вещи. Если я вместо, вероятно, слишком все же объемистых «Страданий молодого Вертера» включу «Новеллу»², оставлю «Маркизу д'О»³, а вместо какой-либо своей вещи, которой в таком сборнике безусловно не место, возьму «Авдия» или что-нибудь лучшее из «Пестрых камней» Штифтера⁴, то будут отсутствовать Готхельф⁵ (Черный паук), Тик⁶, Гофман, прочая романтика, Келлер⁷ Конрад Фердинанд Мейер⁸, Штурм⁹ и бог знает, что еще. Но так же в сущности обстоит дело со всеми рубриками, с английской, русской, французской, итальянской, а также со скандинавской. В античной и азиатской литературе я слишком слабо подкован, чтобы располагать свободой для настоящего отбора, да и вообще из-за своей недостаточной начитанности я не очень-то гожусь для роли ответственного редактора такой мировой антологии.

Сколько текстов пришлось бы мне у Вас выпрашивать, сколько пришлось бы читать, чтобы иметь право хоть с какой-то серьезностью и ответственностью подписаться как ответственный редактор этой «домашней книги»! Бесконечно тяжела, бесконечно мучительна была бы для меня эта роль, как Вы ни склонны меня щадить. Притом я сейчас несколько недель проболел (я подцепил в Арозе какую-то довольно скверную вирусную инфекцию и лишь недавно вернулся из Кура, из кантонального госпиталя), все еще никак не приду в себя от этого приступа и терзаюсь из-за потери времени, от которой страдают мои планы и рабочие замыслы.

Должен признать, что мое обещание Вам, то есть издательству Деша, было дано легкомысленно и без настоящего представления о том, за что я брался. Это была бы, пожалуй, задача для Гофманстала, хотя, вероятно, у него возникли бы те же сомнения, что у меня. Кто сегодня подошел бы для этой роли вместо меня, сказать не могу. Может быть, Герман Гессе согласился бы. Во всяком случае я не смею задерживать Вас больше и

должен своевременно, то есть сейчас, сказать Вам, что вынужден отказаться от предприятия, трудности которого кажутся мне едва ли преодолимыми и которое при описанных обстоятельствах мне просто физически не по силам.

Мне ничего не остается, как выразить Вам и господину Дешу свое искреннее сожаление о том, что должен так разочаровать Вас. Может быть, в этих строках я придал слишком большой вес объективным трудностям, препятствующим этой смелой идее. Вы, сотрудники издательства Деша, более молодые, более энергичные и более стойкие перед лицом сомнений, чем я, возможно, и в состоянии справиться с этим великим предприятием и увенчать его успехом.

Этим пожеланием и заканчивает

преданный Вам

Томас Манн

285

В РЕДАКЦИЮ «ЗОНТАГА»

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
19 февраля 1955*

Глубокоуважаемые господа,

мне было приятно узнать о Вашем намерении перепечатать в Вашем еженедельнике к 150-летию со дня смерти Фридриха Шиллера мою картинку героической жизни поэта, «Тяжелый час».

Эту вещицу я написал в тридцатилетнем возрасте, в связи с сотой годовщиной смерти Шиллера, для лангеновского «Симплициссимуса»¹ и еще теперь с удовольствием вспоминаю, как тепло похвалили тогда мой рассказ редактор и его главный сотрудник, Людвиг Тома². Эта новелла, показывающая уже большого поэта в его кабинете в Иене в момент ночного единоборства с огромной темой «Валленштейна», всегда оставалась мила и мне лично, и я рад, что через полвека новая памятная дата опять привлекает внимание к ней. По ее виду можно, наверно, подумать, что она далась мне легко; но я помню еще, сколько биографических сочинений прочитал я, готовясь к этой работе, и сколько кропотливого труда вложил я в нее из благоговения перед своим великим объектом. При этом ведь ни имя Шиллера, ни название произведения, о котором идет речь, нигде не упоминается в этом рассказе, — что можно объяснить желанием автора подняться, при всей верности их, над частными и единичными обстоятельствами и сделать свою картину также символом одиноких мук всякого творчества.

Совсем недавно, для подкрепления своей исторической памяти, я вновь достал те же книги, что служили мне пятьдесят лет назад, чтобы повторить в большем масштабе то, что я делал тогда. Из торжественной речи, которую мне заказали и с которой я хочу выступить в обоих шиллеровских городах, Штутгарте и Веймаре, вышел объемистый очерк — я вряд ли

смогу прочесть вслух хотя бы четвертую его часть, он ищет слов, способных прославить особое величие этого гения, его щедрую, открыленную, пылающую, зовущую к взлетам огромность, какой не было даже в более мудрой природной величавости Гёте, огромность, проникнутую восторгом перед вселенной и человеечно-культурно-педагогическую, притом в высшей степени мужественную, отнюдь не прекраснодушную, очень реалистическую, способную к самым возвышенным успехам и дельно-земную, но в глубине своей устремленную к небесам, к свободе от брениности, к преобразению.

Я трудился любовно, и, наверно, несколько славных мест найдется в этом растянутом этюде моей старости. Но кто знает, не свежей ли, не проникновенней, не удачней, не долговечней ли оказался тот скупой тогдашний набросок и не выбираете ли Вы лучшее, возвращаясь по поводу предстоящей годовщины к нему.

Преданный Вам

Томас Манн

286

ГЕРМАНУ ЛАНГЕ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
19.III.55*

Дорогой Герман Ланге,

своим дружеским письмом ты доставил мне большую радость. От души спасибо тебе за добрую память! Моей жене, которой я дал прочитать твое письмо, особенно понравился твой заботливый совет мне соблюдать меру во время предстоящих празднеств и не перенапрягаться из чувства долга. Но что мне поделать? Штутгарт, Веймар и Любек, затем июньские торжества здесь, в общине Кильхберг и в Цюрихе. Это, право, минимум, к которому мы могли свести требования милого мира [...]. Странно, столько ведь у меня врагов и столько приходится глотать жаб (как говорил Золя), а все-таки на носорога всем любопытно взглянуть. Впрочем, не хочу быть несправедливым: часто ведь это подлинный интерес к моей жизни и моим писаниям, и не всегда тут легко становится в оборонительную позицию.

Так тронуло меня и так подошло к моему собственному душевному состоянию твое письмо потому, что оно полно старых воспоминаний и проникнуто прошлым. Особенно взволновало меня то, что в связи с любекским чествованием ты вспоминаешь моего отца. Я тоже его вспоминаю, да и в прошедшие десятилетия вспоминал часто, и часто желал, чтобы он мог проследить мой путь еще чуть подальше или как-то представить себе его. Иррациональное желание, конечно; ведь этот путь, начиная от «Будденброков», к персонажам которых принадлежит и он сам, мог быть пройден только без него. Но что я так и не подал ему надежды на то, что из меня, может быть, и выйдет еще какой-нибудь толк, об этом я часто жалею.

Старые мы стали — что касается меня, то стар я стал совсем неожиданно. Как далеки детство и юность вместе с упомянутым тобой видом из моей ученической комнаты на сад с фонтаном и старым деревом, орехом, игравшим роль в моих первых детских стихах. Всё или почти всё по-вымерло, ибо долго жить значит кого только не пережить, и от времен своей юности остаешься на свете чуть ли не один, стволом без листьев. Нет уже почти никого, с кем можно было бы перевероршить давнее и самое давнее, сказать друг другу: «А помнишь?» Возможно, это я вижу, собственно, лишь с тобой, и тут оказывается, что из всех тех товарищей юности, даже полного списка которых ты не даешь, ты был не только самым стойким, но и самым смышленным и способным к образованию. Совершенно невзначай (наверно, умышленно) в твоём перечне названо имя Армии Мартенс¹, а оно стóит того, чтобы подчеркнуть его красной линией. Ибо его я любил — он был в самом деле моей первой любовью, и более нежной, более блаженно-мучительной любви мне никогда больше не выпадало на долю. Такое не забывается, даже если с тех пор пройдет 70 содержательных лет. Пусть это прозвучит смешно, но память об этой страсти невинности я храню, как сокровище. Вполне понятно, что он не знал, что ему делать с моей увлеченностью, в которой я как-то в один «великий» день признался ему. Это зависело от меня и от него. Так эта увлеченность и умерла — задолго до того, как, первым из всех нас, где-то умер, где-то стал прахом он сам, очарованию которого возмужалость уже нанесла немалый урон. Но я поставил ему памятник в «Тонио Крёгере» — истории, ставшей уже во многих странах школьной немецкой книжкой (со словарем); и странно думать, что лица молодых англичан, американцев, французов, венгров сегодня склоняются над страницами, рассказывающими о нем и о моем страданье из-за него. Странно подумать также, что все назначение этого сына человеческого состояло в том чтобы вызвать чувство, которому суждено было однажды стать долговечной поэмой. . .

Кланяйся от меня твоей милой жене и будь благополучен!

Твой Томас Манн

287

ФРАНЦУ К. ВАЙСКОПФУ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
8 апреля 1955*

Дорогой господин Вайскопф,

уже с середины марта лежит Ваше письмо у меня, и я очень боюсь, что все еще не собрался поблагодарить Вас за него — поблагодарить за известие о том, как дружески Ваш журнал¹ намерен отметить мое 80-летие, — каковое, впрочем, занимает меня куда меньше, чем предшествующие, безусловно предшествующие ему шиллеровские торжества, к которым я лично готовлюсь в полную меру своих сил.

Вы очень трогательно говорите о тесной связи с моим творчеством немецких писателей и их читателей в Германской Демократической Республике, — связи, которую «Нойе Дойче Литератур» часто отражала и собирается отразить в июне особым образом. Эту-то связь я и хочу засвидетельствовать со своей стороны, когда в мае приеду в Веймар, чтобы сказать некое далеко не исчерпывающее, но исполненное любви слово о Фридрихе Шиллере, герое немецкого языка, немецкого духа, человеке, во имя которого Германия, вопреки неестественной политической разобщенности, пусть предстанет торжественно единой перед всем миром. Внести свой вклад в эту картину, которая, надо думать, повсюду произведет впечатление, будет для меня радостью.

Позвольте мне предпослать своему приезду привет Вашим читателям, одним из которых являюсь я — притом таким, который искренне ценит смысл и качество Вашей публицистической работы. Благодаря Вашей любезности я регулярно просматриваю НДЛ и могу, пожалуй, сказать: нет ни одного номера, где я не нашел бы чего-либо поучительного, привлекательного, заставляющего задуматься. К шиллеровскому юбилею журнал приготовился заблаговременно: я отложил августовский номер за прошлый год со статьей Эдит Бремер² о «Вильгельме Телле» — это выдающаяся историко-критическая работа. Вряд ли весь шиллеровский год даст много лучшего, чем это, много столь же хорошего. А это только пример интеллектуального уровня Ваших материалов.

Германия в целом не бедна сегодня высококачественными и интересными литературными журналами. К давно существующим «Нойе Рундшау», «Дойче», «Хохланду» и другим прибавились сейчас новые: «Меркур», «Зинн унд Форм», «Акценте» и «Тексте унд Цайхен»³, не говоря о прочих. Среди них «Нойе Дойче Литератур» исполняет свою партию с прекрасным и успешным усердием. Я желаю журналу множества читателей, множества лет издания, радостного и свободного труда на поприще немецкой духовной культуры.

Преданный Вам

Томас Манн

288

ФРИДО МАННУ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
11 апреля, 2-ой день Пасхи*

Дорогой Фридо,

Ты написал мне так мило и славно, и красивым почерком, большое спасибо! Только надо бы тебе еще ставить дату над своими письмами, справа вверху: «Фьезоле, такого-то числа». Так полагается. Но за лень можешь себя не ругать, ведь это же трогательное прилежание, если ты прочел всех «Будденброков». Да еще сверил героев с мемуарами дяди

Вико. Так поступают и студенты, изучающие литературу, пишут потом так называемую диссертацию и становятся за это *Dг. phil**.

С немалым любопытством жду истории, которую ты собираешься написать во время летних каникул! Хочу прочесть ее сразу, как только ты закончишь ее, и, может быть, дать тебе какой-нибудь совет, хотя бы по поводу формы. Жаль, что ты еще не сможешь привезти ее с собой, когда приедешь в синем костюме. Мы очень смеялись над ошибочным твоим замечанием, что Голо хочет пробыть во Фьезоле по меньшей мере до своего собственного восьмидесятилетия. «Что?! Так долго?!» Ты, наверно, пошутил или ты действительно думал, что твой дядюшка просидит 40 лет в номере Меди?

До восьмидесятилетия, которое он имел в виду, времени ведь и правда уже немного, но до этого у меня еще будут всякие передряги и приключения: в начале мая шиллеровские торжества в Штутгарте, где у меня будет этакое миннезингеровское состязание с федеральным президентом Хейсом; а оттуда я подамся к красным, в Веймар, и западногерманские газеты начнут ругаться, потому что я нахожу, что люди там тоже люди и тоже немцы, которые рады, когда к ним приезжаешь и рассказываешь что-нибудь о Шиллере им тоже. Из Веймара мы отправимся в Любек с официальным визитом, к которому приурочили краткий отдых в Тра-вемюнде у моря; ты ведь знаешь это место по «Будденброкам». Потом последуют здешние торжества, а в начале июля мы собираемся в Голландию, где я тоже должен выступать в Амстердаме и Гааге. Я слышал, что тамошняя госпожа королева хочет наградить меня каким-то высоким орденом, что доставляет мне удовольствие потому, что в Бонне будут злиться на это.

Ты пишешь, что папа и мама приехали «позавчера» и ездили с вами в Сиену. Но это ведь устаревшие сведения, ведь папа Биби сейчас в Америке и уже в Калифорнии, и я полагаю, что вскоре вы все укатите туда, даже хочу этого, потому что был бы рад, если бы папа получил там хорошее преподавательское место. Но есть тут и огорчительная сторона, потому что мы будем так далеко друг от друга. Ну, да ведь до этого будет еще встреча в синем костюме. Но жить Вам придется, наверно, у папса и мамса¹, потому что здесь дом заполнят тетя Меди, Гогои, Ника и Голо.

Всего тебе лучшего! Милейн, тетя Эри, Мария и Нико, который очень мил и забавен, шлют тебе горячий привет.

Твой дедушка

* Доктор философских наук (латинское сокращение).

289

МАРТЕ ГАРТМАН

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
15 апреля 55*

Глубокоуважаемая фрау,

если Вы хотите сделать мне одолжение, то воздержитесь от этой публикации, которая, при самых лучших и дружеских побуждениях, произвела бы, возможно, впечатление известного диссонанса. «Единоголосно» звание почетного гражданина¹ было присвоено — это мне ясно — лишь потому, что не явились именно те, кто был против, и у меня нет никаких иллюзий насчет того, что какая-то обида, причем не только из-за «Будденброков», у наших любекцев останется навсегда. Внешне же, официально, для мира, мой визит должен являть картину окончательного примирения и гармонии, и тут мое тогдашнее письмо, которое мне даже не особенно нравится, лишь всколыхнуло бы неприятные воспоминания. Давайте-ка откажемся от этого.

«Ключ» к Будденброкам прилагаю опять. Он весьма глуп и неверен. Большинство предполагаемых прототипов я вообще не знал. Характерно, что Иду Юнгман отождествляют с компаньонкой моей бабушки Идой Бухвальд, тогда как передо мной маячила скорей наша «фрейлейн», Ида Шпрингер из Мариенвердера, что в Западной Пруссии. Лейтенант фон Трота — это свободный вымысел, и ни о каком графе Гёбйессе или Гёбйене я понятия не имел. Еtc.

С большой благодарностью и дружеским приветом

Преданный Вам
Томас Манн

290

АЛЬБРЕХТУ ГЕЗУ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
17 апреля 55*

Первым делом милость и мир, начал бы брат Мартинус Элевтериус, августинец. Дорогой господин Гёз! С огорчением вспомнил, что так и не поблагодарил Вас за Ваш подарок, Ваше «Жертвенное животное». Эта прекрасная книга пришла в то время, когда я невероятно, почти смешно корпел над своей шиллеровской статьей, а потом я заболел. [...] Впрочем, я уже снова сильно простужен, это теперь случается со мной слишком часто, но это не должно помешать мне отдать наконец просроченный долг благодарности и сказать Вам, как взволновала меня Ваша строго-скромная и полная человеческого величия поэма, девиз которой — слова: «Нужно, чтобы иногда кто-то и вспоминал». В этом нападении и свидетельстве есть какое-то восполнение, что-то от жертвы за всеобщую забывчивость, которая дарована нищим духовно и которой Вы, поэт, не даровали себе.

Это великолепно. Бедный Пенцольдт¹, о ком я искренне скорблю, писал: «Благодарю бога за то, что ничего не смыслю в политике». Но это было самообманом и игрой в прятки. Водородная бомба, например, тоже политика, и тот, кто не воспринимает ее как святотатство, проявляет религиозную тупость, которой я, как я ни слаб в вере, понять не могу. Мир, рассматривающий космическое пространство как подходящее место для стратегических баз и дразнящий солнечную силу, чтобы сделать из нее оружие массового уничтожения, вызывает у меня чувство сопротивления, которое я, немного стесняясь, не могу объяснить и определить иначе, как религиозное чувство. Для меня Ваше «напоминание» с помощью маленького человека, жены мясника, захватывает и охватывает все это тоже.

Всего Вам доброго! [...]

Ваш Томас Манн

291

ГВИДО ДЕВЕСКОВИ

*Кильхберг-на-Дюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
1 мая 1955*

Глубокоуважаемый господин Девескови,

очень благодарен Вам за недюжинный подарок, Вашу работу о «Докторе Фаустусе» и за в высшей степени приятную надпись, которой Вы снабдили ее. К стыду своему, должен признаться, что я плохо читаю по-итальянски и не всегда точно улавливал Ваши мысли. Но любопытно, как много все-таки понимаешь, когда речь идет о тебе самом и о твоём; а уж когда речь идет об этой книге, которая осталась ближе моему сердцу, чем все другие, потому, наверно, что она обошла мне дорожку всех, то я способен вообразить себе вдруг, что хорошо и бодро читаю даже на языках, более чужих мне, чем полужнакомый с юности и привычный для слуха итальянский.

Что мне прежде всего стало ясно из Вашего глубокого исследования, так это Ваша огромная германистская образованность, восхищаться которой есть все основания именно у меня. Чего Вы только ни восприняли из немецкого богатства идей, чего только не прочитали, хотя бы лишь моего и обо мне — о «Фаустусе» пятнадцать работ, которые и мне-то ни разу не попадались, — к счастью, сказал бы я; ведь среди них много враждебно-отрицательного, и это почти поразительно, что вся хула, Вами проработанная, не смогла окончательно убить Ваш интерес к этому роману, Вашу чуткость к его курьезной и радикальной прямоте. Для меня в этой книге есть еще что-то от лейденской банки, до которой нельзя дотронуться, не получив электрического удара. Но, конечно, тупость и принципиальное неприятие от этого закалены.

Брошюру Гольтхузена¹ я никогда в руках не держал. Мне ее не прислали, а я ее не запрашивал. Свою уничтожающую критику он с тех пор, говорят, успел поубавить. Когда из-за нее его с некоторым неодобрением

заставили объясниться, он будто бы ответил: «Надо было что-то предпринять. Он же подавляет нас всех». Такой цели эта скорбная книга, стоящая как бы вне литературы, право же, не преследовала.

К далеко лежащим вещам, до которых простирается Ваша необычайная для иностранца начитанность, относится статья Рихнера «Т. М. и политика». Это была умная, высокого класса работа, которая, однако, уже критически превзойдена статьей Альфреда Андерша² в новом журнале «Тексте унд Цайхен» (номер 1). Статья называлась «Глазами Запада, Т. М. как политик» и психологически была самым правильным из всего, что говорилось особо о моем отношении к «Востоку». Позвольте Вам указать на нее!

Особенно глубоко тронуло меня Ваше замечание: «La figura di *Heinrich Mann*, oscurata dalla grande ombra del fratello per tanto tempo, appare oggi sempre più nella sua giusta luce et grandezza»*. Хорошо бы это было правдой! Репутация покойного официально очень высока в коммунистической ныне части Германии, но на Западе, за немногими исключениями, одно из которых Вы приводите, царит молчание о нем, и его любимая Италия, его еще более любимая Франция тоже не проявляют особого неравнодушия к его творчеству, которое носит явную печать романской школы и в котором есть такие совершенно гениальные вершины, как «Маленький город», «Профессор Унрат», «Генрих IV» и еще поздний шедевр «Обзор века». Уверяю Вас: боязливое смущение по поводу затемняющей grande ombra тянется уже со времен «Будденброков» через всю мою жизнь. Я, правда, тоже способствовал европеизации немецкого романа, но манера, в какой я это делал, была более традиционно-немецкой, более близкой к музыке, более привлекательно-иронической, чем его, — преимущество сомнительное, но преимущество именно в глазах немцев и латинских германистов. При этом внутреннее мое отношение к старшему и к его непреклонному в своей духовной гордости творчеству всегда было отношением смотрящего снизу вверх меньшего брата, и автобиографично в этом смысле «Королевское высочество», где Клаус Генрих говорит своему брату, великому герцогу: «Я всегда смотрел на тебя снизу вверх, потому что всегда чувствовал и знал, что ты выше меня, ты аристократ, а я по сравнению с тобой — плебей. Я совсем не чувствую себя представительным и всегда ощущал свою левую руку как помеху, потому что должен ее прятать, но если ты считаешь меня достойным стоять рядом с тобой, носить принадлежащий тебе титул и представлять тебя перед народом, — мне не остается ничего иного, как поблагодарить тебя и сказать, что я к твоим услугам».

Я представлял «Альбрехта» перед народом per tanto tempo**, со всеми родственными чувствами, которые были обоим нам свойственны. Англичанин Гарольд Никольсон³ написал однажды что-то насчет «that amazing

* «Фигура Генриха Манна, на которую долгое время падала великая тень его брата, все больше предстает сегодня в своем подлинном свете и величии» (итал.).

** Долгое время (итал.).

family»*, и это обрадовало меня больше, чем какая-либо похвала, адресованная мне лично. Вообще-то я совершенно спокоен за то, что потомство проявит справедливость в отношении иерархии в этой family**. Но я был неописуемо потрясен, и мне показалось, что я вижу это во сне, когда незадолго до своей смерти Генрих подарил мне одну из своих книг с надписью: «Моему великому брату, который написал „Доктора Фаустуса“». Что это? Как это? Ведь великим братом всегда был он! И я подбоchenился и вспомнил слова Гёте о глупом споре немцев, кто более велик, он или Шиллер: «Им бы радоваться, что у них есть два таких парня!»

Преданный Вам
Томас Манн

292

РОБЕРТУ ФЕЗИ

Бад Киссинген.
11 мая 55

Дорогой профессор Фези,

в последнюю минуту перед нашим отъездом я получил Ваше доброе письмо, Вашу прекрасную книгу¹, дружески приемлющую мое бытие. Большое спасибо за этот первый подарок к моему восьмидесятилетию, который останется, наверно, самым значительным. В свободные минуты я уже кое-что прочел и полагаю, что у человека на душе лучше, когда он старается что-то понять и отдать должное тому, что есть, чем когда он, как Гольтхузен², бранит и хулит. Ваш голос звучит спокойно и любезно, сохраняя притом полное достоинство, а голос этого ненавистника срывается и визжит. Говорят, впрочем, что он уже не в таком ладу со своим благочестивым памфлетом.

Особенно благодарен я Вам за то, что Вы отмечали в своей книге *швейцарские* мотивы «Фаустуса», чего еще ни разу не случилось. Сразу же во вступительном письме, а потом по поводу маленького Непомука, чьей «функцией» было увести язык из лютеровской сферы назад в средневерхненемецкую. Там точка соприкосновения с «Избранником». Малыш, слава богу, хорошо перенес тот факт, что его убил злодей. Ему уже скоро пятнадцать, и на мой день рождения он придет из Флоренции, где учится в швейцарской школе, к нам в Кильхберг «в синем костюме с длинными брюками», как он пишет. Он понятия не имеет, что его однажды унес дьявол, но я всегда чувствую себя немного перед ним виноватым и радуюсь каждому году, на который он становится старше. Впрочем, ничего навещающего на мысли о богоявлении в нем уже нет.

Здесь мы несколько дней отдохнем. В Штутгарте я поработал не хуже какого-нибудь швейцарского солдата. Но шиллеровская речь понравилась. В конце люди поднялись с мест. До скорого свидания! И еще и еще спасибо!

Ваш Томас Манн

* «Этой удивительной семьи» (англ.).

** Семье (англ.).

293

ВАЛЬТЕРУ РИЛЛЕ

Временно — Травемюнде.
20 мая 1955

Дорогой господин Рилла,

Ваше письмо от 4-го этого месяца — у меня. Я получил его, с изрядным опозданием, в Бад Киссингене, где мы пробыли несколько дней, между Веймаром и Штутгартом.

Вам, наверно, давно уже кажется, что мое поведение чудовишно. Если бы только я мог объяснить Вам, почему так вышло! Единственно правильным было бы в свое время сразу же подтвердить получение Вашей книги¹ и пообещать, что свои впечатления я сообщу Вам в более благоприятный момент. Вместо этого я молчал, и молчал потому, что на несколько недель, а то и месяцев мне пришлось забросить свою переписку.

[...]

Это не значит, что тем временем Ваш роман выпал из моего поля зрения. Я читал его, когда выздоравливал, с большим волнением, с большой радостью. Многие в нем меня по-настоящему восхитило, кое-что удивило, но читал я с неизменным вниманием, с неизменным чувством, что передо мной богатое мыслями, живое произведение, и тем большим бременем на моей совести было отсутствие у Вас каких-либо вестей о моем участии, каких-либо знаков его. Это судьба женщины, не только мастерски рассказанная (моего знания английского, как-никак, хватает на то, чтобы судить о достоинствах стиля), но и обладающая интересной психологической сложностью, которая покоряет и занимает читателя смелостью и убедительностью. Говоря об удивлении, я хотел сказать, что, как ни уверенно ведется повествование, я соглашался с Вами не во всех его пунктах. У меня нет достаточного покоя, чтобы это разъяснить, надо нам как-нибудь при встрече поговорить об этих сомнениях.

Рискуя показаться педантом, я позволю себе два конкретных замечания. В самом начале важнейшее впечатление ребенка Барбары — зрелище покрывающего корову быка. Так вот, мне кажется, что это происходит не так, как Вы описываете, — скорее как в курятнике, чем как на выгоне. Насколько я знаю, оплодотворяемая корова должна быть тщательно подготовлена, и бык отнюдь не может сорвать удовольствие, сообразуясь только с собственным желанием.

Или нечто другое: Вы описываете первые движения плода у беременной молодой женщины. Уже то, что она, будучи замужем за врачом и постоянно находясь под наблюдением специалиста, приходит от этого в такой неопикуемый испуг, более, чем невероятно, поскольку ведь каждую будущую мать заблаговременно предупреждают об этом явлении. Совершенно неверно, что приглашенный гинеколог находит положение вполне нормальным и предсказывает, что ребенок родится через пять-шесть недель, ведь плод начинает шевелиться почти точно в середине беременности, так что либо одно, либо другое с медицинско-биологической точки зрения неубедительно.

Видите, я читал внимательно! Но такие мелочи нисколько не мешали мне наслаждаться книгой, ценность которой для меня несомненна и которую я буду рад еще раз прочесть в немецком переводе. Хотел бы еще особо отметить, что не раз уже описанный процесс родов — мне прежде всего вспоминается непревзойденная сцена у Толстого в «Анне Карениной» — Вам удалось увидеть по-новому и уникально и что особенное впечатление на меня произвела последняя часть книги, где речь идет о воздушной тревоге в Лондоне.

Для меня будет истинным облегчением знать, что эти строки — хоть и скудные — находятся у Вас в руках. Вы, конечно, уже опять работаете над новым произведением; но с этим давно пора поздравить Вас от души.

Всегда

Ваш Томас Манн

294

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39.
10 июня 55*

Дорогой Герман Гессе,

Вы знаете по собственному опыту, каково мне было и какая у меня обстановка¹. Я сочинил и отдал в печать на диво красивую карточку, которая не сегодня-завтра будет готова для рассылки, но в Вашем случае карточка не решает вопроса. Не решен он будет и так, но хочется сразу поблагодарить Вас, мой дорогой, за те добрые, так самобытно отмеченные печатью Вашего духа слова, с какими Вы обратились ко мне в «Нее Рундшау» и в другом месте, слова единства, которым я дорожу так же, как Вы, и тонкой насмешки над остолопами, его не понимающими, досаждающими на него и пытающимися ему помешать.

При внутренней усталости и скепсисе, держась внешне как можно бодрей и общительней, я прошел через многое: сперва через шиллеровскую поездку и официальный визит в Любек, затем через здешнюю юбилейную свистопляску, которая продолжалась 4 дня и лишь постепенно стихает. Наш милый мир и прежде всего наша милая Швейцария сделали все, чтобы вскружить мне голову, но тут нашлись для сопротивления вполне здоровые силы. Наибольшее удовольствие доставила мне степень доктора естествознания, фантастическим образом присужденная мне Высшим Техническим Училищем Швейцарской конфедерации. Это, как-никак, нечто новое и оригинальное. Кстати, говоря между нами, я очень скоро стану швейцарцем, через общину Кильхберг. Федеральный Совет, кажется, согласен, чтобы это произошло в обход обычного порядка, о чем говорит и тот факт, что Петипьер² приехал сюда на празднество, в дом Конрада Фердинанда Мейера³, и произнес немецкую речь с прелестнейшим французским акцентом. Что французского акцента эти праздничные дни и вообще не были лишены, радует меня, признаться, особенно. Прибыл сбор-

ник «Hommage de la France à T. M.» * с поздравлениями и статьями множества французских писателей и государственных деятелей. Я нахожу все это charmant **, хотя прочел еще далеко не все.

Но надо сказать, что пришла и сдержанная телеграмма от германского федерального министра внутренних дел, Шрёдера. Наверно, он добился разрешения на это у Аденауэра в серьезном разговоре.

Всего Вам доброго, Вам и фрау Нинон, на которую мы были *немного* сердиты за то, что этрусски так-таки взяли у нее верх над нами ⁴. Мне становится стыдно, как подумаю, что Вы тем временем жили в строго сосредоточенном, разумном покое, а я не уберег своей жизни от какого-то праздничного распада. Ваша твердость в отношении таких соблазнов образцова. Но кто так уж строго следует своим образцам!

Ваш Томас Манн

295

МАРТИНУ ФЛИНКЕРУ

*Кильхберг-на-Цюрихском озере,
Альте Ландштрассе, 39,
14 июня 1955*

Дорогой д-р Флинкер,

телеграмма, посланная Вам мною сразу по получении книги «Hommage de la France à T. M.» *, дала Вам почувствовать, какую радость доставил мне с первого же взгляда, при первом же перелистывании этот совершенно необыкновенный подарок. С тех пор я много читал ее, прочел, кажется, *все*, и моего удовольствия по поводу этой драгоценной почести не может — выразимся осторожно! — превзойти удовольствие, доставленное мне какими-либо из всех тех почестей, которые оглушающе свалились на меня в эти дни.

Свою благодарность я адресую Вам, потому что Вы были инициатором этого удивительного проявления французской симпатии к труду моей жизни и прибавили от себя добрые слова, подтверждающие мне то, подтверждение чего мне всего приятней, — что я сумел внять совету Гёте, как «не стоять на месте, а двигаться вперед»:

Новое приветливо принять,

Старое любовно сохранять.

Под таким девизом Вы привели ко мне цвет Франции, всю духовную аристократию нации во главе со знаменитыми государственными деятелями, чтобы они, будь то лишь скрепляющей подписью, или скупыми словами товарищеского единства, или даже — и в каком обилии! — художественно построенными эссе, поздравили меня с моим поздним праздником

* Франция чтит Т. М. (франц.).

** Очаровательным (франц.).

жизни — событие, которым я глубоко взволнован, более того, потрясен. Можно ли мне попросить Вас поискать способов и путей, чтобы передать мою благодарность всем-всем, кто участвовал в появлении на свет этого бесценного документа?

Немного встревожило и смутило меня при его изучении вежливо-укоряющее замечание нашего дорогого, уважаемого Жоржа Дюамеля¹, что когда-то он читал какую-то мою статью, где я утверждал, будто «dans l'époque contemporaine» * Франция уже не рождает больших романистов! Что же это за статья, как мог я так оговориться или в каком переводе ее прочел Жорж Дюамель? Что я, порой немного *laudator temporis acti* **, действительно мог сказать, так это простую истину, что вообще в двадцатом веке размах художественного свершения, личности художника стал меньше, чем он был в девятнадцатом веке. Я порой выступал защитником этой ушедшей и бессмертной эпохи, которой я стольким обязан, от современной надменно-пренебрежительной критики. Английский, русский, французский роман, французская живопись, немецкая музыка девятнадцатого века — нет, неплохое это было время, оглядываясь назад, видишь целый лес великих мужей, почти тропическое изобилие великолепия, рядом с которым мы со всеми нашими крохами утонченности ничего равного поставить не можем. Разве это оспоришь? Но что Франция, страна Роже Мартена дю Гара, Сент-Экзюпери, Мориака, Жюль Ромена, Сартра, Камю и некоего Жоржа Дюамеля, чтобы назвать лишь нескольких, уже не рождает замечательных романистов, что Франция пребывает в литературном упадке, нет, такого вздора я сказать не мог.

Франция вообще не пребывает в упадке, как о том болтают иные. Мирное развитие нанесло значительный урон силе и власти Европы в целом. Но если я тем не менее убежден в прочности духовного авторитета Европы в мире, то это убеждение опирается как раз на Францию. Страна, в естестве своем благословенно здоровая, может и позволить себе политическую нервозность, которая свойственна ее гению и, вовсе не будучи признаком спада и разложения, представляет собой некую смесь веселья и героики, какой не являла ни одна более крепкая с виду нация. А что касается мощи культурной, то именно из Франции, этой освещенной умом лаборатории цивилизации, все еще идут тончайшие плоды европейской чувствительности, художественного экспериментирования Европы в поисках образцово-чистейших форм. Так и будет. Для кого Франция — не литературная страна *par excellence* ***? Если правда, как полагает Жюль Ромен, что я научил немецкую прозу чему-то, чего она раньше не знала, то произошло это, конечно, в традициях таких великих немецких творцов языка, как Лютер, Гёте и Ницше, но как могло бы это произойти, если бы я, как уже и позднейшие из этой тройки, не был прилежным учеником французской школы?

* В современную эпоху (франц.).

** Склонный хвалить минувшие времена (лат.).

*** В первую очередь (франц.).

Говоря в шутку, кто рожден музыкантом, тот уже почти немец, а кто предан литературе, тот наполовину француз. Подобно большинству из вас, коллеги-французы, я ношу в петлице многозначительную розетку², ношу демонстративно и гордо, и пусть, в отличие от гейневского гренадера, я хочу, чтобы меня, когда я умру, похоронили не во французской земле, а в швейцарской, однако, подобно ему, я скажу:

Ты орден на ленточке красной
Положишь на сердце мое³.

Ваш Томас Манн

296

КАРЛУ БАХЛЕРУ

*Нордвик-ан-Зе, Голландия.
8 июля 55*

Глубокоуважаемый господин доктор Бахлер,

горячо благодарю Вас за Ваше письмо от 2 этого месяца и за интерес, проявляемый Вами и Вашей газетой к «Фьоренце» в постановке нового главного режиссера Бременского театра, господина Липперта¹, ожидаемой уже в начале сентября. Незачем говорить, что я, некогда сочинивший эту пьесу или не пьесу, а неведомо что, какой-то гибрид, живо разделяю Ваш интерес, чтобы не сказать: Ваше любопытство, и на сей раз жду этого эксперимента — ведь, пожалуй, каждую постановку «Фьоренцы» можно назвать таковым — с особенным нетерпением, даже с известными надеждами.

Если такой опытный практик театра, как главный режиссер Липперт — не заурядный, разумеется, практик, а человек талантливый, — решается, и притом с явной радостью, связать свое большое режиссерское имя с этим произведением моей юности, то это подтверждает мою убежденность в том, что оно содержит элементы, пригодные для театра, даже взывающие к театру, — я думаю не столько об отдельных благодарных ролях, которые оно дает, сколько об его диалектическом нерве, который так родствен драматичности, можно даже сказать — тождествен ей. Пытаясь припомнить, что побудило меня тогда придать своим видениям диалогическую, сценическую форму, — без серьезного интереса к театру и его требованиям, хотя бы лишь в отношении времени, я всегда прихожу к выводу, что навел меня на это диалектический, воинственно-противоречивый, внутренне-дискурсивный характер сюжета: столкновение, соперничество, борьба за высшую награду, за господство, за власть двух импульсов воли — эстетического и религиозного, идеи вечного праздника и идеи освящающего одухотворения жизни, — первую олицетворяли Медичи и его гуманистическая дружина, художническая братия, вторую — Савонарола, которого я брал не в историко-религиозном плане, не как предтечу Реформации, а символически, как антагониста красоты, как аскетически-пессимистического критика жизни: как мрачно-завлекательного пророка чистого духа, как тоже художника, но который, будучи «одновременно святым», делает

«нравственность снова возможной» в эпоху, избалованную высокой эстетической культурой и падкую на всякие новые острые ощущения.

Диалектика и символика — это соблазн для театра, даже если он с ними совершенно не склонен считаться. В самом деле, сдана снова и снова возвращалась к этой «пьесе» — принимая все те ограничительные, сдерживающие меры, каких требует постановка. Я видел «Фьоренцу» в прежние годы в разных местах: во Франкфурте, где довольно смело и не без успеха положил начало Карл Гейне², в Мюнхене, у Рейнгардта³ в Берлине, в Бохуме (в постановке Саладина Шмитта⁴), прежде всего, вскоре после первой мировой войны, в Вене, где благодаря стечению разных обстоятельств получился спектакль, наиболее успешно успокоивший мою обычно нечистую после каждой постановки театральную совесть. Площадкой был Академический театр, устроитель — Литературное общество, составившее из артистов Бургтеатра и Народного театра ансамбль превосходных чтецов, — ведь, конечно, читать, хорошо читать нужно эти сцены, целиком подчиненные стилизованному слову. Но больше всего способствовала успеху какая-то атмосфера времени, настроение общества, ввергнутого революционными историческими событиями в проблемы, в кризис, в духовную напряженность и реагировавшего на напряженную духовность этих диалогов как на нечто знакомое, «подходящее», соответствующее современности. Странное дело: в этой квазидраме, написанной в обстановке полного мира и кажущейся устойчивости всего на свете, за целое десятилетие до катастрофы, оказалось, как это бывает в поэтических произведениях, некое предвосхищение, которое роднило ее с духовной атмосферой 1919 или 20 года больше, чем с атмосферой 1904.

Думаю, что не совсем напрасно пытаюсь уловить ход мыслей, побуждающих нового главного режиссера Бремена предпринять сегодня опять попытку с «Фьоренцой». Он, наверно, покажется смельчаком — а он просто, может быть, достаточно умен, чтобы не быть умником. Разве мы, да еще взволнованней и напряженней, чем в эпоху, когда Фердинанд Онно⁵ с незабываемой выразительностью играл в Вене приора собора Сан-Марко, не живем в эпоху кризиса и проблематики идеологических битв, когда аскетически-диктаторский дух политического доминиканства, дух, чьей притягательной силы мы не можем отрицать целиком, тоже, пожалуй, угрожающе заносит кулак на «свободу», «красоту», высокую эстетическую культуру и чувственное счастье? Диалоги в день смерти Лоренцо Великолепного не лишены аллегорической связи со всем этим. И потом развитие театра за время жизни последнего поколения! С помощью все утончающейся сценической техники это развитие привело к знаменательной независимости от старых правил и создало публику, которая, благодаря эпической, интеллектуальной, символической, разрушившей деление на акты и распавшейся на мелькающие картины драме, пришла к совсем иным, чем прежде, представлениям о театральном вечере.

Не эти ли обстоятельства приводят Вас, господин режиссер, в столь сангвиническое настроение ввиду Вашей рискованнейшей попытки, на которой и шею сломать недолго? Что мне предпринять против Вашей веры?

Разуверить Вас в ней? Но я почти готов ее разделить! Впрочем, «сломайте себе шею и ноги»⁶ — традиционное напутствие в театре. Примите же его от меня — и Вы, и храбрые Ваши артисты!

Томас Манн

297

ЛЮДВИГУ КУНЦУ

Нордвик-ан-Зе, Голландия.
12 июля 55

Глубокоуважаемый господин Кунц,

кино само считает себя «промышленностью», с известной гордостью и не без основания. В Америке оно называет себя «The Industry»*, в Германии — «Die Branche»**. Это не пахнет искусством. Это пахнет трезвым самопознанием. Ведь как средство массового развлечения кино действительно имеет свои непреложные индустриальные законы, которыми тем более нельзя пренебрегать, что оно, во все большей мере, связывает с ними свое художественное честолюбие и в иных, отнюдь не малочисленных, выдающихся случаях умудрялось удовлетворять это честолюбие самым очаровательным образом.

И как искусство кино имеет свои законы, отчасти соприкасающиеся с производственными; но есть множество фильмов, обладающих более высокой художественной ценностью, чем средней руки роман, так что на общий вопрос о том, что выше — кинематограф или роман, — практически можно ответить лишь в зависимости от конкретных объектов сравнения.

Техническое и художественное развитие кинематографа в последние десятилетия так внушительно, что мой интерес к нему непрерывно растет, и я горячо желаю, чтобы мои собственные повествовательные произведения были перенесены на экран — при условии, что это будет сделано с такой же любовью и тактом, как экранизация «Королевского высочества»¹, зрелище действительно хорошего вкуса, радующее глаз, развлекающее широкую массу и притом вбирающее в сферу фильма многое от идейных замыслов, да и от характеров этого романа.

Конечно, мне приятно, что моя книга продолжает жить наряду с фильмом. Но я не верю, что экранизация непременно уничтожает хороший роман. Для этого природа кинематографа слишком близка природе повествования. Он куда ближе к повествованию, чем к драме. Он есть зримое повествование — жанр, с которым не только можно мириться, но на будущее которого можно возлагать большие надежды.

Преданный Вам

Томас Манн

* Промышленность (англ.).

** Отрасль промышленности, специальность (нем.).

298

ГЕНРИ В. БРАННУ

Нордвик-ан-Зе, Голландия.
16.VII.55

Дорогой господин д-р Бранн,

знай Вы, какая обстановка была у нас в Кильхберге после утомительной шиллеровской поездки и визита в Любек, что творилось в проклятый мой день рождения и еще несколько недель потом, Вы быстро простили бы меня за то, что до меня по-настоящему не дошел серьезный смысл Вашего поздравительного письма и я не отреагировал на него так, как то было бы естественно. Сейчас, задним числом, хотя бы дела тем временем и поправились, я сильно испуган. Было, видимо, скверно, и хотя Ваша природа выдержала испытание с честью, я всячески предостерегаю Вас и прошу, чтобы Вы еще долго щадили себя и не вели себя так-таки, как здоровый. После такого приступа сердце уже не совсем прежнее. Нужны осторожность и осмотрительность, и в физиологическом плане лихая цитата из Ницше¹ не совсем справедлива. Ваш врач, конечно, сказал Вам, что Вы можете дожить до глубокой старости, если сделаете умные выводы из того, что случилось. Вообще же я рад видеть, как Вы наслаждаетесь своим выздоровлением и чувствуете в себе силы для новой работы. Всяческого Вам добра!

Что касается меня, то я могу лишь удивляться, как это я, несмотря на отчасти неправильный и вредный образ жизни (курение!), всё так и тяну без серьезных неприятностей, в 80 примерно так же, как в 60. Есть известная восприимчивость к инфекциям, от пересыхания слизистой оболочки горла мне трудно есть, так что я похудел. Но ведь говорят, что в старости лучше быть худым, чем толстым. А жизнь становится всё курьезней и ошеломительней. Теперь поступают командорские кресты и *pour-le-mérite**, грамоты о почетном гражданстве и все такое прочее, и хорошо еще, что в этот густой мед нет-нет, да вливаются освежающие и отрезвляющие потоки яда, желчи и яростной хулы по моему адресу. А то ведь бог весть что возомнишь о себе.

Ваш Томас Манн

299

ЭРИХУ ФОН КАЛЕРУ

Цюрих, Кантональная больница.
5 авг. 55 г.

Дорогой, добрый друг Эрих,

я так тронут тем, что, несмотря на болезнь, операцию и перегруженность работой, Вы все-таки не преминули написать это прекрасное, милое письмо к моему дню рождения. Послал ли я Вам благодарственную открытку с личной припиской? Надеюсь. На всякий случай хочу еще раз поблагодарить Вас за память и заверить Вас, что я, как и Катя, с ра-

* «За заслуги» (франц.) — название ордена.

достью жду Вашего приезда в Европу и встречи в Кильхберге в сентябре. К тому времени я ведь, бог даст, буду опять на ногах и дома, какой бы хронический характер ни носила эта болезнь.

Странно шла моя жизнь с тех пор, как я получил Ваше письмо. Я вполне браво перенес шиллеровские поездки в мае, затем юбилейную суматоху в Кильхберге и Цюрихе, а потом в начале июля еще и торжества в Амстердаме и Гааге, вероятно все же благодаря душевному подъему из-за награждения командорской звездой высокого ордена Оранж-Нассау, за которое я, тогда еще совсем здоровый, поблагодарил любезную Юлиану¹, посетив ее в ее летней резиденции. Ездил я туда из нашего любимого Нордвика, где мы остановились в хорошо знакомой гостинице «Гуйс тер Дуйн» и которым я наслаждался две недели, занимаясь по утрам легкой работой в своей пляжной кабинке. Потом вдруг что-то случилось с моей левой ногой — я принял это за ревматизм и хотел мимо этого, хромя, пройти. Но К. призвала на консультацию тамошнего ревматолога, который, как только взглянул, заявил, что это вовсе не по его части, а что это расстройство кровообращения, воспаление вены и что нужно пригласить, и пригласить срочно, лейденского университетского терапевта, каковой потом и прибыл и подтвердил этот диагноз. Больная нога была действительно вдвое толще другой, но кому придет в голову сравнивать толщину своих ног! Он велел как можно скорее отправить меня на санитарной машине в Цюрих и сюда, что потом и произошло, и вот я лежу со спиртовыми компрессами и должен соблюдать строжайший постельный режим, злясь на все неведомые мне доселе неудобства, с какими это сопряжено. [...] Это — сущий крест и высшее испытание терпения. Но терпение — это ведь случайно моя сильная сторона, а уход здесь действительно очень тщательный и добросовестный — под началом знаменитого проф. Лёфлера, этаккой сияющей примадонны от медицины, который предоставляет своему старшему врачу вносить в оптимизм, излучаемый им самим, Лёфлером, уничтожающие поправки. «Конечно. Но видите, это бедро еще на 3 сантиметра толще другого».

Как никак, уже только на три. Я делаю успехи и во второй половине дня провожу уже по полчаса в кресле, слушая Моцарта, которого мне проигрывают на добытом у кого-то граммофоне [...]

Всего Вам доброго и до свиданья!

Ваш Томас Манн

300
ЛАВИНИИ МАЦЦУККЕТТИ

Кантональная больница, Цюрих.
10 авг. 55 г.

Дорогой друг,

потребовалось теперешнее мое убожество, чтобы я подробнее занялся номером «Понте», где напечатана Ваша прекрасная юбилейная статья¹, и я остро чувствую, в каком я еще перед Вами долгу за эти теплые слова

обо мне лично и о нашем многолетнем дружеском общении. Увы, письмом, которое заслуживало бы хвалы, воздаваемой Вами в Вашей статье моим письменным приветствиям, эти благодарственные строки не будут! Голова у меня пустая, желудок тяжелый, как будто я съел лишнего, хотя я почти не ем. Но эти недомогания, как и зуд от экземы, вызываемой постоянным постельным теплом, — всего лишь побочные последствия главной беды, застоя крови в ноге, но тут дело идет *на поправку*, так что приближается надежда на возвращение к нормальному быту. Во второй половине дня мне уже можно по часу прямо сидеть в кресле, обещают, что через несколько дней разрешат прогуливаться по коридору, а уж когда разрешат спускаться в сад, я буду почти как дома. Свободное движение на свежем воздухе — не знаешь, какое это благо, пока это само собой разумеется. Но если, благодаря современным инъекциям, это мрачное интермеццо и вправду обойдется мне всего в 4—5 недель, то я отделюсь *еще* дешево. Такие расстройства кровообращения носят вообще-то затяжной характер, и раньше с этим неподвижно лежали полгода.

Вы не представляете себе, как мне жаль, что я преждевременно уехал из Нордвика — вернее, был увезен на санитарной машине. Это такое великолепное место, это самое прекрасное взморье, какое я знаю, и благодаря живительному воздуху я написал там даже, в своей кабине, несколько мелочей, хотя бумагу и сильно засыпало песком. Я чувствовал себя особенно хорошо, и надо же было этому случиться со мной именно там! Но так бывает, когда Шиллер справляет свой 150-й день смерти, а ты сам — восьмидесятый свой день рождения! Я просто переусердствовал или со мной переусердствовали, и Рома *, Париж, Осло — все эти планы придется пока оставить.

Всего Вам доброго и *еще* раз спасибо за «Иль Понте»! Меди Борджезе написала тоже довольно трогательно и забавно², и были там *еще* другие славные, приятные вещи. Передайте, пожалуйста, редакции мою горячую признательность!

Ваш Томас Манн

* Рим (итал.).

ПРИЛОЖЕНИЯ



С. К. Апт

ПИСЬМА ТОМАСА МАННА



Точное число писем, написанных Томасом Манном за его долгую (1875—1955) жизнь, назвать невозможно. Какая-то их часть по тем или иным причинам вообще не сохранилась, и если принять во внимание, что среди этих причин были такие, как превратившийся затем в эмиграцию отъезд писателя в 1933 г. из Мюнхена, где хранился архив с его письмами и черновиками писем, как гибель не только архивов его адресатов, но и ряда самих адресатов в годы фашистской диктатуры в Европе и второй мировой войны, то можно предположить, что эта безвозвратно пропавшая часть достаточно велика. Но тысячи писем все-таки сохранились, и около полутора тысяч уже опубликовано. Наиболее объемистым их собранием остается покамест трехтомник, подготовленный дочерью писателя Эрикой, умершей в 1969 г. Он вышел в 60-е годы в ФРГ и затем, вторым изданием, в ГДР¹. Кроме того, существуют особые издания переписки Томаса Манна с каким-либо одним корреспондентом — с братом Генрихом Манном², с немецким литератором Эрнстом Бертрамом³, с австрийским филологом Паулем Аманном⁴, с венгерским историком культуры Каролом Кереньи⁵, с писателем Германом Гессе⁶, со швейцарским писателем Робертом Фези⁷ и отдельные публикации во множестве специальных сборников и журналов⁸.

¹ *Thomas Mann. Briefe*. Bd. I: 1889—1936; Bd. II: 1936—1947; Bd. III: 1948—1955. Herausgegeben von Erika Mann. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1965—1968.

² *Thomas Mann — Heinrich Mann. Briefwechsel 1900—1949*. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin. Berlin und Weimar, 1965. Есть 2-е издание 1969 г.

³ *Thomas Mann. Ernst Bertram. Briefe aus den Jahren 1910—1955*. Verlag Günther Meske, Pfullingen, 1960.

⁴ *Thomas Mann. Briefe an Paul Amann. 1915—1952*. Hrsgb. von Herbert Wegener. Lübeck, 1959.

⁵ *Thomas Mann — Karl Kerényi. Gespräch in Briefen*. Zürich, 1960.

⁶ *Thomas Mann — Hermann Hesse. Briefwechsel*. Hrsgb. von Anni Carlsson. Frankf. a. M., 1968.

⁷ *Thomas Mann — Robert Faesi. Briefwechsel*. Hrsgb. von Robert Faesi. Zürich, 1952.

⁸ Во время подготовки этого тома к печати вышла переписка с издателем Берманом Фишером (*Thomas Mann. Briefwechsel mit seinem Verleger Bermann-Fischer. 1932 bis 1955*. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1973).

Из всего этого, напечатанного на немецком языке материала нами отобрано и переведено триста писем. При отборе их мы руководствовались следующими соображениями.

Не выходя за пределы одного тома, наше собрание должно быть как можно более представительным, то есть должно отразить самые разные, но в первую очередь самые характерные для духовного облика писателя, самые монументальные, так сказать, аспекты его эпистолярного наследия. Это означает, что отбирать следовало прежде всего письма, имеющие общий литературно-художественный и идейно-политический интерес в противоположность интересу частному, узкобиографическому, интимному, но отбирать так, чтобы особенности характера, окружения, быта автора, короче говоря, его живой голос, его человеческий облик тоже запечатлелись на страницах тома-памятника.

Это означает, кроме того, необходимость для составителя строгого самоограничения, даже скупости в отборе. Круглое число триста, на котором мы остановились, — а когда дело идет о тысячах писем, остановиться на чем-то все равно нужно, — определено намеченным заранее объемом книги.

Понятное желание представить разные периоды жизни и творчества писателя и широкий круг его адресатов не оправдало бы, разумеется, механического распределения равных количеств писем по равным отрезкам времени — скажем, по пятилетиям или по десятилетиям. Начав с 1901 г., года выхода «Будденброков» и прочного утверждения имени Томаса Манна в литературе, мы заканчиваем сборник последним письмом, написанным за два дня до смерти. Но между этими двумя временными точками материал отобран с упором на вторую половину жизни, точнее — на последние ее 22 года, охватывающие антифашистскую эмиграцию писателя, вторую мировую войну и первое послевоенное десятилетие. На то, чтобы отдать предпочтение корреспонденции этого периода, есть свои причины.

Прежде всего, она касается проблем и событий, которые еще свежи в памяти ныне живущих. Эти письма не просто ближе к нашему времени, но в широком, историческом смысле рождены нашим временем, и наш интерес к ним — это интерес к своему времени. Другая причина связана со все более и более явственным, по мере того как шли годы и возматывала слава писателя, его отношением к собственному письму как к литературному памятнику, с уверенностью автора, что письмо, подписанное «Томас Манн», будет бережно сохранено получателем и станет всеобщим достоянием в близком или далеком будущем. В письмах второй половины жизни есть прямые свидетельства такой уверенности: «Вот я и написал Вам еще более длинное письмо, чем Вы мне. Простите, оно само сошло у меня с пера. Напечатайте его лучше не сразу же, а после моей смерти»⁹. «Письмо, где я подробно касался Ваших воспоминаний о Рилке, конечно, успело уже дойти до Вас. Боюсь, что мы оба осрамимся перед потом-

⁹ Письмо Эдуарду Корроди от 29.XI.1935 (*Briefe*, Bd. I, S. 447).

ством со своими критическими признаниями»¹⁰. «Мы оба» — это, конечно, дань вежливости, на суд «потомства» письмо корреспондентки может рассчитывать разве что как комментарий к письму отправителя. Еще один пример, наиболее, пожалуй, выразительный, показывающий прямо-таки сознательное желание автора зафиксировать в письме свои заботы и размышления для будущего: «Покуда я писал эти строки, я узнал, что увижу Вас раньше, чем думал, что уже договорились о встрече в среду, во второй половине дня. Значит, все это я мог сказать Вам и устно! Но есть, с другой стороны, что-то уместное и что-то успокоительное для меня в том, что все это будет у Вас в руках, черным по белому. Пусть это подготовит ближайший наш разговор, а если суждено жить на свете нашим потомкам, то это письмо останется им»¹¹.

«Литературными памятниками» письма самой последней полосы жизни являются еще по одной причине. На протяжении шестидесяти с лишним лет своей активной творческой деятельности Томас Манн работал систематически, ежедневно, посвящая художественному, публицистическому и критическому творчеству утренние часы, а чтению, правке корректур и переписке — вторую половину дня. В старости, когда сил для выполнения утреннего «урока» становилось все меньше, он не изменял многолетней привычке начинать день за письменным столом, но часто отдавал это время корреспонденции, и тогда его письма превращались в маленькие статьи и рецензии, в самую настоящую «почтовую прозу», где форма письма оставалась лишь формой, служа главным образом мотивировкой обращения к определенной теме или оправданием фрагментарности в ее разработке, то есть была по сути условностью, литературным приемом. Таковы, например, письма о парижских впечатлениях и современной французской литературе, о переводческом искусстве, об искусстве кино (223 и 295, 240, 297).

Такое отношение Томаса Манна к письму как к писательской работе в эпистолярном жанре ставит перед читателем вопрос о степени непосредственности его писем, о том, являются ли они не только литературными, но и человеческими документами. Для ответа на этот вопрос нужно учитывать, во-первых, что письмо любого писателя, даже если оно не рассчитано на опубликование, вообще не может обладать безотчетно-наивной непосредственностью документа, оставляемого человеком, далеким от литературы. Писатель слишком привык обращаться со словом как с рабочим материалом, чтобы оно ложилось у него на бумагу совершенно спонтанно. Но сделать отсюда вывод, что писательские письма неискренни, было бы так же неверно, как утверждать, что неискренна литература как таковая. Непосредственность этих писем — особая, с элементом искусства, то есть условности, с поправкой на профессиональное отношение к слову.

¹⁰ Письмо Агнес Э. Мейер от 7.X.1941 (101).

¹¹ Письмо Теодору В. Адорно от 30.XII.1945 (141). Все эти примеры опровергают мнение Эрики Манн, будто у отца ее «не было и отдаленной мысли, что его письма могут быть опубликованы» (см. *Briefe*, Bd. I, S. 11).

Во-вторых, если в молодости и на первых порах своего творческого пути Томас Манн как-то разделял в себе «художника» и «человека»¹², то с годами, все больше проникаясь сознанием долга художника перед обществом, нравственных обязательств искусства, он подчеркивал именно слитность писательской и человеческой миссии. «Человек и писатель, — говорит он вскоре после прихода Гитлера к власти, — может делать только то, что его допекает; и что кризис мира становится кризисом и моей работы и жизни, это в порядке вещей, и мне следует видеть в этом знак того, что я жив»¹³. Эти слова вполне можно отнести и к его работе над письмами: в них тоже «человек» и «писатель» слиты, и посвящены письма тому, что его «допекает».

Эрика Манн, издательница писем отца, говорит, что нигде он не предстает ей таким живым, ни в чем ей так не слышится его подлинный голос, как в них¹⁴. Сказано это о человеке, оставившем много томов сочинений и запечатленном бесчисленными фотографиями, портретами, скульптурами, даже карикатурами и шаржами, о человеке, чьи публичные выступления неоднократно записывались на магнитофонную пленку, — и сказано дочерью. Есть, кстати, и ироническое замечание самого Томаса Манна о «своекорыстии» пишущих письма, о том, что автор письма непременно занят собой, поглощен проблемами, волнующими в первую очередь его лично¹⁵. В этом замечании налицо, несомненно, и объективная оценка собственной эпистолярной продукции, вполне согласующаяся с впечатлением Эрики Манн.

Немного, наверно, на свете писателей, чья жизнь переплавилась бы в слово с такой почти исчерпывающей полнотой, как это было у Томаса Манна. Под «жизнью» мы подразумеваем и внешнее ее течение, то есть всю хронологию ее биографических и географических вех, и — в случае художника-мыслителя это надо иметь в виду первоочередно — внутренний ее ход, идейные задачи, которые она перед собой ставила, их взаимосвязь и развитие, то, что принято называть «биографией духа» или «духовной биографией». Выражение «облекать свою жизнь в слова», употребленное Томасом Манном в приложении к одной из своих героинь¹⁶, как нельзя лучше применимо к нему самому, который был не только художником, но и — чем дальше, тем больше — интерпретатором, комментатором, историком собственного творчества. Простейший пример этой переплавки — отражение географии жизни писателя хотя бы только в больших его романах: «Будденброки» — Любек, «Волшебная гора» — Швейцария, «Доктор Фаустус» — Мюнхен, Италия. Более пространные пояснения потребова-

¹² Ср., например, письмо Кате Прингсгейм от июля 1904 г. (5): «... много лет, и лет важных, я ни во что не ставил себя как человека и хотел, чтобы меня принимали во внимание только как художника».

¹³ См. письмо 50.

¹⁴ См. *Briefe*, Bd. III, S. 6.

¹⁵ См. письмо 148.

¹⁶ К Инесе Родде в «Докторе Фаустусе», т. 5, стр. 432 русского Собрания сочинений. М., Гослитиздат, 1960.

лись бы, чтобы проследить отраженные в его книгах уже через призму художественной фантазии бюргерское северогерманское происхождение писателя, чувство своей неприкаянности в бюргерском обществе, владевшее им в молодости, сомнения в своем праве на «блаженство обыкновенности», на семейное счастье, сложные отношения с братом Генрихом, трагическую гибель сестер, ощущение надвигающегося на Европу мрака фашизма. Точно так же, порой косвенно, посредством художественных образов, а порой и прямо, посредством публицистических книг и статей, «облечена в слова» вся напряженная духовная жизнь, вся долгая идейная эволюция писателя: его ранний и с самого начала критический интерес к философии Ницше и Шопенгауэра и к музыке Вагнера, его консервативно-националистические заблуждения в период первой мировой войны, его переход от позиции «аполитичного» к признанию социальной ответственности художника, к тезису о «гуманизме в броне», к активному антифашизму. Не нужно быть скрупулезным исследователем творчества Томаса Манна, достаточно внимательно прочесть его собственные, не раз публиковавшиеся статьи и очерки, чтобы получить общие представления о методах его литературного труда (техника монтажа, работа с прототипами и документами, обработка заимствованных сюжетов и т. п.), о главных, стимулировавших его творчество влияниях (Гёте, Шопенгауэр, Ницше, Вагнер, Толстой, Чехов), об его постоянном во вторую половину жизни интересе к мифу и мифологии. Эту зафиксированность своего бытия в слове, по-видимому, и имел в виду Томас Манн, когда говорил: «Моя жизнь и ее плоды на виду»¹⁷.

Но и при такой поразительной полноте переплавки собственной жизни в литературу письма Томаса Манна приносят в наше знание о нем как о «человеке и писателе», об его времени и окружении много нового. «На виду» могут быть этапы духовного развития, периоды творчества, узловые моменты биографии, решающие влияния внешнего мира, «на виду» можно быть на далеком расстоянии от наблюдателя, в фокусе, так сказать, литературного бинокля, — это одна степень открытости взгляду со стороны, — но «на виду» могут быть и рабочий стол писателя, и рукопись, которая на этом столе лежит, и комната, где стоит этот стол, и люди, которыми заняты мысли писателя сию минуту, на виду могут быть перипетии его бытия и быта — это другая, более интимная степень открытости, обычно посмертная, возникающая тогда, когда публикуются письма и дневники. Томас Манн в этом смысле не составляет исключения: его письма дадут читателю ощущение новизны, большей короткости знакомства с их автором.

Но есть одна особенность отношения Томаса Манна к своему слову, которая проявляется в письмах, только благодаря письмам может быть в полной мере прочувствована и оценена, — и в этом, с одной стороны, тоже их свежесть и новизна, — но которая, с другой стороны, почти начисто исключает в его письмах элемент чрезмерной распахнутости или

¹⁷ См. письмо 271.

опрометчивой запальчивости в суждениях, то есть лишает их публикацию какого бы то ни было оттенка нескромности или сенсационности. Лейтмотивом жизни Томаса Манна в его зрелые годы была идея «представительства»¹⁸ в том смысле, что он не просто частное лицо, а чей-то рупор, чьи-то уста, что на него возложена миссия говорить от имени той части немецкой интеллигенции, которая чутко прислушивается к требованиям времени и хочет сохранить и перенести в будущее лучшие, гуманистические традиции буржуазной культуры. Отсюда вытекало необычайно строгое отношение к каждому слову, даже если это было только слово письма, причем не только официального или посвященного какому-либо литературному, политическому вопросу, но и сугубо частного, «домашнего», шуточного. Конечно, сознание, что и такое письмо будет когда-нибудь опубликовано, до известной степени объясняет эту «представительность», порой даже монументальность каждого слова, эту четкость и взвешенность каждой фразы, их «Druckfertigkeit», их готовность выйти «на люди». Но только до известной степени. Не надо преувеличивать сознательное, рациональное начало этой «представительности»: она создана годами писательского труда и общественной деятельности и потому непринужденна, произвольна. Томас Манн часто говорил, что в процессе писания человек познает самого себя, понимает, чего хочет и чего не хочет, что он как бы ставит перед собой зеркало и, глядя в него, старается стать лучше, совершеннее, чем он есть, иными словами — воспитывает себя самого. Тон и стиль писем Томаса Манна — это также результат сложного самовоспитательного процесса. «Представительность» их — не просто установка, а выражение органических или ставших органическими свойств характера. Если придерживаться разделения жизни художника на *Dichtung* и *Wahrheit*, которые не у всех и не всегда совпадают, то письма относятся, конечно, к его *Wahrheit*. И поскольку человеческий образ, вырисовывающийся из писем Томаса Манна, ни в чем не расходится с образом автора, возникающим у читателя его книг, а только обогащается при чтении писем новыми гранями, поскольку в личном плане здесь обнаруживается замечательное совпадение *Dichtung* и *Wahrheit*, то письма эти словно бы скрепляют печатью «с подлинным верно» чуть ли не каждую строку его книг.

Классифицировать письма, делить их для обзора на какие-то группы гораздо труднее, чем художественные или публицистические произведения, где при обзоре и систематизации можно опереться на тему, жанр, хронологию. Хронологическое членение, правда, возможно и когда дело идет о письмах, но в нашем случае оно вырвало бы их из континуума, из того непрерывного потока жизни и размышлений, с которым хочется их сравнить. Томас Манн писал письма изо дня в день, он был, по его собственным словам, исправным корреспондентом, круг его интересов, отразившийся в переписке, был довольно постоянен и весьма широк, и сгруппировать письма по историческим эпохам или по периодам творчества

¹⁸ Само это слово в разные периоды понималось им по-разному. Ср., например, письмо 8 и письмо 37.



ТОМАС МАНН
Бюст работы Густава Зейтца

значило бы навязать им какое-то одно направление, оставить в тени стык и взаимопроникновение житейского и творческого аспектов, столь характерные именно для этого эпистолярного наследия.

Но, чтобы разобраться в материале, его все-таки нужно взять в каком-то сечении, в каком-то разрезе, через который открылись бы специфические его свойства. Попробуем произвести этот разрез по линии, объективно существующей во всяких, в чьих бы то ни было письмах и при этом только письмам присущей. Присмотримся к списку адресатов Томаса Манна. Он длинен, в нем есть лица эпизодические, например незнакомые и неизвестные читатели, которым «исправный корреспондент» добросовестно отвечает на вопросы, касающиеся его особы или каких-либо политических и литературных проблем, и, наоборот, люди очень известные, облеченные авторитетом или властью, деятели, к которым Томас Манн, будучи или не будучи знаком с ними лично, обращается по собственной инициативе, когда надо кому-то помочь, за кого-то похлопотать, поддержать или отвергнуть какое-либо общественное начинание. Есть среди этих эпизодических адресатов и корреспонденты газет, интервьюеры, писатели, присылавшие Томасу Манну на отзыв свои труды, есть филологи-германисты, литературные предприниматели, редакторы. По внушительному количеству адресатов такого рода и возрастанию их числа во второй половине жизни писателя можно судить об его широких и все расширявшихся общественных связях, о влиянии его имени, о той роли «властителя дум» и одного из духовных вождей антифашизма, которую он играл.

Другую и тоже немалую часть этого перечня составляют адресаты более или менее постоянные. Переписка с ними проходит через малые отрезки жизни Томаса Манна (Курт Мартенс, Рене Шикеле, Виктор Манн и др.) или через десятилетия (Герман Гессе, Теодор Адорно, Кароль Кереньи, Эрнст Бертрам, Агнес Э. Мейер и др.). Наконец, самая немногочисленная часть списка адресатов — это люди, с которыми в силу разных внешних и внутренних обстоятельств Томасу Манну довелось переписываться почти всю жизнь (Генрих Манн, Бруно Вальтер, Эрих фон Калер, Эмиль Прееториус, дети, в основном Эрика и Клаус). Имен в этой части немного, а писем очень много. Наиболее полное и свежее представление о делах и обстоятельствах отправителя дают письма к адресатам более или менее постоянным. Почему?

Прежде всего, как раз в силу постоянства этих корреспондентов и вытекающей хотя бы уже отсюда посвященности их в интересы Томаса Манна, особой близости знакомства с ним. Выше мы сказали, что его письма составляют некий континуум, некий непрерывный поток жизни и размышлений. Письма к одному и тому же лицу можно сравнить с периодическими замерами скорости течения и глубины в разных точках реки, берега которой видишь уже не впервые. Здесь адресат сразу вводится *in medias res*, в подробности, а подробности, перипетии обстоятельств пишущего говорят о нем больше, свидетельствуют о нем объективнее, чем любое его общее заявление, они подобны по своей непосредственной, наглядной убедительности детали в художественном произведении.

Кроме того, присмотримся к этим более или менее постоянным адресатам с точки зрения их собственных занятий и почвы их связей с Томасом Манном. Кто эти люди? Писатели-художники, чья работа была особенно близка ему, духовное родство с которыми он всегда ощущал, — Генрих Манн и Герман Гессе. Критики и исследователи его, Томаса Манна, творчества, особенно много занимавшиеся его трудами в тот или иной период, — например, Курт Мартенс в его молодые годы, Отто Базлер в его старости. Ученые, чьи интересы соприкасались со сферой его эстетических интересов (Бертрам) и чьи изыскания (например, мифологические исследования Кереньи, музыковедческие Адорно) давали пищу его художественному воображению. Писатели, литературоведы, музыканты, деятели театра (Шикеле, Фердинанд Лион, Шёнберг, Бруно Вальтер, фон Калер, Прееториус, Фейхтвангер), связанные с ним в первую очередь личным знакомством по воле житейских обстоятельств. Старшая его дочь Эрика и старший его сын Клаус были тоже писателями, а Эрика также актрисой и режиссером. Таким образом, люди эти — как правило, профессионалы искусства, коллеги Томаса Манна в широком значении слова, и естественно, что делиться с ними своими проблемами — а все его проблемы в конечном счете сводятся к творческим — ему проще и интереснее, чем с кем бы то ни было. Этим объясняется та особая полнота представлений о трудах и днях Томаса Манна, которую дают письма к таким адресатам. Но этим же, собственно, объясняется и большее или меньшее постоянство почтовой связи с ними.

Наше замечание, что все его проблемы в конечном счете сводятся к творческим, нуждается в пояснении и уточнении. «Творческие проблемы» Томаса Манна — понятие очень широкое, включающее в себя и общественно-политические вопросы. «... Плохо Вы знаете... меня, — писал он еще в 30-е годы¹⁹, — если, восхищаясь эстетической стороной моего творчества, пренебрегали нравственными его предпосылками, без которых оно немислимо, и считаете меня способным отречься от них из снобизма в такое время, как наше, когда дело идет... о человеке и его духовной чести. Я открыто прошу избавить меня от всякого почитания, не видящего и не учитывающего органической связи между всем, что я делал как художник и нынешней моей позицией в борьбе против Третьей империи». Такая же, добавим, «органическая связь» существовала между тем, что он «делал как художник», и его политической позицией в годы, предшествовавшие «Третьей империи», и в послевоенные годы «холодной войны» и разгула «маккартизма» в Америке, оживления реваншистских и антидемократических настроений в Западной Германии. Эрика Манн выделяет две тематические доминанты писем отца: «литература (собственная, вызывающая восхищение, дружественная и чужая)» и «Германия»²⁰. В уточнение ее слов мы бы сказали, что Германия, как естественный объект особенно

¹⁹ См. письмо 70.

²⁰ *Briefe*. Bd. III, S. 6. Под «Германией» Эрика Манн подразумевает современный писателю период истории его родины. Но, конечно, тему эту можно понимать и очень широко. Немецкая философия и музыка, деятели немецкой культуры прош-

пристального интереса писателя-немца, была лишь призмой, через которую чаще всего преломлялись его размышления о современном мире вообще, а главное — что «литература», то есть искусство, творчество собственное и чужое, тема, особенно волнующая художника, никогда в его письмах от этих размышлений не изолируется, с тех пор как он перестал разделять себя на «писателя» и «человека».

Но вернемся к его адресатам. Если об эпистолярном наследии знаменитых людей часто справедливо говорят, что оно читается «как роман»²¹, то объясняется такое ощущение уже той простой причиной, что автор писем предстает в них в окружении современников, он подобен главному герою романа, а его корреспонденты — остальным персонажам, первостепенным или второстепенным. Как и в романе, в письмах налицо какое-то взаимодействие центральной фигуры со средой, и там и здесь оно может быть более или менее драматичным, но и там и здесь оно обусловлено особенностями ума и характера этой фигуры. И там и здесь такое взаимодействие может предстать и через рассуждения и через сюжет.

Если не считать отъезда из Германии в 1933 г., обернувшегося бессрочной эмиграцией, жизнь Томаса Манна протекала внешне довольно размеренно и однообразно. Он не был в прямом смысле участником войн, не подвергался арестам, не знал ни жестокой материальной нужды, ни долгих скитаний по разным странам, как множество эмигрантов, не вступал в новые браки. Конечно, за долгую жизнь ему, отцу шестерых детей и брату двух сестер и двух братьев, довелось узнать горе утрат и горечь семейных размолвок, и сам факт разлуки писателя со страной его происхождения, культуры и языка предполагает тысячи тяжелейших последствий, но все-таки внешний драматизм этой жизни не идет ни в какое сравнение с ее драматизмом духовным, внутренним. И тем не менее о письмах Томаса Манна тоже можно сказать, что они читаются как роман. А в письмах к иным адресатам прослеживаются даже самостоятельные, но, как и в романе, подчиненные общей идее сюжетные линии.

Говоря об этих адресатах, мы имеем в виду в первую очередь Генриха Манна. Об отношениях братьев, об их совместной жизни в Италии в 90-е годы, о пристальном интересе младшего брата к творчеству старшего, о раннем несходстве их вкусов и эстетических установок, об их разных позициях во время первой мировой войны, об их примирении и затем союзничестве в борьбе против фашизма писалось достаточно много, чтобы здесь снова подробно на всем этом останавливаться. История их отношений в ее перипетиях вырисовывается лучше всего из их переписки, и эта важная линия жизни Томаса Манна, тянущаяся от юности до старости, подобная сюжету романа тем, что тоже имеет некое символическое значение, тоже проясняет направление развития занимающей нас фигуры, отчетливо

лого, к которым то и дело обращается его мысль, — это ведь тоже «Германия», и в письмах, как и во всем творчестве Томаса Манна, ясно видна неразрывная связь его с почвой, взрастившей его.

²¹ См., напр., статью А. А. Елистратовой в книге «Байрон. Дневники и письма». М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 349.

видна даже из данного сборника, куда вошли далеко не все сохранившиеся и опубликованные письма Томаса к Генриху и вовсе не вошли письма Генриха к Томасу. Как в романе, здесь есть экспозиция (см. письма 1, 2, 11, рисующие картину глубокой человеческой близости и заинтересованного внимания к творчеству другого), есть острый конфликт (письмо 13, с намеком на вечную разлуку, после которого трудно представить себе возможность дружеских отношений в дальнейшем), есть ход жизни и времени, который, воспитывая, поправляя, развивая героя, разрешает конфликт (см. письма 61, 62, 63, 78 и все последующие, где братья предстают единомышленниками, соратниками и друзьями). И подобно тому, как в романе развязка порой дается в эпилоге, не показом, а изложением событий, сюжетная линия «Генрих» завершается не в письмах к нему, а в письмах о нем. Своей племяннице Эрике, старшей моей дочери, он как-то сказал по дороге от нас домой: «С твоим отцом мы теперь по политическим вопросам и правда прекрасно сталкиваемся. Он немного радикальней, чем я». Звучало это бесконечно смешно, но имел он в виду отношение к нашей дорогой Германии, на которую он меньше зол, чем я, по той простой причине, что он раньше знал, что к чему и никакие разочарования ему не грозили» (письмо 143). «Наш великий покойник, обладавший весьма редким в Германии, прямо-таки пророческим политическим чутьем, говорил, чем старше он становился, тем в большей мере, языком будущего и был поэтому мало кому понятен при жизни. Но это-то и поразительно, как в его творениях и писаниях высокообразованный, блестящий и строгий ум, нисколько не поступаясь своим благородством, стремился к простоте, к народу, искал социального содружества» (письмо 212).

Лишь недостаток места мешает нам полнее представить в сборнике письма к Эрнсту Бертраму, из которых опять-таки выстраивается самостоятельное-законченный и вместе с тем подчиненный главной линии жизни Томаса Манна сюжет. Мы даем лишь самую общую экспозицию, приводя первым письмом от 28.XII.1926 г. (30), указывающее и на короткость личного знакомства (адресата ждут в гости на Новый год, причем ждет вся семья отправителя), и на то, что Бертрам — человек, которого Томасу Манну легко посвятить в свои творческие планы (письмо раскрывает замысел образа Иосифа). Мы опускаем письма, рисующие предысторию этой дружбы, завязавшейся и кончившейся заочно, эпистолярно. Знакомство началось с того, что в 1910 г. педагог-литературовед Бертрам послал Томасу Манну свой реферат о романе «Королевское высочество». Реферат очень понравился автору «Королевского высочества», началась оживленная переписка, длившаяся до первой личной встречи около двух лет. Не менее, чем реферат о его романе, оказалась близка тогдашним взглядам и настроениям писателя книга Бертрама «Ницше», вышедшая в 1918 г., почти одновременно с «Размышлениями аполитичного», памятником националистического романтизма Томаса Манна, книгой, которую он впоследствии сравнивал с плутанием по бездорожью. Отзывы его на реферат и на книгу Бертрама, хотя и разделенные восемью с половиной годами, совпадают почти дословно: «После обилия глупости и ложного

остроумия, обрушившихся на меня в связи с моей последней книгой, Ваш анализ так меня взволновал, что я порой не мог удержаться от слез» (письмо Бертраму от 28.I. 1910)²². «Обращаю Ваше внимание, очень хочу обратить Ваше и всеобщее внимание на одну новую книгу — «Ницше» моего друга Эрнста Бертрама. . . В ней есть главы. . ., при чтении которых я едва сдерживаю слезы. По самой глубокой своей сути эта книга — сестра моих «Размышлений»» (Письмо Филиппу Виткопу от 13. IX. 1918)²³. В том же 1918 г. Бертрам был приглашен в крестные отцы новорожденной дочери Томаса Манна. Известно, что позицию эпохи «Размышлений» Томас Манн еще в 20-е годы пересмотрел и что на философию Ницше, у которого он, по собственному его выражению, «почти ничего не принимал на веру»²⁴, тоже сумел взглянуть и «в свете нашего опыта»²⁵, то есть опыта борьбы с фашистской идеологией. Что же касается Бертрама, то он, закоснев в своем германистском романтизме, стал апологетом нацистского режима, и письма 1934 г., которые мы приводим (42 и 49), гневные отповеди, ставящие крест на старинной дружбе, — это кульминация сюжетной линии «Бертрам». Линия эта тоже очень представительна, символична, мы называем ее «Бертрам» только условно, только потому, что волей обстоятельств в письмах к одному этому адресату отразилась долгая идейная эволюция Томаса Манна. Ведь письмо 1948 г. о Бертраме (188), подводящее итоги отношениям с ним и к нему и опять-таки похожее на эпилог и развязку романа, стоит в одном ряду с письмами к Вальтеру фон Моло (137), Рудольфу Блунку (138), Гансу Фридриху Блунку (145) и другими, где писатель клеймит позором ту часть немецкой творческой интеллигенции, которая так или иначе служила фашизму.

Скорее с главой романа этой жизни, с одной из американских его глав, чем с его сквозной сюжетной линией, можно сравнить письма к Агнес Э. Мейер. Но и здесь тоже есть свой маленький сюжет. Влиятельная дама, журналистка и жена издателя крупнейшей американской газеты, большая почитательница таланта Томаса Манна, Агнес Мейер окружает писателя-эмигранта заботами и вниманием. Она всячески печется об его удобствах и материальном благополучии, о популяризации его имени в США, добивается для него, пуская в ход свои связи, высокооплачиваемой и не отнимающей много времени должности консультанта Библиотеки Конгресса, они знакомы домами, он посвящает ее в свои заботы — житейские, творческие, общественные, читает ей из свеженаписанного, следит за ее публицистическими выступлениями. С благодарно-снисходительной доброжелательностью относиться к ее статьям об его книгах, он сочувственно относится к ее намерению написать монографию о нем и столь же сочувственно, с легким сердцем, к ее отказу от этого замысла: еще бы, она так занята. За такой легкостью примирения с переменной ее планов стоят обстоятель-

²² *Briefe*, Bd. I, S. 98.

²³ *Briefe*, Bd. I, S. 174.

²⁴ См. русское Собр. сочинений, т. 9, стр. 106.

²⁵ См. там же, т. 10, стр. 346.

ства, которые привели к кризису их дружбы и через которые хорошо виден этот «человек и писатель». Мы имеем в виду, конечно, прежде всего за-свидетельствованные письмами Томаса Манна его расхождения с Агнес Мейер, и принципиальные — разное представление о нависшей надо всем миром угрозе у немецкого писателя-антифашиста и у привилегированной американки, чья заокеанская страна вступила в борьбу с Гитлером позже других; желание Агнес Мейер, чтобы Томас Манн отстранился от политики и занимался «чистым искусством»; разное отношение к политическому курсу президента Рузвельта, который Томас Манн, в отличие от своей американской корреспондентки, одобрял, — и частные несогласия в оценках книг, фильмов, людей. Но еще мы имеем в виду то общее, по-видимому, свойство многих лучших художников (не присуще ли оно в какой-то мере Гёте, Чайковскому, Чехову?), которое объясняется их сосредоточенностью на труде своей жизни, их точным следованием внутренним законам своей природы, — устанавливать дистанцию в личных контактах, противиться особенно энергичным попыткам извне к человеческому сближению. Один из мотивов романа «Доктор Фаустус» — «холод», свойственный главному герою, Адриану Лверкюну, в такой степени, что он, в стремлении освободиться от навязчивой дружбы, оборвать слишком тесную, сковывающую его творческие силы человеческую связь, развязывает себе руки тем, что обрекает на верную гибель «навязчивого» Руди Швердтфегера. Нелепо, разумеется, отождествлять Томаса Манна с Лверкюном, да и сам писатель не раз убедительно опровергал обращенные к нему упреки в холодности словом и делом, но этот мотив «Фаустуса», несомненно, вбирает в себя и заостряет некое самокритическое знание — знание, что всякое упорное посягательство на его время в ущерб идейно-художественным задачам, которые он сам себе ставит, встретит с его стороны жестокий отпор. И вот появляется письмо (115), где давно назревавший кризис дружбы с Агнес Мейер получает и выражение, и, как того можно ждать от привыкшего все анализировать корреспондента, — субъективное и самое общее объяснение: «Вы всегда хотели, чтобы я был иным, чем я есть. У Вас не было ни юмора, ни почтительности, ни сдержанности, чтобы принимать меня таким, каков я есть. Вам хотелось меня воспитывать, направлять, исправлять, избавлять. Напрасно я со всей добротой и бережностью предупреждал Вас, что я неподходящий объект для таких попыток, что в свои почти 70 лет я для этого слишком уж сложившийся и определившийся человек. Я думаю, что Ваша вспышка по поводу такого письма, как мое предпоследнее, была просто-напросто вспышкой более глубокого разочарования и ожесточения, ухватившегося за почти ничтожный предлог, чтобы выйти наружу». После этого письма, впрочем, переписка с Агнес Мейер не прекратилась, как прекратилась она с Бертрамом по глубоким внутренним причинам, не говоря уж о внешних. Мы сравнили письма к Мейер с американской главой романа жизни писателя не просто потому, что эта корреспондентка — американка, а потому, что в его отношениях с ней видны в уменьшенно-личном масштабе те же смешанные чувства, что и в его отношении к Америке: с одной стороны, благодарность и уважение к стране,

предоставившей приют и условия для работы ему, эмигранту, с другой стороны, досада европейца на заокеанское прекраснодушие, на недостаточную непримиримость к фашизму и его проявлениям в собственной стране, на глухоту, особенно после смерти Рузвельта, к требованиям времени, на заигрывание с реакционными силами Западной Германии и страх перед «Востоком».

Генрих Манн, Эрнст Бертрам, Агнес Мейер — у всех этих очень разных людей есть одна общая особенность, которая и объединила их в нашем разборе: им Томас Манн написал много писем. Среди его адресатов Генрих Манн стоит на первом месте по числу охватываемых перепиской с ним лет (почти полвека), а Мейер, видимо, по числу полученных ею писем (около трехсот). Но сравнение эпистолярного наследия писателя с романом его жизни остается в силе и в том случае, если мы обратимся к адресатам менее стабильным и даже эпизодическим. Подобно тому как в романе образ героя раскрывается не только через сюжетные линии, через отдельные сцены, через психологические рассуждения, а и через емкие, выразительные детали, письмо к нечастому или вовсе незнакомому адресату имеет в силу того «своекорыстия» пишущего, той поглощенности его своими проблемами, о которых мы упоминали выше, прямое или косвенное отношение к главному нерву его бытия. Мы умышленно избегаем словосочетания «случайный адресат», потому что, когда речь идет о всемирно известном писателе, очень обдуманно относимся к каждой своей строке, случайных адресатов, строго говоря, быть не может. Если письмо — не просто дань вежливости, формальный ответ, подтверждающий получение чужого письма, а трактует хотя бы лишь самый частный и конкретный вопрос, то выбор адресата, как-никак, зависит от пишущего и, значит, тоже обдуман. Но об этом мы еще скажем дальше.

Письма к нестабильным адресатам, так же, как и к стабильным, касаются, например, одной проблемы, с которой Томас Манн впервые столкнулся уже в начале своего литературного пути и сталкивался затем всю жизнь, — права художника вводить в свои книги материал, взятый непосредственно из реальной жизни, права очень сильно опираться в своей работе на прототипы. После выхода «Будденброков» писателя в его родном городе Любеке обвиняли в приверженности к скандальному литературному жанру, в окарикатуривании общеизвестных лиц, по рукам ходили «ключи» к роману — списки, где против имени чуть ли не каждого персонажа стояло подлинное имя человека, с которого он «списан». Уже в 1906 г. Томас Манн написал по этому поводу «маленький манифест», как он выразился, статью «Бильзе и я»²⁶, где раз навсегда сформулировал свое отношение к вопросу: «Поэт рождает не дар изобретательства, а иное — дар одухотворения. Наполняет ли он своим дыханием заимствованный рассказ или кусок живой действительности, именно это одухотворение, одушевление, наполнение материала тем, что составляет сущность поэта, делает этот материал собственностью худож-

²⁶ См. Томас Манн. Собр. соч., т. 9, стр. 7—19.

ника на которую, по глубочайшему его убеждению, никто не имеет право посягнуть. Совершенно очевидно, что это может и должно привести к конфликту с достопочтенной действительностью, которая высоко ценит себя самое и ни в коем случае не желает быть скомпрометированной одухотворением».

Такой конфликт в самом деле возникал потом и в 20-е годы, и в 40-е — по выходе каждого из двух других его романов на современную тему — «Волшебной горы» и «Доктора Фаустуса», только выход его романов, где действие происходит в более далекие времена, не возвращал писателя к необходимости снова разъяснять свой взгляд на «духовную собственность», снова оправдываться, полемизировать, убеждать, и многие письма Томаса Манна ярко показывают пожизненную актуальность для него этой, казалось бы, давно решенной проблемы. В письме 1925 г. к Герберту Эйленбергу (26) он уговаривает его не «передавать общественности», т. е. не оглашать того факта, что прототипом персонажа «Волшебной горы» Пеперкорна послужил Герхарт Гауптман. В письмах 1948—49 годов к Арнольду Шёнбергу (180 и 204) он отвечает на нападки композитора, который вообразил, что, соотнеся изобретение додекафонической музыки с героем своего романа «Доктор Фаустус», Томас Манн совершил плагиат у него, Шёнберга, приписал себе чужое открытие. В письмах 1947—1948 гг. к Эмилю Прееториусу (172, 184) автор «Фаустуса» касается использования в романе своих личных воспоминаний об адресате и его доме.

Все эти письма, вызванные «конфликтом с достопочтенной действительностью», показывают попутно, помимо его пожизненной актуальности для писателя, и некоторые черты характера их автора — деликатность, предупредительность, дипломатическую осторожность. В 1925 г. он убеждал Эйленберга не «передавать общественности» истории образа Пеперкорна, а в 1952 г. сам же «передал» ее «общественности». Во-первых, Гауптмана тогда уже не было в живых, во-вторых, о Гауптмане как прототипе Пеперкорна он рассказал в самом конце статьи, после высокой ретроспективно-суммарной оценки его творчества, а в-третьих, — и это не менее важно — рассказал именно сам, чем лишил эту историю всякого привкуса сплетни, и к тому же добавил: «Только не думайте, что я подсматривал за ним, предательски задумав списать с него портрет. Нет, все это делается иначе, не так мелко и низко»²⁷. В инциденте с Шёнбергом он снисходительно-миролюбив. Мало того, что он снабдил «Доктора Фаустуса» примечанием: «двенадцатитоновая техника... является в действительности... духовной собственностью... Арнольда Шёнберга»²⁸, он еще заявляет Шёнбергу, что тому не удастся сделать его, Томаса Манна, своим врагом. В письмах к Прееториусу, в отличие от Эйленберга и Шёнберга, довольно близкому знакомому и давнему корреспонденту, дипломатический такт автора проявился и того ярче. Декабрь 1947 г. Преето-

²⁷ Т. Манн. Собр. соч., т. 10, стр. 498.

²⁸ Там же, т. 5, стр. 659.

риус еще не читал «Доктора Фаустуса», в одной из второстепенных фигур которого может, как опасается Томас Манн, усмотреть неслетный шарж на себя. Писатель хочет предупредить эту нежелательную реакцию и, начав письмо (172) со щедрых похвал только что полученной книге адресата, дает краткую характеристику своего нового романа, где подчеркивает слово «монтаж», объясняя его как «наклеивание на вымысел» «фрагментов духовной действительности», а также «действительности бытовой», имен, фактов. И только потом следует то, ради чего, главным образом, письмо и написано, — просьба «не ужасаться» и «не злиться», если Прееториус узнает себя в одной «бесплотной тени», у которой «только и общего с Вами, что 2¹/₂ внешних черты», и «перечесть это письмо, когда Вы в один прекрасный день приступите к чтению «Фаустуса»». Но еще до того, как этот день наступает, происходит то, что Томас Манн называет «настоящим безобразием»: какие-то его недоброжелатели выписывают из романа и дают прочесть Прееториусу, «без связи, без общего освещения», именно эти щекотливые места, и в апреле 1948 г. писатель пускается в подробные объяснения перед Прееториусом (письмо 184), снова, как в 20-е годы в случае с Гауптманом, тратя душевные силы на конкретное выяснение вопроса, общее решение которого было им сформулировано еще в «маленьком манифесте» 1906 г.

Деликатность, предупредительность, дипломатическая осторожность даже мягкость, проявляющиеся в письмах, где дело идет о каких-то чисто человеческих отношениях и расхождениях, — это, конечно, не следствия рациональной установки, не поза, а черты характера, природные или приобретенные самовоспитанием, и в письмах, посвященных расхождениям идейным, они не могут исчезнуть целиком, смениться своей противоположностью, нелепо ждать здесь грубости, вспыльчивости, оскорбительности, но трансформация отмеченных черт характера здесь очень заметна и очень показательна: тон остается безусловно корректным, вежливым, иногда эта вежливость холодна, саркастична, никаких личных выпадов автор себе не позволяет, но своей общественной позицией не поступается. Эдуард Корроди (письмо 58) и Вальтер фон Моло (письмо 137) — это лишь самые простые, общие, лежащие на поверхности примеры адресатов таких полемических писем; к обоим Томас Манн обращался как к представителям определенной группы интеллигенции, не как к частным лицам, обращался декларативно, широковежательно и письма к ним сразу же — соответственно в 1936 и 1945 гг. — публиковал. «Открытое письмо» — это некий публицистический жанр, здесь трудно проследить и оценить то самобытно-органическое соотношение корректности и личного такта с идейной непримиримостью, на которое мы сейчас хотим обратить внимание.

Проиллюстрировать это лучше на письмах действительно частных, написанных для выяснения личных отношений с отдельными людьми. Например, на письме к Фридерике Цвейг (108), первой жене Стефана Цвейга, написанном в 1942 г., вскоре после его самоубийства, в разгар и особенно тяжелый период второй мировой войны. Узнав, что Фридерика Цвейг удивлена слишком скупым его, Томаса Манна, публичным

откликом на эту смерть, он считает своим нравственным долгом объяснить в частном порядке с человеком, близким покойному, которого он уважал и высоко ценил как писателя. При всем пиетете перед чувствами адресата и свежей могилой («Смерть — это довод, побивающий любые возражения; в ответ можно только благоговейно умолкнуть») он прямо говорит о своем несогласии с пацифизмом Стефана Цвейга, не видевшего в войне против фашизма ничего, кроме самого факта войны, «кровавой беды», и даже — что требует в таких обстоятельствах особого такта и особой бескомпромиссности — о своем осуждении индивидуализма Цвейга, позволившего толковать свой уход из жизни как капитуляцию перед «заклятым врагом». Или письмо того же 1942 г. к французскому писателю Жюлю Ромену (109), ответ на присылку его, Ромена, публицистического сборника. Оно начинается с благодарности, с похвал «французской прелести и ясности слова», а кончается «рождественским приветом от нас обоих Вам и Вашей милой жене». Но все письмо — это мягкая по форме, а по существу непримиримо жесткая отповедь писателю, общавшемуся в 30-е годы с нацистскими политиками, участвовавшему в их пропагандистской затее «германо-французского сближения» и рассказывавшему обо всем этом в годы войны «с благодушной обстоятельностью». Жюль Ромен не стал коллаборационистом, после оккупации Франции он эмигрировал и оказывал помощь немецким эмигрантам-антифашистам, отсюда и мягкость тона в письме к нему, создаваемая не только начальными и заключительными строками, но и сдержанными формулами осуждения: «мне то и дело случалось качать головой», «меня лично как-то удивляет в не совсем положительном смысле слова», «неприятные чувства, на которые я намекнул». Но все недостойные поступки Жюля Ромена Томас Манн в этом коротком письме перечислил — по пунктам — в одной центральной фразе, где дважды употребленная точка с запятой подходит на знак параграфа в обвинительном заключении. Выразительными примерами такого сочетания безупречной корректности тона с принципиальной неуступчивостью адресату, причем неуступчивостью в вопросах, глубоко волнующих автора, могут служить также письма самым разным лицам, касающиеся позиции, которую, по мнению Томаса Манна, пристало занять ему, немцу, живущему в США, в отношении судеб побежденной Германии (117, 122, 123).

Из сказанного о постоянстве в письмах проблемы прототипов, из дальнейших попутных замечаний о человеческом такте и идейной бескомпромиссности вырисовываются, собственно, все те же две, уже отмеченные выше тематические доминанты его эпистолярного наследия: творчество, работа художника и современная политическая ситуация.

В письмах к иным эпизодическим адресатам тема творчества предстает в аспекте, очень близком к вопросу о прототипах. Писатель часто обращается к разным лицам с просьбой снабдить его конкретным, взятым из действительности материалом, который, как подсказывает ему интуиция художника, сулит возможность «одухотворения», претворения в «духовную собственность». Самое, пожалуй, яркое из таких писем —

письмо Хильде Дистель (3), где он просит свою знакомую сообщить ему подробности одной дрезденской истории, которая «по причинам отчасти технического, отчасти психологического характера произвела» на него «необычайно сильное впечатление» и которой он, «вполне возможно», воспользуется «как сюжетно-фактическим костяком для одной на редкость меланхолической любовной истории». «Главное для меня, — пишет он, — детали» и задает добрых два десятка вопросов о подробностях некоего известного корреспондентке адюльтера, который «одухотворит» лишь через сорок с лишним лет в «Докторе Фаустусе», слив в образе Инессы Инститорис эти подробности с чертами своей сестры Юлии. Но чаще письма с такого рода просьбами пишутся уже в ходе текущей работы, когда готовый художественный замысел требует опоры на реальный материал жизни или искусства. Эта потребность, в конечном счете и явившаяся толчком к длительной эпистолярной связи с музыковедом и социологом Теодором Адорно, родила и письма к врачу Фредерику Розенталю (152, 251), дюссельдорфской жительнице Грете Никиш (256), филологу Самуэлю Зенгеру (176, 182): у всех у них писатель просил информации, фактических сведений, трудясь над «Доктором Фаустусом», над «Обманутой», над «Избранником». Такие письма Томас Манн писал со времен «Будденброков» до конца жизни и по меньшей мере однажды, как показывает письмо 1912 г. Генриху Манну (11), выступил сам в роли поставщика конкретно-фактической информации, важность которой для работы писателя хорошо знал по себе.

Другой, еще более широкий и частый аспект темы творчества в его письмах определяется той, мы бы сказали, гётеанской особенностью его дарования, что он совмещал в себе художника с критиком-аналитиком. В том, что среди его корреспондентов так много ученых литературоведов, не только занимающихся писателем Томасом Манном, а литературоведов вообще, есть некая закономерность. В известном смысле он был литературоведом и сам. Мы оговариваемся: «в известном смысле», потому что сфера его аналитических интересов очерчивалась куда прихотливее, чем то бывает у специалистов-филологов, сосредоточивающихся обычно на каких-то определенных литературах, эпохах, проблемах. Его интересы критика направлены почти исключительно на фигуры, идеи, произведения, волнующие его как «человека и писателя», стимулирующие его воображение художника, вызывающие у него восхищение или протест, то есть не подчинены какой-то системе, а, наоборот, сами образуют систему постоянных, глубоко личных пристрастий. В письмах эти интересы проявляются чуть ли не с такой же полнотой, как в его печатных работах — очерках, статьях, разборах, — и если к художественному творчеству Томаса Манна его письма могут составить литературоведческо-биографический комментарий, то критическую его продукцию они попросту дополняют, и иные из них вполне можно вставить в сборник его эссе.

Письма пестрят именами, фигурирующими в его статьях и заголовках статей: Гёте, Шиллер, Шопенгауэр, Ницше, Вагнер, Фонтане, Толстой, Достоевский, Чехов. И в письмах эти художники и мыслители служат

«духовному сыну девятнадцатого века» как бы фундаментом рассуждения о литературе и об искусстве. И здесь он то и дело упоминает их или цитирует, хотя в письмах непосредственные поводы для таких рассуждений иногда менее значительны, чем в его печатных критических работах, и почти всегда злободневнее, современнее. Ведь поводы здесь часто возникают из обстоятельств чисто житейских: он отзывается в письме на присланную ему автором книгу или рукопись, разбирает, положив себе такое правило, очередное произведение своего старшего сына Клауса, делится, как того хочет корреспондент или по собственной инициативе, своим мнением о мастерстве того или иного музыканта, живописца, актера, поздравляет с юбилеем того или иного деятеля культуры и т. п. Но самый постоянный объект и повод для аналитического разбора в письмах в сущности тот же, что и в его эссеистике, — сам Томас Манн и его творчество, — ведь не только в автобиографических очерках, не только в статьях о «Будденброках», «Королевском высочестве», «Волшебной горе», «Иосифе», «Избраннике», «Докторе Фаустусе», а и в статьях о Германии, о немцах, о Гёте, о Толстом, о Чехове и так далее писатель осмыслял также собственную роль, собственное место в литературе. Форма письма давала ему для такого самоанализа еще больший простор, словно бы санкционируя право входить в детали, открывать постороннему глазу свою мастерскую и в самом процессе работы.

Пояснить сказанное об этих особенностях его критических писем можно огромным количеством примеров. Достаточно сослаться хотя бы на страницы тома, относящиеся к 1943—1947 гг., периоду работы над «Доктором Фаустусом», в частности на письма к Адорно, из которых видно, как «сочинялись» музыкальные произведения Левверкюна, или на письма к Кереньи, показывающие, как занимали автора «Иосифа» вопросы генеалогии мифов, как продуктивны были для его работы художника самые специальные и скрупулезные изыскания в этой области. Для простоты и краткости остановимся на двух, очень характерных, на наш взгляд, «критических» письмах двадцатых годов — номера 20 и 30. Первое адресовано художнику, иллюстрировавшему новеллу «Смерть в Венеции». Оно представляет собой отзыв на чужое произведение, самым очевидным образом связанное с собственным. Прототипом героя новеллы Ашенбаха писателю послужил композитор Густав Малер, художник этого не знал, но на его рисунке Ашенбах оказывается похож на Малера. Такое неожиданное сходство вызывает у писателя общее рассуждение о выразительной силе слова, и в этом рассуждении мысль его обращается и к своему главному духовному спутнику, и — еще раз — к собственному творчеству: «Разве не считают (так считает Гёте²⁹), что язык совершенно неспособен выразить нечто индивидуально-специфическое и что поэтому невозможно быть понятым, если у слушателя нет такого же зрительного восприятия? слуша-

²⁹ Здесь не место углубляться в огромную тему «Томас Манн и Гёте». Заметим лишь, что письма фиксируют постоянство главенствующей роли Гёте в ассоциациях Томаса Манна.

тель, считают, должен обращать внимание больше на внутреннее состояние говорящего, чем на его слова. Но коль скоро Вы, художник, так точно схватили индивидуальные черты на основании моего слова, значит, язык обладает той силой «внутреннего состояния», той силой внушения, которая делает возможной передачу зрительного восприятия не только при непосредственном общении человека с человеком, но и как художественное средство литературы». Второе письмо адресовано Бертраму, который тогда, в 1926 г., был еще другом. Здесь, в самом начале работы над «Иосифом» — а закончится она только через шестнадцать лет, пишутся еще только первые страницы, — Томас Манн, во-первых, определяет стиль будущего, еще не созданного произведения («сделать это нужно легко, юмористически-рассудочно; на пафос и религиозную горячность я не пойду»), и такое его субъективно-априорное, художественное знание действительно подтверждается объективно-апостериорными, то есть нашими, читательскими наблюдениями над стилем «Иосифа», что говорит о зорком оценочно-критическом взгляде на собственное творчество; во-вторых, в этом письме Томас Манн открывает адресату и будущим исследователям свою лабораторию, прямо указывая тот «магический кристалл», сквозь который он видит задуманную эпопею: «Настоящий и тайный мой текст есть в Библии, в самом конце истории. Это благословение, которое оставляет Иосифу умирающий Иаков: *«От всемогущего благословен ты благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу»* (подчеркнуто Томасом Манном. — С. А.). Чтобы решиться на произведение, в материале его должна быть точка, при прикосновении к которой душа твоя непременно наполняется радостью. Вот она, эта продуктивная точка...»

Что касается отражения в письмах современной писателю политической ситуации, то не стоит выделять какую-то группу адресатов, будь то постоянных или эпизодических, к которым он предпочтительно обращался бы с отношениями к этой теме вопросами, сомнениями, тревогами. Эта тема громко или глухо звучит во множестве литературно-критических, деловых, даже семейных писем, не говоря уж о всяких ответах интервьюерам, письмах-декларациях и письмах-ходатайствах. Адресатами тут оказываются и близкие друзья, и те же ученые-филологи, и писатели, и Альберт Эйнштейн, и государственный секретарь США, и собственные дети. Выбор адресата зависит от того, о чем хочет в данный момент сказать «человек и писатель», от его умонастроения и душевного состояния. Понятно, например, что о своей ненависти к «Третьей империи» он пишет ее защитнику Бертраму, а о своем творческом кризисе, связанном с обстановкой в покинутой им Германии, людям духовно близким — Кереньи, Гессе (мы имеем в виду письма 1934 года — 42, 49, 50, 51). Понятно, что преподавательнице американского колледжа, сообщившей ему, что ее студентки, возмущенные нацистскими бесчинствами, сомневаются в ценности занятий германистикой, он отвечает пространством письмом (74): своим сообщением корреспондентка коснулась именно того, что его «допекало», — одичания страны высокой культуры в результате «близорукой, слабой и бестолковой

вой политики западных держав». Понятно, что насчет некоторых вызывающих у него сомнения политических акций он советуется в письме (139) к человеку огромного морального авторитета — Эйнштейну. Но и в тех случаях, когда выбор адресата для письма на актуальную политическую тему лишен таких прозрачных мотивов, когда, например, такое письмо без настоящего внешнего повода пишется никому не известному мистеру Грею (170), выбор этот имеет свою предпосылку: адресат играет здесь для писателя, привыкшего говорить с широкой аудиторией, роль *pars pro toto*, части вместо целого, и мистер Грей — чтобы вернуться к нему — выбран как некий типичный американец, с которым писателю хочется откровенно, без оскорбления чужих национальных чувств, поделиться своей тревогой, вызываемой «признаками террора, идеологического шпионажа, политической инквизиции» в Америке конца сороковых годов.

Впрочем, такое профессионально-писательское отношение к адресату письма как к читателю публикуемого произведения распространяется в какой-то мере на все его письма, даже сугубо личные. Словно бы не в силах дожидаться момента, когда то или иное яркое впечатление, та или иная упорная мысль отольются в строки книги или статьи, он запечатлевает их в строках письма и порой как бы опережает пером типографский станок, размножая запечатленное, повторяя сказанное уже одному адресату, иногда дословно, в письме к другому⁸⁰. Не подтверждает ли лишний раз эта частность, что письма его — действительно литературный памятник, неотъемлемая часть его писательского наследия?

Но в заключение нам все-таки хотелось бы вернуться к сравнению этого сборника писем с романом. Кроме человека, переживающего радости и горести, ищущего ответов на множество вопросов, которые ставит жизнь, изменяющегося с годами и остающегося верным своей натуре и своему призванию, здесь есть еще один герой, имеющийся во всяком романе, а в романах Томаса Манна — чуть ли не главный. Герой этот — время. Оно заявляет о себе не просто датами, отмечающими ход и смену первых шести десятилетий двадцатого века, а наполняет своим дыханием каждое письмо, и мы, читатели, мысленно проделываем путь по большому отрезку новейшей истории, ведущему почти непосредственно в наше сегодня.

В июне 1975 года исполняется сто лет со дня рождения Томаса Манна, которого советский читатель давно знает и любит как замечательного художника, автора прекрасных книг, как олицетворение лучших традиций гуманистической немецкой культуры, как борца против германского и всяческого фашизма. «В памяти человечества, — справедливо сказано в одной из самых последних работ о нем, — он живет не только благодаря завершенным великим произведениям, но и благодаря тем раздумьям, замыслам, признаниям, свидетельствам, которые, даже и не воплотившись в художественном слове, вошли тем не менее в сознание современников и воз-

⁸⁰ Квадратными скобками в нашем издании отмечены купюры, сделанные Эрикой Манн. По ее свидетельству, 95 процентов купюр вызвано такими повторениями (см. *Briefe*, Bd. III, S. 5). Ср. с этой точки зрения письма 157 и 158.

действовали на них»³¹. Письма вобрали в себя все эти «раздумья, замыслы, признания». Больше того, если не считать дневников, которые, согласно воле писателя, могут быть опубликованы не раньше, чем через двадцать лет после его смерти, письма — единственная, собственно, часть литературной продукции Томаса Манна, подходящая под определение «неизданное наследие». Умирая, иной автор оставляет едва начатые полунписанные, незавершенные или даже совсем законченные произведения, которые он не успел, не сумел или по каким-либо причинам не захотел напечатать. Примеров тому множество, с большинством писателей, пожалуй, так и случается. Томас Манн все свои работы дописал до конца и увидел опубликованными — роман «Исповедь авантюриста» и статья 1909 г. «Дух и искусство» хоть и составляют в этом смысле исключения, но «оставлены», «брошены» они были вполне сознательно, а роман к тому же автор и в незаконченном виде выпустил в свет. К моменту смерти Томаса Манна не было написано ни одной строчки очередного задуманного произведения — от драмы «Смерть Лютера» осталось лишь несколько десятков страниц подготовительных заметок к ней — выписок из книг, имен, дат. Таким образом, только письма и есть то новое о Томасе Манне и сказанное им самим, что покамест открылось читателям с его смертью. Если при этом учесть верность Томаса Манна своему *scripsi*, его привычку заранее обдумывать ежедневный урок работы и не двигаться дальше до окончательной отделки предшествующего куска, если вспомнить, в частности, что текст «Будденброков» имелся у автора только в одном экземпляре, который он и послал в издательство, то можно с уверенностью предположить, что наиболее интересные для проникновения в его мастерскую открытия ждут исследователей и читателей не на пути текстологии, а на пути знакомства с небольшой — по сравнению с прижизненно опубликованным — частью вышедшего из-под его пера, то есть на пути знакомства с его письмами и, когда это станет возможно, с дневниками.

Выход русского перевода избранных писем Томаса Манна, приуроченный к знаменательной дате, — знак глубокого уважения к наследию выдающегося немецкого писателя в нашей стране.

³¹ См. Т. Мотылева. Достояние современного реализма. Исследования и наблюдения. М., 1973, стр. 219.

ПРИМЕЧАНИЯ



Переводы писем выполнены по следующим изданиям: *Thomas Mann. Briefe* Bd. I: 1889—1936; Bd. II: 1936—1947; Bd. III: 1948—1955. Herausgegeben von Erika Mann. Berlin und Weimar. Aufbau-Verlag, 1965—1968. *Thomas Mann—Karl Kerényi. Gespräch in Briefen.* Zürich, 1960. *Thomas Mann—Hermann Hesse. Briefwechsel.* Hrsgb. von Anni Carlsson. Frankf. a. M., 1968. *Thomas Mann. Briefe an Paul Amann, 1915—1952.* Hrsgb. von Herbert Wegener. Lübeck, 1959. Все купюры, отмеченные квадратными скобками, сделаны Эрикой Манн, исключившей из текста, во-первых, почти дословные повторения в рассказе об одних и тех же событиях разным корреспондентам и, во-вторых, «слишком личное — вещи, на которые публика — еще! — не имеет права» (*Briefe*, Bd. I, S. 11).

1. ГЕНРИХУ МАННУ

13.II.1901

- ¹ *Голдшер* Артур (1869—1941) — писатель, автор автобиографической книги «Жизнь мятежника» (1924), где есть и воспоминания о Томасе Манне, относящиеся к началу 900-х годов.
- ² ...успеха в работе над «Герцогиней». — Имеется в виду роман Генриха Манна «Богини, или Три романа герцогини Асси», вышедший в 1903 г.
- ³ *Вазари* Джорджо (1511—1574) — итальянский живописец и архитектор, автор «Жизнеописаний выдающихся художников, скульпторов и архитекторов».
- ⁴ *Граутоф* Отто (1876—1937) — школьный товарищ Томаса Манна, искусствовед, автор книги о Пуссене.
- ⁵ *Фишер* Самуэль (1859—1934) — издатель, «открывший» Томаса Манна и остававшийся его другом всю жизнь. (Ср. статьи Томаса Манна «S. Fischer zum siebzigsten Geburtstag» («Literarische Welt», Nr 51/52. Berlin, 19.XII, 1929) и «In memoriam S. Fischer» (*Th. Mann. Gesammelte Werke.* Bd. 11. Berlin, Aufbau-Verlag, S. 715.)
- ⁶ ...новелла под... названием «Литература»... Речь идет, по-видимому, о новелле «Тонио Крёгер».

2. ГЕНРИХУ МАННУ

7.III.1901

- ¹ ... о тифе... я... не думаю. — Намек на смерть персонажа «Будденброков» — Ганно, скончавшегося от тифа.
- ² ... «волшебного царства ночи»... — «Тристан и Изольда» Вагнера (2 акт).
- ³ ... повторение военной службы... — После нескольких недель военной службы в 1900 г. «вольноопределяющийся» Томас Манн был освобожден от нее но болезни.
- ⁴ Речь идет ... о дружбе... — Имеется в виду дружба с художником Паулем Эренбергом (1876—1949).

3. ХИЛЬДЕ ДИСТЕЛЬ

14.III.1902

Хильда Дистель (1880—1917) — левиза, подруга сестры Томаса Манна Юлии.

- ¹ ... под влиянием Ваших братьев... — Хильда Дистель была сводной сестрой Пауля Эренберга (см. прим. 4 к письму 2) и музыканта Карла Эренберга.
- ² ... экземпляр моего романа. — «Будденброков».
- ³ ... как говаривал король Филипп! — Цитата из «Дон Карлоса» Шиллера (IV, 9).
- ⁴ ... газеты писали об одной мрачной истории... — Эта «мрачная история» была через много лет использована Томасом Манном в «Докторе Фаустусе» (трагический роман Инесы Инститорис и Руди Швердтфегера).
- ⁵ Бурмейстер Вилли (1869—1933) — скрипач-виртуоз.
- ⁶ Цумпе Герман (1850—1903) — мюнхенский композитор и дирижер.
- ⁷ Фишер Франц фон (1849—1918) — мюнхенский виолончелист и пианист.

4. САМУЭЛЮ ЛЮБЛИНСКОМУ

23.V.1904

Самуэль Люблинский (1868—1910) — первый критик, указавший на огромное значение «Будденброков». В статье, помещенной в газете «Берлинер Тагеблатт», он назвал этот роман «нетленной книгой... одним из тех произведений, которые действительно возвышаются над текущим днем и эпохой, которые не увлекают за собой, как вихрь, а мягко убеждая, покоряют постепенно и неотразимо».

- ¹ ... Я взглянул... на страницы, где речь идет обо мне... — В книге С. Люблинского «Die Bilanz der Moderne» («Итоги модернизма») (1904).
- ² Буссе Карл (1872—1918) — литературовед, поэт и прозаик.

5. КАТЕ ПРИНГСГЕЙМ

начало июня 1904

Катя Прингсгейм (род. 1883) — будущая жена Томаса Манна, дочь профессора математики Мюнхенского университета, известного коллекционера произведений итальянского искусства Альфреда Прингсгейма и писательницы Хедвиг Дом.

8. КУРТУ МАРТЕНСУ

28.III.1906

Курт Мартенс (1870—1945) — писатель, с которым Томас Манн дружил в 900-е годы.

- ¹ ... ты... прислал мне свою статью. — Имеется в виду статья «Братья Манн», напечатанная в газете «Лейпцигер Тагеблатт» (1906, № 151).
- ² *Фриц Рейтер* (1810—1874) — известный немецкий писатель.
- ³ Ты очень пренебрежительно говоришь о статье «Бильзе и я». — Статья «Бильзе и я» (1906) вошла в русское десяти томное «Собрание сочинений» (т. 9. М., Гослитиздат, 1960, стр. 7).
- ⁴ ... я... точно выражаю в словах моего Лоренцо... — Имеется в виду персонаж «Фьоренцы» (1905), драматического произведения Томаса Манна.
- ⁵ *Клинггер Макс* (1857—1920) — художник и скульптор, автор лейпцигского памятника Бетховену.
- ⁶ *Рихард фон Шаукаль* (1874—1942) — поэт и театральный критик.
- ⁷ ... Генриха Манна ... который ... сражается ... за профессора Мурри. — Профессор Мурри — герой сенсационного в 1906 г. процесса. В защиту Мурри, которого обвиняли в убийстве, выступил в газете «Цукунфт» Генрих Манн.

9. ПАУЛЮ ЭРЕНБЕРГУ

12.VIII.1910

Пауль Эренберг — см. прим. 4 к письму 2.

- ¹ ... бедная Карла — сестра Томаса Манна, покончившая с собой летом 1910 г.
- ² *Поллинг* — дачное место неподалеку от Мюнхена.

10. ЮЛИУСУ БАБУ

31.VIII.1910

Юлиус Баб (1880—1955) — писатель-театровед.

- ¹ ... прекрасной маленькой статье в «Рундшау»... — Имеется в виду рецензия адресата на роман Густава Вида, озаглавленная «Упадок одной семьи» (журнал «Нейе Рундшау», сентябрь 1910), где проводятся параллели между этим романом и «Будденброками».
- ² *Лессинг Теодор* (1872—1933) — философ и математик, противник теории относительности Эйнштейна. Погиб от рук гитлеровских агентов в Чехословакии.
- ³ *Томас Б.* — сенатор Будденброк, герой романа «Будденброки».
- ⁴ *Лоренцо де Медичи, Савонарола* — персонажи «Фьоренцы».
- ⁵ *Клаус Генрих* — герой романа «Королевское высочество».
- ⁶ ... авантюрист! — *Феликс Круль*, герой романа «Исповедь авантюриста Феликса Круля».

11. ГЕНРИХУ МАННУ

27.IV.1912

- ¹ ... с завершением драмы! — По-видимому, драма «Большая любовь».
- ² ... о своей новелле... — Имеется в виду «Смерть в Венеции».

- ³ ... твой верноподданный... — герой романа Генриха Манна «Верноподданный» Дидерих Геслинг.
- ⁴ ... товарищами-одногодичниками. — Томас Манн должен был пробить на военной службе один год.

12. ФИЛИППУ ВИТКОПУ

4.X.1917

Филипп Виткоп (1880—1942) — профессор-германист.

- ¹ ... гинденбургские номера. — В 1917 г. отмечалось семидесятилетие фельдмаршала Гинденбурга.
- ² *Филипп Шарль-Луи* (1874—1909) — французский писатель. Цитата — из его романа «Бубу с Монпарнаса».
- ³ *Пфитцнер* Ганс (1869—1949) — композитор, впоследствии нацист, автор оперы «Палестрина», впервые исполненной в Мюнхене в июне 1917 г. Статья о «Палестрине» вошла в книгу «Размышления аполитичного», опубликованную в 1918 г.
- ⁴ *Штифтер Адальберт* (1805—1868) — выдающийся австрийский писатель, автор романов «После лета» (1857) и «Витико» (1867) и ряда рассказов.

13. ГЕНРИХУ МАННУ

3.I.1918

- ¹ После избавительного взрыва статьи о Золя... — В ноябре 1915 г. Генрих Манн напечатал в швейцарском журнале очерк об Эмиле Золя, где намеками говорил о неизбежности и желательности поражения вильгельмовской Германии. Poleмики с этим очерком отведена целая глава «Размышлений аполитичного».
- ² ... слова о ненависти к брату... — в «Размышлениях аполитичного».
- ³ ... вторая фраза ... была бесчеловечным эксцессом... — Второй по счету в тексте 1915 г. была фраза: «Это те, кому суждено рано засохнуть, уже на третьем десятке действуют сознательно, считаясь с действительностью». Печатаю очерк о Золя в 1931 г., Генрих Манн эту фразу вычеркнул.
- ⁴ ... было трудом каторжника, прикованного к галере... — Первым эпиграфом к «Размышлениям» поставлена фраза из «Проделок Скапена» Мольера: «Какого черта он полез на эту галеру?»
- ⁵ *Демель* Рихард (1863—1920) — немецкий писатель. В 1914 г. приветствовал начало войны и пошел добровольцем в кайзеровскую армию.
- ⁶ *Гарден* Максимилиан (1861—1921) — немецкий буржуазный публицист.
- ⁷ ... друга, которого приглашают на генеральные репетиции... — Имеется в виду генеральная репетиция драмы Демеля «Друзья человека».
- ⁸ ... ты ... порвал с Лулой... — Лула — Юлия Манн (в замужестве Лёр; 1877—1927) — старшая из двух сестер Томаса и Генриха Маннов.

14. ИОЗЕФУ ПОНТЕНУ

29.III.1919.

Иозеф Понтен (1883—1940) — немецкий писатель.

- ¹ ... Вашу новеллу... — «Остров» (1919).

- ² ... две небольших вещи. — Имеются в виду «Хозяин и собака» и «Песнь о ребенке».
- ³ ... после венгерских событий... — 21 марта 1919 г. была провозглашена Венгерская Советская Республика.
- ⁴ ... от «пролетарской культуры». — В 1917—1920 гг. организации Пролеткульта широко распространились не только в нашей стране, но и за рубежом (Англия, Германия, Чехословакия). Деятельность Пролеткульта отражала тягу трудовых масс к культуре, к художественному творчеству, однако теоретические установки руководителей Пролеткульта были по существу антиленинскими. См. статью Л. Ф. Денисовой «В. И. Ленин и Пролеткульт» («Вопросы философии», 1964, № 4).

15. КУРТУ МАРТЕНСУ

26.VI.1919

- ¹ ... Я хотел бы ... закончить оба романа... — Имеются в виду «Исповедь авантюриста Феликса Круля» и «Волшебная гора».

16. ГУСТАВУ БЛЮМЕ

5.VII.1919

Густав Блюме (род. 1882) — берлинский врач-невропатолог.

- ¹ Брукнер Антон (1824—1896) — выдающийся австрийский композитор.
- ² Каносса — крепость в Апеннинах, где в 1077 г. германский император Генрих IV провел три дня в покаянных молитвах, после чего папа Григорий VII отменил его отлучение от церкви.
- ³ ... в своей борьбе против литератора от цивилизации. — Под «литератором от цивилизации» Томас Манн в своих шовинистических «Размышлениях аполитичного» подразумевал в первую очередь выступавшего против империалистической войны Генриха Манна.

17. ЭРИКЕ МАНН

26.VII.1919

Эрика Манн (1905—1969) — старшая дочь Томаса Манна, писательница, журналистка, актриса.

- ¹ Милейн — так называли в семье Катю Манн.
- ² Пилейн — так называли в семье Томаса Манна.
- ³ Арцисси — уменьшительное название Арцисштрассе, где находился дом родителей Кати Манн.
- ⁴ Мони — Моника Манн (род. в 1910 г.) — дочь Томаса Манна.

18. СТЕФАНУ ЦВЕЙГУ

28.VII.1920

Стефан Цвейг (1881—1942) — известный австрийский писатель.

- ¹ ... спасибо за эту книгу... — Имеется в виду книга С. Цвейга «Три мастера» (1919).

² ...осталось у меня от времени моих занятий Савонаролой. — То есть от времен работы над «Фьоренцой».

19. КАРЛУ МАРИИ ВЕБЕРУ

4.VII.1920

Карл Мария Вебер (род. в 1890 г.) — литературовед.

¹ *Зейдель Вилли* (1887—1934) — немецкий писатель.

² «*Избирательное сродство*» — роман Гёте (1809).

³ ...вообще-то неудавшейся «*Песни о ребенке*»... — единственного стихотворного произведения Томаса Манна.

⁴ *Гермес Психопомп* — греческий бог Гермес в роли проводника душ умерших.

⁵ *Блюер Ганс* (1888—1955) — писатель. Полное название его книги, упоминаемой здесь, — «Роль эротика в мужском обществе» (1917—1919).

⁶ ...той девочки в Мариенбаде... — Имеется в виду Ульрика фон Левеццов (1804—1899), в которую в 1822 г. страстно влюбился Гёте.

⁷ *Винкельман Иоганн Иоахим* (1717—1768) — немецкий ученый, знаменитый историк античного искусства.

⁸ *Платен Август* (1796—1835) — немецкий поэт, противник феодальной реакции, господствовавшей в Европе после Венского конгресса.

⁹ *Георге Стефан* (1868—1933) — поэт, один из видных представителей немецкого символизма.

¹⁰ *Людвиг II* (1845—1886) — баварский король.

¹¹ перевод... прекраснейшего... любовного стихотворения... — Имеется в виду стихотворение Гёльдерлина «Сократ и Алкивиад».

¹² *Гиллер Курт* (род. в 1885 г.) — немецкий публицист.

¹³ *Гирифельд Магнус* (1868—1935) — врач-сексолог.

20. ВОЛЬФАНГУ БОРНУ

18.III.1921

Вольфанг Борн (1894—1949) — художник, автор девяти цветных литографий к «Смерти в Венеции», альбом которых вышел в Мюнхене в 1921 г. Это письмо предпослано альбому как предисловие.

¹ ...образ прелестного мученика... — Один из листов Борна изображает святого Себастиана.

² *Густав Малер* (1860—1911) — выдающийся австрийский композитор.

21. В «РУПРЕХТСПРЕССЕ»

25.III.1921

«*Рупрехтспрессе*» — мюнхенское издательство для библиофилов, выпустившее 200 пронумерованных экземпляров «Песни о ребенке».

¹ *Фосс Иоганн Фридрих* (1751—1826) — немецкий писатель и ученый, переводчик Гомера.

² *Фридрих Шлегель* (1772—1829) — немецкий писатель-романтик, эстетик и литературовед.

22. ГЕНРИХУ МАННУ

31.1.1922

Это письмо вместе с цветами было послано выздоравливавшему после тяжелой болезни Генриху в знак примирения.

23. ИДЕ БОЙ-ЭД

5.XII.1922

Ида Бой-Эд (1852—1928) — любекская писательница.

¹ ...если бы статью... — Имеется в виду статья Т. Манна «О немецкой республике» (1922).

² ...Бюро Вольфа... — официальное германское телеграфное агентство.

24. ГЕНРИХУ МАННУ

17.II.1923

¹ ...подробности насчет Рура... — Имеется в виду оккупация Рурской области французскими и бельгийскими войсками.

25. ФЕЛИКСУ БЕРТО

1.III.1923

Феликс Берто (1881—1948) — французский германист, историк немецкой литературы и переводчик некоторых произведений Томаса Манна.

26. ГЕРБЕРТУ ЭЙЛЕНБЕРГУ

6.I.1925

Герберт Эйленберг (1876—1949) — немецкий романист, драматург и публицист.

¹ *Пеперкорн* — персонаж романа «Волшебная гора».

² *Лёрке Оскар* (1884—1941) — поэт, долгое время работал редактором в издательстве С. Фишера.

³ *Райзигер* Ганс (1884—1968) — писатель и переводчик с английского, один из близких знакомых Томаса Манна.

⁴ *Шапиро* Иозеф (род. в 1893 г.) — литератор, автор «Разговоров с Герхартом Гауптманом». *Эккерман* Иоганн Петер (1792—1854) — автор «Разговоров с Гёте в последние годы его жизни».

⁵ *Элссер* Артур (1870—1937) — литературовед и театровед, первый (1925) биограф Томаса Манна.

⁶ «*Михаэль Крамер*», «*Коллега Крамптон*», «*Бегство Габриэля Шиллинга*» — драмы Г. Гауптмана.

27. ИОЗЕФУ ПОНТЕНУ

21.I.1925

¹ *Биндинг* Рудольф (1867—1938) — писатель реакционно-националистического направления.

² *Варнхаген фон Энзе* (1785—1858) — публицист и литературный критик, первый.

в частности, указавший в Германии на мировое значение творчества Пушкина.
³ *Морис Баррес* (1862—1923) — французский писатель-декадент, поборник шовинистического национализма.

28. ИОЗЕФУ ПОНТЕНУ

22.IV.1925

- ¹ *Беренс, Пеперкорн* — персонажи романа «Волшебная гора».
² *Юлиус Баб* — см. прим. к письму 10.
³ *Касторп* — персонаж романа «Волшебная гора».

29. ГАНСУ ПФИТЦНЕРУ

23.VI.1925

Об адресате см. прим. 3 к письму 12.

В апреле 1933 г. Пфитцнер, чтобы опорочить имя Томаса Манна в гитлеровской Германии, опубликовал это письмо без разрешения автора.

- ¹ ... мои новые духовные решения Вам неприятны. — Имеется в виду отход Томаса Манна от националистических заблуждений времен войны.
² «Послушен власти любви ты был...» — Цитата из «Валькирии» Рихарда Вагнера (III, 3).
³ ... моего последнего романа... — Имеется в виду «Волшебная гора».
⁴ *Элерс Пауль* (1881—1942) — музыковед.

30. ЭРНСТУ БЕРТРАМУ

28.XII.1926

Эрнст Бертрам (1884—1957) — литературовед, долгое время один из самых близких друзей Томаса Манна. Реакционно-националистические взгляды Бертрама оказались причиной разрыва между Томасом Манном и Бертрамом после прихода Гитлера к власти.

- ¹ ... дом в Герцогпарке... — район Мюнхена, где находился дом Томаса Манна.
² ... помешало мне... писать о рае... — Томас Манн работал в это время над первой частью тетралогии «Иосиф и его братья».
³ ... тифоническая форма... — Тифон (греч. миф.) — чудовище, боровшееся в глубокой древности за власть над землей и сброшенное в преисподнюю.
⁴ ... благословениями бездны, лежащей долу... — Бытие, 49, 25.

31. АДОЛЬФУ ПФАННЕРУ

15.XI.1927

Адольф Пфаннер — лицо неизвестное.

32. ВИЛЛИ ГААСУ

11.III.1928

Вилли Гаас (род. в 1891 г.) — публицист, редактор.

- ¹ ... я получил много одобрительных отзывов о своей статье... — Имеется в виду «Открытое письмо Вилли Гаасу», где Томас Манн отвечал на нападки газеты «Берлинер Нахтаусгабе».

- ² *Георг Бернгард* (1875—1944) — один из самых влиятельных журналистов Веймарской республики.
- ⁸ «*Фёлькишер Беобахтер*» — газета немецких националистов, впоследствии главный гитлеровский официоз.
- ⁶ *Герман Кейзерлинг* (1880—1946) — историк культуры, философ, автор нескольких книг.

33. АРТУРУ ГЮБШЕРУ

27.VI.1928

Артур Гюбшер (род. в 1897 г.) — литератор, в то время сотрудник «Зюддейче Монатсхефте».

- ¹ «*М. Н. Н.*» — «Мюнхнер нейесте Нахрихтен», газета, где Томас Манн ответил на нападки Гюбшера в «Зюддейче Монатсхефте» по поводу купюр при переиздании «Размышлений аполитичного».
- ² *Ратенау Вальтер* (1867—1922) — министр иностранных дел Веймарской республики, подписавший в Рапалло договор с Советской Россией и убитый националистическими террористами.
- ³ «*Джонни наигрывает*» — джазовая опера австрийского композитора и музыкального писателя Эрнста Кшенека (род. в 1900 г.), написанная в 1926 г. и впервые поставленная в 1927 г.

34. НЕИЗВЕСТНОМУ

8.I.1932

- ¹ *Макс Шелер* (1874—1928) — философ и социолог, автор незавершенной «Философской антропологии».

35. Б. ФУЧИКУ

15.IV.1932

Б. Фучик — лицо неизвестное.

- ¹ *Ортега-и-Гассет Хосе* (1883—1955) — испанский философ, субъективный идеалист.
- ² *Лангер Франтишек* (1888—1965) — чешский драматург и прозаик.
- ³ *Верфель Франц* (1890—1945) — выдающийся австрийский писатель.
- ⁴ *Макс Брод* (1884—1968) — австрийский писатель, издавший после смерти Ф. Кафки ряд его неопубликованных произведений.
- ⁵ *Герман Унгар* (1893—1928) — романист и драматург.
- ⁶ *Людвиг Виндер* (1889—1946) — пражский писатель, эмигрировавший в 1939 г. в Англию.

36. ЛАВИНИИ МАЦЦУККЕТТИ

13.III.1933

Лавиния Маццуккетти (1889—1963) — итальянская писательница, литературовед, переводчица Томаса Манна и автор множества работ о нем.

- ¹ *Меди* — так называли в семье младшую дочь Томаса Манна Элизабет (род. в 1918 г.).

38. GERMANU GESSE

31.VII.1933

- ¹ Хух Рикарда (1864—1947) — выдающаяся немецкая писательница.
- ² Каросса Ганс (1878—1956) — немецкий писатель.
- ³ ... «я не желаю ... виновным быть»... — Цитата из «Военной песни» Маттиаса Клаудиуса (1740—1815).
- ⁴ ... Вы не показали мне своего ... предисловия! — Имеется в виду вступительная глава романа «Игра в бисер».
- ⁵ Шикеле Рене (1883—1940) — немецкий (эльзасский) писатель, занимал в годы первой мировой войны пацифистскую позицию, покончил с собой в начале второй мировой войны.
- ⁶ Мейер-Грефе Юлиус (1867—1935) — немецкий искусствовед.
- ⁷ Олдос Хаксли (1894—1963) — известный английский писатель.

39. А. М. ФРЕЮ

30.XII.1933

Александр Моритц Фрей (1881—1957) — немецкий писатель.

- ¹ «Заммлюнг» — литературный ежемесячник, издававшийся в первые годы эмиграции Клаусом Манном в Амстердаме.
- ² Эфраим Фриш (1873—1942) — публицист, переводчик, редактор.

40. GERMANU GESSE

3.I.1934

- ¹ ... написать мне два слова об Иакове... — Имеется в виду «Былое Иакова», первая часть тетралогии «Иосиф и его братья».
- ² «Полцарства за умное слово!» — цитата из «Ессе homo» Ницше.
- ³ ... не все цветы мечты при этом распустятся... — Скрытая цитата из «Прометея» Гёте.
- ⁴ Гизе Тереза (род. в 1898 г.) — известная актриса, прославленная исполнительница главной роли в пьесе Брехта «Мамаша Кураж и ее дети».
- ⁵ ... из Шаушпильхауза — то есть цюрихского драматического театра.
- ⁶ Формуляров... присланных берлинской принудительной организацией... — Так называемой «Имперской палатой по делам печати».
- ⁷ ... Эрика ... открыла свое литературное кабаре. — Оно называлось «Пфеффермюле» («Мельница для перца»).
- ⁸ Вассерман Якоб (1873—1934) — известный немецкий писатель.

42. ЭРНСТУ БЕРТРАМУ

9.I.1934

- ¹ ... году II... — Имеется в виду второй год гитлеровского режима и пребывания Томаса Манна за границей.
- ² Люден Генрих (1780—1847) — автор двенадцатитомной «Истории немецкого народа».
- ³ Вагнеровский доклад... — 10.II.1933 г. Томас Манн прочитал в Мюнхенском университете доклад «Страдания и величие Рихарда Вагнера».

⁴ *Фосслер* Карл (1872—1949) — историк французской литературы, переводчик.

⁵ *Мони* — см. прим. 4 к письму 17.

⁶ «*Витико*» — исторический роман Штифтера (см. прим. 4 к письму 12).

43. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

20.II.1934

Карл Кереньи (род. в 1897 г.) — филолог и историк религии, работы которого вызывали пристальный интерес Томаса Манна.

¹ *Ануп* (Анубис) — в египетской мифологии бог смерти, изображался с собачьей или шакалей головой.

² *Гермес Психопомп* — см. прим. 4 к письму 19.

³ *Лоренс Дэвид Герберт* (1885—1930) — английский писатель.

⁴ *Поуис Джон Коупер* (1872—1963) — английский писатель, поэт, романист и историк культуры.

⁵ *Клагес Людвиг* (1872—1956) — реакционный философ, автор, в частности, книги «Почерк и характер».

⁶ *Телесфор* (миф.) — мальчик, сопровождающий бога врачевания Асклепия, гений выздоровления.

44. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

11.III.1934

¹ *Виланд Генрих* (1895—1934) — сотрудник журнала «*Нейе Рундшау*», автор статей о Томасе Манне и Гессе.

² ...какой-то кусок, относящийся к тому таинственному и высокому замыслу... — Имеется в виду работа Гессе над романом «*Игра в бисер*», находившаяся тогда в начальной стадии.

³ *Берман Фишер Готфрид* (род. в 1897 г.) — зять С. Фишера, возглавивший после его смерти издательство.

⁴ ...стихотворение о человеке... — стихотворение Гессе «*Сознание*» («*Besinnung*»).

⁵ ...мой второй том! — Имеется в виду «*Юный Иосиф*», второй том тетралогии «*Иосиф и его братья*».

45. ЮЛИУСУ БАБУ

25.III.1934

Об адресате см. прим. к письму 10.

¹ *Бруно Франки* — то есть писатель Бруно Франк (1887—1945) с женой.

46. РЕНЕ ШИКЕЛЕ

2.IV.1934

¹ ...для мальчика... — Имеется в виду младший сын Михаэль (род. в 1919 г.), музыкант.

² ...меня не лишили подданства и в последний заход... — Имеется в виду опубликование очередного списка лиц, лишенных гитлеровским правительством германского подданства.

- ³ ... наш дом в Мемельской области. — Ныне этот дом, находящийся на территории Литовской ССР, восстановлен и известен как «Дом Томаса Манна».
- ⁴ Эдуард Корроди (1885—1955) — швейцарский литературовед и критик, заведовавший с 1914 по 1950 г. литературным отделом газеты «Нейе Цюрихер Цайтунг».
- ⁵ Фердинанд Лион (1883—1965) — немецкий литературовед, сотрудник Томаса Манна по журналу «Мас унд Верт».
- ⁶ Аннетта. — Имеется в виду известная немецкая писательница и переводчица Аннетта Кольб (1875—1967).

47. КЭТЕ ГАМБУРГЕР

4.V.1934

Кэте Гамбургер (род. в 1896) — литературовед, автор многочисленных работ о творчестве Томаса Манна.

48. ИДЕ ГЕРЦ

25.V.1934

Ида Герц (род. в 1894 г.) — почитательница Томаса Манна, на протяжении десятилет коллекционировавшая печатные отзывы о его творчестве.

49. ЭРНСТУ БЕРТРАМУ

30.VII.1934

- ¹ ... Вы... потеряли друга. — Имеется в виду смерть каллиграфа Эрнста Глэкнера.
- ² В духе... пессимизма... я держу сторону штормовского... — Шторм Теодор (1817—1888) — выдающийся немецкий прозаик и поэт.
- ³ ... мерзейшего... шута... — Имеется в виду Гитлер.
- ⁴ ... Ваш поэт... — Имеется в виду Стефан Георге (см. прим. 9 к письму 19), под влиянием которого долгое время находился Бертрам.

50. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

4.VIII.1934

- ¹ ... потрясли меня зверства 30 июня... — 30 июня 1934 г. Гитлер устроил кровавую расправу с Ремом и другими своими прежними сподвижниками.
- ² ... австрийские ужасы... — В феврале 1934 г. австрийский канцлер Дольфус жестоко подавил демократические силы в стране, а в июле того же года пал жертвой национал-социалистского путча.
- ³ ... государственный переворот этого субъекта... — Имеется в виду сосредоточение еще большей власти в руках Гитлера.
- ⁴ ... моего третьего тома... — Имеется в виду третий том тетралогии об Иосифе.

51. GERMANU GECSE

7.VIII.1934

- ¹ ... спасибо... за... дорогой подарок! — Имеется в виду сборник стихотворений Гессе «Древо жизни» (1934).

52. ФЕРДИНАНДУ ЛИОНУ

3.IX.1934

Об адресате см. прим. 5 к письму 46.

- ¹ «Путешествие по морю с Дон-Кихотом» — Это эссе было опубликовано в «Нейе Цюрхер Цейтунг» в сентябре 1934 г. См. русский перевод в десятитомном Собр. сочинений, т. 10, стр. 174.
- ² ... в Лондоне делают фильм. — Проект экранизации «Былого Иакова» не был осуществлен.
- ³ ... что с ... предложением Фишеру? — Речь идет о книге Лиона «История как мифология», которую издательство «Фишер» отвергло.
- ⁴ Эмиль Престориус (1883—1973) — искусствовед, художник, режиссер.

53. GERMANU GESSE

5.IX.1934

- ¹ «Немецкая биография». — В однотомном сборнике биографий «Великие немцы» («Немецкая биография» — по-видимому, предположительное его название), изданном в гитлеровской Германии, фигурируют ничтожнейшие, но угодные фашистскому режиму писатели. Ни Томас Манн, ни Гессе в этом издании не отражены. Одним из инициаторов издания был, судя по контексту, реакционный писатель Вильгельм фон Шольц (1874—1969).
- ² Мейер-Грефе Юлиус — см. прим. 6 к письму 38.
- ³ ... я вычитал в «Книжном черве»... — журнал «для книголюбов».
- ⁴ Биндинг Рудольф (1867—1938) — реакционный немецкий писатель националистической ориентации.
- ⁵ Жан-Поль (Иоганн Пауль Фридрих) Рихтер (1763—1825) — выдающийся немецкий прозаик.
- ⁶ ... на «Книгу негодования», я еще никак не решусь. — Намек на заголовок из гётевского «Западно-восточного дивана».

54. ХЕДВИГ ФИШЕР

2.XI.1934

Хедвиг Фишер (1871—1952) — жена издателя С. Фишера.

- ¹ ... Мы... узнали о случившемся... — Имеется в виду смерть С. Фишера.
- ² ... намекнул в некрологе... — Некролог «In memoriam S. Fischer» (см. прим. 5 к письму 1) был напечатан в газете «Базлер Нахрихтен» (28.X.1934 г., N 43).
- ³ Зуркамп Петер (1891—1959) — известный немецкий издатель.
- ⁴ Райзигер Ганс — см. прим. 3 к письму 26.
- ⁵ ... интересна книга о Карле Великом. — Автор — Рудольф Валь.
- ⁶ Дёблин Альфред (1878—1957) — известный немецкий писатель.
- ⁷ «Заммлюнг» — см. прим. 1 к письму 39.
- ⁸ Ханеман Самуэль (1755—1843) — врач, основоположник гомеопатии.
- ⁹ Гумперт Мартин (1897—1955) — врач и писатель, близкий друг семьи Томаса Манна.

55. ГАРРИ СЛОЧАУЭРУ

1.IX.1935

Гарри Слочауэр (род. в 1900 г.) — литературовед и социолог.

- ¹ *Большую главу... я изучил...* — Глава посвящена «Волшебной горе».
- ² «Гёте и Толстой»... — Эссе 1922 года. Русский перевод см. в 9 т. Собр. соч., стр. 487.
- ³ *Антигона* — персонаж из греческой мифологии, дочь царя Эдипа, героиня одноименной трагедии Софокла.

56. АЛЬФРЕДУ КУБИНУ

9.IX.1935

Альфред Кубин (1877—1959) — известный немецкий художник-иллюстратор.

- ¹ ... дали Вы... в бермановский футляр! — Издательство Бермана-Фишера преподнесло Томасу Манну футляр с поздравлениями своих авторов и сотрудников.
- ² ... факсимиле... было паллиативом. — Факсимиле письма с благодарностью, разосланного Томасом Манном всем, кто его поздравил с шестидесятилетием.

57. РЕНЕ ШИКЕЛЕ

16.XII.1935

- ¹ ... падение Гамсуна... — В 1935 г. Кнут Гамсун вступил в партию Квислинга (норвежскую фашистскую партию).
- ² *Гладстон Вильям* (1809—1898) — британский премьер-министр, либерал.
- ³ *Рецензия на Генриха IV...* — Имеется в виду роман Генриха Манна «Юность короля Генриха IV».
- ⁴ «Дюри Цитиг» — название «Нейе Цюрхер Цейтунг» в местном просторечии.
- ⁵ *Герман Кессер* (1800—1952) — немецкий писатель.
- ⁶ ... моей главе в «Рундшау»... — В журнале «Нейе Рундшау» (№ 6, 1935) была опубликована глава из третьей части «Иосифа», полностью опубликованной в 1936 г.

58. ЭДУАРДУ КОРРОДИ

3.II.1936

После опубликования этого письма в «Нейе Цюрхер Цайтунг» (3.II.1936, № 193) гитлеровское правительство лишило Томаса Манна германского подданства.

- ¹ ... издатель «Нового дневника» — публицист Леопольд Шварцшильд (1891—1950), издававший в те годы в Париже журнал «Das Neue Tagebuch» («Новый дневник»).
- ² *Леонгард Франк* (1882—1961) — известный романист, новеллист и драматург.
- ³ *Фриц фон Унру* (1885—1970) — писатель-драматург, один из видных представителей немецкого экспрессионизма.
- ⁴ *Оскар Мария Граф* (1894—1967) — писатель, умер в США, куда эмигрировал в 30-е годы.
- ⁵ *Аннетта Кольб* — см. прим. 6 к письму 46.
- ⁶ *А. М. Фрей* — см. прим. к письму 39.

- ⁷ *Густав Реглер* (род. в 1898 г.) — писатель, сражался в Испании в Интернациональной бригаде.
- ⁸ *Бернгард фон Брентано* (1901—1964) — писатель, из рода известного писателя-романтика Клеменса фон Брентано (1778—1842).
- ⁹ *Эрнст Глезер* (1902—1963) — романист и публицист.
- ¹⁰ *Эльва Ласкер-Шюлер* (1876—1945) — известная поэтесса.
- ¹¹ *Карльвейс Марга* (род. в 1889 г.) — вторая жена писателя Якоба Вассермана (см. прим. 8 к письму 40).
- ¹² ... слова одного... благородного немецкого поэта — Августа фон Платена, см. прим. 8 к письму 19.

59. GERMANU GECSE

9.II.1936

- ¹ ... не огорчайтесь по поводу сделанного шага! — Имеется в виду опубликование предыдущего письма, приведшее к лишению Томаса Манна германского подданства.
- ² *Олимпиада*... — Имеются в виду Олимпийские игры 1936 г. Устраивая их в Берлине, гитлеровское правительство хотело повысить свой международный престиж.

60. ПАУЛЮ АМАННУ

21.II.1936

Пауль Аманн (1884—1958) — австрийский филолог, переписывавшийся с Томасом Манном на протяжении многих лет.

- ¹ ... вследствие этой гусарской выходки... — См. примечание 1 к предыдущему письму.

61. ГЕНРИХУ МАННУ

2.VII.1936

- ¹ «Кооперасьон» — «Comité International pour la Coopération Intellectuelle» («Международный комитет интеллектуального сотрудничества»).
- ² ... докладом о *Фрейде*... — см. прим. 2 к письму 67.
- ³ *Гатваньи Лайош* (1880—1961) — венгерский писатель-антифашист.
- ⁴ *Вальтер* — дирижер Бруно Вальтер (1876—1962), близкий друг Томаса Манна.
- ⁵ *Франция вызывает только любовь и восхищение*. — Гитлеровская оккупация демилитаризованной по Версальскому договору зоны Рейнской области вызвала во Франции всеобщее возмущение, за которым, однако, решительных действий французского правительства не последовало.

62. ГЕНРИХУ МАННУ

20.VII.1936

- ¹ ... твоя хрестоматия... — Генрих Манн. «Настанет день». Немецкая хрестоматия. Цюрих, 1936.
- ² *Нимёллер* Мартин (род. в 1892 г.) — протестантский священник, известный антифашист и борец за мир, с 1937 по 1945 г. — узник Дахау и Бухенвальда.

- ³ ... до конца августа мне... не кончить... — Имеется в виду окончание третьего романа тетралогии об Иосифе, «Иосиф в Египте».
- ⁴ Гоши — Леония Манн-Ашкенази (род. в 1916 г.), дочь Генриха Манна.
- ⁵ ... последнее мое «отклонение»... — доклад «Фрейд и будущее».
- ⁶ Флейшман Рудольф — лицо, хлопотавшее о чехословацком подданстве для братьев Манн.

64. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

7.X.1936

- ¹ ... письма о третьем Иосифе. — Имеется в виду третий роман тетралогии.
- ² ... свою прекрасную статью... — Статья Кереньи «Eulabeia» («Осторожность») в «Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher» («Византийско-новогреческом ежегоднике»), 1931.
- ³ ... одну... этимологическую натяжку. — Томас Манн по традиции производил слово «religio» от «ligare», «вязать», Кереньи высказывал другие соображения о происхождении этого слова.

66. СТЕФАНУ ЦВЕЙГУ

8.XII.1936

- ¹ В эти дни мне доводится слышать много дружеских слов... — 2 декабря 1936 г. гитлеровское правительство объявило о лишении Томаса Манна германского подданства.
- ² ... я пишу сейчас как раз новеллу о Гёте. — Имеется в виду начало работы над «Лоттой в Веймаре».
- ³ Мартен дю Гар Роже (1881—1958) — известный французский писатель, автор цикла романов «Семья Тибо».

67. ЗИГМУНДУ ФРЕЙДУ

13.XII.1936

- ¹ ... объявившим меня вне закона берлинским указом. — В подлиннике: «Berliner Aechtungsukas».
- ² ... речь, которую я произнес на торжественном заседании. — 8 мая 1936 г. в Вене, на торжественном заседании, посвященном восьмидесятилетию Фрейда, Томас Манн произнес речь, озаглавленную «Зигмунд Фрейд и будущее».
- ³ ... захватывающие мысли о Наполеоне... — «Мифологическим образом» для Наполеона была, по мнению Фрейда, история библейского Иосифа.

68. GERMANU GESSE

23.II.1937

- ¹ Одна богатая и любящая литературу дама... — Вдова люксембургского промышленника Эмиля Майриша.
- ² Опрехт Эмиль (1895—1952) — швейцарский издатель и книготорговец.

69. ДЖОЗЕФУ АНДЖЕЛЛУ

11.V.1937

Джозеф Анджелл (род. в 1908 г.) — американский литературовед и историк, инициатор создания архива Томаса Манна при Йельском университете.

- ¹ Лоу-Портер Хелен (1877—1963) — американская писательница, лучшая переводчица произведений Томаса Манна на английский язык.
- ² Чьелан Александр Ланге (1849—1906), Ли Юнас (1833—1908) — норвежские писатели.
- ³ Якобсен Йенс Петер (1847—1885) — датский писатель.
- ⁴ Шамиссо Адальберт фон (1781—1838) — немецкий поэт.
- ⁵ Тик Иоганн Людвиг (1773—1853) — немецкий драматург, прозаик и поэт.
- ⁶ Шлегель. — Имеется в виду, конечно, Фридрих Шлегель (1772—1829), более крупный писатель, чем его брат Август.
- ⁷ Новалис (псевдоним барона фон Гарденберга, 1772—1801) — крупнейший поэт и прозаик раннего романтизма в Германии.
- ⁸ Фонтане Теодор (1819—1898) — известный немецкий писатель, автор одной из любимейших книг Томаса Манна — романа «Эффи Брист» (см. статью Томаса Манна «Старик Фонтане»).
- ⁹ Готфрид Келлер (1819—1890) — крупнейший швейцарский писатель XIX в.
- ¹⁰ Паскуале Виллари (1827—1917) — итальянский историк и политик.
- ¹¹ Бахофен Иоганн Якоб (1815—1887) — швейцарский юрист и этнолог, чей труд «Материнское право» привлек к себе пристальное внимание Энгельса.
- ¹² ... я сделал... попытки выволить из Германии рукопись... — Примечание Эрики Манн: «Рукопись «Волшебной горы» — как и все рукописи Т. М. до 1933 г. — была доверена мюнхенскому адвокату д-ру Валентину Гейнсу. Д-р Гейнс отказался выдать рукопись «надежному человеку» Т. М. и после войны утверждает, что все рукописи, письма и пр. сгорели во время бомбежки» (*Briefe*, Bd. II, S. 634).

70. ГОСПОДИНУ КИНБЕРГЕРУ

23.XII.1937

Кинбергер — лицо неизвестное.

- ¹ Конрад Фальке (1880—1942) — швейцарский писатель, соредaktor журнала «Мас унд Верт», переводчик Данте.
- ² Дёблин Альфред — см. прим. 6 к письму 54.
- ³ ... шпенглеровской терминологии... — Освальд Шпенглер (1880—1936) — реакционный философ, автор двухтомного труда «Закат Европы», который Томас Манн резко критиковал в статье «Об учении Освальда Шпенглера» (1924).

71. НЕИЗВЕСТНОЙ

21.V.1938

- ¹ Я... поселюсь в одном университетском городе американского Востока. — Имеется в виду Принстон, штат Нью-Джерси.
- ² Escasez l'infâme — призыв Вольтера бороться с католической церковью и религиозным дурманом.

72. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

9.IX.1938

- ¹ «Папирусы». — Имеется в виду статья Кереньи «Папирусы и проблема греческого романа», опубликованная в «Трудах V Международного папирологического конгресса» (1938).
- ² ... освобождением судетских немцев... — Под предлогом «освобождения» судетских немцев гитлеровцы оккупировали сначала Судетскую область, а потом и всю Чехословакию.
- ³ ... завершение «Лотты в Веймаре»... — Роман был завершён в следующем, 1939 г.
- ⁴ ... в этом прочном царстве мертвых! — то есть в Америке. По древнеегипетским представлениям, царство мертвых находилось на Западе.

73. КОРДЕЛУ ХЭЛЛУ

25.X.1938

- Корделл Хэлл (1871—1955) — государственный секретарь США с 1933 по 1944 г.
- ¹ Лео Кестенберг (1882—1962) — пианист, ученик Бузони.
- ² Иоахим Вернер Кон (1906—1955) — журналист, после эмиграции в Англию сотрудничал в английских газетах.
- ³ Вильгельм Неккер (род. в 1897 г.) — журналист и писатель.
- ⁴ Александр Бессмертный (1888—1943) — литератор, был арестован гестапо в 1939 г. и в 1943 г. казнён в Берлине.
- ⁵ Эгон Лербургер (род. в 1904 г.) — журналист и писатель.
- ⁶ Урсула Хёниг — секретарь общества «Томас Манн» в Праге.
- ⁷ Вильгельм (Вилли) Штернфельд (род. в 1888 г.) — журналист.
- ⁸ Фридрих Буршель (род. в 1889 г.) — писатель и переводчик.
- ⁹ Фритта Брод — актриса.
- ¹⁰ ... счастье пользоваться защитой американской демократии. — Никто из перечисленных в этом списке разрешения на въезд в США не получил.

74. АННЕ ДЖЕКОБСОН

30.XI.1938

- Анна Джекобсон (род. в 1888 г.) — профессор германистики, автор ряда литературоведческих работ.
- ¹ Кайзер Рудольф (1889—1964) — литератор, зять Альберта Эйнштейна.

75. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

6.XII.1938

- ¹ Крейцер Фридрих (1771—1858) — немецкий учёный, автор «Символики и мифологии древних народов».
- ² ... в бидермановских «Разговорах». — Бидерман Густав Вольдемар (1817—1907) — исследователь творчества Гёте.
- ³ ... «Классической Вальпургиевой ночи»... — сцена из второго акта второй части «Фауста» Гёте. Персонажи классической Вальпургиевой ночи взяты из греческой мифологии и истории. Отсюда и название «классическая» (в отличие от «Вальпургиевой ночи» в 1-й части «Фауста»).

- ⁴ «Этот мир»... — Статья представляет собой отклик Томаса Манна на «Мюнхенское соглашение».

76. ЭРИКЕ И КЛАУСУ МАННАМ

декабрь 1938

- ¹ ... вы... написали... книгу в моем духе... — Имеется в виду книга Эрики (см. прим. к письму 17) и Клауса (1906—1949) «Escape to Life» («Бегство к жизни»). Это письмо послужило предисловием к ней.
- ² ... с тех пор уже несколько лет прошло. — См. письмо 58.

77. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

16.II.1939

- ¹ ... прочел Вашу статью о празднике... — «О сущности праздника» (журнал «Пайдеума», 1938).
- ² ... говорится о гатемовском романе с Марианной Виллемер. — Гатем — персонаж «Западно-восточного дивана» Гёте («Книга Зюлейки»). Марианна Виллемер (урожд. Юнг, 1784—1860) — прототип Зюлейки в этом сборнике.

78. ГЕНРИХУ МАННУ

14.V.1939

- ¹ ... appeasement... — Имеется в виду политика попустительства Гитлеру, которую проводили западные державы.
- ² ... после ноябрьских погромов... — Имеется в виду так называемая «хрустальная ночь» — погром 9 ноября 1938 г., послуживший началом истребления евреев в фашистской Германии.
- ³ «Дас шварце Кор» — эсэсовская газета.
- ⁴ Вильгельм Дитерле (1893—1972) — актер и режиссер.
- ⁵ Лотта Леман (род. в 1888 г.) — певица.
- ⁶ Герман Раушнинг (род. в 1887 г.) — публицист и дипломат.
- ⁷ Людвиг Ренн (род. в 1889 г.) — известный писатель-антифашист.
- ⁸ Макс Рейнгардт (1873—1943) — известный режиссер.
- ⁹ Пауль Тиллих (род. в 1886 г.) — теолог.

79. РУДОЛЬФУ ОЛЬДЕНУ

1.VI.1939

Рудольф Ольден (1885—1940) — писатель-публицист.

- ¹ Роберт Музиль (1880—1942) — выдающийся австрийский писатель.
- ² ... я назвал этот роман... — В ответе на анкету «Лучшие книги года» в журнале «Тегебух» (№ 49, 3.XII.1932 г.).

80. ГЕНРИХУ МАННУ

28.VI.1939

- ¹ «Мужество» — сборник статей Генриха Манна, вышедший в Париже в 1939 г.

81. ЛУИЗЕ СЕРВИСАН

13.VIII.1939

Луиза Сервисан (род. в 1896 г.) — французская переводчица многих произведений Томаса Манна.

82. ГЕНРИХУ МАННУ

26.XI.1939

- ¹ Пишу... чтобы поздравить вас... с бракосочетанием... — В ноябре 1939 г. Генрих Манн оформил свой давний уже брак с Нелли Крёгер.
- ² Джузеппе Антонио Борджезе (1882—1952) — итальянский профессор, проживший около двадцати лет в США.
- ³ Жироду Жан (1882—1944) — известный французский писатель.
- ⁴ Ромен Жюль (1885—1972) — известный французский писатель.

83. ЭМИЛИО ЛИФМАНУ

2.I.1940

Эмиль Лифман (1878—1955) — врач.

84. ВИЛЬГЕЛЬМУ ГЕРЦОГУ

26.II.1940

Вильгельм Герцог (1884—1960) — писатель-публицист.

- ¹ ... если бы Шведская академия решила на подобную демонстрацию... — то есть на присуждение Верфелю Нобелевской премии.
- ² ... кандидатуру Гессе... — Гессе получил Нобелевскую премию в 1946 г.

85. ГЕНРИХУ МАННУ

3.III.1940

- ¹ Голо... хорошо делает свое дело. — Голо Манн (род. в 1909 г.), средний сын Томаса Манна, ныне известный историк, редактировал в то время в Цюрихе журнал «Мас унд Верт».

86. КУНО ФИДЛЕРУ

19.III.1940

Куно Фидлер (род. в 1895 г.) — писатель-теолог, близкий друг семьи Томаса Манна.

- ¹ ... вернуться к Вашему теологическому памфлету... — Имеется в виду произведение «Вера, милость и спасение по Иисусу синоптиков» (Берн, 1939).
- ² Великий инквизитор. — Имеется в виду глава V пятой книги второй части романа Достоевского «Братья Карамазовы».

87. ВИКТОРУ ПОЛЬЦЕРУ

23.III.1940

Виктор Польцер (род. в 1892 г.) — австрийский литератор.

88. АГНЕС Э. МЕЙЕР

25.V.1940

Агнес Э. Мейер (род. в 1887 г.) — американская журналистка и общественная деятельница, жена тогдашнего издателя газеты «Вашингтон Пост» Юджина Мейера. Около 300 писем Томаса Манна к Агнес Э. Мейер хранятся в Йельском университете.

- ¹ *Все это... довершает страдания семи лет...* — Имеются в виду вторжение гитлеровских войск в Бельгию и Голландию и окружение северной группы французской армии.

89. ГЕРХАРТУ ЗЕГЕРУ

4.VI.1940

Герхарт Зегер (род. в 1896 г.) — немецкий журналист, издававший после эмиграции в США еженедельник «*Нейе Фольксцейтунг*».

90. АГНЕС Э. МЕЙЕР

14.VI.1940

- ¹ ... *этот изверг...* — Гитлер.

- ² ... *новую главу «Обмененных голов»...* — Эта новелла Томаса Манна была издана в 1940 г. в Стокгольме.

- ³ ... *Маунт-Киско...* — Там была дача Мейеров.

91. ГАМИЛЬТОНУ АРМСТРОНГУ

26.VI.1940

Гамильтон Армстронг (род. в 1893 г.) — американский дипломат и журналист, издатель журнала «*Форин Эфферз*».

- ¹ *Суинг* Раймонд Грэм (род. в 1887 г.) — американский радиокomentатор и публицист.

92. ЛЮДВИГУ ЛЬЮИСОНУ

30.IX.1940

Людвиг Льюисон (род. в 1883 г.) — американский прозаик.

- ¹ *Ваша книга...* — Имеется в виду роман Льюисона «*Убежище*» (1940).

- ² *Менно тер Браак* (1902—1940) — выдающийся голландский эссеист, памяти которого посвящена одна из статей Томаса Манна.

- ³ *Два... крупных голландских писателя...* — Дю Перрон Чарльз Эдгар (1899—1940), умерший от инфаркта в день вторжения гитлеровцев в Голландию, и Хендрик Марсман (1899—1940), утонувший при попытке покинуть торпедированное немцами голландское торговое судно.

93. ЛИОНУ ФЕЙХТВАНГЕРУ

26.X.1940

- ¹ ... *рад поздравить Вас... с прибытием!* — Фейхтвангер вместе с Генрихом Манном прибыл в США из Южной Франции через Пиренейский полуостров в октябре 1940 г.

- ² *Овдовевшей Моники еще нет...* — Муж Моники, искусствовед Ене Ланьи, погиб, когда судно, направлявшееся в Америку, было потоплено немцами.

94. ДЖОЗЕФУ КЕМПБЕЛЛУ

6.1.1941

Джозеф Кемпбелл (род. в 1904 г.) — американский педагог.

95. АГНЕС Э. МЕЙЕР

24.1.1941

- ¹ ... нас приняли с поразительным вниманием. — 14 и 15 января Томас Манн с женой были гостями президента США Рузвельта (1882—1945) в Белом доме.
- ² *Линдберг Чарлз* (1902—1974) — известный американский летчик, открыто заявлявший о своих прогитлеровских настроениях.
- ³ «*Песнь о земле*». — Оркестр и хор под управлением Бруно Вальтера исполняли симфонию-кантату Густава Малера.
- ⁴ *Иосифа... доставляет... гонцу*. — Имеется в виду глава «Спешный гонец» (Раздел второй четвертой части тетралогии об Иосифе).

96. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

18.11.1941

- ¹ *Юнг Карл Густав* (1875—1961) — известный швейцарский психолог и врач.
- ² «*Божественное дитя*» — название работы Кереньи, вышедшей с комментарием Юнга.

97. АГНЕС Э. МЕЙЕР

15.V.1941

- ¹ ... стало известно о фантастической выходке Гесса. — «Заместитель фюрера» Рудольф Гесс (род. в 1894 г.), отбывающий ныне по приговору на Нюрнбергском процессе (1946) пожизненное тюремное заключение, прилетел в мае 1941 г. в Шотландию, чтобы перед началом войны против Советского Союза заключить сепаратный мир с Великобританией.
- ² *Франклин Делано Рузвельт* — президент США.
- ³ ... а не *Ваш...* — Агнес Э. Мейер не одобряла политики Рузвельта.
- ⁴ ... этот музыкант... — Фриц Штидри (род. в 1883 г.) — австрийский дирижер.

98. АГНЕС Э. МЕЙЕР

16.VII.1941

- ¹ ... где речь идет о бумажных деньгах. — «*Фауст*», часть вторая, акт I.
- ² ... его книга о *Фридрихе Гентце...* — Гентц Фридрих (1764—1832) — дипломат и реакционный публицист, сотрудник Меттерниха. Книга Голо Манна о Гентце вышла в «Йель Юниверсити Пресс» в 1946 г. (на английском языке) и в цюрихском «Европа-ферлаг» в 1947 г. (на немецком языке).

99. АЛЬБЕРТУ ЭЙНШТЕЙНУ

4.VIII.1941

¹ *Вильгельм Герцог* — См. прим. к письму 84.

100. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

7.IX.1941

¹ «*Божественная дева*» — название работы Кереньи, опубликованной в журнале «*Albae vigiliae*» (вып. VI/VII).

101. АГНЕС Э. МЕЙЕР

7.X.1941

¹ *Рильке Райнер Мария* (1875—1926) — выдающийся немецкий поэт.

² ... *Рильке написал одну из первых и лучших рецензий на «Будденброков»*. . . — Рецензия была напечатана 16.IV.1902 г. в газете «*Бремер Тагеблатт*».

³ *Гильгамеш* — герой древневосточного эпоса III тысячелетия до н. э.

⁴ ... *о семи докторских мантиях*. . . — Имеется в виду звание почетного доктора, присвоенное Томасу Манну несколькими американскими университетами.

⁵ ... *меценат, из семьи Бодмеров*. . . — Ганс К. Бодмер (1891—1956), врач, коллекционер.

102. АГНЕС Э. МЕЙЕР

27.XII.1941

¹ ... *как переживаешь... такую несчастную неудачу*. . . — Имеется в виду налет японцев на Пирл-Харбор 7 декабря 1941 г., уничтоживший значительную часть американского военно-морского флота.

² *мистер Хэлл* — см. прим. к письму 73.

³ *Абрахам Флекснер* (1866—1959) — американский педагог.

⁴ *Френсис Биддл* — генеральный прокурор США в годы второй мировой войны.

103. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

15.III.1942

¹ *Шубарт Христиан Фридрих* (1739—1791) — немецкий писатель эпохи «бури и натиска». Упоминаемая в письме книга представляет собой его автобиографию.

² *Клопшток Фридрих Готлиб* (1724—1803) — выдающийся поэт немецкого Просвещения.

³ ... *опыт нового романа Верфеля*. . . — Имеется в виду роман Верфеля «*Песнь о Бернадетте*» (1941).

⁴ ... *письмо к Гумбольдту*. — Имеется в виду письмо Гёте к Вильгельму фон Гумбольдту (1767—1835), выдающемуся немецкому ученому и писателю, от 17 марта 1832 г.

⁵ *Фридолин Манн* (род. в 1940 г.) — внук Томаса Манна, сын Михаэля и Греты Манн (урожд. Мозер).

104. ЛЮДВИГУ МАРКУЗЕ

27.III.1942

Людвиг Маркузе (1894—1970) — немецкий литературовед и публицист.

¹ Мук Карл (1859—1940) — немецкий дирижер.

² Тосканини Артуро (1867—1957) — знаменитый итальянский дирижер.

³ Толан Джон Г. (1877—1947) — калифорнийский адвокат, депутат палаты представителей.

⁴ ... ужасный пример Франции. — Имеется в виду суровое обращение французских властей с немецкими эмигрантами-антифашистами накануне второй мировой войны.

105. ГЕНРИХУ МАННУ

19.V.1942

¹ ... деньги пришли. — Имеются в виду гонорары за советские издания произведений Генриха Манна.

² ... ты считаешь, что... я могу отступить... — то есть не присылать ежемесячного в тот период денежного подспорья брату.

106. АГНЕС Э. МЕЙЕР

27.VI.1942

¹ ... Очередное message в Европу... — Имеется в виду очередное выступление по лондонскому радио.

² Гейдрих Рейнгардт (1904—1942) — эсэсовец и гестаповец, «заместитель имперского протектора Богемии и Моравии», убитый чешскими патриотами.

³ ... мою землю Египетскую... — Намек на «Иосифа и его братьев».

⁴ Клаус. — Клаус Манн добровольно пошел в американскую армию в 1942 г.

⁵ «Штехлин» — роман Теодора Фонтане (см. прим. 8 к письму 69), вышедший после его смерти, в 1899 г.

107. КЛАУСУ МАННУ

2.IX.1942

¹ ... пишу тебе... когда из-под твоего пера выходит... что-либо новое. — Письмо написано в связи с выходом английского варианта автобиографической книги Клауса Манна «Точка поворота».

² Милейн — см. прим. 1 к письму 17.

³ ... «папа был ведь так болен»... — По свидетельству Эрики Манн, в доме Томаса Манна часто цитировали в шутку эти слова Гуго фон Гофмансталя (1874—1929), который, по своей доверчивости и избалованности, предполагал, что все осведомлены о событиях, связанных с ним и с его окружением.

⁴ «United Children» — название книги Эрики Манн.

⁵ Гельхен — Голо Манн.

⁶ Антони — младший (род. в 1942 г.) сын Михаэля Манна.

⁷ В — «Волшебник». Так называли Томаса Манна дети, и письма к ним он часто подписывал буквой Z (Zauberer).

108. ФРИДЕРИКЕ ЦВЕЙГ

15.IX.1942

Фридерика Цвейг (род. в 1882 г.) — первая жена Стефана Цвейга, писательница-переводчица.

¹ Витковский Виктор (1909—1960) — литератор.

109. ЖЮЛЮ РОМЕНУ

Рождество 1942

Жюль Ромен (1885—1972) — французский писатель. В 30-е годы занимал реакционную позицию, но после поражения Франции не стал коллаборационистом и годы второй мировой войны провел в эмиграции.

¹ ... знаменитых «Mystères»... — Имеется в виду сборник статей «Семь тайн судьбы Европы» (1940).

110. АГНЕС Э. МЕЙЕР

12.I.1943

¹ «Липочка» — песня из вокального цикла Франца Шуберта (1797—1828) «Зимний путь».

² ... другие records Ганса... — Имеется в виду Ганс Касторп, главный герой «Волшебной горы».

³ Таубер Рихард (1892—1948) — певец, лирический тенор.

⁴ ... Ваш Билл — сын Агнес Э. Мейер.

⁵ Макс Либерман (1847—1935) — известный немецкий художник.

111. АГНЕС Э. МЕЙЕР

28.I.1943

¹ ... патриотическое паломничество... — поездка с докладами на политические темы.

² ... мой Моисей... — Имеется в виду новелла «Закон».

³ «Order of the Day», «Listen, Germany» — названия публицистических книг Томаса Манна.

⁴ Джефферсон Томас (1743—1826) — президент США (1800—1808).

⁵ ... полетом в африканский «White House». — Имеется в виду поездка Рузвельта на конференцию в Касабланке (январь 1943 г.).

⁶ ... to Tipperary... — Обыгрываются слова известной английской песни.

⁷ Мак-лиш Арчибалд (род. в 1892 г.) — американский поэт, возглавлявший в 1939—1945 годах «Библиотеку Конгресса».

⁸ Уоллес Генри А. (род. в 1888 г.) — американский политический деятель, в 1941—1945 гг. вице-президент США.

⁹ Сфорца Карло, граф (1873—1952) — итальянский политический деятель, с 1926 по 1943 г. жил в эмиграции.

¹⁰ Дети — внуки Томаса Манна Фридолин и Антони.

112. АГНЕС Э. МЕЙЕР

17.II.1943

- ¹ Роммель Эрвин (1891—1944) — германский фельдмаршал, возглавлявший в 1941—1943 гг. «африканский корпус», участвовал в неудавшемся покушении на Гитлера, покончил самоубийством.
- ² Чиано Галеаццо, граф (1903—1944) — зять Муссолини, итальянский министр иностранных дел, расстрелянный по приговору «особого трибунала» дуче.
- ³ Виши — курортный город во Франции, местопребывание правительства Петэна.
- ⁴ Пегги Шарль (1873—1914) — французский писатель, социалист, дрейфусар.
- ⁵ Калер Эрих фон (1889—1970) — немецкий литератор.
- ⁶ Буркхардт Якоб (1818—1897) — известный швейцарский искусствовед.
- ⁷ Рейнгольд Нибур (род. в 1892 г.) — американский теолог.
- ⁸ «Фамарь» — раздел четвертой части тетралогии об Иосифе.
- ⁹ Эта заказанная вещь... — новелла «Закон».

113. КЛАУСУ МАННУ

27.IV.1943

- ¹ Андре Жид (1869—1951) — известный французский писатель.
- ² ... amazing family... — так назвал семью Маннов в рецензии на одну из книг Эрики Манн Гарольд Никольсон (см. прим. 3 к письму 291).
- ³ Гуго Вольф (1860—1903) — австрийский композитор, умер в безумии.
- ⁴ «Парсифаль». — Опера-мистерия «Парсифаль» была написана и поставлена Вагнером в старости, за год до смерти, в 1882 г.
- ⁵ Хелен Лоу-Портер — см. прим. 1 к письму 69.

114. БРУНО ВАЛЬТЕРУ

6.V.1943

- ¹ Франк Bruno (1887—1945) — известный немецкий писатель. Франк и его жена были соседями Томаса Манна и в Мюнхене, и в Калифорнии.
- ² Дитерле Вильгельм — см. прим. 4 к письму 78.
- ³ Нейман Альфред (1895—1952) — писатель, с которым Томас Манн находился в дружеских отношениях в Германии и в эмиграции.
- ⁴ Ундсетт Эггрид (1882—1949) — известная норвежская писательница, эмигрировавшая после оккупации Норвегии Гитлером в США.
- ⁵ Ребекка Уэст (род. в 1892 г.) — английская писательница.
- ⁶ Стравинский Игорь Федорович (1882—1971) — известный русский композитор, живший с 1910 г. за рубежом.
- ⁷ Шёнберг Арнольд (1874—1951) — австрийский композитор, создатель «12-тоновой системы».

115. АГНЕС Э. МЕЙЕР

26.V.1943

- ¹ Клодель Поль (1868—1975) — известный французский писатель.

116. ДИТЕРУ КУНЦУ

7.X.1943

Дитер Кунц (род. в 1910 г.) — германист и историк, эмигрировал из Германии в США в 1935 г.

- ¹ ... готов был снова взяться за Круля. — После окончания «Доктора Фаустуса» и «Избранника» Томас Манн возобновил работу над «Исповедью авантюриста».

117. БЕРТОЛЬТУ БРЕХТУ

10.XII.1943

- ¹ ... я выступал... с политическим докладом. — 16.XI.1943, доклад назывался «Новый гуманизм».

118. ЭРИХУ ФОН КАЛЕРУ

16.I.1944

Об адресате см. прим. 5 к письму 112.

- ¹ ... этот том... — книга фон Калера «Мера — человек» (1943).
² Эрвин Кальзер (1883—1958) — известный немецкий актер.
³ ... новом эпическом эксперименте... — Имеется в виду роман «Доктор Фаустус», над которым Томас Манн работал тогда.
⁴ «Сельская честь» — опера Пьетро Масканьи (1863—1945).
⁵ «Волшебный стрелок», «Оберон», «Эврианта» — оперы Карла Марии Вебера (1786—1826).

119. К. Б. БАУТЕЛЛУ

21.I.1944

Кларенс Б. Баутелл (род. в 1908 г.) — американский журналист.

- ¹ ... ванситтартизму... — Слово образовано от фамилии лорда Роберта Ванситтарта (1881—1957), английского дипломата, известного своими антинемецкими высказываниями.
² Ратенау Вальтер — см. прим. 2 к письму 33.
³ ... гусарство 1914 года... — В 1914 г. Томас Манн приветствовал войну как поход «культуры» против пошлой «цивилизации».
⁴ Мэннинг Уильям Т. (1866—1949) — нью-йоркский протестантский епископ в 1921—1946 гг.
⁵ Я думаю... о статье... — Имеется в виду статья Г. Лукача «В поисках гражданина» («Интернациональная литература» № 6/7 за 1945 г.). По-видимому, Томас Манн ознакомился со статьей до ее опубликования.
⁶ Георг (Дьердь) Лукач (1885—1971) — известный венгерский литературовед-марксист.
⁷ ... фредерицианизм... — Слово образовано от имени прусского короля Фридриха II (1712—1786).
⁸ ... я... выступил с... речью «О немецкой республике». — Речь была произнесена в Берлине, на торжественном заседании по случаю шестидесятилетия Г. Гауптмана 15.X.1922 г.

120. ГЕНРИХУ МАННУ

24.III.1944

¹ 27 — день рождения Генриха Манна.

² *В твоём послании...* — «Глубокоуважаемые слушатели!» — приветствие Генриха Манна участникам торжественного заседания в Нью-Йорке, посвященного его 73-летию.

³ Луис Бромфилд (1896—1956) — автор популярных в свое время романов «Ранняя осень» (1926) и «Пошли дожди» (1937).

⁴ 1925 — описка, вместо, по-видимому, «1952».

121. ЛИОНУ ФЕЙХТВАНГЕРУ

апрель 1944

¹ ... *бумаге ручной выделки...* — «Нью-йоркское издательство «Ауфбау» разослало друзьям юбиляра листы бумаги ручной выделки и собрало рукописные приветствия, чтобы подарить их ему в папке» (Примечание Эрики Манн. — *Briefe*. Bd. II, S. 710).

122. ЭРНСТУ РЕЙТЕРУ

29.IV.1944

Эрнст Рейтер (1889—1953) — немецкий социал-демократ, в 1951—1953 гг. бургомистр Западного Берлина.

123. КЛИФТОНУ ФЕЙДИМЕНУ

29.V.1944

Клифтон Фейдимен (род. в 1904 г.) — американский литератор.

¹ *Моя статья в последнем номере «Атлантик Мансли».* — Имеется в виду статья «What is German» («Что такое немецкий дух»), опубликованная в майском номере этого журнала за 1944 год (vol. 173, № 5).

124. АГНЕС Э. МЕЙЕР

3.VI.1944

¹ ... *Вы... будете писать статью для «Таймс».* — Рецензия Агнес Э. Мейер на четвертую часть тетралогии об Иосифе вышла в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» (25.VI.1944 г.).

² Кнопф Альфред А. (род. в 1892) — крупный американский издатель.

125. УИЛЬЯМУ ЭРЛУ СИНДЖЕРУ

13.VIII.1944

Уильям Эрл Синджер (род. в 1910 г.) — известный американский портретист.

126. БРУНО ВАЛЬТЕРУ

21.IX.1944

¹ ... *бедная женщина...* — жена Бруно Вальтера, у которой случился инсульт.

² ... *после того нелепо-ужасного удара...* — В 1939 г. трагически погибла младшая дочь Вальтеров.

127. ГЕРХАРДУ АЛЬБЕРСГЕЙМУ

7.X.1944

Герхард Альберсгейм (род. в 1902 г.) — музыковед.

¹ *Тох Эрнст* (1887—1964) — австрийский композитор.

² *Берг Альбан* (1885—1935) — австрийский композитор, ученик и последователь А. Шёнберга, один из виднейших представителей экспрессионизма в музыке.

³ *Кшенек* — см. прим. 3 к письму 33.

128. МАРИАННЕ ЛИДДЕЛЬ

8.X.1944

Марианна Лиддель (род. в 1913 г.) — немецкая скрипачка, эмигрировавшая в США.

¹ ... о читателях немецкого издания... — Имеется в виду издание четвертой части тетралогии об «Иосифе» на немецком языке («Joseph der Ernähler». Stockholm, Bermann—Fischer, 1943).

129. АГНЕС Э. МЕЙЕР

11.X.1944

¹ ... против Вашей резкой критики Хаксли... — Речь идет о романе Олдоса Хаксли (см. прим. 7 к письму 38) «Время должно остановиться» (1944).

² ... из старого рассказа «У пророка»... — Рассказ был написан в 1904 г. См. русское Собрание сочинений, т. 7, стр. 284.

130. АННЕ ДЖЕКОБСОН

19.I.1945

Об адресате см. прим. к письму 74.

¹ *Иеремиас* — см. письмо 69.

² *Отто Вальтер Ф.* (1874—1958) — филолог-классик.

³ *Хегеман Вернер* (1881—1936) — историк, автор работ о Фридрихе II.

⁴ *Брандес Георг* (1842—1927) — известный датский литературовед.

⁵ ... поза, где рука прикрывает подбородок... — Речь идет об изображении Моисея в новелле «Закон» (1943).

131. АННЕ ДЖЕКОБСОН

22.II.1945

¹ *Ганно* — герой романа «Будденброки».

² *Эйхендорф Иозеф* (1788—1857) — выдающийся немецкий поэт-романтик. Многие стихотворения Эйхендорфа положены на музыку немецкими композиторами.

³ «Единство человеческого духа» — рецензия Томаса Манна на книгу А. Иеремиаса «Духовная культура Древнего Востока», была опубликована в Германии в 1932 г.

⁴ *Клагес* — см. прим. 5 к письму 43.

⁵ *Юнг* — см. прим. 1 к письму 96.

132. БРУНО ВАЛЬТЕРУ

1.III.1945

- ¹ ... отрывок... куска романа... — Речь идет о романе «Доктор Фаустус».
- ² *Малерша* — Альма Малер-Верфель (1879—1964) — вдова Густава Малера, позднее жена Франца Верфеля.

133. ДЖУЗЕППЕ АНТОНИО БОРДЖЕЗЕ

21.III.1945

- Об адресате, зяте Томаса Манна, см. прим. 2 к письму 82.
- ¹ ... свою великолепную статью... Имеется в виду статья об американо-европейских отношениях, опубликованная в марте 1945 г., в журнале «Лайф».
- ² *Натан Роберт* (род. в 1894 г.) — американский писатель.
- ³ *Максуэлл Андерсон* (1888—1959) — американский драматург.
- ⁴ ... *Рузвельт ехал в Ялту*... — В феврале 1945 г. в Ялте состоялась встреча руководителей Советского Союза, США и Великобритании.

134. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

8.IV.1945

- ¹ *The readiness is all* — «Гамлет» (V, 2).
- ² «Годы странствий». — Имеются в виду «Годы странствий Вильгельма Мейстера» Гёте (1821).
- ³ *Томас фон дер Траве* — персонаж романа Гессе «Игра в бисер». В имени «Томас» и фамилии «фон дер Траве» (Траве — река в Любеке) содержался намек на Томаса Манна.

135. АГНЕС Э. МЕЙЕР

24.IV.1945

- ¹ ... *поскорбеть о великом человеке?* — Имеется в виду Франклин Рузвельт.
- ² ... в «*Фри Уорлд*». — Некролог был опубликован в майском номере нью-йоркского журнала «*Фри Уорлд*» за 1945 г.

136. ГЕНРИХУ МАННУ

9.VI.1945

- ¹ ... *великолепной статье в «Рундшау»*... — Статья «Мой брат», написанная к семидесятилетию Томаса Манна и вошедшая в книгу Генриха Манна «Обзор века».
- ² *Иосиф... Иуда* — герои тетралогии «Иосиф и его братья».
- ³ ... *гвоздь берманского номера*... — Издательство «Берман—Фишер» посвятило первый номер основанного им в 1945 г. журнала «*Нейе Рундшау*» семидесятилетию Томаса Манна, и статья «Мой брат» вошла в этот номер.

137. ВАЛЬТЕРУ ФОН МОЛО

7.IX.1945

Вальтер Фон Моло (1880—1958) — писатель-романист, в 1928—1930 гг. президент Прусской литературной академии.

- ¹ ...моей статье о Вагнере...— Имеется в виду доклад «Страдания и величие Рихарда Вагнера» (1933).
- ² ...писать вагнеровские декорации для гитлеровского Байрейта...— В г. Байрейте (Бавария), в театре, построенном Рихардом Вагнером, так называемом «Доме торжественных представлений», периодически ставились циклы вагнеровских музыкальных драм.
- ³ ...«стыжусь, что с вами не страдал»...— Цитата из «Пробуждения Эпименида» Гёте.
- ⁴ ...в письме в Бонн...— Имеется в виду широко известное письмо декану философского факультета Бонского университета от 1 января 1937 г., написанное в связи с лишением Томаса Манна звания почетного доктора философии.

138. РУДОЛЬФУ В. БЛУНКУ

19.XI.1945

Рудольф В. Блунк — брат Ганса Фридриха Блунка (1888—1961), певца «крови и почвы», занимавшего одно время при Гитлере пост председателя «Имперской палаты по делам печати».

- ¹ *Эрнст Вихерт* (1887—1950) пробыл несколько месяцев в концентрационном лагере.
- ² *Вальтер фон дер Фогельвейде* (XII—XIII вв.) — крупнейший поэт немецкого средневековья.

139. АЛЬБЕРТУ ЭЙНШТЕЙНУ

27.XI.1945

- ¹ *Франц Ваксман* — композитор, автор, главным образом, музыки к кинофильмам.

140. ВИКТОРУ МАННУ

15.XII.1945

Виктор Манн (1890—1949) — младший брат Томаса Манна, не эмигрировавший из Германии.

- ¹ *Рукописи, взятые на хранение Гейнсом*... — см. прим. 12 к письму 69.
- ² *Нелли* — жена Виктора Манна.

141. ТЕОДОРУ В. АДОРНО

30.XII.1945

Теодор В. Адорно (1903—1969) — известный философ, социолог и музыковед, был музыкальным консультантом Томаса Манна во время работы над «Доктором Фаустусом».

- ¹ *Визенгруд* — фамилия отца Адорно, носившего фамилию матери.

142. ПЬЕРУ-ПОЛЮ САГАВУ

28.I.1946

Пьер-Поль Сагав (род. в 1903 г.) — французский германист, автор труда «Социальная действительность и религиозная идеология в романах Томаса Манна» (1954).

¹ ... вышли уже в собранном виде... — Имеется в виду сборник «Deutsche Hörer!» («Немецкие слушатели!»)

143. В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ФРАЙЕС ДОЙЧЛАНД»

6.II.1946

«Фрайес Дойчланд» — немецкий ежемесячник, издававшийся в Мексике.

¹ Бехер Иоганнес Р. (1891—1958) — выдающийся немецкий писатель, в последние годы жизни — министр культуры ГДР.

² ... эпическо-драматические сцены... — Имеется в виду неоконченный роман «Печальная история Фридриха Великого», отрывки из которого впервые опубликованы в ГДР, в журнале «Зинн унд форм», после смерти автора, в 1958 г.

³ ... новый роман... — «Дыхание» (1949 г.).

144. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

12.II.1946

¹ «Рождение Елены». — Эта статья Кереньи была опубликована в 1945 г. в журнале «Albae Vigiliae» (Цюрих), вып. III.

145. ГАНСУ ФРИДРИХУ БЛУНКУ

22.VII.1946

Об адресате см. прим. к письму 138.

146. ХЕДВИГ ФИШЕР

8.IX.1946

Об адресате см. прим. 5 к письму 1 и прим. к письму 54.

147. БРУНО ВАЛЬТЕРУ

15.IX.1946

¹ ... извясняясь... на... английском... — Это письмо, написанное по случаю семидесятилетия Бруно Вальтера, было опубликовано на английском языке в журнале «Мьюзикл Куотерли» (Нью-Йорк) в октябре 1946 г.

² Ганс фон Бюлов (1830—1894) — известный дирижер и пианист.

³ Цезарь Франк (1822—1890) — французский композитор и органист.

148. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

15.IX.1946

¹ Валентин Карл (1882—1948) — известный мюнхенский комический актер, чье искусство Томас Манн ценил очень высоко.

² Происходит это... в Чикаго. — При Чикагском университете зять Томаса Манна Борджезе создал комитет для выработки всемирной конституции.

- ³ Книгу д-ра Майера... — Имеется в виду книга американского германиста Ганса Альберта Майера «Стефан Георге и Томас Манн» (1946).

149. ОТТО БАЗЛЕРУ

23.IX.1946

Отто Базлер (род. в 1902 г.) — швейцарский литератор и педагог.

- ¹ Эмиль Людвиг (1881—1948) — буржуазный немецкий писатель, автор биографий Гёте, Наполеона, Бисмарка и др.
- ² Его книги о Фрейте я не знаю... — Имеется в виду книга «Расколдованный Фрейд» (1946) Э. Людвиг.
- ³ ... не знаю... книги об Иисусе Христе. — «Сын человеческий» (1928).
- ⁴ Дёблин Альфред — см. прим. 6 к письму 54.
- ⁵ Булвер-Литтон Эдуард (1803—1873) — английский политик и писатель.
- ⁶ ... сказано в «Разбойниках». — См. вторую сцену первого действия этой драмы Шиллера.

150. ВИКТОРУ МАННУ

4.X.1946

- ¹ ... сказано у Эйхендорфа—Шумана. — Цитируется один из романсов Шумана на слова Эйхендорфа. Об Эйхендорфе см. прим. 2 к письму 131. Шуман Роберт (1810—1856) — немецкий композитор и музыкальный писатель.
- ² Келлер Готфрид — см. прим. 9 к письму 69.
- ³ ... британский prosecutor — лорд Хартли Шоукросс, британский обвинитель на Нюрнбергском процессе.
- ⁴ Лорд Инверчепел — тогдашний посол Великобритании в США.
- ⁵ Foreign Secretary — Эрнест Бевин (1881—1951) — тогдашний британский министр иностранных дел.
- ⁶ ... старого Клауса... — Клаус Принггейм (1883—1972), близнец Кати Манн, музыкант, жил в Токио.

151. GERMANU GECESSE

12.X.1946

- ¹ ... желанный pendant к Вашему «Письму в Германию»... — Статья Гессе «Благодарность с морализированием» (по поводу присуждения Гессе Гётевской премии города Франкфурга) и «Письмо в Германию» были опубликованы в 1946 г.
- ² ... моей «Игры в бисер»... — Имеется в виду «Доктор Фаустус».
- ³ Т. ф. д. Т. — Томас фон дер Траве, см. прим. 3 к письму 134.

152. ФРЕДЕРИКУ РОЗЕНТАЛЮ

28.X.1946

Фредерик Розенталь (род. в 1902 г.) — врач-терапевт.

- ¹ ... подробности... течения менингита... у ребенка пяти-шести лет. — Эти сведения нужны были Томасу Манну во время работы над главой «Доктора Фаустуса», посвященной смерти ребенка, Непомука-Эхо.

153. РУДОЛЬФУ КАЙЗЕРУ

8.XI.1946

Об адресате см. прим. 1 к письму 74.

- ¹ ... заканчиваю... чтение *Вашего «Спинозы»*... — Имеется в виду книга Кайзера о Спинозе, вышедшая в 1946 г. на английском языке в Нью-Йорке, а не немецкое издание 1932 г.

154. АГНЕС Э. МЕЙЕР

1.XII.1946

- ¹ Льюис Джон Л. (1880—1969) — американский профсоюзный лидер.
² Тафт Роберт А. (1889—1953) — американский сенатор, автор закона Тафта-Хартли (1947), позволявшего устранять оппозиционных профсоюзных деятелей и объявившего забастовки противозаконными.
³ Джозеф Конрад (1857—1924) — известный английский писатель польского происхождения.
⁴ Блейк Вильям (1757—1827) — выдающийся английский поэт.
⁵ Альфред Кэцин (род. в 1915) — американский публицист и литературовед.

155. ЭРИКЕ МАНН

11.XII.1946

- ¹ С точки зрения книжечки... — Имеется в виду «Доктор Фаустус».
² Кольстон Ли (род. в 1901 г.) — американский антрепренер, устроитель лекционных турне.
³ Г. — то есть Германия.
⁴ Виковым — то есть Виктору Манну и его жене.

156. ГАНСУ ПОЛЛАКУ

29.XII.1946

Ганс Поллак — германист, тогда жил и работал в Австралии.

157. ЭМИЛИЮ ПРЕЕТОРИУСУ

30.XII.1946

Об адресате см. прим. 4 к письму 52.

- ¹ Дитерле Вильгельм — см. прим. 4 к письму 78.
² Вы прочли это в письме к Моло... — см. письмо 137.

159. ЭРИКЕ МАНН

29.I.1947

- ¹ ... *keep glorious child* — неточно переведенная Томасом Манном цитата из «Валькирии» Вагнера: Вотан называет Брунгильду «*Du kühnes herrliches Kind*».

160. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

8.II.1947

- ¹ ... поблагодарить... за «Войну и мир»... — Название сборника статей Гессе.
² ... Заратустра... — намек на статью Гессе «Возвращение Заратустры» (1919).

- ³ ... самым... умным из всего... после Фридриха Шлегеля — см. прим. 6 к письму 69.
⁴ ... после стокольмских фанфар успеха... — В 1946 г. Гессе была присуждена Нобелевская премия.

161. ФРИЦУ ГРЮНБАУМУ

20.II.1947

Адресат неизвестен.

- ¹ ... с этим вопросом... — Относительно последней сцены романа «Лотта в Веймаре».
² Вотан (Водан, Один) — верховное божество у древних германцев.

162. ГЕРБЕРТУ ФРАНКУ

19.III.1947

Герберт Франк (род. в 1909 г.) — немецкий писатель.

- ¹ «Жизнь ли, коль живут другие?» — цитата из Гёте («Западно-восточный диван»).
² Шоу Джордж Бернард (1856—1950) — английский писатель.

163. ВИКТОРУ МАННУ

27.III.1947

- ¹ ... мое английское письмо... — Письмо, где Томас Манн выразил надежду, что американские оккупационные власти в Мюнхене не выселят Виктора Манна с женой из их квартиры.
² «Сатерди Ивнинг Пост» — американское периодическое издание.
³ ... интервью с... Кольстоном Ли... — см. прим. 2 к письму 155.
⁴ Ровольт Эрнст — западногерманский издатель. Ро-ро-ро — фирменный знак его издательства.
⁵ Вихерт — см. прим. 1 к письму 138.

164. В РЕДАКЦИЮ «НОЙЕ ЦАЙТУНГ»

25.VI.1947

«Нойе Цайтунг» — газета, издававшаяся американскими оккупационными властями в Германии.

- ¹ Манфред Хаусман (род. в 1898 г.) — немецкий писатель.
² Фрик Вильгельм (1877—1946) — один из нацистских лидеров, казненный в Нюрнберге как военный преступник.
³ Зенгер Самуэль (1864—1944) — немецкий публицист, историк, редактор.
⁴ ... дневника 1933/34 годов... — Под заголовком «Страдая Германией» отрывки из этого дневника вышли на немецком языке в Лос-Анджелесе, тиражом в 500 экземпляров, в 1946 г.
⁵ ... такой документ 1933 года... — Письмо, датированное весной 1934 г., было впоследствии найдено в германских архивах и с согласия Томаса Манна опубликовано.
⁶ ... посрамит... повешенного... — то есть Фрика.

165. ХЕДДЕ ЭЙЛЕНБЕРГ

6.VII.1947

Хедда Эйленберг (1876—1960) — немецкая писательница.

- ¹ ... *Ваш замечательный супруг*. — Писатель Герберт Эйленберг (1876—1949), чье имя запрещалось печатно упоминать в гитлеровской Германии.
- ² ... *публики на Страстях по Матфею и по Иоанну*... — Имеется в виду, по-видимому, исполнение этих произведений И.-С. Баха в какой-то полуразрушенной церкви.
- ³ *«Гибель богов», «Тристан», «Мейстерзингеры»* — оперы Вагнера.
- ⁴ *Чего Вы только не потеряли!* — Ближайшие друзья и родственники Хедды Эйленберг были повешены гитлеровцами или погибли в концлагерях.

166. GERMANU GESSE

10.VIII.1947

- ¹ *«Националы» в Люцерне*... — Имеется в виду администрация люцернской гостиницы «Националь».
- ² ... *на слонах*... — Имеется в виду, по-видимому, переход карфагенского полководца Ганнибала через Альпы в 318 г. до н. э.
- ³ Бенедикт Эрнст (род. в 1882 г.) — австрийский журналист.
- ⁴ ... *прочел гранки* — романа «Доктор Фаустус».

167. КЛАУСУ МАННУ

19.IX.1947

- ¹ ... *спасибо за новые сведения*... — касавшиеся американского издания Гёте (издательство «Дайэл Пресс», 1948), в котором Томас Манн принимал участие.
- ² *По поводу инзелевского томика*... — «Инзель» — лейпцигское издательство, основанное в 1901 г. Речь идет, по-видимому, о каком-то инзелевском издании Гёте.
- ³ *Розенталь* — см. прим. к письму 152.

168. ЛИОНУ ФЕЙХТВАНГЕРУ

9.X.1947

- ¹ ... *спасибо за Вашу великолепную книгу*... — Имеется в виду роман «Лисы в винограднике».

169. АГНЕС Э. МЕЙЕР

10.X.1947

- ¹ Ганс Эйслер (1898—1962) — выдающийся немецкий композитор.
- ² Эрнст Любич (1892—1947) — американский режиссер немецкого происхождения.
- ³ ... *со средневековой новеллой-легендой*... — По-видимому, речь идет о замысле романа «Избранник» (1951).

170. МИСТЕРУ ГРЕЮ

12.X.1947

Адресат — лицо неизвестное.

- ¹ Боба Натана — см. прим. 2 к письму 133.

171. МАКСУ РИХНЕРУ

26.X.1947

Макс Рихнер (1897—1965) — швейцарский литературовед.

172. ЭМИЛИЮ ПРЕТОРИУСУ

12.XII.1947

- ¹ *Пипер* — издатель «Мыслей насчет искусства» Прееториуса (1947, 4-е изд.).
² ... моего опыта о Ницше... — Имеется в виду «Философия Ницше в свете нашего опыта» (1947).
³ *Рёскин Джон* (1819—1900) — известный английский теоретик искусства и социолог.
⁴ ... *Мейергрефовского пошиба*... — см. прим. 6 к письму 38.
⁵ *Вёльфлин Генрих* (1864—1946) — известный немецкий искусствовед.
⁶ *Эмиль Штайгер* (род. в 1908 г.) — швейцарский литератор.
⁷ ... благодаря перепечатке... — В связи с этой перепечаткой Томас Манн написал статью «Об одной главе из «Будденброков»» (1947).

173. МАКСИМИЛИАНУ БРАНТЛЮ

26.XII.1947

Максимилиан Брантль (1881—1959) — адвокат и литератор.

- ¹ ... этюд о Ницше... — см. прим. 2 к письму 172.
² «О, что за благородный ум разрушен!» — Эти слова из «Гамлета» (III, 1) цитируются в начале статьи о Ницше.
³ *Флаке Отто* (1880—1963) — немецкий писатель.

174. ВАЛЬТЕРУ КОЛЬБУ

4.I.1948

Вальтер Кольб (1902—1956) — с 1946 по 1956 г. обер-бургомистр Франкфурта-на-Майне.

- ¹ ... на запад... — описка Томаса Манна, вместо «на восток».

175. ОСКАРУ ШМИТТУ-ХАЛИНУ

7.I.1948

Оскар Шмитт-Халин (род. в 1906 г.) — западногерманский юрист.

- ¹ *Цельтер Карл Фридрих* (1758—1832) — немецкий композитор и музыкант, друг и корреспондент Гёте.
² *Оpus III* — фортепианная соната Бетховена.

176. САМУЭЛЮ ЗИНГЕРУ

20.I.1948

Самуэль Зингер (1860—1948) — германист, профессор Бернского университета.

- ¹ *Гартман фон Ауэ* (1170—1210) — средневековый немецкий поэт.

- ² ... был в рекламной библиотеке... — Лейпцигское издательство «Реклам», основанное в 1828 г., и поныне выпускает дешевые издания классиков и лучших образцов беллетристики.

177. МИХАЭЛЮ МАННУ

31.1.1948

- ¹ ...собачка Х. — Так называли в кругу близких людей Констанцию Хальгартен (род. в 1881), давнишнюю соседку и приятельницу Маннов.
- ² ...превосходную рецензию... — «О докторе Фаустусе» Т. Манна («Швайцер Музикцайтунг», январь 1948).
- ³ ...усач... — Французский дирижер Пьер Монте (1875—1964), возглавлявший Сан-францисский симфонический оркестр, где играл Михаэль Манн.
- ⁴ Орланди Юджин (род. в 1899 г.) — американский дирижер венгерского происхождения, с 1936 г. — руководитель Филадельфийского симфонического оркестра.
- ⁵ Бейсель Иоганн Конрад — реальное лицо, введенное Томасом Манном в роман «Доктор Фаустус». Сведения о Бейселе почерпнуты, главным образом, в Вашингтонской библиотеке, где хранятся его рукописи и печатные сочинения.
- ⁶ «Открылась душа...» — ария из оперы Сен-Санса (1835—1921) «Самсон и Далила».

178. ВИКТОРУ МАННУ

6.11.1948

- ¹ ...твои мемуары... — Они вышли после смерти Виктора Манна в 1949 г., под заголовком «Нас было пять».
- ² ...старого Генриха... — Генриха Манна.

179. ГЕЙНЦУ-ВИН ФРИДУ ЗАБАЙСУ

9.11.1948

Гейнц-Винфрид Забайс (род. в 1922 г.) — немецкий журналист и литературовед.

- ¹ ...Вашу статью... — «От классического гуманизма к современному» (журнал «Ауфбау», Берлин, 1947, №№ 8 и 9).
- ² Джокерс Эрнст (род. в 1887 г.) — американский германист.
- ³ Альберт Швейцер (1875—1965) — известный врач, лауреат Нобелевской премии мира.

180. АРНОЛЬДУ ШЕНБЕРГУ

17.11.1948

- ¹ ... это, конечно, занятный документ. — «Некий Гуго Трибзамен якобы прислал Шёнбергу выписку из утопической «Энциклопедии Американа» 1988 г., которую тот с горькой припиской переслал Томасу Манну. В статье этой сказано, что Томас Манн, первоначально музыкант, является истинным изобретателем двенадцатитоновой системы, но, став писателем, молча смирился с тем, что один композитор-плагиатор по фамилии Шёнберг присвоил его открытие. Лишь в «Докторе Фаустусе» Томас Манн ясно заявил о своей духовно-музыкальной собственности. —

В сердечном примирительном письме к Томасу Манну от 25.II.1948 г. Шёнберг признается, что сам выдумал этого Трибзамена и его утопию... Цель затеи — показать Томасу Манну, как повредил он своим «Адрианом Леверкюном» посмертной славе Шёнберга» (примечание Эрики Манн. — *Briefe*, Bd. III, S. 510).
² ...подарок, который мы бросили... за забор... — Шёнберг жил неподалеку от Томаса Манна в Калифорнии, и за забор брошен был, видимо, экземпляр «Доктора Фаустуса» с дарственной надписью.

181. ЭЛИЗАБЕТ МАНН-БОРДЖЕЗЕ

5.III.1948

¹ ГП — герр Папале, как называла в шутку Томаса Манна младшая дочь.

182. САМУЭЛЮ ЗИНГЕРУ

8.III.1948

Об адресате см. прим. к письму 176.

¹ ... спасибо... за прекрасное продолжение перевода! — поэмы «Григорий» Гартмана фон Ауэ со средневерхненемецкого на современный немецкий язык. Бауэр Марта (род. в 1906 г.) — сотрудница профессора Зингера.

183. ХАЙДИ ХАЙМАН

10.III.1948

Хайман Хайди — лондонская журналистка и искусствовед.

¹ Бриттен Бенджамин (род. в 1913 г.) — английский композитор.

² «Питер Граймс» — опера Бриттена, впервые поставлена в 1945 г.

³ Мой второй сын — Голо Манн.

⁴ Уистен Хью Оден (1907—1974) — известный английский поэт, с 1935 г. состоял в браке с Эрикой Манн.

184. ЭМИЛЮ ПРЕЕТОРИУСУ

24.IV.1948

¹ Вольфскель Карл (1869—1948) — немецкий поэт, принадлежал одно время к кружку Стефана Георге.

² Надлер Иозеф (1884—1963) — литературовед.

³ Дакс Эдгар (1878—1945) — палеонтолог, автор книги «Первобытный мир, предание и человечество», вышедшей в 1924 г.

⁴ Макс Вебер (1864—1920) — буржуазный политэконом и социолог, главный труд — «Экономика и общество» (1922).

185. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

1.VI.1948

¹ ... Ганса Пфитцнера... — см. прим. 3 к письму 12.

² Франк — один из главных военных преступников, повешенных в Нюрнберге в 1946 г.

³ Ялмар Шахт (1877—1970) — банкир, при Гитлере — президент Имперского банка и министр экономики.

186. ВАЛЬТЕРУ РИЛЛЕ

22.VI.1948

Вальтер Рилла (род. в 1899 г.) — писатель, актер, режиссер. С 1933 г. живет в Англии.

- ¹ ... блестящий памфлет... — «Литература и Лют» (1948), где Пауль Рилла уличает в невежестве и недобросовестности некоего Пауля Люта, нападающего в своей работе «Литература как история», в частности, на Томаса Манна.
- ² ... Вашего брата... — Пауль Рилла (1896—1954) — крупный немецкий критик и литературовед.
- ³ ... несчастный Лют... — см. прим. 1.
- ⁴ ... хоть он и француз... — Дёблин (см. прим. 6 к письму 54), чьи сыновья служили во французской армии, получил после освобождения Франции от гитлеровцев французское подданство.

187. ТЕОДОРУ В. АДОРНО

12.VII.1948

- ¹ ... благодарю Вас за Ваше участие. — Клаус Манн в то время предпринял попытку покончить с собой.
- ² Элк Вернер (род. в 1901 г.) — немецкий композитор и дирижер.

188. ВЕРНЕРУ ШМИТЦУ

30.VII.1948

Вернер Шмитц (род. в 1919 г.) — немецкий филолог и литератор.

- ¹ ... «оборотня». — Имеется в виду «вервольф» — название террористических нацистских групп, действовавших после разгрома фашистской Германии, а также отдельных членов таких групп.
- ² ... издал книгу о «Свободе слова»... — В 1936 г.
- ³ Руст — гитлеровский министр просвещения и образования.
- ⁴ Гундольф Фридрих (1880—1931) — литературовед, приверженец Стефана Георге.
- ⁵ ... ранняя бертрамовская работа... — Была написана в 1918 г.
- ⁶ ... книгу о Штифтере... — см. прим. 4 к письму 12. Книги о Штифтере Бертрам так и не выпустил.
- ⁷ У меня есть шурин... — Петер Прингсгейм (1881—1963).

189. РИХАРДУ ШВЕЙЦЕРУ

12.X.1948

Рихард Швейцер (1900—1965) — швейцарский кинематографист и театральный деятель.

- ¹ ... сочетания Сан-Марко с Иосифом... — Имеются в виду репродукции мозаик венецианского собора св. Марка, изображающих историю Иосифа Прекрасного.

191. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

4.I.1949

- ¹ Муши Вальтер (род. в 1898 г.) — швейцарский литературовед, автор «Трагической истории литературы» (1948), где он, как и в последующих своих работах, грубо критиковал творчество Томаса Манна.

- ² ...его рукопись... — доклада о Томасе Манне, напечатанного, благодаря содействию Гессе, в мае 1949 г.
- ³ ...наглое злоупотребление германских газет своей лицензией. — В те дни одна мюнхенская газета называла в передовой статье детей Томаса Манна — Эрику и Клауса — «ведущими агентами Сталина в США».

192. ВИЛЬГЕЛЬМУ БУЛЛЕРУ

22.II.1949

Вильгельм Буллер (1892—1955) — дуйсбургский промышленник, старый знакомый Томаса Манна.

- ¹ «Где я, там и Германия...» — По свидетельству Эрики Манн, эти слова содержатся уже в не опубликованной покамест дневниковой записи Томаса Манна, относящейся к 1938 г.
- ² Эйленберги — см. прим. к письму 26 и прим. к письму 165.
- ³ Райзигер — см. прим. 3 к письму 26.

194. АРЧИБАЛЬДУ МАК-ЛИШУ

27.II.1949

Об адресате см. прим. 7 к письму 111.

- ¹ ...это гётевский год... — В 1949 г. отмечалось двухсотлетие со дня рождения Гёте.
- ² ...я не смогу лично принять почести... — «Американская академия искусств и литературы» присудила Томасу Манну медаль и денежную премию.
- ³ «В общем-то получилось» — цитата из Гёте («Смирные эпиграммы»).
- ⁴ ...труда моей старости... — имеется в виду «Доктор Фаустус».

195. GERMANU GESSE

1.VII.1949

- ¹ ...28 августа... — день рождения Гёте.
- ² ...могу произнести свою речушку... — Эту речь («Слово в гётевский год») Томас Манн произнес 25.VII.49 г. во Франкфуртской Паульскирхе, а 1.VIII.49 г. в Веймарском театре.
- ³ ...посмертная статья нашего бедного Клауса... — 21.V.49 г. Клаус Манн покончил самоубийством в Каннах. Статья «Испытания европейского духа» была опубликована в «Нойе Швейцер Рундшау» в июле 1949 г.

196. GERMANU GESSE

6.VII.1949

- ¹ «Жид» — Биография Андре Жида, написанная Клаусом Манном по-английски (Нью-Йорк, 1943) и им же переведенная на немецкий («Андре Жид. История одного европейца». Цюрих, 1948).
- ² «Чайковский» — Имеется в виду роман «Патетическая симфония» (вышел в 1935 г.).
- ³ «Вулкан» — роман, вышел в 1939 г.
- ⁴ ...мучаюсь и бьюсь над сочинением доклада для Германии. — Имеется в виду речь о Гёте (см. прим. 2 к письму 195).

197. ГЕНРИХУ МАННУ

14.VII.1949

- ¹ ... волнения... по поводу германских подлостей... — Узнав о намерении Томаса Манна посетить Веймар, реакционная западногерманская печать выступила с резкими нападениями на писателя.
- ² ... «ухода моего сына»... — Цитата из письма Гёте от 10 декабря 1830 г. Этими словами Гёте упомянул о смерти своего сына Августа.
- ³ «Дыхание» — название романа Генриха Манна.

198. ЛЮДВИГУ КУНЦУ

5.VIII.1949

Людвиг Кунц (род. в 1900 г.) — критик и переводчик.

- ¹ «Вергилий» Броха... — Роман «Смерть Вергилия» выдающегося австрийского писателя Германа Броха (1886—1951).

199. ЭРНЕ ИОНАС

19.X.1949

Об адресате ничего не известно.

- ¹ ... пребывание в Ниде... — В Ниде (ныне Литовская ССР) Томас Манн жил летом 1930, 1931 и 1932 гг.
- ² Мемель — немецкое название г. Клайпеды.

200. ЭМИЛЮ ПРЕЕТОРИУСУ

20.X.1949

- ¹ «Мюнхен». — Летом 1949 г. Томас Манн побывал в Мюнхене после шестнадцатилетнего перерыва.
- ² Пенцольдт Эрнст (1892—1955) — немецкий писатель, которого Томас Манн высоко ценил и на чью смерть откликнулся некрологом.

201. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

2.XI.1949

- ¹ Байдлер Франц В. (род. в 1900 г.) — литератор, внук Рихарда Вагнера, тогда секретарь швейцарского союза писателей.
- ² Письмо Ваше... — Озаглавленное «Двадцатилетнему поэту в Германии».
- ³ Неру Джавахарлал (1889—1964) — с 1947 г. до смерти премьер-министр Индии. Пандит — индийский ученый титул.

202. ВИЛЛИ ШТЕРНФЕЛЬДУ

3.XI.1949

Об адресате см. прим. 7 к письму 73.

- ¹ Пехель Рудольф (1882—1961) — публицист, главный редактор журнала «Дойче Рундшау», узник гитлеровского концлагеря.
- ² Клей Люшес Д. (род. в 1897 г.) — американский генерал, в 1947—1949 гг. военный губернатор американской оккупационной зоны Германии.

203. Г. В. ЦИММЕРМАНУ

7.XII.1949

Адресат — лицо неизвестное.

¹ ... свое эссе... — Эссе «Три гиганта» (Лютер, Гёте, Бисмарк, 1949).

² ... с хитроумным исполином высшей европейской отделки... — Имеется в виду Бисмарк.

³ Карл Август (1757—1828) — великий герцог Саксонско-Веймарский, призвавший Гёте в Веймар.

204. АРНОЛЬДУ ШЕНБЕРГУ

19.XII.1949

¹ ... заметка... о Вашей «Лестнице Иакова»... — Имеется в виду оратория Шёнберга.

205. ИДЕ ГЕРЦ

25.XII.1949

Об адресате см. прим. к письму 48.

206. ЗИГФРИДУ МАРКУ

1.1.1950

Зигфрид Марк (1889—1957) — профессор философии, истории и социолог.

207. ТЕОДОРУ В. АДОРНО

9.1.1950

¹ ... доктор Мэнн. — Так произносили многие американцы фамилию писателя.

² ... я... произнесу речь... — Речь была произнесена 14.1.1950.

³ Авантюристу я... улыбаюсь... издали... — Имеется в виду продолжение работы над романом «Исповедь авантюриста».

⁴ ... идею Эпикура (и Лукреция)... — Ср. Лукреций. О природе вещей (I, 251).

208. ГРЕТЕЛЬ КАЙЗЕР-ЭЛИАС

12.1.1950

Гретель Кайзер-Элиас (род. в 1896 г.) — школьная учительница.

¹ ... желаю Вам успеха на экзамене, несмотря на... предмет, который Вы для него выбрали. — Темой очередного «экзамена на чин» Гретель Кайзер-Элиас избрала творчество Томаса Манна.

210. БЕРНГАРДУ БЕНКЕ

28.11.1950

Бернгард Бёнке (род. в 1914 г.) — «правительственный советник Свободного Ганзейского города Гамбурга; приват-доцент по торговому и налоговому праву; публикации по специальности. — Находясь в русском плену, Бернгард Бёнке вместе

с другими почитателями Т. М. создал кружок, где каждый по памяти рассказывал, что он знает о творчестве и жизни Т. М. В связи с поездкой Т. М. в Германию в 1949 г. дошли слухи об одном его высказывании о русской литературе, которые обсуждались в лагере. Лишь после возвращения военнопленных на родину, вопросы, тогда дебатировавшиеся, могли быть поставлены письменно» (примечание Эрики Манн. — *Briefe*, Bd. III, S. 544).

¹ «*Отцы и дети*» — роман Тургенева.

² *Education sentimentale* («Воспитание чувств») — роман Флобера (1845, вторая редакция — 1869)

211. ВОЛЬФАНГУ ШНЕДИЦУ

7.III.1950

Вольфганг Шнедиц (1910—1964) — австрийский литератор.

¹ *Тракль* Георг (1887—1914) — выдающийся австрийский поэт.

² *Давно всеобщим стало достоянием / То, чем когда-то он один владел.* — Цитата из «Эпилога к шиллеровскому «Колоколу»» Гёте.

212. МАКСИМИЛИАНУ БРАНТЛЮ

19.III.1950

Об адресате см. прим. к письму 173.

¹ *Вы были умершему верным другом...* — Здесь и ниже речь идет о Генрихе Манне, умершем 12 марта 1950 г. в Санта-Монике (Калифорния).

² *Дебюсси* Клод (1862—1918) — французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик.

213. УОЛТЕРУ Х. ПЕРЛУ

25.III.1950

Уолтер Х. Перл (род. в 1909 г.) — американский профессор-германист.

¹ *Рецензию на «Историю создания»...* — Имеется в виду неопубликованная рецензия Перла на «Историю создания «Доктора Фаустуса» (Роман одного романа)».

² *«Должно было произойти что-то очень неправильное и скверное...»* — Цитата из письма Томаса Манна декану философского факультета Боннского университета. См. «Переписка с Бонном» (*Т. Манн. Собр. соч.*, т. 9, стр. 144).

³ *Стефан Фричмен* (род. в 1902 г.) — американский священник.

214. В «ДЖЕРМЕНИК РЕВЬЮ»

29.III.1950

«Джерменик Ревью» — издание отделения германистики Колумбийского университета (Нью-Йорк).

¹ ...сцены, рассказывающие в диалогах... жизнь Фридриха Прусского... — Фрагмент диалогоромана «Печальная история Фридриха Великого» был опубликован в ГДР в 1960 г.

215. АГНЕС Э. МЕЙЕР

21.V.1950

¹ Юджин — см. прим. к письму 88.

² ... принц Вильгельм Шведский... — Сын шведского короля Густава V, президент шведского пен-клуба.

³ Шаушпильхауз — название театра в Цюрихе.

⁴ ... в Вашингтоне мне не дали выступить... — Под влиянием нападок на Томаса Манна в американской печати за его поездку в Восточную Германию публичное выступление писателя в Библиотеке Конгресса было отменено.

216. ЭМИЛЮ БЕЛЬЦНЕРУ

24.V.1950

Эмиль Бельцнер (род. в 1901 г.) — немецкий писатель.

¹ «Призыв к разуму». — С таким подзаголовком вышла в 1930 г. отдельной брошюрой речь Томаса Манна «Немецкое обращение», представлявшая собой его отклик на итоги выборов в рейхстаг, на которых национал-социалисты получили четыре с половиной миллиона голосов.

217. БРУНО ВАЛЬТЕРУ

10.VI.1950

¹ ... стояли у прекрасного последнего пристанища... — Имеется в виду семейная могила Вальтеров.

218. ТЕОДОРУ В. АДОРНО

11.VII.1950

¹ Рихнер Макс — см. прим. к письму 171.

² Бенъямин Вальтер (1892—1940) — немецкий литературовед.

³ Шницлер Артур (1862—1931) — известный австрийский писатель.

⁴ Беер-Гофман Рихард (1866—1945) — австрийский писатель.

⁵ Ганс Майер (род. в 1907 г.) — немецкий литературовед, автор монографии о Томасе Манне.

⁶ Шпиттелер Карл (1845—1924) — швейцарский писатель, лауреат Нобелевской премии.

⁷ Виктор Шеффель (1826—1886) — немецкий поэт.

⁸ ... моей маленькой знаменательной даты... — Имеется в виду семидесятипятилетие Томаса Манна (6.VI.1950).

⁹ Штрих Фриц (1882—1963) — литературовед.

¹⁰ Хельблинг Карл (род. в 1897 г.) — швейцарский литературовед.

¹¹ Де Сали Жан Рудольф (род. в 1901 г.) — швейцарский литератор.

¹² «Зеккингенский трубач» — название поэмы Шеффеля, см. прим. 7.

219. ГОТФРИДУ БЕРМАНУ-ФИШЕРУ

18.VIII.1950

¹ Альфред Шерц (1903—1956) — швейцарский издатель.

² ... Вы могли бы дать согласие... — Согласия Берман-Фишер не дал.

220. ЭРВИНУ РОЗЕНТАЛЮ

16.X.1950

Эрвин Розенталь (род. в 1889 г.) — искусствовед, специалист по торговле произведениями искусства.

- ¹ ...на нашем договоре о продаже «Лотты»... — «При посредничестве д-ра Эрвина Розенталя рукопись «Лотты в Веймаре» была продана в Швейцарии» (примечание Эрики Манн. — *Briefe*, Bd. 3, S. 554).

221. Г. Д. ЗАНДЕРУ

26.X.1950

Об адресате ничего не известно.

222. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

1.XI.1950

- ¹ ... в последний раз рассказанного «Грегориуса». — Имеется в виду роман «Избранник».

223. МАРТИНУ ФЛИНКЕРУ

21.XI.1950

Мартин Флинкер (род. в 1895 г.) — книготорговец и литературовед, до 1938 г. жил в Австрии. В 1947 г. открыл книжный магазин в Париже.

- ¹ ... благодаря переводу... — Перевод «Доктора Фаустуса» был сделан Луизой Сервисан.
- ² Альбен Мишель (1873—1943) — основатель издательства, где выходили французские переводы ряда произведений Томаса Манна.
- ³ Кэ д'Орфевр — местонахождение магазина Флинкера.

224. В «САТЕРДИ РЕВЬЮ ОФ ЛИТЕРЕЧУР»

15.XII.1950

- ¹ ... я написал... статью... — Имеется в виду статья «Письма Рихарда Вагнера», опубликованная «С. Р. о .Л.» под названием «Вагнер без синего карандаша» в январе 1951 г. — рецензия на том писем Вагнера, вышедший под заголовком «The Burrell Collection» («Собрание Баррел») в США.

225. ЭРВИНУ ШРОТТЕРУ

11.I.1951

Эрвин Шроттер (род. в 1916 г.) — школьный учитель.

226. АГНЕС Э. МЕЙЕР

31.I.1951

- ¹ Ваши германские статьи... — статьи, опубликованные Агнес Э. Мейер в «Вашингтон пост» после поездки в Германию.

² *Аденауэр Конрад* (1876—1967) — канцлер ФРГ с 1949 по 1963 г.

³ *Статья о Вагнере*. . . — см. письмо 224.

227. ОТТО БАЗЛЕРУ

4.II.1951

Об адресате см. прим. к письму 149.

¹ . . . спасибо за . . . «документы». — Герман Гессе разослал своим корреспондентам копии письма, написанного им одному германскому читателю, недоброжелательно отозвавшемуся о Томасе Манне. Отповедь, данная этому читателю, была одобрена другим читателем и корреспондентом Гессе.

228. ВЕРНЕРУ ВЕБЕРУ

6.IV.1951

Вернер Вебер (род. в 1919 г.) — швейцарский литератор.

229. ЭРИХУ ФОН КАЛЕРУ

23.IV.1951

Об адресате см. прим. 5 к письму 112.

¹ «То участь всех» — цитата из «Гамлета» (I, 2).

² *Ваш анекдот «Ты что, спятил?»* — По свидетельству Эрики Манн, содержание анекдота таково: некто плывет из Нью-Йорка в Европу, другой — в противоположном направлении. Их корабли встречаются, оба путешественника узнают друг друга и одновременно восклицают: «Ты что, спятил?»

³ . . . нашим планам. . . — возвращения в Европу на постоянное жительство.

230. ЭРИКЕ МАНН

20.V.1951

¹ *Мэн* — фамилия доктора Альберта Манна (не родственника Томаса Манна) — в американском произношении.

² . . . приведет нас к сифилису. — Ульрих фон Гуттен умер в 1523 г. от сифилиса.

³ «*Неисчерпаемый кладезь* — статья американской (венгерского происхождения) журналистки Агостон об «Избраннике», которая появилась в воскресном приложении газеты «Штаатсцайтунг» (13.V.1951 г.).

⁴ «*В тупике*» — озаглавил свою рецензию на «Избранника» во франкфуртском еженедельнике «Гегенварт» немецкий журналист Фридрих Зибург (1893—1964).

⁵ *Мики* — собака Михаэля Манна.

⁶ *Лики* — собака Лотты Вальтер.

⁷ . . . не глотай. . . больше двух желтых побрякушек. — Имеется в виду снотворное в желтых капсулах.

231. ЮЛИУСУ БАБУ

30.V.1951

Об адресате см. прим. к письму 10.

¹ . . . две статьи. . . — Рецензия Юлиуса Баба появилась в той же нью-йоркской «Штаатсцайтунг», что и статья Агостон (см. прим. 3 к предыдущему письму).

² ... «тупик»... — см. прим. 4 к предыдущему письму.

³ *Иоахим Маас* (1901—1972) — немецкий писатель, на творчество которого оказал большое влияние Томас Манн.

232. ШАРЛОТТЕ КЕСТНЕР

18.VI.1951

Шарлотта Кестнер (род. в 1895 г.) — праправнучка Шарлотты Кестнер (1753—1828), до брака Буфф, героини «Лотты в Веймаре».

233. ГЕОРГУ ФОЛЬМЕРУ

25.VI.1951

Георг Фольмер (род. в 1892 г.) — западногерманский теософ.

¹ *Symbolum Veritatis* — астрологический указатель-комментарий к гл. 49 «Книги Бытия».

234. ЖЕНЕВЬЕВЕ БЬЯНКИ

27.VI.1951

Женевьева Бьянки (род. в 1886 г.) — французская германистка, литературовед, переводчица.

¹ *Морис Буше* (род. в 1885 г.) — французский германист и музыковед.

235. ЛИОНУ ФЕЙХТВАНГЕРУ

6.VIII.1951

¹ *Ваш большой роман*. . . — «Гойя, или тяжкий путь познания».

236. ИРИТЕ ВАН ДОРЕН

28.VIII.1951

Ирита ван Дорен (род. в 1891 г.) — американская журналистка, редактор.

¹ *Авторском номере*. . . — Имеется в виду номер «Книжного обозрения» газеты «Нью-Йорк Геральд Трибюн» от 7.X.1951 г. с подборкой «Авторы 1951 г. — о себе».

² *Джозеф Конрад* — см. прим. 3 к письму 154.

237. ОСКАРУ ЗЕЙДЛИНУ

10.X.1951

Оскар Зейдлин (род. в 1911 г.) — германист, друг юности Клауса Манна.

¹ ... от *Вашей плутовской статьи*. . . — Имеется в виду статья Зейдлина «Плутовские элементы в творчестве Томаса Манна» (1951).

² «*Симплициус Симплициссимус*» — плутовской роман Ганса Якоба Кристоффеля фон Гриммельсхаузена (1622—1676).

³ ... дальнейшие «песчаные мысы». . . — намек на «Пролог» тетралогии об Иосифе.

238. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

14.X.1957

- ¹ *Фидлер* — см. прим. к письму 86.

239. ИОНАСУ ЛЕССЕРУ

15.X.1957

Иоанас Лессер (род. в 1895 г.) — литератор, филолог.

- ¹ «*Minima moralia*» — книга вышла в 1951 г.
- ² *Вашего письма этому профессору-католику...* — Вильгельму Гренцману, посвятившему позднему творчеству Томаса Манна главу («Ситуация конца») своего труда о современной немецкой литературе.
- ³ *Берг* — см. прим. 2 к письму 127.
- ⁴ *об ульмском художнике...* — Варфоломей Цейтблом (XV в.) — главный представитель так называемой Ульмской школы.

240. ЕНЕ ТАМАШУ ДЬЕМЕРИ

15.XI.1957

Ене Тамаш Дьемери (род. в 1890 г.) — венгерский литератор.

- ¹ ... *приложенное стихотворение.* — Стихотворение обыгрывает первые слова новеллы «Маленький господин Фридеман».
- ² *Вольфрам фон Эшенбах* (1170—1220).
- ³ *Готфрид Страсбургский* (XIII в.).
- ⁴ *Гартман фон Ауэ* (XII—XIII вв.).

241. ГЕНРИ ХЭТФИЛДУ

19.XI.1957

Генри Хэтфилд (род. в 1912 г.) — американский профессор-германист.

- ¹ ... *Ваша «реалистическая» статья.* — «Реализм в немецком романе» (1951).
- ² «*Кто в детстве так умен, живет недолго.*» — Из «Ричарда III» Шекспира (III, 1).
- ³ «*Таких людей не водится на свете!*...» — Из «Отелло» Шекспира (IV, 2).

242. АНДРЕ ФОН ГРОНИКА

30.XI.1957

Андре фон Гроника (род. в 1912 г.) — американский профессор-германист.

- ¹ ... *новый славный дар...* — Статья о маркизе Поза, персонаже драмы Шиллера «Дон Карлос».
- ² *Солиман* — Сулейман, турецкий султан, могущественный враг Филиппа II Испанского.
- ³ ... *большая речь перед королем...* — «Дон Карлос» (III, 10).
- ⁴ ... *Филипп «Отпадения Нидерландов»...* — Имеется в виду историческое сочинение Шиллера «История отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества» (1788).
- ⁵ «*Ужели Поза мог пойти на смерть...*» — «Дон Карлос» (V, 8).
- ⁶ «*Спаси себя для Нидерландов...*» — «Дон Карлос» (V, 3).
- ⁷ «*... Я такой пожар зажгу...*» — «Дон Карлос» (V, 8).

243. ПАУЛЮ АМАННУ

23.XII.1951

Об адресате см. прим. к письму 60.

- ¹ ... римеровский очерк. — Имеется в виду неопубликованная работа Аманна о Фридрихе-Вильгельме Римере (1774—1845), одном из ближайших сотрудников Гёте, ученом-филологе, составителе «Греческо-немецкого словаря» (1804).

244. АЛЕКСАНДРУ М. ФРЕЮ

19.I.1952

Об адресате см. прим. к письму 39.

- ¹ Молодой Тойнби — Филипп Тойнби (род. в 1916 г.), сын известного английского историка Арнольда Тойнби (род. в 1889 г.).
- ² «Дьявольский театр» — роман А. М. Фрея.
- ³ Джинс Джеймс Хопвуд (1877—1946) — английский астроном, автор научно-популярных книг.
- ⁴ Линкольн Барнетт (род. в 1909 г.) — автор научно-популярных книг.
- ⁵ Джералд Хирд (род. в 1888 г.) — английский писатель.

246. УИЛЬЯМУ Х. МАК-КЛЕЙНУ

23.II.1952

Уильям Х. Мак-Клейн (род. в 1917 г.) — американский профессор-германист.

- ¹ Герман Дж. Вейганд (род. в 1892 г.) — американский германист.

247. ЭМИЛИЮ ПРЕЕТОРИУСУ

11.III.1952

Об адресате см. прим. 4 к письму 52.

- ¹ «Художник и общество». — Статья под этим названием была написана в 1952 г. и вошла в 10-й том русского Собрания сочинений (стр. 473).
- ² Эрих Ауэрбах (1892—1957) — исследователь романской культуры, писал по-немецки.
- ³ Вильгельм Вейганд (1862—1949) — эссеист, переводчик с французского.

248. ФЕРДИНАНДУ ЛИОНУ

13.III.1952

Об адресате см. прим. 5 к письму 46.

- ¹ ... его главное произведение — «Мир как воля и представление» (1819).
- ² «Старайтесь лишь приводить людей в замешательство; удовлетворить их трудно» — Гёте, «Фауст», Пролог в театре.
- ³ ... о «Натане»... — Имеется в виду драма Лессинга «Натан Мудрый» (1779).
- ⁴ ... Ваших «Источников жизни французской философии»... — Точное название книги Ф. Лиона — «Источники жизни французской метафизики. Декарт, Руссо, Бергсон».

249. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

20.III.1952

Об адресате см. прим. к письму 43.

- ¹ *Маленькие эти рекомендации...* — Томас Манн рекомендовал издать по-английски книгу Кереньи «Мифология греков».
- ² *«И пусть гостей Хранитель мощный нас, чужеземцев, защитит»* — цитата из «Ивиковых журавлей» Шиллера.
- ³ *Поуис* — см. прим. 4 к письму 43.
- ⁴ *Гревз Роберт* (род. в 1895 г.) — английский писатель.

250. ФЕРДИНАНДУ ЛИОНУ

28.IV.1952

- ¹ ... *Ваша книга* — см. прим. 4 к письму 248.
- ² *Григорс* — герой романа «Иэбранник».

251. ФРЕДЕРИКУ РОЗЕНТАЛЮ

5.V.1952

Об адресате см. прим. к письму 152.

- ¹ *Речь идет о раке матки.* — Справка потребовалась для работы над рассказом «Обманутая».

253. GERMANU GECCE

14.VI.1952

Письмо написано для «Нейе Швайцер Рундшау» к 75-летию Германа Гессе.

- ¹ ... *находясь в своем «замке».* — Имеется в виду дом Гессе в Монтаньоле (Швейцария).

254. ФРАНКУ ДОНАЛЬДУ ГИРШБАХУ

14.VI.1952

Франк Дональд Гиршбах (род. в 1921 г.) — американский профессор-германист.

- ¹ *Ваша диссертация...* — «Роль любви в творчестве Томаса Манна».
- ² *Адриан — Швердтфегер...* — Намек на привязанность Леверкюна к Швердтфегеру (персонаж «Доктора Фаустуса»).
- ³ *Джонни Бишоп* — персонаж новеллы Томаса Манна «Как дрались Яппе и До Эскобар» (1911).

255. АЛЬБРЕХТУ ГЕЗУ

16.VI.1952

Альбрехт Гёз (род. в 1908 г.) — немецкий писатель, священник.

- ¹ *«Визит к больному...»* — название книги Альбрехта Гёза, вышедшей в 1952 г.
- ² *Гаштейн* (Бад Гаштейн) — курортный городок в Австрии.
- ³ ... *отблагодарить Academia dei Lincei...* — Римская «Академия деи Линчеи» присудила 12.VI.52 Томасу Манну международную литературную премию.

256. ГРЕТЕ НИКИШ

2.II.1953

Грета Никиш (род. в 1887 г.) — певица, давняя знакомая Томаса Манна, жена сына известного дирижера Артура Никиша (1855—1922).

¹ ... моего рассказа... — «Обманутая».

257. КАРЛУ КЕРЕНЬИ

7.II.1953

¹ ... Вашего доклада... — «Титанизм и гуманизм в греческой мифологии».

258. ЭРИКЕ ШАРЛОТТЕ РЕГУЛЕ

9.VIII.1953

Эрика Шарлотта Регула (род. в 1925 г.) — западногерманский литературовед, защитила диссертацию «Изображение и проблематика болезни в творчестве Томаса Манна».

¹ ... песенок о «мире без трансцендентности». — «Мир без трансцендентности» называлась одна враждебная по отношению к Томасу Манну критическая статья о «Докторе Фаустусе», вышедшая в Гамбурге в 1949 г.

² «Дитя, кто видит лишь...» — цитата из четвертого романа тетралогии об Иосифе.

259. ГАНСУ РАЙЗИГЕРУ

8.IX.1953

Об адресате см. прим. 3 к письму 26.

¹ Статьи Эберле... — «Египетский дневник» (1953) западногерманского писателя Иозефа Эберле (род. в 1901 г.).

² ... моих собственных инспекционных поездок... — Так называл Томас Манн свои поездки на Ближний Восток, связанные с работой об Иосифе.

³ «Саламин» — рассказ Райзигера «Эсхил при Саламине» (1952).

⁴ ... Афины... — В Афинах предполагали перевести рассказ Райзигера на греческий язык.

⁵ ... в фильме по «Королевскому высочеству»... — геттингенская киностудия «Фильмауфбау» (режиссер Гаральд Браун) экранизировала в 1953 г. «Королевское высочество», в 1957 г. — «Феликса Круля» и в 1959 г. — «Будденброков».

⁶ ... как в год Кюснахта? — В ноябре 1934 г. Райзигер гостил у Томаса Манна в Кюснахте, близ Цюриха.

⁷ ... герр Папале — см. прим. 1 к письму 181.

260. ВИКТОРУ РЕЙНСХАГЕНУ

21.IX.1953

Виктор Рейнсхаген (род. в 1908 г.) — дирижер.

261. ЖАКУ МЕРКАНТОНУ

6.XII.1953

Жак Меркантон (род. в 1910 г.) — французский литературовед, автор многочисленных статей о Томасе Манне.

¹ *Муш* — см. прим. 1 к письму 191.

² ... этого журнальчика. — Имеется в виду швейцарское книжное обозрение «Домино», где в ноябре 1953 г. была опубликована статья Мушга «Томас Манн, или Победа литератора».

262. ХЕЛЬМУТУ КЛАУЗИНГУ

22.I.1954

Хельмут Клаузинг (род. в 1913 г.) — западногерманский журналист.

¹ ... *Вашу пьесу*... — «Штурмовик Райнекинг».

263. Х. МА КОРРЕДОРУ

Март 1954

Х. Ма Корредор (род. в 1912 г.) — автор книги «Разговоры с Пабло Казальсом», предисловием к которой послужило это письмо.

¹ *Пабло Казальс* (1876—1974) — знаменитый виолончелист.

264. ИДЕ ГЕРЦ

21.III.1954

Об адресате см. прим. к письму 48.

¹ «*The Doors of Perception*» («Врата восприятия») — книга Олдоса Хаксли, вышедшая в 1954 г.

² *Фредеркинд Вальтер* (1891—1964) — известный невропатолог и психиатр.

265. ФРИДРИХУ Г. ВЕБЕРУ

28.III.1954

Фридрих Г. Вебер (род. в 1908 г.) — швейцарский литератор.

266. ЛЮДВИГУ МАРКУЗЕ

17.IV.1954

Об адресате см. прим. к письму 104.

¹ ... «за пределами... возраста»... — В гл. 44 («Метафизика половой любви») дополнений к IV книге «Мира как воли и представления» Шопенгауэр говорит, что женщина, достигшая возраста, в котором у нее прекращаются менструации, не способна привлечь мужчину и даже вызывает у него отвращение.

267. ОСКАРУ ЯНКЕ

3.V.1954

Оскар Янке (1898—1957) — публицист, литературовед, сотрудник Южногерманского радио.

268. ФЕЛИКСУ ХЕНЗЕЛЕЙТУ

8.V.1954

Феликс Хензелейт (род. в 1903 г.) — театральный и кинокритик.

¹ ... фильм «*Королевское высочество*»... — см. прим. 5 к письму 259.

269. МАКСУ ШТЕФЛЮ

16.V.1954

Макс Штефль (род. в 1888 г.) — литературовед, специалист по творчеству Штифтера.

- ¹ ... «Если я люблю тебя, какое тебе дело до этого»... — цитата из «Годов учения Вильгельма Мейстера» Гёте (книга 4, гл. 9).

270. ЗИГФРИДУ МАРКУ

23.V.1954

Об адресате см. прим. к письму 206.

- ¹ ... *Вы велели послать мне Вашу... книгу...* — В книге Э. Марка «Великие люди нашего времени. Портреты из трех сфер культуры» (1954) содержится статья о Томасе Манне.
- ² Дьюи Джон (1859—1952) — известный американский педагог.
- ³ *Нибур* — см. прим. 7 к письму 112.

271. ГАНСУ НОРБЕРТУ ФЮГЕНУ

29.V.1954

Ганс Норберт Фюген (род. в 1925 г.) — западногерманский социолог и литературовед.

272. ЭРИКЕ МАНН

7.VI.1954

- ¹ *Вчерашний день...* — день рождения Томаса Манна, которому исполнилось 79 лет.
- ² *Мондадори* — итальянское издательство.
- ³ *Куци* — так называли близкие Бруно Вальтера.
- ⁴ *Тереза* — см. прим. 4 к письму 40.
- ⁵ *Фуртвенглер* Вильгельм (1886—1954) — дирижер и композитор.
- ⁶ *Стерн* Исаак (род. в 1920 г.) — американский скрипач.

274. ФРИДРИХУ Г. ВЕБЕРУ

18.VII.1954

Об адресате см. прим. к письму 265.

- ¹ *Матис* Фриц Карл (род. в 1910 г.) — литератор, основатель Швейцарского спортивно-гимнастического музея.
- ² ... *Ваш сборник...* — «За Томаса Манна» — со статьями Ф. Г. Вебера, Ф. К. Матиса и О. Базлера (см. прим. к письму 149).
- ³ ... *в связи с базельской «выставкой».* — Первая в Европе выставка, посвященная жизни и творчеству Томаса Манна, была устроена в Базеле в январе—феврале 1954 г.
- ⁴ «*Критерий Вальтера Мушга*» — см. прим. 1 к письму 191.
- ⁵ «*Thou com'st in such a questionable shape*» — цитата из «Гамлета» (I, 4) («Твой образ так загадочен» в стихотворном переводе М. Лозинского).

275. ГЕНРИ Г. Г. РИМЭКУ

21.VII.1954

Генри Г. Г. Римэк (род. в 1916 г.) — американский профессор-германист.

- ¹ Разве «Маленький господин Фридеман»... вышел... при его жизни? — Рассказ «Маленький господин Фридеман» вышел в 1897 г. Теодор Фонтане умер в 1898 г.
- ² Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ-интуитивист.
- ³ Поль Бурже (1852—1935) — французский писатель.

276. ЭРИХУ ФОН КАЛЕРУ

12.VIII.1954

Об адресате см. прим. 5 к письму 112.

- ¹ ... маккартиевских hearings — Джозеф Маккарти — американский сенатор, возглавлявший созданную в 1951 г. сенатскую «подкомиссию по расследованию правительственных органов». Маккарти применял грубые методы преследования прогрессивно-демократического движения.
- ² Даннеккер Иоганн Генрих (1758—1841) — немецкий скульптор, классицист.
- ³ Август — сын Гёте.
- ⁴ Хелен Лоу — см. прим. 1 к письму 69.
- ⁵ Может быть, перевод уже заказан кому-то. — Перевод был заказан не Лоу-Портер, а Денверу Линдлею.
- ⁶ Буркхардт — см. прим. 6 к письму 112.
- ⁷ Краус Карл (1874—1936) — известный австрийский публицист.

277. АГНЕС Э. МЕЙЕР

22.VIII.1954

- ¹ ... последнему роману Фолкнера — «A Fable» (1954).

278. ЭМИЛЮ ПРЕЕТОРИУСУ

6.IX.1954

- ¹ ... эту проклятую конференцию... — Имеется в виду теоретическая конференция на тему «язык», задуманная Прееториусом, который приглашал Томаса Манна произнести на ней вступительную речь.

279. ФРИДО МАННУ

19.X.1954

- ¹ ... делает... фильм — Название фильма — «Регина».
- ² ... профессор-скульптор — Густав Зейтц (род. в 1906 г.).

283. БИТУ ВЕБЕРУ

13.II.1955

Бит Вебер (род. в 1948 г.) — старший сын Вернера Вебера (см. прим. к письму 228).

- ¹ Кристоф — младший брат Бита Вебера, умерший в 1965 г.

284. ГАНСУ ИОЗЕФУ МУНДТУ

18.II.1955

Ганс Иозеф Мундт (род. в 1914 г.) — западногерманский редактор.

- ¹ «*Лучшие в мире истории*». — Предисловие к этой антологии, написанное Томасом Манном в июле 1955 г., было последней работой, которую он отдал в печать.
- ² ... «*Новеллу*» — так называется одно из небольших произведений Гёте.
- ³ «*Маркиза д'О*» — новелла Бернда Вильгельма Генриха фон Клейста (1808).
- ⁴ *Штифтер* — см. прим. 4 к письму 12.
- ⁵ *Готхельф Иеремиа* (1797—1854) — выдающийся швейцарский прозаик.
- ⁶ *Тик* — см. прим. 5 к письму 69.
- ⁷ *Келлер* — см. прим. 9 к письму 69.
- ⁸ *Конрад Фердинанд Мейер* (1825—1898) — швейцарский писатель.
- ⁹ *Шторм* Теодор — см. прим. 2 к письму 49.

285. В РЕДАКЦИЮ «ЗОНТАГА»

19.II.1955

«*Зонтаг*» — литературно-художественный и общественно-политический еженедельник (ГДР).

- ¹ ... для *лангеновского «Симплициссимуса»*. . . — Ланген Альберт (1869—1909) — мюнхенский издатель, основавший в 1896 г. сатирический журнал «Симплициссимус», сотрудником которого был в молодости Томас Манн.
- ² *Людвиг Тома* (1867—1921) — прозаик, драматург, публицист.

286. ГЕРМАНУ ЛАНГЕ

19.III.1955

Герман Ланге (1876—1961) — соученик Томаса Манна по любекской гимназии в 1889/1890 гг. Сын коммерсанта, работал в промышленности, с 1896 по 1914 г. жил в России.

- ¹ *Армин Мартенс* — прототип Ганса Гансена в новелле «Тонно Крёгер».

287. ФРАНЦУ К. ВАЙСКОПФУ

8.IV.1955

Франц К. Вайскопф (1900—1955) — немецкий прозаик, родился в Праге, член КПЧ с 1921 г., с 1953 г. — в ГДР.

- ¹ ... *Ваш журнал*. . . — «Нойе Дойче Литератур», основанный Вайскопфом и Вилли Бределем.
- ² *Эдит Бремер* — профессор Лейпцигского университета им. Карла Маркса, затем Ростовского университета, автор ряда работ о творчестве Томаса Манна.
- ³ «*Нойе Рундшау*», «*Дойче*». . . «*Тексте унд Цайхен*» — в этом перечне названы журналы, выходившие как в ГДР, так и в ФРГ.

288. ФРИДО МАННУ

11.IV.1955

- ¹ ... у *папса и мамса*. — Имеются в виду супруги Мозеры, дед и бабка Фридо Манна с материнской стороны.

289. МАРТЕ ГАРТМАН

15.IV.1955

Марта Гартман (1877—1957) — немецкая писательница и переводчица.

- ¹ ... звание почетного гражданина... — По случаю восьмидесятилетия Томаса Манна он был избран почетным гражданином города Любека. Официальная церемония присвоения этого звания состоялась 20 мая в любекской ратуше.

290. АЛЬБРЕХТУ ГЕЗУ

16.IV.1955

Об адресате см. прим. к письму 255.

- ¹ *Пенцольдт* — см. прим. 2 к письму 200.

291. ГВИДО ДЕВЕСКОВИ

1.V.1955

Гвидо Девескови (род. в 1890 г.) — итальянский профессор-германист.

- ¹ *Гольтхузен Ганс Эгон (род. в 1913 г.)* — западногерманский писатель.
² *Альфред Андерш (род. в 1914 г.)* — западногерманский писатель.
³ *Гарольд Никольсон (1886—1968)* — английский дипломат и писатель.

292. РОБЕРТУ ФЕЗИ

11.V.1955

Роберт Фези (род. в 1883 г.) — швейцарский германист, писатель.

- ¹ ... получил... *Вашу прекрасную книгу...* — «Томас Манн. Мастер прозы» (1955).
² *Гольтхузен* — см. прим. 1 к письму 291.

293. ВАЛЬТЕРУ ФИЛЛЕ

20.V.1955

Об адресате см. прим. к письму 186.

- ¹ ... подтвердить получение Вашей книги... — Роман «Семена времени» (на английском языке).

294. ГЕРМАНУ ГЕССЕ

10.VI.1955

- ¹ ... какая у меня обстановка. — 6 июня 1955 г. отмечалось восьмидесятилетие Томаса Манна.

² *Петипьер Макс (род. в 1899 г.)* — был в 1955 г. президентом Швейцарии.

³ *Мейер Конрад Фердинанд* — см. прим. 8 к письму 284.

- ⁴ ... этруски... взяли... верх над нами. — «Фрау Нинон Гессе приехала в Цюрих, чтобы посетить выставку «Искусство и жизнь этрусков»» (примечание Эрики Манн. — *Briefe*, Bd. III, S. 613).

295. МАТИНУ ФЛИНКЕРУ

14.VI.1955

Об адресате см. прим. к письму 223. Это письмо было вскоре после получения опубликовано в «Фигаро литерер».

¹ *Жорж Дюамель* (1884—1966) — известный французский писатель.

² ...я ношу в петлице многозначительную розетку... — Томас Манн был награжден орденом Почетного Легиона.

³ ...положишь на сердце мое... — перевод М. Л. Михайлова.

296. КАРЛУ БАХЛЕРУ

8.VII.1955

Карл Бахлер (род. в 1905 г.) — главный редактор бременской газеты «Везер Курир».

¹ *Липперт Альберт* (род. в 1901 г.) — режиссер и актер, возглавлявший в то время «Театр свободного ганзейского города Бремена».

² *Карл Гейне* (1861—1927) — режиссер, театровед, драматург.

³ *Рейнгардт Макс* — см. прим. 8 к письму 78.

⁴ *Саладин Шмитт* (1883—1951) — режиссер.

⁵ *Фердинанд Онно* (род. в 1879 г.) — известный актер.

⁶ ...«сломайте себе шею и ноги»... — Буквальный перевод немецкого шуточного напутствия, примерно соответствующего нашему «ни пуха ни пера».

297. ЛЮДВИГУ КУНЦУ

12.VII.1955

Об адресате см. прим. к письму 198.

298. ГЕНРИ В. БРАННУ

16.VII.1955

Генри В. Бранн (род. в 1903 г.) — литератор, автор, в частности, нескольких работ о творчестве Томаса Манна.

¹ ...лихая цитата из Ницше. — По свидетельству Эрики Манн, имеется в виду цитата из «Ессе homo»: «Все, что его не убивает, делает его сильнее».

299. ЭРИХУ ФОН КАЛЕРУ

5.VIII.1955

Об адресате см. прим. 5 к письму 112.

¹ *Юлиана* — королева Нидерландов.

300. ЛАВИНИИ МАЦЦУККЕТТИ

10.VIII.1955

Об адресате см. прим. к письму 36. Это письмо написано за два дня до смерти.

¹ ...Ваша прекрасная юбилейная статья... — «Томас Манн — человек» (во флорентийском литературно-художественном и общественно-политическом журнале «Иль Понте», № 6, 1955).

- ² *Меди Борджезе написала тоже довольно трогательно и забавно...*— В этом же номере «Иль Понте», под заголовком «Детство с отцом» были напечатаны переведенные с английского воспоминания Элизабет Манн-Борджезе, младшей дочери писателя.



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Томас Манн. Фото 1937 г. Фронтиспис 4
2. Томас Манн. Бюст работы Густава Зейтца 380

СОДЕРЖАНИЕ



ТОМАС МАНН ПИСЬМА

Перевод С. К. Анга

1. Генриху Манну (13.II.1901)	5
2. Генриху Манну (7.III.1901)	6
3. Хильде Дистель (14.III.1902)	7
4. Самуэлю Люблинскому (23.V.1904)	9
5. Кате Прингсгейм (начало июня 1904)	10
6. Кате Прингсгейм (конец августа 1904)	11
7. Паулю Эренбергу (11.XI.1905)	11
8. Курту Мартенсу (28.III.1906)	12
9. Паулю Эренбергу (12.VIII.1910)	15
10. Юлиусу Бабу (31.VIII.1910)	16
11. Генриху Манну (27.IV.1912)	16
12. Филиппу Виткопу (4.X.1917)	18
13. Генриху Манну (3.I.1918)	19
14. Иозефу Понтену (29.III.1919)	21
15. Курту Мартенсу (26.VI.1919)	22
16. Густаву Блюме (5.VII.1919)	22
17. Эрике Манн (26.VII.1919)	24
18. Стефану Цвейгу (28.VII.1920)	24
19. Карлу Марии Веберу (4.VII.1920)	25
20. Вольфгангу Борну (18.III.1921)	29
21. В «Рупрехтпрессе» (25.III.1921)	30
22. Генриху Манну (31.I.1922)	31
23. Иде Бой-Эд (5.XII.1922)	32
24. Генриху Манну (17.II.1923)	33
25. Феликсу Берто (1.III.1923)	33
26. Герберту Эйленбергу (6.I.1925)	35
27. Иозефу Понтену (21.I.1925)	37

28. Иозефу Понтену (22.IV.1925)	40
29. Гансу Пфитцнеру (23.VI.1925)	41
30. Эрнсту Бертраму (28.XII.1926)	42
31. Адольфу Пфаннеру (15.XI.1927)	43
32. Вилли Гаасу (11.III.28)	44
33. Артуру Гюбшеру (27.VI.1928)	45
34. Неизвестному (8.I.1932)	47
35. Б. Фучику (15.IV.1932)	48
36. Лавинии Маццукетти (13.III.1933)	51
37. Альберту Эйнштейну (15.V.1933)	52
38. Герману Гессе (31.VII.1933)	53
39. А. М. Фрею (30.XII.1933)	54
40. Герману Гессе (3.I.1934)	56
41. Рене Шикеле (8.I.1934)	57
42. Эрнсту Бертраму (9.I.1934)	58
43. Карлу Кереньи (20.II.1934)	60
44. Герману Гессе (11.III.1934)	62
45. Юлиусу Бабу (25.III.1934)	63
46. Рене Шикеле (2.IV.1934)	64
47. Кэте Гамбургер (4.V.1934)	66
48. Иде Герц (25.V.1934)	67
49. Эрнсту Бертраму (30.VII.1934)	68
50. Карлу Кереньи (4.VIII.1934)	69
51. Герману Гессе (7.VIII.1934)	71
52. Фердинанду Лиону (3.IX.1934)	71
53. Герману Гессе (5.IX.1934)	72
54. Хедвиг Фишер (2.XI.1934)	74
55. Гарри Слочауэру (1.IX.1935)	75
56. Альфреду Кубину (9.IX.1935)	76
57. Рене Шикеле (16.XII.1935)	78
58. Эдуарду Корроди (3.II.1936)	79
59. Герману Гессе (9.II.1936)	83
60. Паулю Аманну (21.II.1936)	83
61. Генриху Манну (2.VII.1936)	84
62. Генриху Манну (20.VII.1936)	85
63. Генриху Манну (4.VIII.1936)	86
64. Карлу Кереньи (7.X.1936)	87
65. А. М. Фрею (10.XI.1936)	88

66. Стефану Цвейгу (8.XII.1936)	89
67. Зигмунду Фрейду (13.XII.1936)	89
68. Герману Гессе (23.II.1937)	90
69. Джозефу Анджеллу (11.V.1937)	91
70. Господину Кинбергеру (23.XII.1937)	93
71. Неизвестной (21.V.1938)	94
72. Карлу Кереньи (9.IX.1938)	95
73. Корделлу Хэлли (25.X.1938)	96
74. Анне Джекобсон (30.XI.1938)	97
75. Карлу Кереньи (6.XII.1938)	99
76. Эрике и Клаусу Маннам (декабрь 1938)	100
77. Карлу Кереньи (16.II.1939)	101
78. Генриху Манну (14.V.1939)	102
79. Рудольфу Ольдену (1.VI.1939)	104
80. Генриху Манну (28.VI.1939)	105
81. Луизе Сервисан (13.VIII.1939)	106
82. Генриху Манну (26.XI.1939)	107
83. Эмилю Лифману (2.I.1940)	108
84. Вильгельму Герцогу (26.II.1940)	109
85. Генриху Манну (3.III.1940)	110
86. Куно Фидлеру (19.III.1940)	111
87. Виктору Польцеру (23.III.1940)	112
88. Агнес Э. Мейер (25.V.1940)	114
89. Герхарту Зегеру (4.VI.1940)	114
90. Агнес Э. Мейер (14.VI.1940)	115
91. Гамильтону Армстронгу (26.VI.1940)	116
92. Людвигу Льюисону (30.IX.1940)	117
93. Лиону Фейхтвангеру (26.X.1940)	119
94. Джозефу Кемпбеллу (6.I.1941)	119
95. Агнес Э. Мейер (24.I.1941)	120
96. Карлу Кереньи (18.II.1941)	122
97. Агнес Э. Мейер (15.V.1941)	123
98. Агнес Э. Мейер (16.VII.1941)	125
99. Альберту Эйнштейну (4.VIII.1941)	127
100. Карлу Кереньи (7.IX.1941)	127
101. Агнес Э. Мейер (7.X.1941)	128
102. Агнес Э. Мейер (27.XII.1941)	132
103. Герману Гессе (15.III.1942)	134

104. Людвигу Маркузе (27.III.1942)	136
105. Генриху Манну (19.V.1942)	137
106. Агнес Э. Мейер (27.VI.1942)	138
107. Клаусу Манну (2.IX.1942)	140
108. Фридерике Цвейг (15.IX.1942)	142
109. Жюлю Ромену (Рождество 1942)	143
110. Агнес Э. Мейер (12.I.1943)	144
111. Агнес Э. Мейер (28.I.1943)	145
112. Агнес Э. Мейер (17.II.1943)	147
113. Клаусу Манну (27.IV.1943)	150
114. Бруно Вальтеру (6.V.1943)	151
115. Агнес Э. Мейер (26.V.1943)	153
116. Дитеру Кунцу (7.X.1943)	156
117. Бертольту Брехту (10.XII.1943)	156
118. Эриху фон Калеру (16.I.1944)	158
119. К. Б. Баутеллу (21.I.1944)	160
120. Генриху Манну (24.III.1944)	163
121. Лиону Фейхтвангеру (апрель 1944)	164
122. Эрнсту Рейтеру (29.IV.1944)	165
123. Клифтону Фейдиму (29.V.1944)	167
124. Агнес Э. Мейер (3.VI.1944)	168
125. Уильяму Эрлу Синджеру (13.VIII.1944)	170
126. Бруно Вальтеру (21.IX.1944)	171
127. Герхарту Альберсгейму (7.X.1944)	172
128. Марианне Лиддель (8.X.1944)	173
129. Агнес Э. Мейер (11.X.1944)	173
130. Анне Джекобсон (19.I.1945)	175
131. Анне Джекобсон (22.II.1945)	176
132. Бруно Вальтеру (1.III.1945)	176
133. Джузеппе Антонио Борджезе (21.III.1945)	178
134. Герману Гессе (8.IV.1945)	179
135. Агнес Э. Мейер (24.IV.1945)	181
136. Генриху Манну (9.VI.1945)	182
137. Вальтеру фон Моло (7.IX.1945)	183
138. Рудольфу В. Блунку (19.XI.1945)	189
139. Альберту Эйнштейну (27.XI.1945)	190
140. Виктору Манну (15.XII.1945)	190
141. Теодору В. Адорно (30.XII.1945)	192

142. Пьеру-Полю Сагаву (28.I.1946)	195
143. В редакцию журнала «Фрайес Дойчланд» (6.II.1946)	196
144. Карлу Кереньи (12.II.1946)	199
145. Гансу Фридриху Блунку (22.VII.1946)	200
146. Хедвиг Фишер (8.IX.1946)	201
147. Бруно Вальтеру (15.IX.1946)	202
148. Карлу Кереньи (15.IX.1946)	206
149. Отто Базлеру (23.IX.1946)	208
150. Виктору Манну (4.X.1946)	209
151. Герману Гессе (12.X.1946)	210
152. Фредерику Розенталю (28.X.1946)	211
153. Рудольфу Кайзеру (8.XI.1946)	212
154. Агнес Э. Мейер (1.XII.1946)	213
155. Эрике Манн (11.XII.1946)	214
156. Гансу Поллаку (29.XII.1946)	215
157. Эмилю Прееториусу (30.XII.1946)	216
158. Карлу Кереньи (1.I.1947)	218
159. Эрике Манн (29.I.1947)	219
160. Герману Гессе (8.II.1947)	219
161. Фрицу Грюнбауму (20.II.1947)	221
162. Герберту Франку (19.III.1947)	222
163. Виктору Манну (27.III.1947)	223
164. В редакцию «Нойе Цайтунг» (25.VI.1947)	225
165. Хедде Эйленберг (6.VII.1947)	227
166. Герману Гессе (10.VIII.1947)	227
167. Клаусу Манну (19.IX.1947)	228
168. Лиону Фейхтвангеру (9.X.1947)	229
169. Агнес Э. Мейер (10.X.1947)	229
170. Мистеру Грью (12.X.1947)	232
171. Максу Рихнеру (26.X.1947)	233
172. Эмилю Прееториусу (12.XII.1947)	233
173. Максимилиану Брантлю (26.XII.1947)	236
174. Вальтеру Кольбу (4.I.1948)	237
175. Оскару Шмитту-Халину (7.I.1948)	238
176. Самуэлю Зингеру (20.I.1948)	239
177. Михаэлю Манну (31.I.1948)	240
178. Виктору Манну (6.II.1948)	241
179. Гейнцу-Винфриду Забаису (9.II.1948)	242

180. Арнольду Шёнбергу (17.II.1948)	244
181. Элизабет Манн-Борджезе (5.III.1948)	245
182. Самуэлю Зингеру (8.III.1948)	245
183. Хайди Хайман (10.III.1948)	246
184. Эмилю Прееториусу (24.IV.1948)	247
185. Герману Гессе (1.VI.1948)	248
186. Вальтеру Рилле (22.VI.1948)	248
187. Теодору В. Адорно (12.VII.1948)	250
188. Вернеру Шмитцу (30.VII.1948)	251
189. Рихарду Швейцеру (12.X.1948)	253
190. В «Сатерди Ревью оф Литеречур» (10.XII.1948)	254
191. Герману Гессе (4.I.1949)	255
192. Вильгельму Буллеру (22.II.1949)	257
193. Монике Манн (24.II.1949)	257
194. Арчибальду Мак-лишу (27.II.1949)	258
195. Герману Гессе (1.VII.1949)	260
196. Герману Гессе (6.VII.1949)	260
197. Генриху Манну (14.VII.1949)	261
198. Людвигу Кунцу (5.VIII.1949)	262
199. Эрне Ионас (19.X.1949)	263
200. Эмилю Прееториусу (20.X.1949)	263
201. Герману Гессе (2.XI.1949)	265
202. Вилли Штернфельду (3.XI.1949)	265
203. Г. В. Циммерману (7.XII.1949)	266
204. Арнольду Шёнбергу (19.XII.1949)	268
205. Иде Герц (25.XII.1949)	269
206. Зигфриду Марку (1.I.1950)	270
207. Теодору В. Адорно (9.I.1950)	270
208. Гретель Кайзер-Элиас (12.XI.1950)	272
209. Эдит Дьерденьи (14.I.1950)	272
210. Бернгарду Бёнке (28.II.1950)	273
211. Вольфгангу Шнедицу (7.III.1950)	274
212. Максимилиану Брантлю (19.III.1950)	274
213. Уолтеру Х. Перлу (25.III.1950)	275
214. В «Джерменик Ревью» (29.III.1950)	276
215. Агнес Э. Мейер (21.V.1950)	277
216. Эмилю Бельцнеру (24.V.1950)	279
217. Бруно Вальтеру (10.VI.1950)	280

218. Теодору В. Адорно (11.VII.1950)	287
219. Готфриду Берману-Фишеру (18.VIII.1950)	283
220. Эрвину Розенталю (16.X.1950)	284
221. Г. Д. Зандеру (26.X.1950)	285
222. Герману Гессе (1.XI.1950)	285
223. Мартину Флинкеру (21.XI.1950)	286
224. В «Сатерди Ревью оф Литеречур» (15.XII.1950)	288
225. Эрвину Шроттеру (11.I.1951)	288
226. Агнес Э. Мейер (31.I.1951)	289
227. Отто Базлеру (4.II.1951)	290
228. Вернеру Веберу (6.IV.1951)	291
229. Эриху фон Калеру (23.IV.1951)	292
230. Эрике Манн (20.V.1951)	293
231. Юлиусу Бабу (30.V.1951)	294
232. Шарлотте Кестнер (18.VI.1951)	296
233. Георгу Фольмеру (25.VI.1951)	297
234. Женевьеве Бьянки (27.VI.1951)	298
235. Лиону Фейхтвангеру (6.VI.1951)	299
236. Ирите ван Дорен (28.VIII.1951)	300
237. Оскару Зейдлину (10.X.1951)	302
238. Герману Гессе (14.X.1951)	303
239. Ионасу Лессеру (13.X.1951)	304
240. Ене Тамашу Дьемери (15.XI.1951)	306
241. Генри Хэтфилду (19.XI.1951)	307
242. Андре фон Гроника (30.XI.1951)	308
243. Паулю Аманну (23.XII.1951)	309
244. Александру М. Фрею (19.I.1952)	310
245. Неизвестной (21.I.1952)	312
246. Уильяму Х. Мак-Клейну (23.II.1952)	313
247. Эмилю Прееториусу (11.III.1952)	313
248. Фердинанду Лиону (13.III.1952)	315
249. Карлу Кереньи (20.III.1952)	316
250. Фердинанду Лиону (28.IV.1952)	317
251. Фредерику Розенталю (5.V.1952)	318
252. Неизвестному (1.VI.1952)	319
253. Герману Гессе (14.VI.1952)	320
254. Франку Дональду Гиршбаху (14.VI.1952)	321
255. Альбрехту Гёзу (16.VI.1952)	322

256. Грете Никиш (2.II.1953)	323
257. Карлу Кереньи (7.II.1953)	324
258. Эрике Шарлотте Регуле (9.VIII.1953)	324
259. Гансу Райзигеру (8.IX.1953)	325
260. Виктору Рейнсхагену (21.IX.1953)	327
261. Жаку Меркантону (6.XII.1953)	328
262. Хельмуту Клаузингу (22.I.1954)	329
263. Х. Ма Корредору (март 1954)	329
264. Иде Герц (21.III.1954)	330
265. Фридриху Г. Веберу (28.III.1954)	331
266. Людвигу Маркузе (17.IV.1954)	332
267. Оскару Янке (3.V.1954)	333
268. Феликсу Хензелейту (8.V.1954)	333
269. Максу Штефлю (16.V.1954)	335
270. Зигфриду Марку (23.V.1954)	335
271. Гансу Норберту Фюгену (29.V.1954)	336
272. Эрике Манн (7.VI.1954)	337
273. Поздравившим с днем рождения (8.VII.1954)	339
274. Фридриху Г. Веберу (18.VII.1954)	339
275. Генри Г. Г. Римэку (21.VII.1954)	341
276. Эриху фон Калеру (12.VIII.1954)	341
277. Агнес Э. Мейер (22.VIII.1954)	343
278. Эмилю Прееториусу (6.IX.1954)	344
279. Фридо Манну (19.X.1954)	346
280. Карлу Кереньи (5.XII.1954)	347
281. Гансу Райзигеру (22.I.1955)	348
282. Агнес Э. Мейер (9.II.1955)	349
283. Биту Веберу (13.II.1955)	352
284. Гансу Иозефу Мундту (18.II.1955)	353
285. В редакцию «Зонтага» (19.II.1955)	354
286. Герману Ланге (19.III.1955)	355
287. Францу К. Вайскопфу (8.IV.1955)	356
288. Фридо Манну (11.IV.1955)	357
289. Марте Гартман (15.IV.1955)	359
290. Альбрехту Гёзу (17.IV.1955)	359
291. Гвидо Девескови (1.V.1955)	360
292. Роберту Фези (11.V.1955)	362
293. Вальтеру Рилле (20.V.1955)	363

294. Герману Гессе (10.VI.1955)	364
295. Мартину Флинкеры (14.VI.1955)	365
296. Карлу Бахлеру (8.VII.1955)	367
297. Людвигу Кунцу (12.VII.1955)	369
298. Генри В. Бранну (16.VII.1955)	370
299. Эриху фон Калеру (5.VIII.1955)	370
300. Лавинии Маццукетти (10.VIII.1955)	371

ПРИЛОЖЕНИЯ

С. К. Апт. Письма Томаса Манна	375
Примечания (Составил С. К. Апт)	396
Список иллюстраций	454

ТОМАС МАНН
ПИСЬМА

*Утверждено к печати
Редколлекцией серии
„Литературные памятники“*

Редактор издательства
О. К. Логинова

Художественный редактор
Т. П. Поленова

Технический редактор
Н. П. Кузнецова

Корректоры *Л. Д. Вуль, В. А. Гейшин*

Сдано в набор 28/VIII 1974 г.
Подписано к печати 9/1 1975 г.
Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 2.
Усл. печ. л. 34,2. Уч.-изд. л. 33,7
Тираж 50000. Тип. зак. 1447.
Цена 2 р. 27 к

Издательство „Наука“
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
1-я типография издательства „Наука“
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12